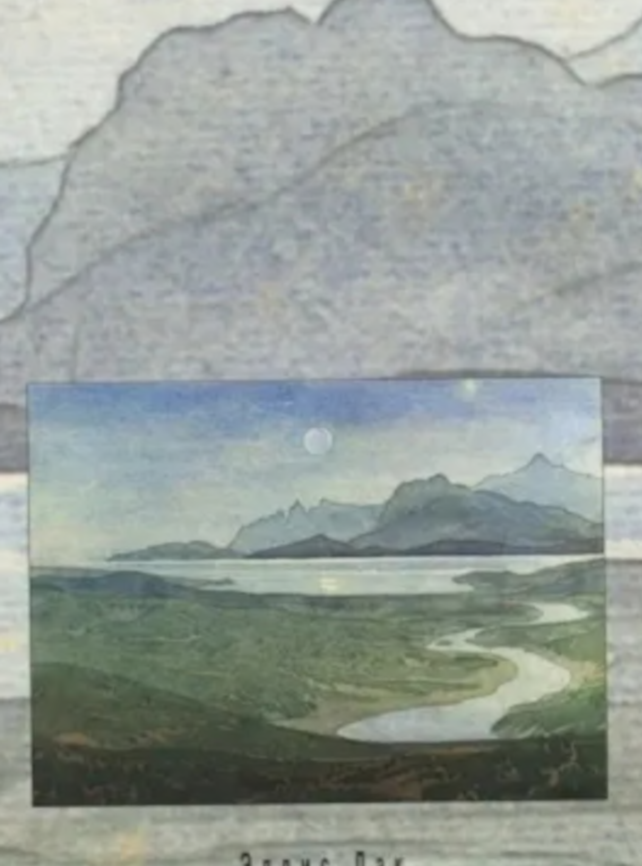
Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений



Эллис Лак

Максимиліанъ Волошинъ



Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Москва
Эллис Лак
2009

Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Том восьмой
Письма 1893–1902

Москва
Эллис Лак
2009

ББК 84(2Рос=Рус)-4
УДК 821.161.1-95
В68

***Издано при финансовой поддержке
Федерального комитета по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»***

Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований
ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой:
уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации (2009–2011 гг.)».

**Российская академия наук
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)**

Составление
А.В. Лаврова

Подготовка текста и комментарии
В.П. Купченко и *А.В. Лаврова*

Художник
В.Н. Сергутин

ISBN 978-5-902152-50-7 (т. 8)
ISBN 978-5-902152-05-4

От составителя

В 8-м томе Собрания сочинений Максимилиана Волошина начинается публикация его эпистолярного наследия. Мы надеемся представить письма Волошина в максимально полном объеме — осознавая при этом, что дать их исчерпывающий свод нам наверняка не удастся: хотя значительное количество писем поэта выявлено и доступно для опубликования, возможны и более чем вероятны новые находки в зарубежных архивохранилищах, в частных собраниях, в фондах, еще не оказавшихся в поле исследовательского зрения. Огромную работу по разысканию и собиранию писем Волошина в течение нескольких десятилетий вел Владимир Петрович Купченко; без предпринятых им ранее энтузиастических усилий сформировать корпус этих писем в том составе, в каком он ныне предлагается читателю, было бы невозможно.

Эпистолярное наследие Максимилиана Волошина достаточно велико по объему; эта особенность предстает вполне наглядно на фоне уже, видимо, с исчерпывающей или почти исчерпывающей полнотой сформированных эпистолярных комплексов ряда писателей — его современников (так, эпистолярный корпус И.Ф. Анненского составляют 216 писем, Н.С. Гумилева — 184 письма, О.Э. Мандельштама — 248 писем). Количественно свод писем Волошина соотносим с эпистолярными сводами таких писателей символистской школы, как Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок, Вячеслав Иванов. Соотносимы письма Волошина с письмами упомянутых авторов и в плане содержания: многие из них имеют исповедальный характер, во многих — с подробностями излагаются биографические факты, детально описываются впечатления и раскрываются переживания, воссоздается картина внутреннего мира. Письма Волошина имеют исключительную значимость не только как источник сведений о жизни поэта и его отношениях с современниками, но и как тексты, обрисовывающие основные контуры его творческого самосознания, демонстрирующие эволюцию его мировоззрения, входящие в общий корпус его литературного наследия как полноправный, необходимый и неотчуждаемый элемент.

Приходится констатировать, что значительная часть писем Волошина до нас не дошла. Но и возможные новые находки не смогут существенно изменить общую картину. Даже те эпистолярные комплексы, которые отложились в личном архиве Волошина, дошедшем до нас в относительно благополучном состоянии, представлены в ряде случаев далеко не в полном объеме. В частности, сохранилось 277 писем Волошина к матери, Е.О. Кириенко-Волошиной, и 489 ее писем к Волошину. Это – далеко не весь корпус их переписки. По самым общим и приблизительным ориентирам, до нас не дошло более трети всех писем Волошина к матери. В незначительном числе сохранились письма за 1902–1907 гг., не уцелели письма за вторую половину 1914 г., имеются значительные пробелы и в других хронологических промежутках. Из ответных писем Е.О. Кириенко-Волошиной выясняется, что она получила от сына, в общей сумме, не менее сотни писем, текстами которых мы не располагаем. Письма Е.О. сохранились в архиве Волошина в большей пропорции, но, опять же, наличествуют далеко не все. Многочисленные письма Волошина были обращены к адресатам, архивы которых не сохранились или не обнаружены (в особенности это касается тех корреспондентов, которые не оставили заметного следа в литературно-общественной жизни). Так, в архиве Волошина имеются обращенные к нему письма его друзей и знакомых, относящиеся в основном к гимназическим и студенческим годам: В.И. Блюма (9 писем), В.Л. Гауфлера (31 письмо), П.А. Зволинского (46 писем), Г.Д. Кржижевского (8 писем), Л.С. Ляминой (32 письма), В.А. Макарова (7 писем), В.М. Нич (18 писем), М.В. Сакулина (28 писем), Л.А. Соломос (9 писем), А.А. Чернцова (9 писем). Письма Волошина к этим корреспондентам до нас не дошли (за исключением двух писем к В.Л. Гауфлеру, находящихся в архиве Волошина, – возможно, черновых или неотправленных, – и одного письма к В.М. Нич). Не сохранились ранние письма Волошина к его ближайшему другу по феодосийской гимназии А.М. Пешковскому: известно лишь 6 писем Волошина к нему за 1900–1901 гг., между тем как в архиве Волошина хранятся 36 писем Пешковского к нему за 1893–1901 гг. Перечень подобных примеров можно продолжать и продолжать. И тем не менее корпус уцелевших писем Волошина достаточно внушителен – в значительной степени благодаря тому, что письма его ко многим постоянным корреспондентам были переданы в коктебельский архив поэта; в фонде Волошина сосредоточены его письма к А.М. Петровой, Я.А. Глотову, М.В. Сабашниковой, Ю.Л. Оболенской, А.Г. Габричевскому и др.

В настоящем издании письма Волошина печатаются по подлинникам (автографам и авторизованным машинописным копиям). Письма, публиковавшиеся ранее, сверены и исправлены по подлинникам. Письма, автографы которых оказались недоступными, печатаются по тексту ранее осуществленных публикаций. Письма расположены в хронологическом порядке с отдельной сквозной нумерацией в каждом томе. Из общего хронологического ряда в издании выделен том, содержащий двустороннюю переписку Волошина с его первой женой М.В. Сабашниковой (Волошиной), — с целью воспроизведения этого эпистолярного диалога как единого текста. Письма, написанные в России до февраля 1918 г., датируются по старому стилю, после указанной даты — по новому стилю (при этом сохраняются авторские датировки по старому стилю); письма, написанные за границей, даются с двойными датировками — по старому и новому стилю. Авторская дата письма считается частью его текста и воспроизводится на том месте и в том виде, где и как она дана в письме. Редакторская дата и указание места написания печатаются курсивом и независимо от соответствующих авторских обозначений ставятся после фамилии адресата перед письмом. Если дата письма установлена приблизительно, то письмо печатается с указанием месяца или только года в конце соответствующего раздела.

Все тексты писем печатаются по современной орфографии, но с максимальным сохранением индивидуальных авторских особенностей словоупотребления и лингвоисторического языкового колорита; написание названий, имен и фамилий дается в транслитерации подлинника. Сокращенные и не дописанные Волошиным слова восполнены в угловых < > (редакторских) скобках. Общеупотребительные сокращения (г-н, т.е., и т.д., и др.) не раскрываются. Важные в смысловом отношении слова и фразы, зачеркнутые автором, воспроизводятся в прямых скобках [ ]. Авторские подчеркивания в тексте выделяются *курсивом*, подчеркивания двумя и более чертами — *курсивом вразрядку*. Редакторские примечания текстологического характера и переводы иноязычных фрагментов текста даются подстрочно, историко-литературные и реальные комментарии — непосредственно за текстом письма. Общие сведения об упоминаемых в письмах лицах приводятся в аннотированном указателе имен в конце каждого тома, адресаты писем в нем отмечены астериском (звездочкой). Археографические и библиографические сведения, а также краткие биографические справки об адресатах писем Волошина сообщаются в рубрике «Адресаты и источники текста», к ней примыкает Указатель писем по адресатам.

Условные сокращения

Из лит. наследия-1 – сб. «Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. I». СПб.: Наука, 1991.

Из лит. наследия-2 – сб. «Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. II». СПб.: Алетейя, 1999.

Из лит. наследия-3 – сб. «Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. III». СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.

ИМЛИ – Рукописный отдел Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва).

ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

РНБ – Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

РЦХИДНИ – Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (Москва).

Труды и дни – *Купченко В.П.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002.

ЦГИАМ – Центральный государственный исторический архив г. Москвы.

ПИСЬМА
1893–1902

1893

1. Е.С. ЛЯМИНОЙ

20 августа 1893 г. Феодосия

20 августа 1893 г.
Феодосия.

Вот никак не мог предположить, вскрывая твое письмо, что это письмо от тебя.[1] Я был уверен, что оно от Любы[2] — почерк у вас замечательно похож. Так как ты надписала в начале своего письма «№ 1», то я надеюсь и на целую серию писем. Ты ведь наверно не обманешь мои надежды. Я теперь только понимаю, насколько приятно получать письма и насколько неприятно писать их. Мне, право, завидно было читать твое письмо, до такой степени оно написано по всем тонкостям письмописания. Со времени маминого письма ты сделала замечательные успехи в этом искусстве.[3] Я пишу теперь массу писем, не успеваю даже перечитывать их, так что вперед говорю, что за грамматические ошибки и за знаки препинания не ручаюсь. В настоящую минуту я сижу в самой Феодосии в квартире докторши Чернобаевой, у которы <так!> буду жить всю зиму.[4] Так что, когда ты мне будешь писать письма, то не пиши больше «до востребования», а пиши по следующему адресу: «Феодосия. Е. В. Б. доктору Чернобаевой, собственный дом. С передачей Максу». А лошади, представь себе, нашлись ко всеобщему удивлению. Я с Павлом Павловичем ездил отыскивать их.[5] Это путешествие — настоящая Одиссея. Мы проехали сперва на лошадях в Карасубазар, оттуда в Симферополь, на лошадях же. Из Симферополя по железной дороге до станции Таганаш, из Таганаша на лошадях в Перекоп, так что совсем даже из Крыма выехали. И все это совершилось совершенно неожи-

данно для нас. Сперва мы получили известие, что лошади в Карасубазаре, и поехали туда, думая возвратиться через день, а вышло, что пробыли целую неделю. В каждом из означенных пунктов нам говорили, что лошади дальше, так что я надеялся уже попасть в Москву, а что попаду в Одессу или в Херсон, в этом я даже и не сомневался. Но наше путешествие окончилось Перекопом, где мы нашли обеих лошадей у исправника, которому они так понравились, что он надеялся их совсем у себя оставить и катался уже на них, благодаря чему одна лошадь охромела и еще до сих пор хромает. Напиши, пожалуйста, почему собственно Любе вздумалось поехать в Астрахань, что ей там делать? и долго ли она пробудет?[6]

Как же вы, останетесь в Москве или нет? Что поделывает Миша?[7] Прощай. Целую его и тебя. Кланяюсь Mademoiselle, Саше и дяде.[8] Также Феодосии.

Остаюсь твой кузен

Monsieur Max.

P.S. Писем от тебя жду с нетерпением. Напиши мне, пожалуйста, Любин адрес, а то она мне, пожалуй, позабудет написать, когда будет отвечать.

М.В.

[1] Ответ на письмо Е.С. Ляминой из Москвы от 11 августа 1893 г. (с пометой: «№ 1»), бывшее ответным на неизвестное нам письмо Волошина к Ляминым (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[2] С Л.С. Ляминой (младшей сестрой Е.С. Ляминой) Волошин переписывался ранее (сохранились ее письма к нему, начиная с 21 января 1893 г. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 804).

[3] Подразумевается письмо Е.С. Ляминой к Е.О. Кириенко-Волошиной.

[4] 23 августа 1893 г. начались занятия в феодосийской гимназии, куда Волошин был принят в 5-й класс. «Когда начались занятия в гимназии, — вспоминает Волошин, — мне пришлось из Коктебеля переехать в Феодосию. Т<ак> к<ак> у меня не было никаких предварительных знаком<ств> в Феодосии, то мама меня поселила на общей гимназической квартире у гимназического на<д>зирателя Чернобаева» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 361).

[5] О краже лошадей П.П. Теша конокрадами Волошин сообщал в неизвестном нам письме к Ляминым. О благополучно увенчавшемся розыске лошадей Волошин подробно рассказал в позднейших мемуарных записях (см.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 356–358). В письме от 11 августа 1893 г. Е.С. Лямина спрашивала Волошина: «Нашлись ли лошади? Ты говоришь, что ваших лошадей нахально украли. Напротив, я удивляюсь, как это они так долго были целы. Из одного тетиного письма я поняла, что лошади у вас бродят, неизвестно где, без всякого присмотра».

[6] Об отъезде Л.С. Ляминой в Астрахань Е.С. Лямина сообщила Волошину в письме от 11 августа. 20 августа 1893 г. Л.С. Лямина писала Волошину из Астрахани: «Я собралась совершенно неожиданно, накануне я и не подозревала, что поеду. Поехала я собственно для того, чтобы проехаться по железной дороге и на пароходе. Вот уж я здесь живу целую неделю».

[7] Младший брат сестер Ляминых М.С. Лямин.

[8] Гувернантка, брат сестер Ляминых А.С. Лямин и их отец С.К. Лямин.

1895

2. Е.С. ЛЯМИНОЙ

3 мая 1895 г. Феодосия

Милая Лёля!

Ты, конечно, будешь удивлена, получив от меня письмо на такой бумаге,[1] но дело в том, что этот листик уже давно лежит у меня и я не знал, кому лучше написать на нем и наконец решил написать тебе. Жаль, что теперь уже нет у нас фиалок, а то бы я тебе вместо этих вложил бы живых. В этом году у нас фиалки появились, кажется, с начала февраля. Теперь весна у нас в полном разгаре. Это лучшее время в Феодосии. Все горы в зелени (летом они обыкновенно совершенно бывают выжжены солнцем). Через неделю, должно быть, начнет цвести акация, и город тогда весь наполнится благоуханием. На горах теперь, особенно под вечер, бывает великолепно. Закат, море, воздух, простор, внизу город, а с другой стороны крымские степи, и на горизонте блестящая полоска Азовского моря, все это как-то опьяняет, очищает и возвышает. Но довольно о природе. Природа в письмах почти то же, что в разговорах погода. Перейдем к делу. Во-первых, посылаю тебе свою фотографию.[2] Не знаю, как тебе, но мне эта больше нравится, чем та, которая у Любы (да, кстати, благодарю ее за ее фотографию). Все находят, что я тут очень похож, но уж слишком сериозен, каким очень редко в действительности бываю. Второе дело вот в чем. Мне мама говорила, что вы все собираетесь на это лето в Ялту, и просила написать тебе условия ялтинской жизни. Я расспрашивал об этом своего друга и сожителя гимназиста Пешковского[3] (который в настоящую минуту в соседней комнате играет в четыре руки с m-lle Петровой и мешает мне писать письмо).

У родителей которого есть дача в Ялте, я узнал следующее. На их даче отдаются отдельные комнаты, меблированные по 15, 20 и 25 руб. в месяц. Комнаты все по величине одинаковы, а разница в цене происходит от того, есть ли вид на море или нет. Пансиона на даче не существует. Но обед можно получать тут же у повара по 15 руб. за персону. При комнате каждый день полагается по 2 самовара. Дача находится на набережной около устья Учан Су. Как бы было хорошо, если бы вы приехали в Крым. Мне бы страшно хотелось увидеться с вами. Вы ведь, если будете в Ялте, в Коктебель наверно попадете. Если вы действительно поселитесь в Ялте на даче Пешковского, то ты тогда познакомишься с моим товарищем. Я с ним единственно только и сошелся очень близко тут в Феодосии из гимназистов. Он еврей, страшный оригинал, феноменально рассеян, очень умен, очень симпатичен, а главное обладает замечательно мягким и добрым характером.

Жизнь моя теперь ничего замечательного не представляет: занимаюсь, читаю, даю уроки, изредка рисую и изредка пишу стихи. Посылаю тебе четыре моих стихотворения. Напиши, как они тебе понравятся.

* * *

Я вечером долго над морем сидел,
Глядел, как в синеющей дали
Темнеющий отблеск заката алел,
А волны мне сказку шептали.
И грустную сказку: о прежних годах,
О прежнем, потерянном счастьи,
О прежних, погибших навеки мечтах,
О сердце, сгоревшем от страсти...[4]

* * *

Брожу я с думою печальной,
Внимая ропоту волны.
Как отголосок тихий, дальний
Полузабытой старины
Зовет и манит звук прибоя

Куда-то ввысь, куда-то вдаль,
И всюду тихая печаль
Разлита в мире надо мною.[5]

* * *

Любовь — это старое слово
Для тех, кто уж много любил,
Но как оно чудно и ново
И полно ликующих сил
Для тех, кто познал лишь впервые
Его безграничную власть,
В ком силы кипят молодые
И бьется горячая страсть.[6]

(*перевод*)

Шумя, за волною катилась волна.
«Как жизнь быстротечна», сказала одна.
— «Жизнь короче — короче печали» —
Волны другие кругом отвечали.[7]

До свиданья. Целую всех вас, Любу, Мишу, Сашу, дядю и Анну Константиновну.[8] Жду с нетерпением твоей карточки и письма. Поцелуй бабушку от меня.

Если б вы приехали в Крым.

М. Кириенко-Волошин.

Поздравляю тебя теперь же заблаговременно с твоими именинами;[9] а то потом во время экзаменов мне не будет времени писать тебе.

[1] Почтовая бумага с изображением цветов.

[2] Надпись Волошина на фотографии (датировка: 3 мая 1895 г.): «С далекого юга на север родимый» (Труды и дни. С. 39).

[3] Волошин поселился вместе со своим товарищем по феодосийской гимназии А.М. Пешковским в доме М.Л. Рафанович (бабушки А.М. Петровой) на Дурантевской улице в августе 1894 г. О Пешковском (впоследствии видном лингвисте, авторе исследования «Русский синтаксис в научном освещении» (М., 1914), многократно переиздававшегося) Волошин вспоминает: «Это был еврей маленького роста, с огромным лбом Боклевского склада, очень серь-

езный, очень рассеянный, очень преисполненный чувством долга» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 365).

[4] Стихотворение датировано 11 апреля 1895 г., посвящено А.М. Петровой. См.: Т. 2 наст. изд. С. 313.

[5] 2-е стихотворение из трехчастного цикла «Море», датировано 3 июля 1894 г. См.: Там же. С. 278–279.

[6] Стихотворение под заглавием «В альбом Д.О. Д<уран>те», датировано 27 октября 1894 г.; вариант ст. 2: «Для тех, кто еще не любил». См.: Там же. С. 298.

[7] Датировано 10 октября 1894 г.; вариант ст. 3: «Чем жизни короче — короче печали». Перевод из неустановленного автора. См.: Т. 4 наст. изд. С. 923.

[8] Л.С. Лямина, М.С. и А.С. Лямины, С.К. Лямин и его сестра А.К. Лямина.

[9] Именины — 21 и 26 мая. 12 июня 1895 г. Е.С. Лямина писала Волошину: «Большое спасибо тебе, милый Макс, за твою фотографическую карточку и за поздравление. По вольности дворянства я позволила себе слишком долго не отвечать, но надеюсь, ты не очень сердишься <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

3. А.М. ПЕТРОВОЙ

17 июля 1895 г. Феодосия

Александра Михайловна!

Потрясающая, возмутительная и поразительная новость — гимназистам запрещено жить на квартирах, где есть барышни (моложе 40 лет). Это изверги! Это варвары! Это запрещение есть оскорбление, публичное оскорбление, брошенное в лицо всем феодосийским женщинам! Неужели они будут равнодушны к этому вызову? Так что ж это будет? Чего они хотят от нас? Чтобы мы жили на квартирах у учителей? О, если это совершится, то они не увидят во мне больше прежнего прилежного ученика, а увидят грозного революционера, бунтовщика, анархиста и, будь я не я, если не повторится история со стеклами. Они не имеют права насиловать меня. Что делать? Подумайте, научите! Это известие меня так потрясло, что у меня просто в голове помутилось. В следующее воскресенье я приду опять.[1] Как жаль,

Заказ № 5706

что я не застал вас теперь дома, мне так хотелось вас видеть. Гауфлер вам кланяется. Я самовольно (будьте уж милостивы ко мне) залез в ваш стол и извлек оттуда книги Доде и Теккерея. Простите, что без вашего позволения. Оставляю вам том Диккенса, взятый у Гончаровой.

О, почему я не знал, что вы в Эс<с>ен-Эли[2] – я бы пошел туда.

А я все-таки не верю, что начальство решится издать такое оскорбительное и насильственное представление. Прощайте. В воскресенье буду.

Ваш свирепый Макс.
17 июля 1895 года. Феодосия.

P.S. Долой губернатора Сандвичевых островов! Да здравствует анархия!

[1] Накануне, в воскресенье 16 июля, Волошин пришел из Коктебеля в Феодосию и не застал Петрову.

[2] Эссен-Эли – имение семьи Дуранте, родственников Петровой, под Старым Крымом.

1896

4. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

15 января 1896 г. Феодосия

Дорогая мама!

Доехал я до Феодосии благополучно.[1] Одно только не хорошо вышло, что выехал-то[2] я, как раз именно с тем самым поездом, с каким мне не следовало выезжать, потому что я приехал в Феодосию в 3 часа ночи. Но и тут мне повезло. По счастливой случайности я нашел на вокзале извозчика, а по другой еще более невероятной случайности мне не пришлось будить никого дома, даже и звонить не пришлось, так как ждали Пешковского, который был у Волк-Ланевских[3] на балу (тоже замечательный случай, чтобы директор[4] разрешил ученикам быть в гостях до какого угодно часа), и потому дождались и меня. Ехать мне было в общем хорошо, исключая одной ночи по выезде из Харькова, когда мне было совершенно негде спать и пришлось сидеть почти всю ночь и читать — я себе свечку в дороге купил, пока наконец надо мной не сжалилось несколько дам, ехавших рядом в дамском отделении, и не предложили мне у них в купе свободного места, где я и проспал остаток ночи. Никаких особенных встреч и знакомств по дороге у меня не было. Первое, что я должен был сделать в Феодосии, — это, проснувшись, немедленно бежать на репетицию «Ревизора».[5] Не знаю, как мне быть теперь лучше насчет урока. До масленицы я думаю не искать себе, потому что тогда у меня опять весь день будет занят, а я бы хотел более основательно занять<ся> изучением своей роли, да и чтением тоже. Мое опоздание прошло благополучно — начальство вполне убеждено в том, что я был болен, и Чураев даже сказал мне, когда я ему подавал

свидетельство, несколько соболезнующих сочувственных слов.[6] Посылки ваши я передал Любовь Ильиничне[7] в целости — она вас очень благодарит. Перестаю писать, потому что еще нужно готовить уроки. Простите, что сегодня мой почерк еще ужаснее обыкновенного — мне кажется, что я просто совсем разучился писать за праздники.

Целую бабушку и дядю Гришу и Ляминых.[8]

Макс.
15 января 1896 года.
Феодосия.

P.S. Нам задано уже новое русское сочинение на тему еще более богатую и интересную, чем предыдущие, — именно «Поэт и природа». В виде образчика между прочим дано стихотворение Тютчева: «Не то, что мните вы, природа...», о котором так <?> говорит В. Соловьев.[9]

[1] Волошин приехал в этот день из Москвы, где проводил с матерью рождественские каникулы.

[2] Волошин выехал из Москвы 13 января.

[3] Воллк-Ланевские — семья феодосийского присяжного поверенного Альфонса Матвеевича Воллк-Ланевского (1840-е — ок. 1908); в 1902 г. жили на Армянской ул., дом Вещицкого.

[4] Директор мужской гимназии чех Василий Федорович Гролих (? — не ранее 1921), действительный статский советник, преподаватель латыни. Педант, сторонник жесткой дисциплины.

[5] Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836) готовилась к постановке феодосийскими гимназистами.

[6] Подразумевается опоздание к началу занятий в феодосийской гимназии. Степан Артемович Чураев, учитель-латинист, надворный советник; инспектор мужской гимназии.

[7] Л.И. Алкалаева, феодосийка, мать соученика Волошина. Дворянка, херсонская помещица.

[8] Бабушка — Н.Г. Глазер, вдова статского советника, мать восьми сыновей и двух дочерей. Дядя Гриша — Григорий Оттобальдович Глазер, архитектор (с 1881 г. — в отставке). Лямины — семья тетки Волошина, Елизаветы Оттобальдовны Глазер (1851—1889, в замужестве Ляминой).

[9] Об этом стихотворении (1836) Вл. Соловьев писал в статье «Поэзия Ф.И. Тютчева» (Вестник Европы. 1895. № 4. С. 735–756; под заглавием «Ф.И. Тютчев» – в кн.: Философские течения русской поэзии / Сост. П. Перцов. СПб., 1896. С. 179–196): «Как бы прямым ответом на Шиллеровский похоронный гимн мнимо умершей природе служит стихотворение Тютчева: “Не то, что мните вы, природа <...>”. Вовсе не высшее *знание*, а только собственная слепота и глухота заставляют людей отрицать внутреннюю жизнь природы» (*Соловьев Вл.* Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М.: Книга, 1990. С. 284).

5. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 4 февраля 1896 г. Феодосия

Дорогая мама!

Простите меня, что я, несмотря на вашу просьбу, не мог сейчас же исполнить вашего поручения – засвидетельствовать моею подписью. Это произошло оттого, что в будни меня из гимназии не отпустили, а в первые дни масляницы, т.е. с четверга, я так был занят спектаклем, что, по правде сказать, это совсем у меня вылетело из головы. В пятницу у нас был спектакль – «Ревизор», все пять действий.[1] Публики была масса. Так много, как, кажется, еще никогда в Феодосии ни на одном спектакле не бывало. Успех был полный. О своем успехе я уж не говорю.

Курьезнее всего то, что по окончании спектакля со мной пожелал познакомиться феодосийский полицеймейстер[2] и горячо благодарил меня за то, что я так хорошо исполнил роль по его специальности. «Вы так хорошо по нашей части многое подметили».

По правде сказать, больше всего для исполнения роли городничего мне помогли наши учителя. У нас недавно в гимназии был ревизор по древним языкам, и тут действительно такой богатый случай для наблюдений представился, что лучшего желать нельзя. Я теперь вполне понимаю, почему гимназистам в Тамбове и Нижнем-Новгороде запретили посещать представления «Ревизора».

Вчера мы снимались сценами из «Ревизора» в костюмах и с гримом — целых восемь различных сцен.[3]

Занятия мои в эту четверть начались очень хорошо — несколькими четверками по-гречески, что уже совсем носит какой-то феерический характер.

Не знаю, что будет после масляницы. Директор так был доволен моей игрой, что Ал<ександра> Мих<айловна>[4] теперь все острит, говоря, что мой аттестат уже обеспечен, и что лучше<е> средство приобрести себе врагов на всю жизнь — это сказать кому-нибудь из учителей, что я плохо сыграл.

Одно только скверно, что на этой неделе нужно подавать русское сочинение (я вам писал о нем) «Поэт и природа», а я еще по случаю спектакля и не принимался за него. Последнее время я все занимался политической экономией. Вот замечательно интересная наука! Я еще ни одной книги с таким увлечением не читал.

Целую вас и бабушку.

Макс.

[1] Постановка «Ревизора» на сцене городского концертного зала в Феодосии силами мужской и женской гимназий состоялась 2 февраля 1896 г. Волошин выступил в роли Городничего.

[2] Феодосийским полицмейстером был, видимо, Иван Иванович Романовский, надворный советник в 1901 г.

[3] Эти фотографии сохранились в Доме-музее Волошина в Коктебеле. Согласно печатной программе спектакля, в роли Хлестакова выступил ученик 8-го класса Владимир Мамуна (1876–1918); А. Пешковский играл Бобчинского.

[4] А.М. Петрова была тогда преподавательницей частного Александровского женского училища в Феодосии. Волошин с Пешковским квартировали в доме ее бабушки с осени 1894 г. до весны 1896 г.

6. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

21 февраля 1896 г. Феодосия

21 февраля 1896 года.

Милая мама!

Напрасно вы очень удивлялись моим успехам по греческому языку — они вовсе не зависели от моих знаний по грамматике, но от моих знаний по греческой философии и истории, потому что мы теперь переводим Платона,[1] а для этого требуется знать кое-что и кроме грамматики, но если у меня опять спросят знания последней, то будьте уверены, что больше тройки не получу. По остальным предметам занятия мои идут успешно так же, как и прежде, а по математике у меня, по всем вероятиям, будет пять в четверти. Но не буду больше распространяться об этой скучной материи — она и без того, повторяясь ежедневно, наводит на меня страшную тоску.

С тех пор как я в этом году начал заниматься усерднее и взялся за частные уроки, как-то даже интерес к чтению исчезает. До рождества я не обращал на это внимания, потому что все мои мысли были поглощены Москвой и я жил исключительно моей будущей поездкой. Конечно, я все слишком идеализировал и совершенно не нашел того, что думал найти. У прежних моих товарищей,[2] да и вообще у всей молодежи, с которой мне приходилось встречаться (положим, не особенно многочисленной), я не нашел тех мыслей, идей, разговоров, которые я думал найти. Понял я это, собственно, только теперь в Феодосии, когда взглянул на все издали. Об Ляминых я и не говорю. В Модесте[3] я не нашел совсем молодости, в других прежних друзьях тоже. Только про Чернцова ничего не могу сказать, потому что не понял его, но он мне показался очень странным.[4] И теперь пришлось мне понять, что те интересы, которые нас раньше связывали, были слишком непрочны и теперь исчезли бесследно, а новые интересы если и могли бы зародиться, то не успели. Поэтому хотя я, уезжая, и обещал переписываться, но теперь решил

не писать никому, потому что писать нечего. Даже Модесту не нахожу что писать. Может, потом, когда опять встретимся, снова сойдемся, а теперь совсем нет никаких общих интересов.

Право, самый живой, самый молодой, интересный человек, такой, к которому я почувствовал бóльшую близость, чем к прочим, с кем я встречался, была m-me Юнге.[5] Я ей недавно писал, посылая обещанные мной мои стихотворения.

Да, так я начал говорить о том, что теперь нет даже такого интереса к чтению. Это не всегда — часто пробуждается страшная жажда к сериозным занятиям чем-нибудь, конечно не гимназическими предметами, но едва возьмешься за книгу, как нужно или идти на урок, или в гимназию, или сочинение писать, или, наконец, уроки готовить, а прозанимавшись несколько часов, делается не до чтения — нужно пойти прогуляться, да и это не всегда успеваешь сделать. Ведь собственно полдня пропадает совершенно без пользы в гимназии, потому что на уроках только сидишь да хлопаешь глазами, да томишься, а слушать решительно нечего да и невозможно — такая тоска по большей части бывает.[6] А это 6-часовое томление еще хуже какой бы то ни было работы, потому что там по крайней мере остается сознание пользы. Еще хорошо, что на некоторых уроках читать можно. На законе Божием я обыкновенно читаю газеты, — потому что поп[7] давно махнул на меня рукой и сложил с себя всякую ответственность касательно моей будущей деятельности. Да еще у Чураева можно читать, потому что он настолько благоговеет перед талантами феодосийского идола, что не решается ему сделать замечание за это. А на остальных уроках приходится спать.

Теперь я читаю каждый день «Русские Ведомости» и «Вестник Европы», который получает Саша.[8] Читали ли вы фельетон «Дети преступников» Рускина?[9] В январьском номере «Вестника Европы» есть три в высшей степени интересных статьи. «Византизм и Россия» Соловьева, статья Кони о Ровинском и «Американская деревня» Тверского.[10] Если можете достать, то непременно прочтите. В февральском но-

мере я успел прочесть только одну, тоже очень интересную статью о Цицероне, где говорится о том значении, какое он имел для каждой эпохи всемирной истории.[11] Кроме этого читаю «Политическую экономию» и перевожу одно замечательное стихотворение Фрейлиграта «Мираж»,[12] рассказ Отелло Дездемоне. Урок у меня теперь есть, только сколько я буду получать, не знаю, потому что в знакомом доме – неловко было говорить об этом. Думаю, что не менее 10 рублей. Скоро ли вы приедете? Мы с Сашей уже в Коктебель собираемся – у нас ведь весна. Прощайте. Целую вас и бабушку. Вам поклон от Марьи Леон<ардовны>,[13] Ал<ександры> Мих<айловны>[14] и Саши.

М. Волошин.

[1] Имеются в виду учебные гимназические переводы текстов Платона.

[2] Речь идет о бывших соучениках Волошина по 1-й московской казенной гимназии, где он учился с 1888 г. по весну 1893 г. Его друзьями той поры были Алексей Закалинский (1876–?), Владимир Макаров (1873–?), Владимир Румянцев и др.

[3] Модест Викторович Сакулин, сын инженера, учащийся Земледельческой школы (закончил ее в 1894 г.). Сохранились 28 его писем к Волошину за 1890–1899 гг. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1073).

[4] Александр Александрович Черндов (1877–?) – потомственный дворянин; закончив гимназию в 1896 г., поступил на естественный факультет Московского университета; впоследствии – земский начальник. Сохранились девять его писем к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1272).

[5] Е.Ф. Юнге одобряла юношеские стихи Волошина (в отличие от его матери). Волошин написал о ней некрологическую заметку (см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 484–486, 804–808 – комментарии Р.П. Хрулевой). Сохранились 13 писем Е.Ф. Юнге к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1353).

[6] Годы учения в гимназии – особенно в московской – Волошин и позднее считал потраченными впустую: «Это самые темные и стесненные годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 258).

[7] Закон Божий в феодосийской гимназии преподавал Афанасий Васильевич Иваницкий (1857–1905), протоиерей Александро-Невского собора.

[8] «Русские Ведомости» – ежедневная московская газета (1863–1918); «Вестник Европы» (1866–1918) – ежемесячный петербургский литературный журнал. Оба издания – либерального толка. Саша – А.М. Пешковский.

[9] Имеется в виду очерк Л. Рускина «У итальянцев (С детьми убийц)» – о приюте для детей преступников под Неаполем, – печатавшийся в «Русских Ведомостях» в номерах от 25 января, 1 и 10 февраля 1896 г. Л. Рускин – псевдоним Николая Николаевича Фирсова (1839–?).

[10] *Соловьев Вл.* Византизм и Россия // Вестник Европы. 1896. № 1. С. 342–359 (в № 4 было продолжение). Очерк А.Ф. Кони в «Вестнике Европы» (№ 1 и 2) посвящен Дмитрию Александровичу Ровинскому (1824–1895), юристу, историку искусства. П. Тверской – псевдоним публициста Петра Алексеевича Дементьева (1850–1923). Статью «Американская деревня» см.: Вестник Европы. 1896. № 1. С. 176–210.

[11] В № 2 «Вестника Европы» за 1896 г. была опубликована статья Ф.Ф. Зелинского «Цицерон в истории европейской культуры» (С. 661–701).

[12] Перевод стихотворения немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграта «Мираж» («Мой взор скользит между судов, стоящих в гавани кругом...») был закончен Волошиным 27 февраля 1896 г. См.: Т. 4 наст. изд. С. 913–914.

[13] М.Л. Рафанович.

[14] А.М. Петрова.

7. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

1 марта 1896 г. Феодосия

1 марта 1896 года.

Милая мама!

Спешу Вам ответить, для того чтобы это письмо застало вас в Москве. Так вы, значит, будете уже через неделю в Феодосии.[1] Весна у нас полная. Погода превосходная, такая, что теперь даже уж грязи на улицах мало. Кстати, если

уж дело коснулось грязи, то я вам должен сообщить очень прискорбный факт, происшедший с моими калошами. Дело в том, что я при наступлении грязного времени купил калоши, которые у меня через три дня в гимназии и украли. Несмотря на мои деятельные поиски и жалобы, обращенные к гимназическому начальству, они так и не отыскались, и мне пришлось купить новые, что мне обошлось 5 рублей, которые я занял у Любови Ильиничны.[2] Кроме того, я у ней занял еще рубль на учебные книги, которые я купил подержанными.

Кроме того, чтобы уже закончить денежные счеты, прибавлю, что мы с Пешковским дали Дуне (горничной, которая нам прислуживает – и очень усердно) 5 рублей на Рождество, т<ак> к<ак> мы ей ничего не дали целый год. Значит, каждый по 2 р. 50 к. Будете ли вы считать это на мой счет?

Урока у меня теперь опять нет, так как мой ученик заболел воспалением легких. Заниматься можно будет начать не раньше как через неделю, и пока до болезни я ему успел дать всего 4 урока.

Читаю я теперь все еще политическую экономию. Перевод стихотворения Фрейлиграта, о котором я вам писал,[3] я кончил – он мне, кажется, очень удался. Написал и несколько своих стихотворений – вот одно самое короткое и, как мне кажется, лучшее:

Что-то в душе шевельнулось –
Там, далеко в глубине.
Сердце ли снова проснулось,
Вспомня о близкой весне?[4]

В первое же воскресенье после вашего приезда[5] мы с Сашей явимся к вам в Коктебель. Теперь, весной, так и манит из города к морю и на горы. Мы теперь довольно много времени проводим на воздухе, играя по 2 часа в день в крокет на дворе у Алкалаевых. До скорого свидания. Целую вас и бабушку.

Макс.

P.S. Пожалуйста, купите мне, если можно, пред отъездом из Москвы гуттаперчевые манжеты, только не очень широкие, а то я тогда хотел купить, но совсем позабыл.

[1] В письме из Москвы от 26 февраля 1896 г. Е.О. сообщала: «К воскресенью 10-го числа наверное буду в Феодосии» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645).

[2] Л.И. Алкалаева.

[3] См. п. 6, примеч. 12.

[4] Датируется 28 февраля 1896 г. (Т. 2 наст. изд. С. 325).

[5] Воскресенье – 17 марта.

8. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

25 мая 1896 г. Ялта

25 мая 1896 года. Ялта.[1]

Дорогая мама!

Сегодня я получил ваше письмо. По-видимому, вы еще моего письма не получили. Я вам писал сейчас же по приезде в Ялту, так как думал, что все равно Пав<ел> П<авлович>[2] в первый же раз, как приедет в Феодосию, найдет мое письмо на почте. Теперь-то вы должны были уже получить то мое письмо, поэтому не буду повторять того, что писал в нем. Что касается Алкалаевых и поездки на выставку,[3] то я находился в положении известного осла, стоящего между двух одинаковых связок сена и в конце концов умирающего от голода, не зная которую выбрать.[4] Ваше письмо послужило для меня толчком, выводящим меня из этого неприятного положения, и сию же минуту по получении его написал Любовь Ильиничне,[5] что не могу ехать, хотя пред этим чуть было уже не дал окончательного согласия. Не могу сказать, чтоб я особенно много ходил здесь, – но это происходит не от лени, но от дурной погоды – каждый день регулярно бывает страшный ливень. О прогулке к Учан су[6] я вам писал. Кроме того, я был в Массандре с Сашей.[7] Самостоятельно я совершил одно путешествие – в Кореиз к m-me Юнге. Ко-

реиз находится в трех верстах от Алупки, и туда ведет шоссе через Ливадию, Ореанду и Ай-Тодор. В Кореизе m-me Юнге живет временно и на днях вернется в Ялту, чтобы рисовать розы, которыми теперь полна вся Ялта. Она последнее время все больна и, по ее словам, чувствует, что она начинает уже заживо разлагаться. Кореиз совершенно уединенное и очень красивое место, покрытое самой разнообразной растительностью. Живет она там на очень красивой даче у одних знаком<ых>, с великолепным видом на море, на Ай-Петри[8] и на берег по направлению к Алупке. Занимается она теперь переводом «Фауста». Переводит она его белыми стихами, так как думает, что хотя таким образом перевод и потеряет в форме, но зато выиграет в верности передачи мысли. Она возмущается всеми существующими переводами «Фауста» и говорит, что почти везде переводчики просто извращают мысли.[9] Мне она читала свой перевод, она перевела сцены четыре. Мне он очень понравился. Но переводит она только для себя и говорит, что в печать его, конечно, никто и не примет; но что таким образом она получает возможность гораздо глубже вникать в «Фауста», который ее любимое произведение. До свидания. Саша вам кланяется.

Макс.

P.S. Когда думают приехать Лямины и вполне ли это решено? Я думал бы остаться в Ялте так до половины июня, если вы, конечно, против этого ничего не имеете.

[1] Благополучно перейдя в 8-й (выпускной) класс, Волошин около 18 мая 1896 г. уехал вместе с Пешковским в Ялту, где у матери Пешковского был дом.

[2] Павел Павлович фон Теш — московский врач, отец четырех дочерей; с 1890 г. — гражданский муж Е.О. Кириенко-Волошиной. Занимался переводами, писал в газету («Курьер»).

[3] Имеется в виду Нижегородская Всероссийская выставка-ярмарка (куда Волошин, имея бесплатный железнодорожный билет, все-таки поехал во второй половине августа 1896 г.).

[4] Подразумевается Буриданов осел — образ, приписываемый французскому философу-схоласту XIV в. Жану Буридану.

[5] Л.И. Алкалаева.

[6] Учан-Су – водопад в горах близ Ялты, начало одноименной реки.

[7] А.М. Пешковский.

[8] Ай-Петри – одна из вершин Крымских гор (1233 м), плато над Ялтой, увенчанное живописными скальными зубцами.

[9] Переводческие опыты Е.Ф. Юнге из «Фауста» Гёте остались неопубликованными. До 1896 г. «Фауст» выходил в русских переводах Э.И. Губера (1838), М.П. Вронченко (1844), А. Овчинникова (1851), А.Н. Струговщикова (1856), Н.П. Грекова (1859), Н.А. Холодковского (1878), П. Трунина (1882), А.А. Фета (1882–1883), Т. Аносовой (1883), барона Н.Е. Врангеля (1889), Н. Голованова (1889), не считая многочисленных переводов отдельных фрагментов трагедии. См.: *Житомирская З.В.* Иоганн Вольфганг Гёте: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке. 1780–1971. М., 1972. С. 177–184.

9. А.М. ПЕТРОВОЙ

10 июня 1896 г. Ялта

10 июня 1896 года. Ялта.

Idole de mon ame*

Александра Михайловна!

Тысячу спасибо за присланный мне кредитный рубль.[1] Право, это замечательно хорошая идея была послать мне рубль, хотя решительно не могу припомнить, за что вы мне его должны, но, тем не менее, принял я его с радостью. Вы необыкновенно милы и замечательно умеете угадывать чужие мысли. Я тогда только что собирался совершить заем у Саши.[2] Взамен этого и я считаю своим долгом обрадовать вас, и подарю вас не рублем, а своей собственной особой, которая явится в Феодосию на будущей неделе в понедельник 17 числа в 5 часов утра. То-то вы обрадуетесь! Бедная моя, вы так плакали, когда я уезжал! Теперь слезы расставанья должны засохнуть в улыбках свиданья. Слыхали ль вы о древнем обычае, по которому жертва, шедшая к алтарю, ук-

* Идол моей души (*фр*).

рашалась гирляндами цветов? Слыхали? Так вот и я явлюсь в Феодосию в виде такого жертвенного быка, украшенного цветами, потому что Саша хочет отправить со мной целый транспорт роз для возложения на алтари его многочисленных симпатий – Верочек, Лерочек[3] и т.д. Конечно, я думаю, и на ваш алтарь будет ассигновано соответственное количество. Итак, я снова увижу Феодосию. После видов Ялты едва ли она покажется особенно презентабельной. Мы довольно много тут гуляем. В остальное же время Саша расстраивает нервные системы обитателей дачи своими музыкальными упражнениями. Родные его удивляются, почему это тот флигель, в котором они живут, последнее время пустует. Есть чему удивляться! Говорят даже, что количество нервных больных в Ялте увеличилось. Ужасно странно! Затем он очень усердно занимается ботаникой, а неделю тому назад с тем же усердием занимался поисками учебника ботаники. Для этого даже сидел в засаде в саду три дня и подстерегал одну даму, которую он сильно подозревал в обладании такого учебника. И, наконец, третье его занятие это немецкий язык. Теперь он получил Гейне и зачитывается. А! вот великолепная идея – я перевел одно стихотворение Гейне и напишу вам его в письме. Вы себе не можете представить моего положения – мне ведь тут некому его прочесть. Прочесть некому! Разве это не трагедия!?! А вот теперь я вам его напишу, и выйдет так, что как будто и прочел. И хорошо еще то, что так вы его наверно прочтете – выкинуть-то совестно будет, а читай я сам, может быть, вы и слушать не захотели бы. А пока до свиданья.

Кланяюсь 1) Марии Леонардовне, 2) Нине Александровне (и I-вой и II-ой), 3) Мише, 4) Оре, 5) Пете, 6) Дуне, 7) Поле, 8) Васильку, 9) Спитковскому, 10) всем знакомым Дуранте, каких я знаю (их же имена ты, Господи, веси), 11) и всем остальным феодосийским знакомым, которым несть числа.[4]

А за всем тем пребываю к вам благосклонным.

Макс.

P.S. Позволите ли вы мне оставить у вас на несколько дней мои вещи? Пожалуйста.

P.S. Саша вам и всем кланяется. Orbi et urbi.[5]

ENFANT PERDU[6]

Из Гейне

Забытый часовой в войне освобожденья,
Без смены на посту провел я тридцать лет.
Мне не было в борьбе надежды на спасенье,
Я знал, что не вернусь домой уже. О нет!

Я день и ночь не спал. Я спать не мог спокойно,
Как спал в палатках там весь сонм моих друзей.
Когда ж я засыпал в дремоте беспокойной,
Храп этих храбрецов гнал сон с моих очей.

И часто в ночи те сжималась грудь тоскою
И страх охватывал (глупцам неведом страх!),
Тогда, чтоб их прогнать, затягивал порою
Я песню вольную в рифмованных стихах.

Да! бодро я стоял, наставив чутко ухо!
И, если б хитрый враг подкрался в тишин е,
Я ловко бы всадил в его дрянное брюхо
Кусок свинца на память обо мне.

С другой же стороны и так могло случиться,
Что этот негодяй и сам умел стрелять.
Теперь я не могу уж более таиться:
Смертельно ранен я, и кровь нельзя унять.

Свободен пост! Уж смерть передо мною...
Эй! смену поскорей, чтоб время не ушло!
Но я не побежден — оружие со мною.
Лишь сердце ранено и кровью изошло.[7]

9 июня 1896 года. Ялта.
М. Кириенко-Волошин.

Ну что? Как же вам нравится?

[1] Кредитный рубль в Берлине равнялся в то время примерно 2,2 маркам (67 копеек золотом).

[2] А.М. Пешковский.

[3] Имеются в виду феодосийские гимназистки Вера Матвеевна Нич и Валерия Альфонсовна Вольк-Ланевская.

[4] Среди названных: бабушка А.М. Петровой М.Л. Рафанович; мать А.М. Петровой Н.А. Петрова и Н.А. Айвазовская, жена племянника И.К. Айвазовского; братья А.М. Петровой — Михаил, Орест и Петр; Василек – ее кот; И.О. Спитковский – соученик Волошина по феодосийской гимназии. Дуранте – феодосийская семья итальянского происхождения.

[5] Правильно: Urbi et orbi (*лат.*) — Городу (т.е. Риму) и миру; слова, входящие в принятую в XIII–XIV в. формулу благословения вновь избранного римского папы, как главы католической церкви для города Рима и всего мира; стали формулой благословения папы всему католическому миру. В переносном смысле: всему миру, всем и каждому.

[6] Стихотворение Генриха Гейне из его книги «Романсеро» («Romanzero», 1851). Enfant perdu (*фр.*) – дословно: потерянное дитя; так во французской армии называли солдат, находившихся в передовом дозоре движущегося военного отряда и на дальнем посту охранения.

[7] Публикация по автографу: Т. 4 наст. изд. С. 874.

10. Н.Г. ГЛАЗЕР

Середина сентября 1896 г. Феодосия

Милая бабушка!

поздравляю Вас с днем вашего ангела.[1] Поздравьте от меня пожалуйста и Любу,[2] а то я едва ли успею сегодня написать ей. Вот уж неделя, как я в Феодосии. Живу я по-прежнему вместе со своим другом Пешковским, но уже на новой квартире, потому что Мария Леонардовна (бабушка) не захотела в этом году держать пансионеров, так как ее это слишком утомляет.[3] Теперь мы живем у одного учителя женской гимназии, человека очень молодого (ему всего 25 лет), только что женившегося. А жена его даже моложе своих пансионеров — ей всего 17 лет. Она еще только в этом году кончила гимназию, так что с теперешней своей хозяйкой я еще в прошлом году танцевал на гимназических вечерах. Жить нам прекрасно — у нас небольшая, светленькая и очень чистень-

Заказ № 5706

кая комнатка. Да, положим, вся квартирка такая чистенькая, светленькая и новенькая, что кажется, во всей квартире не найдется ни одной старой вещи. Да и хозяева так симпатичны, так деликатны и заботливы, что просто часто неловко бывает. Единственный недостаток, какой можно найти у квартиры, — это отдаленность от гимназии — она находится на другом конце города. Для Феодосии это считает<ся> очень далеко, но, собственно говоря, это очень близко для Москвы, да и для меня ведь далекого расстояния не существует, а тут всё 15 минут ходьбы. Кроме нас с Пешковским, в соседней комнате живет еще один гимназист, товарищ по классу — Кржижевский.[4] А в том же дворе живет и Гауфлер, который когда-то был у вас. Что делают Лямины? Что они рассказывали про свои крымские впечатления? Довольны ли они проведенным летом? Заходил ли к вам еще Модест?[5] Ехать на рождество в Москву я теперь раздумал, потому что все равно недолго до того времени, когда я совсем переселюсь туда, а теперь не стоит деньги лишние тратить. До свиданья. Целую Любу, Лёлю и Мишу.[6]

Макс.

P.S. Виньетка к письму представляет один из нижегородских видов.[7] Это я срисовывал из Путеводителя по Нижнему.

[1] Именины — 17 сентября.

[2] Л.С. Лямина. Ее именины — в тот же день.

[3] М.Л. Рафанович, бабушка А.М. Петровой. 10 сентября 1896 г. Волошин и А.М. Пешковский поселились на квартире преподавателя женской гимназии Андрея Васильевича Грищенко (Лазаретная ул., дом Костова) (Труды и дни. С. 45).

[4] Г.Д. Кржижевский, сын унтер-офицера. В гимназической постановке «Ревизора» играл смотрителя училищ Хлопова. Позднее окончил юридический факультет Киевского университета св. Владимира, был присяжным поверенным в Ташкенте и Петербурге.

[5] М.В. Сакулин.

[6] Е.С. и М.С. Лямины.

[7] Над текстом письма рисунок пером: пристань на берегу реки. В Нижнем Новгороде Волошин провел восемь дней во второй половине августа 1896 г.

11. Е.С. ЛЯМИНОЙ

12 октября 1896 г. Феодосия

12 октября 1896 г.
Феодосия.

Дорогая Лёля!

Посылаю тебе две обещанных карточки – одну для тебя, а другую для Любы.[1] Посылаю тебе при этом письме, в виде образчика моих рисунков, этот набросок пером. Как тебе нравится он?[2] Надеюсь, что ты, конечно, вышлешь мне свою карточку в обмен на мою. Сегодня, кажется, минул ровно месяц с начала учения.[3] Время идет ужасно медленно. Чем ближе идет дело к окончанию гимназии, тем время идет все тише и тише. Как подвигается твоя латынь? Когда ты намерена держать экзамен? Не приехать ли тебе для этого в Феодосию. При нашей гимназии экстерны выдерживают в большинстве случаев, и теперь уже известно, что вместе с нами будут на аттестат зрелости держать две барышни.

Я живу теперь уже не у Петровых, а на новой квартире, конечно по-прежнему вместе с Пешковским.[4] Но к нам прибавился теперь еще один сожитель – Кржижевский – ты его, может быть, помнишь по его карточке? Хозяева наши очень милые люди. Нашей хозяйке всего 17 лет. Еще в прошлом году она была гимназисткой VII кл<асса>, и мы с ней танцевали на гимназических вечерах. Хозяин наш тоже совсем молодой – ему лет 25. Он учитель женской гимназии. Обстановка такая трогательная и всё так дышит семейным счастием, что нам с Пешковским кажется, что мы тоже переживаем медовый месяц. Времени теперь у меня очень мало. Урок у меня есть только один, но на нем мне приходится заниматься по три часа в день и за это удовольствие я получаю 20 р. в месяц. Ученика с такой колоссальной неспособностью и с таким колоссальным прилежанием у меня еще не бывало. По способностям и понятливости мой летний ученик Чемберджи[5] в сравнении с ним гений. А прилежание его простирается до того, что после трехчасовых занятий, когда я себя чувствую уже в полном состоянии невменяемости, он

мне иногда вдруг предлагает: «А не хотите ли, может, еще extemporale[6] написать или уроки на следующую неделю приготовить?» Я уже подумывал не раз, не отказаться ли мне от этого урока, но меня останавливает один проект, который мы имеем с Пешковским – именно по окончании экзаменов поехать в Константинополь.[7] С нами тоже собирается и Вера Нич. (Она кланяется тебе и Любе). В Москву на Рождество я не приеду. Не стоит – скоро ведь уж совсем перееду туда. Меньше года уж осталось. Если ты паче чаянья вздумаешь мне отвечать, чему я буду, конечно, очень рад, то имей в виду, что мой адрес: Феодосия. Дом Костова, близ дома Айвазовского. Андрею Васильевичу Грищенко для передачи мне. Прощай. Целую я тебя, Любу, Мишу[8] и бабушку. Как здоровье дяди Сережи?[9]

Макс.

P.S. Спитковский просит передать поклон тебе, Любе и Мише.

[1] Л.С. Лямина.

[2] На первом листе письма – рисунок Волошина. 2/14 ноября 1896 г. Е.С. Лямина писала Волошину: «Благодарю тебя за карточку. Рисунок твой нахожу очень удовлетворительным» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, сд. хр. 803).

[3] Занятия в 8-м классе феодосийской гимназии начались 9 сентября (Труды и дни. С. 45).

[4] См. п. 10, примеч. 3.

[5] Волошин давал уроки гимназистам Воинову и Чембержи в июле 1896 г. (Труды и дни. С. 44).

[6] Extemporale (*мн.* extemporalia, *лат.*) – учебные гимназические упражнения, состоящие в переводе текста (обычно на родном для учащихся языке) на латинский или греческий язык; искусственно составленные отрывки, предназначенные для перевода на древний язык.

[7] Неосуществленное намерение.

[8] М.С. Лямин.

[9] С.К. Лямин.

12. Е.С. ЛЯМИНОЙ

8 ноября 1896 г. Феодосия

8 ноября 1896 г.
Феодосия.

Милая Лёля!

Благодарю тебя за письмо. Получению его я действительно удивился, но удивился не тому, что оно явилось из-за границы из какой-то неведомой мне Аббации – это я уже знал из Любиного письма, но я удивился тому, что ты там за границей нашла время и желание написать мне.[1] Положим, судя по твоему письму, тебе не особенно там весело, так как тебе и говорить-то там не с кем, кроме немца, твоего соседа по табль-доту, которого ты, я думаю, все-таки очень мало понимаешь.[2] Аббация, по-видимому, тоже не особенно тебя заинтересовала как город, потому что ее описание гораздо больше напоминает отчет метеорологического бюро, чем описание города. Город, в котором наибольшее твое внимание привлекло то, что в нем по Реомюру летом бывает +20, а зимой +8, я не могу представить особенно интересным. Если ты мне будешь отвечать, и будешь затрудняться, что писать, то напиши мне всё, что ты видела по дороге и там в Аббации, – это мне будет очень интересно. Почему ты ничего не пишешь о здоровье дяди Сережи?[3] Лучше ли ему? Об себе мне мало что писать. Жизнь очень однообразна, и мне, наверно, было бы страшно скучно, если бы было хоть немного свободного времени, но его так мало и я бываю так рад, когда я бываю свободен, что некогда и подумать о скуке. Ужасно досадно, что мне совершенно некогда читать. Это просто казнь Тантала: у меня полный шкаф самых новых, самых интересных, наполовину еще не разрезанных книг, каждый месяц я себе выписываю еще новые, и мне их некогда читать. А вместо этого мне приходится сидеть по 3, по 4 часа со своим учеником, который заучился уже до того, что он недавно во время занятий историей совершенно сериозно осведомился у меня, когда мы живем, до или после

Рождества Христова. И я нисколько не удивился этому вопросу, до того он приучил меня ничему не удивляться. На мой вопрос, что такое держава, он мне ответил, что это шар с хвостом (sic!), а на вопрос, что составляло слабые стороны Византийской империи, отвечал, что больше всего в слабости были виноваты голубые и красные лошади (!!!!! ???) (понимай – зеленая и голубая партии цирка). И заметь, что это ученик V класса. Иногда он у меня спрашивает объяснение совершенно простых слов. Сегодня, например, я ему никак не мог растолковать, что означает глагол «быть». Долго я с ним бился, пока, наконец, не догадался сказать ему, что это то же самое, что по-латыни «esse», тогда он сразу понял. Вот до чего доводит гимназия! О, с каким нетерпением я жду ее окончания и с каким удовольствием <в> июне 97 года отрясу ее прах от ног своих. Гимназия буквально убивает все человеческое. Она отучает от труда, приучает к лени, приучает бессмысленно исполнять никому никогда и ни для чего не нужную работу, приучает бесплодно терять время и быть уверенным, что это время употребляется на что-то очень нужное, интересное и полезное для общества. Право, одна гимназия виновата в том, что наша молодежь так бесцветна и так мало интересуется окружающим. Всего это<го>, живя изо дня в день, и не замечаешь, но когда отрешишься от действительности и представишь себе, каково должно быть истинное воспитание, тогда только поймешь, до чего все это ненормально, исковеркано и вредно. Фу! я под влиянием воспоминания о своем ученике ударился в лирический порыв, для тебя нисколько не интересный. Перейду снова к теперешней моей жизни. Она сложилась хуже, чем в прошлом году. Хотя хозяева наши и симпатичные люди и отношения наши и очень хорошие, но все-таки далеко нет той сердечности и задушевности, что была у Петровых. Другой недостаток, что мы с Пешковским не одни – с нами живет еще третий товарищ – Кржижевский. Опять-таки против него мы ничего не имеем – он очень симпатичен, но тем не менее мы не одни и нам очень-очень редко приходится пого-

ворить с Пешковским так, как когда-то раньше мы говаривали. Как жаль, что ты не познакомилась с Пешковским. Но пора кончать – мне нужно садиться за уроки. Спитковский, Алекс<андра> Мих<айловна> и Вера Нич тебе кланяются. Да! m-lle и m-me Маркс[4] теперь живут в Вене, тебе представляется случай встретиться с ними на возвратном пути. Мама в Москву едет в начале декабря. Когда будешь писать мне, то адресуй лучше в мужскую гимназию. Поклон от меня дяде Сереже.

Твой Макс.

P.S. Узнала ли ты на приложенном рисунке фонтан, что по дороге в Отузы, ближе к Отузам?[5]

[1] Люба – Л.С. Лямина. 2/14 ноября 1896 г. Е.С. Лямина писала Волошину из Аббации (курорт в Австро-Венгрии, близ Фиуме; ныне в Италии): «Аббация – маленький уголок земли на берегу бухты Quarnero (Адриатического моря), очень хорошо устроенный для осеннего, зимнего и летнего курорта. Климат здесь благодатный: снегу и холоду не видят во всю зиму; средняя температура зимой +8° по Реомюру, а летом +20°» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[2] В том же письме Е.С. Лямина сообщала: «...несмотря на свое незнание немецкого яз<ыка>, я имею еще настолько храбрости, что веду в некотором роде разговоры за table d'hôtes'ом с своим соседом немцем, который, благодаря своему чешскому происхождению, говорит яснее австрийцев и, снисходя ко мне, старается произносить слова отчетливее и медленнее <...>».

[3] В том же письме Е.С. Лямина сообщала, что ее отец «лечится теплыми морскими ваннами».

[4] Семья подполковника (впоследствии генерал-лейтенанта) Н.А. Маркса – его первая жена Аделаида Валерьяновна (урожд. Чарыкова, в первом браке Фредерикс; 1857–1921) и ее дочь от первого брака Ольга Владимировна Фредерикс (1877 – ок. 1900).

[5] Над текстом письма – рисунок Волошина пером. Отузы – татарская деревня в Отузской долине, в 5 верстах к западу от Коктебеля.

13. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 15 декабря 1896 г. Феодосия

Дорогая мама!

Простите меня, пожалуйста, что я так долго не писал вам. Я, согласно нашему условию, ожидал от вас открытого письма, но так и не дождался его. Положим, если бы я и получил его, то все-таки не смог бы вам ответить до сегодняшнего дня, потому что все это время с самого дня вашего отъезда[1] у меня буквально не было свободной минуты. Сейчас же после вашего отъезда я принялся за сочинение, об котором я вам, кажется, говорил (тема: «Влияние воспитания на человека, по литературным типам»), и писал его ровно неделю,[2] причем написал целых две тетради. Еще хорошо то, что я писал его прямо набело, так что мне не пришлось его переписывать. После сочинения надо было готовиться к литературно-музыкальному вечеру.[3] Этот вечер устраивался специально гимназистами, без участия начальства. Я взял на себя литературное отделение, и поэтому дела у меня было по горло. Я ставил две сцены: «Бежин луг» и «Разговор дамы приятной во всех отношениях и дамы просто приятной».[4] Первую сцену с маленькими гимназистами, вторую с гимназистками. «Бежин луг» прошел прекрасно. Все было устроено как следует, и ночь, и река, и костер, и самые мальчишки в настоящих деревенских костюмах, и даже лай собак за сценой, исполнявший<ся> гимназистами же. Роли свои они исполняли прекрасно, и публика была чрезвычайно довольна этой сценой. Все находили ее лучшим номером, так что первое мое режиссерство увенчалось полным успехом. Вторая сцена сошла не так хорошо, положим, в постановке ее участвовал не только я, но и учитель русского языка женск<ой> гимназии.[5] Но времени на это уходило масса. Я сейчас же после обеда шел на репетицию и только к девяти часам возвращался домой. Тут приходилось делать все самому: доставать костюмы, устраивать сцену, гримировать и остал<ьное>. Сам я на этом вечере читал стихотвор<ение> Фруга «Дочь Иефая»[6] – я вам, кажется, говорил об нем. По

обыкновению я пользовался большим успехом. Как признанного «кумира феодосийской публики» меня единственного встретили рукоплесканиями. Стихотворение, кажется, произвело сильно<е> впечатление. Говорят, что некоторые чуть не заплакали, а Айвазовский, когда дошло до самого трагического места, закрыл лицо руками и по окончании стихотворения сейчас же отправился домой.[7] Кроме постановки литературного отделения у меня было еще много дела. Я рисовал виньетки для программ (пером и тушью). Между прочим, все принимали, что эти рисунки напечатаны. Теперь я могу хвастаться тем, что мои рисунки теперь есть даже у Айвазовского.

Свой прежний урок у Хорсуна[8] я оставил. У меня теперь есть уже другой урок с учеником II класса. Там я получаю всего 15 рублей, но занимаюсь не 3 часа, а всего час. Ученик очень способный и замечательно симпатичный, так что просто приятно заниматься. Что теперь делается в Москве? Приехала ли Лёля из Аббации?[9] В этот же конверт я кладу письмо, полученное на почте на имя Пав<ла> Павл<овича>.[10] Если успею, то зайду сегодня спросить, нет ли еще писем. Бумагу из опекунского совета я еще не получил — она теперь отправлена к губернатору. Поцелуйте от меня бабушку и Ляминых. Вам кланяются Пешковский, Кржижевский и Алекс<андра> Михайл<овна>.[11] Как поживает Катерина Носкова?[12] Как вы доехали? Записку Пав<ла> П<авловича> Пенскому[13] я передал.

Макс.

P.S. Совершенно неожиданно зайдя на почту, нашел ваше письмо, которое лежит там уже давно. Я не думал, что вы будете писать до востребования. Если вы не помните мой адрес, вот он: Лазаретная улица, д<ом> Костова, кв. Грищенко. Вам есть на почте заказное письмо. Оно будет послано в Москву. Если хотите, чтобы все ваши письма шли прямо к вам в Москву, то напишите начальнику почтов<ой> конторы.

[1] Е.О. уехала из Феодосии в Москву 1 декабря 1896 г.

[2] Указанное сочинение Волошин писал, используя статью Н.А. Добролюбова «О значении авторитета в воспитании». См. также п. 14.

[3] Вечер состоялся около 8 декабря в помещении Женской гимназии. Участники (20 человек) сфотографировались вместе с учителями Ю. Галабутским и С. Чураевым.

[4] В постановке по рассказу И.С. Тургенева «Бежин луг» (из «Записок охотника») были заняты гимназисты младших классов М. Перион, Д. Чернобаев, А. Скляревич, Е. Косич, М. Дьяконов. Последний впоследствии вспоминал: «...мы часами декламировали и играли в полуосвещенном классе под руководством Максимилиана Александровича. Он изучал с нами каждое слово, каждую интонацию и положил немало труда, чтобы добиться успеха» (Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 81). «Разговор дам» – инсценировка эпизода из гл. IX 1-го тома «Мертвых душ» Гоголя.

[5] Возможно, Николай Петрович Соколов.

[6] «Дочь Иеффая» – поэма на библейский сюжет (о принесении царем Иеффаем своей дочери в жертву по обету: Суд. XI, 1–40) Семена Григорьевича Фруга (1860–1916). См.: *Фруг С.Г.* Стихотворения 1881–1889. 2-е изд. СПб., 1890. Т. 1. С. 167–173.

[7] Позднее Волошин писал об И.К. Айвазовском в статье «К.Ф. Богаевский» (1907): «В годы своей старости он являл <...> торжественный образ Отца города, патриарха, почти Перикла» (Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 178).

[8] Илья Исаевич Хорсун – сын купца-караима, кончил гимназию в 1896 г. и в 1899 г. поступил на юридический факультет Московского университета.

[9] Лёля – Е.С. Лямина. См. п. 12, примеч. 1.

[10] П.П. Теш.

[11] А.М. Петрова.

[12] Екатерина Носкова – по-видимому, прислуга. 19 декабря 1896 г. Е.О. отвечала: «Катерина Носкова тебе кланяется» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645).

[13] Имеется в виду Григорий Яковлевич Пинский (?–1921) – феодосиец, ялтинский личный почетный гражданин.

14. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

22 декабря 1896 г. Феодосия

22 декабря 1896 года. 2 часа ночи.
Феодосия.

Милая мама!

Писали ли вы мне? Вот я отправил уже два письма, и до сих пор нет никакого ответа. Может, ваше письмо затерялось. Вот уже второй день, как нас распустили. Кржижевский и Пешковский уехали уже вчера, и я остался теперь один. Коснусь сперва гимназических дел. Выдали нам четвертные отметки. Я остался, как и был, шестым учеником. Отметки остались у меня те же, что и в первую четверть. Уже теперь учителя начинают говорить о предстоящих экзаменах и уже теперь даже дали нам программы по нескольким предметам. Студенческие волнения[1] отозвались некоторым образом и в нашей гимназии. Нам очень много говорил классный наставник[2] относительно того, что при окончании гимназии для каждого ученика составляется известная характеристика, которая посылается в университет, где она имеет громадное значение, так как по ней составляется мнение о благонадежности студента. Моя благонадежность, по-видимому, находилась у гимназического начальства в некотором подозрении. Это явствует из того допроса, который мне устроил Чураев. Этот разговор до такой степени интересен и достопримечателен, что я его постараюсь передать в драматической форме. Хорошо, что еще благодаря необыкновенно счастливому стечению обстоятельств я как раз перед этим читал стихотворение Беранже «Господин Искариотов»,[3] которое предостерегло и предупредило меня, иначе бы я наверно наболтал много лишнего. Итак, вот эта сцена. Ее можно назвать:

«Господин Искариотов»

(Сцена представляет небольшую комнату. Две постели. На столе горит лампа. Кржижевский и Пешковский сидят у стола и во время всей сцены молчат. Макс декламирует:

Макс. Но сдва он к ним ногой –
Разговор друзсй прямой
Прскращастся словами:
«Тишс, тишс, господа...» – Ах!

В это врсмя в дверях появлястся Чурасв в чсрном ссртукс, бслых пср-чатках и <с> котслком в руках. Он обворожитсльно раскланивастся и улыбастся.)

Чурасв. Здравствуйтс, господа! Ах! Кириснко – ж<р>сц поэзии, читаст стихи! (Садится.) Ну, гдс жс ваша квартирная книга? (Пешковский сму подаст сс, он расписывастся, оглядываст комнату. Нсловкос молчанис.) Ну, Кирисико, скажитс, что вы тсперь читастс?

Макс. Я... то ссть, видитс... я, собствснно говоря, тсперь ничсго нс читаю...

Чур<асв>. Нс можст быть? Ну, а раньшс что жс вы читали?

Макс. То ссть, видитс... у мсня тсперь совссм нст врсмсни. Там было устройство спсктакля, потом уроки... А раньшс писал русскос сочинснис.

Чур<асв>. Ну, а раньшс раньшсго?

Макс. То ссть лстом? Я тогда занимался политичсской экономисй...

Чур<асв> (обрадовавшись). Да! Но, Кирисико, видитс, это всдь наука, кажстся, сщс такая нсобоснованная... Это, вы знастс, всё разныс «измы». (Нсожиданно.) Но что жс, вы думастс сс ссйчас жс на практикс примснить?

Макс (изумлсино). То ссть, как это на практикс?.. Я, видитс ли, собствснно говоря, хочу поступить на юридичсский факультст и избрать ссбс политичсскую экономию спсциальностью.

Чурасв. А... а!.. (Замстив газсту на столс.) Что это? Вы получастс «Русскис Всдомости»? Скажитс, Кирисико, вы читали об этой пcчальной студснчсской истории? Ах! повсритс ли, у мсня просто кровью, кровью за них ссрдцс обливастся. (Прижимаст руки к груди и роняст на пол одну крокодилову слсзу.) Скажитс, Кирисико, вы сочувствустс студснтам?

Макс (смущснно). Я, право, нс знаю... я так мало знаком с этим дслом...

Ч у р а е в (в упор). Но скажите, Кириенко, вы бы пошли служить панихиду на Ваганьковское кладбище?[4] (Заметив общие удивленные взгляды.) Я вижу, господа, что мои вопросы, кажется, слишком наивны? Но по-моему, тут следовало подождать, подождать. Они хотели всё слишком быстро, а тут следовало действовать постепенно. Так как же, Кириенко?

М а к с. Право, Степан Артемыч, не знаю... Мне никогда не приходилось быть в таком положении... Тут, мне кажется, все зависит от психического состояния...

Ч у р а е в. Да! да! Вы только подумайте: они вдруг хотят университетской автономии, устава 63-го года!..[5]

М а к с (наивно). А скажите, пожалуйста, я вот хорошенько не знаю, в чем, собственно, заключался устав 63-го года?

Ч у р <а е в> (смущенно). То есть... я, видите, теперь, право, не могу припомнить... Это был очень либеральный, очень либеральный устав...

М а к с. Да, но ведь кажется, что теперешний министр Делянов был горячим поборником его?..[6]

Ч у р а е в (уже встал и постепенно пятится к двери). Да, да! кажется... право, не помню... До свиданья, господа! (Уходит с очаровательным поклоном.) (Кириенко, Пешковский и Кржижевский смотрят друг на друга в безмолвном изумлении. Комната наполнена каким-то смрадом.)

З а н а в е с п а д а е т.

Как вам нравится это? Пешковский прав, проводя параллель между Феодосийской гимназией и спартанским воспитанием. Спартанцы напаивали своих рабов, чтобы показать юношам порок во всем его безобразии;[7] феодосийские педагоги сами изображают из себя этих рабов, показывая, какими не нужно быть. Конечно, есть и исключения между ними. С моим последним русским сочинением произошла следующая история. Тема его была: «Влияние воспитания на жизнь человека (по литературным образцам)». Я задался слишком широкой целью: обнять всю русскую жизнь в главнейших литературных типах. Я разобрал всего 30 типов и,

конечно, ушел далеко от темы. Галабуцкий[8] попросил меня зайти к себе и долго говорил со мной об этом сочинении. Он говорил, что просил меня зайти к себе, потому что считает неудобным разбирать это сочинение в классе, так как написано оно уже в слишком негимназическом духе и представляет из себя скорее сатирическо-обличительную статью, чем рассуждение на заданную тему. Говорил о том, что оно отступает сильно от темы, советовал таких сочинений больше не писать, потому что если бы оно попалось на глаза начальству, то это бы мне очень повредило, порицал слишком мрачные краски и резкие выражения, но в заключение сказал, что сочинение ему очень понравилось, и попросил подарить ему его на память, так как он собирает лучшие сочинения своих учеников. Поставил он мне за него четыре, и в классе не упомянул об нем ни одним словом.

На рождество устраивается масса спектаклей, в которых я участвую. Приехавшие на рождество студенты просили меня принять участие в студенческом вечере в пользу бедных студентов, но директор запретил мне. У Алкалаевых я не был ни разу с тех пор, как был там вместе с вами. Меня и не звали туда, да и Пешковского тоже. Некоторые из товарищей, бывавшие там, предупреждали меня, чтобы я не ходил туда: «потому что там о тебе так отзываются, так тебя бранят, что просто стыдно делается». Теперь, когда все гимназисты разъехались, Володя,[9] где только ни встретит меня, сейчас же зовет меня прийти к ним и участвовать в их спектакле. Встретился вчера с Любовь Ильиничной,[10] она такая любезная, приветливая – и первый вопрос: «Что же это вы к нам не показываетесь?» Я решил туда больше не ходить ни в каком случае.

Александра Михайловна[11] надеется, что в начале января ей удастся попасть в Москву. Ей страшно хочется видеть Дузе.[12] Думает она приехать так на недельку. Она просила узнать, не согласитесь ли вы быть ее руководителем при осмотре московских достопримечательностей? И просила спросить, нет ли поблизости от вас каких-нибудь меблиро-

ванных комнат или гостиницы, словом, квартиры, которая была бы около вас, так как вы ее единственная знакомая в Москве. Ей бы, собственно, хотелось нанять комнату в том же доме, где вы, но ведь там, кажется, ведь никто не отдаст комнат. Напишите, пожалуйста, есть ли где-нибудь поблизости помещение?

Посылаю вам мои последние стихи. Как они вам понравятся?

Многим.[13]

Когда, одушевясь идеею святою,
Вам юноши твердят про высшие права,
Про правду, про любовь, качая головою,
Вы отвечаете: «Ах! это всё одни красивые слова!»
Когда вам говорят о деле просвещенья,
Что мы идем вперед с трудом, едва-едва,
Что есть же все-таки предел долготерпенья,
Вы отвечаете: «Ах! это всё одни лишь страшные слова!»
Когда вам говорят про братство, про свободу,
Что нужно мысли дать гражданские права,
Зовут на честный труд, служение народу,
Вы отвечаете: «Ах! это всё одни лишь громкие слова!»
«Слова, слова, слова!» – твердите вы с презреньем.
Настанет ли тот час, как ваша голова,
Внезапно осветясь, постигнет с изумленьем,
Что это всё для вас «забытые слова».

Это написано под влиянием толков об студенческом бунте. Галабуцкому оно понравилось. Как теперь здоровье бабушки? Что ваша нога? Целую вас, бабушку, Лёлю, Любу и Мишу[14] и поздравляю заблаговременно и с рождеством, и с новым годом. Кланяйтесь Досекиным и Андриевич.[15] Знаете ли вы что-нибудь о Модесте?[16] Лёля наверно уже вернулась. Что она говорит о своих впечатлениях? Скажите Любе, что я теперь уже танцую на вечерах венский вальс и сам удивляюсь моему нахальству. Вам кланяются все: и Саша,[17] и Алек<сандра> Мих<айловна>, Мар<ия> Леон<ардовна>,[18] Нина Алек<сандровна>,[19] Любовь Ильинична, Кржижевский, Спитковский[20] и т.д. Что теперь делает в Москве

Пав<ел> Пав<лович>?[21] Я его теперь себе даже как-то не могу представить в Москве. Поклонитесь ему и Софье Павловне.[22] Также и Устинье и Катерине Носковой.

Макс.

P.S. Виньстка тут не моя, а Алек<сандры> Михайловны.[23]

Я получил от Киевского банка извещение, что в Феодосийский банк переведено 70 р. 80 к. Что мне делать?

[1] Студенческие волнения в Московском университете проходили с 18 по 27 ноября 1896 г., под руководством Союзного совета объединенных землячеств и под лозунгом «борьбы против современного университетского режима», в надежде, что «беспорядки вызовут к активной жизни наилучшие элементы» студенчества. 711 студентов было арестовано, на 622 из них университетским судом были наложены дисциплинарные взыскания (Русские Ведомости. 1896. 6 дек.).

[2] С.А. Чураев.

[3] Стихотворение французского поэта Пьера-Жана Беранже «Monsieur Judas» (1821) в переводе В.С. Курочкина (1861). См.: Поэты «Искры». Т. 1: В.С. Курочкин. Л.: Сов. писатель, 1955. С. 525–526 (Б-ка поэта. Большая серия). Далее приводится неточная цитата из него.

[4] Панихида на Ваганьковском кладбище по погибшим 18 мая 1896 г. при коронационных торжествах на Ходынском поле должна была состояться 18 ноября, в полугодовую годовщину. Была предотвращена полицией, но стимулировала начало студенческих волнений.

[5] По университетскому уставу, утвержденному 18 июня 1863 г., все дела о столкновениях студентов с преподавателями и администрацией передавались из правления университетскому суду из трех профессоров; учащиеся были разделены на студентов и посторонних слушателей. Устав запрещал корпоративные организации студентов – в том числе студенческие кассы, библиотеки, читальни. В последующие годы полицейский надзор над студентами был усилен, свободы еще более урезаны.

[6] Граф И.Д. Делянов, министр народного просвещения с 1882 г., ввел в 1884 г. новый устав, лишивший университеты прежней автономии.

[7] Плутарх сообщает о спартанцах в жизнеописании Ликурга (XXVIII): «Они заставляли илотов пить несмешанное вино, а потом приводили их на общие трапезы, чтобы показать молодежи, что та-

кое опьянение» (*Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: В 3 т. / Перевод С.П. Маркиша. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 1. С. 74).

[8] Ю.А. Галабутский, преподаватель русского языка и литературы в феодосийской мужской гимназии, был любимым учителем Волошина.

[9] Владимир Семенович Алкалаев-Калагеоргиев (1879–?), сын богатых херсонских помещиков, одноклассник Волошина. Позднее окончил естественный факультет Киевского университета.

[10] Л.И. Алкалаева.

[11] А.М. Петрова.

[12] Итальянская драматическая актриса Элеонора Дузе гастролировала в России в 1891–1892 и в 1908 гг.

[13] Стихотворение «Многим» (20 декабря 1896 г.) позднее было опубликовано в ташкентской газете «Русский Туркестан» (1901. № 26, 2 марта). См.: Т. 2 наст. изд. С. 347.

[14] Е.С., Л.С. и М.С. Лямины.

[15] Досекины – братья-художники Николай Васильевич (1863–1935) и Сергей Васильевич (1868–1916); жена Н. В. Досекина – Мария Петровна, урожд. Андриевич (во втором браке Плетнева; ок. 1874–1940-е). Волошин с матерью жил в их квартире в 1893 г. (с 30 апреля по 1 июня) перед переселением из Москвы в Крым. У Досекиных он впервые попал в художественно-литературную среду. М.П. Досекина была дочерью штабс-капитана Петра Павловича Андриевича и его жены Екатерины Николаевны, с которыми Е.О. дружила в юности в Киеве. В 1896 г. Андриевичи уже жили в Москве (Александровский пр., 29).

[16] М.В. Сакулин.

[17] А.М. Пешковский.

[18] А.М. Петрова и М.Л. Рафанович.

[19] Нина Александровна Айвазовская (урожд. Нотара; 1867–1944) – жена племянника И.К. Айвазовского, совладелица имения Эссен-Эли под Старым Крымом.

[20] Исар-Абрам Иосифович Спитковский, сын московского мещанина, был соучеником Волошина по феодосийской гимназии. В 1898 г. поступил на медицинский факультет Киевского университета.

[21] П.П. Теш.

[22] Софья Павловна Теш (в замужестве Быховская; 1867 – ок. 1901) – старшая дочь П.П. Теша. Волошин посвятил ей стихотворение «Сурп-Хач», написанное 6 августа 1894 г. См. т. 2 наст. изд. С. 287–289.

[23] Виньетка на первом листе письма.

Заказ № 5706

1897

15. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

17–21 января 1897 г. Феодосия

17 января 1897.

Милая мама!

Наконец-то я собрался вам написать. Простите, пожалуйста, меня за такое долгое молчание. Если вы меня спросите, почему я так долго не писал, то, право, даже, пожалуй, не смогу ответить. Так как-то все откладывалось со дня на день, то времени не было, то историческое сочинение «О развитии и направлении греческой колонизации» нужно было писать, теперь висит над головой новая туча – русское сочинение «О поэме нового времени», словом, в общем много работы. Напрасно вы думаете, что я совсем мало занимаюсь своими гимназическими уроками: я об них, правда, ничего не пишу – не пишу потому, что вся эта классическая канитель уже до того надоела, что просто и вспоминать об ней тошно. Вообще, чем ближе дело подходит к маю месяцу,[1] тем время ползет все медленнее и медленнее. Часы уроков превращаются в дни, дни в недели, недели в месяцы. Никогда для меня не тянулось время так долго, как теперь, никогда гимназия не казалась противнее, учителя глупее, предметы скучнее и правила стеснительнее. Испытываешь ощущение человека, собирающегося в дорогу: все к отъезду готово, вещи уложены, нужно только уложить немногое оставшееся, а там – марш в дорогу. В таком настроении все бывает поглощено одною мыслию о близком отъезде: приняться за какое-нибудь постороннее дело невозможно – все валится из рук и книга не читается. Я теперь буквально не в состоянии взяться за сериозную книгу. Положим, это, может,

происходит оттого, что читать приходится исключительно урывками — только что заинтересуешься, а тут нужно или идти на урок, или заниматься. Так что я решил теперь оставить чтение всех приобретенных мною новых книг на лето и исключительно заняться беллетристикой, которую я теперь только и могу читать, тем более, что нашел у себя много пробелов: я не имею никакого понятия о Писемском, Шпильгагене, Жорж Занд, Вальтер-Скотте и многих других. На рождестве я прочел «Консуэло» Жорж Занд и «Загадочные натуры» Шпильгагена.[2] Последнее особенно мне понравилось. Читали ли вы уже «Автобиографию» Милля?[3] Какое впечатление произвела она на вас? Праздники прошли для меня замечательно скучно.

21 января 1897.

Это письмо я начал писать несколько дней тому назад и не успел докончить, а эти дни все время буквально было занято уроками. Только что я получил вашу открытку[4] и сел снова писать с твердым намерением окончить письмо, хотя бы мне пришлось из-за этого опоздать на урок. Теперь занятия вошли в свою прежнюю колею после праздников, и их по-прежнему много.

Когда я взвешиваю в уме свои шансы на успех при выпускных экзаменах, я прихожу к убеждению, что мне все благоприятствует. Самое слабое место мое — греческий язык, в году он для меня опаснее всего. Во вторую четверть у меня с ним чуть не случилось несчастия. Меня Морозов (учит<ель> греческ<ого> яз<ыка>,[5] семинарист, которому всегда так хочется выругаться) вызвал в начале четверти, и я, отвечая урок, сказал ему, между прочим, что греческий язык вселяет в меня непреодолимое отвращение к себе. За это он мне поставил единицу и перестал спрашивать, предупредив, что перед рождеством спросит меня по всему курсу VIII класса, так что тогда мне пришлось много заниматься и это все кончилось, к<ак> вы видите, благополучно. На выпускном экзамене опасно<сть> в этом отношении для меня устраняется, так как главное на устном экзамене — это зна-

ние греческой мифологии, философии и истории, а перевод занимает второе место. Письменных же переводов с древнего я не боюсь, так как чувствую себя достаточно сильным в этом отношении. Пожалуй, труднее всего экзамен по математике, особенно устный, так как требуется курс восьми классов, хотя у меня и четыре по математике, все-таки придется много заняться и перед экзаменами и на экзаменах.

Остальные же экзамены пустяки, только вот, пожалуй, еще Закон Божий представляет известное затруднение.

Я очень хорошо в этом году устроился с уроками. У меня теперь два урока. На каждом я занимаюсь три раза в неделю по полтора часа и за оба получаю в месяц 18 рублей. Всего на два рубля меньше, чем когда я занимался с Хорсуном,[6] а времени у меня остается гораздо больше.

У Алкалаевых я перестал теперь совсем бывать, хотя встречаюсь с Л<юбовью> Ил<ьиничной>[7] и Ал. Ник.,[8] отношения совсем дружелюбные. Перед рождеством Володя[9] усиленно просил меня бывать у них, и Люб<овь> Ильин<ична> тоже при встрече просила меня, но когда я и после этого не был у них, то они не пригласили меня даже к себе на танцевальный вечер, куда были приглашены все другие Володины товарищи. Окончательно решил я там не бывать после того, как некоторые товарищи, бывавшие там, предупреждали меня: *«Не ходи лучше туда, потому что там об тебе так отзываются...», как отзываются, положим, мне они не хотели даже и передать, а после того, как Люб<овь> Ил<ьиничнa> просила* меня перед рождеством, я совсем решил не бывать там. Пешковский и Кржижевский тоже окончательно перестали там бывать. Когда вы будете писать, напишите мне, пожалуйста, об Алек<сандре> Михайл<овне>.[10] Долго ли и много ли вы ее видели? Где она была в Москве? Какое впечатление все произвело на нее? Она ничего этого не пишет домой.

Недавно я перевел два стихотворения из Гейне.[11] Напишите, пожалуйста, как они вам нравятся, т.е. как вам нравятся и перевод и самые стихотворения? Вот они:

Душа моя широка:
Как небесный свод
Вмещает она в себе
Всю вселенную.
Ревет ли буря,
Сияет ли солнце,
Плывут ли облака
По синему небу —
Все отражается в ней,
Все находит в ней отклик.
Сердце мое глубоко:
Оно как море
Бывает спокойно,
Как море — прекрасно,
Как море — бурно.
Много сокровищ
Лежит в глубине его,
Но только буря
Их бросить может
Из глубины
На берег.
Мысль моя — это молния:
Огненным зигзагом
Рассекает она
Черные тучи,
И на мгновенье
Озаряет мрак,
Окружающий меня.....
    Сам я — червяк.[12]

* * *

Плещут в море волны,
Ходят в небе тучи,
Высоко над ними
Ярко блещут звезды.
В сердце — всё сомненья,
В голове — всё думы,
Но звездой сияет
Мне твой образ милый
Тихо и спокойно.[13]

До свиданья. Целую вас, бабушку и Ляминых. Вам поклон от Пешковского, Кржижевского и Гауфлера. Гауфлер кланяется тоже и бабушке.

Макс.

P.S. Деньги получил и заплатил что куда нужно.

[1] Имеются в виду гимназические выпускные экзамены (Волошин сдавал их с 5 по 20 мая, 6 июня 1897 г. получил аттестат зрелости). См.: Труды и дни. С. 49–51.

[2] «Консуэло» – роман (1842–1843) Жорж Санд. «Загадочные натуры» – «Проблематические натуры» («Problematische Naturen», 1860) – первый роман Фридриха Шпильгагена.

[3] «Автобиография» (1873) английского философа-позитивиста Джона Стюарта Милля вышла в Москве в русском переводе в 1896 г.

[4] Эта открытка Е.О. среди ее писем к Волошину не сохранилась.

[5] Иван Иванович Морозов (ок. 1854 – не ранее 1915) – учитель греческого языка. В службе с 21 сентября 1876 г., статский советник (с 1894 г.). В январе 1910 г. награжден орденом св. Владимира 4-й степени.

[6] И.И. Хорсун.

[7] Л.И. Алкалаева.

[8] Неустановленное лицо.

[9] В.С. Алкалаев-Калагеоргиев.

[10] А.М. Петрова.

[11] Нижеприведенные стихи принадлежат самому Волошину (ср. п. 16). Стихи Г. Гейне Волошин переводил, начиная с осени 1893 г.

[12] В тетради юношеских стихотворений Волошина – беловой автограф этого стихотворения под заглавием «Человек (посвящ<ается> А.М. П<етров>ой)», датировка: 21 января 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 86–86 об.). Переработанная редакция стихотворения («Мой дух широк: он обнимает...»): Т. 2 наст. изд. С. 368.

[13] Беловой автограф этого стихотворения с датировкой: 22 января 1897 г. – там же (л. 86 об.). См.: Т. 2 наст. изд. С. 354.

16. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

*4 февраля 1897 г. Феодосия**

4 февраля 1897 года.

Милая мама!

На этот раз я буду аккуратен и сажусь писать вам на другой день после получения вашего письма.[1] В прошлом письме я позволил себе маленькую мистификацию: те два стихотворения, которые я вам отправил в прошлом письме под видом переводов из Гейне, — мои собственные, оригинальные. То, которое вам понравилось, называется «Человек». Помните, как-то летом я говорил вам, что мне бы очень хотелось узнать ваше непредвзятое мнение о моих стихах, т.е. что бы вы сказали о них, если бы знали, что не я их написал. Для этого я и отправил их к вам под видом переводов из Гейне, тем более, что по манере и по размеру они Гейне немного напоминают, хотя мысль, образы и сравне<ния> — все мое собственное. В конце письма я припишу несколько своих стихотворений. Павла Павловича[2] я видел всего несколько минут. Он был у меня сейчас же по приезде, но не застал меня дома и просил Сашу[3] передать мне, чтобы я пришел. Ну, Саша, конечно, все позабыл и сообщил мне об этом только на другой день утром, причем, конечно, позабыл, в какой гостинице Пав<ел> Пав<лович> остановился. Я сейчас же побежал искать и по счастию встретил П.П. на улице, когда он уже ехал в Коктебель. Бумага, которую вы мне прислали для подписи и засвидетельствования, уже засвидетельствована, и завтра я ее отправлю в Киев. Рассказ Лиды[4] «Кто он» я читал — мне давала m-lle Воллк-Ланевская.[5] Он мне замечательно нравится. Вот он настолько тонко и художественно написан, что мне кажется, что его своими словами передать совершенно невозможно. «Прометея» Гёте в переводе Бальмонта я не читал, но читал некоторые отрывки из него в других переводах.[6] Помните ли вы «Прикованного Прометея» Эсхила?[7] Я помню, вы мне когда-то читали его вслух. Это интересно для сравнения.

---

* *Перед текстом — пейзажный рисунок Волошина пером.*

Я пишу вам теперь с облегченным духом: я только что кончил русское сочинение и просто как гора с плеч свалилась. Саша и Кржижевский пока еще пишут. Я чрезвычайно рад, что привык теперь писать прямо набело — это очень сокращает время.

Я теперь читаю «Фритьоф Нансен», сборник статей Бröггера и Рольфсена, перевод с датского.[8] Это очень интересно; прочтите, если достанете. Нансен, как человек, замечательно симпатичен. Недавно я прочел «Чрево Парижа» Зола.[9] Этот роман произвел на меня очень тяжелое впечатление, но эта тяжесть находится не в голове и не в сердце, а в желудке. Никогда еще ни одно литературное произведение не производило на меня такого странного впечатления. Там такие яркие описания всевозможной провизии в неизмеримых количествах, что мне кажется, что если бы прочесть оттуда страничек 10 совершенно голодному человеку, то он наверно не только перестал бы чувствовать голод, но почувствовал бы даже отвращение к пище, как от пресыщения. Я это испытал на себе и потому никогда не читал до обеда. Особенно ужасно в этом отношении описание колбасной.

Гимназические дела мои идут обычным порядком, — все благополучно. Из ваших писем я вижу, что вы одного моего письма не получили. В нем я описывал небольшую историю, которая случилась с моим предыдущим русским сочинением. Тема была «Влияние воспитания на характер человека на основании литературных типов». Я взял целых 30 типов из русской литературы и разобрал их довольно резко. Галабуцкий еще до отдачи сочинений попросил меня зайти к нему и просил больше таких сочинений не подавать, так как я ставлю его в неловкое положение, потому что разобрать в классе такое сочинение неудобно, показать начальству, если пожелают просмотреть сочинения учеников, невозможно. Затем он указал мне на неправильности, увлечения, неверные мысли, отступления от темы (положим, все сочинение представляло одно отступление от темы) и в заключение своего строгого разбора попросил, чтобы я подарил ему его на память, так как он собирает все особенно

хорошие сочинения. Алекс<андра> Мих<айловна> еще не вернулась в Феодосию, но ее ждут со дня на день, хотя она еще ничего не писала о своем возвращении.

Девочек Шернваль[10] помню довольно хорошо. Актрису Таирову я видел в прошлом году в «Плодах просвещения» в роли Бетси, и она мне там понравилась – нытья у ней не было.[11] Почему вы не ходите в Малый театр, а ходите к какому-то Черепанову или на малороссов.[12] Вот если бы вы пошли на «Плоды просвещения»? «Лес» у нас не пойдет – директор не хочет.[13] Будет на масляной просто концерт. Я думаю читать «Пульчинеля» Майкова – помните?[14] Целую вас, бабушку, Любу, Лёлю и Мишу.[15] Вам поклон от Саши, Кржижевского, Марии Леон<ардовны>[16] и Гауфлера. Бабушке поклон от Гауфлера. Скоро ли должен состояться перевод Лямина?[17] Посоветуйте Лёле держать экзамен при Феодосийской гимназии. Я берусь ей помогать на письменном экзамене.

Поклон от меня Устинье и Катерине Носковой.

Макс.

Когда вы думаете вернуться? Пожалуйста, когда вы будете около Мюр и Мерелиза,[18] купите мне, там есть такие тетради – размера обыкновенной тетради, но толстые в хорошем переплете коленкоровом. Ценою так не дороже рубля. Как вам нравится моя виньетка? Это собственная фантазия, а не срисовано. Положим, она немного небрежна – я спешил.

[1] Письмо Е.О. от 27 января 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, сд. хр. 645, л. 74–78 об.). В нем она, в частности, писала: «Твой перевод из Гейне и сами стихотворения мне очень нравятся, в особенности «Душа моя широка...» По-моему, перевод прекрасный, хотелось бы прочесть оригинал, чтобы вполне в этом убедиться. Не будь брандахлыстом, если любишь поэзию, изучи немецкий язык и станешь славным переводчиком славных поэтов».

[2] П.П. Теш.

[3] А.М. Пешковский.

[4] Лида – видимо, Лидия Антоновна Соломос (в замужестве Лампси), феодосийская гимназистка, дочь помещиков (совладель-

цев имения Эссен-Эли под Старым Крымом). К ней обращены стихотворения Волошина «Л. А. С. на карточке» («Случайно сказанное слово...», октябрь 1896 г.) и «Л. А. С-е» («Грациозно так и ловко...», 14 декабря 1896 г.) (Т. 2 наст. изд. С. 338, 346).

[5] Одна из сестер Воллк-Ланевских – Евгения Альфонсовна или Валерия Альфонсовна.

[6] «Прометей» («Prometheus», 1773) – драма Гёте, оставшаяся неоконченной. Волошин мог ее читать в переводах А.Н. Струговщикова (1839), М.Л. Михайлова (1871), Н.А. Малышева (1882). К.Д. Бальмонт перевел не драму, а одноименное стихотворение Гёте («Bedecke deinen Himmel, Zeus...», 1773), этот перевод («Закрой, Зевс, парами облаков...») был опубликован в «Русской Мысли» (1896. № 6. Отд. I. С. 70–71), вошел в кн.: *Бальмонт К.Д.* Из мировой поэзии. Берлин, 1921. С. 148–150.

[7] «Прикованный Прометей» – трагедия Эсхила. На русский язык ее переводили И.А. Коссович (1872–1873), В.Г. Аппельрот (1887), В. Алексеев (1890), Д.С. Мережковский (1891), Л.Н. Дурдуфи (Одесса, 1893) и др.

[8] Книга «Фритьоф Нансен», составленная В.Г. Брёггером и Н. Рольфсеном, вышла в 1896 г. на датском, шведском, английском, немецком и русском (в переводе А. и П. Ганзен) языках. 6 февраля 1897 г. Волошин написал стихотворение «Фритьоф Нансен» («"Вперед!" – сказал он сам себе...»). См.: Т. 2 наст. изд. С. 355–356.

[9] «Чрево Парижа» («Le Ventre de Paris», 1873) – роман Эмиля Золя, содержащий множество жанровых сцен из жизни Центрального рынка Парижа.

[10] Сестры Шернваль, согласно письму Е.О. Кириенко-Волошиной от 27 января 1897 г., дружили с Волошиным в пору его раннего детства в Севастополе (в 1879–1881 гг.). Видимо, это дочери Роберта Густавовича Шернваля (1842–?), генерал-майора, в 1897 г. жившего в Москве в доме Бирюлева на углу Молчановки и Криво-Никольского переулка.

[11] Нина Робертовна Таирова (урожд. Шернваль; ок. 1868–?) – старшая сестра, актриса Малого театра в Москве. Ее фотография 1900-х гг. – в РГАЛИ (Центральный гос. архив литературы и искусства. Путеводитель. Вып. 3. М., 1968. С. 223). «Плоды просвещения» – комедия Л.Н. Толстого (1891). В письме от 27 января Е.О. сообщала, что «слушала декламацию Таировой» («плачевные завывания») в Клубе художников.

[12] В.А. Черепанов – антрепренер, руководил любительскими «народными» театрами «Скоморох» (с 1895 г.) и «Летний сад». Мало-

россы — малорусская труппа под управлением М.Л. Кропивницкого, в январе 1897 г. выступавшая в театре «Эрмитаж» в Каретном ряду. В письме от 27 января Е.О. сообщала: «Была в театре Черепанова на комедии «Злая яма» <...>, но опять неудачно, уж актеры слишком плохи, никакого эстетического удовольствия не получила, а сам театр настоящая злая яма, холодная и сырая».

[13] «Лес» — комедия А.Н. Островского (1871). Волошин участвовал в репетициях этой пьесы в гимназии, в январе 1897 г., в роли Несчастливцева (Счастливцева готовил Пешковский, Бодаева — Кржижевский).

[14] «Пульчинель» — стихотворение А.Н. Майкова «Пульчинель вскочил на бочку...» из его «Неаполитанского альбома» (1858—1859). Пульчинелло — персонаж итальянской commedia dell' arte.

[15] Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[16] М.Л. Рафанович.

[17] Речь идет о переводе С.К. Лямина, инженера путей сообщения, действительного статского советника, по службе.

[18] Мюр и Мерилиз — универсальный магазин в Москве на Петровке у Театральной площади.

17. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27 февраля 1897 г. Феодосия

Милая мама!

Я опять запоздал ответом — это произошло потому, что, во-первых, была масленица, а на масленице спектакль[1] и вечера, а во-вторых, потому, что мне Штраумберг[2] обещал на днях отдать разрешение на продажу денежных бумаг и <я> хотел его отправить вам с этим письмом.

Положим, это я хотел сделать еще 5 минут назад, но, написав эти строки, я начал вникать в смысл полученного разрешения (мне его Штраумберг отдал вчера) и в содержание прошения, написанного вами и оставленного мне, и в результате пришел к заключению, что я тут абсолютно ничего не понимаю. Поэтому, чтобы не напутать, я решил спросить у вас, как мне действовать, а прошение пока оставить у себя. Затруднения заключаются вот в чем: ваша подпись засвидетельствована на прошении 24 октября 1896 года.

Действительно ли это? Если б даже это прошение и было бы действительным, то с другой стороны есть еще другое затруднение: вы просите в прошении продать бумаги, предварительно отрезав купоны на срок 1 декаб<ря> 1896 года, теперь же, когда разрешение так запоздало (оно помечено сроком 17 фев<раля> 1897), должно быть, срок купонов будет не 1 декаб<ря>, а позже? Поэтому я сам не мог написать нового прошения, и потом мне все равно бы пришлось его отправлять к вам для вашей подписи. Мне кажется, что было бы лучше всего, если бы вы написали бы новое прошение, а я бы тут засвидетельствовал свою подпись и отправил бы всё в Киев. Впрочем, я чувствую, что ничего в этом не понимаю, и у меня начинает мутиться в голове.

На масленице был домашний спектакль, в котором я принимал деятельное участие, он устраивался у Лампси[3] в квартире Айвазовского. Сам он при этом не присутствовал, так как он теперь в Ницце, так что половина всего громадного дома, который <я> с большим интересом исследовал, стоит пустая. Дом чрезвычайно оригинальной постройки: целый лабиринт лестниц, коридоров и сеней и очень небольшое количество комнат; но я еще нигде не видал такого количества коридоров.[4] Как-то был я в его рабочем кабинете и, так как во всем доме не было никого, имел возможность на досуге рассмотреть папки с его рисунками карандашом и акварелью — большей частью эскизами из его путешествий, по которым он потом рисовал свои картины. Это было самое интересное, что дал мне этот спектакль. Между прочим, интересная и характерная подробность: на его рабочем столе, кроме рисовальных принадлежностей, лежит только одна книга и еще в великолепном переплете...: «Список высших чинов Российской империи»!!!!![5] Зато на чердаке я видел массу преинтересных французских и немецких книг — запыленных, разбросанных по разным ящикам, к которым, повидимому, много уж лет не прикасалась рука человеческая. Заметьте, что дом с массой коридоров построен по плану самого Айвазовского, так что недаром его кто-то из феодосийцев назвал Великим коридорником.[6] В одной из его комнат

стоит нечто вроде алтаря: балдахин и под ним его мраморный бюст, а кругом его порт<рет>ы во все возрасты жизни.

Александра Михайловна[7] вернулась уже давно, за несколько дней до получения вашего письма. От Петербурга как от города она в восторге. Гофмана она слышала,[8] но он не произвел на нее особенного впечатления – она говорит, что, по ее мнению, его слава слишком раздута, и находит, что m-lle Воллк-Ланевская[9] играет Шопена лучше Гофмана, по крайней мере на нее она производит более сильное впечатление. Недовольна она осталась и петербургской публикой – от нее она ожидала большей способности оценки, но теперь находит, что она стоит не выше феодосийской. От итальянской оперы – особенно от Таманьо[10] – она осталась в восторге.

У нас уже весна: на горах цветут подснежники, в Ялте – уже фьялки, я хожу в гимназию без пальто, чаще и чаще подымаются разговоры об экзаменах. Дела мои идут ровно – по-прежнему, – есть только некоторые недоразумения в отношении с попом, но и те, я думаю, разрешатся к обоюдному удовольствию. С греческим все обстоит благополучно.

Скоро ли вы думаете возвратиться? Остановитесь ли вы на несколько дней в Феодосии? Петровы[11] всегда с удовольствием примут вас на несколько дней, по крайней мере Мария Леонардовна[12] говорила, что вы всегда можете у них остановиться. Если б вы остановились в Феодосии, а то едва ли мне придется прийти в Коктебель на Пасху больше чем дня на 3 – ведь у нас после Пасхи всего каких-нибудь дней 10 занятий, а там уже и экзамены. До свиданья. Вам поклон от Мар<ии> Леон<ардовны>, Алекс<андры> Мих<айловны>, Веры Нич[13], Саши[14], Кржижевского и Гауфлера, бабушке от Алекс<андры> Мих<айловны> и Гауфлера. Целую бабушку и Ляминых. Где они думают провести лето?

Макс.

27 февраля 1897 г. Феодосия.

[1] Волошин отвечает на письмо Е.О. от 10 февраля 1897 г. Домашний концерт в доме И.К. Айвазовского (в квартире Лампси) состоялся 23 февраля 1897 г. Волошин, как и хотел, выступил с чтением стихотворения А. Майкова (Труды и дни. С. 48).

[2] Владимир Павлович Штраумберг – преподаватель мужской гимназии, коллежский асессор, домовладелец; протоколист дворянской опеки в Феодосии. Ниже речь идет о манипуляциях с денежными бумагами Волошина: от родителей отца (киевлян) он получил в 1882 г. капитал в 12 тысяч рублей – проценты с которого и шли на его содержание и обучение.

[3] Петр Николаевич Лампси (1869–?) – внучатый племянник И.К. Айвазовского, городской судья.

[4] Особняк И.К. Айвазовского в Феодосии построен в 1848 г. по его собственному проекту. В 1880 г. был пристроен выставочный зал, в котором открылась общедоступная картинная галерея (из произведений хозяина). Здание сохранилось доныне.

[5] Имеется в виду издание «Список высшим чинам государственного, губернского и епархиального управления», выходившее в Петербурге ежегодно с 1832 по 1916 г.

[6] «Великим коридорником» назвал Айвазовского артист и рассказчик Павел И. Вейнберг (см.: *Галабутский Ю.А.* И.К. Айвазовский в Феодосии (1886–1897 гг.) // Исторический Вестник. 1904. № 8. С. 528).

[7] А.М. Петрова.

[8] Польский пианист и композитор Иосиф (Юзеф) Гофман неоднократно гастролировал (с 1895 г.) по России.

[9] Валерия Альфонсовна Воллк-Ланевская в 1898 г. поступила в Московскую консерваторию. К ней обращены или посвящены ей несколько юношеских стихотворений Волошина: «Вам в день вашего рожденья...» (15 января 1894 г.), «Спустя, быть может, много лет...» (30 мая 1895 г.), «Quasi una fantasia» («Мне часто грезится огромный светлый зал...», 2 июля 1895 г.), «Среди пошлых речей этих серых людей...» (20 октября 1896 г.), «Молодость, молодость! В чем твоя сила?..», «Душа твоя, с ее манящей...», «Когда в твоих песнях мне грезятся сказки...» (17 октября 1896 г.), «Не знаю, что в груди моей...» (12 ноября 1896 г.), «Над унылым, грязным городом...» (26 декабря 1896 г.), «Если вам когда-нибудь случалось...» (14 января 1897 г.), «С этой детской простотою...» (15 января 1897 г.) (Т. 2 наст. изд. С. 253, 317, 320–321, 336, 337, 349, 351–353).

[10] Итальянский певец (тенор) Франческо Таманьо с 1877 г. пел в «Ла Скала», в 1895–1896 гг. – в Петербурге. Славился исполнением героико-драматических партий в операх Дж. Верди.

[11] Ссмья А.М. Пстровой, включая сс бабушку М.Л. Рафанович.

[12] М.Л. Рафанович.

[13] Всрс Матвссвнс Нич Волошин посвятил стихотворсния «Она как птичка всссла...» (18 июля 1896 г.) и «Зачсм псчально говорить...» (31 октября 1896 г.) (Т. 2 наст. изд. С. 330, 340).

[14] А.М. Псшковский.

18. А.М. ПЕТРОВОЙ

18 мая 1897 г. Феодосия

Многоуважаемая Александра Михайловна!

Я решил объясниться с вами письменно по двум причинам: 1) потому, что на бумаге все мои доводы выступят ярче и рельефнее, 2) потому, что в устном объяснении главную роль играют не мысли, а тон, которым они высказываются, я же за свой тон ручаться не могу, так как чувствую и себя несколько оскорбленным после прошлого разговора.[1] Впрочем, это ерунда, но раз дело коснулось тона, который <в> случившемся недоразумении и играет главную роль, то я скажу о моем тоне. С самого начала нашего знакомства у меня с вами установился известный грубовато-дружественный тон (я иначе не могу его назвать), в установлении которого вы виноваты настолько же, насколько и я, так как вы не только ничего не имели против него, но часто в разговорах со мной сами впадали в тот же тон. Этот тон характеризуется фразами: «Александра Михайловна, скажите – мяу» или: «А вот и Макса пришла» и т.п. Не могу сказать, чтоб этот тон выказывал большую деликатность и благовоспитанность, но факт тот, что он существовал, вы против него ничего не имели, и моя роковая фраза <о> бинокле была сказана тем же тоном. Да, именно тем же самым тоном, хотя вы, кажется, совершенно с этим не согласны.

Вы составили обо мне некоторые совершенно ложные мнения; например, вы прошлый раз говорили мне, что у меня бывают периоды, когда я, благодаря черезмерным похвалам, начинаю думать о себе Бог знает что и держу себя нестерпимо заносчиво. Ну, можно ли настолько ошибаться

во мне? Положим, я понимаю, как могла у вас зародиться такая мысль: «Мальчика хвалят, мальчика портят, следовательно, мальчик должен начать задаваться». На мальчика смотрят уже предубежденными глазами, обычный тон мальчика начинает резать уши... кончено – мальчик зазнался окончательно. Александра Михайловна! даю вам честное слово, что никогда я не зазнавался и никогда не обращался с вами «презрительно с высоты своего величия». Правда, феодосийские похвалы всегда приятно щекотали мое самолюбие, но я никогда не был настолько глуп, чтобы поверить всему тому, что мне говорили, вам и Саше[2] следует это знать лучше, чем кому-либо. Но довольно о тоне: перейдем к самим действиям. Фраза о бинокле действительно была бы груба и неприлична, если бы фразы, подобные этой, не говорились мною вам в шутку постоянно. Теперь вы ее приняли всерьез, может быть, благодаря излишней реальности тона, которая так часто мне вредит в том отношении, что ни один человек, кроме Саши, не в состоянии отличить моей иронии от обыкновенной глупости.

Теперь перейдем к моему «безобразному поведению в ротонде». Идя туда, я предполагал, что я иду смотреть пьесу *вместе с вами*, а совсем не для того, чтобы *сопровождать вас в театр.* Последнее мне совсем даже и не приходило в голову, а между этими двумя понятиями есть громадная разница, так как в первом случае цель есть пьеса, а в другом – барышня. Ну, а я все-таки, хотите обижайтесь на меня, хотите – нет, я настолько уважаю вас, что такого позорного имени к вам приложить не могу. Я согласен, что оскорбил вас как барышню, но я не оскорблял вас как человека.

В этот раз вы поступили со мной более милостиво, чем в предыдущие – вы объяснили мне, за что вы обиделись, так что я, по крайней мере, могу оправдываться, а в прошлые разы я только недоумевал. Все случившееся мне очень неприятно, но еще неприятнее мне то, что это случилось с моей стороны совершенно бессознательно, так что подобные оскорбления с моей стороны не только не устраняются, но, как показывает этот случай, могут происходить каждую минуту. Я думаю, что вы верите, что мне вся эта история действи-

тельно причинила боль — кому ж приятно сознавать себя оскорбителем, хотя бы и бессознательным. А подозрение в том, что такие оскорбления происходят оттого, что похвалы разных Чураевых[3] настолько кружат мне голову, что я приобретаю какое-то сверхъестественно высокое мнение о своей особе, благодаря которому я с презрением третирую других смертных, — это подозрение не есть ли оскорбление мне? Положим, сознаюсь, что это оскорбление я чувствую только в теории, на практике же имею только сильное желание уладить этот неприятный инцидент, попросив прощения за мое бессознательное оскорбление, хотя, по вышесказанным причинам, не решусь обещать, что нечто подобное, но в другом роде, может повториться завтра же.

Я объяснился. Когда вы меня позовете — я приду, раньше же не покажусь; поэтому сделайте это, пожалуйста, как можно скорее.

Скорбящий Макс.

P.S. Предчувствую, что, прочтя это письмо, вы задумчиво взглянете на Сашу и скажете: «Он еще не сознает — нужно подождать, чтобы он сознал». Саша поникнет головой, ваши взоры встретятся, и вы, как римские авгуры, улыбнетесь друг другу.

Александра Михайловна!!! помилуйте!! У меня в среду экзамен Закона Божия! у меня в пятницу экзамен русского языка![4] Мне нужно заниматься теперь и некогда приниматься за самоанализ и сознание. Простите вы меня уже теперь без сознания, а по окончании экзаменов летом даю торжественное обещание посвятить целую неделю посту и раскаянию, выслушать 200 000 нотаций, окунуться с головой в самую глубину самоанализа по методу достоуважаемого А.М. Пешковского, и тогда я сознаю все. Честное слово, сознаю. А теперь пока положите вы гнев на милость и простите меня. Зато с каким рвением я за Закон Божий примусь и так прекрасно отвечу на экзамене, что не Апанасу уже, а чертям тошно станет. Ну, Александра Михайловна, ну... ну... ну!

18 мая 1897 года. Феодосия.[5]

Заказ № 5706

[1] Согласно дневниковой записи Волошина от 17 мая 1897 г., этот разговор состоялся накануне: «Вообще вчерашний день был для меня рядом неприятностей. Первой из них была психологическая и непонятная обида Алек<сандры> Михайл<овны>» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 118).

[2] А.М. Пешковский.

[3] Подразумевается С.А. Чураев.

[4] Среда – 21 мая, пятница – 23 мая.

[5] В дневниковой записи от 18 мая 1897 г. Волошин упомянул это письмо к Петровой и добавил: «Последнее имело успех – она расхохоталась, чего я и добивался. Мир заключен заочно, так как я не успел быть у нее» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 119).

19. А.М. ПЕТРОВОЙ

26 августа 1897 г. Москва

До самой последней минуты я был безотчетно весел и счастлив... Но только когда поезд тронулся и платформа исчезла у меня из глаз, я почувствовал, как будто что-то от меня оторвалось, и меня охватила страшная тоска.[1] Я долго глядел в окно на удаляющуюся Феодосию, пока наконец

Огни последние мелькнули,
Шепнув «прости» душе моей,
И тихо скрылись... потонули
В вечернем сумраке степей.[2]

Тогда я понял, что с прошлым всё кончено и что многое должно измениться и я сам много изменюсь, прежде чем снова погружусь в прежнюю феодосийскую жизнь. Прощай, Феодосия. Я тряхнул головой, чтобы отогнать тоскливые мысли, оглядел вагон. Пассажиров – было всего трое: микроскопический офицерик, старый военный и чрезвычайно юный воспитанник агрономического института. Офицерик, по-видимому, почувствовал ко мне некоторое уважение, видя такое количество провожавших меня барышень, и соблаговолил заметить, что одна из них была очень хорошенькая (уж не вы ли, Алекс<андра> Михайловна?) На сле-

дующей станции он перешел в другой вагон, сообщив, что тут ему скучно и что там едет хорошенькая барышня. Старый военный оказался чрезвычайно разговорчивым и много мне рассказывал о жизни в Приамурском крае, но он слез на Джанкое, так что в вагоне остался один агроном. От него я узнал, что он был выгнан из гимназии и по протекции попал в институт. Затем он лег и заснул и, к моему удивлению, не просыпался до самой до Москвы. За всю дорогу не прибавилось в вагоне ни одного пассажира, и я все время провел наедине с этим спящим телом и чуть с ума не сошел от скуки. В субботу утром я вступил под сень бабушкиного дома.....

Прежде всего я отправился в университет и там узнал, что приехал я слишком рано и свободно мог бы пробыть в Феодосии еще дня три, так как представляться нужно только 27<-го>. Университет произвел унылое и мрачное впечатление: полутемные, мрачные, холодные коридоры с каменными полами, в которых гулко отдается каждый шаг, скучная пустая канцелярия (день был неприсутственный) и какая-то женская фигура, меланхолически отщелкивающая что-то на ремингтоновской машине, — вот все, что я пока видел в университете.

С того момента, когда я вступил на московскую мостовую, меня охватило впечатление страшной пустоты и одиночества. Все улицы и знакомые мне кажутся ужасно чужими. Действительно — ведь они меня знали таким, каким я был 4 года назад, а теперь мы совсем не знакомы.[3]

Что это Саша[4] не едет!

Бабушка меня встретила с большой радостью и после первых приветствий сказала: «Макс, послушай, — ты ужасно потолстел за это время — тебе необходимо похудеть. Я тебе буду меньше давать есть, а то это действительно ужасно. Но ты наверно проголодался с дороги — погоди, вот мы сейчас обедать будем». За обедом она говорила: «Макс, но ты ведь ничего не ешь, ты будешь голоден». — «Да, благодарю, бабушка; я уже три котлеты съел». — «Ну, ну возьми вот еще, а то ты, право, будешь голоден». После обеда она снова ужасалась моей толщине и говорила, что мне нужно меньше есть.

Был я уж и в театре за это время. Был у Корша на «Лесе».[5] Несчастливцев не удовлетворил меня, Счастливцев был превосходен. Прекрасны были тоже Гурмыжская и Улита, особенно последняя. Гурмыжская была вылита<я> Ал<ександра> Ив<ановна> Лампси. Просто поразительно: голос, интонация, жесты, манеры – всё. Даже черты лица отчасти похожи.

Вчера был в Малом на «Ревизоре»[6] и могу сказать только, что «так хорошо, что и не выразить... Даже и слов не найдешь, чтоб выразить».

До свиданья. Жду от вас письма. Как здоровье Марии Леонардовны? Скоро ли приедет Михаил Митрофанович?[7]

Кланяюсь Марье Леон<ардовне>, Нине Алек<сандровне>, Мише, Оре[8] и т.д. всем остальным знакомым.

Дитю.
26 августа 1897 г. Москва.

P.S. Бабушка вам кланяется и благодарит за варенье.

Мой адрес: Москва. Смоленский рынок. Проточный переулок, д<ом> Погожевой, кв<артира> Надежды Григорьевны Глазер. М.А. Кириен<ко>-Волошину.

[1] 6 июля 1897 г. Волошин, по окончании феодосийской гимназии, подал прошение о приеме в Московский университет (по рекомендации матери – на юридический факультет). Резолюция о зачислении его студентом последовала 1 августа. 19 августа Волошин написал прощальное стихотворение «Посвящение», обращенное к А.М. Петровой (Т. 2 наст. изд. С. 357–358). 20 августа Волошин выехал в Москву, куда прибыл утром в субботу 23 августа (Труды и дни. С. 52).

[2] Начальные строки стихотворения «Прощанье» (Т. 2 наст. изд. С. 359).

[3] Волошин жил с матерью в Москве с конца 1881 г. до 3 июня 1893 г., когда они переехали в Крым.

[4] А.М. Пешковский.

[5] Комедия А.Н. Островского «Лес» шла в театре Корша 24 августа 1897 г. Участвовали: Романовская, Красовская, Омутова, Чарский, Сатин, Вязовский, Смоляков, Попов.

[6] «Рсвизор» шсл в Малом театрс 25 августа 1897 г. с участисм Никулиной, Яблочкиной, Садовской, Садовского, Макшссва, Рыбакова, Музиля, Правдина и др.

[7] М.Л. Рафанович и М.М. Пстров (в 1897 г. служил в Турксстанс). Образ М.М. Пстрова Волошин обрисовал в мсмуарных записях (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 342, 366).

[8] Н.А. Пстрова и братья А.М. Пстровой Михаил и Орсст Пстровы.

20. А.М. ПЕТРОВОЙ

11 сентября 1897 г. Москва

11 сентября 1897 го<да>. Москва.

Александра Михайловна! Голубушка! Ну уж и спасибо Вам! Раскрываю письмо – нотация.[1] Так на меня и пахнуло чем-то родным, старым, бесконечно хорошим... Туман московский разбежался, стены домов раздвинулись, небо приподнялось, очистилось и сделалось гораздо синее – словом, я перенесся в Феодосию. И чудилось мне, что сидите вы у окна и смотрите вдаль на большую дорогу и всё ждете меня и вздыхаете обо мне... Ей-Богу! А там в перспективе на молу гуляет Лидочка с Биркенгофом[2] и нисколько обо мне и не думает. Можете вы себе представить, что ведь она еще до сих пор мне не ответила.

«Макс! а может ты хочешь закусить что-нибудь перед обедом?» Ах эта бабушка! ничего она не понимает в сердечных делах. Вот Мария Леонар<довна>,[3] та бы поняла. Но, однако, нужно идти...

Тоска моя продолжалась до приезда Саши,[4] а дальше не выдержал. Да еще бы! Приехал он и отправился, первым делом, представляться; и вместо того, чтобы войти в дверь к инспектору, вошел в книжный шкаф, выскочил и попал в другой шкаф и тогда уж, наконец, вошел в надлежащую дверь. Водил я его по Москве. Мука! перед каждым переулком он останавливается и удостоверяется по плану, существует ли действительно такой переулок. А план свой он разрезал на мелкие кусочки «для удобства». Можете же себе

представить, что бывает, когда он посреди улицы ищет данного кусочка, а ветер разносит остальные. На уличных мальчишек это производит неотразимое впечатленье. Подходим к Новым Рядам. «Макс! погоди: я сосчитаю, сколько шагов в длину». – Саша! Да зачем? Ну, я не буду тебя ждать. – «Ну хорошо – я сам потом сюда приду и сосчитаю». В Историческом музее опять анекдот: мы разошлись. Саша ищет меня по залам и, наконец, подходит к большой каменной бабе, привезенной из Херсонской губернии, с вопросом: «Макс, а где же тут фрески Семирадского?»[5] Ну, да всего и не расскажешь. Он поселился рядом со мной в соседнем доме. Видимся мы каждый день, но недолго. У него теперь гостит брат.[6] В университете не видимся, так как аудитории в разных зданиях. Какое впечатленье произвел университет? Ну, вот я вам нарисую несколько картин. Огромная зала – аудитория I курса юрид<ического> факульт<ета>. По стенам колонны, нарисованные барельефы, портреты Пирогова и Соловьева. Это актовая зала. В зале гул голосов пятисот человек. Лица всё незнакомые: бородатые, лохматые, усатые, франтовские с бакенбардочками, розовые, покрытые первым пухом невинности, измятые и потертые жизнию... Никто в этой толпе не знает друг друга. Изредка мелькнет в толпе физьономия старого московского товарища. Следует обмен впечатлений: «Это ты? как ты оброс!» – «А ты потолстел!»

Входит профессор. Небольшая, сухая, угловатая фигура. Лицо простое – мужицкое. Умный высокий лоб, яркие глаза. Это – Чупров. Его встречают оглушительными аплодисментами. Он раскланивается угловатым резким поклоном, и седая грива на его голове потрясается. «Господа! Благодарю вас! Но я не могу принять этих рукоплесканий на свой счет, так как вы меня не знаете еще. Я их отношу к той науке, представителем которой я являюсь». Голос у него приятный, гибкий. Говорит он несколько торопливо, но сердечно. Чувствуется какая-то внутренняя приподнятость, которая наружу не прорывается, но слушателям невольно передается. Он не ораторствует, а беседует. Аплодисменты снова заглушают его. Задние ряды топают от восторга нога-

ми. Он начинает лекцию словами: «Прежде всего поздравляю вас, господа, с удачным выбором факультета. Знакомство с социальными науками необходимо в настоящее время для каждого человека». Говорит он великолепным литературным языком. Рассуждений не чувствуется — прямо видишь картины. Провожают его с восторгом.

Входит другой профессор*. От всей фигуры его веет скукой. Лицо сладенькое, «лоб у него небольшой, но дополняется лысиной»,[7] голос медовый, журчащий и несколько наивный. «Я вам буду читать, господа, русское право. Но собственно, признаться вам, терпеть я не могу русского права, особенно после XVII столетия. Ну вот не люблю, да и только. Что ж делать? Сознаюсь, mea culpa, mea maxima culpa**, да не люблю. Ничего не поделаешь. Так что уж русское право я поручил моему помощнику профессору Самоквасову, а я с вами займусь памятниками». После этого он однообразно журчит целый час, усыпляет всех и уходит. Входит Самоквасов. Он все время как-то извивается, достает министерскую программу и читает с некоторым раздражением экзаменационные требования. Всю лекцию он посвящает на доказательство того, что удовлетворить всем требованиям невозможно и что вообще русское право чрезвычайно запутанная вещь, так что нужно только коечто подготовить по билетам, которые он даст, а там как-нибудь можно выдержать экзамен. В заключение он заявляет, что вместо трех часов, положенных по расписанию, он будет читать всего 1 час, так как 3 для него утомительно.

Оказывается, что разные антики не только в Феодосии существуют. Так-то, милейшая Алекс<андра> Михайловна. А я сам погрузился в изучение русского права по Беляеву[8] и нахожу, что это преинтересная вещь, равно как и римское право. Вообще, кроме Чупрова, на первом курсе нет хороших профессоров. Кроме описанных, есть еще несколько, пожалуй получше двух последних, но все же довольно бесцветных. Впрочем, это не беда — можно и дома заниматься,

* Мрочек-Дроздовский. (*Примеч. Волошина*)

** Моя вина, моя большая вина (*лат.*).

что я и делаю. Ходил я и на другие лекции. По физике опыты очень интересны. Прижимает профессор кнопку — дзын! т-р-р-р... Моментально все ставни сами собой затворяются и на экране появляется отражение от волшебного фонаря. Немного напоминает фокусы, но эффектно!

В Москве существует общество попечительства о бедных,[9] в котором участвует много молодежи, в частности и студентов. Каждому дается известный район, в котором он должен следить за жизнью бедняков, и потом представлять свои отчеты в общество; сообразно этому ему из общественных сумм выдается часть для выдачи беднякам его района. Чупров, говорят, особенно рекомендует юристам принимать участие в этом. Меня обещали сводить на заседание этого общества. Посмотрим. Я бы очень хотел записаться; но как приняться за дело? Нужна все-таки известная опытность. А следует.

Что-то у вас теперь в Феодосии делается? Сердце мое обливается кровью оттого, что я не увижу своими глазами тех сверхъестественных глупостей, которые, наверно, Гролих устроит в честь юбилея Айвазовского.[10] Ах, любопытно! Здесь ведь все-таки подобного не увидишь. Напишите, Алекс<андра> Михайловна.

Что, как теперь Мария Леонардовна? Передайте ей тысячу поклонов... или нет — поцелуев от толстенького поэта и скажите, что тут в Москве у него ни одной знакомой барышни нет, так что ему приходится жить только воспоминаниями.

Долго ли пробудет Михаил Митрофан<ович>?[11] Как жаль, что мне так и не пришлось с ним встретиться. Кедрову ваш поцелуй передал; он тоже просил вас поцеловать. Катя Деларю[12] в Москве в этом году жить не будет. M-me Юнге[13] еще в Ялте. Да! поздравляю вас с победой. Передайте мое поздравленье и Настас<ье> Яковлевне. Как же это вы у Лельевр[14] в гостях были? Зерманалипапе!!* А Лидочка-то все-таки поправилась? Я ее в черном платье не видал. А Бир-

* Справьтесь в армянском лексиконе, что это значит.[15] Положим, не особенно интересно. (*Примеч. Волошина.*)

кенгоф-то, кажется, совсем застрял в Феодосии, мы с Сашей ждем, ждем его, не дождемся.

Ах! кстати – анекдот (только пусть это останется между нами). M-me Соломос[16] в эпоху студенческого вечера вдруг осенило в том отношении, что ведь Макс-то влюблен в Лиду. Осенило ее – она сама этому и поверила, и Биркенгофа в этом уверила.* Я, кстати, в то время грустный был – на репетициях все злился. «Видите, видите, как он страдает». Ну, Биркенгоф и почувствовал сострадание, и началась борьба великодушия. Я от Лидочки ухожу, чтоб Биркенгофа не огорчить, а он уходит, чтоб меня не огорчить. А Лидочка-то сидит и удивляется, что это за невежи – уходят оба от меня и меня одну оставляют. Ужасно трогательно. А? Впрочем, это я смеюсь, смеюсь, а Биркенгоф замечательно симпатичен, и Лида хороший человек, и мне стыдно, что я все ее Лидочкой называю. Это совсем другой характер придает. Поэтому и вам она не нравится, что вы себе всё Лидочку представляете, а представьте Лиду и совсем иначе на нее взглянете. Саша обнаруживает опасные признаки. Он мне каялся (опять-таки – между нами), что он в Ялте однажды вдруг почувствовал непреодолимое желание увидеть Лидину карточку и, явившись к Биркенгофу, потребовал, чтобы он показал ему все ее карточки, какие только есть у него. Биркенгоф перепугался, однако показал. Теперь Саша хлопочет о приобретении в собственность ее карточки. Ну! насплетничал я на него. Только вы уж молчите – не выдавайте меня. В прошлом моем письме было четверостишие. Это начало стихотворения, написанного мною в вагоне при отъезде. Оно не было еще отделано, поэтому я вам и не прислал его. Вот оно:

Огни последние мелькнули,
Шепнув «прости» душе моей,
И тихо скрылись... потонули
В вечернем сумраке степей.
В неясном сумраке вагона,
Забившись в дальний уголок,
Я с грустью думаю о прошлом...
А поезд мчится... Путь далек.
Под тихий говор, дребезжанье.
Под равномерный шум колес
В душе встают воспоминанья
О том, где жил я, где я рос.
Улыбки, слезы, шутки, речи,
Оттенок мысли, жаркий спор

* Саша потом в Ялте еле-еле разубедил его. (*Примеч. Волошина.*)

И впечатленье первой встречи,
И задушевный разговор,
И лиц знакомых выраженье,
Характер, *тон* случайных слов,
Глубокой мысли отраженье,

Отрывки собственных стихов
Проходят пестрыми толпами.
И грустно мне. И жаль мне их.
А поезд мчится вдаль степями
И в сердце бьется грустный стих.[17]

Это стихотворение я посвящаю всем, провожавшим меня. Покажите им. До свиданья. Поклоны Мар<ии> Леон<ардовне>, Михаил<у> Митроф<ановичу>, Нине Алек<сандровне> (обеим), Оре, Мише, Адриану, Саше, Пете, Елене, Зинаиде, Вере Викентьевнам, Евген<ии> Алек<сандровне>, Ольге Алек<сандровне>, Пете Лампси,[18] Василечку,[19] Маришке, Марюське и всем остальным знакомым. Вам поклон от бабушки и от Саши.

Дитю.

Пишите!! пишите!! пишите!! пишите!! пишите!! пишите!! пишите!! пишите!! пишите!!

[1] Письмо А.М. Петровой к Волошину из Феодосии от 6 сентября 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 3–4 об.) начиналось словами: «Как это ни сентиментально, но я очень скучаю по вас, дитю! и, как это ни странно, но, садясь за письмо, я буквально не найду — за чтó бы Вам прочесть нотацию? Старое все пережевано, а новых Ваших фокусов, к искреннему сожалению, не знаю».

[2] Лидия Соломос и Михаил Биркенгоф.

[3] М.Л. Рафанович.

[4] А.М. Пешковский; он поступил на историко-филологический факультет Московского университета и поселился поблизости от Волошина, в соседнем доме.

[5] В московском Историческом музее экспонировались картины Г.И. Семирадского «Похороны древнего руса в Болгарах» и «Тризна дружинников Святослава».

[6] Артур Матвеевич Пешковский, старший брат Александра Пешковского. Медик, образование получил в Гейдельберге.

[7] Обыгрываются заключительные строки стихотворения Н.А. Некрасова «Перед зеркалом» (1866–1867): «Лоб у него небольшой, // Но дополняется плешью...».

[8] По-видимому, имеются в виду «Лекции по истории русского законодательства» (1879) И.Д. Беляева.

[9] Скорее всего, речь идет о Дамском попечительстве о бедных (на Арбате).

[10] В 1897 г. исполнилось 80 лет со дня рождения И.К. Айвазовского. В письме от 6 сентября 1897 г. Петрова сообщала Волошину, что директор Феодосийской мужской гимназии В.Ф. Гролих «совсем замотался, выискивая всюду политическую подкладку; как бы сам он в эту яму не попал».

[11] М.М. Петров. А.М. Петрова в цитированном письме сообщала о его приезде в Феодосию 8 сентября.

[12] Екатерина Федоровна Деларю, ялтинская домовладелица.

[13] Е.Ф. Юнге.

[14] Лельевр — феодосийское семейство. Анастасии Яковлевне Лельевр было предоставлено место в женском училище (где преподавала в 1897 г. и А.М. Петрова). В приписке к письму от 6 сентября (датирована 8 сентября) Петрова сообщала: «Только что заходила ко мне Н. Лельевр и сказала, что ее уже выбрали. Ура!!!».

[15] Вероятно, в искаженной транслитерации приводится фраза, в переводе с армянского означающая: «Это удивительно».

[16] Ольга Александровна Соломос — феодосийка, мать Лидии Соломос.

[17] Стихотворение «Прощанье» (Т. 2 наст. изд. С. 359).

[18] Среди упомянутых: Н.А. Петрова и Н.А. Айвазовская; братья Петровой — Орест, Михаил, Адриан, Александр, Петр; Елена Викентьевна Дуранте (в 1881 г. училась в 4-м классе женской гимназии); Зинаида Викентьевна Дуранте — классная дама в гимназии; Вера Викентьевна Дуранте (по мужу Воронина) — преподавательница Александровской женской школы; Ольга Александровна Дуранте (?–1913) — тетка А.М. Петровой, владелица имения Эссен-Эли; Петр Николаевич Лампси — городской судья, внук И.К. Айвазовского.

[19] Кот А.М. Петровой.

21. Ю.А. ГАЛАБУТСКОМУ

23 сентября 1897 г. Москва

Дорогой Юрий Андреевич!

Наконец-то я собрался написать вам. Собирался я так долго не потому, что у меня не было бы времени, не потому, чтобы было лень или просто не хотелось бы писать — нет, и время было, и писать хотелось, но я все ждал надлежащего настроения (впрочем, и теперь я его не дождался).

Все лето мне хотелось с вами поговорить, но не удавалось. Положим, я сам не знаю, о чем хотел бы я говорить, но знаю, что хотел бы поговорить так, как мы говорили ночью в день выпуска[1] в городском саду. Ужасно пусто и глупо прошел для меня этот последний год. Я как-то не мог ни читать, ни думать, ни заниматься чем-нибудь серьозным — я ждал, ждал освобождения. Иногда появится на минуту та лихорадочная дрожь, которая появляется вместе со страстным желанием работать, но это желань<е> сейчас же парализуется мыслию: «А вот в университете...» Ужасно скверное состояние. Я чувствую, что я буквально поглупел за этот год. Потом после экзаменов ожидание сменилось умственной апатией, которая только теперь начинает понемногу рассеиваться, и я чувствую, что начинаю оживать. Выбором факультета я очень доволен — римское право замечательно интересно. Но состав профессоров очень плох. Единственный, кто искупает состав, это Чупров. Он увлекает своим чтением и возбуждает жгучий интерес к науке. По римскому праву и по энциклопедии профессора посредственные — не более, но их все-таки можно слушать и с пользой.

Русское же право, которое читают три профессора, буквально невозможно слушать. Да вот, каковы эти профессора, — судите сами: профессор Мроик-Дроздовский[2] начинает свою лекцию словами: «Я, господа, должен вам признаться, что терпеть не могу русского права, особенно после XVII столетия. И я очень рад, что его взялся вам читать мой помощник профессор Самоквасов. Но что же делать, признаюсь заранее. Mea culpa, mea maxima culpa»*. На лекции, для оживления предмета, он разнообразит преподавание неприличными анекдотами.

Профессор же Самоквасов начал с того, что прочел министерские экзаменационные требования и два часа весьма убедительно доказывал, что удовлетворить им невозможно, и что об этом и думать нельзя, чтобы пройти весь курс. Заключил же он свою речь совершенно неожиданно тем, что заявил, что вместо положенных трех часов он будет читать только час, так как три для него утомительно.

---

* Моя вина, моя большая вина (*лат.*).

Вот где замечательно хороший состав – это на естественном. Я слушал там несколько раз Мензбира (сравнительную анатомию) и Реформатского (химию) и был в полном восторге, и еще крепче стало мое решение по окончании юридического поступить на естественный. Но кто мне больше всех понравился – это Фортунатов. Он читает историю Германии XIX века. Представьте себе маленького человечка – очень маленького, полуседого. Лицо – вылитый Сократ. Такой же выпуклый лоб, тот же нос, та же борода. Сходство поразительное. Когда он говорит, он весь погружается в то, о чем он говорит. Он закрывает глаза, весь дрожит, трясет головой, улыбается в то же время тому, что он говорит, так ему это нравится; для выразительности повторяет по два раза одно и то же слово, причем во второй раз берет это слово тоном выше. Невозможно удержаться от смеха, когда он говорит, но в то же время мурашки восторга по спине пробегают. Но смех-то этот, который он возбуждает, смех хороший, добрый. «Над кем посмеешься, – того и полюбишь».[3] Это именно такой смех.

Был я несколько раз в театре. Положим, немного – всего три раза. Два у Корша («Лес» и «Гроза») и раз в Малом («Ревизор»).[4]

«Ревизор» – был, конечно, лучше всего. Только теперь я понял, какую массу разных мелких черточек, психологических подробностей мы, играя, не заметили совсем. Как Садовский хорош в роли Хлестакова, передать невозможно. В сцене вранья – он страшно врет и импровизирует, но импровизирует замечательно хорошо. В «Лесе» мне Несчастливцев не понравился. Зато Улита была замечательна. Прекрасна была и Гурмыжская – она была вылитая Алек<сандра> Ивановна Лам<п>си. Ее голос, ее жесты, манеры – совсем она. Помещик Милонов очень напоминал Чураева, даже загримирован он подходящим образом был. «Гроза» на меня произвела очень сильное впечатление: для того, чтобы ее вполне понять, мне кажется, необходимо ее видеть на сцене. Но теперь не приходится бывать в театре, так как нет денег и урока еще не достал себе.

Я это письмо начал писать уже три дня назад. Мне почему-то ужасно трудно бывает писать — именно первое письмо. Отвечать же — нет. Напротив, с удовольствием всегда пишешь. Это как в разговоре первую фразу всегда придумываешь и вымучиваешь. Для того чтобы писать, мне необходимо видеть пред собой то лицо, которому я пишу. Когда отвечаешь на письмо, это особенно хорошо, потому что тогда личность писавшего ярко встает из только что полученного письма.

А из Феодосии уезжать все-таки было грустно. Тогда же вечером в вагоне я написал следующее стихотворение.[5]

Огни последние мелькнули,
Шепнув «прости» душе моей,
И тихо скрылись... Потонули
В вечернем сумраке степей.
В неясном сумраке вагона,
Забившись в дальний уголок,
Я с грустью думаю о прошлом,
А поезд мчится... Путь далек.
Под тихий говор, дребезжанье,
Под равномерный шум колес
В душе встают воспоминанья
О том, где жил я, как я рос.
Улыбки, слезы, шутки, речи,
Оттенок мысли, жаркий спор,
И впечатленье первой встречи,
И задушевный разговор,
И лиц знакомых выраженье,
Характер, тон случайных слов,
Глубокой мысли отраженье,
Отрывки собственных стихов
Проходят пестрыми толпами.
И грустно мне, и жаль мне их.

А поезд мчится вдаль степями....
И в сердце бьется грустный стих.

До свиданья, Юрий Андреевич. Простите за такое бестолковое и неинтересное письмо. В следующий раз лучше напишу.

Кланяюсь Анне Яковлевне, Соне и Милочке.[6] Как вы устроились? Довольны ли вы? Мой адрес: Москва. Смоленский рынок. Проточный переулок, дом Погожевой, кв. Глазер.

Макс.

23 сентяб<ря> 1897 года.
Москва.

P.S. Ведь вы мне ответите, Юрий Андреевич? Пожалуйста, напишите.[7]

[1] Видимо, день получения аттестата зрелости – 6 июня.

[2] Подразумевается П.Н. Мрочек-Дроздовский.

[3] Вероятно, подразумеваются слова из статьи И.С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (1860): «...над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1980. Т. 5. С. 334).

[4] См. примеч. 5, 6 к п. 19. Драма А.Н. Островского «Гроза» (1859) была представлена в день празднования пятнадцатилетия театра Корша 30 августа 1897 г. «по значительно удешевленным ценам» (Новости Сезона. 1897. № 308, 28 авг. С. 4).

[5] См. примеч. 16 к п. 20.

[6] Жена Ю.А. Галабутского (урожд. Лельевр) и их дочери.

[7] Галабутский ответил Волошину развернутым письмом (Керчь, 29 сентября 1897 г.): «...хочется сейчас же рассеять Ваше сомнение в моей готовности писать Вам, – а это сомнение, как мне показалось, как будто проглядывает в Вашем письме. Я сохраняю о Вас самые лучшие воспоминания, не только как о своем ученике, но и более того, и мне будет приятно поддерживать переписку с Вами <...> Что же касается профессоров, то не доверяйте первым впечатлениям: дельный профессор очень часть сказывается не сразу, – и только постепенно, вслушиваясь и, главное, *вчитываясь* в его лекции, начинаешь понимать и ценить его. <...> Ваше стихотворение написано очень тепло и мило» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386). Галабутский также подробно изложил свои впечатления от Керчи и от нового преподавательского места (в женском институте).

22. А.М. ПЕТРОВОЙ

7 октября 1897 г. Москва

7 октября 1897 года.

Дорогая Александра Михайловна!

Где вы теперь? Напишите хоть строчку. Я не знаю даже, в Феодосии ли вы. Вера Нич мне писала, что вы оставили уже школу и что ходят слухи, будто вы уезжаете в Асхабад с Михаилом Митрофановичем.[1] Правда ли это? Надолго ли? или, может, совсем? Я давно уже хотел написать вам, но не находил слов для письма, да и теперь... Я всегда боялся разговаривать с человеком, у которого глубокое горе на душе.[2] Страшно затронуть больную струну, страшно оскорбить страдание. Я старался представить вас теперь и не мог. Я видел вас в борьбе с тайными и неизвестными окружающим страданьями, но совсем не знаю, как вы пере<не>сли это действительно реальное, всем очевидное горе.

Мне вспоминался замечательно ясно тот день перед отъездом, когда я видел в последний раз Марию Леонардовну. Я сидел против нее в гостиной у окна, и эти последние минуты пред отъездом страшно врезались у меня в памяти. И последнее воспоминание о Марии Леонардовне как-то соединилось в моем уме с тихим закатом, видным в то время из окна, и мачтами кораблей, подернутыми синей дымкой. Помню, я тогда, глядя на нее, старался представить себе, что вижу ее в последний раз. Но довольно. Уходят «старые знакомые лица», как серые, клубящиеся тени перед зарею, и жизнь, сверкая яркими лучами дня, могущественно вступает в свои права. Действительно, лучше всего уезжайте из Феодосии. Бегите оттуда, если только есть возможность. Порвите теперь со старым, когда нет уже самой крепкой связи, которая привязывала вас. Поезжайте в Асхабад, но не оставайтесь там. Приезжайте сюда <на> север, в Москву или в Петербург, поступайте на курсы и начинайте новую жизнь. В Москве вы сможете прожить. Вот я на днях видел

одну курсистку, еще совсем девочку 17 лет, которая кончила в какой-то глуши прогимназию и против воли родителей приехала в Москву на педагогические курсы, имея всего 30 рублей в кармане – и это на весь год! Приезжайте. Начните новую бодрую жизнь во имя науки, знанья... И лучше приезжайте в Москву: мы будем опять вместе втроем, и мы с Сашей[3] можем вам помочь, чем можно. Но только не оставайтесь в Феодосии. Не знаю, может, вам покажется, что я ерунду пишу, но это единственное, что я вам мог написать. До свиданья. Напишите хоть строчку и простите, если мое письмо как-нибудь оскорбило ваше горе.[4] До свиданья, Александра Михайловна.

Макс.

P.S. Посылаю приве<т> и глубокое сочувствие Нине Алек<сандровне>, Михаилу Митроф<ановичу>, Адриану, Саше, Мише, Оре и Пете.[5]

[1] М.М. Петров. 30 сентября 1897 г. В. Нич писала Волошину: «Александру Мих<айловну> я не видела со дня Вашего отъезда и о смерти ее бабушки узнала случайно. Говорят, будто Ал<ександра> Мих<айловна> уезжает с отцом»; в окончании письма (3 октября) добавляла: «Алек<сандра> Мих<айловна> наверно едет с отцом, потомучто уже отказалась от места в училище. Собственно говоря, я не понимаю, почему бы Вам не написать ей» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 887).

[2] 17 сентября 1897 г. умерла бабушка Петровой М.Л. Рафанович.

[3] А.М. Пешковский.

[4] 28 октября 1897 г. Петрова отвечала Волошину: «Доброе дитю! Как Вы могли подумать, что оскорбляете меня, написав подобное письмо? От него на меня повеяло совсем другим, и даже таким, из-за чего я отказываюсь от многих своих слов и определений, касающихся Вас, помните? <...> Спасибо, спасибо Вам за каждую строчку, с самого начала и до самого конца» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

[5] См. примеч. 17 к п. 20.

Заказ № 5706

23. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

28 октября 1897 г. Москва

Дорогая мама!

Получил я сегодня ваше письмо и деньги. Последнего я совсем не ожидал и никогда бы сам просить не стал: бабушка написала без моего ведома.[1] Я еще до получения этих денег заплатил бабушке за квартиру до конца ноября, сделав заем в земляческой кассе,[2] с тем, чтобы возвратить всё в январе. Что же касается до платы за декабрь, то я надеюсь, что к тому времени, может, я смогу достать себе урок или вообще какой-нибудь заработок. У меня есть план: пустить в оборот свои переводные стихотворения, может, их примут в каком-нибудь журнале, например в «Вестнике иностранной литературы»,[3] где помещаются только переводные вещи. Только, кажется, трудно вообще попасть в журнал без протекции, и у меня являлась мысль: не возобновить ли знакомство с Туркиным[4] — может, можно будет как-нибудь устроить это у него или через него. Ведь в случае, если мне удастся найти сбыт своим переводам, то это, мне кажет<ся>, будет гораздо выгоднее и удобнее уроков. Тогда можно было бы систематически и специально заняться стихотворными переводами. Уроки в Москве дают все студенты, а стихотворными переводами занимаются немногие, и хотя потребность в уроках гораздо больше потребности в переводах, но все-таки мне кажет<ся>, что в последнем случае шансов получить работу гораздо больше, если действительно переводы мои хороши, как говорил вам Досекин.[5] Вернусь к моему теперешнему денежному положению: из привезенных мною денег я бабушке мог заплатить только за полтора месяца; так как расходов оказалось довольно много — много ушло на книги, хотя я по возможности покупал их у букинистов и только самые необходимые. Нужно было купить стол, так как у бабушки стола не было, этажерку для книг, лампу, фуражку и мало ли других всевозможных расходов. На театры же я истратил за

все время очень мало, так как всего-навсего с самого приезда был всего 4 раза в театре.[6]

Пешковский устроился дешево.[7] Комната ему стоит 10 рублей (комната очень большая). Обед тоже хороший, домашний, 12 рублей. Сколько у него выходит на другие мелкие расходы, не знаю. Что касается до его рассеянностей, то их за его пребывание в Москве уже много накопилось. Вот образцы: когда он только что приехал в Москву и отправился представляться инспектору, то первым делом вошел не в кабинет, а в большой книжный шкаф. Гостил тут у него в Москве его брат.[8] Однажды этот последний знакомит его с каким-то своим знакомым, — Саша очень вежливо снимает фуражку, раскланивается, рекомендуется и подает руку своему брату. Бывают такие случаи, что он приходит на квартиру к знакомому студенту и, будучи уверен, что он пришел к себе домой, ищет своего пейсне в его тужурке, висящей на стене. Бывает, что встречается он с кем-нибудь из студентов, бывших феодосийцев, с которым он был хорошо знаком, долго разговаривает с ним, а потом спрашивает меня: «С кем это я говорил?» Мы часто бываем с Сашей у Ляминых. У них вообще теперь более оживленно. Бываем вот — мы, новый родственник Глотов.[9] Кстати вот прилагаю вам его портрет, настолько похожий, что Лёля, впервые встретившись с ним на улице и никогда раньше не видавши его, сразу узнала его по этому портрету. Потом у Ляминых бывают еще Лёлины товарки по курсам.[10] Люба и Миша[11] ждут вас с нетерпеньем, чтобы заниматься с вами гимнастикой.

Тот том Гоголя, который вы искали, находится у Петровых, если не ошибаюсь. У Александ<ры> Михайл<овны>[12] я оставил много моих книг. Последнее время я занимался между прочим переводом поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка»[13] и перевел пока две главы, которые и привожу тут. Напишите, пожалуйста, какое впечатление производит на вас перевод и какие вы найдете недостатки. Я хочу перевести всю эту поэму. Она огромная. 27 таких глав. Переводя в неделю по 3, по 4 главы, я переведу ее в два месяца.

Германия

I

Уж скучный ноябрь стоял на дворе,
Уж хмурилось небо сурово,
Уж листья давно облетели, когда
Я ехал в Германию снова.
Едва ж я немецкой границы достиг,
Как сразу сильнее забилось
В груди моей сердце и даже слеза
Невольно из глаз покатилась.
Когда ж я услышал немецкую речь,
Со мной что-то странное сталось
И чувство — как будто бы сердце мое
Приятным теплом обливалось.
Арфистка-малютка запела вдали.
Запела с действительным чувством,
Но страшно фальшиво. Однако я был
Растроган немецким искусством.
И пела она о терзаньях любви,
О муках и о воздаяньи
Там в мире прекрасном, высоком, ином,
Где нет ни тоски, ни страданья.
И пела она о терзаньях земных,
О том, что уж радость умчалась,
О том, каким счастьем в былые года
Когда-то душа упивалась.
И песнь отречения пела она:
То «баюшки-баю» поется
Большому дитяте — народу, когда
Не в меру оно разревется.
Я знаю не только мотив и слова,
Но знаю и авторов славно,
Как тянут они втихомолку вино
И ратуют за воду явно.
Я новую, лучшую песню хочу
Пропеть вам, друзья, в назиданье.
Хотим мы уж здесь на земле положить
Для царства небес основанье,
Хотим на земле уже счастья вкусить,

Терпеть не желаем мы муки,
И брюхо не смеет растрачивать то,
Что создали честные руки!
На свете достаточно хлеба для всех,
Всем радость сияет и грезы,
Для всех одинаково мирты цветут,
И сладкий горошек и розы.
Да! Сладкий горошек, конечно, для всех,
Едва только стручья созреют,
А небо для ангелов будет и птиц –
Пускай себе в небе там реют.
И вырастут крылья по смерти у нас
И, взвившись могучим пареньем,
Взлетим мы на небо и будем там есть
Небесные торты с вареньем.
Прекрасная, новая, чудная песнь!
И флейт, и литавров звучнее!
Долой miserere![14] и похорон звон
Смолкает покорно пред нею.
Да! Гений свободы с Европой теперь
В союз неразрывный вступают
И радости первых восторгов любви
И страсти блаженство впивают.
Хоть не был попами их брак освящен,
Но признан он всеми на свете.
Да здравствуют вечно невеста, жених
И все их грядущие дети!
Вся песня моя – это свадебный гимн,
Победный, могучий, прекрасный.
Огромные звезды из гордой души
Встают лучезарны и ясны,
Горят вдохновеньем, пылают огнем,
Текут огневыми реками...
Я так преисполнен неведомых сил,
Что вырвал бы дубы с корнями!
Волшебным напитком мне хлынуло в грудь
Дыханье Германии милой:
Так древний гигант с материнской груди
Вставал с обновленною силой.[15]

II

Так духи-малютки, кружась надо мной,
Играли победные трели.
Чиновники прусской таможни меж тем
Пожитки мои осмотрели.
Раскрыли, разрыли, обнюхали всё –
Рубашки, штаны вытряхали,
Всё кружев, всё разных сокровищ моих,
Всё книг запрещенных искали.
Не знали вы, где их искать, дураки!
Лишь даром белье перерыто!
Я много везу контрабанды со мной –
Она в голове моей скрыта.
Тончайшие кружева есть у меня
И брюссельских кружев дороже.
О, если б те кружева вам показать,
Какие б вы скорчили рожи!
О, сколько сокровищ в моей голове!
Грядущего царства клейноды,[16]
Жемчу́г, бриллианты, священный венец
Всемирного храма свободы.
А книг запрещенных нельзя перечесть:
Есть сотни различных названий.
Я должен сказать вам, что ум мой – гнездо
Для всех запрещенных изданий.
Поверьте, что в книжном шкафу Сатаны
Их выбор гораздо скромнее
И фон-Фаллерслебена книги[17] – ничто
Пред библиотекой моею.
«Заметьте, – сказал мне один пассажир,
Стоявший бок о бок со мною, –
Как этот таможенный прусский союз[18]
Раскинулся сетью густою.
И этот союз, – продолжал он, – оплот
Народности нашей, и вскоре
Он разные мелкие части сольет
В большое немецкое море.
Он внешнее даст нам единство, сольет
Нас, так сказать, материально,

Духовную связь же цензура нам даст
Невидимо, но идеально.
Составится внутренний новый союз –
Единство и в мыслях нам нужно.
И будет Германия целой страной
Как внутренно, так и наружно».

Вот перевод этих двух глав. Я не ожидал, что они займут так много места. Напишите, пожалуйста, ваше впечатление.

Вам поклон от Пешковского.

Кланяюсь Пав<лу> Павлыч<у>.[19]

Макс.
28 октября 1897 г. Москва.

[1] 22 октября 1897 г. Е.О. написала одновременно Волошину и своей матери, Н.Г. Глазер, которой сообщала, что посылает «за содержание Макса 30 р.» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645, л. 84 об.). Волошину она выговаривала: «...разумеется, я знала, что тебе до января будущего года не хватит взятых с собой денег, но также и не предполагала, что через два месяца у тебя от них уже ничего не останется. Неужели ты и бабушке ничего за это время не заплатил? <...> Нужно серьезно заняться приисканием уроков, если сокращать себя не в чем» (Там же, л. 82).

[2] Волошин вступил в Крымское землячество Московского университета, видимо, вскоре после того как стал студентом. Целями студенческих землячеств были взаимопомощь и самообразование, причем на первом плане стояло именно оказание денежной помощи своим членам, для чего из касс выдавались ссуды, срочные и бессрочные (см.: *Орлов В.Н.* Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934. С. 222–224).

[3] Ежемесячный петербургский журнал «Вестник иностранной литературы» (1891–1916) выписывался Волошиным в 1892, 1895, 1897 гг. Ко времени написания письма Волошин сделал ряд переводов из Л. Уланда, Ф. Фрейлиграта, Г. Гейне, перевел по одному стихотворению Дж.Н.Г. Байрона и О. Барбье. Ни один из этих переводов в «Вестнике иностранной литературы» не появился.

[4] Никандр Васильевич Туркин в 1884 г., будучи студентом Межевого института, был домашним учителем Волошина. Затем, живя в Новочеркасске, стал театральным рецензентом, публикуясь в

1890-х гг. в газетах «Приазовский Край» и «Донская Речь». С 1906 г. жил и печатался в Москве.

[5] Н.В. Досекин.

[6] См. примеч. 5, 6 к п. 19, примеч. 4 к п. 21. 13 октября 1897 г. Волошин слушал оперу К. Сен-Санса «Генрих VIII» (1883) в Большом театре.

[7] См. примеч. 4 к п. 20.

[8] Артур Матвеевич Пешковский.

[9] Здесь же наклеен портрет пером Я.А. Глотова, выполненный Волошиным. Яков Александрович Глотов – двоюродный брат Волошина (видимо, с материнской стороны), саратовский дворянин – также поступил на юридический факультет Московского университета.

[10] Е.С. Лямина поступила на Высшие женские курсы в Москве.

[11] Л.С. и М.С. Лямины.

[12] А.М. Петрова.

[13] «Германия. Зимняя сказка» – поэма Г. Гейне (1844). См. переведенные Волошиным фрагменты из нее: Т. 4 наст. изд. С. 887–900. Ранее поэма публиковалась в России в переводах В.И. Водовозова (1861), В.Д. Костомарова (1863), Заезжего (В.М. Михайлова; 1875), Д.Д. Минаева (1881).

[14] Miserere – католическое песнопение на слова покаянного 50-го псалма.

[15] Имеется в виду великан Антей (*греч. миф.*), сын Посейдона и Геи, который получал новые силы от прикосновения к матери Земле.

[16] Клейноды – войсковые знаки отличия (знамена, трубы, литавры, печать) и символы власти (булава, пернач) в украинских казачьих и польских войсках.

[17] Август Генрих Гофман фон Фаллерслебен (1798–1874) – немецкий политический поэт, чьи стихи были под запретом в Пруссии, но казались Гейне гораздо менее опасными, чем это представлялось власти.

[18] Таможенный прусский союз возник в 1834–1840 гг., после Наполеоновских войн, и способствовал гегемонии Пруссии в экономической жизни Германии.

[19] П.П. Теш.

24. А.М. ПЕТРОВОЙ

*2 ноября 1897 г. Москва**

Дорогая Александра Михайловна!

Моя милая феодосийская маменька! Наконец-то я дождался от вас письма[1] и дождался как раз в то время, когда уже совсем отчаялся получить его. Главное, я не мог себе представить, в каком положении, в каком состоянии находитесь вы теперь. Я спрашивал у мамы, в каком состоянии духа нашла она вас при свиданьи, но мама мне отвечала, что, когда она видела вас, она сама была до такой степени поражена и ошеломлена в первый момент известием о смерти, что почти ничего не сознавала, что делалось кругом.[2] Потом уже из письма Спитковского к Саше[3] я узнал, что вы показывали ему счетную машину, и это послужило для меня известным психологическим ключом. Теперь для меня все ясно. Если вам не будет это тяжело, то опишите мне все это время.[4]

Ну, а теперь – прочь все грустные думы и воспоминания – и я постараюсь описать вам мою настоящую жизнь. Напрасно вы думаете, что я так-таки все и «накачиваюсь премудростью». К сожалению, вы ошиблись. Сначала я напустился на всякие права очень свирепо, но вот уж две недели, как науками занимаюсь очень мало. Положим, на днях снова нырну в книги. Временный перерыв произошел оттого, что это время у меня было очень много дела в попечительстве, в котором я состою уже членом. Делал я уже несколько обходов: наблюдения очень интересны, но со случаями крайней нищеты, доходящей до голодной смерти и чего-нибудь в этом роде, мне пока еще не приходилось <встречаться>. Встречаются и трагические, и комические сцены, и попад<а>ешь иногда в положения очень неприятные. Опишу, как пример, одну сценку: по поручению попечительства отправляюсь я собрать сведения о положении одной бедной девицы дворянского звания 50-ти лет от роду, живущей из милости у дьякона какой-то церкви. Являюсь.

* *В верхней части листа – рисунок пером: две лодки под парусом у причала и одна – вдали.*

Встречает меня дьяконша – пожилая женщина, с какими-то бесцветно-оловянными полоумными глазами навыкате. Сообщаю ей, что вот пришел я от попечительства затем, чтобы... и т.д., и могу ли я видеть ту бедную. Узнав, в чем дело, дьяконша совершенно неожиданно кидается предо мной на колени с криком: «Ради Бога, избавьте нас от нее! Вот на коленях вас прошу». Я, конечно, смущен ужасно, и мне еле-еле удается привести ее в прежнее стоячее положение, причем я замечаю, что она с трудом держит равновесие. У меня невольно рождаются подозрения: не пьяна ли она. Является бедная, чрезвычайно маленькая, очень скромная и страшно конфузящаяся особа. Я начинаю составлять опросный лист. Дьяконша между тем из патетического настроения впадает в скептическое. Я слышу, как при каждом вопросе с моей стороны она шепчет: «Ну вот и глупо, и совсем глупо». Подозрения мои всё усиливаются, тем более что я чувствую довольно явственный запах водки. Наконец, она доходит до крайней степени отрицания, и я слышу довольно явственно произнесенную фразу: «И зачем это таких дураков к нам посылают?!!» Положение становится решительно критическим, тем более, что я вижу, как она все ближе и ближе придвигается ко мне. Но тут, на мое счастье, в комнату входит сам дьякон: «Жена-а!! поди сюда». Затем я слышу произнесенное театральным шепотом слово: «Бессовестная!», потом звук борьбы, падение тела и грозное приказание: «Заприте ее». Еще хуже бывало, когда я ходил продавать билеты на концерт, устраиваемый попечительством в пользу бедных. Ходить, конечно, приходилось по совсем незнакомым домам, где богатая квартира – там и звонишь: «Не желаете ли?» Ну так вот при этом бывало, что, выражая<сь> технически, попросту выставляли. Да еще лакей торжественно распахнет дверь и скажет с иронией: «Пожалуйте-с», а потом еще прибавит про себя: «Таких-с тут много шляется». Сначала меня это несколько коробило, но я находил утешение в философии, убеждая себя, что я не более как отвлеченный принцип, облеченный в конкретную форму.

Попечительство наше вообще довольно деятельно. При нем есть и народная столовая, и чайная, и ясли, и мужская и

женская богадельни. Есть вот только, по-моему, один недостаток: недостаточно обращается внимания на приискание работы для работоспособных личностей. А это последнее мне кажется чрезвычайно важно. В английских благотворительных обществах, например, такая помощь ставится на первый план, а помощь деньгами совсем даже не признается.

Кроме хлопот с попечительством: главным образом по устройству концерта – я был распорядителем, я был последнее время очень занят тоже переводами. Я предпринял капитальный труд – именно я перевожу «Германию. Зимнюю сказку» Гейне. Помните, какие были скверные переводы, которые вы читали: ну вот я задался гордой целью дать хороший литературный перевод «Германии»! Пока за эту неделю я перевел три песни (из 27), которые и прилагаю к письму.[5] Какое впечатление произведет на Вас перевод. Напишите, пожалуйста. И отметьте те места, которые вы найдете слабыми или шероховатыми. Кроме того, я теперь начинаю агитацию между студентами. Агитацию об издании студенческого сборника в пользу недостаточных студентов.[6] Такие сборники существуют в Киеве, в Харькове, в Петербурге, и только у нас в Москве их нет еще, и я вот думаю восполнить это упущение, пока же хожу в Румянцевский музей собирать матерьялы.

Да! Ведь я Вам не писал еще, какую пакость устроил мне Гролих. Меня вызывал инспектор студентов[7] и сказал мне следующее: «Я должен Вас предупредить, чтобы Вы были осторожны, так как характеристика ваша такова,[8] что вы были с трудом приняты в университет. Там отдается должное вашим талантам, но говорится, что вы отличались чрезвычайно строптивым и тяжелым характером по отношению к начальству и товарищам. Вообще предупреждаю вас, что вы находитесь под надзором полиции». Но довольно обо мне. Теперь о Саше. Вот он действительно накачивается премудростью, да еще как!! Книги он пожирает, глотает, давится, и я нисколько не удивлюсь, если он когда-нибудь действительно подавится костью, и костью человеческой. У него их

целая коллекция всегда на столе. Вдруг вместо хлеба кость возьмет. У него все перемешано. Настоящий кабинет Фауста — его комната. Он даже до того дошел, что недавно с самим Тимирязевым[9] в научный спор вступил! Каково? Вот Тимирязев-то, я думаю, поражен был! Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам несколько новых фактов его рассеянности. Звонок... Это он сам... Ну, погодите... Что это он, я знаю потому, что он стучит всегда в дверь и не войдет раньше, чем бабушка не скажет ему: «herein!»* Но теперь бабушка спит... «Войди!» — — — — — — — —

Посидел он у меня полчаса и убежал: он где-то очки оставил, так искать пошел. Но возвращаюсь к прерванному рассказу. Гостил у Саши одно время его брат. Он знакомит его с каким<-то> своим знакомым (брат знакомит). Саша раскланивается и представляется своему брату. Как-то раз пришел Саша к Биркенгофу (он живет тут же рядом с нами) и, будучи в полной уверенности, что пришел к себе домой, искал все своего носового платка в его тужурке. Да, вот! читали вы в «Русских Ведомостях» фельетон Джерома «Рассеянный человек»?[10] — Это портрет Саши до мельчайших подробностей. Просто поразительно. И не только сам Саша похож, но и окружающие его тоже замечательно похожи... Впрочем, вы наверно не читали. Я вырежу его и вложу тоже в письмо.

То, что мы живем не вместе, все-таки очень печально. Это даже и на Сашиных нотациях отразилось: они много потеряли и в объеме, и в силе, а главное в обстоятельности. Матерьялу уже столько нет.

Что касается университета, то я могу сказать, что он моих надежд не превзошел, но от теперешнего университета я не особенно много и ожидал. Что же касается до студентов, то я думал, что они все-таки будут получше, чем то, что я здесь нашел. Они все ужасные гимназисты, и от них можно было бы потребовать большего развития, и умственного, и нравственного. Я знаю очень многих, убивающих все время за винтом.

---

* «Войдите!» (*нем.*)

В театрах бываю я редко. Причина очень проста — нет денег. А денег нет потому, что уроков не нашел. За последнее время, положим, был я два раза в опере. Был в Большом театре на «Генрихе VIII»,[11] и <это> не произвело на меня ника-акого впечатления; зато «Псковитянка», которую я слушал в частной русской опере Мамонтова, произвела на меня впечатление громадное как музыкой, так и игрой Шаляпина (молодого, нового артиста) в роли Иоанна Грозного.[12] Вообще Большой театр теперь совсем плох, что вы, положим, можете заключить по кашкинским рецензиям в «Русских Ведомостях».[13] Читаете ли вы «Русские Ведомости»? На будущей неделе в Москве начинаются спектакли труппы берлинского Лессинг-театра, и мы уже взяли с Сашей билеты на «Потонувший колокол» Гауптмана.[14] Я ожидаю много<го>. Потом напишу, что увижу.

Пора заканчивать письмо. Мне опять хочется засыпать вас вопросами: Что вы теперь будете делать? Бросили ли вы окончательно школу? Почему вам невозможно ехать в Асхабад?[15] Как вы теперь живете? Чем вы теперь занимаетесь? Уехал ли Михаил Митрофанович? Да вообще всё, всё напишите. Пожалуйста, Александра Михайловна!

Передайте мои поклоны Михаилу Митроф<ановичу>, Нине Александровне, Мише, Оре, Адриану, Саше и Пете, когда будете им писать, Елене, Зинаиде и Вере Викентьевнам, Евгении Алексан<дровне>, Ольге Александ<ровне>, Нине Алек<сандровне> II-ой, Анне Федоровне, словом, всем знакомым.[16] Спитковскому тоже. Да! Где Петя Лампси? Уехал ли он? или, если еще в Феодосии, то когда уедет?[17] До свиданья. С нетерпением жду подробного письма. А лучше всего, право бы, вам уехать из Феодосии. Всего лучшего.

Дитю.

Саша вам кланяется.

2 ноября 1897 год<а>. Москва.

[1] Письмо от 28 октября 1897 г. (предыдущее письмо Петровой к Волошину было написано 6–7 сентября).

[2] Упоминаемое письмо Волошина к матери, видимо, не сохранилось. 22 октября Е.О. писала ему: «В Алек<сандре> Мих<айловне> я никакой перемены не нашла и в минуту свидания была настолько сама поражена смертью Ал. (sic! подразумевается: “Марии”. – *Ред.*) Леон<ардовны>, что, по наблюдению П.П., представляла разительный контраст с равнодушием окружающих. Да оно и понятно: они успели уже привыкнуть к этой мысли. О сборах А.М. в Закаспийский край не слыхала» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645).

[3] А.М. Пешковский.

[4] О состоянии бабушки перед смертью (см. примеч. 2 к п. 22) Петрова писала Волошину 28 октября: «Разлука и смерть наступили еще восемь месяцев тому назад, когда начались страдания и когда всякое привычное общение было прекращено» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

[5] См. п. 23, примеч. 13. К письму приложен автограф выполненного Волошиным перевода глав I–III поэмы «Германия» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 90, л. 23–26 об.).

[6] «Сборник в пользу недостаточных студентов Московского университета» вышел в 1897 г. под редакцией В.А. Гольцева, но в нем нет даже упоминания Волошина. В предисловии студента Николая Каринского сообщается, что мысль об издании этого сборника возникла еще в 1895 г.

[7] Речь идет о Рафаиле Ивановиче Державине, который был помощником инспектора университета.

[8] В «Деле канцелярии инспектора студентов имп. Московского университета о принятии в студенты Кириенко-Волошина Максимилиана» процитирована эта характеристика: «именно – об его отрицательном миросозерцании и о том, что в гимназии он пользовался большим влиянием на товарищей, но *не всегда в хорошую сторону*» (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, дело 436, л. 19 об.).

[9] Климент Аркадьевич Тимирязев был профессором Московского университета с 1877 г. (по кафедре анатомии и физиологии растений).

[10] Рассказ Джерома Клапки Джерома «Рассеянный человек» (в переводе В. Кардо-Сысоевой) был опубликован в газете «Русские Ведомости» 11 октября 1897 г. См.: *Джером Джером К.* Избр. произведения: В 2 т. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 2. С. 112–120 («Рассеянный», пер. Н. Ромм).

[11] См. примеч. 6 к п. 23.

[12] Опера Римского-Корсакова «Псковитянка» (1873) с участием Ф.И. Шаляпина была представлена в Русской частной опере 26 октября 1897 г.

[13] Николай Дмитриевич Кашкин (1839—1920) — музыкальный критик. «Русские Ведомости» были популярны в среде либеральной интеллигенции; именно эту газету обычно выписывала мать Волошина.

[14] «Потонувший колокол» («Die versunkene Glocke», 1896) — пьеса-сказка Герхарта Гауптмана. Гастроли берлинского Лессинг-театра проходили в Москве с 5 по 14 ноября в «Интернациональном театре» на Большой Никитской. Дирижер Оскар Блюменталь.

[15] 28 октября Петрова писала Волошину: «...я не в Асхабаде, а дома. Как мы ни обдумывали этот вопрос с папой, а все же пришли к заключению, что ехать туда нельзя. Это по многим и многим причинам». Вопрос Волошина о причинах этого решения Петрова в ответном письме от 13 ноября 1897 г. проигнорировала.

[16] Евгения Александровна — Дуранте. См. также примеч. 17 к п. 20, примеч. 4 к п. 9.

[17] Петрова отвечала в письме от 13—14 ноября на этот вопрос: «Он еще здесь, но подал прошение в Харьк<овскую> губ<ернию> в Акциз» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

25. А.М. ПЕТРОВОЙ

Около 18 ноября 1897 г. Москва

Что это? Какая это фантастическая местность? Горная площадка; седые старые ели, скалы, красный огонек, выглядывающий из какой-то расселины; вон какой-то колодец из грубо сложенных камней, и горы, горы, облитые лунным светом, подернутые голубой дымкой, застывшие, заснувшие в тишине этой фантастической ночи. Какое-то существо сидит на камне около колодца. Приглядываюсь: это полуребенок, полуженщина с длинными распущенными волосами, кажется, что она задрапирована в одежду из голубого лунного тумана. Она что<-то> очень быстро говорит на каком-то очень красивом певучем, но совершенно незнакомом мне языке. Голос у ней и тихий, и звучный, как

звуки цитры. Она и говорит что-то, и прыгает вокруг колодца, то наклоня<е>тся над ним, словно зовет кого-то, то кидает туда камушки и хохочет, хохочет звонким серебристым смехом. «Кво-о-ор-р-ракс!» Колодец сразу освещается голубым сияньем, которое исходит от... Да что это? Исполинская лягушка, получеловечье лицо, длинные седые волоса... «Существо» хохочет и мягко ускользает на противоположную сторону площадки от безобразной лягушки, и дразнит ее оттуда. Лягушка что-то начинает говорить и вытягивает огромные зеленые лапы. В горах перекатывается эхо. Лягушка прячется. Свита исчезает. Из-за сосен, из-за скал робко, почти не касаясь земли, выходит несколько эльф, таких же, как и первая, так же одетых лунным туманом. Они берутся за руки, начинают медленно кружиться и что<-то> говорят, но говорят такими певучими и тихими голосами, что кажется, что это отдаленное пение, какие<-то> голоса, зовущие куда-то вдаль, куда-то.......... Сандуновские бани. Цена 50 копеек!!!!!..... Фу! безобразие!! Все впечатление этим... Черт знает, что такое!

— «Макс! да ведь это везде. Разве ты не видал: у Корша такая же занавесь, с такими же объявлениями. Скажи лучше, ты понял что-нибудь? Я все-таки несколько слов понял, и так общий смысл все-таки отчасти понятен».

Это было на спектакле Лессинг-театра на «Потонувшем колоколе».[1] Игра и постановка действительно замечательны, несмотря на всю невероятную трудность некоторых ролей, как, например, водяного. Положим, он был лучше всех. Мастер Гейнрих очень декламировал и скандировал, но это не производило скверного впечатления, потому что нельзя было ни одного слова понять. В общем, впечатление громадное.

Но довольно об этом. Впечатление уже вытеснено теперь другими. Музыка играет, штандарт пляшет,[2] Александра Михайловна! Макс суетится, Макс бегает, Макс не занимается юридическими науками, Макс...

Александра Михайловна!! погодите, не читайте мне нотации! Я вам сейчас все расскажу! Кха-к-к-хм!!...

М<илостивые> г<осудары>ни и м<илостивые> г<осуда>ри! Я явился, чтобы сообщить вам,[3] что я предпринимаю издание нового периодического органа — именно Сборника из статей студентов Московского университета. Сборник будет носить научно-литературный характер. Цели его: 1) Помощь недостаточным студентам. 2) Зеркало студенческой жизни и мысли — студенческий орган. 3) Новое объединяющее начало для всего студенчества. Надеюсь, что никто из студентов не откажет в содействии и в сочувствии этому предприятию. Я кончил. То есть, я не кончил, Александра Михайловна, а начал. Начал я с того, что мысль эту изложил в одном студенческом кружке. Мысль эту приняли и начали действовать. Во-первых, мы отправились к Гольцеву, редактору «Русской Мысли».[4] Он высказал горячее сочувствие этому делу, согласился на то, чтобы все дело велось, во избежание затруднений со стороны начальства, от его лица, открыл кредит в «Русской Мысли», взял на себя хлопоты по типографии и редактирование литературно-критического отдела. Затем я был у профессора Тимирязева, у редактора «Вопросов философии и психологии» Преображенского,[5] с просьбой об редактировании естественного и философского отделов. Они отнеслись к этому делу так же горячо и сочувственно, как Гольцев. На днях по аудиториям будут развешены объявления, приглашающие студентов к участию в Сборнике. Дело кипит. Шумим, братец, шумим![6] Положим, не только шумим, но и дело делаем. Как это вам нравится? А вы знаете, Александра Михайловна, что меня женить хотят? — «Наверно на Ли-до-чке!!!»[7] — Ан, нет! — «На кому же?!!» — На Вере Нич, Александра Михайловна, на Вере Нич! Помните, мама вам, кажется, рассказывала, как мы раз были в Отузах[8] у одной старушки m-me Казаковой и как эта Казакова рассказывала маме о том, как она хорошо женить умеет, и предложила маме, что, хотите вот, я вашего сына женю, ну хоть вот на Вере Нич. Мама ей шутя ответила, что она лучшей невесты для меня и желать не может. Ну, а теперь вот Вера пишет мне, что m-me Казакова гостит у них и все уговаривает ее выходить за меня замуж. Как ваше мнение, Алексан-

Заказ № 5706

дра Михайловна? Жениться, что ли? Ай! не буду больше, не буду!! это я шучу только! А жениться и не думаю даже! Но, впрочем, чем же я не жених? Какой у меня поэтический вид теперь! Волосы я отпустил себе до плеч, бородку подстриг à la Henri IV: вы себе не можете представить даже, как это хорошо и красиво выходит!

Довольно дурачиться. Перехожу в сериозный тон. Действительно, ужасно много уходит времени на хлопоты по изданию сборника, например нужно дежурить в редакции «Русской Мысли» по известным дням. Кроме этого, у меня еще в настоящее время дело – я приглашен распорядителем на концерт певицы Марковой,[9] устраиваемый в пользу недостаточных студентов. Читали? В этом году 900 человек за невнесение платы исключаются. Ужасно! Ну, вот теперь и идут бесконечные сборы Да! Алекс<андра> Мих<айловна>, мама уже приехала в Москву. Она очень жалеет, что не зашла к вам, и извиняется; она и сама, говорит, не знает, как это вышло, что она к вам не попала, хотя ехала с твердым намерением непременно побывать у вас. Они с Пав<лом> Павлов<ичем>[10] попали прямо во власть одной барыни, m-me Сенкевич, которая так их весь день и не отпустила.[11] Мне тем более было неприятно это, что я с большим нетерпением ожидал обещанного сюрприза, и любопытство мое было раззадорено в высшей степени.

Пав<ел> Павл<ович> теперь занимается литературой: переводит статьи научные, чтобы издать их, и пишет заметки в новой газете, недавно начавшей издаваться, и очень порядочной газете, «Курьере».[12] Продолжение перевода «Германии» вам не посылаю, так как не успею переписать, а письмо хочу послать сегодня же, а то и так за всеми этими делами замедлил. Я думаю «Германию» в Сборнике поместить. Памятник Мопасану виде<л>.[13] Вполне согласен. О-о-óчень хорошо!! Доницет<т>и не видал.[14] Слыхал я в симфоническом мендельсоновский «Сон в летнюю ночь» и «Гарольд в Италии» Берлиоза[15] – вот!... Замечательно.

На рождестве буду писать подробнее. Пишите вы. Вы о пребывании Михаила Митр<офановича> обещали напи-

сать.[16] Своих стихов я не писал больше. «Прощание» даже и Досекину понравилось – первое из оригинальных.[17] А я ведь думаю таким манером и в «Русскую Мысль» попасть. Как итальянский язык ваш? До свиданья. Кланяюсь и улыбаюсь Нине Алекс<андровне>, Оре, Мише, m-er Райчевичу, Тее, Нарде, Микишке, Васильку, Маришке, Марюське.[18] Да! как она? Выросла? До свиданья.

Дитю.

P.S. Не могу не отметить немного рискованное правописание слова «интьресоваться».[19]

Мама и бабушка вам кланяются.

Имейте в виду, что письма, адресованные ко мне, повидимому, вскрываются на почте. Так что наклеивайте марки на обороте, на месте склеивания. А на конвертах следы вскрытия очевидны.

[1] См. примеч. 14 к п. 24.

[2] «Музыка играет, штандарт скачет» – из реплики Почтмейстера в «Ревизоре» Н.В. Гоголя (действие 1-е, явление II).

[3] Ассоциация с первой репликой Городничего в «Ревизоре» (действие 1-е, явление I): «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие».

[4] В.А. Гольцев был редактором московского литературного, научного и политического журнала «Русская Мысль» (1880–1918) с 1885 г.

[5] В.П. Преображенский был редактором московского журнала «Вопросы философии и психологии» (1889–1918) в 1896–1897 гг. (вместе с Л.М. Лопатиным).

[6] Фраза Репетилова, персонажа комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), – действие 4-е, явление IV.

[7] Лидия Соломос.

[8] См. примеч. 5 к п. 12.

[9] Александра Михайловна Маркова – певица Большого театра. Ее концерт в пользу недостаточных студентов состоялся 7 декабря 1897 г. в зале Российского Благородного собрания.

[10] П.П. Теш.

[11] Ираида Семеновна Сенкевич – вдова полковника, отдыхавшая в Коктебеле. Адрес в Москве: Милютинский пер., дом Родионова.

[12] «Курьер» – ежедневная газета, выходившая в Москве с ноября 1897 г. по 1904 г. Редактор-издатель Я.А. Фейгин, соиздатель А.Г. Алексеев, редактор В.П. Потемкин. В газете принимали участие Л. Андреев, М. Горький, В.В. Вересаев, А. Серафимович, Н.Д. Телешов, А.П. Чехов. См.: *Чуваков В.Н.* «Курьер» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. 1890–1904. Социал-демократические и общедемократические издания. М.: Наука, 1981. С. 353–375.

[13] Памятник Мопассану был установлен в 1897 г. в парке Монсо в Париже (скульптор Р. Верле, архитектор А. Деглан). В письме от 13–14 ноября 1897 г. Петрова восхищалась этим памятником: «Я вчера целый час не могла оторваться от его рисунка. Одна из богатейших вещей по идее. Так же великолепен памятник Доницетти. Видели?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951). Впоследствии Волошин описал памятник Мопассану в стихотворении «Вот парк Монсо. Здесь Мопассан...» (1899) и в стихотворении «Камни Парижа» (1900). См.: Т. 2 наст. изд. С. 369, 384.

[14] Гаэтано Доницетти с 1839 г. жил в Париже, но памятника ему там не установлено. Возможно, Петрова видела изображение памятника Доницетти на могиле композитора в Бергамо.

[15] Увертюра «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона-Бартольди была исполнена в Большом зале Российского Благородного собрания 18 октября, а симфония для оркестра и альта Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» – там же 15 ноября 1897 г.

[16] 14 ноября Петрова сообщала Волошину: «Сегодня получили телеграмму от папы, из Асхабада. <...> Следующий раз напишу подробнее о папином пребывании». Это намерение не было выполнено.

[17] См. п. 20, примеч. 16. Упоминается Н.В. Досекин.

[18] Антонио Райчевич и его сын Нардо – феодосийцы, выходцы из Далмации. Нардо был учеником А.М. Петровой. Маришка и Марюська – животные. См. также примеч. 4 к п. 9, примеч. 17 к п. 20.

[19] Подразумевается фраза в письме Петровой от 13–14 ноября: «Почти все мое время распределено и, если это Вас интересует, то я опишу свои занятия».

26. А.М. ПЕТРОВОЙ

11 декабря 1897 г. Москва

11 декабря 1897 года. Москва.

Да! милейшая Александра Михайловна! да! Я не был на Тине.[1] И шипите вы там себе, и шкворчите, и свистите, и ворчите, а не был. Вот так-таки и не был, и даже за грех не почитаю. А не был потому, что некогда было билетов доставать — занят был. А занят был Сборником,[2] который Вас, по-видимому, совсем не интересует (в письме одна только фраза, да и то в виде вопроса: как дела? — фраза, не выражающая ничего и банальная, вроде: как Ваше здоровье?). Да, а меня этот Сборник пока совершенно поглощает. И заметьте, что это предприятие не пустячное, а важное. Подобные дела затевались в России, но еще ни одно не доводилось до конца и не соответствовало цели, которая им предназначалась. В Московском же университете это дело совсем новое и начинающееся в первый раз.

Но довольно, а то я дойду до «парламентских выражений», как говорится в венских юмористических журналах. Наверно, если бы я в настоящую минуту не был отделен от вас тысячами верст, а сидел бы у вас <в> комнате на диване, то мы бы устроили небольшое домашнее заседание Рейхстага. Глупо сердиться, и еще тем более, что вы сами пишете, что вы дразнитесь только. Но как хотите: если эти маленькие шпильки кажутся смешными и забавными на словах, то, пройдя расстояние от Феодосии до Москвы, они являются гораздо более знаменательными и значительными. И как это я могу иссушить чувство, печатая свои стихотворения в «Русской Мысли»?!![3] (да еще вопрос — будут ли их печатать!). Да, впрочем, вы это всё только чув-ству-е-те!!! (это с тоном, Александра Михайловна, с тоном!).

Сейчас снова схватил ваше письмо, чтобы набрать материала для продолжения негодования, но мой взгляд упал как раз на то место, где вы говорите о рамке из фиялок и увядших роз...[4] и сердце мое растаяло. Спасибо, Александра Михайловна! вижу, что вы все-таки не забываете меня. Но

еще более приятное впечатление на меня произвело то, что вы наконец познакомились ближе с Лерой и, я уверен, в будущем очень сойдетесь.[5] Право, я так рад и так доволен вами, что от избытка чувств прямо расцеловал бы вас (если бы это только было принято). Опишите мне, пожалуйста, ваш первый визит к Воллк-Ланевским. Да, а ведь вы мне обещали написать, и давно уже обещали, о пребывании Михаила Митрофановича в Феодосии? Пожалуйста, напишите. Какие это у вас одиннадцать статуэток и что они изображают?[6]

Что я не был на Тине, это действительно печально, но было для меня невозможно. А к «Потонувшему колоколу» вы напрасно с таким пренебрежением относитесь; ваши слова о нем я могу извинить только тем, что они были сказаны в пылу увлечения, а иначе они совсем непростительны.[7] Недавно я был на «Фаусте» и видел лучшего в России (а иные говорят – даже и в Европе) Мефистофеля – Шаляпина.[8] Я, кажется, писал вам уже о нем, именно о том впечатлении, которое он произвел на меня в «Псковитянке» в роли Иоанна Грозного.[9] О пении его я, конечно, ничего сказать не могу, но относительно игры могу сказать, что он после Росси[10] произвел на меня самое сильное впечатление. Но заметьте еще, что игра Росси состоит исключительно из эффектных сцен, Шаляпин же играет поразительно просто и даже, кажется, избегает всяких эффектов. Еще интересно в Шаляпине то, что он совсем молодой человек (лет 26), крестьянин, нигде решительно не учившийся и начавший свою карьеру простым хористом, причем, когда ему предложили какое-то писарское место, оплачивавшееся на несколько рублей лучше места в хоре, он, не задумываясь, сделался писарем и уже в качестве писаря был случайно кем-то открыт. Вид в натуре у него самый непрезентабельный: так, простой мужиченко и больше ничего. А на сцене он прямо-таки гениален. Прилагаю к письму мой набросок Мефистофеля, сделанный под впечатлением оперы. Чей лучше: мой или Антокольского?[11]

Что касается новой прочащейся мне невесты, то меня действительно m-me Соломос[12] несколько беспокоит. Что это случится, она, по-видимому, давно уже прозревала, так как

всегда подозревала меня в любви к Вере[13] и не раз мне говорила об этом. Положение у Соломос теперь, действительно, сложное и запутанное. Официально-неофициальным женихом является Биркенгоф. Отношения их с Лидой[14] довольно своеобразны. Обыкновенно в середине зимы (как случилось и в этом году) они ссорятся и перестают писать друг другу. Примирение происходит обыкновенно летом. Причем, кажется, сама m-me больше влюблена в Бирк<енгофа>, чем Лида. Так что большую часть года они проводят в ссоре и только очень короткое время в любви и согласии. Очевидно, что может случиться так, что слабые нити порвутся окончательно. На этот именно случай m-me, по-видимому, и приберегает меня, как запасного жениха. Отношения же мои с Лидой чуть ли в общем даже не лучше и ближе, чем отношения ее с Биркенгофом. Видите ли, история сложная и психологическая, в которой роль греческого рока, держащего в своих руках нити судьбы действующих лиц, исполняет m-me Соломос. Заметьте только, что Лида сама играет тут пассивную роль и даже не сознает всех интриг и затей мамаши. Размышляя объективно о своем прошлом житье в Феодосии, я пришел к выводу, что, собственно говоря, я давно бы по уши влюбился бы в Лиду и попал бы в сети, расставленные m-me Соломос, если бы не было Веры, в Веру же я влюбился бы, если бы не было Леры, а в Леру, если бы не было вас, Александра Михайловна. Не принимайте моих слов в шутку — я говорю вполне сериозно. Я был в положении знаменитого философского осла, который стоит между двух стогов сена и самоотверженно умирает от голода, специально для того, чтобы доказать несвободу воли.[15] Стогами сена были вы, Лида, Лера и Вера, а я был ослом, настоящим форменным ослом, хотя и с оттенком философии!

«Я — дурак такой!». Положим, не один только я, но и Саша, как он мне как-то признавался. Но довольно об этом. И Вера, и Лида замечательно симпатичны и кто лучше, не знаю. Только, ради Бога, Алекс<андра> Мих<айловна>, никому не говорите о том, что я здесь писал насчет m-me Соломос. Ведь это все-таки одни только догадки и предположения.

Дела по изданию Сборника идут довольно успешно. Два раза в неделю дежурю я в редакции «Русской Мысли» и принимаю статьи. Статьи стали поступать всего только три дня, и уже набралась изрядная кипа бумаги. Хотя нужно заметить, что пока приносят всего больше стихов, но в недалеком будущем обещается много и очень сериозных статей. Заметьте, что в Сборнике стихов будет очень мало — только выдающиеся. Во время дежурства невольно делаешь очень много в высшей степени интересных психолого-статистических наблюдений. Пока в редакцию приходят только юристы и филологи. Естественников и медиков пока не было ни одного. Филологи приходя<т> всё со стихами — масса стихов, и идейные, социальные, и художественные, и декадентские, и переводные, и скверные, и хорошие — всякие. Помню окончание одного стихотворения такого рода:

Отбивают такт
Голубые воды.
И горит, как жар,
Царственной природы
Пышный будуар.

Каково? В стиле Louis XIV! Юристы приходят всё больше с обещаниями статей по самым разнообразным темам. Вот некоторые заглавия: «Опровержение теории Маркса» (юристом I курса), «Новый взгляд на атомистическую теорию» (юриста III кур<са>), «Происхождение пейзажа» (юриста II курса), «О свободе совести» (юриста III курса), «О развитии фабрично-заводской промышленности и капитализме в земледелии» (юриста IV курса). Этот краткий перечень может вам дать понятие о необыкновенной смелости и энциклопедичности юристов. Так <ч>то вы видите, что я как раз по своей дороге пошел.

У m-me Юнге я не бываю теперь, потому что ее до сих пор нет в Москве и мало даже надежды, чтобы она вернулась <в> эту зиму, так как она едет с своим мужем[16] (он ведь болен) в Берлин, где ему будут делать операцию. Зато я познакомился с одним очень интересным господином Дегеном. Помните вы его «Песнь Рогнара»?[17] Ну вот у него я

бываю изредка. Он пишет критические статьи во многих журналах, между прочим и в «Космополисе»[18], и заведует отделом театра в недавно народившейся в Москве новой и притом очень хорошей газете «Курьер», в которой важную роль играет Быховской[19] и скоро будет, кажется, ее редактором. Деген прекрасный переводчик, только он, к сожалению, нигде не печатает своих переводов. С ним я советуюсь тоже насчет перевода «Германии».[20] Он сам ее когда-то пробовал переводить, но находит, что мой перевод лучше, и советовал продолжать перевод.

Саша с Биркенгофом уже четыре дня тому назад укатили в Ялту. Так что Саше письма уже адресуйте туда. Впрочем, если вы ему отправите письмо в Москву еще до получения моего письма, то я перешлю ему письмо в Ялту.

Вы, Александра Михайловна, право, кажется, гораздо более негодуете на Гролиха, чем я. Во вскрытии писем-то он, во всяком случае, не виноват. И напрасно вы думаете, что я волнуюсь из-за этого надзора. Он сказывается только в том, что меня знают все университетские педеля,[21] да градовой на нашем углу вытягивается предо мной во фрунт и отдает честь — вот и все видимые последствия, исключая вскрытия писем — это относится к невидимым. Ваше письмо вскрыто не было. Ну, пора кончать письмо. Сегодня же его и отправлю. Вам, конечно, все кланяются: и бабушка, и мама, и Павел Павлович, причем последний просит еще поблагодарить вас за то, что вы его помните. В числе новостей могу сообщить вам, что дача наша продается, так как Пав<ел> Павлов<ич> убедился, что она может привести только к полному разорению. Надеюсь, что она продается не скоро и что это лето можно будет еще прожить в Коктебеле.[22] Феодосия! Феодосия! вдруг я тебя больше не увижу! Ну, в таком случае, я сам приеду жить в Феодосию на лето.

Я еще хотел попросить Вас, Алекс<андра> Михайловна, об исполнении одного обещания, именно о той вашей маленькой семейной группе, которую снимал Тося, и которую вы сперва́ подарили мне, а потом Саше,[23] причем мне обещали дать другую. Пожалуйста, если только можно, дайте и мне

такую группу. Ну, а пока до свиданья. Кланяюсь и улыбаюсь всем: Нине Алекс<андровне>, Ольге Алекс<андровне> (благодарю ее за внимание), Райчевичу, Мише, Оре, Тее, Нарде и т.д. Михаил<у> Митроф<ановичу>, Адриану, Саше и Пете, когда будете им писать. Да еще Пете Лампси, Воллк-Ланевским, Стелле <?> Левтерьевне, Асвидурову,[24] Спитковскому, Ел<ене,> Вер<е> и Зин<аиде> Викентьевн<ам>, Анне Самойлов<не>, Евген<ии> Алексан<дровне> и всем другим знакомым.

Правда ли, что Зинаида Викентьевна действительно выходит замуж за Дмитрокопуло? как гласит слух, донесшийся до Москвы. Если правда, то это очень печально. Как поживает мой друг Чураев и его осел? Что поделывает очаровательный Гролих? Гауфлеру я действительно не писал, но и не знаю даже, куда и писать.[25]

До свиданья. Жму лапку Васильку, я его сегодня во сне видел.

Ваше дитю.

[1] Итальянская певица Тина ди Лоренцо приезжала в Москву на гастроли со своей труппой; продажа билетов на ее спектакли началась 9 ноября 1897 г. Письмо Петровой к Волошину от 3—7 декабря 1897 г. начиналось словами: «Непостижимо! Возмутительно! Отвратительно! Все, что́ угодно... если Вы только осмелились пропустить спектакли Тины ди Лоренцо! А между тем, ни в Вашем письме, ни у Пешковского ни слова об этом нет. Что могло Вам помешать?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

[2] Студенческий сборник, задуманный Волошиным (см. п. 25), не был осуществлен.

[3] Подразумевается следующий фрагмент из письма Петровой от 3—7 декабря: «Отчасти я довольна, если Вы будете печатать свои стихотворения в Рус<ской> Мыс<ли>, но, с другой стороны, не увлечетесь ли Вы спешной работой и не повлияет ли это на ход Вашего развития? <...> Умственно Вы всегда успеете развиться, а чувство может засушиться».

[4] В письме от 3—7 декабря Петрова извещала Волошина о своих занятиях рисованием по стеклу: «Теперь уж непременно Вашу карточку разукрашу (если не лопнет стекло) в виньетку из незабудок и

увядших роз и, глядя на нее, буду проливать горькие слезы. “Как хороши, как свежи были розы”!.. Ох! если бы Вы знали, как мне хочется Вас подразнить!»

[5] О своем сближении с В.А. Воллк-Ланевской Петрова сообщала в письме от 3–7 декабря.

[6] Одиннадцать белых фарфоровых статуэток подарил Петровой ее отец, М.М. Петров. В следующем письме (от 31 декабря) она сообщала, что статуэтки «или из античных, или Кановы».

[7] Волошинское описание спектакля «Потонувший колокол» (п. 25) Петрова определила в ответном письме как «дичь на лягушачьем языке».

[8] По-видимому, Волошин был на представлении оперы Ш. Гуно «Фауст» (1859) в театре Солодовникова с Ф.И. Шаляпиным в партии Мефистофеля 1 декабря 1897 г.

[9] См. п. 24, примеч. 12.

[10] Итальянский драматический актер Эрнесто Росси выступал в России в 1895 и 1896 гг.

[11] Скульптура М.М. Антокольского «Мефистофель» (мрамор) выполнена в 1883 г.

[12] О.А. Соломос.

[13] Вера Нич.

[14] Лидия Соломос.

[15] См. примеч. 4 к п. 8.

[16] Эдуард Андреевич Юнге (1833–1898) – профессор-окулист, пионер курортного освоения Коктебеля.

[17] «Песнь Рогнара» Волошин приводит в письме к Петровой от 28–31 января 1898 г. (п. 29).

[18] «Космополис» («Cosmopolis») – ежемесячный литературный журнал, выходивший в Петербурге (1897–1898). Е.В. Деген печатался также в журналах «Мир Божий» и «Новое Слово».

[19] Владимир Владимирович Быховский – присяжный поверенный, критик, библиограф (псевдоним «Сторонний наблюдатель»). 12 января 1913 г. подарил Волошину «на память о чудесных коктебельских днях» свою книгу «Брак, раздельное жительство супругов и развод» (М., 1912).

[20] См. п. 23, примеч. 13.

[21] Педель – надзиратель в университете.

[22] На первых порах мать и сын Волошины жили в Коктебеле в доме, приобретенном П.П. Тешем у местных жителей болгар. Идея продать этот дом не была осуществлена.

[23] А.М. Пешковский.

[24] Микаэль Асвидуров (или Асвадуров) – соучсник Волошина по фсодосийской гимназии. 7 дскабря 1897 г. Пстрова писала, что музицируст вмсстс с ним. См. такжс примсч. 4 к п. 9, примсч. 17 к п. 20.

[25] Пстрова сообщала в цитированном письмс: «Гауф<лср> заходил; усхал в Бсрлин учиться; жаловался на Вас за молчанис».

27. А.М. ПЕТРОВОЙ

28 декабря 1897 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Поздравляю Вас, желаю и т.д.[1] Это во-первых. А во-вторых, почему Вы так долго не пишете? Уж не рассердились ли вы или не обиделись ли на что-нибудь? А?

Напишите, пожалуйста, а то я уж беспокоиться начинаю. Написал бы Вам теперь большое письмо, да на меня теперь праздничная тоска и ошалелость напала, так что я ни за что взяться не могу.

Поздравьте от меня Нину Александровну, Орю, Мишу[2] и всех знакомых.

До свиданья.

Макс.

28 декабря 1897. Москва.

P.S. На днях я Вам выслал мой долг переводом по почте. По<лу>чили ли Вы? Очень благодарю Вас. Па-а-а-ж-ж-а-а-а-л-л-у-й-й-й-с-с-ст-а-а пи-и-и-ш-ш-ш-и-и-ите.

М. В.

[1] Поздравлснис с Рождсством и Новым годом.

[2] Мать и братья А.М. Пстровой.

1898

28. А.М. ПЕТРОВОЙ

Около 11 января 1898 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Грустное впечатление произвело на меня ваше письмо и раскрыло передо мной массу вопросов, о которых мне бы хотелось много и много поговорить с вами. Большое спасибо вам за карточку. Мне ее особенно хотелось иметь, потому что <это> единственная карточка Марии Леонардовны такой, какою я ее знал (да, кажется, ведь и вообще последняя?).[1] И замечательно хорошая и живая эта карточка. И именно такое лицо бывало у нее большей частью: доброе, спокойное, улыбающееся и немножко-немножко насмешливое, хотя это последнее и не совсем подходит к тому понятию, которое я хочу выразить. Спасибо вам вообще за всю ту часть письма, в которой вы пишете о Марии Леонардовне. Но будет об этом. Когда умирает старый человек, с этим невольно примиряешься, и остается только одна тихая печаль о том, что его уж нет. Самый факт вызывает невольную грусть, но не возмущает, как не может возмущать тихий закат после ясного солнечного дня. Но такой факт, как смерть Вячи Массаковского,[2] невольно возмущает чувство справедливости. Хочется протестовать, бороться против этого; хочется доказать всю нелогичность, непоследовательность, несправедливость, всю насильственность подобной смерти. Такое чувство должен испытывать раб, почти позабывший о своей зависимости и вдруг столкнувшийся с проявлением возмутительного произвола, который ему с наглядной ясностью показывает, что его личность ничего не значит. Смерть молодого существа, погибшего за идею или

даже не за идею, а за что-нибудь — все равно за что, но только нужно, чтоб это что-нибудь вытекало из предыдущего его настроения или духовного мира, — так не возмущает. Возмущает нелогичность. И эта нелогичность, эта постоянная дисгармония между духом и материей невольно подавляет зрителя. Наоборот, смерть в драме, смерть, которая является логическим следствием всего предыдущего, не подавляет, а возвышает. Читали вы в «Русских Ведомостях» (от 5 января) небольшую статью «Памяти Еленевой»[3] — тоже смерть молодого, деятельного существа. Эта смерть тоже вызывает невольный протест, но она не подавляет. Вспомнилось мне по поводу этой смерти слышанное мною недавно одно из стихотворений в прозе Тургенева, которого нет в собрании его сочинений и которое появилось в конце 70-х годов в нелегальном журнале «Народная Воля». Называется оно «Порог».[4] Перед раскрытой дверью на пороге стоит девушка. За дверью в темноте слышны голоса. Один голос ей перечисляет все страдания, все несчастия, которые придется ей испытать, если она переступит через порог: «Тебя никто не будет понимать; даже родные, даже самые близкие тебе люди отвернутся от тебя с презрением. В тебя будут бросать камнями, над тобой будут насмехаться, даже потомство не поймет тебя и будет кидать в тебя грязью». Молчание... Девушка переступает через порог... «Дура!» — сказал один голос. «Святая!» — сказал другой.

Недавно я читал официальный отчет о деле первого марта.[5] Отчет, конечно, пристрастный и односторонний. «Кровожадные исчадия тьмы» рисуются в нем самыми темными красками. А все-таки, прочтя всю книгу, я невольно подумал: «Это тоже были святые» и едва ли много было личностей, которые любили бы Россию и русский народ так, как любили они. Только вы за меня, Александра Михайловна, не пугайтесь — я анархистом не буду; известная эпоха могла создать такие личности, а теперь все слишком серо, бесцветно, вяло и безыдейно. Нету <ни> в ком такого озлобления, нету ни в ком такой всепожирающей любви, как тогда. Семидесятые года преимущественно чувством жили.

С самого приезда в Москву я все время искал между студентами таких личностей, которые действительно соответствовали бы тому понятию об студентах, которое я составил себе a priori* по романам. И таких я не нашел ни одного. На праздниках я совершенно случайно столкнулся с одним семейством, от которого на меня пахнуло той жизнию, которую я искал.[6] Здесь именно я несколько познакомился с типом семидесятников, к которым принадлежат «отцы» этого семейства. Там, между прочим, познакомился я с некоторыми замечательными личностями. Например, с известным экономистом Воронцовым, который пишет под буквами В. В., и надеюсь познакомиться с Златовратским, который там часто бывает.[7] Но мне еще ни разу не приходилось столкнуться с ним. Новый год я встретил у них и хорошо встретил. Было много молодежи, много искреннего веселья, пелись студенческие песни, чувствовалась известная бодрость, известный подъем духа. Состояние моего духа вполне в тот момент соответствовало вашим пожеланиям. Вот, между прочим, стихотворение, сказанное мною почти экспромтом в момент нового года. Ничего замечательного оно не представляет из себя, но я его привожу для аналогии с вашим письмом, писавшимся в тот же самый момент, как и это стихотворение**. Было уже без четверти двенадцать, когда мне предложили написать стихотворение по случаю нового года:

Час урочный настает.
Стрелка стала. Полночь бьет.
Народился новый год.
Старый тихо исчезает.
Сколько терний, сколько роз,
Сколько счастья, сколько слез,
Неизвестных дум и грез
Новый год приготовляет!
Юность новый год встречает,
Старость старый провожает.
С этим годом прочь уходит
Много счастия былого,
Молодого, дорогого
И такого, что уж снова
Старость в жизни не находит.
«Здравствуй, юность дорогая!» —
Говорит нам новый год.
Откровенная, живая,
Бриллиантами сверкая,
Без сомнений, без забот,
Юность смело вдаль идет,
Ничего не разбирая.

* Умозрительно, заранее (*лат.*).
** *В автографе*: стихотворениями.

Здравствуй, новый светлый год!
Там, что в будущем случится –
Радость, счастье, горе, зло –
Все равно.
На душе теперь светло:
Юность горя не боится.
Так давайте веселиться.
Хохотать и пить, и петь.
«Дальше должен я смотреть,
Выше должен я стремиться!»[8]

Последние две строчки этого стихотворения взяты из второй части «Фауста»:

Immer weiter muß ich schauen,
Immer höher muß ich gehen.[9]

Это песня Эвфориона – сына Фауста и Елены, в лице которого Гёте олицетворил Байрона.

Странно, что, несмотря на всю противоположность наших настроений в этот момент, все-таки в настроении являются некоторые созвучные аккорды. Спасибо вам, моя дорогая опекунша, за все пожелания. Но только зачем вы всё счастья желаете мне? Счастья и без того много, нужно хоть немного несчастья испытать. Картина без теней не будет рельефна, а останется одним расплывшимся пятном. Человек таким же пятном сделаться может. А я ведь и так чувствую наклонность к кляксам. Как вы могли подумать, что я ложно пойму и истолкую ваши слова? Я никогда не смотрел на вас иначе как на друга, и никакие другие отношения не могли мне прийти в голову, как не могли они прийти в голову по отношению к Саше.[10] Цербером я вас тоже не считаю и не считал – то был только pendant* к вашим шуткам о Лидочке. Кстати, вы самого превратного мнения об ней, как я вижу, да положим и видел. Ни влюбленным, ни даже увлеченным ею я, собственно, никогда не был, но в защиту ее скажу, что она не куколка, а человек.[11] Человек по существу очень хороший и одаренный прекрасными качествами сердца и ума, которые (что, собственно говоря, особенно и замечательно), несмотря на все разлагающие условия обстановки и несмотря на пламенные усилия окружающих, все-таки еще сохранены ею. Конечно, скверное воспитание и чрезмерное

* В параллель, в дополнение (*фр.*).

баловство не могли не отразиться на ее характере и придать ей те внешние черты, которые делают ее для многих несимпатичной, но, в сущности, должно быть, благодаря тому, что она, в общем, большой ребенок, основные черты характера все-таки остались нетронутыми. Но довольно. Пора спать. Завтра допишу. Лидой я нисколько не увлечен, а просто сочувствую ее действительно неблагоприятному положению.

Буду продолжать начатое вчера. Лида очень симпатична, но тем не менее m-me Сцилла... то бишь m-me Соломос своим зятем меня не увидит, потому что мне кажется, что я смогу сериозно полюбить только такого человека, который будет иметь на меня влияние, а Лидочка сама нуждается в руководителе и даже воспитателе.

На этом месте письмо оборвалось дня три назад. Только что вернулся я из гостей (уже час ночи) и застал на столе два кусочка Феодосии.[12] Спасибо! Я теперь веду деятельную агитацию между московскими студентами по поводу Золá (sic!). Я предлагаю послать ему сочувственное письмо от московских студентов. Вы ведь письмо его к Фору читали? и о безобразиях французских студентов слышали?[13] Ну, так понимаете цель. Теперь я приступлю к самой неприятной и щекотливой части письма. Ваша сухая и лаконичная приписка по поводу Саши[14] поразила меня не менее сильно, чем известие о смерти Вячи Массаковского, поразила, хотя и не была неожиданностью, потому что Саша мне уже писал о вашем письме.[15] Однако все-таки того, что вы написали, я не ожидал. Во избежание каких бы то ни было недоразумений предупреждаю вас, что Саша ничего не знает о том, что я пишу вам по этому делу, и знать не будет. В своем письме он просил не говорить с вами об этом. Но раз вы сами первая начали, то я считаю себя вправе говорить об этом, даже считаю это не только своим правом, но и долгом. Саша мне передает содержание вашего письма и ничего не может понять. Я тоже не понимаю. Т.е. я понимаю одно, — что это недоразумéние. Саша настолько деликатен и настолько ли-

Заказ № 5706

шен всякого самомнения, что я *не верю*, чтобы он мог умышленно оскорбить вас. Я знаю обстоятельства, о которых вы говорите, очень мало. Саша мне их сообщил вкратце. Так что анализировать и говорить за или против не могу. Могу только *попросить* вас: переберите в уме все обстоятельства, взгляните на них объективно со стороны, постарайтесь представить себе их в другом свете. Если вы это сделаете, я уверен, что вы убедитесь, что это только недоразумение. То, что вы напишете мне, я Саше говорить, конечно, не стану. Но выяснить обстоятельства необходимо. Вы назвали меня в письме своим другом. Это мне дает право говорить с вами об этом. Я не хочу, чтобы два моих лучших друга сделались врагами, т.е. не врагами — вы сами это отрицаете, но людьми, совершенно не понявшими друг друга. Если вы действительно проститесь с Сашей как с другом, то наши отношения, разумеется, не изменятся, но мне будет очень больно. Александра Михайловна, пожалуйста, выясните этот вопрос. Вы сами пишете, что боитесь недоразумений. Если так, то докажите это — выяснимте вопрос.

Теперь работаю над большим оригинальным стихотворением. Тема очень необыкновенная. Я хочу в стихах обрисовать XIX век, как личность: его воспитание, обстоятельства жизни, характер. Если не удастся дело в стихах, то попробую состряпать нечто вроде андерсеновской сказочки, немножко наивно<й> и в достаточной мере ядовитой. Писать я уж начал стихами: но написано пока слишком мало. Когда дело еще подвинется вперед, то пришлю. Вот несколько новых переводов из Гейне.

Чайльд Гарольд

Похоронный челн по сонной
Глади синих вод скользит.
Охраняя труп, немая
Стража черная стоит.
В блеске света труп поэта
Там лежит. Его глаза
Голубые, как живые,
Всё глядят на небеса.

Слышен дальний звон печальный,
Словно нимфы стон больной,
Бьются волны в борты челна
С бесконечною тоской.

———

Ты лежишь в моих жарких объятьях,
Ты живешь в моем сердце всегда.

Для тебя я — широкое небо,
Для меня ты — царица звезда.
Там под нами внизу копошится
Рой людишек. И целые дни
Они ссорятся всё, да дерутся —
И по-своему правы они...
Колпаком потрясая дурацким,
Они спорят, не знаю о чем,
Иль колотят друг друга, ругают
Или лезут вперед напролом.
Как мы счастливы оба с тобою,
Что от них далеки мы всегда...
Ты склоняешь головку на небо,
О моя дорогая звезда!

Прекрасная звезда из мрака восстает.
Она мне с высоты улыбку счастья шлет.
Она сулит мне жизнь и свет.
Не лги, о нет!
Как в море к месяцу вздымается волна,
Так и душа моя, гигантских сил полна,
Летит к тебе, увидя свет,
Не лги, о нет![16]

Первое стихотв<орение> посвящается Лере.[17] (Да! прочтите ей, пожалуйста, «Порог», скажите, что я просил вас). А второе и третье вам. Особенно второе. «Германия»[18] у меня переведена еще много, но это как-нибудь после. Страшно переписывать. В следующем письме напишу.

Левинского я видел в Мефистофеле, но Мефистофеля не видел.[19] Видел старого, обрюзгшего, разжиревшего, циничного, грязного черта, не имеющего ничего общего с великим, философским, тонко-остроумным духом «всеуничтожения и бытия». Черта он играл хорошо, а Мефистофеля скверно. У Фауста, между прочим, стоял в кабинете сундук, обитый жестью, какие обыкновенно бывают у московских кухарок. Дух земли обладал голосом пьяного извозчика. Вообще в обстановке и в игре много было таких пикантных подробностей, а лень перечислять. Видел «Песнь торжествующей любви».[20] Вещь эффектная и красивая. Не больше. Зато шекспировская «Двенадцатая ночь», поставленная московским драматическим кружком,[21] произвела на меня громадное впечатление. Игра чудная. Не хуже, если не лучше игры в Малом театре. Пьеса — комедия. В ней нет ни юмору, ни остроумия в современном смысле, это богатырский хохот, это фонтан веселья, бьющий из молодого здорового существа, это избыток сил и здоровья. Сначала кажется странно и гру-

бо. Потом понимаешь, что это и есть настоящий смех — смех стихийный, незнакомый с тонкостями остроумия. Вы понимаете меня? Пора кончать. До свиданья. Вам кланяются и мама, и Пав<ел> Пав<лович>,[22] и бабушка. Кланяюсь Нине Алексан<дровне> (I и II), Оре, Мише[23] и всем бесконечным знакомым, переименованным в предыдущих письмах.

Дитю.

P.S. Я послал Лере поздравительную карточку с группой поющих и играющих на рояле лягушек, а теперь боюсь, чтобы она не обиделась. Она ничего не говорила Вам?

[1] В письме к Волошину от 31 декабря 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 15–18 об.) Петрова касалась обстоятельств предсмертной болезни, смерти и похорон М.Л. Рафанович. К письму был приложен ее фотопортрет.

[2] Феодосийский юноша Вячеслав Моссаковский умер 1 января. В упомянутом письме к Волошину Петрова сообщала: «...бедный Вяча Моссаков<ский> почти безнадежно болен брюшным тифом. Я чуть не плачу, до того мне жаль его и отца»; в приписке от 1 января она оповещала о смерти Моссаковского.

[3] Анна Петровна Еленева (ок. 1870–1897) — доктор медицины. В статье «Памяти А.П. Еленевой. † 24-го декабря 1897 года» (Русские Ведомости. 1898. № 5. 5 янв. С. 2. Подпись: Е. П.) покойная (защитившая в Парижском университете диссертацию в 1895 г. в возрасте 25 лет, в 1897 г. заведовавшая приютом для подкидышей в Нижегородском земстве) была описана как подлинная подвижница: «...ни одной заботы о личном своем благе и удобстве и страшно высокие, несоразмерные с силами человека требования к самой себе».

[4] «Порог» — стихотворение в прозе (1878) И.С. Тургенева, поводом к написанию которого послужил процесс Веры Засулич, было нелегально напечатано в виде прокламации, раздававшейся на похоронах Тургенева в Петербурге 27 сентября 1883 г.; в русской легальной печати впервые опубликовано в «Русском Богатстве» в 1905 г. (№ 11/12). См.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 493–498 (комментарии М.П. Алексеева, Н. В. Алексеевой). В январе 1899 г., отвечая на вопросы «тургеневской» анкеты, Волошин в рубрике «Любимая героиня в романе»

указал: «Сонечка Мармеладова, героиня стих<отворения> в прозе Тургенева “Порог”» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 284).

[5] 1 марта 1881 г. в Петербурге по приговору Исполнительного комитета «Народной воли» (в который входили А.Д. Михайлов, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер, Н.А. Морозов, М.Ф. Фроленко и др.) был убит бомбой, брошенной И.И. Гриневицким, Александр II. В «Автобиографии» (1925) Волошин отмечал, что «1-ое марта» было для него «первым впечатлением Русской истории, подслушанным из разговора старших» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 241).

[6] Имеется в виду семейство Жебунёвых: революционер-народник Владимир Александрович (1848–1915), его жена Мария Александровна (урожд. Блинова; ?–1913), дочь губернского секретаря, и их четыре дочери (Галина, Екатерина, Лариса и Людмила).

[7] Знакомство Волошина с Н.Н. Златовратским, по-видимому, не состоялось.

[8] См.: Т. 2 наст. изд. С. 360–361. Помета под текстом: «31 декабря 1897. Москва».

[9] В оригинале Гёте («Фауст», ч. II, действие 3-е, сцена «Внутренний двор замка...», слова Эвфориона): «Immer höher muss ich steigen, // Immer weiter muss ich schaun» (в переводе Н.А. Холодковского: «Выше должен я стремиться, // Дальше должен я смотреть»).

[10] А.М. Пешковский.

[11] В письме от 31 декабря 1897 г. А.М. Петрова замечала о Л. Соломос: «Слишком уж она фарфоровая куколка».

[12] 5 января 1898 г. Петрова послала Волошину открытку с двумя видами Феодосии.

[13] Речь идет о событиях, связанных с процессом А. Дрейфуса. Письмо Э. Золя к президенту Ф. Фору «Я обвиняю» (см.: *Золя Эмиль*. Собр. соч.: В 26 т. М.: Худож. литература, 1967. Т. 26. С. 216–232) было опубликовано во Франции в газете «L’Aurore» 13(1) января 1898 г. Оно произвело огромное впечатление и привлекло к делу Дрейфуса внимание всего мира. За это выступление против французской военщины и суда Золя подвергся травле со стороны националистов и привлечен к суду. 7 января 1898 г. «Русские Ведомости» перепечатали письмо Ассоциации французских студентов к Э. Золя с защитой армии и «ее вождей», которые «суть стражи национальной чести». Студенты участвовали и в манифестациях, участники которых бросали камни в окна дома Золя и «даже пытались взломать двери».

[14] В своем письме от 31 декабря Петрова обмолвилась: «К моему большому огорчению, мне пришлось проститься с Алекс<андром> Матв<еевичем> как с другом. Надеюсь, это не повлияет на наши от-

ношения, когда вы узнаете об этом? <...> Впутывать же Вас вовсе не желаю, да и не из-за чего». Эти строки подчеркнуты Волошиным.

[15] Волошин приводит большие фрагменты из письма к нему Пешковского от 25 декабря 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963) в последующих письмах к матери (п. 36) и Петровой (п. 40).

[16] Все стихотворения — из сборника Г. Гейне «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844), первое — из раздела «Романсы» («Romanzen», 3), второе и третье — из цикла «Катарина» («Katharina», 4,1). Переводы первого («Child Harold») и второго («Du liegst mir so gern im Arme...») датированы 20 декабря 1897 г., третьего («Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht...») — 10 декабря 1897 г. (Т. 4 наст. изд. С. 877—879).

[17] В.А. Воллк-Ланевская.

[18] См. п. 23, примеч. 13.

[19] Волошин, по-видимому, видел Йозефа Лавинского в опере А. Бойто «Мефистофель».

[20] Опера А.Ю. Симона «Песнь торжествующей любви» (по одноименной повести И.С. Тургенева) впервые была поставлена в Большом театре 2 декабря 1897 г.

[21] Премьера «Двенадцатой ночи» У. Шекспира (в помещении Русского охотничьего клуба) состоялась 9 января 1898 г. Режиссер К.С. Станиславский. Участвовали: М.П. Лилина, И.Ф. Кровский, А.А. Санин, Г.Д. Гриneв, Н.Д. Юренев, В.В. Лужский, Г.С. Бурджалов, Д.А. Дмитриев и др.

[22] П.П. Теш.

[23] См. примеч. 4 к п. 9.

29. А.М. ПЕТРОВОЙ

28—31 января 1898 г. Москва

28 января 1898 года. Москва.

Час ночи. Я только что вернулся из театра и застал у себя на столе ваше письмо.[1] Чувствую необходимость ответить вам сейчас же. Дорогая Александра Михайловна, чувствую и вижу, что мое письмо доставило вам много волнений и неприятностей, но оставить этого вопроса я все-таки не могу. Вы — можете, если хотите, если вам это слишком неприятно и тяжело — это зависит вполне от вас, и я в таком случае настаивать не буду. Каково бы ваше от-

ношение к этому вопросу ни было, что бы вы ни написали мне — ничто, заявляю это категорически, не сможет нарушить наших добрых отношений. Вы не поняли меня — я вас не в узости упрекал: я упрекал вас в избытке психологии, потому что возможная ошибка заключается только в психологическом анализе. Помня недоразумения, возникавшие у меня с вами, я думаю, что тут тоже кроется недоразумение, и это недоразумение мне и хочется выяснить. Поэтому я вам очень благодарен за ту приписку — она мне дала право просить у вас объяснения.[2] Моя просьба такова: объясните мне, пожалуйста: чем вас Пешковский оскорбил? Почему вы считаете это оскорбление таким, которого простить нельзя? Почему вы считаете это оскорбление намеренным?* Напишите все, что вы чувствуете, имея в виду, что обстоятельства, сопровождавшие его, я представляю себе очень смутно. Еще раз повторяю: если вам тяжело писать — не пишите. Напишете ли вы, или не напишете и что бы вы ни написали — *ничто ни в каком случае* не изменит моих отношений к вам. Моя цель: устранить недоразумение. Я это считаю своим долгом, как друг ваш и как друг Пешковского. Простите за то, что я вам делаю больно: но если вы поставили бы себя на мое место в настоящую минуту, то, я уверен, вы бы делали то же самое. Ну, а теперь довольно об этом. Я больше затрагивать этот вопрос не буду: все зависит вполне от вас. Теперь ложусь спать. Уже поздно. Завтра буду продолжать — много накопилось, о чем поговорить, да жаль, что не о всем говорить можно, имея в виду, что письма вскрываются. Покойной ночи. Простите...

31 января.

Мое письмо будет представлять, кажется, одну театральную рецензию. Постараюсь дать вам отчет о том, что я видел за это время. Во-первых, я видел Тину ди Лоренцо. Во-вторых, Ван-Занд.[3] Тину я видел во «Второй жене» и в «Даме с камелиями».[4] Она замечательно проста и естественна, но, так как я ожидал сверхъестественного, то отчасти ра-

* На ненамеренное нельзя даже и обидеться. (*Примеч. Волошина.*)

зочаровался. Красива она замечательно, и что одно только ее портит — это нос. Горбинка на ее носу находится ниже переносицы, поэтому в профиль она некрасива. Самая выразительная часть ее лица — это лоб. В спокойном состоянии это широкий низкий лоб греческой богини, лоб Венеры Милосской. В минуты гнева он становится узким, высоким и поразительно напоминает лоб Юдифи Ораса Верне.[5] Взгляните налево. (Ведь вы теперь сидите у себя перед письменным столом?). Играет она замечательно разнообразно и ни разу не повторяется. Одну и ту же роль она каждый раз играет по-новому. Много терялось для меня в ее игре оттого, что я ни слова не понимал. Но некоторые сцены произвели на меня неизгладимое впечатление. Особенно последняя сцена в «Даме с камелиями». Когда после страшной вспышки радости при появлении Армана она падает на диван со словами: Vi-ve-ré! vi-ve-ré!!*, я чувствовал, что у м<ен>я приподымаются волосы на голове. В тот раз, когда я был, она почти прошептала эти слова, в предыдущий же раз они вырвались у нее страшным истерическим воплем, который прокатился даже по самым отд<ал>енным коридорам театра. Вот образчик ее поразительного разнообразия. Но образ Тины ди Лоренцо померк в моем воображении, когда я увидел и услышал Ван-Занд. Ван-Занд совсем некрасива — круглое простое личико славянского типа с мелкими чертами, широким носом, сначала ничем не обращает на себя внимания. Но это лицо может так преображаться и становиться таким прекрасным, что про нее можно сказать, что она больше чем красива. Я ее видел в первый раз в «Миньоне».[6] При первом своем появлении она не произвела никакого впечатления. Бедный, забитый, запуганный ребенок, лишенный всякой грации, совсем некрасивый... Но вот в ней зарождается любовь, и она постепенно начинает преображаться. «Помнишь ли ты ту страну, где ты провела свое детство?» — спрашивает ее Вильгельм Мейстер. И в ответ раздает<ся> бесконечно грустная, тихая, ласкающая, бесконечно прекрасная мелодия: «Connais-tu le pays...?»** И с каждым звуком, кажется,

* Жить! Жить!! (*ит.*)

** «Знаешь ли ты край...?» (*фр.*)

спадает с нее вся обыденность серой и неприглядной обстановки, исчезает угловатость движений, лицо делается все красивее и красивее — духовный мир проступает наружу. В следующем действии она в костюме пажа, сопровождая Вильгельма, является <в> будуаре богатой актрисы Филины. Когда она остается одна, в ней пробуждается чисто детская шаловливость: она вертится перед зеркалом, хватает пудру и румяна на туалете, начинает мазать себе лицо и руки, пудра сыпется ей на сапоги, она в восторге дрыгает ножками и, танцуя с зеркалом в руках и любуясь на свою перепачканную рожицу, наивно и трогательно поет: «Est-ce que je suis Mignon?»* Потом она наряжается в роскошное бальное платье Филины, и ее застают в этом наряде. В припадке дикой стыдливости она закрывает голую шею подолом своего платья, и оттуда торчат ее огромные мужские сапоги. Эта сцена у нее поразительно хороша и натуральна. А когда Филина начинает насмехаться над ней, с каким остервенением, с каким злым лицом маленькой рассерженной кошечки рвет на себе она это богатое платье. Последнее действие: Миньона в Италии. Болезнь, любовь и свобода преобразили ее. Она в белой длинной одежде кажется совсем бесплотной. Она старается припомнить подробности своего детства, и тихо и грустно, и как-то далеко, далеко звучит ее ария, но вот память ее проясняется, прошлое оживает перед ней и снова раздается ласкающее: «Connais-tu». Я вышел из театра ошалелый. Ничто не производило на меня такого впечатления. На вид Ван-Занд на сцене нельзя дать больше 16 лет, а ей на самом деле под 40. И, сверх всего, эта идеальная чистая Миньона пьет запоем. Черт знает что такое! И это не сплетни, а факт. Ее спектакли уже несколько раз отменялись по ее внезапному «нездоровью». В «Лакме» она не произвела на меня такого впечатления, хотя и сама эта опера специально для нее написана.[7] К ней не идут богатые наряды — она лучше всего была в простой грубой рубахе и оборванной юбке в «Миньоне». Тут она замечательно хороша в одной сцене,

* Ты ли это, Миньона? (*фр.*)

где она в костюме нищей, видя, что ее возлюбленный падает убитый, с радостной улыбкой кидается к нему и говорит: «Ну, теперь он мой!». Много она теряла в «Лакме» потому, что ее совершенно затемнял и подавлял и своей гениальной игрой, и своим голосом Шаляпин, певший партию ее отца – старого индусского жреца. И публика устраивала ему большие овации, чем ей. Вот если б вы его видели, Александра Михайловна! Как он хорош в роли Иоанна Грозного в «Псковитянке» или в Мефистофеле![8] Ну да довольно о театре. Хочется еще и об другом поговорить. Месяц рождественских каникул очень многое дал мне. Передо мной раскрылся целый мир, о котором я раньше не имел понятия. Передо мной раскрылись течения и движения семидесятых годов, и раскрылись в таком свете и в таком виде, что я был поражен и подавлен. Мы, русские, совсем не знаем своего прошлого – новое поколение приходит, не зная ничего о поколении предыдущем. Это прошлое – наше наследство, наше достояние, скрыто и отнято у нас. А прошлое действительно великое: какие громадные личности, какая железная сила воли, какая страстна<я> любовь к родине – и это все уничтожено, замыто, скрыто, искажено... Но не буду больше. Мне хочется очень много сказать, но в письме невозможно. Вчера я видел в первый раз m-me Юнге. Просидел у ней целы<й> вечер. Наружно она страшно постарела, но духом осталась такой же молодой. Показывала она мне серию своих картин, нарисованную этим летом в Ялте, и на меня так и пахнуло Крымом, горами, запахом фьялок, морским воздухом, ароматом роз, – всем тем, что так живет, дышит и блещет на ее картинах. Мне бы ужасно хотелось, чтоб вы увидели ее крымские виды. По-моему, никто так хорошо не передает все тонкости крымского пейзажа, как она. Больше всего на ее картинах фигурирует Ай-Петри[9] с разных сторон и при разных освещениях. Она его страшно любит. Вот одно стихотворение Дегена (песнь Рогнара), перевод из Бодлера,[10] которое она мне дала. Оно так хорошо, что я хочу поделиться им с вами.

Тьма

Ночью без просвета
Жизнь моя одета.
Ни надежд, ни грез,
Ни страстей, ни слез.
Слепнут, слепнут очи,
Вспомнить нету мочи,
Где добро, где зло...
О, как тяжело!
Я вишу над темной
Пропастью огромной.
Я один в ночи...
О, молчи, молчи!

Правда, оно производит странно<е> впечатление. Я писал ведь вам, кажется, что я познакомился, и уже давно, с самим Дегеном. Это очень интересная личность. Его переводы замечательно хороши там, где нужно передать непередаваемое и неуловимое. Там, где содержание ясно и повествование более спокойное и эпическое, он гораздо слабее. Вчера мне читала m-me Юнге несколько собственных переводов из Ады Негри. Она плохо владеет стихом, но прекрасно передает задушевность ее поэзии. Она мне предлагала вместе работать над переводами. Вот, Александра Михайловна, так как вы теперь итальянским языком владеете, то достаньте и прочтите стихотворения Ады Негри. Там столько новых идей, столько задушевности и своеобразной красоты, что я был совершенно увлечен и очарован тем, что она мне читала и переводила. Кажется, слова «увлечен и очарован и поражен» чересчур часто повторяются сегодня в моем письме. Ну, значит таково настроение. Могу теперь добавить, что теперь я увлечен и очарован Римским правом. Сижу да учу, учу да увлекаюсь. Все это время я абсолютно ничего не делал – теперь пора принять<ся> за работу. Следите ли вы теперь за делом Золя? Знаете ли вы о том, что английские газеты говорят, что та страна, которой были выданы тайные сведения, не кто иная, как Россия? Московские студенты отправили несколько писем Золя, причем первое было отправлено по моей инициативе. Только поражаешься на то, что теперь делается во Франции. Вот они, причины франко-русских симпатий – это не что иное, как соучастие душ. Раньше я думал, что такие безобразия и такой культ генералов возможны только в России – оказывается, нет. По-

разительно! Прилагаю к письму стихотворение Барыковой, написанное по случаю кронштадтских торжеств.[11] За сим до свиданья. Пишите, пожалуйста, и побольше пишите, а если я обидел вас предыдущим письмом, то простите. Кланяюсь все<м> знакомым, поименованным в предыдущих письмах.

Дитю.

Вам кланяются мама, бабушка и т.д.

[1] Письмо Петровой от 26 января 1898 г., в котором говорилось: «Я очень затрудняюсь ответить вам на вопросы о Пешковском. Своей дурацкой припиской я сделала то, чего так сильно не желала, т.е. впутала Вас. <...> Вы меня очень обидели, подчеркнув слова «я не верю» и т.д. Неужели Вы думаете, что я настолько узка, что не отличу простого недоразумения от дерзости?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

[2] Текст этой приписки – в примеч. 14 к п. 28.

[3] Имеется в виду певица Мария Ван-Зандт (лирико-колоратурное сопрано).

[4] «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына с участием Тины ди Лоренцо шла в Интернациональном театре 9, 16 и 21 января; драма Артура Уинга Пинеро «Вторая жена» – 10 и 20 января. Волошин был на спектаклях 16 и 20 января (Труды и дни. С. 55).

[5] У французского живописца Ораса Верне есть картины «Юдифь и Олоферн» и «Юдифь на пути в стан Олоферна».

[6] Опера Амбруаза Тома «Миньона» (1866) (по сюжету романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера») с участием Ван-Зандт шла в Интернациональном театре 22 января 1898 г.

[7] Опера Лео Делиба «Лакме» (1883, либретто Э. Гондине и Ф. Жилля) с участием Ван-Зандт и Шаляпина шла 29 января.

[8] См. п. 24, примеч. 12, п. 26, примеч. 8.

[9] См. примеч. 8 к п. 8.

[10] С каким произведением Ш. Бодлера соотносится приводимый текст, неясно.

[11] Поэтесса А.П. Барыкова – племянница Е.Ф. Юнге. Список стихотворения при письме не сохранился. В сборнике А.П. Барыковой «Стихотворения» (Изд. 2-е. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910) нет произведения, соотносящегося по проблематике с указанным в письме.

30. А.М. ПЕТРОВОЙ

24 февраля 1898 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Вот мне мама все говорит: «Чего ты, Макс, римским правом не занимаешься?! Вот это весь ты: говорил, говорил о том, что приедешь в университет — погрузишься в науку, а теперь только развлекаешься, бегаешь и ровно ничего не делаешь. Посидишь над книжкой час и убежишь». Да разве я могу в настоящую минуту заниматься римским правом, когда я только что получил ваше письмо,[1] когда я весь переполнен Феодосией, когда из засохшего цветка подснежника на меня повеяло весной, морем, горами, фиялками, кизильником, южным солнцем, когда из-за каждой строчки учебника, испещренного латинскими терминами, выглядывают уморительные мордочки гролихов, чураевых и других «туземцев» (помните м<и>сс Токс?),[2] когда отовсюду со стен моей комнаты, увешанной фотографиями, улыбаются мне виды Коктебеля, феодосийский порт. А вон и крыша вашего дома и так хорошо знакомая акация на дворе и...

Да, вы правы: я теперь в Москве только с разинутым ртом впечатления ловлю и книгами свой чемодан-голову отнюдь не набиваю, да и в Феодосии-то ведь не набивал ее.[3] До разборки и до сортировки мне еще далеко. Дай Бог теперь побольше матерьялу набрать. А сколько действительно я узнал за это время такого, что мне никогда и не снилось. Проживи вы хоть месяц здесь в Москве — от вашего чувства бесцельности и страха перед прошедшим ни следа бы не осталось.

Я понимаю, почему так мелка и безотрадна наша молодежь. Она не знает ни своего прошлого, ни своего настоящего. Да и как же знать ей его, когда от нее все скрыто за семью замками. Все мы живем в каком-то искусственно созданном для нас парнике, в который доступ внешним впечатлениям и свежим струям закрыт. Когда мы хотим узнать, что делается там, за стенами, нам отвечают (подцензурные газеты), что там ничего хорошего нет, а если выглянем из окошка,

то нас волк съест. И вот мы сидим по глухим провинциям и ничего не знаем, что вокруг нас в России делается и делалось. А делается такое, что волосы дыбом становятся и дух от негодования захватывает. Многое смогу я вам рассказать, когда приеду. В западной Европе молодежь может колебаться и не находит себе подходящего дела, а у нас, куда ни глянь, — всюду заросли дремучим лесом: бери топор да руби просеку в какую хошь сторону, пока из сил не выбьешься или подрубленное дерево не свалится на тебя. Сколько людей теперь, поди, возмущаются Францией в деле Дрейфуса, и не подозревая того, что у нас не один, а тысячи Дрейфусов существуют, и документальные данные я тому видел. Да и то меньшая часть возмущается, а «охранители» находят, что так и следует, поделом Зола. «Не суйся не в свое дело», как заявляет его превосходительство профессор Юнге. А почитайте-ка в «Русских Ведомостях», что другие русские газеты про Зола пишут, а потом возьмите для параллели «Вестник Европы» за декабрь 1897 года и прочтите там общественную хронику.[4] А когда прочтете, то спросите себя: «Где же наши Зола?» Ну, а на этот вопрос я вам отвечу только по приезде.

Интересно проследить волнообразную линию русских поколений: шестидесятники — логический разум, увлечение наукой, отрицание чувства, семидесятники — «диктатура сердца»,[5] увлечение народом, полное самопожертвование в пользу его, восьмидесятники — царство Льва Толстого, самоанализ, погружение в себя, вопросы совести, девяностодесятники — отсутствие деятельности, увлечение Марксом, научным матерьялизмом, все объясняется экономическими факторами. Что-то скажем, наконец, мы — первое поколение двадцатого столетия? Что? пока я еще чувствую себя в положении оратора на юбилейном обеде, который с бокалом в руке торжественно поднялся со стула, чтобы сказать спич, но совершенно не знает, с чего начать. Тем масса, но какую выбрать, он не знает.

Ах, по поводу застольных ораторов. Прочтите вы роман Станюковича «Жрецы». Он напечатан в «Русском Богатстве» за прошлый год, начиная, кажется, с Апреля.[6] Это роман из

жизни московских профессоров. Написан он с замечательною яркостью. Действие происходит в настоящую минуту. Типы необыкновенно жизненны и выпуклы. Однако портретов там нет, хотя там многие и старались узнать разных лиц.

А теперь я воспользуюсь случаем рассказать вам нечто <о> юбилее Златовратского[7] (я еще не успел с ним познакомиться). В том, что ему адреса не послали, я совершенно не виноват, Алекс<андра> Михайл<овна>. Я в то время еще только ориентировался в университете. Так вот, что мне рассказывали очевидцы по поводу речи Скабичевского на обеде. Скабичевский был прислан на юбилей из Петербурга. После того как москвичи в изобилии изливали свое красноречие, на которое они считаются особенными мастерами, не в пример петербуржцам, Гольцев, считающийся в Москве самым неистощимым застольным оратором, обращается к Скабичевскому с просьбой сказать что-нибудь от имени петербуржцев. «Бросьте взгляд на прошедшее тридцатилетие». Тот отказывается: «Я уж столько писал о сочинениях Николая Николаевича». — «Да, вы только встаньте и вы увидите — вы сами заговорите». Скабичевский встает и говорит следующую речь, передаваемую со стенографической точностью: «Вот... господа, мы все знаем, что в 60-х годах была война... Негры... о неграх... т.е. за негров война... в Америке. Ну, и освободили... Да... Ну, а потом отдельные вагоны... Негры в вагонах... Ну вот у нас тоже: освободили крестьян, а потом отдельные вагоны... Ну, а Николай Николаевич сделал, что нет уж больше вагонов... то есть пропасти нет... да...».

Однако, чего это я начал писать об этом — ведь вам это должно быть не интересно, да и, во всяком случае, не важно. А вот я вам скажу, что я еще раз виде<л> «Потонувший колокол», на русском языке в этот раз, но в таком исполнении и в такой обстановке, что просто с ума схожу от восторга. Ставило его московское общество любителей искусства и литературы.[8] Ка́к они играют!! Боже мой, как они играют!» Голова кружится от обаяния этой вещи. Так хорошо...

что даже не стану вам сейчас рассказывать, а расскажу, когда приеду. А когда я приеду? Вот этого я и совсем не знаю. Вероятно, приеду в начале мая. Знаете: я хочу на все лето в самой Феодосии поселиться и найти себе уроки, так как мои финансы в очень плачевном состоянии и найти уроки в Москве я совсем отчаиваюсь, а уроки мне необходимы.[9] Коктебельские дела тоже так расшатаны, что мне там жить даром неудобно будет, а уроков найти и совсем невозможно. Если мне в Феодосии удалось бы найти уроки, не согласились ли бы вы опять взять меня квартирантом на летние месяцы? Только ответьте мне на этот вопрос откровенно. Я не хочу вас обижать сомнением в вашем гостеприимстве, так как вы мне уже писали об этом, за что я вам очень благодарен. Но прогостить несколько дней или взять как квартиранта – это большая разница, и тут могут возникнуть разные соображения. Но, во всяком случае, об этом лучше и удобнее тоже переговорить на словах, чем в письме, и потому лучше даже и не отвечайте мне на этот вопрос. А вот если вы, Алекс<андра> Мих<айловна>, узнаете, что кто-нибудь ищет репетитора, на лето, то имейте меня, пожалуйста, в виду.

Теперь отчет о моих поэтических делах: «Германия» застряла на VI-ой песне, «XIX век» на 8-мой строфе.[10] Написано новое стихотворение под заглавием «19 февраля».[11] Кроме того, я собираюсь переводить вместе с m-me Юнге Аду Негри, но еще не перевожу. Перевожу из «Ганнеле» Гауптмана части, написанные стихами, для прозаического перевода m-me Юнге.[12] Стихотворение Гауфлера, присланное вами, я знаю. Но в той редакции, что у меня, оно гораздо длиннее. Посвящается оно Лере.[13] Я его когда-то начал переводить, но Вениамин в самом начале забраковал мой перевод, и я бросил его. А может, переведу еще. Не знаю, но и не обещаюсь. Написано оно 20 янв<аря> 1897 г., судя по дате. Бедный Воля! Ему сказали в Берлине, что глаза его неизлечимы и что операция может ему только вред принести.[14] По поводу искусства и красоты[15] мои рассуждения таковы: задача первого воспроизводить второе, так что прежде всего необходи-

мо определить, что такое красота. Прежде всего, это понятие чисто субъективное и в природе вне нас не существующее — это наше отношение к воспринимаемому нами миру. Кроме того, красота тоже и очень относительное понятие. Каждое явление и каждый предмет красивы без исключения, только сперва нужно найти ту точку, с которой на них следует смотреть. Задача искусства отыскать эту точку. В общем же, искусство это очень сильное возбуждающее средство вроде гашиша, водки, морфия и шампанского. Вот мое определение в настоящий момент, что от него останется через пять минут, не знаю. Статью Толстого я не читал, вероятно потому, что сейчас же купил ее, как только она вышла.[16] Вечная история! Но когда же, когда же, наконец, оставлю я милую, но все же <?> противную Москву и вернусь в отвратительную, но все же милую Феодосию? Когда я опять увижу вас и мы пойдем с вами на горы? Какое страшное стремление на юг пробудил во мне этот маленький увядший цветочек подснежника!

Увядший цветочек
Из дальней страны!
Во мне пробудил он
Забытые сны.
Зима удалилась,
Исчезли снега.
Серебряной пеной
Блестят берега.
Я вижу: сияет
Лазурь надо мной.
Все веет, все дышит
Теплом и весной.

Лазурное море
Живет и горит
И каждой волною
Со мной говорит.
О солнце! О моря
Простор голубой!
С какою любовью
Я рвусь к вам душой!
Туда, где фиалки
Цветут, где «она»
Сидит у окошка,
Бледна и грустна![17]

Вот вам экспромт в благодарность за подснежник. Боюсь только, что этот поэтический цветочек окажется по прибытии в Феодосию таким же жалким и увядшим, как и цветок натуральный, присланный мне. Ну, а раз дело пошло теперь на стихи, то буду хвастать вам и другими. Вот — получайте.

Заказ № 5706

19 февраля

Все мы в детстве, конечно, слыхали
Вечно юную сказку о том,
Как в заброшенном замке царевна
Тихо спит заколдованным сном.
Быстро мчатся столетья и годы,
А заброшенный замок зарос
Виноградом, шиповником диким
И колючими вязями роз.
Легкий сон над царевной витает,
То он давит, как страшный кошмар,
То ей грезится, будто приходит
Смелый рыцарь избавить от чар
И ее, и заброшенный замок.
Наклоняется нежно над ней
И снимает своим поцелуем
Непробудную дрёму с очей.
Да! Знакомая, старая сказка!
И ее мы слыхали не раз
И воочью она перед нами
Совершалась в России у нас:
Не царевна в заброшенном замке,
А истерзанный русский народ,
По избам, кабакам да острогам
Спит уж тысячу лет напролет.
Только в сказке царевна проснулась,
Когда минула тысяча лет,
А народный-то сон еще долог
И посмотришь — конца ему нет!
И «невежеством» замок зовется,
А чтоб стены его охранять,
Приказали не розы, а розги,
Кабаки да остроги сажать.
Бесконечно тяжелым кошмаром
Его давит мучительный сон,
А в последнее время тревожней,
Беспокойней становится он.

После страшного кошмара
Николаевских времен
Снился раз ему прекрасный
И почти чудесный сон:
Видит он — приходит витязь
(Как к царевне в замке том),
Говорит: «Народ мой верный!

Осени себя крестом!
Я даю тебе свободу —
Пробудись! Восстань от сна!»
Но была та речь народу
Непонятна и темна.
Видит он: упали стены
Одряхлевшие кругом,
Сон исчез; но, к сожаленью,
Это было только сном!
И хоть стены крепостные
Въявь упали, — тем сильней
Сон народный охраняют
Кабаки и ряд церквей.
А чтоб кем-нибудь случайно
Потревожен не был он,
Послан был начальник земский
Охранять народный сон.[18]

Для того, чтобы познакомить вас, в каком духе будет написано «XIX столетие», я приведу вам написанное уже вступление:

Его отец был гордый, умный
Старик. Вполне аристократ.
Любивший образ жизни шумный,
Богатство роскоши безумной
И дрессированных солдат.
Любивший знанье и свободу,
Но не дававший их народу.
Свою карьеру страшным крахом
Закончил он. И вместе с ним
Его идеи пали прахом
И не подняться больше им.
Необычайные явленья,
Отца загнавшие во гроб,
Ребенка слабого рожденье
Сопровождали: гороскоп
Самим Вольтером составлялся,
Руссо Вольтеру помогал.
Рожденьем Шиллер вдохновлялся
И Гёте сказку рассказал
Ему про Фауста. В миг рожденья
Сиявший золотом дворец,
Где умирал его отец,
Объяло пламя разрушенья.
И знамя красное свободы
Подняв высоко над толпой,
Порабощенные народы
Туда ворвались. Их волной
Был унесен ребенок сын
В водоворот людских пучин.
И «Революция» тогда
Сама кормилицею стала
И на руках своих качала
И марсельезу иногда
Над колыбелью напевала.
Своим кормила молоком
И относилась будто к сыну,
И в дар оставила потом
Трехцветный стяг и гильотину...

Вот пока все, что у меня написано. Едва ли вы вынесете отсюда какое бы то ни было впечатление. У меня план уже почти совсем выработан в подробностях. Только так в прозе передавать его не хочется. Когда напишу – пришлю. Оно вовсе не будет всеобъемлющим и глубоким, как вы думаете, а будет написано скорее в легком тоне, как вы и видите из вышеприведенного.

Ну, а теперь до свиданья. Пишите поскорее и побольше о себе пишите, а то вы так мало все-таки пишете о своей жизни, что я никакого определенного понятия не могу себе составить о том, как вы проводите время, с кем видитесь, кто у вас бывает. Часто ли видите ли вы Леру? Напишите мне, пожалуйста, об ней поподробнее. Много ли вы с ней говорите? О чем говорите (кроме музыки)? Каковы теперь ваши с ней отношения? Случалось ли вам беседовать с самим Воллк-Ланевским?[19] Какое он на вас произвел впечатление? Так пишите же, пожалуйста, скоре<е>, а то вы так долго не отвечаете, что я всегда боюсь: уж не написал ли я в письме чего-нибудь такого, на что вы могли бы обидеться, и только по получении вашего ответа успокаиваюсь. Передайте мои поклоны Нине Алекс<андровне>, Ольге Александровне, Михаил<у> Митроф<ановичу>, Адриану, Саше, Мише, Оре, Пете, Елене, Зинаиде и Вере Викентьевна<м>, Лере, Евген<ии> Альф<онсовне>,[20] словом, всем Воллк-Ланевск<им>, Спитковскому, Асвадурову (как их гимназические дела?). Поздравьте, кстати, и Виктора и Льва Викентьевичей.[21] Если я пропустил зде<сь> еще знакомых, то поклонитесь им сами. Мама и бабушка вам кланяются. Видитесь ли вы с Верой Нич?

Дитю.
24 феврал<я> 1898 года. Москва.

[1] Письмо Петровой от 20 февраля 1898 г.: «Как я Вам благодарна за Ваше письмо. Вы вывели меня из высшей степени тяжелого и неприятного состояния. Не хочется мне поднимать старые дрязги <...> Но мне тяжело говорить о Пешковском, а, я думаю, Вам трудно будет выслушать всю эту срунду. Когда приедете, на покое лучше поговорим об этом, если Вы пожелаете» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

[2] Подразумеваются В.Ф. Гролих и С.А. Чураев. Мисс Токс — героиня романа Ч. Диккенса «Торговый дом Домби и Сын» (1848).

[3] В письме от 20 февраля 1898 г. Петрова предполагала: «Макс в Феодосии, глотает и захлебывается книгами; чемодан-голова трещит, но вмещает. Вторая: Макс в Москве, широко разинул рот и летят туда всевозможные впечатления. Хоть бы не поперхнулся!»

[4] «Русские Ведомости» писали о Золя и деле Дрейфуса в январе—феврале 1898 г. ежедневно. Общественная хроника «Вестника Европы» в № 12 за 1897 г. ставила вопрос о веротерпимости в России.

[5] Обозначение умеренно-либерального правления М.Т. Лорис-Меликова, министра внутренних дел в 1880—1881 гг.

[6] Роман К.М. Станюковича «Жрецы» печатался в 5—12 номерах «Русского Богатства» за 1897 г.

[7] 30-летие писательской деятельности Н.Н. Златовратского отмечалось 16 ноября 1897 г. в Москве в колонной зале «Эрмитажа», на обеде в честь писателя присутствовало 240 человек (*Бородаевская-Ясевич В.* Юбилей народника-беллетриста // Исторический Вестник. 1898. Т. LXXI, № 1. С. 291).

[8] Премьера пьесы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (см. примеч. 14 к п. 24), поставленной Обществом искусства и литературы, состоялась 9 февраля 1898 г. Режиссер — К.С. Станиславский (он же играл Генриха), художник В.А. Симов. В роли Раутенделейн — М.Ф. Андреева, ведьмы — Е.В. Шиловская, лешего — Г.С. Бурджалов, пастора — И.Ф. Кровский. Затем спектакли были 11, 12, 16, 17, 18 и 22 февраля.

[9] После смерти отца (1881) Волошин получил наследство в 12 тысяч рублей. На проценты с этого капитала (первоначально — 40 р. в месяц, постепенно эта сумма уменьшалась) он жил в период учебы в гимназии и в университете. Е.О. Кириенко-Волошина имела свои денежные средства и вела свой бюджет.

[10] См. примеч. 13 к п. 23. Поэма «Девятнадцатый век» не была завершена Волошиным; см. написанные фрагменты: Т. 2 наст. изд. С. 524—535.

[11] 19 февраля 1861 г. был опубликован манифест Александра II об освобождении русских крестьян от крепостной зависимости.

[12] «Ганнеле» («Hannele's Himmelsfahrt», 1894) — драма Г. Гауптмана. См. фрагмент из нее, переведенный Волошиным в 1898 г.: Т. 4 наст. изд. С. 919—921. В переводе Е.Ф. Юнге эта драма издана не была.

[13] В.А. Воллк-Ланевская. В.Л. Гауфлер писал стихи на немецком языке (автографы нескольких стихотворений сохранились в архиве Волошина: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 397, л. 56—59 об.).

[14] 6 февраля 1898 г. В.Л. Гауфлер писал Волошину из Берлина: «Университет принужден был покинуть совсем из-за глаз. Оперировать меня не будут» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 397).

[15] В своем письме Петрова спрашивала: «Не читали ли вы “Об искусстве” Толстого? Пожалуйста, напишите об этом обстоятельно. <...> Напишите также ответ мне на вопрос: что именно такое искусство? Только Ваш личный, обдуманный ответ».

[16] Трактат Л.Н. Толстого «Что такое искусство?» (первая часть) вышел из печати в Москве в январе 1898 г.

[17] Опубликовано по тексту письма: Т. 2 наст. изд. С. 364.

[18] См.: Там же. С. 362–363.

[19] Альфонс Матвеевич Воллк-Ланевский (? – ок. 1908) – феодосийский адвокат, присяжный поверенный; отец В.А. Воллк-Ланевской.

[20] Евгения Альфонсовна Воллк-Ланевская (1872–1959) – феодосийская гимназистка, позднее – надзирательница феодосийской женской гимназии. Не выйдя замуж, посвятила себя семье сестры. Волошин посвятил ей стихотворение «Если в жизни вам взгрустнется...» (4 мая 1896 г.) (Т. 2 наст. изд. С. 329). См. также примеч. 4 к п. 9, примеч. 17 к п. 20, примеч. 24 к п. 26.

[21] Виктор Викентьевич Дуранте (1871 – не ранее 1919) – хирург. Лев Викентьевич Дуранте (1869–1933) – директор банка в Феодосии.

31. А.М. ПЕТРОВОЙ

Около 12 марта 1898 г. Москва

Ну вот, вот! Я ведь говорил, что когда получу от вас письмо, то не смогу заниматься. Так и есть. Опять мне нужно Римское право с его бесчисленно-однообразно-головоломно-зубрильными исками учить, а сажусь вам ответ писать. Свинство! Когда я пил кофе, мне подали ваше письмо, и я себе от волнения такой кусище хлеба в рот запихнул, что чуть-чуть не задохнулся, даже бабушку испугал. У меня теперь свободных полчаса, а там нужно идти в редакцию, ну вот пока и буду писать. Ну, с чего начинать? Стихотворения? – Я не писал больше, а анютины глазки,[1] отпечатанные у Харченки,[2] не вызывают во мне вдохновенья. Подснежник вызвал во мне представление об Феодосийских горах, а эта

бумага вызывает представление только о писчебумажном магазине. Чему же писать гимн? А то попробовать, что ли?

Эй муза!!!.. (см. след<ующую> страницу).

Как ты внимательна была!
Как это вышло мило! —
Ты с Лерой к Харченко зашла,
Бумагу мне купила.

(Вы простите, что я прямо так на «ты» — между поэтами это водится. «Поэтам все простительно», как говорила Лера, когда я ломал стул у них в квартире или наступал кому-нибудь на ногу).

Затем пришла домой, и вот
Писать письмо мне стала,
А у Дурантевских ворот
Собака завывала.
Звучал недобрым этот вой.
(Тьфу, черт!! Простите — клякса.
Где ж промокашка?!!).. пред тобой
Носился образ Макса.
И вой был вещим, может быть,
(Огня ведь нет без дыму).
Как этот пес готов я взвыть
С тоски моей по Крыму
Густав Антоныч уж больной,[3]
Я буду болен тоже,
Моя тоска, как этот вой,
Изобразится в роже.
(Хотел, как видите, сострить,
Да вышло очень скверно)
Пора в Редакцию спешить,[4]
Меня уж ждут там, верно

Пришел в редакцию и, так как никого нет, то буду продолжать письмо. Чувствую снова прилив вдохновения:

Иду по улице — весна,
В шинели зимней жарко,
Зато вверху лазурь видна
И солнце светит ярко.
Уж тает снег, журчит ручей,
Каменья обнажая,
Где тени нет, там уж видней
Под снегом мостовая.
Весна! У всех мужчин штаны
Подвернуты от грязи;
У дам...[5]

Что такое? Рукопись? (Как раз кстати, а то я наверное бы не подыскал дальше подходящей рифмы).

Здравствуйте, коллега! Садитесь. Вы по поводу Сборника?

К о л л е г а. Да... Скажите, ведь стихи принимаются?

Я. Да, конечно, но только с большой осмотрительностью. Стихов нам доставляют больше всего, но мы, конечно, должны воспользоваться тем опытом, который нам завещан Петербургским Сборником...

К о л <л е г а>. А как вообще дела Сборника?

Я. Да статей представлено много, но только, к сожалению, большая часть ниже всякой критики, а особенно беллетристика и стихи. Из всей массы представленных рукописей есть только один хорошенький рассказик и буквально ни одного выдающегося стихотворения, зато из научных статей есть две очень хорошие — одна о «мимикрии», очень одобренная Тимирязевым, и другая о пейзаже в эпоху Возрождения.

К о л <л е г а>. А кто же, собственно, редактирует статьи?

Я. Для каждого отдела есть свой редактор, но вообще каждую рукопись мы предварительно просматриваем в особой студенческой комиссии, для того чтобы избавить редакторов от труда читать совершенно невозможные рукописи.

К о л <л е г а>. Так я оставлю два стихотворения. Когда можно узнать о их судьбе?

Я. Окончательная сортировка у нас произойдет в конце апреля, а Сборник выйдет в свет не раньше будущей осени.

К о л <л е г а>. Благодарю (уходит).

А ну-ка, что такое принес этот коллега? Посмотрим.

Пара глаз с тоской потупленных,
Пара глаз с мольбой устремленных,
Жадных до ласки иль просто куска —
Вечно встречать у дверей затворенных
Вас осудил кто меня?!!

Скажите пожалуйста! И это ведь все стихотворение? Ну, а еще что?

Душно мне в городе шумном
В улицах, полных народом,
В обществе дельном и умном (sic!),
Покорном бессмысленным людям.
Небо мне кажется сводом,
Стены стенами тюрьмы
Пахнет больницей и иодом –
Словно больные все мы!!

Черт знает что такое! И это вот все к нам такую чушь носят! Heu, nos misères!* А! Кажется, пришел заместитель – удираю домой. До свиданья.

Знаете, Александра Михайловна, я теперь побрился и оставил себе только усы и эспаньолку и стал такой хорошенький, что противно – не то Наполеон III, не то парикмахерская кукла. Кузина Люба Лямина, увидав меня вчера, сказала мне: «Макс, ты совсем теперь похож на французского гренадера... bon vivant** – понимаешь?» А карточку свою я вам пришлю, Александра Михайловна, – я снимался вместе с мамой, только не знаю, как вышло (мама пошла сейчас за пробной карточкой), если плохо, так мама совсем не хочет брать, а если хорошо, то вам ее передаст мама (она <на> днях уже уезжает из Москвы). А кроме того я вам еще с мамой пришлю один сюрприз, а какой, не скажу – умирайте от любопытства. Если бы вы знали, как я доволен, что вы ближе познакомились и начинаете сходиться с Лерой и с Верой.[6] Странно как! Отсюда, из Москвы, Феодосия такой крошечной точкой кажется, а вот жили там три человека, были каждый друг о друге самого лучшего мнения, а между тем столько лет познакомиться как следует не могли. Относительно вашего предложения о лете[7] благодарю очень, очень, но мы еще поговорим. Что касается того, что я писал, что Вам, вероятно, будет неинтересно то, что я пишу о юбилее Златовратского, это значило то, что мне казалось, что от моего рассказа слишком запахло «столбами на Дуврской дороге»[8] и что он вышел как-то совсем некстати. По поводу ял-

* О, бедность наша! (*фр.*)
** Человек беспечного склада, весельчак, кутила (*фр.*).

тинской часовни Гауфлер поручал и мне Сашу спросить[9] – и Саша ему уж, кажется, целую диссертацию о ней написал. Между прочим, по поводу вашей фразы: «Гауф<лер> наивно уверен, что стоит только мне заикнуться и Пешковский моментально выполнит просимое», я вам скажу, что я то же самое думаю и так же наивно уверен в этом. Пешковский против вас ничего не имеет и его отношения к вам ни на каплю никогда не изменялись, в этом я вам могу поручиться честным словом; и тогда оскорбить вас он никогда не думал, и опять при этом случае повторяю – это одно большое недоразумение, о котором я непременно поговорю с вами по приезде. Милая Александра Михайловна, вы не сердитесь на меня, что я все об одном и том же в каждом письме пишу, но, право, я не могу этого оставить невыясненным. Однако мне в глаза сейчас бросилась одна особенность нашей переписки: в каждом письме вы мне пишете: «Не сердитесь только, Максимилиан Александ<рович>!», в каждом письме я вам пишу: «не сердитесь только, Алекс<андра> Михайловна», точно мы две динамитные бомбы какие-то и каждый из нас думает, а вдруг разорвет? Право, комично. А я-то, хоть убейте, никак не мог придумать, на что это я мог бы рассердиться пред получением вашего последнего письма, а вы тоже там пишете – «не сердитесь».

О впечатления<х> мне, кажется, сегодня вам совершенно нечего писать. Я сижу дома и никуда не выхожу, так что даже ни на одной выставке не был. На Сальвини тоже не был. Был у меня даже билет на «Гамлета», и, вообразите, – я не пошел,[10] а пошел к m-me Юнге, где Деген в этот самый вечер должен был читать свой перевод «Потонувшего колокола», которым я продолжаю страшно увлекаться. Ах! если б вы прочли его! только не в переводе Буренина.[11] Какая это красота и глубина. Красота, как и в архитектурном строении драмы, и в переплетении основных идей, так и в частностях и мелочах. Действительно, это какая-то совершенно «новая красота», которую переводом передать невозможно. Вот, например, фраза Раутенделейн, обращенная к Генриху:[12]

Du Baldur! Sonnenheld!
Du Bleicher! Deine weisse Baue küss ich,
Die über deines Auges reinen Blau Sich wölbt...* –

«Я целую твое белое чело, которое возвышается над чистой синевой твоих очей...». Первый монолог Раутенделейн представляет в этом отношении что-то поразительное. Вот ее песенка, которую она поет, сидя у колодца. Вы по ней сможете судить о музыкальности и оригинальности стиха Гауптмана:[13]

Weiss nicht, woher ich kommen bin;
Weiss nicht, wohin ich geh':
Ob ich ein Waldvöglein bin
Oder eine Fee.
Die Blumen, die da quillen,
Den Wald mit Ruch erfüllen,
Hat einer je vernommen,
Woher die sind kommen?
Aber manchmal fühl' ich ein Brennen:
Mochte so gerne Vater und Mutter kennen.
Kann es nicht sein,
Fug' ich mich drein.
Bin doch ein schönes goldhaariges Waldfräulein.**

Об одном жалею, что не могу переписать вам всего «Потонувшего колокола» в этом письме. Давно ли вам писал Гауфлер? Я что-то очень долго не получал от него ответа. Может, пропал. Ко мне последнее время что-то часто не доходят письма, так что вы имейте это в виду. Что Лера хорошо копирует всех – это я знаю,[14] а меня она мне самому копировала. Она ведь, верно, меня перед зеркалом представляла? Ведь так? – Ну вот, видите, я знаю. Недавно получил я письмо от Юрия Андреевича, в котором он описывает, как в Керчи «Алима-разбойника» ставили и как на афишах было сказа-

* Ты – Бальдер! Рыцарь солнца! Как бледен ты! Хочу поцеловать Я брови белокурые твои, Которые над синевою глаз Дугой очерчены... (*Перевод П. Мелковой.*)

** Откуда взялась я – не знаю, И кто я – сказать не умею, Быть может, я птичка лесная, Быть может, я фея. Цветы, наклоняясь, струят В тенистом лесу аромат, А знает ли кто на свете, Откуда цветочки эти? Порою неясной тоской Встревожится сердца покой И вдруг так захочется знать, Кто были отец мой и мать... Но, если нельзя, – и не надо, Жизни я все-таки рада, Ведь я хороша, златокудрая леса услада. (*Перевод П. Мелковой.*)

но, что автор «*лично*» приедет к представлению и привезет с собой «*известных артистов*» — Полевого и Метельского.[15] Ах! Боже мой! Александра Михайловна! Известен у вас в Феодосии последний анекдот с выставкой Айвазовского? Дошли ли до вас слухи об этом? Слушайте: выставляет многоуважаемый маэстро в Москве картину «Сон» (Александр III-ий-то — помните?), да и не подписывает того, что она означает. Корреспондент «Русских Ведомостей» пишет прилагаемую сюда наивную с виду и очень тонкую и ядовитую (не для Айвазовского главным образом, конечно) по существу рецензию.[16] Сопоставление тяжелого сна и Петропавловской крепости с истинным содержанием картины очень знаменательно, что, конечно, было сейчас же замечено власть имеющими, и картина снята по приказанию Великого князя. Подумайте — ведь это прелесть! Айвазовский, пишущий неблагонамеренные картины! Айвазовский в роли политического агитатора, разжигателя страстей и революционера!! Бедный! Вот, вероятно, никак он не ожидал такого пассажа, когда с такими благонамеренными чувствами писал эту картину! Оох-ох-ох! Заставь дурака Богу молиться — он лоб разобьет. О Феодосия, — это ты!!

А в заключение вот вам два анекдотца из детской жизни. Стоит девочка на дворе, лет пяти. Мама (моя) ее спрашивает: «У вас дети есть?» — Есть. «А муж у вас есть?» — Есть. «Как же его зовут?» — Папа-ашка.

А вот другой: у нашей кухарки есть девочка, тоже лет пяти, и зовут ее Катя. Как-то кто-то ее спрашивает: «А что ваша барыня православная?» — «Наша барыня? Наша барыня право славненькая, пра-аво славненькая, и кошечка наша и та право славненькая».[17]

На любопытные сценки иногда натыкаешься на улице. Иду я раз — стоит Иверская, т.е. карета, в которой икону возят, застряла очевидно — проезду нет; а кучер-то с козел какого-то ломовика ругает — по-русски, да такими словечками... А народ идет, снимает шапки и крестится. Хороший сюжет для картины. Положим, в этом роде есть одна картинка в Третьяковской галерее. «Молебен», кажется,

называет<ся> – Перова.[18] Она была запрещена раньше. Изображает она молебен в деревне, причем священник и дьякон «готовы» в такой степени, что еле-еле на ногах стоят. Ах, по поводу пьянства. Я не помню, описывал ли я вам свои впечатления, вынесенные с Татьяниного дня в Москве?[19] Напишите. Если не описывал, то в следующем письме напишу – это любопытно для нравов большинства современной университетской молодежи. Теперь вот, как вы расхвалили литературные достоинства моих писем, так мне все и хочется писать вам как можно литературнее. И зачем вы меня портите, Александра Михайловна? Ведь я вас не порчу – я вам ни разу не писал о том, что нахожу в ваших письмах литературные достоинства, а вместе с тем я действительно их нахожу и давно бы написал об этом, если бы не боялся, что вы скажете: кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.[20] Самая замечательная черта ваших писем та, что никто другой, кроме того, кому вы пишете, не поймет в них ни слова. Это, положим, действительно, пожалуй, к литературным достоинствам не относится, но зато показывает замечательную оригинальность и своеобразность стиля. Не сердитесь, Александра Михайловна, что смеюсь – это по старой привычке, но сериозно, ваши письма мне очень нравят<ся>, и орфографических ошибок (по крайней мере, в последнем) я не нашел ни одной. Э-эх! поскорей бы в Феодосию – в «гнусную, но милую Феодосию», как пишет Юрий Андреевич. А кстати – спросите, пожалуйста, Веру Нич, получила ли она мое последнее письмо и отвечала ли на него? А то она всегда такая аккуратная в ответах (не то что вы!) и не ответила до сих пор. Уж не пропало ли опять? А градовой на нашем углу перестал мне кланяться – очевидно разочаровался во мне. Ну, до свиданья. Пора кончать, а то совсем заболтался. Кланяйтесь всем: Нине Алекс<андровне>, Михайл<у> Митроф<ановичу>, Адриану, Саше, Мише, Оре, Пете, Ольге Алекс<андровне>, всем Дуранте, Райчевичу, Лере, Вере! Евгении Альфон<совне>, Асвадурову, Спитковскому и т.д.[21]

Макс.

P.S. Карточка вышла удачно, так что вы получите ее.

[1] Письмо Петровой к Волошину (от 3–8 марта 1898 г.) написано на почтовой бумаге с цветочной виньеткой (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 1–2 об.): «Гуляя сегодня утром с Валерией Альф<онсовной>, зашла я к Харченко купить почтовой бумаги и вдруг наткнулась на эту трогательную».

[2] Харченко – феодосийский книготорговец.

[3] Густав Антонович Дурантe (1839–1906) – феодосиец, сосед Петровой. Как она сообщала, у него на ноге была «рожа» – «уже месяц».

[4] Подразумевается редакция журнала «Русская Мысль» (где Волошин тогда занимался составлением неосуществленного студенческого сборника).

[5] Стихотворный экспромт опубликован по тексту письма: Т. 2 наст. изд. С. 447–448.

[6] В.А. Воллк-Ланевская и В.М. Нич.

[7] Петрова предлагала Волошину свое гостеприимство на лето: «...дома остаемся: мама, Орька да я <...> весь дом к вашим услугам».

[8] «...Скоропалительные решения напоминают верстовые столбы на Дуврской дороге», – писала Петрова Волошину 28 октября 1897 г.

[9] Саша – А.М. Пешковский. В письме к Волошину от 3–8 марта Петрова передавала вопросы В.Л. Гауфлера: «1) Названия гор Ялты; 2) кем и по случаю чего сооружена часовня на берегу и всегда ли она открыта для публики?»

[10] Итальянский актер-трагик Томмазо Сальвини гастролировал в это время в Москве. Волошин не пошел на «Гамлета» Шекспира с Сальвини в главной роли 8 марта.

[11] «Потонувший колокол» Г. Гауптмана в переводе В.П. Буренина был выпущен отдельным изданием в Москве в 1897 г.

[12] Цитата из 4-го действия «Потонувшего колокола».

[13] Цитата из 1-го действия «Потонувшего колокола».

[14] В письме от 3–8 марта Петрова отвечала на вопросы Волошина о В.А. Воллк-Ланевской: «Вы спрашиваете, о чем мы говорим с Лерой, кроме музыки. Да разве можно это выразить? Одно только вижу: я никак не могу наговориться с нею, хотя больше и о самых обыденных вещах. Чудная девочка! А, как она Вас копирует!? Только не выдавайте меня, пожалуйста, я боюсь, что она перестанет мне доверять».

[15] «Алим – крымский разбойник» – драма А.Я. Козлова (по роману Н.А. Попова). Ее герой – реально существовавшее (во второй половине XIX в.) лицо, благородный разбойник, грабивший богатых

и защищавший бедных. А.А. Полевой — феодосиец, писарь-графоман. Речь идет о письме Ю.А. Галабутского из Керчи от 24 февраля 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386).

[16] Выставка картин И.К. Айвазовского открылась 22 февраля 1898 г. в пассаже Попова на Кузнецком мосту. В «Русских Ведомостях» 27 февраля была помещена заметка «Выставка картин профессора И.К. Айвазовского» за подписью В. Си—в. В ней (вырезка приложена Волошиным к письму) говорилось: «Наконец, нам остается упомянуть о большой картине нашего почтенного мариниста, которая отличается аллегорическим характером сюжета и составляет так называемый “гвоздь” настоящей выставки. Картина носит название — “Сон”. Здесь на первом плане большого полотна изображена сидящая у стола женщина средних лет, брюнетка, одетая в траурное платье; пред ее глазами лежит на столе крест и Евангелие. За этим столом, в облаках, виднеются неясные фигуры, написанные в серых тонах; справа вторгается густое, серое облако, а вдали, на высоте, виднеется собор *Петропавловской крепости* с его характерным шпилем. Кроме этого характерного шпиля, описанного Тургеневым в “Призраках”, в изображенных на картине упомянутых лицах мы не нашли знакомых нам черт, а потому и сюжет картины для нас остался неясным, но несомненно, однако, что, судя даже по *изображенным аксессуарам, этот сон относится к числу тяжелых снов нашего* уважаемого художника-мариниста». (Подчеркнуто Волошиным).

[17] Эти сюжеты занесены Волошиным в записную книжку, с заглавием «Человеческие документы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 453, л. 1).

[18] Картина В.Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861).

[19] День святой Татьяны, 12 января (ст. ст.), совпадал с днем торжественного ежегодного акта в Московском университете и считался по всей стране праздником студенчества.

[20] Цитируются заключительные строки басни И.А. Крылова «Кукушка и Петух» (1834).

[21] См. примеч. 4 к п. 9, примеч. 17 к п. 20, примеч. 24 к п. 26, примеч. 20—21 к п. 30.

32. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

30 марта 1898 г. Москва

Дорогая мама!

Поздравляю Вас и т.д.[1] А кошмар у нас все-таки продолжается. Теперь уже Харсун[2] находит, что я плохо читаю, и он ничего не понимает, когда я ему пересказываю прочитанное; я с своей стороны советую ему искать другого лектора, потому что мне уже окончательно надоедает по 6 раз подряд повторять одну и ту же фразу и соразмерять свое чтение с его постоянными приказаниями: «тише!», «живее!» и т.п. Но оставлять квартиры, кажется, он уж вовсе не думает, и бабушка, по-видимому, стала примиряться с этой мыслию, так что вероятнейший исход тот, что он останется здесь, а к нему кроме того будет ходить лектор, который будет читать ему снова уж не три, а шесть часов. Словом, кошмар перешел только в новый фазис развития, «а посмотришь — конца ему нет».[3]

На днях, между прочим, я получил предложение ехать на все лето во Владимирскую губернию для собирания земской статистики. Плата 40 рублей в месяц, и все время находиться в разъездах. Я долго колебался, но теперь почти окончательно решил отказаться, потому что в этом случае придется совсем распроститься с Крымом, так как работа начинается с половины мая и продолжается до начала сентября — т.е. сплошь все каникулы. А если б я имел возможность хоть на две недели съездить в Феодосию, то я безусловно бы взял это место. Бабушка, когда я сказал ей об этом предположении, пришла в ужас: «Да не поезжай ты. Ведь это все время на жаре, в телеге, спать с клопами. А потом, что ты есть будешь?» Харсун прибавил: «По-моэму, это нэ практично... и там вас комары будут есть». Ох! если б вы знали, какие у нас разговоры теперь за чаем и за обедом ведутся! Я, положим, все больше прибегаю к своей обычной тактике — читаю и молчу, а говорит все больше бабушка. Регулярно каждый раз подымается разговор о крымских и московских кушаньях, который обыкновенно кончается параллелью между караимской

и православной религиями. Бабушка, кажется, считает Харсуна за окончательного идиота: когда вечером мы читаем и я ему рассказываю и он после трехкратного рассказа повторяет: «А я все-таки себе не усвоил», то бабушка обыкновенно говорит: «Да ты, Макс, попроще говори, а то Илья Исакович не понимает твоего книжного языка. Ты вот так говори: жил-был Бова-королевич... понимаешь? проще».

После вашего отъезда[4] я еще раз был с Любой в оперетке. Видел «Fledermaus» – участвовали и Шпильман и Стоян.[5] Стоян была великолепна в роли горничной, явившейся на бал в барынином платье. Шпильман был очень хорош, но все-таки уступал Стоян – вероятно, он гораздо лучше в простонародных ролях, а тут он играл господина лет 30, любящего кутнуть и выпить. Но после Стоян безусловно лучше всех был Штейнберг (Menelaos),[6] который играл пьяного тюремного сторожа. Но ка́к он его играл!! Я буквально в первый раз видел публику настолько наэлектризованную игрой: сцена пуста, он находится за кулисами и из двери показывается только кончик его ноги, а вся публика буквально и помирает от хохоту. Хохотали мы с Любой до упаду и, вернувшись домой, сейчас же начали сами с начала до конца разыгрывать эту оперетку. Теперь самое скучное – мои занятия. Я занимаюсь и занимаюсь, в общем, так же, кажется, как и при вас.[7] Не меньше, во всяком случае. До свиданья. Кланяюсь Пав<лу> Пав<ловичу>.

Макс[8].

[1] Имеется в виду праздник Пасхи, приходившийся в 1898 г. на 5 апреля.

[2] Приехав в Москву для поступления на юридический факультет университета, И.И. Хорсун поселился у Н.Г. Глазер и брал у Волошина уроки.

[3] Цитата из стихотворения Волошина «19 февраля» («Все мы в детстве, конечно, слыхали...»), приведенного в письме к А.М. Петровой от 24 февраля 1898 г. (см. п. 30).

[4] Е.О. уехала из Москвы в Феодосию около 20 марта (Труды и дни. С. 57).

Заказ № 5706

[5] «Летучая мышь» – оперетта Иоганна Штрауса-сына (1874). Волошин смотрел ее, вместе с Л.С. Ляминой, в постановке Венского королевского театра в московском Интернациональном театре 27 марта. Юлиус Шпильман (1866–1920) – певец (тенор). Бетти Стоян (1873 – после 1921) – артистка оперетты (меццо-сопрано).

[6] Штейнберг – видимо, Эдуард Штейнбергер (1856, Будапешт – ?), артист Венской оперетты.

[7] Е.О. жила в Москве с первой половины ноября 1897 г.

[8] Далее приписка Н.Г. Глазер (с датировкой: «30 марта, 11 ч. вечера»): поздравление Е.О. с наступающим днем рождения (Е.О. родилась 23 апреля 1850 г.) и праздником.

33. А.М. ПЕТРОВОЙ

12 апреля 1898 г. Москва

12 апреля.

Страшно, грозно, свирепо, нравоучительно и непонятно! На уста невольно просится вопрос: «И с чего вы, Александра Михайловна?!» – Нет, нет, нет – постойте, погодите – я уже слышу взрыв негодования с Вашей стороны: «Как “с чего”? Целый год не учились, лентяйничали! сами писали, что мои письма Вам мешают Римское право учить! и еще спрашиваете “с чего”!! Вот погодите, провалитесь на экзамене, останетесь на первом курсе: – тогда будет “с чего”»... А выпалив эту тираду – вы теперь остановитесь, Алекс<андра> Мих<айловна>, успокойтесь, а потом закройте глаза, и вы тогда сейчас же увидите перед собою мою расплывшуюся от жира и обросшую бородой физиономию, так широко, добродушно и сконфуженно улыбающуюся, что у Вас невольно промелькнет в уме слово «дитю», затем в некотором тумане пронесется «хлыст» (а кстати – нескромный вопрос: он у вас уже есть? или вы еще намереваетесь его к моему приезду приобрести?),[1] затем все на минуту померкнет, а я, воспользовавшись этою минутой, скажу: «А вы знаете, Алекс<андра> Мих<айловна>, – я почти уже окончательно решил перейти на естественный. На юридическом оставаться мне не стоит – ведь я все равно хотел по окончании посту-

пить на естественный, а теперь я пришел к убеждению, что на юридический четыре года терять не следует, так как все, что есть там самообразовательного, я пройду дома гораздо скорее, что относительно естественного нельзя сказать. Кроме того, на естественном я и заниматься уж как следует буду, так как там главная работа происходит в университете; потом я нахожу, что естественные науки гораздо важнее пройти, как основу всякого знания...». И потом я еще много буду говорить на эту тему горячо, убедительно, захлебываясь и задыхаясь. Вы постепенно успокоитесь и поверите мне. А тогда я переменю тему и стану вам передавать мои московские впечатления: «Знаете, Александра Мих<айловна>, я вчера был на лекции Кони и сейчас опишу вам свои впечатления.[2] Представьте себе громадный амфитеатр высотой в 5-этажный дом, сплошь залитый многотысячной толпой. Взглянешь – целое море голов. Мелькают длинноволосые студенты и коротковолосые курсистки, сверкают очки, белеют седины старцев, золотистым сияньем горят пуговицы студенческих сюртуков, скромно сереют гимназисты и мягкими переливами горят лысины. Наибольшее количество лысин и седин замечается внизу у самой кафедры. Там собран цвет московской интеллигенции.

На скамьи взгромоздясь, народ
Всех поименно их зовет.[3]

Это всё профессора, да литераторы, миллионерши-благотворительницы и члены Психологического общества: вон чернеет огромная борода Лопатина, рядом с ней сверкает, блещет и лоснится лысина Гольцева, а на ее фоне рисуется горбатый длинный нос Герье. Дальше видна кругленькая фигура Преображенского, с добродушным, комичным, очень веселеньким, но уж совершенно не философским лицом; рядом с ней другая, еще более маленькая горбатая фигурка с совершенно круглой головкой, только слегка сверху и снизу присыпанной белым пушком. Это Григ<орий> Джаншиев. Дальше стул с билетиком: Лев Толстой, но он сам блистает своим отсутствием. Дальше высокая нескладная фигура Чупрова, с добрым и умным лицом простого

крестьянина. Вот монументальная фигура с золотым пенснэ на носу старухи-миллионерши Базановой, а на другом конце другой московский «столп» — великолепная Варвара Морозова. Вон среди толпы ярко-красным пятном выделяется артистка Климентова-Муромцева, а рядом с ней тонкий интеллигентный профиль и красивая седая голова другого Муромцева — председателя юридического общества... Через узенькую дверь почтительно под руки вводят маленькую, маленькую, совсем дряхлую и совсем белую старушку в черном платье. Это — Орлова, свояченица Белинского и героиня дня в Москве.....[4] В аудитории стоит смешанный гул, теряющийся под высоким потолком залы. Раздается звонок, мгновенно наступает мертвая тишина, которая сейчас же сменяется страшным взрывом долго не смолкающих рукоплесканий. На кафедру всходит Кони. Плотная фигура среднего роста во фраке. Волосы рыжие. Седины не видно. Верхняя губа выбрита; лицо четырехугольное и круглая красноватая борода до половины щек. Лоб хорошо развитой, высокий и дополняется лысиной. Выражение лица бесстрастное, а бритая верхняя губа придает ему впечатление замкнутости и непроницаемости. Рот широкий, губы узкие и бескровные, углы рта слегка опущены. Общее впечатление — или старый лакей в важном барском доме, или старый холодный чиновник. Он начинает говорить. Голос у него очень слабый, тихий, но ясный. Изложение просто, ясно и обстоятельно. Ни эффектов, ни повышений голоса — никаких прикрас. Иногда только в глазах его пробегает живой огонек и губы сжимаются в насмешливую улыбку. Предмет лекции: «Князь Владимир Одоевский». Как опытный художник с ясно созревшим планом картины, он подходит к полотну и смелой и твердой рукой быстро чертит общий контур фигуры, сильными мазками кладет краски, оттеняя выразительные черты лица, тщательно вырисовывая выражение глаз, в общих чертах набрасывает складки одежды, несколькими линиями — небрежными, но верными — намечает фон — тех лиц, среди которых жила, развивалась оригинальная личность Одоевского. Наконец, когда портрет

кажется уже оконченным, он еще долго ходит около него, подмалевывая и оттеняя то здесь, то там, и с каждым мазком лицо все более и более оживает, и каждый штрих прибавляет еще новую, не отмеченную раньше черту. Все это делается совершенно спокойно, без волнения — со спокойствием художника, вполне уверенного в своих силах и хорошо обдумавшего свою работу. А от процесса исполнения этой работы оторваться нельзя, и в результате получается замечательно полный, мастерски нарисованный и тщательнейшим образом отделанный портрет, такой живой и рельефный, что, кажется, вот-вот он выскочит из рамки».

Ну вот и все, Алекс<андра> Мих<айловна>. И я письмо свое заканчиваю. А относительно того, что вы писать мне не хотите, так знаете – оставьте это. Ведь у меня экзамен по Римскому праву в четверг,[5] а там, после четверга, работы уж немного, и если вы боитесь только того, что ваши письма отвлекут меня от нее, то, право, не бойтесь. Мне так хочется в Феодосию, и так я жажду писем, и ваши письма мне доставляли такое удовольствие (кроме последнего), что, право, с вашей стороны слишком жестоко лишать меня его. Алекс<андра> Мих<айловна>, пожалуйста, не сердитесь и пишите. Я право не буду, никогда не буду. И вступительных воплей никогда делать не буду. Ми-илая Алекс<андра> Мих<айловна>, так напишите мне? Вы себе представить не можете, как ваши письма ободряют меня и с какой удвоенной энергией я сажусь за занятия, написав вам ответ. А как я сию минуту сяду заниматься! У-у-у! Если б вы только видели! Так будете мне писать, Алекс<андра> Мих<айловна>? Па-а-а-ажалуйста! Алекса-а-а-андра Михайловна!

Diligentissimo bambino.*

[1] В ответ на намерение Волошина перейти на естественный факультет (о чем, по-видимому, по приезде в Феодосию известила ее Е.О. Кириенко-Волошина), Петрова в открытке от 9 апреля 1898 г. написала: «У меня есть великолепный хлыст» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

* Прилежнейшее дитя (*ит.*).

[2] 11 апрсля 1898 г. в аудитории Историчсского музся А.Ф. Кони читал лскцию «Князь Владимир Одосвский».

[3] Видоизмснснная цитата из стихотворсния А. Майкова «Клермонтский собор» (1853). См.: *Майков А.Н.* Избр. произвсдсния. Л.: Сов. писатсль, 1977. С. 236 (Б-ка поэта. Большая ссрия).

[4] Ссстра жсны В.Г. Бслинского А.В Орлова принимала участис в чсствовании памяти Белинского в Московском унивсрситстс 9 апрсля 1898 г.

[5] Чстврг — 16 апрсля. Упоминасмый экзамсн состоялся наканунс (см. п. 34).

34. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

*15 апреля 1898 г. Москва**

Милая мама!

Обычное счастие меня не оставляет. Сегодня был день страшного суда и я был поставлен на правую сторону к овцам,[1] т.е., выражаясь проще и определеннее, получил за Римское право четверку. Экзамен в сущности оказался очень легкий: требуются только общие понятия, а я-то ведь по части общих понятий и общих мест мастер. Не могу сказать, чтобы я последнее время так же не расставался с Римским правом, как вы с Га́ннеле,[2] напротив, мы с ним были в очень неприязненных отношениях и только последние два дня оно без перерыва пролежало в моих объятиях, а сегодня так я даже в 4 часа утра вскочил, чтоб еще посмотреть на него. Экзаменовался я сегодня самым последним в группе, т.е. в шесть часов, и потому, чтобы на экзамене не скучать, захватил с собою брошюру Штевен «Из записок сельской учительницы»[3] и так увлекся чтением, что даже пропустил очередь, не слыхав, как меня вызывали. Наконец выхожу, беру билет — смотрю в программу: самая трудная часть римского права — гражданский процесс во второй половине. Сижу, обдумываю и ничего решительно вспомнить не могу. Что же делать? Неужто ж проваливаться? А как раз предыдущий билет, составляющий начало моего, — первую часть

* *Датируется на основании карандашной пометы над текстом.*

процесса я знаю хорошо. Вот когда пришла мне очередь отвечать, я и сказал, что в моем билете о первой части процесса говорится, и стал отвечать то, что знал, кстати я и цитаты латинские там помнил. Экзаменовал меня наш декан Легонин — старенький-престаренький старичок и по римскому праву не специалист.[4] Я как пошел ему все цитаты, да по-латыни... да так коверкал, что он только судорожные движения рукой делал, но, однако, остановить меня не мог; потом он хотел меня поправить, но тогда сам запутался и сам стал коверкать латинские формулы (он сам судебную медицину читает), а потому подобру-поздорову поставил мне четверку и отпустил. Больше писать не могу — глаза слипаются. В следующий раз напишу больше. До свиданья.

Макс.

[1] Имеется в виду евангельское выражение «отделять овец от козлищ» (Мф. XXV, 31–32), в смысле отделения плохого от хорошего.

[2] См. примеч. 12 к п. 30. Е.О. Кириенко-Волошина в 1898 г. перевела «Ганнеле» на русский язык («Вознесение Ганнеле» // ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 405, 406).

[3] Книга «Из записок сельской учительницы» (СПб., 1894) баронессы А.А. Штевен, организовавшей на свои средства целую сеть школ грамотности.

[4] В.А. Легонин был в Московском университете профессором судебной медицины (с 1868 г.).

35. В.Л. ГАУФЛЕРУ

После 15 апреля 1898 г. Москва

Дорогой Вениамин!

Прости меня, пожалуйста. Я так давно не писал и не отвечал тебе, но у меня есть одно извинение, это экзамены. Положим, я написал и самому стало совестно, потому что, признаться, я почти ничего не делаю, тем не менее все-таки с рук сходит, и за римское право получил четверку, очень ловко передернув билет под носом у профессора.[1] А профес-

сор у нас замечательный, совершенно новый тип профессора fin de siècle* – профессор-гимнаст, профессор-спортсмен. Он сам скачет жокеем на скачках (узнав о чем, наш старичок декан упал в обморок), ездил на велосипеде в Париж и был задержан на австрийской границе, как русский шпион. Как гласит предание, для того чтобы удостовериться, действительно ли он профессор, была созвана ученая комиссия, которая его экзаменовала по римскому праву и нашла, что он ничего не знает и что таких профессоров не бывает. Во время экзамена он время от времени делает разведение и сведение рук, приседание и выпад. Словом, веселенький профессор. Но я отвлекся от дела. Я и позабыл. Ведь я действительно был занят. Помнишь ты Илью Харсуна? Ну так вот, он приехал держать экзамены, остановился у меня, и я ему читал лекции. Это продолжалось около месяца.[2] Он как кошмар – тяжелый, зловещий кошмар висел над домом и, слава Богу, удалился. Не сошлись характерами. Вот когда он жил, тогда я действительно ничего делать не мог.[3]

[1] См. п. 34. Последующие сведения, вероятно, содержат элемент шуточной мистификации.

[2] См. примеч. 2 к п. 32.

[3] На этом текст обрывается. Письмо, вероятно, не было дописано и отправлено адресату.

36. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

22 апреля 1898 г. Москва

Дорогая мама! Я получил ваше письмо[1] и сейчас же прочел его Пешковскому (разумеется, пропуская все места, касающиеся лично его самого). После этого мы долго говорили по поводу той же истории, и наконец он решил сам написать вам. Решил после долгих колебаний, так как боялся, что вы, пожалуй, его письмо примете за просьбу быть посредником. Я же со своей стороны хочу вам тоже изложить

* конца века (*фр.*).

свои мысли по поводу этой истории, так как мой взгляд относительно поведения Александры Михайловны[2] в данном случае расходится со взглядами Пешковского. Относительно поведения и мотивов Пешковского, побудивших его передать эту сплетню, вы совершенно ошиблись. Придать этой сплетне значение и быть смущенным ею он не мог, потому что Феодосия полна такими сплетнями и чем-то ужасным показаться ему она не могла, так как в Феодосии каждого гимназиста восьмого класса столько раз уж женили (и нас с Пешковским в том числе, конечно), а каждую барышню столько раз выдавали замуж, что к этому давно можно было привыкнуть, что и было на самом деле. Сообщено это известие было Пешковским случайно, между прочим, как новый феодосийский курьез. Очевидно, что последствий от своей фразы он никаких не ожидал, да и после до самого отъезда из Феодосии (это было тогда, когда он летом приезжал на неделю в Феодосию) он никаких перемен в отношениях с Алекс<андрой> Мих<айловной> не заметил. И так продолжалось вплоть до того времени, когда он написал Алекс<андре> Мих<ай-ловне> письмо из Москвы. И написал-то его под вашим еще влиянием. Помните? Пред этим он не писал ей не потому, что он был бы с ней в ссоре, а потому, что у них вообще наступило последнее время охлаждение благодаря диаметральной противоположности взглядов, как он сам, по крайней мере, предполагал.

Одним словом, сообщая Алек<сандре> Мих<айловне> сплетню, Пешковский никакой задней мысли не имел. Что же касается того, почему Алекс<андре> Мих<айловне> показалось, что задняя мысль (выразившаяся в тоне) была, это вопрос более сложный. Одну резкую черту характера Алек<сандры> Мих<айловны> вы еще сами заметили – это самолюбие. Кроме того, она принадлежит к людям, рассматривающим явления не простыми глазами, а в микроскоп, и поэтому лишенным чувства перспективы. Стоит ей только подумать, что она оскорблена, как она сейчас же направляет на данное явление свой психологический микроскоп и, разумеется, тогда может рассмотреть в него все

что угодно. Так, по-моему, было и в этом случае. У меня не раз происходили с ней такие же ссоры с той разницей, что я даже часто абсолютно не знал, в чем она меня обвиняет, и только рот от удивления разевал, узнав. Общая причина этих недоразумений та, что когда она с нами познакомилась, мы были так еще юны, даже сравнительно с теперешним, что она, разумеется, считала себя неизмеримо выше нас, с чем и мы тогда были согласны. Но мы скоро поравнялись и в очень многом опередили ее, и с этим, а главное, с выражением нашего превосходства во многих вещах, которое выражалось невольно, она помириться не могла. Поэтому она такое внимание и обращала на тон. В частности, обстоятельства этой истории были таковы: сплетня эта имела источником m-me Соломос, мать Лидочки.[3] Она, т.е. мать, одна из самых энергичных сплетниц в Феодосии, и Алекс<андра> Мих<айловна> ее страшно не любит, хотя и не знакома с ней. Тоже не любит она очень и Лидочку, считая ее куколкой, она была всегда недовольна, что мы с Сашей[4] так часто бывали у ней. Вспоминая все события тех дней, мы с Сашей вспомнили следующий факт, бывший после этого рокового разговора. Мы с Сашей вернулись вечером к Петровым. Пред этим мы были у одних знакомых барышень – родственниц Лидочки, из которых одна была когда-то подругой Алекс<андры> Мих<айловны> по гимназии и которой она очень не симпатизировала. Саша был там в первый раз и только что с ними познакомился. Разговаривая в тот вечер с Алек<сандрой> Мих<айловной>, он сказал, что вот он только что познакомился с такой-то и она ему очень понравилась. Алекс<андра> Мих<айловна> сейчас же очень обиделась и против обыкновения высказала это тут же. Она поняла это в том смысле, что Пешковский сказал: «Вот вы говорите, что она не симпатична, а мне она очень понравилась», т.е. сочла это чем-то вроде вызова. Все было сейчас же объяснено, недоразумение, казалось, объяснилось, а на другой день Саша уехал. Провожать его, сколько мне помнится, она не ходила. На основании этих данных я

думаю, что сначала Алек<сандра> Мих<айловна> и не думала обижаться на сообщенную сплетню (она сама говорила не раз, что она обижается большею частью задним числом). Она обиделась после, когда ей Саша так долго не писал. Стараясь отыскать причину, она стала вспоминать все его поведение при последнем свидании. Всплыла та минутная обида, а наконец вспомнилась и роковая сплетня. Она направила свой психологический микроскоп на эту точку... ну и, конечно, микроскопические существа превратились в гигантских чудовищ, а случайные совпадения случайных слов оказались тяжелыми и преднамеренными обидами. И в них она глубоко поверила, потому что верит в безошибочность своего психологического анализа. На первое же письмо Саши из Москвы она ответила... Положим, я лучше всего приведу вам отрывок из Сашиного письма,[5] в котором он сообщал мне об этом (это было на Рождество). Вот оно: «...Мне хотелось поделиться с тобой одной очень грустной для меня новостью. В Ялте я получил ответ от Алек<сандры> Мих<айловны> приблизительно следующего содержания и размеров: “Простите, Ал<ександр> Мат<веевич>, что я так долго не отвечала вам. Давно уже я собираюсь написать Вам, но вижу, что совершенно не могу. Не ищите лучше косвенных причин, а вспомните лучше о той претензии, с какой вы мне передавали слух о Вашей на мне женитьбе. Насколько ясно факт сам за себя говорит, настолько ясны и последствия. Простите еще раз. Прощайте. Подпись. P.S. Пожалуйста, не сочтите меня своим врагом”. Нужно тебе сказать, что я еще летом в Феодосии имел неосторожность передать Алекс<андре> Мих<айловне> смеясь один курьез из феодосийской жизни о том, что m-me Соломос сериозно убеждена и уверяет других, что я женюсь на Алекс<андре> Мих<айловне>, желая лишь иллюстрировать размеры феодосийской сплетни и не имея другой мысли. Теперь вопрос: как понять Алекс<андру> Мих<айловну>? Я мог говорить с претензией в том смысле, что претендовал на нее за то, что она не оправдывает слов m-me Соломос и не выходит за меня замуж – но это абсурд. Если же понимать под словами не то,

что они обозначают, и слово “претензия” заменить словом “высокомерие”, то Алек<сандра> М<ихайловна> обиделась на то, что я считаю столь невозможной женитьбу на ней. И мне действительно представлялась она невозможной, но, конечно, ты понимаешь, что не потому, что я считал ее недостойной себя, а просто в силу наших отношений; так же как я не думал, напр<имер>, о женитьбе на тебе. Все это очень глупо и смешно и донельзя напоминает переписку майора Ковалева («Нос» Гоголя) с штаб-офицершей Подточиной[6] (до того напоминает, что я чуть не написал этого в ответном письме), и все-таки все это очень грустно. В самом деле, что может быть печальнее? Мы расходимся; я себя не считаю виноватым (за исключением продолжительного молчания, в чем я слезно просил у ней прощения), ее тоже я совершенно не могу обвинить. Обиделась, конечно! И удивительно, как она искусно тогда скрыла это и вполне искренно смеялась тогда вместе со мной над m-me Соломос. Может быть (и даже несомненно), я нетактично поступил, рассказывая об этом, но как она может не понимать так своих хороших друзей! Ведь не глупа же она, в конце концов? Мне оставалось, конечно, только отвечать в том же духе, что я желаю ей всего хорошего, прощаюсь с ней, согласно ее желанию, как это ни печально, но не могу не прибавить, что причина происшедшего мне неизвестна и что я ничего не понимаю. Поэтому очень печально, что она “совершенно не может” мне писать и дать должные разъяснения. И действительно одно, что я могу предположить, теряясь в различных предположениях, это то, что ей известно, благодаря сплетням, что-нибудь мне неизвестное. Но самое это предположение уже недобросовестно, так как кладет тень на нее; а следовательно, ложно. Предупреждаю тебя, что лучше до поры до времени будет, если она не будет знать, что ты знаешь об этом. А пока эта история нагнала на меня такую меланхолию, что книга валится из рук. И что страннее всего, встретиться с ней мне теперь было бы трудно, хотя виноватым себя не чувствую. Знаю, что она обо мне дурного мнения, и не изменяю к ней прежнего доброго отношения, вот и получается странная

встреча. Ты вспоминаешь все свои истории. Да, а я редко, да метко»......

Я переписал почти полписьма. Но, по-моему, оно ясней всех моих голословных утверждений даст вам понятие о роли Пешковского в этой истории. И подтверждает мою мысль о том, что А<лександра> Мих<айловна> обиделась через несколько месяцев после нанесения quasi-обиды. В общем, обвинять ее за это я, как и Пешковский, не могу. С человеком, занятым постоянным копаньем в самом себе, всегда так будет. Я твердо надеюсь по приезде в Феодосию выяснить и распутать эту историю. В письмах ко мне Алек<сандра> Мих<айловна> прямого ответа не давала и тоже откладывала это на время свидания. А на чтó она обиделась, я все-таки не понимаю, хотя ясно себе представляю, как и почему она обиделась. Но довольно. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение обо всем этом.

Теперь перехожу к другому. Вчера я был на замечательной лекции Тимирязева «о цветной фотографии».[7] Не говорю уж о самой лекции и демонстрациях, которые были замечательно интересны. Но самое сильное впечатление произвел конец его лекции. Лекция была в пользу голодающих, и потому он, заканчивая ее, коснулся и настоящего голода.[8] «Есть много господ, — говорил он, — которые упрекают науку в том, что она занимается только такими интересными пустячками и бирюльками, как цветная фотография, и ничего не делает для предотвращения таких физических бедствий, как настоящий голод. Это неправда! Наука сделала все, что могла, и все, что нужно для устранения этих бедствий»... Он довольно пространно, все более и более волнуясь, перечислил значения железных дорог, телеграфа, взаимного страхования и закончил следующей фразой, которая очевидно не была у него подготовлена, так горячо и с таким негодованием вырвалась она у него: «Настоящий голод — это не физическое бедствие, а нравственный позор.... позор!!!» — и бегом выбежал из залы. Историческая аудитория чуть не рухнула от аплодисментов. Был я тоже на лекции Кони. Вы об ней, конечно, знаете из «Русских Ведомостей». Мои впечатления

вполне тождественны с тем отчетом.[9] Только лицо его меня очень своим чиновническим выражением поразило. В общем же от лекции впечатление получил громадное.

В обыденной жизни у нас перемен нет с отъезда дяди Гриши.[10] В настоящую минуту у бабушки сидит Варв<ара> Ник<олаевна>[11] и несет страшную околесину про Нансена. По ее словам, он ничего из себя выдающегося не представляет. Просто у него сил девать некуда. Вот он наукой заниматься спокойно не может и всё моцион делает: и на лыжах и на коньках, и к Северному полюсу тоже для моциона отправился. Так что же тут такого выдающегося, чтобы удивляться? Потом она сворачивает как-то на «Взбаламученное море»[12] и негодует на то, что в современных (sic!) романах все вещи называются собственными именами, немудрено после этого, что вот всё говорят, что детей больше нет, что дети уж не дети. Тут она пользуется случаем, чтобы обличить профессора Шенка[13] в глупости и разбивает его одним ударом: «Значит, государь наш всё кашу ест, что у него всё девочки родятся,[14] а Алек<сандр> III ел мясо?!» И как это хорошо, что вас нет, а то наверно бы она в спорах до 12 часов просидела бы, а теперь, может, раньше уйдет.

Ух! ушла!! И слава Богу, а то у меня от этой трескотни, отчетливо слышной в моей комнате, в голове такая каша делаться начала... Люба летом собирается изучать политическую экономию, а зимой поступать на коллективные курсы. Я теперь собираю ответы на Тургеневские вопросы,[15] и оказалось, что Люба[16] лучше всего хотела бы быть птицей, ее любимые герои Аристид и Фемистокл,[17] девиз: «liberté, fraternitè, égalité!»,[18] а любимые имена: Игорь и Габриэль. Недавно был я у m-me Юнге,[19] и она очень заинтересовалась вашим переводом «Га́ннеле». Она, оказывается, ее двое суток переводила, а то я наврал, значит, что один вечер. Деген по предложению Поповой[20] будет издавать сочинения Гауптмана на русском языке[21] и «Га́ннеле» в переводе Юнге. Настроение m-me Юнге по-прежнему убийственное: Сергея,[22] вероятно, выгонят, училища он не посещает, возвращается домой в 2 часа ночи и пьяный и говорит матери, что он за-

стрелится, — словом, из него выработался настоящий мерзавец, и m-me Юнге только руками разводит: «Как у меня мог такой сын родиться?». Она очень хочет познакомиться с Вами и говорит, что, когда будет в Коктебеле, непременно отправится к вам. Экзамен русского права у меня будет в следующую пятницу 30 апр<еля>, а энциклопедия 15 мая.[23] Так что я, вероятно, уеду числа 17 мая. Т.е. даже наверно. Что касается денег, то я не знаю наверно, сколько мне нужно. Бабушке до 23 апреля заплочено. Не знаю, получу ли я у Де-Вальден[24] в следующий месяц 20 рубл<ей>, т<ак> к<ак> у меня месяц кончается 16<-го>, а экзамен у них 8-го. На дорогу, как мы рассчитывали, выходит около 20 р., да тут еще бабушке нужно будет додать 5 или 10 руб. Словом, мне нужно 25–30 рубл<ей>, сколько, не знаю наверно.

До свиданья. Кланяюсь Пав<лу> Павл<овичу>.

Макс. Волошин.
22 апреля 1898 г. Москва

[1] Письмо от 17 апреля 1898 г., в значительной части посвященное конфликту между А.М. Петровой и А.М. Пешковским (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 14–18 об.): «Его во всей этой истории я объясняю так: услышал сплетню, пришел в негодование, затем, может быть, в ужас от мысли, что такие слухи компрометируют девушку, а на молодого человека кладут известные обязательства <...>, которые брать на себя он и в мыслях не имел <...>, а потому, по молодости лет, решил покончить всё разом <...>».

[2] А.М. Петрова.

[3] Лидочка – Л.А. Соломос. Ее мать – О.А. Соломос.

[4] А.М. Пешковский.

[5] Письмо А.М. Пешковского из Ялты от 25 декабря 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963).

[6] См.: *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. 3. <Л.>, 1938. С. 70–71.

[7] Лекция К.А. Тимирязева называлась «Цветы и краски в природе и фотографии» и состоялась в аудитории Исторического музея 21 апреля.

[8] Имеется в виду голод 1898 г., следствие неурожая в ряде губерний.

[9] См. примеч. 2 к п. 33. На следующий день в «Русских Ведомостях» появилось сообщение о лекции (в рубрике «Московские вести»):

«Стечение публики было огромное <...>. Благодаря искусному, хотя по форме в высшей степени простому изложению г. Кони, личность князя Одоевского, в настоящее время полузабытого и часто смешиваемого со своим однофамильцем кн. А.И. Одоевским, воспетым поэтом Лермонтовым, предстала пред слушателями живая, полная интереса и заслуживающая горячих симпатий, как личность одного из благороднейших русских людей, одного из передовых деятелей нашего общественного развития середины века» (1898. № 99. 12 апр. С. 2). В следующем номере «Русских Ведомостей» от 13 апреля было опубликовано пространное изложение выступления под заглавием «Кн. Вл. Феод. Одоевский в характеристике А.Ф. Кони».

[10] Г.О. Глазер уехал из Москвы около 18 апреля 1898 г.

[11] Варвара Николаевна Шуберт, жительница Петровско-Разумовского, знакомая Волошиных с 1895 г. Волошин мальчиком играл с ее сыном Васей.

[12] «Взбаламученное море» — «антинигилистический» роман А.Ф. Писемского (1863).

[13] Видимо, профессор эмбриологии Венского университета Леопольд Самуэль Шенк (1840—1902), получивший известность опытами по определению пола у зародышей млекопитающих и человека.

[14] Речь идет о Николае II, к тому времени отце двух дочерей.

[15] Имеются в виду ответы И.С. Тургенева на вопросы, предложенные ему в 1869 и 1880 гг. (опубликованы факсимильно по-французски в сборнике: Голодному на хлеб. Альбом автографов писателей, художников, артистов и общественных деятелей. Изд. редакции газеты «Русская жизнь». СПб., 1892. С. 31). См.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1986. Т. 12. С. 371—374, 694—696 (комментарий Л.Н. Назаровой). Сам Волошин ответил на вопросы, предложенные Тургеневу, 20 апреля 1898 г. — и предлагал ответить Глотову, Ляминым, Пешковскому, Е.Ф. Юнге, а в мае — матери, Тешу, Петровой и др. Позднее, 3 января 1899 г., Волошин отвечал на анкету снова — с другими вариантами ответов. См.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 281—284.

[16] Л.С. Лямина.

[17] Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н.э.) и Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н.э.) — политические и военные деятели Афин периода греко-персидских войн.

[18] «Свобода, братство, равенство!» — лозунг Великой французской революции.

[19] Е.Ф. Юнге. См. примеч. 2 к п. 34.

[20] О.Н. Попова основала собственное издательство в Петербурге в 1894 г.

[21] Издание Гауптмана под редакцией Е.В. Дегена не было осуществлено.

[22] Сергей Эдуардович Юнге (1879–1902) – сын Е.Ф. и Э.А. Юнге.

[23] Экзамен по «энциклопедии права» (введение в курс юридических наук, краткий обзор всего их состава) Волошин держал 12 мая 1898 г.

[24] Де Вальден – Екатерина (?), ученица Волошина; по-видимому, дочь Александра Александровича Девальдена, инженера путей сообщения, контролера Московско-Брестской железной дороги (где в 1880-е гг. служила и Е.О.).

37. А.М. ПЕТРОВОЙ

Третья декада апреля 1898 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Поздравляю вас и т.д. Неужели вы будете упорствовать в своем решении не писать мне? А ведь я за Римское право четверку получил,[1] так что de facto* я уже студент II курса, на что вы так напирали в открытке. Остаются у меня еще два экзамена: Русское право и энциклопедия,[2] но это ерунда, если римское прошло. Последний экзамен у меня будет 15 мая, а уеду я из Москвы, вероятно, 17-го, так что не позже 20<-го> буду в Феодосии. Неужели же наступление весны, мое предыдущее письмо и четверка не разгонят грозовых туч вашего негодования?!! На днях я был еще на одной интересной лекции – Тимирязева «О цветной фотографии»[3] – интересной своими демонстрациями, но особенно своим замечательно сильным заключением. Лекция была в пользу голодающих, и Тимирязев в заключение коснулся настоящего голода. «Найдутся и находятся многие господа, – сказал он, – которые упрекают науку в том, что она занимается только такими пустячками и бирюльками, как цветная фотография, и ничего не делает для предотвращения таких физических бедствий, как настоящий голод. Это ложь! Наука XIX века сделала все нужное для их предотвращения: железные дороги, телеграфы, взаимное страхование, успехи агро-

* Фактически, на деле (*лат.*).

Заказ № 5706

номии исключают совершенно возможность этих бедствий. И наш теперешний русский голод не физическое бедствие, а нравственный позор... позор!!!» Последняя фраза была сказана так горячо и искренно, что было видно, что она не была подготовлена, а вырвалась у него невольно из глубины негодующего сердца.

Не могу удержаться, чтобы не написать вам одного прелестного стихотворения-шутки, которое мне недавно прочла m-me Юнге. Оно было написано ее сестрой Каменской (матерью Барыковой) и посвящено старшему сыну Юнге Саше, тогда ребенку.[4] Вот оно:

Я не зайчик, я не мышка,
Не болтливый попугай,
Не проказница мартышка,
Не зверек ленивый ай;
Я не бабочка порхунья,
Не резвушка я коза,
Я не кошечка шалунья,
Не прыгунья стрекоза.
Но я все соединяю:
Жмусь как кошечка в комок,
И как попка я болтаю,
Зайкой делаю прыжок,
Я как бабочка порхаю,
Непоседа как коза,
Я как мышка подъедаю
И верчусь как стрекоза.
Я как ай порой ленюся,
Как мартышка я умен,
А когда я улыбнуся –
Всякий мною обойден.
Моя мордочка складная
Фокус-покус для людей.
Что ж за штучка я такая
По загадочке моей? –
Я? Я папенькин сыночек,
Мопсик маленький такой,
Аппетитный я кусочек –
Саша! – вот кто я такой!

Не правда ли, замечательно грациозно? А теперь спешу на урок. Кланяюсь Нине Александровне, Мише и Оре[5] и всем знакомым, которые будут приходить поздравлять вас в день ваших именин. Остаюсь ваш блудный

Макс.

P.S. А на естественный я все-таки перейду.

[1] Этот экзамен Волошин сдал 15 апреля (см. п. 34).

[2] См. примеч. 23 к п. 36.

[3] См. примеч. 7 к п. 36.

[4] Саша – Александр Эдуардович Юнге (1872–1921), сын Е.Ф. и Э.А. Юнге, ботаник.

[5] См. примеч. 4 к п. 9.

38. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

*28 апреля 1898 г. Москва**

Милая мама! Сегодня получено у Ляминых Ваше письмо.[1] Вы пишете, что еще ничего не знаете о результатах моего экзамена по римскому праву, а между тем я вам написал об них в самый день экзамена, т.е. 15 апреля. Т.е. это была приписка к бабушкиному письму, написанному в тот же день. После этого мною было написано еще большое письмо, где я говорил об Алекс<андре> Мих<айловне> и Пешковс<ком>.[2] Получили ли вы оба эти письма? Я по римскому праву получил четверку так же, как и Яша.[3] Харсун[4] получил три. Следующий экзамен у меня через два дня в четверг 30 апреля – русское право. Занимаюсь и проклинаю учебник, написанный буквально каким-то идиотом, а не профессором, так он сам себе на каждом шагу противоречит. Что вам купить из Гауптмана? Его последняя вещь «Потонувший Колокол», пред этим был «Флориан Гейер» (историческая драма), раньше «Га́ннеле», «Ткачи»[5] (они на русском языке запрещены, не знаю, продаются ли они в России на немецком). Еще раньше им было написано несколько комедий,[6] мне совершенно неизвестных. «Ткачи» – это эпизод из восстания рабочих в Силезии в 1848 году. Написаны они, кажется, почти сплошь на platt-deutsch.[7] Я думаю, лучше всего «Флориан Гейер» купить. На русский язык переведен он еще не был никем, так что и напеча<та>ть можно будет перевод. Относительно вашего проекта отправиться вместе в Ялту, то мне бы очень хотелось это. Но не знаю, удобно ли это будет. Что касается Веры[8] и Алек<сандры> Мих<айловны> (которая, как писала мне Вера, тоже собирается ехать), то я не сомневаюсь, что они обе не только ничего не будут иметь против этого, но будут очень довольны. А вот относительно Воллк-Ланевских[9] совсем не знаю и поговорю об этом, когда буду в Феодосии. Что касается путешествия пешком в Севастополь, то я уверен, что Вера пойдет с удовольствием. Говорили вы ей об том, что вы бы хотели тоже принять участие в поездке? Были

* *Датируется на основании карандашной пометы над текстом.*

ли вы вообще в Феодосии после приезда? Я писал Вере, что вы перевели «Га́ннеле», и она хотела вас просить прочесть ей, когда увидит вас, только она сомневается, согласитесь ли вы. Я ей писал, что вы наверно с удовольствием прочтете. Как относится Пав<ел> Пав<лович>[10] к «Ганнеле»? Те строфы, которые вы прислали, написаны «почти» стихами, а некоторые даже совсем стихами. Некоторые места мне очень понравились; но какие, я не могу сказать потому, что я их пробежал вместе с письмом только мельком, спеша домой, и они остались у Ляминых, так как Лёля[11] еще не читала письма. Что вы теперь себе вместо «Русских Ведомостей» выпишете? Так странно теперь без них, да еще в разгар войны[12] и накануне нового разбирательства дела Золя.[13] Бабушка теперь «Курьер»[14] покупает. Видел я новую картину Семирадского: «Христианская Дирцея времен Нерона».[15] Производит она очень сильное впечатление. Читали вы об ней?

Заканчиваю письмо, так как нужно заниматься. Кланяюсь Пав<лу> Павл<овичу>.

Макс.

P.S. В пятницу после русского права напишу больше и подробнее.

[1] Письмо, видимо, не сохранилось.

[2] См. п. 36.

[3] Я.А. Глотов.

[4] И.И. Хорсун.

[5] «Флориан Гейер» (1896) — трагедия Гауптмана из истории крестьянской войны в Германии XVI в. «Ткачи» (1892) — драма о восстании силезских ткачей в 1844 г.

[6] Гауптман написал к тому времени лишь одну комедию — «Бобровая шуба» (1893), остальные ранние его произведения — драмы: «Перед восходом солнца» (1889), «Праздник примирения» (1890), «Одинокие» (1891).

[7] Plattdeutsch — нижненемецкое наречие. В «Ткачах» Гауптмана использован не нижненемецкий, а силезский диалект; первый вариант текста (1892) написан целиком на силезском диалекте.

[8] В.М. Нич.

[9] См. примеч. 3 к п 4.

[10] П.П. Теш.

[11] Е.С. Лямина.

[12] Речь идет об испанско-американской войне 1898 г. за обладание Кубой, Филиппинами и Пуэрто-Рико.

[13] Имеется в виду выступление Эмиля Золя в защиту капитана А. Дрейфуса (см. п. 28, примеч. 13). 8 апреля (н.ст.) Военный трибунал подал в суд на Э. Золя, обвиняя его в оскорблении высшего военного суда.

[14] См. примеч. 12 к п. 25.

[15] Огромное полотно Г.И. Семирадского «Христианская Дирцея» стало гвоздем выставки картин Петербургского общества художников (всего 456 произведений), открывшейся 6 апреля 1898 г. в верхних залах Исторического музея в Москве.

39. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

2 мая 1898 г. Москва

Дорогая мама!

В четверг был у меня экзамен русского права, и я получил четыре.[1] Замечательный это был экзамен, в гимназиях только по Закону Божию такие бывают, да и то все-таки построже. За абсолютное молчание ставили 3 с минусом, а двойку только одному поставили, и то, кажется, за то, что он ругаться начал. А насчет пятерок были все-таки скупы, мне вот все-таки пяти не поставили, хотя я все безукоризненно по всему курсу отвечал и только не знал, сколько по Русской Правде[2] за наем кормилицы платили, и даже сомнения высказал в том, что существовали ли в то время кормилицы, на что мне и ответили, что не только кормилицы, но даже кормильцы в то время существовали, и поставили за излишнюю скептичность четыре. Яша[3] за русское право получил три, хотя его профессор все уговаривал пойти еще к другому экзаменатору поэкзаменоваться: «Он вам наверно четыре поставит», но Яша не пожелал. Вообще, очевидно, экзаменаторы старались ввести большее единообразие в отметках и ставить всем те же баллы, что и по Римскому праву. Нет! такого легкого экзамена я еще не видывал. Вообще я прихожу к убеждению, что в университете экзамены куда легче, чем

в гимназии, даже и пресловутый экзамен Римского права, на котором все-таки в этом году 100 человек провалилось, и на нем все-таки экзаменаторы далеко не так требовательны, как на гимназических экзаменах. Теперь у меня остается только «Энциклопедия» 15 мая. Но я попытаюсь попасть в первую группу 12-го и тогда 13<-го>, должно быть, уже выеду из Москвы, если получу от Вас к тому времени деньги на дорогу, а то я от Девальден[4] получил еще меньше, чем ожидал, — именно только 10 рублей, так наши занятия закончились 1-го мая. Сегодня они держат экзамен, так что о результатах его я, разумеется, еще не знаю. По приезде в Крым я не прямо явлюсь в Коктебель, а сперва пробуду несколько дней в Феодосии. Сейчас я ухожу к m-me Юнге[5] и спрошу у нее, что мне лучше всего купить вам из Гауптмана.

Был у m-me Юнге, но ее дома не застал. Узнал только, что Сергея[6] до экзамена не допустили и что она хлопочет о том, чтобы его на третий год оставили. Потом был у Ляминых уже на новой квартире, куда они перебрались вчера. Там очень хорошо, кругом зелень, переулок тихенький, извозчиков не слыхать, чуть-чуть что не на даче (в Петровском парке, например). Видел там Нину Федосевну,[7] и она мне сообщила, что мои ученики экзамен выдержали и получили по четверке. Миша завтра едет в Киев к велосипеду. Яша все время у Ляминых и помогает разбираться; кажется, ему все-таки в Москве остаться придется на лето. Он собирается Вам письмо написать. Теперь ложусь спать. Буду продолжать завтра. Вчера, между прочим, я видел в книжном магазине новый перевод «Ганнеле» какой-то баронессы Тизенгаупт (уж не женился ли барон Тизенгаупт?)[8] и просматривал его. Перевод скверен, и единственное его отличие от Суворинского[9] то, что это издание стоит полтинник, а то — гривенник.

Я Вам в прошлом письме, написанном впопыхах, не ответил ничего на ваши мысли по поводу естественного факультета,[10] именно на то, что вы пишете, что я преимущественно «человек слова» и что поэтому юридический факультет для меня самый подходящий. Но я, собираясь

переходить на естественный, ни на минуту не забывал, что я человек слова и даже поэтому именно и хочу на него перейти. Если я останусь на юридическом, я буду просто человеком слова, а перейдя на естественный, я могу сделаться человеком научного слова. Т.е. я этим туманным выражением не хочу сказать, что я буду человеком науки, но, обладая даром свободного изложения своих мыслей на бумаге, я могу сделаться, напр<имер>, популяризатором. Положим, я никогда и не думал совершенно бросить юридический, — я думал отбросить только из него ту схоластику вроде римского права, которая мне в сущности не нужна. Но теперь ввиду той поразительно<й> легкости экзаменов на юридическом факультете я думаю, что, может, мне его и не стоит окончательно бросать, ...но это, положим, я опять удаляюсь в область «бессмысленных мечтаний».[11]

Теперь перехожу к присланным Вами переводам из Ганнеле. Куплет, написанный вами в одном из первых писем, я предлагаю изменить так, чтобы получился стих и размер:

После сговора честного
Милый с милою идет
И на мягкую постельку
В темной горенке кладет.

Предупреждаю, что у меня под руками нет текста, так что я только комбинирую Ваши переводы. Первая песня первого ангела переведена правильным размером и мне нравится, но в 1 п<есне> 2-го ангела во 2<-ой> и 4-ой строке есть недочеты одного конечного слога и выражение «пенилось в кружку коров парное молоко» — мне не нравится, но никакого другого варьянта я предложить не могу за неимением текста. 1-ая п<есня> 3-го ангела, мне кажется, будет лучше или, по крайней мере, получит правильный размер в таком виде:

Цветы, наряд земли роскошный,
Благоуханьем сладким полны,
Лазурью, пурпуром красуясь,
Не расцветали пред тобою.

Во второй песне 1-го ангела, мне кажется, лучше сделать такую перестановку строк:

> Чрез мрак ночной на крыльях рея
> Мы в наших перьях белоснежных,
> Привет любви приносим первый
> И счастья первое дыханье.

Не знаю, так ли я только понял смысл этих стихов. Во II-ой п<есне> 2-го анг<ела> тоже есть недочеты, но как изменить ее, я не придумал. II-ая песня 3-го ангела вполне хороша. Но вообще, не имея текста, я все-таки ничего не могу сказать. Вот буду в Коктебеле, тогда, если хотите, как следует переведу.

С бабушкой у нас теперь все спокойно — изредка только что-нибудь проскользнет. Она просит Вам передать, что не пишет Вам потому, что надеется, что все новости я вам напишу. Кроме того, она просит тоже написать, что она чрезвычайно удивлена тем, что я все на экзаменах получаю только четверки, а не пятерки, несмотря на то что целый год ничего не делал, — это ее подлинные слова. Теперь до свиданья. Кланяюсь Пав<лу> Павлов<ичу>.[12]

Макс.

[1] Четверг — 30 апреля.

[2] Русская правда — свод древнерусского права (списки XIII—XVIII вв.), включающий отдельные нормы «Закона Русского», Правду Ярослава Мудрого, Правду Ярославичей, Устав Владимира Мономаха и др.

[3] Я.А. Глотов.

[4] См. п. 14, примеч. 24.

[5] Е.Ф. Юнге.

[6] С.Э. Юнге.

[7] Нина Федосеевна Локошенко — москвичка, дочь действительного статского советника — сослуживца С.К. Лямина.

[8] Имеется в виду графиня Е.В. Тизенгаузен (1830—1905); в 1898 г. драма Гауптмана вышла в ее переводе под названием «Ганна» (2 картины, 74 стр.). Барон Тизенгаузен — возможно, Александр Александрович (1836—1899).

[9] «Ганнеле» Гауптмана в издательстве А.С. Суворина вышла в 1894 г. (СПб.) в переводе А. Г.

[10] В ответ на высказанное Волошиным (в несохранившемся письме) желание перейти на естественный факультет Е.О. 17 апреля 1898 г. указывала на его «прирожденные наклонности» «к истории, литературе, искусствам» и, предвидя в нем «будущего человека слова», советовала «получить историко-литературно-философскую подготовку с прибавкою юридических наук» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 17–17 об.).

[11] «Бессмысленные мечтания» — произнесенные 17 января 1895 г. слова Николая II из его речи к представителям дворянства, земств и городов, которыми он определил проекты участия представителей земств в делах внутреннего управления. Фраза приобрела тогда широкую популярность.

[12] П.П. Теш.

40. А.М. ПЕТРОВОЙ

2 мая 1898 г. Москва

2 мая 1898 года. Москва.

Александра Михайловна! Голубушка! Наконец-то вы разрешили свой обет молчания.[1] Ну и хорошо! А «подобия мыслей», «заоблачные мысли» и «туманные области» пусть Вас не смущают — это только следствия дурной погоды, Вашей болезни и ухаживаний Бондаря[2] (это ведь и есть, должно быть, ваш кошмар? О вы, несчастная!!). У меня прошел еще экзамен — русское право, за которое я получил четверку,[3] а по сему случаю теперь ничего не делаю. Осталась только «Энциклопедия», но это уж совершенные пустяки.[4] Выеду, вероятно, из Москвы 17 мая, а может и раньше, если удастся проэкзаменоваться в первой группе. Тогда выеду так числа 14-го.[5] Но, несмотря на всю радость полученного от Вас письма, я чувствую настоятельнейшую потребность сию же минуту сцепиться с Вами и ругаться, доказывать, горячиться, упрекать, негодовать — словом, устроить Вам «сцену». Долго у меня копилось негодование по поводу Вашей ссоры с Пешковским, и оно только теперь, после того как вы мне наконец написали точно и ясно о том оскорблении, которое он Вам нанес, только теперь оно может вылиться. Господи! и как вы только

можете настолько ошибаться в поступках человека, зная в то же время хорошо его самого!?! Вы пишете, что скучаете «по прежнем Пешковском».[6] Да разве ж он теперь не прежний? Да разве тот «Пешковский», которого вы знали, может измениться? И разве тот Пешковский страдал когда-нибудь отсутствием воспитанности? Правда, «манер» у него никогда не было, но ведь вы не об этом же говорите, а говорите об другой, высшей воспитанности – деликатности, чуткости сердца, а этой «воспитанностью» он обладал в большей и в высшей степени и теперь обладает. Как вы могли предположить за «этим Пешковским» «такие» мысли? Даю вам честное слово (если вы ему только можете верить), что у него никогда никакой такой мысли, какую Вы предполагаете, и не было. Он ведь даже и до сих пор не знает, за что собственно вы на него обиделись и чем он вас мог оскорбить. Мы с ним много говорили об этом, строили тысячи всевозможных предположений о том, что могло заключаться в его словах оскорбительного, и не могли придумать. А вы ведь достаточно хорошо знаете Пешковского, чтобы с уверенностию сказать, что так он никогда бы не лгал, что, если бы у него была мысль, которую вы в нем подозреваете, то он мне бы высказал ее, а не притворялся, ведя со мной длинные разговоры и строя самые различные предположения. Вы пишете, что у него была возможность извиниться и он не извинился. Да разве ж можно извиняться, не зная, за что извиняешься? Да разве можно извиняться за то, чего никогда не делал? Пешковский «в глупой пошлой роли»! Пешковский, «возбуждающий брезгливость»! Пешковский, «воображающий о себе невесть что»! И это тот самый Пешковский, олицетворенная скромность, которому бывает неловко, когда просто только говорят о нем! Александра Михайловна! что вы говорите? Да вы вспомните хорошенько того старого Пешковского, которого у вас из головы вытеснил другой, новый Пешковский, Вами самими изобретенный под впечатлением того оскорбления, которое, вам показалось, он нанес Вам!

Я знаю – Вам трудно отрешиться от мысли, что он именно это хотел сказать, сообщая Вам ту проклятую сплетню.

У Вас есть такая масса доказательств, такая масса разных тонких психологических оттенков, подмеченных Вами в его дальнейшем поведении! (Я говорю это a priori). И это все-таки все неверно. Вы страшно самолюбивы, Алекс<андра> Мих<айловна>, и в тех случаях, когда Вам кажется, что данный поступок оскорбителен по отношению к Вам, вы направляете сейчас же на него свой великолепный психологический микроскоп и открываете, разумеется, массу ужасных вещей. Словом, тут та же история, что с каплей воды, которую вы будете рассматривать под обыкновенным микроскопом: незаметные инфузории явятся вам страшными чудовищами, и вы поступите совсем нелогично, если откажетесь пить эту воду, а между тем она может быть чиста как хрусталь. Вот так же происходит с поступком, рассматриваемым Вами под микроскопом психологическим, но ваша ошибка заключается в том, что вы всё забываете, что это вы в микроскоп смотрите. Микроскоп у Вас очень сильный, а перспективы психологической нет. Для того чтобы восстановить эту перспективу, я хочу привести Вам отрывок из Сашиного письма, которое он написал мне на Рождестве, сообщая о том, что произошло между вами.[7] Предупреждаю Вас, что пишу это место из его письма без его ведома.* Но, с другой стороны, мне кажется, что я вправе это сделать: так это письмо скорее всего может доказать Вам Вашу ошибку. (Относительно нашей переписки с Вами по поводу этой истории я ничего не говорил ему. Могу ли я ему передать истинную причину вашей обиды, т.е. то, что вы мне написали сегодня, не в подлиннике, разумеется, а своими словами?). Так вернусь к Сашиному письму.

Сообщив мне о получении письма от Вас и его содержании, он пишет: «Нужно тебе сказать, что я еще летом в Феодосии имел неосторожность передать Александре Михайловне, смеясь, один курьез из феодосийской жизни, о том, что m-me Соломос сериозно убеждена и уверяет других, что я женюсь на Ал<ександре> Мих<айловне>, желая лишь иллюстрировать размеры феодосийской сплетни и не имея никакой другой мысли. Теперь вопрос, как понять Алекс<андру>

---

* *Далее вымараны две строки.*

Мих<айловну>? Я мог говорить с претензией в том смысле, что она не оправдывает слов m-me Соломос и не выходит за меня замуж – но это абсурд. Если же понимать под словами не то, что они означают, и слово “претензия” заменить словом “высокомерие”, то Алек<сандра> Мих<айловна> обиделась, что <я> считаю столь невозможной женитьбу на ней. И мне действительно она представлялась невозможной, но, конечно, ты понимаешь, что не потому, что я считал ее недостойной себя, а просто в силу наших отношений, так же, как я не думал, например, о женитьбе на тебе. Все это глупо и смешно и все-таки очень, очень грустно. В самом деле, что может быть печальнее? Мы расходимся; я себя не считаю виноватым (за исключением продолжительного молчания, в чем я у ней слезно просил прощения), ее я тоже совершенно не могу обвинять. Обиделась и кончено! Может быть (и даже несомненно), я нетактично поступил, рассказывая ей об этом, но как она может так не понимать своих хороших друзей! Мне осталось, конечно, ответить в том же духе, что я желаю ей всего хорошего, прощаюсь с ней, согласно ее желанию, как это ни печально, но не могу не прибавить, что ничего не понимаю и что причина происшедшего мне неизвестна. Поэтому очень жаль, что она “совершенно не может” мне писать и дать должные разъяснения. И действительно одно, что я могу предположить, теряясь в различных предположениях, это то, что ей известно, благодаря сплетням, что-нибудь мне неизвестное. Но самое это предположение недобросовестно, так как кладет тень на нее, а следовательно ложно». Я твердо уверен, что эти строки вызовут в вас прежнее, хорошее отношение не к «прежнему», а и к «настоящему» Пешковскому.

До свиданья, Алек<сандра> Мих<айловна>. Подумайте снова над этой историей и взгляните на нее со стороны и напишите как можно скорее. Мне бы хотелось еще до своего отъезда сообщить Саше, что это все было одно недоразумение, печальная ошибка и что теперь этого уж больше нет. Ведь правда, Алекс<андра> Мих<айловна>, вы ведь не верите уж больше в выдуманного Пешковского, играющего «глупую и пошлую роль» и возбуждающего «только брезгливость»? Это-

го Пешковского никогда и не было, а был только один чуткий, хороший, скромный, деликатный, глубокий, вдумчивый и способный Пешковский, которого всякий любил тем больше, чем ближе узнавал его.

Макс. Волошин.

[1] Извиняясь в письме к Волошину от 27 апреля 1898 г. «за долгое молчание», Петрова поясняла: «...какое-то смутное подозрение говорит, что моя переписка не совсем кстати: здесь начинается туманная область, за которою, наверное, кроется какая-ниб<удь> “заоблачная истина”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

[2] Трифон Степанович Бондарь — преподаватель математики феодосийской гимназии.

[3] См. п. 39, примеч. 1.

[4] См. примеч. 23 к п. 36.

[5] Волошин выехал в Крым в этот день.

[6] 27 апреля 1898 г. Петрова писала Волошину о Пешковском: «У него была возможность извиниться передо мною, но он почему-то пренебрег этим, и Вы напрасно ходатайствуете в его пользу. <...> Как видно, не на шутку испугался, что я его за жениха сочту. Колоссально-наивная самоуверенность! Между нами будь сказано, я по нем очень и очень скучаю, но по “прежнем” Пешковском, а не в качестве претендентши на его дачу и руку и сердце впридачу. Разве на невоспитанность сердятся? Она только брезгливость возбуждает <...> Бог с ним! Когда-нибудь поумнеет и поймет глупую и пошлую роль, которую он разыграл».

[7] См. примеч. 15 к п. 28.

41. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

3 мая 1898 г. Москва

Дорогая мама!

Только что получено Ваше письмо и деньги. Спасибо. Только Ваше письмо меня очень удивило. Как это у Вас соединились понятия естественного факультета и «жирного пирога», я не понимаю.[1] Естественный факультет меньше всякого другого открывает путь к матерьяльному благосостоянию, и уже если такое подозрение у вас

могло явиться, то оно должно было бы явиться относительно юридического факультета, а никак не естественного. Что же касается до того, что я сделаю «не совсем-то добросовестно и чересчур эгоистично», поступая на естественный для собственного своего удовольствия, ради одного накопления знаний, то это совершенно не вяжется с тем, что я «не горю любовью к естественным наукам».[2] Эти два положения совершенно исключают друг друга. С последним я не могу не согласиться, но это доказывает только то, что я желаю поступить на естественный уже никак не ввиду удовольствия, а потому, что считаю, что знакомство с естественными науками необходимо как подготовка к жизни и к полезной деятельности. Необходимы и юридические науки, но я и не думаю забрасывать их окончательно – мысль пройти и те и другие, с которой я поступал в университет, не поколебалась, только я вижу, что естественный факультет без университета не пройдешь, а юридический пройдешь свободно, так как центр тяжести занятий естественными науками лежит в университетских занятиях, а центр тяжести юридическими науками – дома. «Я должен расплатиться за все, что брал чуть не даром»[3] – это вполне справедливо. И я считаю, что эту расплату можно совершить честно и как следует, только получив наиболее всестороннее и общее образование, т.е. выйдя в жизнь уже вполне вооруженным, а для этого я считаю необходимым основательное изучение и гуманитарных и естественных наук. Вы сами как-то писали, что <я> по преимуществу «человек слова» и к специализации не способен (не помню, писали ли вы последнее, – но вы с этим, разумеется, согласитесь). Быть человеком слова – это качество одностороннее, это значит иметь способность свободно высказывать... но что высказывать? Именно вот этот последний вопрос и ставит предо мной долгом получить наиболее широкое образование, а метание по этой широкой площади зависит от темперамента. Теперь еще по поводу кривой, которая меня вывезла.[4] Почему это именно кривая всегда меня вывозит? И именно всегда, и не было ни разу случая, чтобы не вывезла. Вы сейчас

укажете на то, что я ничего в году не делал. Правда. Но что ж это доказывает? По-моему, только то, что экзаменационные требования таковы, что я им мог удовлетворить, занимаясь один месяц, а не год. Но ведь я занимаюсь не для экзамена и не для диплома? Да, но только тем, что считаю полезным для себя, а не римским правом, а что не я один считаю его бесполезным (в тех подробностях, в которых оно проходится, в общих чертах я, разумеется, извлек из него для себя некоторую пользу), это доказывает, что оно уже изгнано из германских университетов, откуда его заимствовали русские. Что же касается Русского права, то я ведь и в году читал его, даже отчасти литературу – всю книгу Беляева[5] прочел. Также и <?> энциклопедии – Регельберга[6] читал. Так что в общем никак нельзя сказать, что я на экзаменах выехал на кривой – экзаменационным требованиям я удовлетворил вполне. Год-то я, разумеется, считаю потерянным и против этого возражать не стану, но экзаменационные-то требования так невелики, что я им удовлетворил вполне и потому против «кривая вывезла» протестую. Теперь кончаю письмо. Писать нечего. Всё по-старому. Постараюсь как-нибудь попасть в первую группу на энциклопедии – тогда выеду 14 мая. Кланяюсь Пав<лу> Пав<ловичу>.[7] Что это у него?

Макс

Бабушка Вас целует и не пишет Вам потому, что писать нечего. Что же касается до отношений Лямина к Лёле и Любе,[8] то она мне поручила передать Вам устно и почему-то не хочет, чтобы я Вам писал в письме. До свиданья.

[1] Письмо Е.О. от 28 апреля 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 19–20 об.), в котором она выражала надежду на то, что переход на второй курс позволит Волошину «более беспристрастно отнестись и обдумать <...> переход на естественный факультет»: «...надеюсь, что ты знания будешь накапливать не для знаний только и не для теплых местечек с куском жирного пирога».

[2] Отклик на слова Е.О. в том же письме: «Если бы у тебя была еще особая любовь и влечение к естествен<ным> наукам, <...> но разве ты горишь такою любовью к ним? А ведь учиться, приобретать

знания только для себя, для своего самообразования, будет не совсем-то добросовестно и чересчур эгоистично <...>».

[3] Е.О. писала в цитированном письме: «Нужно подумать о том, как и на каком поприще ты больше и лучше сумеешь расплатиться за все, что брал чуть не даром».

[4] Подразумеваются слова Е.О. из того же письма: «...итак, по Римскому праву тебя опять вывезла кривая; вероятно, она же вывезет и по остальным экзаменам»; «...вообще с кривой пересядь-ка лучше на настоящего рьяного коня, да не позволяй ему метаться в разные стороны, держи в шенкелях крепко, он тебя далеко вынесет».

[5] Имеются в виду «Лекции по истории русского законодательства» (1879) И.Д. Беляева.

[6] Подразумевается Фердинанд Регельсбергер (1831–1896), немецкий правовед, автор книги «Общее учение о праве», изданной в русском переводе (Пер. И.А. Базанова, под ред. Ю.С. Гамбарова. М.: И. Сытин, 1897).

[7] П.П. Теш.

[8] С.К., Е.С. и Л.С. Лямины.

42. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

8 мая 1898 г. Москва

8 мая 1898 года Москва.

Дорогая мама!

Я получил сегодня Ваше письмо от 5-го мая, адресованное на имя Любы.[1] Странно, что вы не получили того моего письма, в котором я говорю относительно моего экзамена по русскому праву и подробно описываю его. Или вы, может, теперь его получили? Роль Алекс<андры> Мих<айловны> в истории с Пешковским я, очевидно, в прошлом письме[2] выяснил недостаточно ясно, потому что вы составили об ней все-таки неверное представление. Она здесь действует вполне искренне и убежденно, как я вижу ясно из ее писем, и не из содержания их, а из тона. Особых маневров и казуистических приемов с ее стороны здесь не было совершенно – она к ним никогда не прибегает, хотя и подозревает других в них. Что вы предположили, судя по ее поведению и по моему письму, что она обиделась на молчание Пешковского и избрала те слова

его только поводом к разрыву, это с Вашей стороны вполне натурально: так и должен подумать каждый человек, который смотрит на вещи просто, так, как они есть. Но особенность Алекс<андры> Мих<айловны> заключается именно в том, что она не просто смотрит на вещи. Молчание Пешковского послужило для нее только поводом к размышлению над его предыдущим поведением, а может быть, и подтверждением уже раньше бродивших в ней предположений. Действительно, это молчание очень подтверждало ее подозрения, что Пешковский испугался того, что она захочет выйти за него замуж, и если она не была раньше вполне уверена или если терялась в догадках относительно его молчания, то во всяком случае она вполне искренно убедилась, в конце концов, в мотивах, якобы двигавших Пешковского, и подыскала в прошлом целую массу доказательств вроде той «книги», про которую ни я, ни Пешковский не могли ничего вспомнить. В последнем своем письме она точно и ясно определила, в чем она подозревает Сашу, и я ответил ей на него пространным посланием[3] (тем самым, которое она получила при Вас), в котором я ей подробно выяснял поведение Саши в этом деле, ее заблуждения и их причины, подтверждая всё фактическими данными из того Сашиного письма, которое я выписал Вам. Раньше я этого не делал, потому что она не писала мне ничего, каков был тот поступок, а мы с Сашей, как вы знаете, совершенно не знали, на что именно она обиделась. Теперь же на ее прямое обвинение я разразился посланием, в котором писал приблизительно то же, что и Вам, только в более горячей форме. Что касается характера ее, то Вы глубоко ошибаетесь: она живет преимущественно чувством, а не умом, и способна страшно увлекаться и постоянно увлекается. Сходится с людьми очень медленно и туго, но в конце концов, я уверен, и между вами будет сломан лед, как он сломался раньше между ею и Верой,[4] и вы тогда увидите ту настоящую Алекс<андру> Мих<айловну>, которую мы с Пешковским так ценим, несмотря на такие случайности и неожиданности, как эта последняя история. Эта история не первая – т.е. с Пешковским она первая, а у меня с ней бывали не раз такие же точно: точно так же возникавшие неожиданно из ничего. Только кончались они тогда скорее –

Заказ № 5706

отчасти потому, что мы жили не только в одном городе, но и в одной квартире, а отчасти оттого, что я, будучи гораздо менее самолюбив, чем Пешковский, всегда сам первый делал шаг к примирению и даже извинялся, чувствуя себя правым, так как, я думал, не стоит из-за таких пустяков прерывать сношения, и все-таки же этот укол самолюбию перенести приятнее, чем разрыв с человеком, близкими отношениями с которым дорожишь. До свиданья. Я выеду почти наверно 14-го и тогда 16<-го> буду в Феодосии и пробуду там дня 3, не меньше. Вопросов никаких не предлагаю, хотя бы очень хотелось узнать о болезни Веры, потому что вы мне не успеете уже ответить. Кланяюсь Пав<лу> Пав<ловичу>.[5]

Макс.

[1] Описка; имеется в виду письмо от 3 мая (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 21–22 об.). Люба – Л.С. Лямина.

[2] См. п. 36.

[3] См. п. 39.

[4] В.М. Нич.

[5] П.П. Теш.

43. А.М. ПЕТРОВОЙ

13 мая 1898 г. Москва[1]

Уж я юрист второго курса!
Корабль учености моей
Не изменил прямого курса,
Пройдя средь мелей и зыбей
Из обязательств, сервитутов[2]
Объектов, норм, обычных прав
И государственных статутов.
Теперь, все рифы миновав,
И торжествующий победу
Стремится гордо он на юг...
Я еду[1] еду!! еду!!! еду!!!!
Я еду к Вам, мой старый друг!

В четверг[3] я выеду с курьерским,
В субботу буду – со своей
Улыбкой вечной, тоном дерзким. .
Готовьте рыбий хвост скорей!
Но встреч торжественных не надо:
Оркестр прошу не приглашать
И не устраивать парада.
Цветов не стоит покупать:
Я к Вам инкогнито явлюся.
Ваш гнев представить я могу
При виде гривы... но клянуся,
Что гривы я не обстригу!

Макс Волошин.
13 мая 1898 г. Москва.

[1] В наст. изд. помещено в разделе «Шуточные стихотворения» (Т. 2. С. 451).

[2] Сервитут – право пользования чужим недвижимым имуществом в определенных пределах (например, право проезда через чужую землю, если к данному владению нет иного доступа).

[3] Четверг – 14 мая.

44. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

12–15 сентября 1898 г. Москва

Дорогая мама!

Вот уж почти неделя как я в Москве.[1] Все путешествие совершилось, как я предполагал – я расстался с Любой Вяз<емской> в Симферополе, пробыл два дня у Кржижевского, встретил в поезде Пешковского и вместе с ним приехал в Москву. Приехавши, остановился у бабушки и стал тотчас же искать квартиру и сожителя, но, проискав безуспешно того и другого в течение четырех дней, в конце концов решил остаться у бабушки до вашего приезда, чтобы потом поселиться вместе с Вами в одной уже комнате – в двух будет слишком дорого. Селиться же на месяц и искать сожителя на месяц – это слишком трудно. Кроме того, на мое решение повлияло также то, что бабушка была очень, по-видимому, огорчена тем, что я не хочу жить у нее, хотя и не высказывала это прямо, но это сквозило в каждом ее слове и выражении. Так что я до Вашего приезда буду жить у бабушки, а там решим уже вместе, как устроиться. Скоро ли вы думаете приехать? Ведь вы знаете, что лекции на Коллективных курсах[2] начинаются очень скоро – на днях. Лёля[3] тоже перешла на коллективные. Психология там в этом году не читается, но объявлен общедоступный курс, читаемый Токарским в университете, причем коллективисткам большая скидка. Одним словом, вам, если вы хотите слушать лекции, нужно скорее приезжать. Нам придется устроиться вместе в одной комнате, иначе будет слишком дорого, в чем я убедился во время моих поисков квартиры для себя и для Леры Воллк-Ланевской. Леру я застал, приехавши, на квартире, уже больше недели переселившуюся туда от

Ляминых. Она наняла комнату у одного доктора по фамилии Шатуновского.[4] Через несколько дней по приезде я встречаю случайно на улице одного помощника присяжного поверенного, бывшего феодосийца,[5] хорошего знакомого Воллк-Ланевских, который просит меня сообщить мне ее адрес. Когда я ему сказал, что она живет на квартире д-ра Шатуновского, то он просил сейчас же передать ей, чтобы она немедленно перебиралась оттуда. Оказалось, что против этого доктора ведется в настоящее время несколько процессов по обвинению его в том, что он заражает своих пациентов благодаря своей неряшливости (он специалист по венерическим болезням), и сам этот присяж<ный> повер<енный> ведет против него дело одной женщины, которую тот прибил, заразил сифилисом и отнял 200 р. Фамилии пациентов этого доктора записываются в каждой аптеке и за его врачебной деятельностью строго следят. Разумеется, Лера в тот же день, как я рассказал ей это, перебралась оттуда. Теперь она живет уже на другой квартире, и вообразите — вместе с Зиночкой:[6] нужно ведь такое несчастное стечение обстоятельств. В отношении бесцеремонности эта Зиночка представляет что-то совсем необыкновенное. Она, напр<имер>, приехала и остановилась у Лёли. Прежде всего она попросила, можно ли ей прожить у нее месяц. Лёля сказала: нет. Тем не менее она поселилась и жила себе, вовсе и не думая искать квартиры, и совсем случайно, когда оказалось, что Лера нуждается в сожительнице, она навязалась к ней. Теперь она спрашивала у Лёли, может ли она у ней даром обедать, — Лёля отказала, тем не менее она продолжает ходить к ней обедать и при том подговаривается, чтобы Лера давала ей половину обеда, который она берет у своих хозяев. Потом Зиночка, когда только что поселилась с Лерой, стала говорить, что ей платить половину за квартиру (6 р.) очень дорого, что она не может и т.д. Но Лера пока еще крепится и не дает ей сесть себе на шею.

Лекции у меня уже начались — я их очень аккуратно посещаю, но систематически еще не начал заниматься. Целую Любу,[7] кланяюсь Пав<лу> Пав<ловичу>.[8] Если вы будете о приключениях Леры рассказывать Алек<сандре> Мих<айловне>,[9] то предупредите ее, чтобы она ни слова не

говорила родным Леры: та не хочет, чтоб это знали, а то они слишком беспокоиться будут. До свиданья.

Макс.

Бабушка вас целует, но не пишет, так как пишу я.

Сегодня утром в день бабушкиного рожденья мы получили Ваше письмо.[10] Мое письмо было написано уже 3 дня тому назад, но по случаю 2-х дней праздников[11] я не мог купить марок и отправить его. Теперь я его снова распечатываю, чтобы ответить на ваше. Вас, верно, удивит, что я все-таки в конце концов остался у бабушки, но, как я уже писал выше, мне трудно было найти сожителя на один месяц, а кроме того бабушку это очевидно очень уж огорчало. Теперь у нас отношения прекрасные, до сих пор не было еще ни одной размолвки, и мы, кажется, друг другом очень довольны. Миша[12] за свое пребывание в Киеве очень изменился, — и изменился к лучшему. Он стал больше и физически и нравственно. Вырос, избавился от веснушек посредством мази «метаморфоза», отпустил длинные волосы, которые причесывает вверх без пробора, что к нему идет, стал говорить каким-то невероятным дисканто-басом петушиного оттенка, в характере стал както выдержаннее, о Киеве говорит очень мало, вообще стал взрослее и даже кажется либеральнее; как это все вышло, уж право не знаю. У m-me Юнге я еще не был: вообще я никого еще не видал, кроме Ляминых, Глотовых[13] и Леры, даже не был еще у Жебунёвых[14] и Сокологорской[15] (не знаю, в Москве ли она). Теперь вот уж третий день как я стал заниматься — пока занимаюсь государственным правом. Пешковский только 2 дня тому назад нашел себе наконец квартиру и поселился окончатель<но> (и то в меблированных комнатах), а то он все время ночевал то у Ляминых, то у бабушки, то у какогонибудь студента, целые дни проводя в поисках и совсем измучился от отсутствия занятий. У Леры занятия начинаются только сегодня. Экзамен она выдержала прекрасно, но с некоторою странностью: ей сказали, что только через полгода можно будет определить, на какой курс она поступит, а пока ей придется заниматься в консерватории, не будучи ни на од-

ном курсе. Дня три тому назад я был у бывшего квартиросодержателя Леры — доктора Шатуновского и требовал от него, чтобы он возвратил уплаченные ему вперед ею деньги, и объяснял ему, что девушке никак невозможно жить на квартире такого человека, как он, с чем он, положим, не хотел согласиться. В сущности, я имел полное юридическое основание требовать возврата денег, так как он сдал Лерину комнату, за которую было уплачено вперед за месяц, на другой день после ее выезда, и еще в то время, когда Лера не взяла оттуда всех своих вещей, т.е. совершил самое открытое нарушение договора — сдал занятую еще комнату. Я ему все это объяснил, но непосредственного результата разговор мой не имел, так как он обещал через два дня дать ответ письменно, причем прибавил: «Ну во всяком случае до суда мы не дойдем», хотя я об суде ни слова не упоминал. Пока еще ответа от него не получено, и я завтра отправлюсь снова объясняться с ним. Интересно, выиграю ли я это мое первое юридическое дело. Я позабыл захватить с собою вашу «Ганнеле», так что не могу сейчас же прямо начать с ней действовать, — пришлите ее с Любой. Да, впрочем, вы ведь, вероятно, и сами приблизительно тогда же выедете, если хотите сериозно слушать курсы. Лекции начинаются уже на днях. Куда вы собираетесь опять с Любой? Не узнали ли вы, почему Алекс<андра> Мих<айловна> раздумала ехать на курсы? Приедет ли она на месяц в Москву? (что она думала сделать, если не поедет в Петербург). Ну до свиданья. Целую Любу, кланяюсь Пав<лу> Пав<ловичу> и Алек<сандре> Мих<айловне>.

Макс. Волошин.
15 сентября 1898 г. Москва.

[1] Волошин выехал в Москву из Крыма (вместе с Пешковским) 5 сентября 1898 г. (Труды и дни. С. 60).

[2] Подразумеваются женские образовательные курсы, предшествовавшие учреждению в 1900 г. Московских высших женских курсов (см.: *Шохоль К.Р.* Высшее женское образование в России (историко-юридический очерк). СПб., 1910. С. 59–69).

[3] Е.С. Лямина.

[4] Лейба Ноахович (Лев Николаевич) Шатуновский (1866–?) – вольнопрактикующий врач-венеролог, жил в доме Токмакова в Газетном переулке. В 1897 г. обвинен в шарлатанстве (см.: *Юшневский П.П.* Воспоминания судебного следователя по особо важным делам. 1897–1902 // РГБ, ф. 261, карт. 21, ед. хр. 12).

[5] Помощник присяжного поверенного – Ю.Э. Харлампиди. Ср. п. 46.

[6] Видимо, Зинаида Викентьевна Дуранте.

[7] Л.С. Лямина.

[8] П.П. Теш.

[9] А.М. Петрова.

[10] Н.Г. Глазер родилась 15 сентября (1823 г.). Письмо Е.О. – от 13 сентября 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 23–24).

[11] 14 сентября был праздник Воздвижения Креста Господня, неприсутственный день. 13 сентября – воскресенье.

[12] М.С. Лямин.

[13] Глотовы – Яков и его мать Екатерина Владимировна Глотова (1853–1924) (позднее содержала меблированные комнаты в Москве).

[14] См. примеч. 6 к п. 28.

[15] Кокологорская – видимо, Ольга Ивановна (у Волошина записан более поздний ее адрес в Симферополе).

45. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27 сентября 1898 г. Москва

Дорогая мама!

Сегодня бабушка получила Ваше письмо, из которого я, к удивлению, узнал, что вы не получили моего письма. Я писал Вам дней через пять по приезде, и это письмо было двойное,[1] так как я написал уже письмо, когда получилось письмо от Вас, – тогда я в ответ еще письмо написал и в тот же конверт вложил. Вы спрашиваете, как я устроился, – я остался у бабушки. Вы удивитесь, конечно, этому. Причины и соображения, заставившие меня не менять квартиры, были таковы: во-первых, бабушка, хотя старалась не выказывать и не высказывать этого, была чрезвычайно огорчена и обижена и даже очевидно представить себе не могла, как это я буду жить в Москве и не у нее, по крайней мере она все время в высшей

степени скептически относилась к моим поискам комнаты; во-вторых, найти комнату и сожителя на два месяца оказалось весьма трудно. Не знаю, как быть, когда Вы приедете в Москву. Я говорил бабушке, что останусь до Вашего приезда, а там мы поселимся отдельно вместе с Вами. Я приехал как раз вовремя: к самому началу лекций. Пока из обязательных лекций я аккуратно посещаю все, кроме римского и государственного права, которые читаются плохо, зато последним я очень усердно (действительно усердно) занимаюсь дома и прошел уже ¼ всего курса — только по другим и более подробным лекциям. Кроме того, я слушаю пять необязательных курсов. Дома я занимаюсь усердно — встаю рано, в 6½ —7 и сию же минуту сажусь за занятия до отхода в университет. Затем занимаюсь всё после обеда часов до 7-ми. Положим, последнее не так регулярно. Но за эти три часа утренних занятий массу успеваешь сделать. Я немедленно по приезде купил себе брошюру «Лень и ее лечение»,[2] и она на меня произвела просто магическое действие, утром я теперь чувствую просто потребность заниматься — ощущение, немного похожее на то, когда есть хочется. С бабушкой мы теперь живем душа в душу. У нас не было еще ни одной размолвки. Когда я занимаюсь, то в доме стоит полная тишина и бабушка даже через мою комнату не проходит. Одна только неприятность: дня три как приехала Анна Конс<тантиновна>[3] и сразу понесла такую околесину, что даже бабушка во время ее разговора, встретившись со мной случайно глазами, иронически мне улыбается. Вообще ее присутствие производит в воздухе грозовую атмосферу. Но она, кажется, скоро уедет, и дай то Бог, а то я чувствую, что мне придется нарушить то идиллическое согласие, которое царит между мной и бабушкой. Иногда сижу, слушаю и думаю: хорошо, что Вас нет, а то бы такая бы гроза грянула... Только что я получил от Алек<сандры> Мих<айловны> письмо, в котором она пишет, что Вы посылаете мне посылку через m-me Бурхановскую,[4] как это так вышло, что через нее именно? У Ляминых все по-прежнему. Собираются по субботам. Играют, поют, говорят, дерутся. Недавно даже было конное сражение: Миша[5] на Яше[6], Потапов[7] на мне. К прочей ком-

пании присоединилась теперь Лера[8]. Лёля[9] с Яшей поступили к нам в З<емлячест>во.[10] Лёля перешла на Коллективные курсы. Там лекции, между прочим, уж начались, так что Вам надо пораньше выезжать. Положим, Вы, я думаю, еще и не думаете об отъезде и не хотите менять Коктебель на московскую слякоть. Когда выезжает Люба?[11] Видите ли Вы Алекс<андру> Мих<айловну>? Гостила ли она еще в Коктебеле? Были ли Вы у нее? Получали ли Вы что-нибудь от Вяземских?[12] Я сообщил свой адрес и Любе[13] и Оресту Полиен<овичу> в Петерб<ург>, как обещал. Сам же ничего не получал. Пожалуйста, когда вы будете ехать, захватите с собой две мои книги: «Умственное развитие Европы» Дрепера[14] – она у Вас в комоде – и «Литературные течения XIX века» Г. Брандеса[15] – эта книга у Алек<сандры> Мих<айловны>. Я ей оставил на зиму ее, но вы извинитесь перед ней и попросите, так как она мне нужна для университет<ских> занятий. А если можно, то пришлите эти книги с Любой, если ее не затруднит это. До свиданья. Целую Любу. Кланяю<сь> Пав<лу> П<авловичу>[16] и Алек<сандре> Мих<айловне>, когда увидите.

Макс. Волошин.

27 сентяб<ря> 1898 г.
Москва.[17]

[1] Имеется в виду п. 44. Волошин приехал в Москву утром 8 сентября.

[2] «Лень и ее лечение» – брошюра Мориса Флёри (Перевод Н. А. М., 1898. 56 с.); сохранилась в библиотеке Волошина в Коктебеле.

[3] Анна Константиновна Лямина, сестра С.К. Лямина.

[4] Бурхановская – феодосийка. Упоминаемое письмо А.М. Петровой в подборке ее писем к Волошину за 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951) отсутствует.

[5] М.С. Лямин.

[6] Я.А. Глотов.

[7] Константин Михайлович Потапов (1875–?) – сын подпоручика Кубанской казачьей области. В 1896 г. окончил ставропольскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета.

[8] В.А. Воллк-Ланевская.

[9] Е.С. Лямина.

[10] Крымское землячество. Землячества в тот период были официально запрещены — и Волошин конспирируется. Циркуляр Министерства народного просвещения от 21 января 1897 г. предписывал брать со студентов подписку «о неприятии ими участия ни в каких сообществах, как, например, землячествах и т.п.» — под угрозой «увольнения из заведения» (*Орлов В.Н.* Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934. С. 225).

[11] Л.С. Лямина.

[12] Вяземские — семья Ореста Полиеновича Вяземского (1839—1910), инженера путей сообщения, тайного советника, строителя многих железных дорог в России. Вместе с его детьми Волошин воспитывался в детстве.

[13] Л.О. Вяземская, дочь О.П. Вяземского.

[14] Труд Джона Вильяма Дрепера «История умственного развития Европы» (изд. 4-е. СПб.: О.И. Бакст, 1885) в двух томах; сохранился в библиотеке Волошина в Коктебеле.

[15] Труд Георга Брандеса «Литература XIX века в ее главных течениях. Французская литература» (СПб., 1895). В 1898 г. вышел в свет следующий том из этого цикла Брандеса — «Английская литература», в 1900 г. — «Немецкая литература». Все три книги Брандеса сохранились в волошинской библиотеке; первая имеет помету: «Из книг М. Кириенко-Волошина».

[16] П.П. Теш.

[17] Далее — приписка Н.Г. Глазер.

46. А.М. ПЕТРОВОЙ

28—29 сентября 1898 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Простите, что так долго не писал: сперва устраивался, а потом московская жизнь успела затянуть. Теперь все уже вошло в колею и идет обычным порядком. Лекции читаются, я занимаюсь... Да! вообразите, как это ни странно, я занимаюсь и занимаюсь в полном смысле этого слова. Видите ли — прежде всего, приехавши в Москву, я купил известную брошюру: «Лень и ее лечение»,[1] и одного ее прочтения и присутствия на моем столе оказалось вполне достаточным, чтобы я стал вставать в 6½ ч<асов> утр<а> и занимался бы весьма усердно по

10 часов, т.е. до университета. И замечательно: за эти 3 часа занятий утром успеваешь сделать такую массу, которую вечером и в 6 часов не сделаешь. Но это, в сущности, не важно. А вот важно то, почему вы раздумали ехать в Петербург. Уехавши так быстро и так неожиданно, я не успел Вас расспросить и узнать толком, что такое приключилось во время моего отсутствия с Вами? Положим, случилось то, чего я все время ожидал и боялся: вы совсем собрались и потом вдруг, Бог знает почему, решили остаться. Если у Вас действительно были глубокие и уважительные причины, то страшно жаль, а если это случилось не благодаря какому-нибудь ранее не ожиданному факту, а благодаря каким-нибудь новым «психологическим тонкостям», то это право нехорошо, даже возмутительно. Ведь время-то уходит, Алекс<андра> Мих<айловна>! А Вам ведь нужно вырваться из этой проклятой, душной дыры и скорее, скорее. Приехавши теперь в Москву, я еще с большей яркостью, чем раньше, постиг феодосийскую духоту. На меня словно воздухом свежим пахнуло: точно на берегу моря стоишь. Чувствуешь кругом трепет и кипенье настоящей жизни, «находишься au courant* всех современных событий», как любил нам говорить Чураев, знаешь все, что творится кругом, даже и то, что «не полагается знать». Нет, уезжайте из Феодосии. Помните — вы ведь говорили, что в случае, если Вы не поедете в Петербург, то вы приедете на месяц или на два в Москву. Так Вы хоть этот-то план исполните.

На этом слове я оборвал вчера свое письмо, а сегодня вот только что Вашу открытку получил.[2] Первое впечатление была радость, второе — стыд, за то, что еще не отправил письма, а третье — когда прочел до конца, сперва недоумение, а потом озлобление даже. Право, я, как Пешковский, сжал в бешенстве кулаки и закричал: «Опять эта таинственность!!» Ну скажите, пожалуйста, ну что обозначает эта Ваша фраза заключительная: «До свиданья в будущей жизни». При смерти ли Вы лежите? утопиться ли собираетесь? в Асхабад ли едете? Или в Петербург? Замуж, что ли, выходите? Ну вот пойдите разберите, что сия самая фраза обозначать должна. Понимае-

* В курсе, на уровне (*фр.*).

мая в буквальном смысле, она скорее всего может обозначать, что по приезде в Феодосию в живых меня уж не застанете. Вы говорите, что о себе ни слова не напишете – и не стыдно Вам? Ну что бы Вам стоило написать, что вы теперь делаете и намерены зимою делать. Неужели в наших отношениях столько церемоний, что Вы не хотели первая двух слов приписать к деловому письму. Если бы приписали, то это и на меня бы практическое воздействие имело бы. А то как я прочел, что вы о себе писать не хотите, так у меня всякий стыд, испытанный при получении письма, исчез. Но довольно. Простите за молчание и спасибо за сообщения. Как же это только мамина посылка к Елене Григор<ьевне> попала? Вам, конечно, интересно, что делает Лера.[3] Постараюсь с наибольшей полнотой познакомить Вас с ее обстановкой, но предупреждаю, что Лера просит, чтобы некоторые факты не дошли до сведения никого из ее родственников, дабы они не беспокоились. Положим, факты-то пустячные, но, тем не менее, это ее желание. Приехавши, она остановилась у Ляминых, и после долгих поисков они вместе с Лёлей[4] нашли еле-еле комнату у одного доктора. Комната была темная, и хозяева Лёле не понравились, но, тем не менее, Лера решила занять комнату, так как лучшего ничего не представлялось, а оставаться у Лёли она стеснялась. На этой квартире я и застал ее. Дня через два по приезде я столкнулся на бульваре с Юрой Харлампиди,[5] он начал меня расспрашивать о Лере и где она живет, и когда я назвал ему фамилию ее квартиросодержателя, то он совсем был поражен и стал говорить мне, чтобы я уговорил ее немедленно переехать оттуда. Оказалось, что против этого господина в настоящее время ведется несколько процессов, из которых один ведет Юра, что за его медицинской практикой установлен надзор, что он обобрал и прибил какую-то женщину, что это «какой-то мелодраматический злодей в полном смысле слова», что он... и т.д. Ну, конечно, я сейчас же отправился к Лере, и она в тот же день снова переехала к Ляминым, а на другой день нашла себе комнату, где поселилась вдвоем с одной курсисткой. Вот этого-то эпизода именно Лера и просит не передавать. Теперь она живет в симпатичной, но довольно

шумной семье, где кроме нее живет еще одна филармонистка, одна курсистка и один студент. А семья состоит из хозяйки-бабушки, двух дочерей, из которых одна опереточная примадонна, и пятилетнего внучка, сына примадонны, который обнаруживает задатки будущего певца и по целым дням поет: «Смейся, паяц!»[6] Словом, звуков кругом много, даже, пожалуй, слишком. Что касается ее сожительницы-курсистки, то она мне не нравится: она с ней познакомилась у Ляминых, и я знаю ее еще с прошлого года. Отличительные черты ее характера – бесцеремонность и страстное желание обратить на себя внимание; но Лера умеет держать ее в должных пределах по отношению к себе и исполняет это с искусством, какого я от нее не ожидал. Живут они мирно и спокойно. У Леры теперь довольно много знакомых. Я вижусь с ней каждый день, и она почти каждый день бывает у Ляминых, с которыми живет совсем рядом. У ней бывают Алексеев,[7] Рогулин, Юра Харлампиди. Софи Мурзаева, которую она все ждет, еще не приехала и ожидается в начале октября. Вчера я ее познакомил еще с Жебунёвыми (помните, я Вам много говорил об этом семействе), где ей очень понравилось. Об ее дебюте в консерватории вы уже наверно знаете. Учителем своим она довольна, но находит его слишком педантичным. Ей приходится всего только два раза в неделю бывать в консерватории. После второго урока она вернулась в отчаянии совсем и говорила, что она, если так будет продолжаться, перейдет после Рождества в филармонию. Дело в том, что учитель ее, найдя в постановке ее рук (напряженное состояние локтей) неправильность, велел ей играть упражнения, которые она заставляла играть самых младших своих учениц. Но на следующий раз она пришла успокоенной, потому что он сказал, что эти упражнения скоро кончатся. (Все это тоже не должно быть известно ее родным.) Учитель ее (он совсем молодой, по фамилии Ярошевский) все удивляется ее способностям и постоянно говорит: «Как это Вы сами дошли до этого?!», не желая понять, как говорит Лера, что она получила основательную подготовку.

Вчера мы с Лерой встречали m-me Бурхановскую, с ней ехала еще Вещицкая[8] и Е. Мих. Недоноскова[9] с 2-мя Грамма-

тиковыми.[10] Кроме того, с этим поездом же ехала (по крайней мере, должна была приехать) Катя Деларю, но я ее в толкотне не видал. Когда я по дороге в Москву был у Кржижевского[11] (который теперь представляет из себя очень нежного супруга и ходит по утрам с женой на базар), я встретил мельком в магазине Тусю Аренд.[12] Но успел с ней только несколькими словами обменяться.

Ну, теперь закончу письмо, так как надо его, наконец, отправить, а я в университет спешу. Вам поклон от всех знакомых. Сашу[13] еще не видел и не успел ему передать Вашей обиды – он все занят. До свиданья.

Макс. Волошин.

P.S. Если Вы мне писать не будете, как обещали, то я тоже обижусь и тоже не буду писать. Во всяком случае, со страстным нетерпением жду письма Вашего. Я остался у бабушки, так что вы мне по тому же адресу пишите. Кланяюсь всем.

М. В.

29 сент<ября> 1898 г. Москва.

[1] См. примеч. 2 к п. 45.

[2] Эта открытка в подборке писем Петровой к Волошину за 1898 г. отсутствует.

[3] Елена Григорьевна – неустановленное лицо. Лера – В.А. Воллк-Ланевская.

[4] Е.С. Лямина.

[5] Юрий Элевтерьевич Харлампиди (ок. 1866–1908) – феодосиец, в 1898 г. кончил Московский университет, присяжный поверенный.

[6] Ария Канио, хозяина труппы странствующих комедиантов, в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцы» (1892).

[7] Алексеев – сын феодосийского врача Ф.К. Алексеева, в 1898 г. – студент.

[8] Антонина Ивановна Вещицкая – феодосийка (с 1910 г. – надзирательница женской гимназии Гергилевич).

[9] Елизавета Михайловна Недоноскова – надзирательница феодосийской женской гимназии (с 1888 г.).

[10] Одно из упоминаемых лиц – Софья Николаевна Грамматикова, попечительница женской гимназии.

[11] Г.Д. Кржижевский в 1898 г. жил в Симферополе.

[12] Ариадна Николаевна Арендт (по мужу Латри, 1876–1940-е) – певица.

[13] А.М. Пешковский.

47. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 1 октября 1898 г. Москва

Дорогая мама!

Только что получил Ваше письмо.[1] Ну об себе мало что могу написать. У нас продолжает обитать Анна Константиновна (я вам писал уже о ее приезде),[2] что довольно плохо отражается на моих занятиях, так как мешает бесконечное журчанье, и вообще я стараюсь по возможности меньше бывать в ее присутствии. Положим, она, к моему величайшему удовольствию, уже собирается уезжать и завтра или послезавтра верно исчезнет. (Между прочим, она, узнав о Кизильташе и убийстве игумена, решила, что его не татары убили, а жиды).[3] История с доктором Шатуновским[4] так ничем и не кончилась: после вышеописанного разговора я был у него два раза и он меня не принял; тогда я ему написал письмо с обещанием обратиться за разрешением спора к третьему лицу, облеченному юридической властью, если он к назначенному сроку не даст никакого ответа. Теперь срок прошел, а ответа нет, между тем Лера[5] к третьему лицу обращаться не хочет, так что, вероятно, это дело так и останется, хотя я еще употреблю усилия уговорить Леру подать к мировому. С Зиночкой[6] Лера живет мирно и держит ее довольно строго, требуя, чтобы она предварительно выкладывала половину денег на каждый общий расход; только две вещи раздражают Леру: это ее постоянное нытье, которое доходит до размеров ужасающих, когда появляется какое-нибудь новое лицо мужского пола, да еще и то обстоятельство, что она целый день ровно ничего не делает и только сидит перед зеркалом и созерцает свою физиономию. Недавно я познакомил Леру

с Жебунёвыми, которые ей очень понравились. Лёля очень усердно посещает курсы и почти не бывает дома. Пешковского не вижу по целым неделям, тоже занимается вовсю. Словом, всё по-старому.

Чего это вдруг Оле Фридерикс вздумалось поступать в VIII класс гимназии?[7] Ведь она хотела ехать в Петербург на зиму. Разве положение Веры так плохо? Я думал, что, напротив, ей у Маркс как у хороших знакомых будет очень хорошо. Скоро ли она едет с ними в Тифлис?[8] И окончательно ли она решилась уже на это? Долго ли гостила Алекс<андра> Мих<айловна> в Коктебеле? То, что Вы пишете относительно тех денег, которые она была мне должна, это Вы совершенно правы.[9] Я и сам думал об этом еще до получения Вашего письма. Но в тот день, когда я уезжал из Крыма, было столько суеты и хлопотни, что у меня все эти сообщения вылетели из головы и я совсем не знаю, как мне теперь быть с этим: она наверно обидится — начни я теперь с ней письменно разговор о расчете. Да! наволочки я получил, а предварительно получил еще открытку от Алекс<андры> Мих<айловны>, сообщавшую мне кратко об их прибытии и кончавшуюся загадочной фразой: «До свидания в будущей жизни».[10] Что она, помирать, что ли, собирается? Вы не знаете? Что, имела ли Люба[11] известия от Анны Николаевны?[12] Где она теперь? Какой ее адрес? Я ей писал, но ответа еще не получил. Как настроение Пав<ла> Пав<ловича>?[13] Как идут его разговоры с «его кухаркой»? Да вот один факт из моей жизни еще: мне предлагали читать курс лекций по русской литературе для рабочих при обществе распространения технических знаний,[14] но потом оказалось, что студентам это запрещено. Ну до свиданья. Целую Любу. Кланяюсь Пав<лу> <Пав<ловичу>, Алекс<андре> Мих<айловне> и всем знакомым, которых увидите. Получила ли Алекс<андра> Мих<айловна> письмо от меня?[15]

Макс. Волошин.

P.S. Видели ли вы m-me Юнге?[16] Скоро ли она едет в Москву? Была ли она у Вас? Бабушка и Анна Конс<тантиновна> целуют Вас и Любу. «Ганнеле» я получил.[17] Пойду с ней к Гольцеву.[18]

[1] Письмо Е.О. от 26 сентября 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 29–32 об.).

[2] См. п. 45.

[3] Речь идет о Кизилташском Свято-Стефано-Сурожском монастыре в горах Восточного Крыма (основан в 1851 г.) и его игумене Парфении, убитом и сожженном на костре в 1860 г. В убийстве обвинили трех татар, которых приговорили к повешению; процесс наделал много шуму, но был, по-видимому, сфабрикован, в результате чего казнили невиновных. См. роман-хронику А. Дермана «Дело об игумене Парфении» (М., 1941).

[4] См. п. 44.

[5] В.А. Воллк-Ланевская.

[6] См. п. 44, примеч. 6.

[7] Ольга Владимировна Фредерикс. Волошин посвятил ей стихотворение, датированное 12 сентября 1896 г. (т. 2 наст. изд. С. 335). О ее поступлении в VIII класс гимназии Е.О. сообщала в письме от 26 сентября. В архиве Волошина сохранились 4 письма О.В. Фредерикс к нему (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1236).

[8] Вера Нич, подруга О. Фредерикс, по-видимому, отдыхала в имении Аделаиды Валерьевны Маркс в приморских Отузах. Ее муж Н.А. Маркс служил (с 1888 г.) в штабе Кавказского военного округа в Тифлисе.

[9] А.М. Петрова. 26 сентября Е.О. писала Волошину: «...напрасно ты взял 16 руб., которые тебе была должна Ал<ександра> Мих<айловна>, ведь ты ей ничего не заплатил за то, что постоянно там останавливался и обедал».

[10] См. примеч. 2 к п. 46.

[11] Л.С. Лямина.

[12] По-видимому, Анна Николаевна Малиновская – феодосийка, весной 1898 г. общавшаяся с Волошиным, Л. Ляминой и Пешковским в Ялте (см. ее письма к Волошину: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 813).

[13] П.П. Теш.

[14] Московское общество распространения технических знаний было основано в 1869 г.; его деятельность характеризуется в кн.: *Грузинский А.Е.* Тридцать лет жизни Учебного отдела Общества распространения технических знаний. М., 1902.

[15] Имеется в виду п. 46.

[16] Е.Ф. Юнге.

Заказ № 5706

[17] Подразумевается рукопись перевода пьесы Г. Гауптмана, выполненного Е.О. Кириенко-Волошиной (см. примеч. 2 к п. 34).

[18] Волошин познакомился с В.А. Гольцевым через студента Михаила Вуколовича Лаврова, сына издателя «Русской Мысли» В.М. Лаврова.

48. А.М. ПЕТРОВОЙ

3 октября 1898 г. Москва[1]

Дорогая Александра Михайловна! Посылаю Вам иллюстрацию к процессу Золя, изображающую Пати де Клама в роли дамы под вуалью.[2] Получили Вы мое письмо?[3] Пишите. Кланяюсь всем и Вам кланяются все.

Макс. Волошин.

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка; получена в Феодосии 6 октября 1898 г.

[2] Подполковник Дюпати де Клам – начальник французской контрразведки, инициатор преследования А. Дрейфуса. На открытке рисунок «Des Räthsels Lösung» («Решение загадки», *нем.*) с надписью: «Affaire Zola – Esterhazy. Die verschleierte Dame! № 4» («Дело Золя – Эстергази. Замаскированная дама!», *фр.*, *нем.*); изображен человек в мундире, надевающий в дамском будуаре женскую юбку.

[3] Имеется в виду п. 46.

49. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14 октября 1898 г. Москва

14 октября 1898 г. Москва

Дорогая мама!

Вероятно, это будет уж мое последнее письмо, если Вы, как пишет Люба,[1] выедете 21-го. Уроков и вообще какихнибудь занятий я себе еще не нашел и завтра думаю публиковаться (вероятно, теперь-то уж гимназисты успели двоек наполучать). Безоблачность моих отношений с бабушкой немного стала нарушаться за последние дни, положим, очень

незначительно. Видите ли – Яша,[2] в качестве члена общества покровительства животным, которым он теперь состоит, возбудил судебное преследование против одного из обитателей дома Колпаковой,[3] за то, что тот, поймав крысу, облил ее керосином, повесил ее живую за хвост и зажег, свидетельницей чего была Лёля.[4] Дело поступило на разбирательство к мировому судье, и в числе других свидетелей была вызвана и Лёля. Обвиняемый был оправдан за сбивчивостью показаний, так как одна Лёля показывала то, что было, а остальные свидетели отказывались от того, что они видели. Жаль, что я не был сам на разбирательстве дела: было чрезвычайно любопытно: публика была вся возмущена этим делом. Швейцар у мирового судьи громогласно объявил, что он тридцать лет уже служит и ни разу еще ему не случалось видеть такого дела, и демонстративно заявлял публике, что он «вот этими самыми руками на своем веку тридцать котят утопил». Хозяин г-н Колпаков, вызванный свидетелем, рассказывал, как его дети летом били ужей, а сам обвиняемый с негодованием заявлял: «Что ж? Если барышня эту крысу так любит – пусть берет и кормит ее!» Ну так вот бабушка была этим делом чрезвычайно недовольна и находила, что Лёле совсем не идет как барышне ходить к мировому, быть свидетельницей и т.д. Даже Саша (Лямин)[5] возмутился делом о крысе и за обедом доказывал Яше, что с крысами так и следует обращаться (т.е. жечь и обваривать), что он – Яша – ничего в крысьем деле не понимает; а на замечание, что крысе ведь больно, так же как и человеку, сказал, что это совершенно ложный взгляд, так как «у человека есть душа, а у крысы души нет», на что, конечно, никто из присутствовавших ничего не нашелся ответить, даже Мишу[6] эта фраза очевидно ошеломила, и он вечером того дня спрашивал меня, как это у людей создалось понятие о Боге и кто это выдумал троичность Бога? Кроме этого бабушка была возмущена также тем, что мы с Яшей на днях сами перетаскивали на себе от Ляминых к Яше шкап. Действительно, шествие было очень торжественное: градовые иронически делали нам под козырек и лучезарно улыбались; публика высовывалась из конок; извозчики придерживали лошадей и кричали дру-

гим: «Тише ты! – видишь, сами господа несут», а другие замечали: «То-то нынче лошади дешевы стали, что студенты всё на себе носят»; почтенные дамы заговаривали с нами; курсистки кричали: «Бог на помощь!»; мальчишки спрашивали: «Это с чем же он?» и т.д. Это удивительно, собственно говоря, как такая совершенно обыкновенная вещь – переноска шкапа – может возбуждать такое сверхъестественное удивление, если ее совершают не рабочие, а студенты!

И вот оба эти эпизода в совокупности вызвали бурю негодования со стороны бабушки. Приходила, видите ли, к Устинье ляминская Аграфена и рассказывала, что у них в доме такое делается (это наша возня с Яшей), что если бы она не знала Устиньи и ее барыни, то она Бог знает что бы о Лёле подумала: разве след барышне да к мировому ходить? Да еще из-за крысы какой-то? Вон у нас на дворе теперь как крыс бьют, да еще и говорят, что ж это барышня-то за них не заступается? А хозяин-то говорит, что жаль только, что контракт у них годовой, а то бы держать на квартире не стал и т.д. Словом, Аграфена совсем шокирована и не будь она знакома с Устиньей, так уж и неизвестно, какого бы она была мнения о Лёле. Сегодня утром мне бабушка часа полтора по этому поводу филиппику читала, да еще в этом и Устинья принимала участие, уверяя, что крыс иначе и убить нельзя, как обваривши живых кипятком. Кроме того, и Сер<гей> Конс<тантинович>[7] еще во время своего пребывания в Москве рассказывал бабушке, как Агаша, приехавши в Киев, рассказала ему, что делается в Москве, что барышню студенты за ноги таскают (sic!!!), что она им на плечи становится (?) и т.д. Теперь бабушка собирается все это Лёле выложить, когда увидит ее. Хоть бы вы поскорей приехали и урезонили как-нибудь бабушку, а то у Лёли и без того, когда я ее дня два назад видел, такой вид был, что казалось, вот-вот расплачется. А что с ней, она, разумеется, не говорит ни слова. Лёлю я во всяком случае обо всех этих сплетнях предупрежу (я тут их всех и половины не перечислил). Удивительно странные понятия и мнения бывают иногда у людей!!

Был я с Вашей «Ганнеле» у Гольцева[8]: он мне посоветовал или обратиться в какой-нибудь журнал переводной

литературы, напр<имер> в «Новый вестник иностранной литерат<уры>»,[9] либо к какому-нибудь издателю, напр<имер> к фирме «Книжное дело», что я и сделал. Представитель ее — г-н Байков[10] сказал мне, что это зависит не от него лично, а от общего совета издателей, которые соберутся недели через две; что вообще они мало издают поэтических произведений, а больше занимаются изданием научных книг, но что кое-что все-таки было ими издано, так что, может быть, они и примут, во всяком случае попросил недели через две представить рукопись. Относительно гонорара, когда он стал говорить о том, что при издании поэтическ<их> произведений им часто приходится издавать себе в убыток благодаря высокому гонорару, я ему сказал, что Вы, конечно, за особенно высокий гонор<ар> стоять не будете. Он спросил, что, может, вы удовлетворитесь, просто получив известное количество экземпляров (150–200)? Я же сказал, что тогда им будет удобнее определить гонорар в виде известного процента с дохода, что будет вполне безобидно и для них, и для Вас. Он с этим согласился, и с этим мы расстались. Очень симпатичный еще совсем молодой человек: я с ним не раз разговаривал и раньше, заходя в магазин, только совсем не знал, что это и есть сам хозяин магазина. Мне ужасно досадно, что я не захватил с собою или не попросил вас раньше прислать немецкого текста «Ганнеле», потому что ведь мне теперь придется перевести стихотворные части, еще не переведенные. Так что Вы или вышлите, или сами не позабудьте привезти. В новом театре «Общедоступном», преобразованном из прежнего общества искусства и литературы,[11] в этом году идет «Ганнеле»,[12] и я уже предварительно записался на билеты, так что, может быть, вы, приехавши в Москву, прямо на «Ганнеле» попадете. От их постановки можно ждать всего лучшего. Ну а пока до скорого свиданья. Целую Любу, кланяюсь Пав<лу> П<авловичу>.[13] Бабушка вам писать теперь не будет и просит передать, что относительно шаровар она остается при прежнем мнении.[14] Что наша группа, снятая гимназистом?[15] и что обещанные им коктеб<ельские> виды? Где теперь m-me Юнге?[16]

Макс.

[1] Л.С. Лямина; приехала в Москву вместе с Е.О. около 27 октября (Труды и дни. С. 62).

[2] Я.А. Глотов.

[3] Анна Ивановна Колпакова — жена коллежского секретаря, владелица дома № 8 в Гранатном переулке.

[4] Е.С. Лямина.

[5] Александр Сергеевич Лямин (1871—?) — старший сын С.К. и Е.О. Ляминых; окончил гимназию Л.И. Поливанова в 1892 г. и поступил на юридический факультет Московского университета.

[6] М.С. Лямин.

[7] С.К. Лямин.

[8] См. п. 47, примеч. 17, 18.

[9] Имеется в виду журнал «Новости иностранной литературы» (М., 1890—1899) или «Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки» (с июля 1897 по 1909 г.).

[10] «Книжное дело» — книготорговая и издательская фирма Дмитрия Васильевича Байкова (?—1905), одного из учредителей Русского библиографического общества при Московском университете (с 1889 г.) на Моховой, в доме Бенкендорф.

[11] Московский Художественный Общедоступный театр возник из объединения руководимого К.С. Станиславским Общества искусства и литературы с драматическим отделением Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. Открытие театра состоялось 14 октября 1898 г. постановкой трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», в помещении театра «Эрмитаж» в Каретном ряду.

[12] Генеральная репетиция пьесы «Ганнеле» Гауптмана состоялась в Московском Художественном театре 27 октября 1898 г. Постановка была запрещена по требованию московского митрополита. См.: *Виноградская И.* Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись. Т. 1. М., 1971. С. 250.

[13] П.П. Теш.

[14] Е.О. любила одеваться по-мужски. 26 сентября 1898 г. она писала сыну: «Мы с Любой ходили в своих обычных костюмах, т.е. шароварах, которые просто производили ошеломляющее впечатление на культурных людей: всадники останавливались, как очарованные, едущие в колясках напряженно оборачивались с стремлением выскочить из экипажа, работы вдоль шоссе приостанавливались» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 30).

[15] Видимо, речь идет о групповом фотоснимке Волошина, Е.О., Петровой, Теша и Л. Ляминой, сделанном в Коктебеле летом 1897 г.

[16] Е.Ф. Юнге.

50. А.М. ПЕТРОВОЙ

14–15 октября 1898 г. Москва

Бесценное мое сокровище, Александра Михайловна! (Мы, кажется, с Вами именно в *таких* отношениях).[1] Я почему-то был раньше лучшего мнения о твердости Вашего характера, но теперь, к моему величайшему удовольствию, убедился в том, что, хотя, может быть, Плюшкин и устоит против «душеспасительного слова» (см. «Мерт<вые> души»),[2] но что Александра Михайловна против нежного эпитета и карточки с изображением Пати-дю-Клама[3] ни за что не устоит и непременно письмо напишет. Во всяком случае, это Вам делает честь, а мне большое удовольствие. Бедная, бедная Санька! Вы, значит, и в Москву... «Максимилиан Александ<рович>!!! мы с Вами, кажется...» Ну, не буду, не буду. А только почему же Вам не приехать в Москву до Рождества, а там бы к приезду Мих<аила> Митроф<ановича>[4] как раз и вернулись бы в распроклятую Феодосию. Право? Если денежных препятствий у Вас нет, то так бы вместе с мамой да с Любой[5] и махнули бы. Вы, может быть, с насморком боитесь расстаться – так это вы не беспокойтесь, у нас этого добра в изобилии. У меня в настоящую минуту так из носу и течет, так что только отворачиваться приходится, чтобы на письмо не попало. Также и насчет зубной боли и кашля, если Вы по ним соскучитесь – это тоже можно. А грязи-то, грязи-то... Ну, чистая Феодосия. Так что приезжайте, Алекс<андра> Михайловна!

Относительно занятий моих не беспокойтесь: я почему-то удивительно прилежен стал (Вашими молитвами, вероятно): за это время половину государственного права, да ⅔ финансового отхватил, да еще и по источникам малость подчитываю. Словом, как посмотрю на себя (в зеркало), так и удивлюсь. Даже поэзией занимаюсь: «Девятнадцатый век» пишу и совсем сызнова:[6] в конце письма припишу, что написал. Сашу я, конечно, воспользуюсь случаем расцеловать, только когда этот случай представится, право, не знаю. Я его вижу теперь не больше чем раз в неделю, а в настоящую минуту даже, где он живет, не знаю. Он теперь окончательно погрузился в химию и занимается по целым дням в химической, так что того и гляди – не то переворот в науке произведет, не то ла-

бораторию на воздух взорвет. Ему бы вот теорией взрывчатых веществ заняться: наверно бы много нового открыл, он и так тем отличается, что в его руках самые ангельски-кроткие вещества, о взрывчатости которых еще ни один химик в мире и не помышлял, производят оглушительные взрывы. И удивительно, в сущности, везет ему: ни разу его еще не убило. У Ляминых он теперь не обедает, а пойти к нему в химическую как-то жутко: оторвешь его от работы, а он по рассеянности... Нет, уж лучше подожду более благоприятного случая.

Что касается Леры,[7] то я ее каждый день вижу: то у Ляминых, то к ней забегаю. Я Вам, кажется, писал, что она была одно время в отчаяньи, что учитель ее засадил играть какие-то легенькие экзерсисы, но теперь он ей уже дал какую-то пьесу Машковского,[8] сделав, таким образом, колоссальный прыжок, и велел купить Баха. По-прежнему он все поражается ее способностями и говорит: «Как это вы сами до этого дошли?» И начинает к ней чувствовать такое почтение, что провожает ее из класса до дверей консерватории. Она бывает в театре: опера ей не понравилась, а от Малого театра она в восторге. Скоро вот мы с ней пойдем смотреть «Потонувший колокол» и «Ганнеле», которые тут будут ставиться в одном частном театре – помните, я вам рассказывал и писал об нем.[9] Ну, а теперь я пойду в университет – пора. Письмо буду вечером продолжать.

А я заходил-таки в химическую, но Саши[10] не нашел, рабочие стену починяют. Неужели... Встречаю его потом на дворе. Бежит. «Саша! постой. Где ты живешь теперь?» – А? Где живу? Ах да! В Палашевском переулке, дом... дом Тихомирова. Только вот квартиры не помню, там мастерская какая-то модная... И понимаешь, какая странность: я эту комнату вечером нанимал, так что темно было... ну и переехал тоже вечером. А вчера просыпаюсь – темно. Рано еще, очевидно. Смотрю на часы... Нет! Уже пора в университет. Иду – на улице светло. И ты знаешь: оказывается, что у меня комната совсем темная и окно в коридор выходит...» – «!!!!!??!!» – «Ну что же, разве это рассеянность? Ведь я же вечером смотрел, ну и думал, что окно на улицу». – Ну а мебель какая у тебя? Сколько стульев? – «Стульев? Не-е-е пом-ню. Когда я нанимал, кажется, ни

одного не было. Ну да это, поставят, вероятно. Только тоже вот странно: умывальника нет»... И это вот всегда у него с квартирами. Раньше он поселился, было, в меблированных комнатах. Заходишь к нему вечером часов в девять. «А! Ах, ты прости, пожалуйста, что такой беспорядок — это еще убрать не успели». Ну и куда ж тут от него требовать, чтобы он еще адрес свой сообщал!

15 октяб<ря>.

Был вчера вечером у Леры. Ее очень поразило известие о смерти матери Н. Асприц.[11] Она, значит, уж совсем нет приедет в Москву? Застал у Леры Юру Харлампиди; он очень расстроен и уверяет, что один студент хочет его убить (из ревности) и ищет его по всей Москве «вот с таким ножом» (приблизительно аршина в 2 длины). Но что ему это уж надоело, что он и сам теперь хочет с ним встретиться и «собственными руками его в порошок обратить». Вы себе представьте его только в этот момент!! Лера своим учителем теперь совсем довольна и говорит, что у ней за эти несколько дней невообразимое количество техники прибавилось. Довольно часто приходится теперь видеть у нее Алексеева и Рогулина, общество которых наводит тоску невообразимую (и на Леру тоже, кажется). От них так и разит Феодосией просто до тошноты.

В театре я был за все это время (с приезда) всего только два раза. Раз в «Новом» (императорском, где выступают все молодые силы) на «Термидоре» Сарду.[12] Очень трескучая пьеса из эпохи Великой Революции (день свержения Робеспьера 10 термидора); масса мелодраматических мест и тр-р-рагических моноло<го>в. В общем, интересна, пожалуй, только одна сцена: заседание Конвента, где масса прекрасных исторических гримов. А в общем слабо. Жаль актеров, которым приходится играть такие пьесы, для которых нельзя употреблять другой мимики, кроме закатывания глаз, выпучивания белков и прижимания рук к сердцу. Потом был в «Малом» на новой пьесе Потапенко «Волшебная сказка».[13] Пьеса очень хороша и значительно лучше, чем можно заключить по газетным отзывам об ней. Театральных эффектов совсем нет, но некоторые сцены так и не выходят из головы. Ну, положим, и игра же! Теперь вот собираюсь ходить почаще в «Общедоступный».

У меня уже есть билеты на «Ганнеле», «Потонувш<ий> колокол», «Шейлока» и «Чайку» Чехова и для себя, и для Леры. Посмотрю – напишу отчет.[14]

Да, Алекс<андра> Мих<айловна>! пожалуйста – если Вам не нужно, – т.е. если вы успеете прочесть Брандеса,[15] то пришлите мне его, пожалуйста, с мамой, а то мне, оказывается, его нужно как пособие к лекциям Веселовского по «Истории западн<ой> литер<атуры> XIX в.», особенно им рекомендованное для своих слушателей. Вот прекрасно читает! Право, я его, кажется, с наибольшим удовольствием слушаю. Вообще слушаю теперь массу в высшей степени интересных посторонних курсов, напр<имер> «Историю Франции XIX в.» Фортунатова, «Историю политических учений XVIII и XIX в.» Виппера (он будет читать этот же курс публично, и Лера хочет на него записаться), «Развитие научного мировоззрения» Иванцова и т.д.

Ну, пора кончать, однако. Теперь стихи. Интересно, будете ли Вы так же ругаться, как в прошлый раз. Многое Вам покажется уже знакомым, так как много стихов из первого варьянта удержано. Ну, слушайте. (Вы, кажется, издалека всегда добрее бываете):

XIX век

Его отец был гордый, умный
Старик. Вполне аристократ,
Любивший образ жизни шумный
И дрессированных солдат.
Любивший роскошь и почет,
Игру ума и блеск острот,
Искусство, знанье и свободу,
Но не дававший их народу.
Его считали атеистом,
Но атеистом не был он:
Философ, скептик и масон,
И сказку первую (едва ли
Ее тогда он понимал)
Ему сам Гёте рассказал.

II

Он жизнь свою окончил крахом*
Подобно многим из людей
И разлетелись, пали прахом**
Обломки царственных затей.
Необычайные явленья,
Отца согнавшие во гроб,
Ребенка слабого рожденье
Сопровождали. Гороскоп
Руссо с Вольтером составляли,
Им Кант немного помогал,
И Шиллер гимн ему слагал,
Он был скорей всего деистом.
Поклонник знанья и манер –
Его оракул был Вольтер.***

* Приписка Петровой: «Наивно».
** Приписка Петровой: «Возвышенно».
*** Сбоку приписка Петровой: «Решительно».

III

Та сказка «Фауст».* Так в начале
Его великую судьбу
Явленья эти предвещали,
Но предвещали и борьбу.
И в самый миг его рожденья
Сиявший золотом дворец,
Где умирал его отец,
Объяло пламя разрушенья,
И знамя красное свободы
Подняв высоко над толпой,
Порабощенные народы
Туда ворвались. Их волной
Был унесен ребенок сын
В водоворот людских пучин.

IV

Его судьбой толпа играла
И Революция сама**
Его кормилицею стала.
И грудью собственной она
Ребенка чуждого вскормила;
И эта пламенная грудь
Его согрела, возродила
И сил дала на трудный путь.
Она как мать его ласкала
С безумной нежностью в очах,
Его качала на руках
И Марсельезу напевала.
И колыбельной песнью был
Ему тот гимн народных сил.

V

Но скоро был наставник новый
Ему судьбой капризной дан.[16]
Солдат упрямый и суровый,
Матереубийца и тиран,***
Сын Революции Великой,
Умевший твердо управлять
Народной массой полудикой
И буйным силам выход дать.
И легковерные народы
Сдержав железною уздой,
Он успокоил их**** войной
И бедным призраком свободы.
Свою же собственную мать
Велел подальше он убрать.

VI

Он был его молочным братом*****
И сам судьбу его решил:
«Ребенок должен быть солдатом»
И тот едва еще ходил,
Как приступил он к воспитанью:
Велел команду исполнять
И обучал маршированью.
Ребенка стала занимать
Такая жизнь. Его игрушки
В то время были барабан,
Труба, знамена разных стран
И каски, ружья, сабли, пушки.
Он как мы все — ни дать, ни взять
Любил в солдатики играть.

---

* Приписка Петровой: «Лишнее».

** Приписка Петровой: «(?) название без значения».

*** Приписка против следующих четырех строк: «Тяжело».

**** Приписка Петровой: «(?)».

***** Приписка Петровой: «Кратко».

VII

....

....

(Еще не написана. Но по общему
смыслу необходима).

VIII

Он рос и общее вниманье
К себе невольно привлекал,
Хотя не раз в негодованье
Почтенных старцев повергал
Своими играми, скачками,
Своим отсутствием манер
И неуместными словами.
Они в нем видели пример
Дурного тона и влиянья.
Сам дядька был с ним очень строг,
Его наказывал, чем мог,
И шло так дело воспитанья
(Не знаю, в пользу иль во вред)
Вплоть до четырнадцати лет.

IX

Уж раньше дядьки эти, или*
Душеприказчики отца
Его покойного, решили,
Что это длится без конца,
Что им – опекунам присяжным –
Пора к рукам его прибрать
И, приступив к реформам важным
Решили дядьке отказать.
Тут инцидент один случился:
Он отказался уходить.
Пришлося силой удалить:
Ушел, потом опять явился,
Прогнали снова, и тогда
Исчез он вновь и навсегда.[17]

X

И так в системе воспитанья
Произошел переворот.
Теперь иные истязанья
Ему готовились. И вот,
Чтоб толковать о перемене
И обсудить вполне предмет,
Опекуны собрали в Вене
Педагогический совет.[18]
И там пришли они к решенью,
Что все влиянья прежних лет
Приносят наибольший вред
И подлежат искорененью.
Ввиду чего был отдан он
В один закрытый пансион.

Пока это все написанное. Вы меня очень обяжете, если напишете мне подробный критический отзыв: только пишите, пожалуйста, обстоятельнее, осмысленнее и не ругайте зря: пощадите мое поэтическое самолюбие. Теперь прощайте,

Меня вспоминайте,
Сало глотайте,
Больше читайте,
Больше занимайтесь
И не обижайтесь.

Макс. Волошин.

* Приписка Петровой: «Какие».

P.S. Кланяюсь Нине Алекс<андровне>,[19] всем вашим, Воллк-Ланевск<им> и остальн<ым> знакомым. Приветствую возрождение Василька и желаю новорожденному идти по следам своего великого отца и быть утешением своей хозяйки.[20]

[1] Отклик на начальную фразу письма Петровой от 9 октября 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 30–32а об.): «Хотя мы с Вами и не в таких отношениях, но все же “дорогой” Максимилиан Александрович!» Далее Петрова сообщала: «Так как в декабре приедет батя, то и в Москву уж я не поеду. Признаться, такая апатия напала, что мне ровно ничего не хочется».

[2] Подразумеваются, видимо, слова Плюшкина («Мертвые души», т. 1, гл. VI): «...ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь» (*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. <Л.:> Изд-во АН СССР, 1951. С. 123).

[3] См. п. 48, примеч. 2.

[4] М.М. Петров, служивший в пограничной службе в Туркестане.

[5] Л.С. Лямина. См. примеч. 1 к п. 49.

[6] См. примеч. 10 к п. 30.

[7] В.А. Воллк-Ланевская.

[8] Имеется в виду Мориц Мошковский; был известен виртуозными салонными концертными пьесами.

[9] См. п. 30, примеч. 8, п. 49, примеч. 11, 12.

[10] А.М. Пешковский.

[11] О смерти (в Бердянске) матери феодосийки Нины Николаевны Асприц Петрова сообщала в письме от 9 сентября 1898 г., добавляя: «Верно, не удастся ей окончить филармонию».

[12] Премьера исторической драмы Викторьена Сарду «Термидор» («Thermidor», 1891) в Новом театре состоялась 10 сентября 1898 г., затем она шла 17 сентября, 1 и 12 октября.

[13] Пьеса И.Н. Потапенко «Волшебная сказка» шла 2, 5 и 14 октября 1898 г. Участвовали: Е.К. Лешковская, О.О. Садовская, А.А. Яблочкина, К.Н. Рыбаков, А.И. Южин и др.

[14] Имеется в виду Московский Художественный Общедоступный театр (см. примеч. 11, 12 к п. 49). Ядро труппы составили воспитанники драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (О.Л. Книппер, И.М. Москвин, В.Э. Мейерхольд), где преподавал Вл. И. Немирович-Данченко, и участники любительских спектаклей руководимого К.С. Станиславским Общества искусства и литературы (М.П. Ли-

лина, М.Ф. Андреева, В.В. Лужский, А.Р. Артем). «Потонувший колокол» Г. Гауптмана был впервые представлен в театре 19 октября, «Венецианский купец (Шейлок)» У. Шекспира — 21 октября, «Чайка» — 17 декабря 1898 г.

[15] Волошин имеет в виду книги Г. Брандеса «Литература XIX века в ее главных течениях. Французская литература» (СПб., 1895) и «Английская литература» (СПб., 1898).

[16] Имеется в виду Наполеон I.

[17] Речь идет об отречении Наполеона от престола 6 апреля 1814 г., высадке его во Франции и вторичном царствовании («сто дней» — с 20 марта по 22 июня 1815 г.) и о вторичном отречении после поражения при Ватерлоо.

[18] Венский конгресс 1814—1815 гг., завершивший войну коалиции европейских держав с наполеоновской Францией.

[19] Мать А.М. Петровой.

[20] Отклик на сообщение Петровой в письме от 9 октября: «Василек возродился в своем сыне. Чудные скоты! Целых пять штук; три черных кошки и два котика, один вылитый Василек».

51. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

16 октября 1898 г. Москва

16 октября 1898 г. Москва.

Дорогая мама!

Получил только что Ваше письмо:[1] я думал, что Вы, как писала Люба,[2] выедете 21-го, так что мы Вас ждали в субботу на будущей неделе. Значит, Вы теперь приедете 26 или 27<-го> — в понедельник или во вторник. Но как же Вы думаете устроить с Киевом? Или Вы хотите потом уже из Москвы поехать? Занятия мои продолжаются, хотя регулярность их несколько нарушилась во время пребывания Анны Константиновны[3] — теперь она возобновляется снова. В общем, я довольно много сделал: напр<имер>, прошел ¾ Финансового права, почти половину Рус<ского> Государственного и кое-что по философии права. Из своих обязательных лекций я теперь слушаю только Философию права и Финансов<ое> право. Кроме того, из необязательных курсов «Историю западн<ой> литературы XIX в.» Веселовского, «Историю Франции XIX в.»

Фортунатова, «Исторические учения и политические теории XVIII и XIX вв.» Виппера, «Спорные вопросы русской истории» Кизеветтера и «Развитие научного мировоззрения», или, точнее, История развития научной мысли в Европе — чрезвычайно интересный курс, очень увлекательно читающийся Иванцовым.

Между прочим — с этим письмом, вероятно, вы получите одновременно «Русские Ведомости» от 16-го числа, где помещено описание гибели английского парохода «Mohegan» (погибло 103 ч<еловека>).[4] Какое прекрасное сопоставление с гибелью «Bourgogne»![5] Здесь от гибели спаслись только женщины и дети, а все мужчины погибли! Право, при чтении об этой катастрофе даже какое-то радостное чувство охватывает, сознаешь или скорей узнаешь, что есть люди, которые даже в таких обстоятельствах не забывают о своем человеческом звании, от чего последние французские катастрофы на «Bourgogne» и на благотворительном пожаре[6] совсем отучили.

От Алекс<андры> Мих<айловны>[7] я получил на днях письмо (несмотря на то, что она меня тоже предупреждала, что не будет писать мне). А из моих книг, находящихся у нее, мама, я просил именно только «Литературные течения XIX в.» Брандеса,[8] которые мне теперь нужны как рекомендованное пособие к курсу Веселовского, а остальные мне совсем не нужны. Так что, пожалуйста, возвратите ей те книги (если ей они нужны) — она хотела, кажется, «Историю всеобщей литерат<уры>» Иог. Шерра[9] читать. А Брандеса попросите у нее, если она его кончила, только если она его теперь читает и не кончила, то, пожалуйста, не берите, хотя она наверно его будет Вам отдавать. Если же она скажет, что Шерра ей не нужно, то привезите, пожалуйста, и его. Письмо ее очень грустно. Она пишет, что не может ехать в Петербург, потому что ее отец приедет к Рождеству, поэтому же она не хочет ехать и в Москву на два месяца, как она собиралась раньше, прежде чем у ней явилась мысль о курсах.[10] Но почему она не может привести этот первый план теперь в исполнение и приехать до Рождества в Москву, а потом к приезду отца вернуться, я, право, не понимаю. Кажется, материальных

препятствий у нее нет. Я ее уговариваю, чтобы она приехала-таки в Москву — попробуйте и Вы с Любой оказать на нее давление в этом отношении, — ведь это ей все-таки бóльшую пользу принесло, чем киснуть снова в Феодосии. Может, Вам и удастся уговорить ее. Передайте Пав<лу> Пав<ловичу>,[11] что я «Лингвистику» с собой не брал, а оставил ее вместе с другими его книгами, лежавшими у меня в своей комнате на столе, как он сам мне сказал в день отъезда, когда я хотел ему перенести их в его комнату. Пав<ел> Пав<лович> тогда же, т.е. в тот же день, хотел дать мне с собой в Москву найденный около Кулюбы кусок кости, чтобы я передал его в палеонтологический музей.[12] Тогда в общей суетне сборов это осталось невыполненным. Может, он пришлет ее теперь с Вами и я передам ее?

Что это значит, что Юнге так долго не хоронят?[13] Может, m-me Юнге[14] уж и нет в Коктебеле?

Бабушка теперь немного успокоилась относительно шкафа и крысы: говорит об них реже и спокойнее. Но удивительное впечатление произвело на всех это дело о крысе: всех перебудоражило. Казалось, будто во всех что-то копилось и вдруг прорвалось: и бабушка, и Устинья, и Аграфена, и г-н Колпаков, и Саша Лямин! Поразительно!! До скорого свиданья. Целую Любу. Кланяюсь Пав<лу> Пав<ловичу> и Алекс<андре> Мих<айловне>.

Макс. Волошин.

[1] Недатированное письмо Е.О., написанное около 10 октября 1898 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 37–39 об.).

[2] Л.С. Лямина.

[3] См. п. 45.

[4] 16 октября 1898 г. «Русские Ведомости» сообщили о гибели атлантического парохода «Mohegan», наскочившего близ Фалмута на подводные скалы и через 20 минут пошедшего ко дну. Из шести лодок удалось спустить две; экипаж усадил в них, прежде всего, женщин и детей — так что большинство погибших были мужчинами.

[5] «Bourgogne» — французский океанский пароход, подробное сообщение о гибели которого (по пути из Нью-Йорка в Гавр) «Русские Ведомости» дали 29 июня 1898 г.: спаслось около 200 человек, погибли 628 — в том числе все женщины и дети.

[6] О каком пожаре идет речь, выяснить не удалось.

[7] А.М. Петрова.

[8] См. п. 45, примеч. 15.

[9] «Всеобщая история литературы» Иоганна Шерра в двух томах (3-е. изд. СПб., 1879–1880) сохранилась в библиотеке Волошина.

[10] См. примеч. 1 к п. 50.

[11] П.П. Теш.

[12] Палеонтологического музея в Москве не было, имеется в виду Зоологический музей (Моховая ул., в здании Университета). Кулюба – курган Кульоба близ Керчи.

[13] Э.А. Юнге (пионер Коктебеля, скупивший почти всю долину и мечтавший преобразовать ее, обводнив и озеленив) умер 15 сентября 1898 г. в Ялте; о его смерти и грядущих похоронах Е.О. сообщала сыну в письме от 26 сентября 1898 г. В упомянутом выше (примеч. 1) письме Е.О. сообщала: «Юнге, кажется, еще до сих пор не похоронили <...>».

[14] Е.Ф. Юнге.

52. А.М. ПЕТРОВОЙ

22 октября 1898 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Адрес Пешковского таков: Малая Бронная, д<ом> Гирш, кв<артира> 28. (Он уже переменил ту свою темную комнату и теперь нашел себе прекрасную, просторную и светлую). Я надеюсь, что это письмо застанет у Вас маму с Любой.[1] Если это так, то передайте маме, что я себе нашел очень прибыльное занятие – мы с моим двоюродн<ым> брат<ом> Глотовым издаем теперь лекции по финансовому праву, что, во-первых, даст нам minimum 100 руб. дохода каждому, а во-вторых, знание финансового права, очень необходимого и интересного.[2] Дня три назад приехала Н. Асприц. Я еще ее не видел. Она все ищет с Лерой[3] квартиру, но бесплодно. Не знаю, может теперь уж нашла. Приехала тоже, наконец, Софи Мурзаева,[4] чему Лера бесконечно рада. Ее учитель занимался с ней в последний раз 1½ часа вместо 20 мин<ут> и поэтому отослал всех своих остальных учеников, а с другой стороны, сказал, что она

Заказ № 5706

может надеяться поступить на пятый (!) курс, а кроме того все продолжает каждый раз поражаться ее способностями. Вот разберите вы в этом что-нибудь! До свиданья. Пишите. Привет всем знакомым.

М. Кириенко-Волошин.

[1] Л.С. Лямина. Волошин предполагает, что в день получения письма она и Е.О. Кириенко-Волошина будут у Петровой в Феодосии перед отъездом в Москву.

[2] Этот проект издания лекционного курса И.Х. Озерова не был осуществлен.

[3] В.А. Волик-Ланевская.

[4] Софья Мурзаева, феодосийская гимназистка, затем слушательница Московской консерватории.

53. А.М. ПЕТРОВОЙ

Конец октября — начало ноября 1898 г. Москва

!!!!ПРИЕЗЖАЙТЕ СКОРЕЕ!!!!

Дорогая Александра Михайловна!

Наконец-то Вы направились на путь истинный и решились приехать в Москву. Если б Вы знали, с каким нетерпением я жду Вас! Боюсь только одного, — того, что вы по отъезде мамы и Любы[1] начнете думать. Ведь в сущности, Александра Михайловна, право Вы прекрасный человек, только если б Вы не думали. Это единственный Ваш недостаток. А уж уж как начнете думать — то конец: все пропало. И такое Вы всегда, Боже ты мой, надумаете... Ну вот, и теперь я представляю себе Вас, что сидите в комнате и думаете: «А что если я Любовь Сергеевну стесню своим приездом?» Александра Михайловна, ну пожалуйста — я́ прошу Вас (как говаривал Алкалаев)[1] — не думайте. И никого этим Вы не стесните, и неловко это не будет, и в Москве проживете, и на людей поглядите, да может и впредь меньше думать будете. Ну, живей. Собирайте корзинку (кофту свою вы, верно, уже сшили? И что это у Вас всегда, когда приходится сделать какой-нибудь решительный

шаг (напр<имер>, поехать в Коктебель) у Вас всегда главным препятствием, как ковер Пенелопы, является кофта?).[2]

А какие тут театры: приедете, так мы Вас просто облепим театральными билетами, так что голова затрещит от обилия впечатлений. Мама уж и теперь сидит над кучей оных и думает с тоской; «И <на> все эти представления пойти придется».

Ну вот ведь так и есть! Получил Ваше письмо – оказывается, верно – «думает». Ну и охота Вам, Алекс<андра> Мих<айловна>, такими глупостями заниматься! Разумеется, никого не стесните – что тут еще раздумывать. А насчет 18 числа...[3] Ну, что же мне Вам сказать. Имеет ли оно какой-нибудь таинственный смысл и благоприятствует ли оно приезду в Москву, не знаю – это Ваше дело (справьтесь в соннике). На мой взгляд десятое число гораздо лучше, а пятое и подавно (разумеется, ноября). Впрочем, это мое личное мнение, а Любе нет основания предпочитать одно число другому: они к себе никого не ждут и Ваш приезд не будет неожиданным ни в какое время. Чего я не понимаю, это того, зачем вы Мих<аилу> Митроф<ановичу>[4] свою поездку описывали как сон. Вдруг он подумает, что это так и есть сон – ведь Вы обладаете способностью очень реально сны описывать, а он об них своего впечатления никогда не пишет.

Ну, словом, приезжайте – чем скорее, тем лучше. Леру я вижу как-то меньше и реже теперь. Отчасти потому, что больше сижу дома с приезда мамы, а отчасти потому, что там часто бывает трио, состоящее из Алексеева, Рогулина и Харлампиди, которое на меня теперь просто омерзение и тоску наводит своей пустотой и ultra-феодосийскими разговорами. Бедная Лера![5] Вообще мне не нравится та обстановка, в которой она живет – не в матерьяльном отношении, а так, в духовном. То семейство с квартирантами, в которое она попала, – очень доброе, но слишком провинциально-мещанское. Пустота, пустота. И у Ляминых почему-то она гораздо реже стала теперь бывать, положим, последнее время она почти неразлучно проводит с Софи Мурзаевой.

Я занимаюсь теперь финансовым правом и пишу сочинение (благоговейте!!) о подоходном налоге (в частности, о проектах подоходного налога в России). Потом занимаюсь составлением лекций по финансов<ому> праву, на что мы с дв<оюродным> братом[6] (вот приедете — познакомитесь: он необыкновенно симпатичный, я с ним за эти два года чрезвычайно сошелся) получили монополию.

Спешу кончать — пора в университет. Бабушка, мама и все проч<ие> Вам кланяются.

«Ганнеле» для постановки на сцене запретили.[7] Приезжайте, приезжайте, приезжайте!!!!![8] А когда будете ехать, то попросите у Воллк-Ланев<ских> книжку с моими оригин<альными> стихами: она осталась у них — я ее давал Лере.

Макс. Волошин.

P.S. Зачем это Вы пишете «езчо»? Верно для того, чтобы узнать, насколько внимательно я читаю Ваши письма.

Кланяюсь всем.

!!!!ПРИЕЗЖАЙТЕ СКОРЕЕ!!!!

[1] См. п. 52, примеч. 1.

[2] Жена Одиссея Пенелопа (*греч. миф.*), будучи осаждаемой во время его двадцатилетнего отсутствия многочисленными женихами, уклонялась от выбора нового мужа под тем предлогом, что она должна соткать погребальный саван для свекра Лаэрта, и, работая днем, ночью распускала готовую ткань.

[3] В неизвестном нам письме к Волошину Петрова, видимо, сообщала о намерении выехать в Москву 18 ноября.

[4] М.М. Петров.

[5] В.А. Воллк-Ланевская.

[6] Я.А. Глотов.

[7] См. примеч. 12 к п. 49.

[8] Петрова приехала в Москву около 21 ноября 1898 г. (Труды и дни. С. 62).

1899

54. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

21 февраля 1899 г. Феодосия

Дорогая мама!

Вчера я благополучно приехал в Феодосию[1] и теперь нахожусь у Петровых. Пав<ел> Павлович[2] тут был и проехал в Коктебель. Поселился я у Петровых и поселился только после отчаянного торга, происходившего вчера вечером. Это происходило довольно оригинально и противоречило решительно всем законам политической экономии, так что, присутствуй тут Кобылинский,[3] он бы просто лопнул от недоумения: дело в том, что со стороны предложения шло страшное понижение, а со стороны спроса такое же повышение цен. «Больше чем за пятнадцать рублей я не соглашусь вас взять». – «А я не соглашусь жить меньше».

На этом самом месте вошел Мишель,[4] и я прекратил писать. Теперь обстоятельства переменились, и мы с Мишелем наняли себе за 15 рублей чуть не целую квартиру с совершенно отдельным ходом в две комнаты, с мебелью и еще даже с кухней и кладовой – словом, хоть своим целым хозяйством живи; значит, будем Вас к себе теперь при приезде принимать. Пока мы эту ночь ночуем еще у Алекс<андры> Мих<айловны>, а завтра утром переберемся. Это очень близко против городского сада, знаете, в том доме, где женская гимназия была. Эти два дня я ходил в Феодосии совсем ошалелый и никак ничего сообразить не мог, так это все внезапно перевернулось, а сегодня – как Мишель приехал, совсем все сделалось похожим на сон. Явился я к полицеймейстеру[5] – он меня с воплем радости заключил в свои объятия, затем на минуту сделал очень сериозную физиономию – пробежал мое свидетельство

о неблагонадежности, с жаром пожал мне руку и сказал: «Милости просим! милости просим! Что ж в кружке играть теперь будете? А насчет Коктебеля – то это, конечно, можно; ну а если совсем туда переселиться захотите, то мы напишем к губернатору. Больше ничего. Очень рад! очень рад!» Он щелкнул шпорами, сделал мне ручкой, и аудиенция кончилась. То же произошло сегодня и с Мишелем. Мы поймали его на улице, я Мишеля ему представил – он уж совсем обезумел от радости, блаженно засмеялся, взял Мишеля за талию, сказал несколько милых и плоских неприличностей, ругнул вскользь полицию и уехал, бесконечно довольный своей новой функцией надзирать за нами. Бедный! он, очевидно, никогда еще не видел политических преступников, и его радость была умилительна. Мишель блаженствует – он в восторге и от города, и от моря, и от погоды, и даже от ветра и больше всего боится, чтобы его не вернули до осени. В каком положении Ольга Михайловна?[6] Убедили ли вы ее, что волноваться и горевать совсем нечего? Что теперь делается в Москве? Единственно, что меня теперь удручает после появления Мишеля, это отсутствие сведений из Москвы.

Завтра, окончательно основавшись, открою наконец обширную корреспонденцию с Озеровым,[7] Лёлей, Пешковским, Яшей и т.д. Да, вот просьба: у Мишеля на попечении остались перевод «Потонувшего Колокола» Гандуриной,[8] ее же «Johannes» Зудермана[9] – так, пожалуйста, занесите ей, когда книгу Озерова понесете, – он ведь у них живет. А кроме того, привезите мне, пожалуйста, и мой сюртук, в котором оказывается нужда, и соответствующие штаны. А также и мои постолы. Целую бабушку, Лёлю, Любу,[10] Мишу,[11] Яшу,[12] Пешковского и т.д. Я буду писать, пусть и мне пишут, не ожидая. Быть высланным после первого дня и не знать продолжения, это чересчур досадно.

Макс. Волошин.

Пишите мне на имя Ал<ександры> Мих<айловны>[13] и без передачи.

Приписка М.П. Свободина:

Глубокочтимая Елена Отобальдовна.

Крепкое и большое Вам спасибо. Поддержите мою мадру, и, *Христа ради*, убедите ее не трогать меня *по крайней мере* до экзаменов. Я тут по очень многим причинам почитай что счастлив. А Макс Ваш – большое в моей старости утешение, и заживем мы принцами гишпанскими.

Чувствую, что уже крепко полюбил Вас. И буду любить еще больше. А вы уж меня от «помилования» ослобоните!

Ваш вроде как сынишка

М. Свободин.

[1] Волошин, избранный 13 февраля 1899 г. заместителем представителя Крымского землячества (студента-естественника П.Н. Глобы) в студенческом Исполнительном комитете объединенных московских организаций, был после сходки 15 февраля уволен из Московского университета (в числе 58 студентов), арестован 16 февраля за участие в студенческих волнениях и выслан из Москвы в Феодосию, куда прибыл 20 февраля (Труды и дни. С. 63–64). В студенческом деле Волошина имеется донесение помощника инспектора (подпись неразборчива), в котором сообщается: «В прошлом феврале, во время беспорядков, К<ириенко->В<олошин> б<ыл> замечен мною в стараниях произвести волнение в актовом зале, где собирал вокруг себя кружок слушателей; то же он пытался делать и в аудитории своего курса. В самом начале беспорядков он был удален из Университета» (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, дело 436, л. 19 об.). Во время забастовок в Петербургском и Московском университетах студенты требовали отмены университетского устава 1884 г., принятия законов, гарантирующих неприкосновенность личности студентов, открытого суда над виновниками избиения студентов в Петербурге 8 февраля и возвращения в университет всех исключенных.

[2] П.П. Теш.

[3] Л.Л. Кобылинский был с 1897 г. студентом юридического факультета Московского университета, в марте 1899 г. был уволен из университета за участие в студенческих беспорядках, вновь принят в университет в июле того же года (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, дело 445, л. 13); впоследствии выступал в литературе под псевдонимом Эллис.

[4] Михаил Павлович Свободин (1880–1906), сын артиста П.С. Свободина (наст. фам. Козиенко), друга А.П. Чехова; студент-

юрист, поэт-сатирик, переводчик; прозвище «Микромихайла» (из-за миниатюрности). Как и Волошин, был выслан и прибыл в Феодосию 21 февраля 1899 г. (на основании чего и датируется настоящее письмо).

[5] Полицмейстером в 1899 г. в Феодосии был Владимир Яковлевич Попов (? – не ранее 1915), статский советник, председатель городского общества покровительства животным, председатель пожарного общества (1911–1913).

[6] Ольга Михайловна Струкова (?–1908) – мать М.П. Свободина.

[7] И.Х. Озеров был профессором Московского университета по кафедре финансового права с 1898 г. В библиотеке Волошина сохранились книга Озерова (очевидно, подаренная им) «Подоходный налог в Англии» (М., 1898), а также оттиски его статей «Прусская податная реформа» (из «Русской Мысли», 1896), «Организация подоходного обложения в Англии» (из «Русского экономического обозрения», 1898) и др. Озеров был «одним из идейных руководителей организованных С.В. Зубатовым легальных рабочих обществ», «поклонником и бардом промышленного капитализма» (*Орлов В.Н.* Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. С. 89).

[8] Наталья Андреевна Гандурина (в замужестве с 1899 г. Крупнова) – переводчица, детская писательница. «Потонувший колокол» Г. Гауптмана в ее переводе (СПб.: Тип. Б. Вольфа, 1899) был подарен ею Волошину в мае 1900 г. с надписью: «Глубокоуважаемому М.А. Кириенко-Волошину, как талантливому поэту и дорогому сотруднику – на память от переводчицы».

[9] Имеется в виду трагедия Германа Зудермана «Иоанн» (1898).

[10] Е.С. и Л.С. Лямины.

[11] М.С. Лямин.

[12] Я.А. Глотов.

[13] А.М. Петрова.

55. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 1 марта 1899 г. Феодосия

Дорогая мама!

Прежде всего об учебных книгах: мне нужны: Русское Государственное право Алексеева;[1] История древней фило-

софии права — Зверева;[2] Средней — Новогородцева[3] (Новая у меня есть). Затем политическая экономия Чупрова[4] (теория) — моя находится у студента Владимира Антоновича Макарова[5] (Никитский бульвар, д<ом> Государст<венного> банка, а може<т>, и Казенной палаты, не помню, — от Арбатских ворот на правой стороне почти посередине бульвара). Вот, кажется, и всё. Остальное у меня есть. Очень благодарю Кобылинского за участие. Кроме этого у меня очень мало белья. И чтобы покончить с поручениями, вот еще: мои лекции Ключевского[6] находятся у студента Браилки[7] (Леонтьевский пер., д<ом> Ланге, кв. 2). Так попросите, пожалуйста, Пешковского, чтобы он достал их.

Сегодня я получил второе ваше письмо. Относительно Миши[8] вы не совсем правы. Кое в чем я с вами согласен, а кое в чем и даже во многом — нет: — вы не знаете его вполне, а знаете только по рассказам матери. Впрочем, об этом мы лучше поговорим после при свидании, когда вы сами поближе его узнаете. Он уже начал усердно заниматься, чего нельзя сказать вполне про меня, но после прочтения вашего письма я этому последую. Мы были с ним в Ялте два дня. Эти два дня мы провели у Лаврова,[9] ходили на Учан-Су, который теперь громаден и грандиозен, и в Массандру. Я познакомился с Чеховым и был у него с Мишей два раза. Чехов по наружному виду очень напоминает своего Тригорина;[10] молчалив, вял и неподвижен. На портреты свои не похож. Впечатление производит очень располагающее к себе. Разговора «интересного» не было: говорили о студенческих делах, расспрашивал он о постановке «Чайки»,[11] но сам, видимо, тщательно воздерживался от выражения собственных мнений. В то время как мы были у него, он занимался чтением «Требника». Очевидно, в одном из ближайших рассказов требник будет фигурировать.[12] Вообще он очень прост и добродушен. Производит впечатление человека скучающего. Был я, конечно, и у m-me Пешковской.[13] Она меня, между прочим, спрашивала, может ли она меня иметь в виду, если Саше понадобится 4000 для уплаты долга сестре (по 6%). Затем я совершенно случайно, придя к Анне Николаевне, очутился на даче Шмелевой.[14] Я отправился тогда к Шме-

левым. Все на даче осталось так же без изменений, как тогда, когда мы жили там. Г-жа Шмелева почему-то была так мне обрадована, что заключила меня в свои объятия и облобызала. Ее я узнал сейчас же. Дети же сильно переменились, разумеется.[15] Одна дочь, самая младшая — Клавдия умерла десять лет назад. Теперь у меня есть урок — готовлю одну девочку в V кл<асс> гимназии. Сам я теперь уж занимаюсь, так же как и Миша.

Отчего вы ничего не пишете о Яше?[16] Не узнавали ли Вы о моем положении? Есть ли у меня шансы держать экзамен? Как мне быть с деньгами, если меня пустят теперь в Москву? Ведь мне тогда придется платить в Университет, на дорогу, на житье в Москве и т.д., а у меня ведь уроков не будет тогда уже ни в Москве, ни в Феодосии. Чехов, между прочим, говорил, что Суворин[17] ему писал, что последует всеобщая амнистия. А из других источников в Ялте (там много высланных) я слышал нечто совсем иное. Вот не знаю тоже, что мне делать, если в Москве устроют то же, что и в Харькове, т.е. предложат всем исключенным подавать снова прошения и давать при этом подписку.[18] Подавать прошения при таких условиях уж совсем нечестно. Отчего Пешковский ничего не пишет? Я ему не писал потому, что не знал, в Москве ли он, но от него я все жду. Скоро ли вы приедете? Целую бабушку, Лёло, Любу и Мишу.[19] Кланяюсь Ольге Михайловне,[20] Пешковскому, Кобылинскому и др<угим> знакомым. Мы живем против городского сада в доме, где помещалась раньше женская гимназия. Если Мишель уедет, то я, разумеется, квартиру эту брошу <и> переселюсь к Петровым.

Макс.

[1] Труд «Русскос государственнос право» (М., 1892) А.С. Алсксссва.

[2] Возможно, рсчь идст о гсктографированных лскциях Н.А. Зверсва; в библиотскс Волошина сохранились лскции Зверсва «Энциклопсдия права» (М., 1892/3).

[3] Книга П.И. Новгородцева «История новой философии права (Нсмсцкис учсния XIX вска)» (М., 1898) сохранилась в библиотскс Волошина.

[4] «Очерки истории политической экономии» А.И. Чупрова (М., 1898) и его же «Политическая экономия» (М., 1892) — с пометами Волошина — сохранились в его библиотеке. О лекции Чупрова Волошин писал Петровой 11 сентября 1897 г. (см. п. 20).

[5] Владимир Антонович Макаров — сын секретаря московской конторы Госбанка, соученик Волошина по 1-й московской гимназии (в 1893 г. перешел в гимназию Л.И. Поливанова), один из близких его приятелей. В архиве Волошина сохранились семь писем Макарова к нему за 1892—1894 гг. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 810).

[6] Лекции В.О. Ключевского в библиотеке Волошина не сохранились.

[7] Константин Александрович Браилко (1874—?), потомственный дворянин, кончил симферопольскую гимназию, на юридический факультет Московского университета поступил в 1896 г.

[8] М.П. Свободин. Упоминается письмо Е.О. от 25 февраля 1899 г.

[9] В Ялте Волошин вместе с Пешковским был на последней неделе февраля; остановились они на даче В.М. Лаврова.

[10] Персонаж пьесы А.П. Чехова «Чайка» (1896). Об этом визите к Чехову (в конце февраля 1899 г.) см.: *Купченко В.П.* «На портреты свои не похож...» (Чехов и Волошин) // Чехов и его время. М.: Наука, 1977. С. 200—201.

[11] Имеется в виду постановка «Чайки» в Московском Художественном театре (Волошин присутствовал на премьере 17 декабря 1898 г.).

[12] Это предположение не оправдалось.

[13] Анна Николаевна Пешковская — мать А.М. Пешковского; имела в Ялте дачу близ устья реки Учан-Су.

[14] Анна Павловна Шмелева — ялтинская домовладелица; на ее даче (близ Александро-Невского собора) Волошин и Е.О. жили, приехав из Москвы, в 1896 г.

[15] Дети Шмелевой — Владимир Васильевич Шмелев (ок. 1872—1920, расстрелян), мировой судья, с 1902 г. — муж Л.С. Ляминой; Мария Васильевна (ок. 1882—1955), педагог, в 1902 г. окончила Высшие женские курсы в Петербурге; Ольга Васильевна (?—1950), врач.

[16] Я.А. Глотов.

[17] А.С. Суворин, издатель петербургской газеты «Новое Время» (с 1876 г.), выступил с осуждением студенческих волнений в своем публицистическом цикле «Маленькие письма» (см.: Новое Время. 1899. № 8257, 8259, 8264. 21, 23 февр., 1 марта).

[18] Подразумевается письменное обязательство не участвовать в новых студенческих беспорядках и полностью подчиняться уста-

новленным правилам. Из общего числа принимавших участие в беспорядках в Московском университете 4407 студентов прошения об обратном приеме подали 4129 (из них было принято 3318, отказано 774, из них 370 – с возможностью приема в следующем году).

[19] Е.С., Л.С. и М.С. Лямины.

[20] О.М. Струкова.

56. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 8 марта 1899 г. Феодосия

Дорогая мама!

Только что отправив Вам письмо, которое писалось в два приема – до Ялты и после Ялты, и пролежало несколько дней в столе, я немедленно одно за другим получил два письма от Вас[1] и пришел в дикий восторг. Такой победы я не ожидал. Конечно, я буду держать экзамены. И выдержу их. Я долго взвешивал, что мне делать, и пришел наконец к решению ехать немедленно в Москву, потому что в Феодосии, как вы и сами знаете, будет плохо, а относительно Коктебеля... Я долго колебался и даже раньше уже думал уехать туда, но все-таки теперь думаю, что лучше будет в Москве. Будут надобиться такие лекции, которых тут в Феодосии не достанешь: других студентов, кроме нас, тут нет, затем интенсивность ощущения близости экзаменов будет в Москве гораздо сильнее, а это для меня при усиленных занятиях, за которые я примусь, очень важно. Переборка и искание квартиры не займет так много времени, и гораздо лучше сделать это теперь, заблаговременно, чем в самое горячее время накануне экзаменов, когда каждая минута будет дорога. Словом, немедленно после опубликования амнистии мы едем в Москву. Является только затруднение – деньги. Я думаю, что мне удастся произвести здесь в Феодосии какой-нибудь грандиозный заем, рублей в пятьдесят – до лета, а деньги за право учения придется занять в землячестве; так что Вы, пожалуйста, попросите об этом заявить Пешковского. Кроме того я, будучи в Москве, буду продолжать вести записи лекций Озерова, отложив их составле-

ние на лето, так что наши грандиозные барыши в перспективе останутся за нами.[2] Скоро ли едете вы сами? Погодите уж во всяком случае до моего приезда, а то мы, пожалуй, разъедемся по дороге. Такого радикального решения продолжать забастовку мы тут никак не ожидали – мы совершенно уже отчаялись в каком бы то ни было благоприятном исходе и думали, что все уже остыло и замолкло, как и в других учебн<ых> заведениях, судя по газетным известиям. А ну все-таки, как и это обещание о немедленном возвращении всех высланных не будет исполнено. Положим, нет, это, я думаю, невозможно – это будет слишком явно; и вызовет новый прилив энергии в студентах. Миша[3] от экзаменов отказываться и не думает: он полон силы и энергии и ежедневно уничтожает в жестокой схватке целые десятки страниц Римского права. Приедем мы с ним вместе. Хотя ему перспектива готовиться в Феодосии улыбается, но тем не менее он тоже приедет вместе со мной. Е<вгения> Ал<ьфонсовна> Вол<лк->Ланевская еще не приехала, и домой она ничего не пишет, так что известие об ее скором приезде, принесенное мной, было неожиданно. А об Яше[4] вы так за все время ни слова не написали. Целую бабушку, Любу, Лёлю, Мишу,[5] Яшу, Пешковск<ого> и т.д. Ольге Михайловне[6] поклон. Может, она меня снова возьмет в жильцы – ведь она, кажется, не совсем довольна своей настоящей жилицей и та через месяц хочет уходить? Итак, еду!

Макс. Волошин.

Телеграмма получена. Полицмейстер не пускает еще, так как нет официальных сведений. По получении немедленно выедем вместе.

Приписка М.П. Свободина:

Названная матушка!

Живем по малости. Вчера получил известие о прощении и позволении вернуться в Москву. Теперь жду маминого письма с назначением – когда ехать. По первому же приказу поеду – но лгать не стану: уезжать мне будет и больно, и тяжко.

Ей-ей, ни минуты и не думал отказываться от экзаменов. Готовлюсь крепко и полагаю, что успею хорошо подготовиться. Поцелуйте мою дорогую мать. Скажите ей, что я сейчас буду ей писать.

Спасибо Вам.

Ваш Мих. Свободин.

[1] Имеются в виду п. 55 и два письма Е.О. – от 3 и 5 марта 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 55–58 об.). В первом Е.О. сообщала (со слов Пешковского) о студенческой сходке в 1000 человек, принявшей решение продолжать забастовку, пока все высланные и уволенные студенты не будут возвращены, во втором – о решении студентов приступить к занятиям под честное слово, данное ректором Московского университета о немедленном возвращении всех высланных. Одновременно она советовала Волошину готовиться к экзаменам в Коктебеле и приехать в Москву только к их началу.

[2] Волошин собирался записывать лекции И.Х. Озерова совместно с Я. Глотовым, чтобы затем издать их гектографически и продавать студентам. См. п. 52, примеч. 2.

[3] М.П. Свободин.

[4] Я.А. Глотов.

[5] Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[6] О.М. Струкова.

57. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 20 марта 1899 г. Феодосия

Дорогая мама!

Получил одновременно оба Ваши письма:[1] и то, что отправлено с Евген<ией> Альфонсовной[2], и то, что написано по дороге в Минск. А затем через два дня приехал и Пешковский. Он сегодня уже уезжает в Ялту. Мы живем теперь уже у Алекс<андры> Мих<айловны>[3], так как месяц на той квартире кончился и Ал<ександра> Мих<айловна> согласилась принять нас к себе. Спасибо за книги и особенно за Алексеева[4]. Я только теперь могу наконец заниматься Государст<венным> правом, т.е. самым важным и трудным

в этом году предметом, а то Коркунов, который у меня был,[5] противоречит Алексееву по всем статьям. Что за глупое положение теперь![6] Неизвестность относительно экзаменов совершенно ослабляет и парализует прилежание. Если экзаменов в конце концов не будет, то я вместе с Вами уеду в Коктебель и примусь с усердием за занятия, так как теперь чувствую большое желание заниматься, а в Феодосии это чрезвычайно трудно. Хорошо бы было, если б отложили в конце концов экзамены, тогда бы летом можно было бы прекрасно подготовиться и перспектива экзаменов служила бы еще великолепным подбодряющим средством.

О себе мне писать почти нечего, да и не хочется, потому что жду вас не позже чем через неделю и боюсь, что мое письмо даже и не дойдет до вас. Если же вы мне еще успеете ответить мне на это письмо, то напишите, пожалуйста, подробнее об университетских делах с отъезда Пешковского. Приехал ли Яша?[7] Что делает Кобылинский? Миша[8] блистательно одолел уже половину Римского права и одолел основательно, с подробнейшим конспектом, несмотря на все препятствия. Писать, право, нечего, так как самые жгучие интересы — это известия из Москвы. Целую бабушку, Любу, Лёлю, Мишу,[9] Яшу и кланяюсь Ольге Михайловне.[10]

Макс.[11]

[1] Письма от 9 и 12 марта 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 59–63 об.). В первом Е.О. сообщала, что «студенты добиваются отсрочки экзаменов до осени», и просила Волошина не выезжать в Москву до ее уведомления. Во втором, написанном по дороге в Минск (чтобы проведать заболевшего Г.О. Глазера), сообщала о своем посещении Охранного отделения, где ей сказали, что феодосийскому полицмейстеру послано в марте уведомление о снятии с Волошина запрещения вернуться в Москву. Е.О. также советовала сыну подать свидетельство о болезни (взяв таковое у П.П. Теша) и приезжать «только к экзаменам».

[2] Е.А. Воллк-Ланевская.

[3] А.М. Петрова.

[4] См. п. 55, примеч. 1.

[5] Имеется в виду двухтомная монография «Русское государственное право» Н.М. Коркунова (СПб., 1892–1893).

[6] 14–21 марта 1899 г. началась и стала повсеместно распространяться вторая забастовка студентов Московского университета, вызванная тем, что в Киеве, Варшаве и Томске «пострадавшие товарищи не были возвращены». 17 марта, «ввиду крайней обструкции забастовщиков, доходящей до насилия над несогласными», занятия в университете были окончательно прекращены. Ректор Д.Н. Зернов (в феврале отказавшийся представить Охранному отделению списки участников сходки) был заменен А.А. Тихомировым, человеком «с гуттаперчевой совестью» (*Орлов В.Н.* Студенческое движение в Московском университете в XIX столетии. С. 351–352).

[7] Я.А. Глотов.

[8] М.П. Свободин.

[9] Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[10] О.М. Струкова.

[11] На второй половине сложенного вдвое листа – письмо М.П. Свободина к Е.О.; не воспроизводится.

58. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

21 марта 1899 г. Феодосия

Наконец совершилось... Московский университет закрыт, и все исключены. Я подавать прошения не буду, считая это со своей стороны подлостью.[1] Что я думаю делать – это после; а теперь главное, это положение Мишеля.[2] Сперва я ничего не хотел писать вам, но теперь после последнего события это необходимо, так как необходимо что-нибудь сделать: он страшно нервно расстроен. Были три дня, когда я совершенно не знал, что с ним делать: у него были галлюцинации. Это было и днем, но особенно ночью. Две последние ночи, проведенные нами вдвоем на старой квартире, были буквально ужасны: он видел всевозможных мертвецов, самого себя с веревкой на шее и полуразложившимся и т.п. прелести. Это, собственно, и было главной причиной, заставившей нас переселиться к Алекс<андре> Михай<ловне>.[3] Там ведь мы были совсем одни, и даже я не мог позвать никого на помощь, а оставить его одного не мог ни на минуту. Теперь ему несколько лучше: он значительно спокойнее, и галлюцинации почти исчезли. Вчера был Пав<ел> Пав<лович>,[4] осмотрев его, сказал, что ему необходимо как можно меньше волноваться,

не заниматься более двух часов в сутки и больше гулять. Мне же он сказал, что если это все так будет продолжаться, то он может сойти с ума или еще скорее — в припадке сумасшествия повеситься или еще что-нибудь в этом роде сделать. Что же теперь делать? Нормальнее всего было бы уехать из Феодосии, потому что ведь главная причина его нервного расстройства — это его любовь.[5] Но куда ж ехать? В Москву? Какой же смысл? На экзамене он провалится: теперь он прошел уже половину курса, так как занимался так усердно, как только мог в таком состоянии. А остальное-то как же? А потом волнение на экзаменах? И наконец, как же он поедет-то один? Ведь отъезд из Феодосии при таких условиях для него явится сильным потрясением, и кто может поручиться, что галлюцинации у него не возобновятся с новой силой и он не спрыгнет куда-нибудь под поезд? Что же делать? Передать все это Ольге Михайловне,[6] разумеется, невозможно, и Миша согласился, чтобы я вам написал об его галлюцинациях только под этим условием. Но нельзя ли устроить это как-нибудь иначе — убедить Ольгу Михайлов<ну>, что остаться на второй год на курсе совсем не так страшно, или что Миша свободно может поступить в Ярославский лицей и держать там за два курса? А его, может, можно было бы переселить в Коктебель? или отправить в Ялту, когда Ольга Мих<айловна> там будет? Я, право, не знаю. Он сам от экзаменов не отказывается и продолжает заниматься. Но что же делать, когда физическое и умственное утомление может быть чуть не смертельно, по словам Павл<а> Павловича? Если б хоть вы поскорей приехали! и уговорили бы Ольгу Мих<айловну> тоже немедленно ехать. Тогда все было бы значительно проще.

Теперь относительно меня. Я подавать прошения при таких условиях не желаю и думаю последовать примеру Пешковского — т.е. поступить в один из заграничных университетов. У меня ведь материальной невозможности нет — на 40 рублей и там прожить можно.[7] А с другой стороны у меня такое предположение: не поехать ли нам с Вами вдвоем: мы это можем: зачем мне непременно беречь неприкосновенными мои 12 тысяч: они дадут возможность нам прожить за границей вместе в течение даже 10 лет, а может, и больше; а к тому

Заказ № 5706

времени я смогу и сам зарабатывать деньги. Так что расчета оставаться в русск<ом> универс<итете> мне нет. Пред отъездом[8] поблагодарите, пожалуйста, Озерова за хлопоты обо мне и возьмите мои бумаги из университета. А я теперь же примусь за изучение французского языка, так как из всех университетов меня наиболее привлекает Брюссельский, где сосредоточены все лучшие европейск<ие> силы по обществ<енным> наукам. Я думаю, что вы ведь вполне одобрите мое решение. Целую бабушку, Лёлю, Любу, Яшу,[9] кланяюсь Ол<ьге> Мих<айловне> и Кобылинскому.

Макс.

[1] 17 марта 1899 г. занятия в Московском университете были прекращены, все студенты, участвовавшие в забастовке, объявлены исключенными. Вновь приняты в университет студенты могли быть при условии подачи особого прошения и «по усмотрению начальства» (Русские Ведомости. 1899. № 76. 18 марта. С. 1).

[2] М.П. Свободин. В письме к Е.О. (см. примеч. 11 к п. 57) он упоминал о своем намерении поступить осенью в Ярославский юридический лицей.

[3] Волошин и Свободин переехали к А.М. Петровой около 19 марта.

[4] П.П. Теш.

[5] Свободин был безответно влюблен в Лидию Соломос (см. п. 61).

[6] О.М. Струкова.

[7] 40 рублей – сумма ежемесячных процентных отчислений с капитала Волошина, помещенного в ценные бумаги.

[8] Е.О. возвратилась из Москвы в Крым около 2 апреля.

[9] Е.С. и Л.С. Лямины, Я.А. Глотов.

59. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

22 марта 1899 г. Феодосия

Дорогая мама!

Сегодня получил Ваше письмо с приложением прошения и обязательства.[1] Мое решение остается то же. Прошение в предлагаемой форме еще, пожалуй, можно подать, но подписать подобное обязательство – нет! Это было бы еще

осмысленно, если б действительно сейчас же после принятия и открытия университета возобновить забастовку — тогда это бы носило совершенно несериозный и опереточный характер и показало бы, что студенты смотрят на закрытие университета как на пустую формальность, которую они готовы скорее исполнить для того, чтобы продолжать прежнюю борьбу. Так это и разумно и честно. Желаете подписку? — Извольте-с! — ведь она имеет ровно столько же значения, как ваше «честное» слово! Так что ж тут разговаривать. Но будут ли беспорядки продолжаться? Я думаю, что нет. Ведь большинство, наверное, воспользуется этой подпиской, как благовидным предлогом для того, чтобы спокойно заботиться о своем переходе на следующий курс. Я вполне согласен с Пешковским, что вторых беспорядков начинать не следовало, но теперь, раз уж они начаты, оканчивать их моментально, по первому требованию начальства принося повинную и давая подписку, — нечестно. А потом обратите-ка внимание на самый текст: «не участвую и не буду участвовать в забастовке» — ведь этим они воспользуются еще в будущем, когда не будут удовлетворены первые три требования нашей программы. А что они удовлетворены не будут, ведь это теперь наверняка можно сказать. Нет! Я только тогда решусь подать такое прошение с обязательством, когда узнаю, что решено забастовку продолжать: продолжать, если даже и лекции прекратятся и начнутся экзамены, продолжать даже и во время экзаменов, не являясь на них так же, как мы раньше не являлись на лекции.

Но это все, впрочем, невозможные утопии, и хотя студенчество в этом году сделало столько, сколько я никак от него ожидать не мог, но все-таки забастовку во время экзаменов оно не устроит. За свою идею — ехать за границу — я держусь твердо и препятствий в этом отношении в сущности нет никаких: помните, после окончания гимназии вы мне сами одно время советовали ехать в заграничный университет; из этого я заключаю a priori, что вы лично и теперь ничего против этого иметь не будете. Относительно места — куда именно? я вам писал, что либо в Брюссель, либо в Берлин. Но в Брюсселе, как оказывается, тот Université Nouvelle, о котором я думал, <по> последним известиям закрыт по недостатку средств. Остается Берлин, в котором, кстати, будет и Пешковский и

в котором вот уже 2 года как живет Гауфлер. Я собирал тут в Феодосии сведения об условиях жизни в Берлине, и оказывается, по словам людей, живших там в качестве студентов, что там жизнь дешевле, чем в Москве. Я слыхал вполне достоверные сведения о людях, живших там, получая 20–25 рублей в месяц, а у меня целых 40. Но самое лучшее было бы, если б вы согласились на второе мое предположение и мы бы отправились вместе. Состояние Мишеля теперь значительно лучше: галлюцинации реже и бывают только моментами, но в высшей степени нервное состояние продолжается; занимается он по два часа в день, а иногда и больше (я Вам же писал уже, что Пав<ел> Павлов<ич>[2] разрешил ему заниматься только по 2 часа в день). На днях мы отправимся в Коктебель, и я думаю, что если мы там проведем неделю, то это окажет на него в высшей степени успокоительное и хорошее действие. Озерову я писал вчера[3] и просил его не хлопотать обо мне и, кроме того, просил совета относительно заграничного университета. До свиданья. Целую бабушку, дядю Гришу и дядю Колю,[4] Любу, Лёлю, Мишу,[5] Яшу[6] и Кобылинского и т.д. Поклон Ольге Мих<айловне>.[7] Не говорите же ей, пожалуйста, о болезни Миши. Что же такое с дядей Гришей? Почему Вы его привезли?[8] Что дядя Коля?

Макс.

22 марта 1899 год<а>.

Да, кстати – ведь если б я и подавал бы прошение, то это было бы только ненужным унижением, так как ведь они, конечно, будут выбор производить и меня едва ли бы приняли, разве уж только бы ради хлопот Озерова, но я бы его поручительства бы не принял (а он, как мне Пешковский передавал, поручился за меня). А потом, что это за комедия с медицинск<им> свидетельств<ом>:[9] ехать нельзя, потому что опять вышлют, а свидетельство все-таки представь; хоть это мелочь, но все-таки это ужасно глупо и нелепо.

Упреки Ваши я Мише передал,[10] сам же Вам ничего не возражаю потому, что вы всё уже поймете из предыдущего письма. В этом письме прилагается же и письмо Миши к Ольге Михайловне.

[1] Письмо Е.О. от 18 марта (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 64–65 об.), с бланком прошения о приеме в Московский университет. Секретарь канцелярии университета сообщил Е.О., что амнистия высланных аннулирована новыми волнениями и принимать в университет будут «с выбором».

[2] П.П. Теш.

[3] Письмо не сохранилось. Е.О. в своем письме передавала Волошину от И.Х. Озерова «поклон, просьбу серьезно готовиться к экзаменам и уверение», что он будет «принят в этом году», а также делилась впечатлениями от визита: «Мы посидели у Озерова довольно долго, рассказывая о разных комических эпизодах студенческой оперетки; но какой же этот Озеров тихий, вялый, — настоящая манная каша».

[4] Г.О. Глазер и Николай Оттобальдович Глазер (1853–1925, Франция). В 1898–1899 гг. жил у Н.Г. Глазер.

[5] Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[6] Я.А. Глотов.

[7] О.М. Струкова.

[8] В письме от 18 марта Е.О. сообщала, что «вчера привезла из Минска дядю Гришу».

[9] Е.О. в упомянутом письме предлагала Волошину взять у П.П. Теша свидетельство о болезни.

[10] Упреки М.П. Свободину за невнимание к его больной матери, О.М. Струковой, которая «скорбит, что Миша так редко ей пишет»: «...я молчу, негодую, но даже и за уши драть его за это мне не хочется: это было бы слишком нежной лаской. Негодный сынишко! скажи ему это».

60. Я.А. ГЛОТОВУ

22 марта 1899 г. Феодосия

22 марта. 1899 г.
Феодосия. Дурантевская улица, д<ом> Петровых.
Алекс<андре> Мих<айловне> Петровой.

Дорогой Яша!

Ты верно уже знаешь о моем решении не подавать прошения при таких, поставленных нам условиях,[1] и ехать в университет за границу? Это оказывается совсем не так трудно,

как кажется, и моих 40 рублей в месяц может хватить на вполне сносное житье, да еще с платой в университет и с покупкой книг. Это всё в Берлине, по самым точным известиям от людей, живших там. Каково жилось тебе в Ярцеве?[2] До тебя, верно, быстро всякие известия доходили, до меня же очень медленно и собственно вплоть до большой сходки[3] я решительно ничего не знал, так как Пешковский мне совсем ничего не писал, а мама почему-то об университетских делах вплоть до этого времени не писала. На днях здесь был Пешковский и, пробыв в Феодосии два дня, проследовал в Ялту. От него наконец я узнал все подробности. Досадно бывало: когда получишь откуда-нибудь из третьих рук какое-нибудь смутное отрывочное известие, то охватывало такое дьявольское желание бросить Феодосию и удирать в Москву, что я обыкновенно начинал прыгать по комнате от бешенства.

Что же теперь будет? Я согласен с Сашей,[4] что вторых беспорядков не следовало начинать, но теперь, когда уже они начались и дали результаты, их ни в каком случае прекращать не следует, и если б я только был в Москве, то я агитировал бы за забастовку и против экзаменов — это единственный логичный исход из настоящего положения. Ведь лекции-то, вероятно, и не возобновятся, а непосредственно всех распустят для подготовки, и ведь именно таким образом начальство наверное и рассчитывает избавиться от предполагаемого продолжения забастовки, как мне писала по крайней мере мама. Господи! и как это глупо вылететь в самом начале, сыграть роль пушечного мяса, первой жертвы и т.д. и потом не быть в состоянии действовать, когда хочется и когда надо сил. Ужасно глупо! А в Москву я по всем вероятиям не попаду уже — не знаю вот, как мама еще отнесется к моему решению: она еще не отвечала мне на это письмо.[5] Но я думаю, что она не будет против этого плана. Увидимся ли мы с тобою летом? Думаешь ли ты привести в исполнение свой план относительно путешествий? Давно ли ты вернулся в Москву? — Я ведь только сегодня узнал об твоем возвращении из маминого письма.[6] Немедленно по приезде мамы думаю переселиться в Коктебель и заниматься немецким языком. Ведь ты подумай, как глупо си-

деть в русском университете, когда на те же деньги можно свободно, оказывается, жить в Берлине, где некоторые русские живут даже на 20 рублей, конечно впроголодь, но живут же ведь все-таки. А потом, как говорил мне один господин, учившийся <в> Берлине, там существует большой спрос на уроки русского языка по 40 коп. в час – и это ведь хорошо. Словом, еду. Ивану Христофор<овичу> я писал уже об этом и просил у него совета относительно Берлина.[7] Заниматься я думаю тогда только общими социальными науками, т.е. политическ<ой> экон<омией> и фина<н>сов, а преимущественно историей и искусством. Я уже достал себе даже расписание лекций в Берлинском университете, правила для студентов и план Берлина и каж<дый> вечер раскрываю план и отправляюсь в Берлин. Сперва, разумеется, приезжаю на вокзал, облюбовываю на плане поблизости от университета улицу, на которой нанимаю квартиру, и затем иду в Университет, а придя туда, оставляю план и начинаю изучать университетские правила со словарем, так что это мне служит одновременно и удовольствием, и упражнением в немецком языке. Вчера, между прочим, по дороге в университет заметил какой-то «militär Kabak» – нужно будет сегодня зайти туда.

Ну до свиданья. Жду от тебя всяких сведений и отчета о студенч<еских> делах с отъезда Пешковского. Что у нас в з<емлячест>ве делается?[8] Кто председатель? кто кассир? Пиши, пожалуйста, и побольше. Кланяюсь Екат<ерине> Владим<ировне> и Людм<иле> Влад<имировне>.[9] Целую Лёлю, Любу и Мишу,[10] кланяю<сь> Иван<у> Хрис<тофоровичу> и Кобылин<скому>. Он, мне Саша говорил, все бунтовал и выставлял одно требование: «возвращение Макса». Я никак не ожидал такой любви ко мне, и мне теперь все невольно вспоминается фраза покойника Варба:[11] «А я про него так часто дурно говорил». И теперь, если мне когда-нибудь еще приведется слушать реферат Кобылинского, я невольно воскликну: «О! это так же гениально, как все, что пишет Кобылинский!» Бедный Варб! нам с тобой не пришлось даже на похоронах у него быть и из студентов там были только Лавров и Свободин, знавшие его по моим рассказам. Мне теперь так

стыдно, что я тогда не пошел, когда он звал меня через тебя. Ужасно. Что со всеми его рукописями и работами сталось? Поблагодари Кобылинск<ого> за участие.

Макс.

[1] См. п. 58, примеч. 1.

[2] Место пребывания Глотова после высылки из Москвы за участие в студенческих волнениях.

[3] См. примеч. 6 к п. 57.

[4] А.М. Пешковский.

[5] Имеется в виду п. 58.

[6] О том, что у И.Х. Озерова Е.О. Кириенко-Волошина застала Глотова, «вчера вернувшегося из Ярцева», она сообщила сыну в письме от 18 марта (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646).

[7] См. п. 59, примеч. 3. И.Х. Озеров отвечал Волошину около 25 марта: «Конечно, не может быть и колебания, поезжайте *в Берлин*, непременно *в Берлин*. Брюссель – душный город, скучный, и университет заманчив только по имени... в Берлине же Вы всё найдете – и искусство, и историю, и широко развитую общественную жизнь, и прекрасный университет <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 908).

[8] Подразумевается Крымское землячество.

[9] Е.В. Глотова, мать Я.А. Глотова, и ее сестра.

[10] Е.С., Л.С. и М.С. Лямины.

[11] Е. Варб – псевдоним экономиста Якова Федоровича Браве (1866–1899), умершего в Москве 15 февраля 1899 г.

61. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

25 марта 1899 г. Феодосия

Дорогая мама!

Вчера, после того как мы получили Вашу телеграмму, Миша отправил сейчас же прошение;[1] я же на основании сведений, полученных из Яшиного письма, пришедшего вслед за телеграммой, в своем решении упорствую. Яша[2] пишет, что он, по словам Озерова, едва ли будет принят и поэтому ждет высылки. Какой же смысл мне-то подавать прошение? Ведь у меня еще больше шансов быть непринятым, чем у Яши, и

выходит, что если я подам теперь прошение, то, пожалуй, еще меня снова заочно вышлют из Москвы и определят мне в течение года сидеть в Феодосии, и тогда я уже не смогу в Берлин уехать. Кроме того, подача прошения с моей стороны не имеет смысла и для поддержки товарищей, потому что все равно же я не смогу принять участия в последующих забастовках. Что же с Яшей? В Москве ли он? Куда он направится, если его вышлют? Не в Ярцево же снова? Здоровье Миши лучше. Галлюцинации прекратились совсем, сердцебиение повторяется тоже редко. Но тем не менее пока он остается здесь в Феодосии, ни за что поручиться нельзя; даже сегодня вечером может повториться все сначала, если что-нибудь приключится такое, что его снова расстроит. Надо отдать полную справедливость Лиде,[3] что она удивительно тактично с ним обращается, и это успокоение его в настоящее время нужно приписать исключительно ей одной. Но его спокойствие в настоящее время — спокойствие напряженное и не нормальное, и пока он здесь вблизи нее, оно при каждом неосторожном слове с ее стороны может разразиться таким же сильным припадком. Мы бы с ним отправились в Коктебель, но стоят такие дурные погоды и льет такой дождь, что это немыслимо. Когда думает приехать Ольга Мих<айловна>?[4] Теперь, вероятно, с отменой экзаменов уже скоро. Тогда бы он отправился в Ялту, а пока до ее приезда мы бы могли пробыть в Коктебеле. Я, как только Вы вернетесь, еду сейчас же вместе с Вами в Коктебель и сажусь там за изучение немецкого языка. Буду читать Шерра[5] и зубрить слова. Скоро ли Вы теперь уже приедете? У нас тепло, но вот дожди всё. Думает ли Яша приехать летом в Крым? Я ему писал дня за два до получения его письма. Что, собственно, такое случилось с экзамен<ами>? Отложены ли они на осень или забастовка решена бесповоротно? Захватите, пожалуйста, из моих книг в Москве Брандеса[6] и I том Капитала[7] у Яши. Если у Вас есть лишние деньги, то купите мне, пожалуйста, в Москве пятый том Истории Кареева (XIX в. после июльс<кой> революции до 70 г., кажется).[8] Эта книга стоит очень дорого (кажется, 5 рублей), но она мне очень была бы нужна, я летом хочу заниматься историей XIX в., а здесь

ее нигде не достанешь – совсем нет. Я вам тогда в июле отдам деньги. Алекс<андра> Мих<айловна>[9] просит Вас привезти ей ее часы, которые она оставила Любе[10] для починки. Когда Люба приезжает в Крым? Может, уж с Вами? Куда думают ехать Миша и Лёля[11] на лето? До свиданья. Целую бабушку, Любу, Лёлю, Мишу, Яшу, дядю Гришу и дядю Колю.[12] Поклон Кобылинск<ому> и Ольге Михайловне.

Макс. Волошин.
25 марта 1899 г. Феодосия.

[1] М.П. Свободин. Прошение – о принятии в Московский университет.

[2] Я.А. Глотов.

[3] Л.А. Соломос.

[4] О.М. Струкова.

[5] См. примеч. 9 к п. 51.

[6] См. примеч. 15 к п. 45.

[7] «Капитал» Карла Маркса; 1-й том (1867) этого труда в переводе В.Д. Любимова вышел в Петербурге в 1898 г. третьим изданием.

[8] Труд Н.И. Кареева «История Западной Европы в новое время. XIX век, средние десятилетия. От Июльской революции до падения Второй империи (1830–1870)» (СПб., 1898); его первые четыре тома вышли в свет в Петербурге в 1892–1894 гг.

[9] А.М. Петрова.

[10] Л.С. Лямина.

[11] М.С. и Е.С. Лямины.

[12] Г.О. и Н.О. Глазеры.

62. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

29 марта 1899 г. Феодосия

29 марта 1899 г. Феодосия.

Дорогая мама!

Это, верно, уж мое последнее письмо, и я на него ответа не получу.[1] Странно, что до сих пор нет от Вас никакого письма от Вас с ответом на мои проекты о Берлине. Я сегодня получил письмо от Озерова: прекрасное, теплое письмо, в котором он говорит, что мне непременно нужно ехать в Берлин,

говорит, как нужно там работать, что наблюдать, и рисует такую завлекательную картину, что у меня решительно всякие сомнения исчезли.[2] Получил я и от Яши два письма с рассказом об студенческих делах.[3] Цел ли он еще? Я писал ему еще до получения этих писем, теперь же еще не ответил,[4] ожидая все или его самого, или адреса его нового местопребывания. Настроение Миши[5] очень нервно: то очень высоко подымается, то сразу падает. То письмо, которое он пишет Вам, я читал: оно вполне искренно и правдиво. Он все боится, что вы его и тут заподозрите в позерстве. Письмо Ольги Мих<айловны>[6] я тоже читал. Я с ним вполне согласен, но относительно безвыездности из Коктебеля – я этого тоже не понимаю. Такое требование, по-моему, только скверно может повлиять на него в настоящее время. Да, подумайте действительно: ведь это и слишком жестоко и может быть очень вредно. Тут необходимо сообразоваться с обстоятельствами. Пожалуйста, уезжая из Москвы, захватите мой альбом и мои письма. А также купите мне самоучитель английского языка, так как Озеров взял с меня слово теперь же одновременно с немецким яз<ыком> начать изучать английский. «Иначе, – пишет он, – Вы очутитесь в положении человека перед дверьми закрытого рая, манящего Вас такими цветами, о которых вы и не мечтали никогда». Впрочем, кажется, у Вас цел Оллендорф[7] или уже исчез? И пожалуйста, не забудьте о V томе Кареева,[8] если можно. Не знаю, нужен ли мне немецк<ий> учебник или мне лучше всего непосредственно заниматься чтением.

Целую бабушку, дядю Колю, дядю Гришу[9], Любу, Лёлю, Мишу и Яшу.[10] Я ему завтра непременно напишу. Когда поедете, наберите с собою побольше всяких прокламаций и бюллетеней. Поклон Ол<ьге> Михайл<овне>.

Макс. Волошин.

Ах, мама, вот еще просьба: купите мне у Мюра[11] пластинки металлические для башмаков. Там есть и для каблуков и для подошв: так уж целый прибор (25 к.) и даже лучше в двух экземплярах.

[1] Подразумевается ожидаемый приезд Е.О. в Крым в начале апреля 1899 г.

[2] Речь идет о недатированном письме И.Х. Озерова, отправленном около 25 марта (см. примеч. 7 к п. 60).

[3] Ранние письма Я. Глотова к Волошину были около 1934 г. переданы ему М.С. Волошиной для работы над мемуарами. К подборке писем Я. Глотова к Волошину приложена записка М.С. Волошиной: «Вынуто 95 пи<сем> Я. Ал. Глотова по его собственной просьбе для работы над ними. И обещано по миновению в них надобности вернуть. М. Волошина»; позднейшая карандашная приписка: «(Глотов был арест<ован> в 1937, письма пропали)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 425).

[4] Письмо Глотову Волошин написал в тот же день (п. 63).

[5] М.П. Свободин.

[6] О.М. Струкова.

[7] Из множества пособий, принадлежащих автору «новой методы» изучения иностранных языков Генриху Готфриду Оллендорфу, здесь подразумевается, скорее всего, «Ключ к упражнениям по руководству к изучению английского языка по методе Оллендорфа» (М., 1885).

[8] См. примеч. 9 к п. 61.

[9] Н.О. и Г.О. Глазеры.

[10] Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[11] Московский универсальный магазин «Мюр и Мерилиз».

63. Я.А. ГЛОТОВУ

29 марта 1899 г. Феодосия

Феодосия. Дурантевская улица, дом Петровых.
29 марта 1899 г.

Дорогой Яша!

Спасибо тебе за твои оба письма.[1] Ты себе представить не можешь, какое удовольствие доставляет мне всякое известие о студенческих делах и как я корчусь в судоргах от невозможности видеть всё самому. Ужасно мне хочется, чтобы меня снова выслали, а то, право, меня так скромно, без всякой обстановки, в 10 часов утра взяли, да еще целые сутки ждать

заставили.[2] Вот ты счастливец, – тебя как следует – ночью, торжественно...[3]

Вчера тут был высланный Бобович[4] и рассказывал, с какими овациями их встречали при проезде харьковские студенты, причем полиция харьковская, которой на вокзале было очень много, вела себя удивительно – совсем на европейский лад – в ту залу, где собрались студенты, постороннюю публику не впускала, говоря, что туда только студентам можно, и сама не входила. Так что сходка или, скорее, революционный банкет, происходивший там, совершался под охраной полиции.

Тут в Феодосии я нашел нескольких интересных людей: политических высланных (по рабочим движениям). Все бывшие московские студенты, все в достаточной мере чахоточные (их 3), и у всех трех жены – фельдшерицы-екатериновки[5], причем одного зовут Николаем Николаевичем, другого Павлом Павловичем, а третьего Евгением Евгеньичем и все три по одному делу. Ну не умилительно ли в наш практический и прозаический век видеть в людях такую глубокую солидарность даже в мелочах. Все они чрезвычайно милые люди, особенно Пав<ел> Пав<лович> Покровский, с которым (о Господи!), оказывается, я вместе учился в Москов<ской> I-ой гимназии и он был старше меня на два года. Он ярый марксист. И вообрази: нисколько не похож на Кобылинского, и я благодаря ему начинаю чувствовать к марксистам глубокое почтение. Он пишет статьи в «Научном Обозрении», получает «Начало»[6] и несколько английских экономических журналов. Теперь он занят статьей об экономическом положении Австралии. Я просил у Озерова указать для него материал в текущей прессе и, если можно, выслать сюда на время некоторые книги, имеющиеся у Ив<ана> Христоф<оровича>, под моим ручательством. Пожалуйста, если ты теперь в Москве, похлопочи об этом. Я Ивану Христофор<овичу> писал подробности. Вчера я получил от него прекрасное письмо, в котором он советует непременно ехать за границу.[7] Письмо такое хорошее, что я от удовольствия совсем с ума сошел и по крайней мере раз двадцать прочел вслух.

Я тут занимаюсь пробуждением общественного сознания: вывесил в городской читальне протест против получения

«Нового Времени».[8] Под ним уже подписалось 30 посетителей и сегодня назначено экстренное собрание членов комитета, заведующего городск<ой> библиотекой, для обсуждения этого инцидента, который приобретает особенный характер потому, что Суворин летом всегда живет в Феодосии на собственной даче и уверен в верноподданности своих феодосийцев.

Посмотрим! Если даже читальня и не откажется от «Нов<ого> Врем<ени>», то во всяком случае это попадет в местную газету... Ну до свиданья. Пиши почаще, а после приезда мамы в Коктебель до востребования. Приедешь ли ты сам в Крым и когда? Приезжай. Целую всех родственников. Кланяюсь Кобылинскому. Посылаю тебе нашу группу с Мишелем.[9]

Макс Волошин.

P.S. Не знаешь ли ты чего-нибудь о судьбе Арнольда, Блюма и Лаврова, а то мы ни слова от них с самого начала не имеем. Да! и еще прилагаю одно произведение нашей коллективной музы.[10]

[1] Эти письма не выявлены. См. примеч. 3 к п. 62.

[2] См. примеч. 1 к п. 54.

[3] Я.А. Глотов за участие в студенческих беспорядках также был арестован и выслан из Москвы.

[4] Студент юридического факультета Московского университета Юфуда-Шолом Моисеевич Бобович (1876–?); караим, окончил керченскую гимназию в 1897 г.

[5] Вероятно, подразумеваются выпускницы Училища ордена св. Екатерины в Москве, на Новой Божедомской улице.

[6] «Научное Обозрение» – еженедельный научный журнал, издававшийся в Петербурге с 1894 г. (издатель-редактор М.М. Филиппов); в 1901–1903 гг. выходил как ежемесячный журнал. «Начало» – ежемесячный научно-политический и литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1899 г. (5 номеров в 4 книгах; редактор-издатель А.А. Воейкова, фактические редакторы П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, А.М. Калмыкова); орган легального марксизма. Запрещен в июне 1899 г.

[7] См. примеч. 7 к п. 60. В упомянутом письме И.Х. Озеров заверял Волошина: «...на Западе Вы приобретете *гораздо* более: только учитесь более, читайте газеты всех направлений, посещайте митинги, высасывайте из Запада все, что можно высосать».

[8] Протест вызван публикацией в «Новом Времени» статей А.С. Суворина, в которых осуждались студенческие волнения (см. примеч. 17 к п. 55).

[9] М.П. Свободин.

[10] Упомянутый текст при письме отсутствует.

64. В.Л. ГАУФЛЕРУ

31 марта 1899 г. Феодосия

Ach! mein lieber Weniamin!
Ich will fahren nach Berlin.
Und ich werde leben dort!!*
Понимаешь, старый черт?
Mein Gesicht ist rot und bunt.**
За большой московский бунт
Выгнан я: мне входа нет
В русский университет
Und ich werde, Weniamin,
Fahren прямо nach Berlin.***
Мы приедем с Сашей вместе!
Что? не ждал подобной чести?
Ach! mein lieber, Weniamin!
Ich will fahren nach Berlin!

Нет! сериозно, Веньямин, – вместе с Сашею[1] в Берлин мы приедем в конце лета. Наша песня здесь уж спета. Я без права поступленья исключен.[2] За поведенье три поставлено. Билет волчий дан. Исхода нет. И теперь, Weniamin, едем прямо nach Berlin.

* Ах, мой дорогой Вениамин! // Я хочу поехать в Берлин. // И я буду там жить!! (*нем.*)

** Лицо мое красное и разноцветное (*нем.*).

*** И я поеду, Вениамин, прямо в Берлин (*нем.*).

Не знаю, слыхал ли ты о том, что происходит в настоящую минуту в русских университетах. Вероятно, у вас там ходят отрывочные и неполные слухи. Видишь ли (опишу вкратце ход событий): 8 февраля, в годовщину основания Петербур<гского> универ<ситета>, студенты, возвращаясь с акта по домам, не были пропущены полицией через мост; и когда таким образом перед мостом образовалась толпа, то казакам приказано было ее разогнать нагайками, причем на месте осталось трое убитых, один студент, курсистка и сторож конно-железной дороги, бывший в толпе.[3] После этого в течение двух недель студенты *всех* высших учебных заведений *во всей* России объявили, что пока виновные не будут наказаны, они будут препятствовать правильному ходу университетской жизни и не станут посещать лекций: один за другим все они были закрыты (самими студентами). Причем тут были не только универс<итеты>, но и все техническ<ие>, все институты: сельск<о>хоз<яйственный>, путей сообщен<ия> и т.д. Тогда в университетах начали сотнями исключать забастовщиков и высылать на родину. Наконец, благодаря возмущению общества и, главное, благодаря частным, личным интригам в среде министров, была назначена комиссия для расследования дела, под председ<ательством> Ванновского.[4] Волнение во всех учебн<ых> завед<ениях> моментально улеглось, и только университеты продолжали забастовку, требуя немедленного возвращения* всех высланных. Тогда по очереди все они были закрыты правительством и все студенты исключены. Предложено всем снова подать прошения с обязательств<ом> не участвовать в беспорядках. Решено было прошения подать, обязательство подписать и забастовки продолжить, даже во время экзаменов. В настоящую минуту из Москвы выслано и исключено более двух тысяч! Но все пока держатся твердо и все оканчивающие отказались держать государственн<ые> экзамены, не говоря уже об остальных. Я был в самом начале арестован и выслан на год в Феодосию. Теперь же я исключен без права поступления и выезд из Феодосии мне разрешен. Саша (только чудом) уцелел и сам уехал из Москвы, бросив совсем Московский унив<ерситет>, чтобы ехать в Берлин. Вот всё в самых общих чертах.

---

* *В автографе явная опечатка*: исключсния.

Итак, значит, скоро увидимся и заживем снова все вместе. Каковы условия жизни в Берлине? Можно ли прожить, имея 40 рубл<ей> в месяц, считая сюда же плату в универси<те>т (по юрид<ическим> и истор<ическим> наукам – следовательно, без практ<ических> занят<ий>)? Мне тут говорили, что можно. Когда в Берлине начинается осенний семестр? Ну! до скорого свиданья. Пиши мне в Феодосию до востребования.

Макс. Волошин.
31 марта 1899 г. Феодосия.

[1] А.М. Пешковский.

[2] В студенческом деле Волошина имеется датированное 17 февраля 1899 г. свидетельство об увольнении его из Московского университета «вследствие постановления правления Университета» (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, дело 436, л. 9).

[3] Основанием для выступлений студентов послужило объявление ректора Петербургского университета В.И. Сергеевича с предупреждением о грозящих им репрессивных мерах в случае нарушения порядка в день празднования (8 февраля) годовщины основания университета. Во время торжественного акта студенты сорвали выступление ректора шиканьем, криками и свистками; после окончания церемонии в университете отряды конной полицейской стражи загородили студентам дорогу к ближайшему Дворцовому мосту и направили их к Николаевскому мосту; у Румянцевского сквера конный полицейский отряд, вооруженный нагайками, атаковал студентов и устроил массовое избиение. См.: Доклад П.С. Ванновского о студенческих беспорядках 1899 года. СПб., 1906.

[4] 20 февраля 1899 г. было объявлено о расследовании хода событий под руководством генерал-адъютанта П.С. Ванновского.

65. Я.А. ГЛОТОВУ

3 апреля 1899 г. Феодосия

Дорогой Яша!

Получил сегодня твое четвертое письмо[1] и спешу тебе ответить, так как через день уеду в Коктебель, откуда коррес-

Заказ № 5706

понденция не скоро доходит. К слухам, ходящим относительно Берлинск<ого> университ<ета>, я могу тебе еще сообщить известие, привезенное сюда одним студентом из Берлина, о том, что Вирхов публично отказался от звания почетного члена русской медицинской академии. Бюллетень от 29<-го> я получил.

Известия, сообщаемые тобой, ужасно меня радуют. Чем это кончится все – Бог его весть, но все совершающееся так ново и необычно, что рождает массу надежд на лучшее будущее. Мы все-таки – сила. Ты ошибался, когда писал, что правит<ельство> может прямо закрыть университеты. Действительно: для русск<ого> прав<ительства> нет ничего невозможного... в сфере административных распоряжений: оно может высочайшим указом произвести всех рядовых в генералы, всех писарей в начальников отделений, но произвести административным путем московских дворников и городовых в адвокатов, докторов, учителей и т.д. невозможно даже и для русского правительства. В этой счастливой случайности вся наша сила. А впрочем Бог их знает – даже и в этом нельзя быть вполне уверенным. Во всяком случае Россия в настоящую минуту переживает момент очень интересный: в ней нет ни одного университета: мановением руки Боголепова[2] мы отодвинуты к началу царствования Елизав<еты> Петровны. Недурно и это для начала.

Был ли ты за это время у Жебунёвых? – у них верно есть много интересного. Где теперь Людмила Жебунёва? Кто теперь есть в Москве из знакомых студентов? Долго ли ты пробудешь в Голицыне[3] и когда думаешь приехать в Крым? Как жаль, что ты теперь же не приехал с мамой: это было бы гораздо лучше Голицына. Мама высказывается против моего отъезда за границу немедленно и рекомендует сперва запастись дипломом в Ярославском лицее. Я, пожалуй, отчасти согласен с мамой, но сильно сомневаюсь, что меня примут в этом году куда бы то ни было. Хотя, действительно, это было бы недурно пройти всё ускоренным маршем, чтобы после совершенно свободно дернуть за границу. Не выкинуть ли, может, такой курбет: утилизировать богомерзкий Катковский лицей[4] с его

трехгодичным курсом? Но я все-таки, несмотря ни на что, думаю, что лучше всего было бы бросить все и прямо ехать за границу. Что ты думаешь делать? Станешь ли ты осенью подавать прошение?[5] Эх, приезжал бы ты поскорей, – сейчас же после Пасхи с Любой:[6] ужасно хочется поговорить. Получил ли ты мое письмо с фотографической карточкой?

Когда будешь ехать, то советую тебе приобрести металлических пластинок для каблуков и для подошв, а то тут в горах без этого всякая обувь скоро к черту пойдет. Когда будешь покупать, то не забудь купить и на мою долю несколько штук: пришли их с Любой, если она раньше тебя поедет. (Их можно у Мюра[7] купить). Но лучше всего приезжай-ка сейчас после Пасхи вместе с Любой. Ну довольно. Из Коктебеля теперь буду писать. Целую Любу, Лёлю и Мишу.[8] Поклон Екат<ерине> Владим<ировне> и Людмил<е> Вл<адимировне>.[9]

Макс. Волошин.
3 апреля 1899 года.
Феодосия.

[1] См. примеч. 3 к п. 62.

[2] Министр народного просвещения (в 1898–1901 гг.) Н.П. Боголепов распорядился 19 марта 1899 г. об увольнении всех студентов университетов и объявлении нового приема.

[3] Дачное место под Москвой (в Звенигородском уезде Московской губернии, одноименная железнодорожная станция Московско-Брестской железной дороги).

[4] Основанный М.Н. Катковым в 1868 г. московский Лицей в память цесаревича Николая.

[5] Подразумевается прошение о новом зачислении в студенты Московского университета.

[6] Л.С. Лямина.

[7] См. примеч. 11 к п. 62.

[8] Е.С. и М.С. Лямины.

[9] Е.В. Глотова и ее сестра.

66. Я.А. ГЛОТОВУ

18 апреля 1899 г. Коктебель

Веет ветер, проходят облака... Море синеет... Тихо... тихо... тихо... Внизу пропасть; изломанные, истерзанные, судорожно стремящиеся к небу скалы... Над головой стены каменного грота и пробивается свеженькая травка между камней... А там, впереди необозримые равнины вод... Тихо... Даже шума волн не слышно – слишком высоко. Море слилось с небом, небо с морем. Сидишь точно на краю беспредельной, необъятной воздушной бездны. Рябь похожа на дальние облака над горизонтом, облака на рябь. Хорошо и тихо. И тишина какая-то звучная, полная, совсем непохожая на обыкновенную тишину...

Ну, одним словом, Яша, приезжай скорей и будем ползать по скалам и по окрестностям вдвоем, а то Мишель[1] в этом отношении плохой товарищ: все сидит дома – только два раза удалось его вытащить. А с тобою бы мы полазили вволю.

Где ты теперь и что теперь делаешь? Мы с приезда <ма>мы, т.е. с 5 апреля, живем в Коктебеле. Неделю назад я был в Феодосии и не нашел ни одного письма на мое имя, так что ровно ничего не знаю, что делается в Москве. Последнее твое письмо было от 29-го. Кое-какие слухи доходят из Харькова и из Киева – потому что оттуда только теперь начинают тянуться вереницы высланных.[2] Доходят тоже более ясные слухи о предполагаемых и о начинающихся рабочих стачках, но все это так туманно, неясно, что ничего не разберешь. Получил ли ты все мои письма? Это четвертое по счету. Второе было между прочим с фотографической карточкой. Может, письма не доходят? Писал ли ты мне после 29-го? Вот тоже и от Пешковского ни звука, хотя я ему два раза писал. Мне лично, собственно, писать нечего: по целым дням сижу и занимаюсь, либо просто читаю. Что буду с собою делать в настоящее время, совсем не знаю. Подожду для окончательного решения выяснения положения. Завтра мы с Мишелем отправимся в

город, и я надеюсь найти от тебя письмо. Когда думает ехать Люба?[3] и куда сперва – к нам или в Ялту? А самое лучшее, знаешь, приезжай ты сам скорей. Ну пока до свиданья. Кланяюсь и целую всех родственников. Завтра, если получу письмо, то припишу еще. Что делает Озеров? Скоро ли он уезжает?

Макс. Волошин.

Апрель. Число не помню. Первый день Пасхи.[4]

[1] М.П. Свободин.

[2] Имеются в виду студенты Харьковского и Киевского университетов, высланные за участие в акциях протеста.

[3] Л.С. Лямина.

[4] Пасха в 1899 г. – 18 апреля.

67. И.Х. ОЗЕРОВУ

6 мая 1899 г. Коктебель

Дорогой Иван Христофорович!

Простите меня за то, что я так долго не отвечал:[1] это зависит теперь не от меня. Я живу в настоящее время в деревне, т.е. вернее сказать в пустыне, куда письма и газеты доходят раз в неделю, а иногда и реже; поэтому Ваше письмо пролежало неопределенно долгое время в городе, и перспектива отправить ответ представилась мне только теперь. А пустыня эта прекрасная: людей нет – одни горы да море, да ветер... Море все шумит и перебирает камушки на берегу; горы зубцами подымаются в небо и отвесными стремнинами падают в море, а ветер, бесконечно не смолкая, гудит между скал.

Я по целым дням сижу у окна, в которое глядится море, и читаю, пишу, занимаюсь..., а когда надоедает, то на целый день ухожу в горы и тогда уж не вижу ни одного живого существа. На горах растет лес: большой, тенистый с зелеными просветами и мягкими лужайками, на самых вершинах мелкая пахучая трава и большие камни, насквозь пропитанные этим сильным, пряным, горным запахом серой травы и покрытые, как старой полуоблупившейся иконописной византийской

живописью, большими желтыми, красными, коричневыми и черными лишаями.

Вершина... Необозримые, бесконечные равнины вод... Море, как зеркало: ни ряби, ни волны, только одни какие-то широкие синие полосы, на почти белом едва только тронутом синевой фоне. Это течения... Тихо... тихо... Ветер застыл. Солнце раскаляет плиты, и аромат травы становится яснее.

Под ногами пропасть с истерзанными и изломанными скалами.[2] Они судорожно поднимаются вверх, как гигантские языки пламени. Между ними почти отвесно спускаются узкие каменные ущелья, видны внизу зеленые недоступные площадки, узкие парапеты, склоны, образованные осыпавшимся щебнем... Местами скалы подымаются стенами крепости с башнями и амбразурами, в которых лежат орлиные гнезда... Я часто спускаюсь вниз и карабкаюсь по скалам, стараясь спуститься вниз в закрытые бухточки, доступные только с моря, над которыми разрослись между скал огромные сады с беседками из винограда, а через эти сады текут серебряные, звонкие ручьи, спадая каскадами со скалы на скалу, образуя маленькие бассейны и наконец исчезая в какую-нибудь амбразуру в скале. После они низвергаются вниз и теряются в песке небольшой бухты, со всех сторон окруженной мрачными отвесными скалами. Эти бухточки на три тысячи футов ниже. Карабкания эти не лишены опасности: недавно я, пробираясь на верх по новому пути, попал на одно местечко, которое представляло из себя не более как полукруглый выступ на отвесной стене. Назад вернуться — невозможно, потому что те камни, по которым я дополз сюда, частью уже скатились вниз, а впереди стена, на которой несколько маленьких выступов, но и те готовы рухнуть. Мы (я был с товарищем[3]) провели там полтора часа, и только каким-то чудом удалось нам взобраться... Это был самый опасный из всех совершенных мною подъемов.

Так проходят у меня дни. Занимаюсь я английским и немецким языком и массу читаю. Относительно того, что я буду делать, не решил еще. Мама мне представила те же резоны, против заграницы, что представляла и Вам, когда была у Вас.

То, что она говорила об моем характере Вам: это все вполне верно. Я всегда горячо берусь за дело, но быстро остываю и увлекаюсь другим. Я, кажется, в состоянии быть всем, но только не тружеником, т.е. я могу работать только над тем, что меня интересует, мне нравится, меня увлекает. У меня нет в работе никакой выдержки, никакой системы... другими словами, я лентяй. Кроме того, я всегда страшно увлекаюсь обществом: вот теперь я сижу целыми днями за книгой, а в Москве, случалось, я целыми неделями не заглядывал ни в одну книгу. Мама мне советует так: кончи университет в России, а тогда ступай за границу доканчивать образование. Практически она права. Я не могу не признать это. Это и благоразумно и справедливо: я теперь все-таки далеко не подготовлен к действительному, всестороннему восприятию того, что я там увижу, а с другой стороны, смотря на себя со стороны, не могу не признать, что до сих пор я еще не проявлял никаких основательных данных на то, чтобы с уверенностью можно было про меня сказать, что сделаюсь ученым и пойду по этой дороге. Но сам я думаю иначе: если я останусь здесь в России, то прежде всего мне придется попасть в какой-нибудь Ярославский лицей, либо в Дерпт, в Казань,[4] потому что ни в Петербург, ни в Киев меня, разумеется, не примут. Потому что, если только студенческие волнения возобновятся, то я опять окажусь исключенным, потому что быть в стороне считаю нечестным: тут можно быть или против, или за, но в обоих случаях надо действовать. За границей же на меня хлынет новая жизнь, там я буду работать и, оставив юриспруденцию вообще, займусь исключительно науками экономическими и историей, т.е. тем, что меня действительно интересует и увлекает. Да потом ведь одно пребывание там это уже даст больше, чем весь курс специально юридических наук. Нет! Поеду за границу, – это почти верно.

Скоро ли Вы уезжаете из Москвы? Мой адрес теперь просто: Феодосия. До востребования. Куда мне писать Вам, когда Вы будете за границей?

В каком положении теперь наши студенческие дела? Вы пишете, что половина из 800 будет принята.[5] А другие 2000 высланных? И потом неужели эти 400 будут приняты только

под условием принесения извинения и покаяния, как сообщал Тихомиров[6] моей маме? Вот ни за что бы я не стал еще прощенья просить. Ведь это насмешка просто!

До свиданья, Иван Христофорович. Кланяюсь Наталье Андреевне. Как ее переводы?[7]

Макс. Волошин.[8]

[1] Волошин написал это письмо более двух недель спустя по получении недатированного письма Озерова, относящегося к первой половине апреля 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 908).

[2] Описывается Кара-Даг – горный вулканический массив близ Коктебеля.

[3] М.П. Свободин.

[4] Подразумеваются Дерптский (Юрьевский) и Казанский университеты.

[5] «Из 800 человек наверно половина будет принята обратно», – сообщал Озеров Волошину в упомянутом выше письме.

[6] А.А. Тихомиров – ректор Московского университета с марта 1899 г.

[7] Имеется в виду Н.А. Гандурина, сестра Елены Андреевны Гандуриной (жены Озерова с 14 мая 1900 г.); работала над переводом драматической сказки Г. Гауптмана «Потонувший колокол». См. примеч. 8 к п. 54.

[8] По всей вероятности, одновременно с письмом Волошин отправил Озерову (6 мая 1899 г.) свой фотопортрет с автографом стихотворения на обороте («Мой дух широк: он обнимает...»; т. 2 наст. изд. С. 368) (РНБ, ф. 541, ед. хр. 494).

68. Я.А. ГЛОТОВУ

21 мая 1899 г. Феодосия

Милый Якс!

Письмо твое я получил в Феодосии в день приезда Ольги Михайловны,[1] которая приехала 17<-го> и, побывав у нас в Коктебеле, уехала в Ялту, куда отправляюсь и я через несколько дней, чтобы увидаться с Сашей,[2] который к 1-му июню уезжает в Московскую губернию на опытную станцию. Также хочется и Любу[3] увидеть, а она выедет из Москвы только 23<-го>, по словам Ольги Михайл<овны>.

На Кавказ ехать не могу – денег нет: за два месяца совместной жизни с Мишелем[4] он мне задолжал 50 рублей, так что я теперь снова в долгах. Я вообще очень и очень разочаровался в нем за это время, особенно с приезда мамы, которая укрепила своей оценкой мои раньше колебавшиеся мнения. За месяц его пребывания в Коктебеле мы с ним расходились все больше и больше. Он чрезвычайно мил и интересен в обществе, у него большая опытность в разговоре, много импонирующей авторитетности, но на самом деле все это у него показное: за авторитетным тоном у него мало знаний, суждения его чрезвычайно узки и страдают всегда ультра-эгоистичной эстетической окраской и, кроме того, у него нет, что он и сам признает совершенно откровенно, никакого сознания, что он обязан что-нибудь делать для других, а если делает, то только то, что доставляет ему удовольствие. За все это время он не прочел ни одной строчки хоть какого-нибудь сериозного произведения. И все-таки, несмотря на все это, он симпатичен и талантлив; и симпатичен именно ребячьими сторонами характера. И при всем том я невольно сознаю, что многими перечисленными несимпатичными сторонами он удивительно похож на меня. Но ведь свои собственные недостатки, находимые в другом, менее всего прощаются. Ну довольно об этом – поговорим, когда увидимся. Почему ты раздумал ехать в Крым? Мы бы с тобой тут походили, и что в июне бывает жарко – это предрассудок: жара бывает в июле и та смягчается постоянно морем и ветром и во всяком случае не представляет из себя ничего такого, из-за чего не следовало бы ехать в Крым: в Москве летом бывает значительно хуже, чем здесь в июле. У меня, положим, есть возможность даром проехать в любой из кавказских портов на грузовом пароходе Российского Общества с братом Александры Михайловны,[5] но дело в том, что эти пароходы ходят не регулярно и никак нельзя даже приблизительно определить срока, так оный «брат» появляется в Феодосии всегда неожиданно и на минутку, так что и уловить-то его трудно. Об студенческих делах я не имею теперь почти никакого понятия: сведения доходят случайно и носят

чрезвычайно фантастический характер. Почему ты мне не хочешь ничего писать о себе? Ведь если ты не приедешь в Крым, кто знает, когда мы увидимся, а переписка с тобой представляет для меня не один же ведь интерес источника студенческих сведений и я тебе буду очень благодарен, если ты мне будешь отвечать. А в заключение могу тебе сообщить, что я теперь занимаюсь английским языком с Пав<лом> Павлов<ичем>.[6]

Макс. Волошин.

[1] См. примеч. 3 к п. 62. Упоминается О.М. Струкова.

[2] А.М. Пешковский. Волошин отправился в пешее путешествие в Ялту (совместно с матерью, Глотовым, Л.С. Ляминой и М.П. Свободиным) 6 июня, пробыл в Ялте с 10 июня до 7 июля 1899 г. (Труды и дни. С. 66).

[3] Л.С. Лямина.

[4] М.П. Свободин.

[5] Один из пяти братьев А.М. Петровой, скорее всего Александр Михайлович Петров.

[6] П.П. Теш.

69. Я.А. ГЛОТОВУ

Около 8 августа 1899 г. Феодосия[1]

Дорогой Яша!

Пожалуйста, поскорее узнай и немедленно напиши мне о моем положении в университете. Достоверно ли известие, сообщенное мне Михайлой Лавровым, что я буду принят в январе?[2] Если это так, то я немедленно выезжаю из Коктебеля и еду в Москву, чтобы, получив там заграничный паспорт, уехать за границу до января. Поэтому быстрый ответ мне очень важен, чтобы не терять здесь времени. Только не дай Бог, если меня вдруг еще помилуют и примут в августе, тогда мне будет плохо и уехать не придется. Как доехала Лёля? Видел ли ты Мишеля?[3] Вернул ли он тебе твои лекции Веселовского,[4] которые я ему поручил передать тебе? Теперь у нас Быховской, и он-то меня только что и надоумил ехать за границу до янва-

ря. Кланяюсь Екатер<ине> Влад<имировне>[5] и Люд<миле> Влад<имировне>. Целую Лёлю. Значит очень скоро увидимся в Москве, где я пробуду несколько дней.[6] Пиши скорей.

Макс. Волошин.

[1] Открытка, отправленная из Феодосии (дата на штемпеле неразборчива). Датируется по штемпелю получения: Москва 11 VIII 1899.

[2] На направленном Волошиным в конце июля 1899 г. на имя ректора Московского университета прошении о зачислении в студенты наложена резолюция: «До осени 1900 г.» (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, дело 436, л. 13).

[3] Е.С. Лямина и М.П. Свободин.

[4] Имеются в виду записи лекционного курса Алексея Н. Веселовского «История западной литературы XIX в.»

[5] Е.В. Глотова и ее сестра.

[6] Поездка Волошина в Москву тогда не состоялась.

70. Е.С. ЛЯМИНОЙ

Около 9 августа 1899 г. Коктебель

Дорогая Лёля!

Поздравь меня – я еду за границу. Весь вопрос только в том теперь, что действительно ли я буду принят в январе и не вздумает ли премудрое начальство меня вдруг помиловать на мою беду и принять в августе. Эх, поскорее бы мне ответ от Яши получить.[1] Впрочем, я уже без этого завтра начинаю хлопотать о заграничном паспорте. И как это вышло неожиданно! Вчера вечером Быховской меня спрашивает: «А что вы думаете делать до января?» – «Да что же? Буду сидеть в Москве и заниматься чем придется». – «А почему бы Вам не воспользоваться этим временем для поездки за границу?...» !!!!!!..... Меня осенило... Господи!! да как же это мне раньше это в голову не пришло? Да, разумеется, ехать сейчас, не теряя ни минуты! Мама вполне согласна и дозволяет мне сделать у самого себя внутренний заем,[2] с тем чтобы я это время провел в Германии и изучил язык. Я так и сделаю, но предварительно хочу еще

прогуляться: вот я сегодня рылся целый день в путеводителях и остановился на таком маршруте: проехать через Вену в Венецию; затем Милан, Лугано и оттуда пешком по Швейцарии через С<ен>-Готард и Фирвальдштетерское озеро в Цюрих. Оттуда в Шафгаузен и пешком вдоль по Рейну до Шпейера. Затем в Гейдельберг, Нюренберг и в Дрезден, где прожить месяц, специально занимаясь немецким языком, и наконец все остальное время провести в Берлине.

Сначала я думал проехать через Москву, но это выходит значительно дороже, так что придется это оставить и ехать через Одессу. Я думаю, что это все можно сделать через неделю, т.е. получить известие от Яши и получить паспорт и немедленно ехать.

Во всяком случае поторопи, пожалуйста, Яшу, если он еще не узнавал обо мне. Жаль, что я не увижу Жебунёвых перед отъездом: у них, кажется, есть знакомые между русскими в Цюрихе и они могли бы мне дать рекомендательн<ые> письм<а>, а иначе Бог весть, удастся ли мне завести знакомства в том круге. Попроси, пожалуйста, Яшу сходить как-нибудь туда и поговорить с ним об этом. Ну пока до свиданья. Может, завтра в Феодосии еще что-нибудь припишу.

Макс. Волошин.

[1] См. п. 69.

[2] Подразумевается дополнительная субсидия помимо ежемесячных процентных отчислений, получаемых Волошиным с его ценных бумаг.

71. Я.А. ГЛОТОВУ

16 августа 1899 г. Коктебель

Дорогой Яша!

Только что я получил оба твои письма,[1] и они меня очень огорчили, во-первых, тем, что доказали только одно, что извещение Михайлы Лаврова было основано очевидно на гипотетических данных. Это письмо отправится завтра и, следовательно, будет в Москве в пятницу 20-го, когда ты

мне, вероятно, уже напишешь окончательное решение моей участи. В случае же если почему-либо не успеешь написать до этого времени, то телеграфируй мне немедленно после того как узнаешь что-либо достоверное. Если ты напишешь 19-го, то я получу письмо в воскресенье 22<-го>. А так как, судя по твоему письму, решение никак не может быть объявлено позже 21-го, то в этом случае я в воскресенье получу твою телеграмму. (Феодосия. Волошину). Следовательно, субботу и воскресенье я пробуду в Феодосии, ожидая ответа. Но черт его побери, этот дьявольский университет, если он вздумает в великой милости своей принять меня в августе. Право, мне будет легче, если он объявит, что я совсем и никогда не попаду в русский университет – все-таки я тогда за границу уеду. А ты мне все-таки, если будешь телеграфировать, напиши, потому что, наверно, неясности будут в телеграмме. Мама тоже решила ехать со мной за границу. Маршрут наш таков: Одесса, Будапешт, Вена, Венеция, Милан, Аоста: оттуда по Швейцарии вокруг Монблана, через Шамони в Монтрё, потом по верховьям Роны, через Фурки у С<ен->Готард к Фирвальдштетерскому озеру, Люцерн, Инт<ер>лакен, Берн, Цюрих, Шафгаузен, Мюнхен, Нюренберг, Гейдельберг, Майнц, пешком по Рейну до Кельна, и наконец Лейпциг, Дрезден, Берлин. И ты подумай, какое свинство устроит университет, если примет меня в августе. Мама из Берлина возвращается обратно, а я остаюсь в Берлине до января. Я не могу ни читать, ни заниматься, ни гулять, а только изучаю немецких Бедекеров,[2] особенно Швейцарию, – я уже почти все тропинки по карте выучил наизусть.

Я писал Лёле[3] и просил ее попросить тебя сходить к Жебунёвым и достать от них адресы каких-нибудь русских за границей – это не особенно важно и специально за этим, пожалуйста, не ходи, но если попадешь к ним, спроси. Много ли в Москве теперь студентов и что слышно? Я надеюсь, что ты будешь держать меня зимой в курсе университетских дел, если я буду за границей. Когда все окончательно выяснится из твоего письма, мы с мамой немедленно выезжаем. Мы уже подали прошение выдачи свидетельств на получение заграничных пашпартов и получим их на днях. Заинька[4] пробудет у нас до

конца августа. Вспоминает все о петушке... Быховской в пятницу[5] уже уезжает. На случай принятия в августе узнай, пожалуйста, нет ли возможности отсрочить принятие до января.

Я так теперь занят путешествием, что ни думать, ни говорить о чем-нибудь другом решительно не могу. У меня, помнится, было очень много чего написать, но в настоящую минуту вспомнить, право, не в состоянии.

Макс. Волошин.
16 августа 1899 года. Коктебель.

[1] См. примсч. 3 к п. 62.

[2] Подробныс путсводители по европсйским странам и городам, выпускавшиеся фирмой Карла Бедскера.

[3] Е.С. Лямина. Имсстся в виду п. 70.

[4] Прозвищс Евгении Павловны Тсш (в замужествс Восйковой; 1873–1962), дочсри П.П. Тсша.

[5] Пятница – 20 августа.

72. Я.А. ГЛОТОВУ

22 августа 1899 г. Феодосия

Августа 22 1899 г.

Дорогой Яша!

Только что получил твое письмо. Спасибо. Я ужасно рад. Теперь, значит, мне можно будет остаться за границей до следующего августа.[1] Я уеду, вероятно, не раньше чем через неделю, так как со свидетельством о непрепятствии к выезду выходит задержка – полиция зачем-то отправила запрос в университет. Так что если ты мне будешь писать в день получения этого письма, то оно застанет меня в Феодосии, но лучше пиши на Севастополь Валентине Орестовне Селезневой на хутор Вяземских для передачи мне, так как мы там пробудем с мамой несколько дней.[2] При отъезде из Феодосии я напишу тебе адрес за границей. Я, разумеется, буду тебе писать из-за границы, и т<ак> к<ак> неприятно несколько раз писать одно и то же, то я предоставлю тебе право показывать

повествовательную часть моих писем всем знакомым, т<ак> к<ак> я собираюсь письма писать большие, так, чтобы они заменяли дневник. Взамен этого ты, пожалуйста, держи меня в курсе всех московских дел и событий. Пока до свиданья. Пишу у Соломос, поэтому неловко долго.

Макс Волошин.

Да! Кстати, пожалуйста, наведи в Университете справки, не могу ли я, прослушав четвертый семестр в Берлине (третий ведь у меня зачтен) держать в 1900 г. экзамен на 3 курс?

[1] В неизвестном нам письме Глотов извещал Волошина о решении вновь зачислить его в Московский университет осенью 1900 г. (см. примеч. 2 к п. 69).

[2] Намерение провести несколько дней у Вяземских не было осуществлено. См. п. 73.

73. Я.А. ГЛОТОВУ

25–26 августа 1899 г. Феодосия

Дорогой Яша! У нас планы с каждым днем всё меняются. Теперь мы с мамой едем уж в Париж, и я уж из Парижа возвращаюсь в Берлин, где по всем вероятиям пробуду до будущего августа. Я все бумаги уже получил и 26-го в четверг мы с мамой выезжаем в Севастополь. По всем вероятиям только там окончательно решится наш маршрут. Интересно, где теперь Пешковский: о нем ни слуху, ни духу, и я не знаю даже, куда писать ему. Люба и Ольга Михайл<овна>[1] остаются в Коктебеле до конца октября. Заинька[2] тоже на днях уезжает. Видал ли ты Мишеля?[3] Кобылинского? Озерова? Напиши мне об этом подробнее. Пока пиши в Вену post restante. Клан<яюсь> всем.

Макс. Волошин.
25 августа 1899 года.
Коктебель.

26 авг<уста>. К Вяземским не едем. Едем на Киев, Краков и Вену 29<-го> с Зайцем.

[1] Л.С. Лямина и О.М. Струкова.
[2] Е.П. Тсш.
[3] М.П. Свободин.

74. Я.А. ГЛОТОВУ

28 августа 1899 г. Феодосия

Твое письмо, Яша, застало меня еще в Феодосии.[1] Мы едем завтра 29-го вместе с Заинькой[2] на Киев, если только мама будет здорова, – она вчера вдруг заболела, но сегодня ей значительно лучше. Все составленные лекции и листки я сдал Озерову.[3] Сколько мне помнится, у него же оставались и записки – пусть он посмотрит. Если же их там нет (я не уверен в этом), то они, значит, у бабушки между книгами и бумагами моими, где именно – не знаю, потому что все мои пожитки укладывались мамой без меня. Поищи. Кстати: если найдешь связку статей, предназначенных для покойного «Сборника», то снеси их, пожалуйста, при случае к Гольцеву в редакц<ию> «Рус<ской> Мысли».[4] Но помнится мне, что всё и записки я отдавал Озерову. Теперь пиши мне в Вену. Центральный почтамт. Post restant. Max Voloshine. Непременно пиши обо всем. Что Мишель,[5] Кобылинск<ий> и ост<альные>?

Макс. Волошин.

[1] См. примеч. 3 к п. 62.
[2] Е.П. Тсш.
[3] Подразумевается неосуществленный замысел издания на гектографе лекций И.Х. Озерова по записям Волошина и Глотова (см. п. 52, примеч. 2).
[4] См. примеч. 6 к п. 24, примеч. 4 к п. 31.
[5] М.П. Свободин.

75. Я.А. ГЛОТОВУ

3/15—4/16 (?) октября 1899 г. Цюрих, Люцерн[1]

Этот отрывок первого письма к тебе я нашел сегодня у себя в столе и посылаю его тебе теперь, потому что в качестве первых впечатлений оно все-таки интересно – не докончил я его потому, что нельзя было вспоминать в то время, когда впечатления не давали покою.

Наконец-то я собрался с духом писать тебе, дорогой Яша. Мы в настоящее время сидим в Цюрихе (уже второй раз), теперь вечер и притом воскресенье[2] и дождь идет – значит, смотреть нечего. Мама теперь в другом углу комнаты стонет над нашим чемоданом и узлом, которые своей увесистостью отравляют нам жизнь и стесняют свободу движения, несмотря на то, что мы в каждом городе выбрасываем по несколько ненужных предметов и частями отправляем в Париж до востребования, а я под впечатлением твоего письма и письма Озерова[3] (твоего венского письма[4] я не получил – завтра напишу в венский почтамт) чувствую потребность отдаться воспоминаниям. Путешествие наше до границы было ознаменовано только многочисленными объяснениями с начальниками станций по поводу прицепки новых вагонов, выведением меня жандармом из дамского отделения, в которое я только что был помещен пред этим, как в мужское, обер-кондуктором, исчезновением нашей корзины, сданной в багаж, вместо которой нам предложили корзину, в которой мы признали собственность Заиньки,[5] столкновением со сторожем в соборе Св. Владимира,[6] за то что мама приподняла занавес у царских врат, чтобы рассмотреть картину, и т<ому> п<одобными> казусами. Наконец 7-го сентября мы подъехали к границе. В Радзивилове какие-то типичные евреи повлезали в вагоны и начали менять деньги. Наконец поезд отошел. Моросил дож<д>ь и кругом было болото, на котором щетинилась неведомо какая произрастаемость, вдоль по речке шлепали мальчишки без штанов. Вдруг мелькнул перед окнами вагона столб и около него австрий<ский> часовой в кепи. Сразу произошла разительная

Заказ № 5706

перемена. Дождь перестал идти; болото, хотя оно и осталось прежним болотом, но оказалось покрытым мягкой зеленой травкой, местами тщательно скошенной и сложенной в скирды, причем над каждой скирдой был устроен балдахинчик из соломы, чтобы ее дождем не мочило. По кустикам везде шныряли кролики и для полного завершения картины мальчики в штанах и с книгами под мышкой выходили из школы.[7]

Это все мелькнуло почти моментально, и поезд остановился в Бродах, где австрийские таможенные слегка пощупали поверхность наших вещей и наклеили какие-то марки. Затем нас повели в вагон и заперли, и поезд вдруг отошел. Так — просто отошел: без свистков, без звонков, без криков — взял да ушел. И никто по платформе не бегал, никто не суетился, не кричал, не пропихивал узлов в дверь вагона, все так совсем просто и никакой торжественности — мне даже как-то обидно было первое время и ехать. То ли дело у нас! Целых три звонка, да суетни сколько — чувствуешь по крайней мере, что едешь. А за окном начали мелькать незнакомые пейзажи. Немецкий бумельцуг[8] (медленный поезд) летел с такой энергией и быстротой, которая никогда и не снилась ни одному благонамеренному русскому паровозу. На станциях поезд стоял лишь чуточку: одни войдут, другие выйдут — и он снова валяет себе сразу вовсю, прямо от станции без всяких предупреждений. Мальчишки на станциях кричали «свéжа вóда» и продавали ее по несколько крейцеров за стакан. На станциях кроме немецких были надписи еще на каких-то славянских языках. Пейзаж был совсем не русский: не было ни сплошного леса, ни сплошного поля, а шли всё луга, пашни, огороды, каждое огражденное правильными рядами деревьев. Местность была холмистая, а налево синели отроги Карпатов. Вечером мы приехали в Краков. Прежде всего мы обратились с расспросами относительно гостиницы и др<угих> вещей к носильщику. Он очень предупредительно нам отвечал и поразил своей любезностью, а после спросил полгульдена за разговор. Это было начало. Затем мы попали в какую-то удивительнейшую польскую гостиницу (а еще вероятнее заезжий двор), где представителем Европейской цивилизации пред нами явился

молчаливый белокурый детина, с постоянно полным ртом и куском хлеба, намазанного маслом, в руке. О<н> не говорил ни на одном языке, кроме польского, да и на этом он повторял только одно слово «простирадло» (простыня). Комната отдавала запахом ватерклозета и обладала рваными обоями и расписными потолками. Тюфяки на постелях были набиты соломой, а подушки черт знает уж чем. Это была первая ночь за границей. Утром мы побежали смотреть город: старый, красивый, зеленый, на каждом шагу отдающий польским средневековьем. Там сохранились и средневековые крепостные стены, у которых разросся старый прекрасный парк, несколь<ко> красивых готических церквей — первых образчиков*

<вро>де<?> акрополя, в котором помещается теперь австрийский гарнизон, стоят гробницы польских королей[9] и из которого великолепный вид на Вислу. Но все-таки, несмотря на все это, мы с громадным удовольствием сели вечером в поезд, идущий на Вену. В серых сумерках рассвета передо мной мелькнул**

На этом месте я вчера был прерван мамой, которая окончательно пришла в отчаянье от чемодана и настоятельно потребовала, чтобы я бросил писать и думал... Сегодня утром мы приехали в Люцерн, и на наше счастье погода разъяснилась и мы увидели Альпы в первый раз в полном их блеске. Но об Люцерне подробности впредь, когда до него дойдет черед. Теперь мы сидим в маленькой гостинице Альпнаха у подошвы Пилата,[10] на который завтра и полезем. Возвращаюсь к рассказу: на рассвете мы по громадному мосту переехали через грязно-желтый разбухший от дождей, необозримый Дунай, который в это время устраивал в Вене небольшое наводнение, и подъехали к огромному Венскому вокзалу. Я особенно люблю это особенное чувство жгучего любопытства, когда в первый раз вступаешь на мостовую неизвестного города. Это очень хорошо передано в первой главе «Рима» Золя.[11] Это чувство я испытал в Вене особенно сильно, теперь же оно как-

* *Фрагмент последующего текста утрачен (отрезана часть листа).*

** *Фраза не дописана.*

то уже притупилось и потеряло всякую интенсивность. Было 6 часов утра, и Вена была еще вся подернута серым специально венским тума<ном>

Это письмо так и остановилось на полуслове.*

[1] Предполагаемая датировка относится не к вступительному абзацу и заключительной фразе, а к основной части текста. Заграничное путешествие Волошина началось с посещения Кракова (6/18–7/19 сентября) и Вены (8/20–12/24 сентября), далее – Венеция, Верона, «абонементный билет по Швейцарии» на месяц (Труды и дни. С. 67).

[2] Судя по реконструкции маршрута, даваемой Волошиным в п. 77, наиболее вероятно, что вторичное посещение Цюриха приходится на воскресенье 3/15 октября (следующее воскресенье – или ближайший к нему день недели – 10/22 октября, когда Волошин и его мать находились в Милане; см.: Труды и дни. С. 68).

[3] Имеется в виду письмо И.Х. Озерова от 11/23 сентября 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 908).

[4] Письмо, направленное в Вену до востребования.

[5] Е.П. Теш.

[6] Владимирский собор в Киеве, воздвигнутый в честь 900-летия крещения Руси (1862–1896; архитекторы А.В. Беретти, Р.Б. Бернгардт, К.Я. Маевский, В.Н. Николаев). Волошин и Е.О. Кириенко-Волошина пробыли в Киеве несколько дней в начале сентября (ст. ст.) 1899 г.

[7] Обыгрываются образы Мальчика в штанах (немца) и Мальчика без штанов (русского) из гл. 1-й цикла Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (1880). См.: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. литература, 1972. Т. 14. С. 33–42.

[8] Bummelzug (*нем.*) – пассажирский поезд малой скорости.

[9] Надгробия королей Сигизмунда I (ок. 1530), Сигизмунда Августа (1573) и королевы Анны Ягеллонки (1575), св. Станислава (1629) и др. в краковском готическом соборе (середина XIV в.) на холме Вавель.

[10] Горный массив в Швейцарии к югу от Люцерна (вершина – 2132 м).

[11] В главе I романа Эмиля Золя «Рим» («Rome», 1896) даются развернутые описания города, открывающегося взору главного героя, аббата Пьера Фромана.

* *Приписка вверху листа.*

76. А.М. ПЕТРОВОЙ

Около 13/25 октября 1899 г. Локарно

Был ли это сон?.... Сперва был туман. Воды озера были свинцово-серые, и гор не было видно. Потом облака разошлись, сверкнула синя<я> гладь Лемана[1] и выступили очертания гор, еще наполовину окутанных туманом. Бесконечным зеленым ковром лежали кругом виноградники... Мель<к>нула вдали белая шапка Монблана,[2] и озеро скрылось. Потом пошли пригорки, холмы, леса, реки, зеленые поляны. Весь день ярко светило солнце, но не грело. Под вечер на горизонте показали<сь> три исполинские белоснежные громады, которые сперва порозовели, а когда земля закуталась в синюю дымку и по полям длинными волокнистыми струями, не отделяясь от земли, пополз туман, они зардели на темнеющем небе, как раскаленные угли, и потухли. Это были Юнгфрау, Мёнх и Эйгер.[3] Потом был город, стоявший на озере. Воды озера были чисты как бриллиант и спокойны как зеркало. Луна, отражаясь в них, сияла нестерпимо холодным блеском. Старые каштаны на берегу роняли в воду листья и не шептались друг с другом. После снова была дорога. Поезд мчался как бешеный. В окно мелькали то озеро, освещенное луной, то темные массы скал, то бешеный поток, покрытый пеной, а в разрывах гор спокойно мерцали ледники. Поезд уходил в самые недра гор, поднимаясь вверх по спиральным туннелям, то перелетал через мосты..... Утро... едва рассветает... Кругом туман и равнина. Холод проникает насквозь. Вот мы идем по большому городу. Улицы пусты. Пред нами в тумане силуэт исполинского здания. Бронзовый всадник на бешеном коне осадил его на всем скаку пред этим зданием. Мраморный лев у его пьедестала с угрозой поднял голову и положил могучую лапу на щит. На щите было написано: «Roma»... Мы вошли. Бесконечные колонны тянулись кверху, теряясь в полумраке. Свет проникал сквозь разноцвет<ные> стекла, сплетавшиеся в необыкновенные узоры. Когда я подходил к ним ближе, то различные части этих узоров слагались

в отдельные картины и между ними выступали знакомые лица и фигуры. Сверху лился тихий желтоватый свет, проникая сквозь громадное белое мраморное кружево, покрывавшее весь потолок. Потом снова было темно, и была бесконечная лестница. Потом брызнули потоки света, и мы очутились в лесу. Да! это был огромный дремучий лес, освещенный лучами яркого и теплого солнца. Бесконечные ряды неподвижных белых деревьев, с белыми листьями и белыми фантастическими цветами тянулись вверх, все выше и выше. Туда вели белые мраморные тропинки, и чем выше я шел, тем лес становился гуще, и когда многие деревья были уже ниже меня, я заметил, что на верху каждого дерева стоит белый человек. Там, далеко внизу, синел и пестрел огромный город, а эти белые люди стояли на верху этих странных белых деревьев и спокойно глядели вниз, в голубую даль, под которой копошились маленькие козявки. Тут были молодые девушки и воины, закованные в мраморные доспехи, с белыми копьями, и юноши во всем блеске классически прекрасного обнаженного тела, и старцы с длинными бородами, в широких одеждах, и священники, и папы, и монахини...[4] А лестница все кружилась вокруг мраморной скалы, деревья росли все выше, сливаясь внизу в одно бесконечное мраморное кружево. Дорога становилась все круче и уже. Тут я заметил, что и она ведет на такое же фантастическое мраморное дерево, в которое слились остальные..... Теперь те белые люди стояли уже далеко внизу, а кругом меня были ангелы с белыми крыльями. Выше горели золотые звезды. Выше... Туда уже больше не было дороги — стояла она — «amans mater dolorosa»,* идеал, созданный человечеством, идеал... Но тут я увидел группу дам и кавалеров, которые, по случаю праздничного дня, устроили пикник на крышу Миланского собора и расположились там с закусками и бутылками у самого подножья идеала человечества. Все это было три дня назад. Теперь я на Лаго Маджиоре[5] в Локарно. Мы изъездили всю Швейцарию вдоль и поперек, побывали в Милане и послезавтра едем в Париж. Одна громадная просьба, Алекс<андра> Мих<айловна>! У вас моя маленькая корзинка

* Любящая мать страдающая (*лат.*): образ Богоматери у креста.

с книгами. Если вас не затруднит, зайдите в Российское общество транспортных кладей (в Центральн<ой> гости<нице>) и отправьте ее

<Лист с окончанием письма отсутствует.>

[1] Леман – французское название Женевского озера.

[2] Монблан – горный массив и вершина в Западных Альпах, на границе Франции и Италии, самая высокая в Западной Европе (4807 м).

[3] Вершины в Бернских Альпах – соответственно, 4158, 4099 и 3970 м.

[4] Описываются скульптуры Миланского собора (строился с 1386 г., освящен в 1577 г., строительство окончательно завершено в 1856 г.).

[5] Озеро в южных отрогах Альп, на высоте 194 м (на территории Верхней Италии и Швейцарии).

77. Е.С. ЛЯМИНОЙ

14/26 октября 1899 г. Базель

Базель. 26 октябр<я> 1899. 7 час<ов> вечер<а>.

Дорогая Лёля!

Вот только что мы приехали в Базель. Завтра осмотрим картинные галереи и, главное, картины Бёклина, а послезавтра в половине десятого утра будем уже в Париже. Сегодня целый день с утра мы ехали по С<ен->Готардской дороге.[1] Она удивительна. Мы собственно в третий раз уже проезжаем по ней, но в первый раз, когда мы ехали из Лугано, шел проливной дождь и был туман, во второй раз мы ехали в Милан ночью, и только теперь она явилась пред нами во всей своей грандиозности. Поезд карабкается там, точно дикая коза, по таким скалам, карнизам и головоломным кручам, перелетает такие пропасти, что дух замирает, он поднимается вверх по спиральным туннелям внутри гор, так что, вылетая на минутку на божий свет перед тем как снова вскочить в новый туннель, видишь долго один и тот же пейзаж, то высоко на верху, то глубоко под ногами; и пред глазами проходят все типы растительности, начиная палом и кончая мхами и лишаями (ну

совсем как в географии!). И наконец этот большой С<ен-> Готар<д>ский туннель в 14 верст, в котором поезд устраивает в течение 10 минут такую бешеную скачку, что чувствуешь себя буквально внутри ядра, летящего по жерлу пушки. Темнота, конечно, еще больше, чем <в> желудке у негра, сидящего на дне колодца, как говорит Марк Твен,[2] и грохот колес и дребезжанье — все сливается в какой-то невообразимый протяжный гул. Невольно жутко делается, особенно когда еще сообразишь, что прямо над головой слой земли толщиной более чем в версту.

Италия и итальянские озера в это второе посещение произвели гораздо большее впечатление, чем в первый раз.[3] Первые впечатления Вены и дороги до Венеции, которая проходит тоже через отроги Альп по удивительно красивым местам, так ошеломили и ослепили, что после первого впечатления Венеции, которое дошибло окончательно, — внимание притупилось и все потеряло свою жизненность и стало казаться декорацией. Вся итальянская природа и особенно здания, все это казалось не настоящим, а как будто бы так только, нарочно для туристов сделано. То же было и в Швейцарии первые дни: все казалось, что сижу в опере. Да это и действительно — я теперь убежден в этом — все дома в операх рисуются по образцу итальянских, а все скалы по образцу швейцарских, которые действительно так напоминают картонные, что я даже сначала всё их палкой трогал. Потом это прошло, — Швейцария явилась с новой дико-могучей красотой, с которой никогда не справятся никакие кельнеры и метр-дотели. Под ее влияние<м> впечатления очистились и улеглись, и теперь Италия явилась в таком блеске и такой жизненности, что я уезжаю совсем влюбленный в нее. А также и итальянцы после швейцарцев, которые произвели на нас <в> высшей степени отталкивающее впечатление, оставили нас в полном восторге. Между прочим оказалось, что я гораздо больше понимаю по-итальянски, чем по-французски и по-немецки, и я очень успешно вел с итальянцами довольно длинные беседы, чего никак не мог с другими национальностями. Вообще мы в итальянцах нашли что-то родное, а не такое чужое и холодное, какое мы встречали в швейцарцах.

Да! Так как вы все наверно не понимаете ничего, где мы витаем, получая наши письма из разных концов, то вот наш маршрут с самого отъезда (обозначаю те города, которые мы осматривали и в котор<ых> останавливал<ись>): Киев, Краков, Вена, Виллах, Венеция, Верона, Белладжио, Лугано, Флюэльн, Брунен, Цюрих, Кур, Тузис (Via mala),[4] Рагац, Гларус, Констанц, Шафгаузен (Рейнск<ий> водоп<ад>), Цюрих (вторично), Люцерн, Альмнах (ходили на Пилат), Мейринген, Бриэнц, Гисбах, Интерлакен, Берн, Женева, Монтрё, Бриг (я один ходил на большой альпийский глет<чер>), Монт<р>ё опять, Милан (прямо через Люцерн, не остан<авливаясь>), Чиассо, Лугано, Беллицона, Локарно, и Базель. Тьфу ты! 33 города – я и сам этого не ожидал. До свиданья. Пиши мне в Париж, а адрес я пришлю Яше сейчас же, как наймем комнату. Есть ли вести о Пешковском? Целую бабушку, Любу, Мишу и Яшу.[5] Что Лера, Зина[6] и вообще все знакомые? Кто бывает теперь у вас?

Макс. Волошин.

NB. В Базеле я не нашел ни одного письма. Или Яша не писал сюда?

[1] Железная дорога через перевал Сен-Готард (высота 2108 м) в Альпах (Южная Швейцария) и железнодорожный тоннель на высоте 1100 м длиной около 15 км.

[2] Возможно, подразумевается фраза из юмористического рассказа Марка Твена «Миссис Мак-Вильямс и молния» («Mrs McWilliams and the Lightning», 1880): «Темно, как у язычника в желудке». См.: *Твен Марк.* Собр. соч.: В 12 т. М.: Гослитиздат, 1961. Т. 10. С. 389.

[3] Подразумеваются впечатления от Италии после приезда туда из Вены в конце сентября (н.ст.) 1899 г.; «второе посещение» – во второй половине октября (н.ст.), после знакомства со Швейцарией.

[4] Via Mala (*букв.* «плохая дорога», *ит.*) – ущелье в долине Западного Рейна, близ селения Тузис в Швейцарии. См. стихотворение Волошина «Via Mala» («Там с вершин отвесных...», 1899) (Т. 1 наст. изд. С. 17).

[5] Л.С. и М.С. Лямины, Я.А. Глотов.

[6] В.А. Воллк-Ланевская, З.В. Дуранте.

78. А.М. ПЕТРОВОЙ

17/29 октября 1899 г. Париж

Дорогая Александра Михайловна! Я уже второй день в Париже. Мой адрес следующий: *Paris. Rue des Fosses-St. Jacques (près de Panthéon) 20. Hôtel de Londres et de France № 44. Max Volochine.* Это в центре Латинского квартала. Впечатление от Парижа пока только состояние какого-то полного одурения. Все так громадно, шумно, людно, изобильно, что голова кружится. Улица начнется — так версты 3—4 идет; парк — заблудиться можно, фонтаны — так целые озера. А памятников, статуй, монументов, да и каких всё! Пошел сегодня в Лувр[1] (так только, чтобы с расположением сперва познакомиться) — так я 2 часа не останавливая<сь> шел и половину только прошел. Картинная галерея луврская, так это коридор, длиною так, приблизительно, от вас и до городск<ого> вокзала, в 2 этажа и в два ряда, а стены все так сплошь увешаны, и это всё Мурильо, Рубенс, Рафаэль, Леонардо и тысячи тысяч других. И Милосскую[2] видел... Уф!! Да тут нужно годы прожить, и то с Лувром только поверхностно ознакомишь<ся>. Пишите мне непременно и скорее. Что Пешковский (я об нем решительно ничего не знаю). Лера? Женя? Вера?[3] Вы сами? Поклон им всем, Михаилу Митрофанов<ичу>, Нине Алексан<дровне> и все<м> вашим.

29 октября 1899 года. Макс. Волошин.

[1] Лувр — королевский дворец в Париже, возведенный на месте старого замка в XVI—XIX вв. (архитекторы Пьер Леско, Клод Перро и др.); с 1793 г. художественный музей.

[2] Венера Милосская (II в. до н.э.) — статуя, найденная в 1820 г. на греческом острове Мило, реплика статуи древнегреческого скульптора Праксителя.

[3] В.А. и Е.А. Воллк-Ланевские, В.М. Нич.

[4] М.М. и Н.А. Петровы.

79. И.Х. ОЗЕРОВУ

26 октября / 7 ноября 1899 г. Париж

7 ноября 1899 года.
Paris. Rue des Fosses-St.-Jacques 20. Hôtel de Londres № 44.

Дорогой Иван Христофорович!

Ваше письмо я получил еще в Цюрихе,[1] но не отвечал на него так долго потому, что не хотелось писать на ходу в вихре впечатлений, еще не успев отдать себе в них отчета. Теперь я уже дней десять в Париже.[2] Первое состояние полного ошаления и восторга немного прошло, и я теперь в состоянии сосредоточиться на письмах.

Прежде всего отвечу на Ваше письмо, а потом постараюсь резюмировать свои впечатления. Гольдштейна я не застал в Цюрихе,[3] т<ак> к<ак> были каникулы, когда я там был. Относительно бешеной скачки моей по Европе могу сказать в свое оправдание следующее: собственно за границу я уехал совершенно неожиданно для самого себя. В самом начале после моей высылки я было решил ехать в Берлинский университет, расставшись совсем с Московским, но мама убедила меня, что мне будет лучше все-таки сперва кончить университет в России, а потом уже ехать за границу. Когда же я получил в августе в ответ на свое прошение в университет известие, что я могу быть принят только в августе 1900 года, то я решил воспользоваться этим годом для поездки за границу, не поступая в университет на это время, но для общего осмотра. Главным желанием было, конечно, видеть как можно больше. Опять-таки конечным и основным пунктом остался Берлин, куда я поеду в декабре и останусь там до весны, занимаясь и изучая язык; так что в сущности на остальное путешествие оставалось мало времени, особенно полагая еще месяц на Париж.

А за это время все-таки хотелось так много видеть — если и не рассмотреть во всех подробностях, то хоть одним глазком взглянуть и на Италию и на Швейцарию. Ну вот и началось. 6 сентября мы с мамой (которую я уговорил тоже поехать за границу) переехали границу. Пред этим у меня переменились уже сотни, раньше намеченных, маршрутов, и мы все-таки

еще наверно не знали, куда мы попадем. У меня было страстное желание видеть Рим, но его пришлось отложить и надеюсь туда поехать летом,[4] если мне нельзя будет держать в мае экзамен. Первой нашей остановкой была Вена. Она привела в неистовый восторг. Ослепляли и ее нарядные улицы своей непривычно-европейскою внешностью, и магазины своей роскошью, и громадные здания, и особенно, конечно, картины и памятники. Но уже через четыре дня желание видеть еще большее и лучшее потянуло дальше в Венецию. И вот, не успев хорошенько еще обегать и переварить Вены, полетели мы дальше. Удивительная дорога около Земеринга, Леобена и Виллаха, потом приезд ночью в Венецию и первое впечатление так ошеломили, что нервы как-то совсем притупились и на некоторое время восприятие новых впечатлений неожиданно совсем прекратилось. Прекратилось до того, что Венеция с ее дворцами и картинами, которые я так стремился видеть, стала вдруг скучна. Ни Верона, ни Комское, ни Луганское озера, по которым мы только проехали, не могли рассеять этой странной апатии. Просто нервы устали, не вынесли стольких сразу нахлынувших впечатлений. В Лугано мы взяли абонементный билет по Швейцарии, чтобы изъездить ее всю в течение месяца. Но вначале ни С<ен->Готардская дорога, ни Чертов мост, ни Аксенштрассе[5] не могли пробудить снова мою впечатлительность. Только поразительная «Via mala»[6] так ударила по нервам, что она снова проснулась и собственно с нее начинается более сознательное путешествие. Были ли Вы в этой местности? Это гигантская щель в горе, внутри которой по стене лепится дорога, а внизу на страшной глубине, временами совершенно теряясь в темноте, грохочет Рейн, сжатый скалами буквально до широты одной сажени.

Там с вершин отвесных
Ледники сползают,
Там дороги в тесных
Щелях пролегают,
Там немые кручи
Не дают простору,

Грозовые тучи
Обнимают гору...
Лапы темных елей
Мягки и широки,
В душной мгле ущелий
Мечутся потоки...
В буйном гневе свирепея,
Там грохочет Рейн....
Здесь ли ты жила, о фея –
Раутенделейн!
Чу! Протяжный и печальный
И далекий звон,
Словно отзвук песни дальной
Слышен...
Это он –
Генрих! Бальдур! С кем боролась
Ты за счастье; кто любил
Лишь тебя, твой ясный голос
С медью колокола слил![7]

После пошли бесконечные яркие и прекрасные швейцарские картины: и Рейнский водопад, и Люцерн, и Пилат,[8] и Гисбах, и Интерлакен, и Леман, и долина Роны с Симплонской дорогой и большим Алечшским глетчером, куда я взбирался один и откуда были видны и широкая Монте-Роза со своими белоснежными лепестками глетчеров, и мрачная одинокая и страшная пирамида Маттергорна.[9] Внизу подо мной лежал громадный низко спустившийся ледник, напоминавший своим цветом старый запыленный и покрытый зеленью мрамор, а кругом сплошным кольцом сияли снега нестерпимым блеском... Когда наш срок в Швейцарии подходил уже к концу, мы снова поехали на итальянские озера, откуда проехали и в Милан, который в первый раз мы миновали. Миланский собор превзошел все ожидания.[10] Впечатления этого я не могу описать. Сперва в утреннем тумане, потом внутри с его дивными стеклами, куполом, затканным мраморным кружевом, и наконец на верху в этом безумно прекрасном мраморном лесу... Были ли Вы на самом верху башни? Какое впе-

чатление производят эти мраморные фигуры на фоне синего тумана, как будто висящие в воздухе!

Потом снова пошли дивные картины природы по берегам Лаго Лугано и Лаго Маджиоре, где мы провели несколько дней в Локарно.

Потом мы проехали через Базель прямо в Париж. В итоге осталась масса художественных впечатлений от картин природы и произведений искусства, но и ничего больше. С внутренним строем жизни и даже прямо с характером национальностей ознакомиться не пришлось, если не считать основательного знакомства с психологией и боевой тактикой содержателей гостиниц, кельнеров и портье, которые в сущности представляют тип интернациональный. А в другие столкновения, не экономического характера, не приходилось вступать, благодаря тому, что я совершенно ведь не владею немецким разговорным языком. Даже в Италии мне чаще приходилось разговаривать при помощи латинского языка, чем в Австрии и в Швейцарии. Мои парижские впечатления я подробно описывал в нескольких письмах к Глотову: повторять одно и то же очень трудно; да и раз написанное оно не может написаться так хорошо, как то, что писалось под первым впечатлением. Поэтому я лучше напишу ему, чтобы он вам показал эти письма, если Вам они интересны. Ведь Вы не обидитесь за это?[11]

Странное впечатление производят на меня картины старых мастеров. Зная их по снимкам, я почему-то ожидал от них гораздо большего. Я не могу проникнуться их духом и их идеями, хотя почти ежедневно бываю в Лувре. Малые итальянцы мне окончательно чужды, а больших я не понимаю. Я с бóльшим увлечением смотрю Делароша и Мессонье,[12] чем Рафаэля и Л<еонардо> да Винчи. Даже современные мраморы в Люксенбурге[13] вызывают во мне ту дрожь художественного восторга, которую не вызывают Луврские антики. Или я ничего не понимаю, или я не умею проникнуться чуждым мне настроением, или же большинство чувствует то же, что и я, и только не высказывает этого? Может быть, только действительные художники понимают всю их красоту. Рубенс,

Ван-Дик, Мурильо уже ближе мне, но я все-таки не могу сказать, чтобы я от них оторваться не мог. Интересно, что будет в Мюнхене.

Макс Волошин.

P.S. Поклон Наталье Андреевне. Как ее Потонувший Колокол?[14]

[1] Письмо от 11/23 сентября 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 908).

[2] Волошин и Е.О. Кириенко-Волошина приехали в Париж 16/28 октября.

[3] В упомянутом письме Озеров предлагал Волошину: «В Цюрихе, будет время, зайдите к прив<ат>-доц<енту> Универ<ситета> D-r Голдштейну (полит<ическая> экономия), приветствуйте его от меня: мы с ним вместе занимались в Лондоне, он — русский». Имеется в виду Владимир Августович Гольштейн (ок. 1849—1917), врач, политический эмигрант из России; Волошин познакомился и сблизился с ним (и в особенности с его женой А.В. Гольштейн) в последующие годы.

[4] Волошин посетил Рим в следующем году — с 30 июня / 12 июля по 12/24 июля 1900 г. (Труды и дни. С. 77—78).

[5] См. примеч. 1 к п. 77. Чертов мост на высоте 22—23 м через реку Рёйс (1400 м над уровнем моря) в Сен-Готардском горном массиве прославлен тем, что во время Швейцарского похода А.В. Суворова осенью 1799 г. через него с боем перешли русские войска; в 1899 г. у моста воздвигнут памятник Суворову. Аксенштрассе (Axenstrasse) — дорога в Швейцарии между Брунненом и Флюэленом.

[6] См. примеч. 4 к п. 77.

[7] Это стихотворение Волошина было впервые опубликовано под заглавием «Via Mala» в журнале «Новый Путь» (1903. № 8), в сокращенной редакции (без последних 9 строк) вошло в его книгу «Стихотворения. 1900—1910» (М.: Гриф, 1910). См.: Т. 1 наст. изд. С. 17, 383. В тексте обыгрываются персонажи (фея Раутенделейн, литейщик колоколов Генрих) и сюжетные мотивы драматической сказки Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (1896). Бальдур — Бальдр, юный светлый бог в скандинавской мифологии.

[8] См. примеч. 10 к п. 75.

[9] Горные вершины в Альпах на границе Швейцарии и Италии: Монте-Роза — 4638 м, Маттерхорн — 4478 м.

[10] Подробнее Волошин изложил свои впечатления от Миланского собора в письме к А.М. Петровой (см. п. 76).

[11] В подборке писем Волошина к Я.А. Глотову, переданных в 1930-е гг. в волошинский архив и хранящихся ныне в Пушкинском Доме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 29), указанных писем из Парижа не имеется. Весьма вероятно, что Глотов, согласно распоряжению Волошина, передал их для ознакомления Озерову и они оказались впоследствии утраченными (как и часть писем Волошина к Озерову).

[12] Оба художника были известны главным образом своими историческими полотнами: «Кромвель у гроба Карла I» (1831), «Убийство герцога Гиза» (1834) П. Делароша, «Французская кампания. 1814» (1864), «Наполеон III при Сольферино» (1863) Э. Мессонье и др.

[13] Подразумеваются скульптуры, экспонирующиеся в Люксембургском музее.

[14] См. примеч. 7 к п. 67. В письме от 5 июня 1899 г. Н.А. Гандурина сообщала Волошину: «За все это время <...> успела совсем прокорректировать 2 акта “Колокола” <...> раньше осени мой злополучный перевод не появится» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 390). Гандурина подарила Волошину отдельное издание «Потонувшего колокола» Гауптмана в своем переводе (СПб., 1899), по-видимому, в мае 1900 г. – «как талантливому поэту и дорогому сотруднику» (Труды и дни. С. 74).

80. А.М. ПЕТРОВОЙ

1/13 ноября 1899 г. Париж

Paris. Rue des Fosses-St. Jacque. Hôtel Londres 44.
13 ноября 1899 г.

Милая Александра Михайловна!

Сегодня я еще лежал в постели, когда портье просунул мне под дверь ваше письмо.[1] Перед тем, как начать свое обычное дневное стремление по улицам и музеям Парижа, хочу написать Вам под первым впечатлением часть письма. В парижских улицах есть что-то жгучее. Сквозь бесконечную пестроту и сутолку действительной, реальной кипучей жизни проступает везде совершенно непроизвольно молчаливый и живой облик истории. В этом Париж так разнится от итальянских городов, где осталась только история, а паразиты-туристы ту-

чами движутся и разъедают ее труп. Там история уже кончилась, и реальная жизнь Италии далека от этих классических памятников. А тут на улицах Парижа чувствуешь всеми фибрами существа, что история живет, и эта толпа, так беспечно и шумно струящаяся по улицам, – заряженная лейденская банка,[2] для которой, может, нужна теперь еще только одна капля раздражения, чтобы снова разразит<ь>ся громом выстрелов и потоками крови. Париж в сущности ужасно варварский город. В нем нет ни одной улицы, ни одного переулка, ни одной площади, которая не была бы в течение XIX столетия залита кровью. В нем позднейшие поколения найдут великолепные галереи с бесконечными изображениями всевозможного рода убийств и храмы, украшенные бюстами знаменитых убийц.

Все поражает в Париже колоссальностью и широким размахом. Весь Париж кажется построенным по плану, созданному гигантами, и отделанным во всех деталях Пешковским с микроскопом. Два дня я провел в Версале.[3] У нас еще до сих пор <в> Париже тепло и большею частью ясно. Деревья пожелтели, но еще не облетели. Может, версальские сады и лучше, когда они находятся в полном цвету, но в их осеннем виде, с кучами сухих листьев на тщательно подчищенных дорожках и с мраморными богинями с увядшими листами в волосах и у ног, мне кажется, они должны быть все-таки прекраснее.

Версальский парк – это, в сущности, очень сложный и чрезвычайно точно исполненный геометрический чертеж. Roi le Soleil* – художественный Аракчеев Франции – желал подчинить природу солдатскому ранжиру. Его план, в сущности, точно совпадал с планом города, придуманным Угрюм-Бурчеевым:[4] он выбрал около Парижа неудобное место, где не было ни горы, ни воды, ни земли – а одна какая-то пустопорожняя дыра. Потом он велел построить гору, а на горе дворец; выкопать море, в нем поставить фонтанов, а кругом развести лес с вековыми деревьями, но так, чтобы ни одно дерево не смело отличаться от другого. Результатом явился Версаль. Но только у Людовика XIV был размах все-таки пошире, чем <у> Угрюм-Бурчеева, да и эпоха и почва взяли свое, и теперь

* Король-солнце (*фр.*).

Заказ № 5706

Версаль прекрасен. Когда в маленькой и невзрачной мячной зале, стены которой видны из холодных раззолоченных парадных зал Людовика XIV, Бальи прочитал свою знаменитую клятву и в первый раз было произнесено слово «революция»,[5] то и версальский парк сбросил с себя вековое ярмо садовников и скованные гиганты клены и каштаны пусти<ли> из себя молодые и зеленые революционные побеги. Что думала в это время конная статуя Людовика, стоящая на дворе?[6]

На краю парка находится Большой Трианон.[7] Это версальский парк в миньятюре, но без его широты и гордого величия. Это старинное кружево с безвкусным узором, сплетенное старой, сухой, придворной дамой. В залах Трианона не так торжественно, как в Версале. Особенно умилительным показался мне там старый потертый биллиард. Мне так и представилось, как великий король-солнце, чувствуя, что окончательно начинает шалеть от собственного величия в своих пустынных холодных залах, являлся сюда отдохнуть к своей Ментенонше,[8] церемонно целовал ей руку, а затем, сняв золотой кафтан и горностаевую мантию со всем величием самодержца, высочайше отправлял «среднего в лузу».

Рядом Малый Трианон.[9] Иное время и иные люди. Монархия близится к концу. Всюду проступают страшные симптомы великой революции. А Мария Антуанета с придворными дамами в костюмах пастушек гуляют по извилистым кокетливым аллеям Малого Трианона, отдыхают в сельских домиках, покрытых соломой и отделанных как бонбоньерки. Причудливые картинки Ватто так и рисуются на берегах этих маленьких и изящных прудов. «С птичьей головкой на свет уродилась. Пела, порхала...»[10] Особенно часто раздавался тут модный в то время романс «Malbrouk s'en va-t-en guerre...»*[11] В честь него была даже тут выстроена башня, уцелевшая до сих пор, на которую m-me Мальбрук взбирается, чтобы увидеть возвращение супруга, и получает от пажа известие о его смерти. Думала ли Мария Антуанета, что она когда-нибудь тоже, но в настоящей мрачной башне Тампля[12] будет напрасно ожидать возвращения своего жирного добродушного

* Мальбрук отправился на войну (*фр.*).

Мальбрука? Все это мне рассказали падающие листья в саду и одна старая утка, плававшая на пруду и уверявшая, что ее прабабушку гильотинировали еще перед началом революции и что поэтому историки ошибаются, думая, что террор начался только с казни короля.

Постепенно я начинаю ближе осваиваться с Лувром. Только одна картинная галерея угнетает меня еще своими размерами. Но странно: к античным статуям и к картинам Возрождения я чувствую только уважение, но не чувствую восторга. Стоя перед ними, я думаю только, что вот по этому полотну скользила кисть божественного Рафаэля или гениального Леонардо, но ни содержание, ни краски не поражают меня. Их идеи, чувства и образы слишком далеки от меня, и я вещи вижу совсем другими глазами, чем они. Рубенс, Ван-Дик, Мурильо уже ближе, чем они, но и они не вызывают того чувства бешеного восторга и жгучей дрожи, которые я испытываю перед современными мраморами Люксенбургского музея.[13] Какая там сила, богатство образов, глубина идей, жизненность выражений! Сколько тонкого юмору, трагического пафоса! Это все мое, собственное, передуманное и пережитое вылилось здесь в мраморные формы. Смотрите: вот Иоанна д'Арк в порыве экстаза упала на колени. Это простая деревенская девушка, в простом деревенском костюме, какой она носила в Дом Реми; в лице ее страшная сила глубокой веры, руки опущены. Фигура могучая по своей удивительной простоте.[14] Вот она же на костре: долгие месяцы напряженной борьбы и одинокого заключения надломили здоровую деревенскую натуру. Она вышла из своего равновесия, порвав с природой. На ней белая длинная рубаха, руки связаны толстой веревкой, а на лице блаженная, полубезумная улыбка.

Вот семилетний Моцарт с детской деловитостью и сериозностью настраивает скрипку; на нем парадный фрак и тоненька<я> косичка за спиной. Вся эта фигурка проникнута милым юмором.[15] Рядом мальчик Люлли с задумчивыми глазами и в костюме поваренка играет на скрипке. Молоденькая

грациозная девочка-дикарка с веточкой лавра в волосах горячо прильнула губами к холодному челу отрубленной головы Андре Шенье, закутанной в ее длинные шелковистые волосы. Это муза Андре Шенье.[16] Лукавый и насмешливый мальчишка Пан с козлиными ногами, хвостиком и упрямыми рожками с самой ехидной улыбкой бьет палочкой по носу двух крошечных медвежат – неуклюжих и комичных. Они сердито ворчат, но все-таки тянутся к сотам, лежащим около него. Вот бронзовая статуя Гракхов.[17] От нее так и веет духом железного Рима. Тиверий спокоен и решителен. Никакие силы не заставят его изменить принятому решению. Он успокаивающе положил руку на руку брата, и их пальцы крепко сплелись. Сейчас он начнет говорить. Нервный и впечатлительный Кай, только что начавший мужать юноша, едва удерживается, чтобы не перебить брата. Он гордо поднял голову и впился глазами в толпу. По силе выражения это, пожалуй, самая лучшая статуя. Вот Катон Утический с мечом в руках перечитывает трактат Платона о бессмертии, пред тем как убить себя.[18] А рядом с ним как живая стоит современная охотничья собака, с аппетитом разгрызающая кость.[19] Когда к ней подходишь, то чувствуешь запах псины, а взглянув на ее старательное выражение, нельзя не расхохотаться. Вот мальчик Иоанн, сжавший с такой силой свои детские ручонки и с такой верой смотрящий на небо, что самому хочется молиться.[20] Вот прекрасная, ничего не понимающая Саламбо с странным полумечтательным выражением лица, думая только о своем священном заимфе, без сопротивления отдается могучему Мато, который в полном исступлении страсти прильнул горячими губами к ее груди.[21]

Да, ну – довольно, наконец. Я так никогда не кончу. Все равно Париж не опишешь – его надо видеть и чувствовать.

Из вашего письма я не вижу, получили ли вы мое письмо из Локарно с подробным описанием впечатлений, вынесенных из посещения Миланского собора.[22] Если нет, то это страшно жаль. Я тогда писал под первым впечатлением и с увлеченьем – больше так не напишу. Мне бы хотелось описать все впечатления свои, но их так много и последние так

заслоняют всегда предыдущие, что трудно от них оторваться. Так как вы наверное не понимаете, где мы это метались, то вот вам список всех наших остановок: Краков, Вена, Виллах, Венеция, Верона, Белладжио (на Комо), Лугано, Флюэльн, Цюрих, Тузис, Гларус, Констанц, Шафгаузен, Цюрих, Люцерн, Альпнах, Мейринген, Бриенц, Интерлакен, Берн, Женева, Монтрё, Бриг, Мон<т>рё, Люцерн, Милан, Чиассо, Лугано, Беллицона, Локарно, Базель, Париж. Чтобы понять, как мы колесили, проследите это по карте. То, что мы возвращались опять на старое место, объясняется тем, что мы взяли абонементные билеты на месяц, с которыми можно в Швейцарии ездить сколько угодно по всем дорогам. И заметьте, что из каждого города или местечка мы делали большие прогулки в горы. Так что я познакомился почти со всей Швейцарией сплошь. Сначала, после впечатлений Вены, горных долин Штирии и Каринтии, которым<и> мы проезжали, и первого впечатления Венеции ночью при луне — на меня напала полная апатия. Просто нервы (мои нервы!) не выдержали, и впечатлительность надорвалась. Даже Венеция в последние дни нашего пребывания там надоела мне, а Верона, Белладжио и Лугано прошли почти равнодушно перед моими глазами. Только Швейцария разбудила меня снова и вернула к художественным впечатлениям. Особенно поразила меня «Via mala»[23] в Грубандене около Тузиса. Представьте себе, что Чатырдаг треснул до основания и по этой узкой щели на половине высоты по отвесным скалам лепится узенькая дорога, перекидываясь мостами с одной стороны ущелья на другую (мосты не длиннее 3-х сажен), а внизу на неизмеримой глубине, местами совсем теряясь в темноте так называемых «trous perdues»,* грохочет Рейн, сжатый скалами до ширины одной сажени!

Там с вершин отвесных
Ледники сползают.
Там дороги в тесных
Щелях пролегают.
Там немые кручи

* Глухие дыры (*фр.*)

Нс дают простору,
Грозовыс тучи
Обнимают гору.
Лапы темных слей
Мягки и широки,
В душной мглс ущслий
Мечутся потоки...
В буйном гневс свирспея
Там грохочст Рсйн...
Здесь ли ты жила, о фся
Раутандслсйн?
Чу! Протяжный и псчальный
И далский звон
Точно отзвук псени дальной
Слышен...
Это он!
Гснрих-Бальдур! С ксм боролась
Ты за счастьс. Кто любил
Лишь тсбя, твой ясный голос
С мсдью колокола слил...[24]

Из Парижа мы уезжаем 27-го ноября, то есть 15-го по старому стилю. Ваше письмо пришло на шестой день. Так что, если вы ответите на это письмо в тот же день, то оно меня застанет в Париже. Иначе же лучше пишите в Берлин до востребования. Воля мне писал, что хочет уезжать 1 декабря (нов<ого> ст<иля>):[25] я его прошу остаться еще на несколько дней. Не знаю, согласится ли он. Досадно будет увидеться всего на один день, так как с остановкой на день в Кельне я буду в Берлине 30-го. В Мюнхен и Дрезден я думаю поехать весной. Я страшно рад, что Саша будет в Берлине.[26] Надеюсь, что он мне все-таки на первую неделю даст отсрочку и позволит выболтаться по-русски. Что же это он не едет, однако? Ведь вот уже неделя, как начались в Париже лекции и в Берлине тоже, вероятно. Я ему писал несколько писем и в Ялту, и в Гейдельберг. Неужели ни одно его не найдет! Все, что говорите вы относительно его, разумеется справедливо, но я никак не думал, что вы это только теперь решили — для меня это всегда аксиомой было. А над «психическими волнами» я, признать-

ся, невольно рассмеялся.[27] Если бы он знал, в каком смысле вы их приняли — вот бы возмутился. Я не могу представить даже себе теперь, как это вы спорили. Основы ваших миросозерцаний теперь так диаметрально противуположны, что наверно в спорах была такая масса удивительнейших «qui pro quo»,* особенно если вы в чем-нибудь в конце концов оба соглашались, — соль которых из всех людей, верно, только мне бы одному была доступна.

Ваше письмо кончается страшно грустно. «Где ты, моя молодость?» — спрашиваете вы. Вам нужно непременно встряхнуться и освежиться. Поездка в Москву в прошлом году была неудачна, и вы на нее истратили, кажется, больше 100 рубл<ей>. На эти деньги вы бы могли свободно съездить за границу. Путешествовать можно очень дешево. Пока за все время, т.е. почти за 3 месяца, мы со всеми покупками и разъездами вдвоем истратили 400 рублей. Подумайте об этом. Почему бы вам теперь не взять опять какое-нибудь занятие специально с этой целью? а потом поехать в Швейцарию или в Италию? Кланяюсь Нине Алекс<андровне>, Мих<аилу> Митроф<ановичу>, всем вашим, Жене, Вере и т.д.[28]

Макс. Волошин.

[1] Письмо Петровой от 25 октября 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 33—34 об.).

[2] Лейденская банка — первый электрический конденсатор, созданный в 1745 г. нидерландским физиком Питером ван Мушенбруком.

[3] Версаль — город к юго-западу от Парижа, со знаменитым дворцово-парковым ансамблем. С 1682 г. (при Людовике XIV) и до 1789 г. — резиденция французских королей.

[4] Угрюм-Бурчеев — персонаж романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (1869—1870), градоначальник города Глупова, который «разрушил старый город и построил другой на новом месте» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. литература, 1969. Т. 8. С. 280).

[5] 20 июня 1789 г. деятель Великой французской революции Жан Сильвен Байи (Бальи) предложил депутатам Национального собра-

* Одно вместо другого, путаница (*лат.*).

ния от третьего сословия (в зале для игры в мяч) присягнуть, что они не разойдутся, пока не выработают конституции для Франции. Это событие запечатлено на полотне Жака Луи Давида «Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 г.».

[6] Конная статуя Людовика XIV (П. Картелье, Л.М.Л. Птито) установлена в 1835 г. перед Версальским дворцом.

[7] Большой Трианон – дворец, построенный в 1687 г. по проекту Жюля Ардуэн-Мансара.

[8] Подразумевается Франсуаза д'Обинье, маркиза де Ментенон (1635–1719), вторая (морганатическая) жена (с 1684 г.) Людовика XIV. Для нее был сооружен Большой Трианон.

[9] Малый Трианон построен в 1762–1764 гг., архитектор Жак Анж Габриель. К дворцу прилегает живописный пейзажный парк.

[10] Начальные строки стихотворения А.П. Барыковой «В альбом счастливице» (1878). См.: Поэты-демократы 1870–1880-х годов. Л.: Сов. писатель, 1968. С. 635. (Б-ка поэта. Большая серия).

[11] Первая строка французской сатирической песни, посвященной английскому полководцу герцогу Джону Черчиллу Мальборо (Marlborough, 1650–1722). Возникла около 1709 г. при ложном слухе о смерти Мальборо; вновь стала модной в 1781 г. при дворе Людовика XVI.

[12] Тампль – старинное здание в Париже, принадлежавшее в Средние века ордену тамплиеров. После революции Тампль стал тюрьмой, туда были заключены Людовик XVI и Мария Антуанетта. При Наполеоне III Тампль был снесен.

[13] Люксембургский музей – музей современного искусства в Париже (ул. Вожирар), основанный в 1750 г. По указу Людовика XVIII (1818) там экспонировались произведения художников, «находящихся еще в живых». Затем эти работы передавались в Лувр или в провинциальные музеи.

[14] Речь идет о скульптуре «Жанна д'Арк в Домреми» (1870) работы Анри Шапю (1833–1891). Домреми – деревня в Шампани, на границе с Лотарингией, родина Жанны д'Арк.

[15] Имеется в виду скульптура Луи-Эрнеста Барриаса (1841–1905) «Мальчик Моцарт» (1887). В каталоге Люксембургского музея (*Benedite Léonce*. Le musée national du Luxembourg. Catalogue raisonné et illustré des peintures, sculptures, dessins... des écoles contemporaines. Paris: Libraires Imprimeries réunies, s. a.) скульптура, изображающая Жан-Батиста Люлли (равно как и скульптура Катона Утического), не значится.

[16] Андре Мари Шенье был казнен за два дня до крушения якобинской диктатуры. «Муза Андре Шенье» (1888) – скульптура Дени Пюэ (1854–1942).

[17] Описаны скульптуры Эммануэля Фремье (1824–1910) «Пан с медвежатами» (1867) и «Гракхи» (1853) работы Эжена Гильоме (1822–1905).

[18] Марк Порций Катон Утический (или Младший) покончил жизнь самоубийством после победы Цезаря при Тапсе.

[19] Имеется в виду скульптура «Датская собака» (1892) Станисла̃са Лами (1858–?).

[20] Описана скульптура Поля Дюбуа (1829–1905) «Иоанн Креститель ребенком» (1861).

[21] Речь идет о скульптуре «Саламбо и Мато» Теодора Ривьера (1857–1912), изображающей героев романа Г. Флобера «Саламбо» (1862).

[22] Имеется в виду п. 76.

[23] См. примеч. 4 к п. 77.

[24] См. примеч. 7 к п. 79.

[25] Воля – В.Л. Гауфлер. О намеченном на 1 декабря отъезде из Берлина он извещал Волошина в письме от 1 ноября (н.ст.) 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 397).

[26] Саша – А.М. Пешковский. О том, что он «едет на первый семестр в Берлин», Петрова сообщила Волошину в письме от 25 октября.

[27] В письме от 25 октября Петрова, рассказывая о своем визите к Пешковскому и о спорах с ним, добавляла: «Я в восторге от некоторых направлений мысли Ал<ександра> Матв<еевича>. Например, он уже употребляет такие выражения, как «психические волны» и т.п., и я надеюсь, что скоро в сны уверует. <...> В деле развития он идет такими крупными шагами, что поражаешься. Нравится мне в нем также полное отсутствие шарлатанства, говоря в смысле отношения к знанию вообще и в частности; житейского-то шарлатанства и вовсе не ищи в нем. С большою болью думаю только о грозящем ему – почти неумолимом законе наследственности. Не дай Бог!»

[28] Н.А. и М.М. Петровы, Е.А. Воллк-Ланевская, В.М. Нич.

81. В. М. НИЧ

2/14 ноября 1899 г. Париж[1]

Дорогая Вера! Я в Париже, как вы это, верно, знаете. Через две недели еду <в> Берлин, где надеюсь еще застать Гауфлера. Он пишет, что заболел от немецкого способа разучивать этюды Черни.[2] Неужели нам всем, Пешковскому, Гауфлеру и

мне, придется сойтись теперь снова в Берлине? А сколько я видел за это время! И изящные улицы Вены, и каналы Венеции, и мраморные леса Миланского собора, и темно-зеленые прозрачные итальянские озера с тысячами вилл и дворцов по их берегам, и Альпы с их ледниками, ущельями и девственными вершинами, и, наконец, этот огромный, страшный и увлекательный Париж. Сколько в нем памятников и статуй рассеяно по площадям и паркам. Вот один из грациознейших памятников – памятник Ватто в Люксенбургском саду, очень недалеко от места моего жительства.

Макс. Волошин.

1 Открытка с рспродукцисй: «Jardin du Luxembourg. Monument dc Wattcau» (памятник Антуану Ватто (1896) работы парижского скульптора Анри Дсзирс Гокьс (Gauquié) в Люкссмбургском саду). Датируется по почтовому штсмпслю: Paris. 14 nov. 99.

2 В.Л. Гауфлср писал Волошину из Берлина 27 октября / 8 ноября 1899 г.: «Ужс три мссяца ничсго нс дслаю. Заболсл я вслсдствис “нсмсцкого способа разучивать этюды Чсрни”, т.с. я играл с утра до вечсра» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, сд. хр. 397). Этюды и упражнсния К. Чсрни традиционно входили в обязатсльную программу обучсния игрс на фортспьяно.

82. А.М. ПЕТРОВОЙ

5/17 ноября 1899 г. Париж

На окраине Парижа у подошвы Монмартра, на вершине которого темнеет еще недостроенная огромная Sacré-Cœur[1] со своими византийскими куполами, лежит маленькое Монма<р>трское кладбище. Среди безвкусно пышных часовен, построенных над могилами богатых буржуа, совсем закрытый и сдавленный ими со всех сторон, стоит маленький мраморный памятник, наполовину закры<ты>й белыми и лиловыми астрами, увядающими розами и пальмовыми венками. На нем надпись: Henri Heine.

Сегодня я был у него в гостях. Старик сторож сначала все не мог понять, кого мне нужно. Наконец он догадался: «A! c’est

un poète allemand!»* и привел меня к маленькому памятнику. Об нем очевидно заботятся, потому что между принесенными цветами было несколько еще совсем свежих. Раздвинув зелень, я увидел внизу еще надпись: m-me Henri Heine. Бедный! его Матильда, которая так разнообразила его жизнь, что ему не оставалось больше времени скучать, Матильда, которая только после смерти его с удивлением узнала, что ее Генрих умел писать стихи,[2] последовала за ним и в могилу, нарушив ее скорбное одиночество среди чужой страны и чуждых людей. Все те, кто составлял мировую аристократию Парижа и кто был духовным соотечественником Гейне в ту эпоху: Бёрне, Шопен, Мюссе, Берлиоз, Делакруа, Бальзак, С<ен->Симон, Фурье и др. — они лежат далеко, на том конце города, на огромном и великолепном кладбище Пер-Лашез, начиная с Абеляра и Элоизы[3] и кончая недавно умершим Тиссандье.

Близок вечер. Клонит сон.
Днем я знойным утомлен.
А над ложем дуб растет,
Соловей над ним поет —
Про любовь поет — и мне
Песни слышатся во сне.

Но в действительности все это не так: кругом голые стены парижских семиэтажных домов да фамильные гробницы сонных буржуа. Через кладбище по мосту мчатся поезда, свистят и фыркают паровозы. А у ворот его на бульваре Клиши идет бесконечная людская каша, народное гульбище с балаганами, каруселями, фокусниками, учеными собаками, гимнастами, скверными музыкантами, кофейнями и прочими притонами и вертепами Монма<р>тра, где находится их главное местопребывание во главе с Moulin-Rouge[4] — главным шато-кабаком Парижа.

Среди цветов я заметил визитную карточку, оставленную очевидно каким-нибудь почитателем. Я ее поднял. Там по-немецки было написано начало знаменитого стихотворения Фрейлиграта: «Люби, пока любить ты можешь!»[5] и подписано «Из Гейне». Представляю себе, какая ехидная улыбка играла

* А! это немецкий поэт! (*фр.*)

на губах Гейне, лежащего там под этими цветами, под бременем своей Матильды, когда сентиментальный поклонник в душевной наивности возлагал эту удачно отысканную цитату «из Гейне» на гроб своего любимого поэта.

Уходя, я сорвал на память розу с его могилы. Но лепестки ее тотчас же осыпались. Посылаю несколько Вам на память.[6]

Макс. Волошин.
17 ноября 1899 года. Париж.

[1] Сакре-Кёр (Святое Сердце) – собор на холме Монмартр, построенный по проекту П. Абоди в 1875–1919 гг.

[2] Матильда (Кресценция Эжени, урожд. Мира́; 1815–1883), ставшая женой Г. Гейне, была до брака с ним продавщицей в парижском обувном магазине и не знала немецкого языка; по свидетельству Людвига Виля (1838), «ей только по слухам известно, что она принадлежит celèbre (!) poète allemand (знаменитому немецкому поэту – *фр.*)» (Гейне в воспоминаниях современников. М.: Худож. литература, 1988. С. 213).

[3] После смерти П. Абеляра его возлюбленная Элоиза выпросила тело покойного, чтобы похоронить его в Ноане, где жила сама. В 1817 г. останки обоих были перенесены на парижское кладбище Пер-Лашез.

[4] Мулен-Руж – музыкальное варьете на Плас-Бланш (бульвар Клиши), основанное в 1889 г.

[5] Стихотворение Фердинанда Фрейлиграта «O lieb, so lang du lieben kannst!..» (1841); переведено Волошиным в 1895 и 1897 гг. См.: т. 4 наст. изд. С. 910–911.

[6] 5 декабря 1899 г. Петрова писала Волошину: «Очень тронула меня присылка лепестков розы с могилы Гейне. <...> Носилась я с ними, как с писаной торбой, и, наконец, вместе с письмом заложила в “Книгу Песен”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951).

83. А.М. ПЕТРОВОЙ

18/30 ноября 1899 г. Берлин

Три дня в Берлине.[1] Живем у Гауфлера, и я оставляю его комнату за собой, так что мой адрес теперь: *Berlin. Plan-*

Ufer 36^{I} rechts bei Weber. Max Woloschin.* Гауфлер уезжает через три дня.[2] Пешковский приехал за два дня до нас и пока тоже у Гауфлера – завтра переезжает на свою квартиру: *Alte Jacobstrasse. 48 a^{IV} bei Selling. Alexander Peschkowski.* Все новые впечатления постараюсь описать поскорей, но не отправлю ни за что этого письма до тех пор, пока вы мне не ответите на предыдущие два. Жду писем со страшным нетерпением.

Макс. Волошин.
30 ноября 1899 г. Берлин.

[1] Волошин и Е.О. Кириснко-Волошина высхали из Парижа 15/27 ноября, прибыли в Бсрлин вчсром 16/28 ноября.

[2] В. Гауфлср высхал в Россию.

84. Я.А. ГЛОТОВУ

18/30 ноября 1899 г. Берлин

Третьего дня я приехал в Берлин,[1] где застал у Гауфлера Пешковского, приехавшего за два дня до меня. Письмо твое в Париже получил, но ответ на него не дописан еще. Мой адрес: *Berlin. Plan-Ufer. 36^{I} rechts bei Weber. Max Woloschin* («W» – а не «V» – последнее будет по-немецки фау, а не ве). Буду ждать с нетерпением писем. После Парижа Берлин поражает своей миньятюрностью, тишиной и отсутствием движения на улицах (что же будет, когда я в Москву вернусь?). Первое впечатление даже угнетающее.

Макс. Волошин.
30 ноябр<я> Берлин.

[1] См. примсч. 1 к п. 83.

* Помпите – W – а пе V (фау по-пем<ецки>). (*Примеч. Волошина.*)

85. А.М. ПЕТРОВОЙ

22 ноября / 4 декабря 1899 г. Берлин

Berlin. Plan-Ufer 36[I] rechts bei Weber.
4 декабря 1899 г. Берлин.

Сегодня приехал Павел Павлович и уехал Вениамин.[1] Наружно Вениамин очень изменился: он похудел и отпустил волосы. Черты лица его сделались тоньше и красивее. По его словам, он все время занимался в Берлине только музыкой и политикой. Политические взгляды его ужасны – он сделался консерватором, антисемитом и ругает социалистов. Первые дни мы сражались с ним отчаянно. Но он принадлежит к числу тех людей, на которых больше смотришь как просто на очень симпатичных людей, а не на носителей известных симпатичных или несимпатичных взглядов. Они могут высказывать какие угодно чудовищные убеждения, противоречащие в корне нашим собственным, но тем не менее против них не будешь чувствовать ни малейшего раздражения. Гауфлер стал, право, кажется, еще симпатичнее, если это только возможно. Первое впечатление Берлин произвел тяжелое. Мне ужасно жаль было расставаться с Парижем. Он меня совсем покорил, уничтожил и влюбил в себя. Как во сне промелькнула предо мною ночью Бельгия, похожая на один сплошной фабричный город, освещенный электричеством. Пред рассветом я приехал в Кёльн. Выйдя с вокзала, я увидел пред собой на площади огромную сталактитовую глыбу собора.[2] Его огромные очертания смутно рисовались в предрассветной мгле осенней дождливой ночи. Внутри виден был слабый свет. Я зашел....

...Бастилией духа он должен был стать!
Мечтали монахи из Рима:
«Здесь будет германская мысль изнывать,
В гигантской темнице томима»...[3]

Слабые лучи света, горевшего около алтаря, едва достигали до стен собора. Огромные колонны терялись во мраке, отбрасывая от себя неясные и смутные тени, тихо шевелившиеся в бесконечных коридорах. На лавках видне-

лись редкие и молчаливые фигуры. Непомерно огромные и таинственно-фантастические волны органа приходили из темноты и, испугавшись света, снова бросались под темные своды и перекатывались могучим резонансом, временами замирая до таинственно-нежного шепота. Вся Германия с ее сказками и песнями, историей и поэзией нахлынула и охватила меня... Из темноты стали медленно выделяться бледные фигуры святых и абрисы готических окон. Светало... Фигуры загорались красками и оживали. Я вышел и пошел через мост. Рейн, огромный и серый, омывал серевшие зданья Кёльна, лежавшего у подошвы собора.....

Снова из окна вагона замелькали виды, подернутые дымкой тумана...

Уж скучный ноябрь наступил на дворе,
Уж хмурилось небо сурово,
Уж листья давно облетели, а я...
Я ехал в Германию снова.[4]

Вечером поезд остановился на берлинской станции, где меня встретил Гауфлер, и через несколько минут мы сидели у него с ним и с Пешковским и пили пиво.

На другой день Вениамин повел меня смотреть Берлин. После Парижа улицы его показались такими безлюдными, узенькими и скучными, что я окончательно разогорчился. Гауфлер обиделся и решил меня поразить. Он привел меня к зданию с греческой колоннадой и с гордостью сказал: «Посмотри, Макс, — вот это гауптвахта.[5] Такого здания у вас в Париже нет». Мне показалось, что я снова на родине, и сердце мое замерло от смешанного чувства тоскливой радости. На улицах гуляли офицеры с сверхчеловечески развитой грудью; на площадях стояли монументы верховых королей в мундирах, а на углах, как монументы, высились апокалипсические фигуры конных жандармов. Видя, что это на меня слишком подействовало, Вениамин взял меня за руку и, подведя к витрине магазина, сказал: «А вот здесь, посмотри, дамские фартучки по пятидесяти пфенигов штука». Я этому страшно обрадовался, и мы пошли домой. На мосту стоял газетчик и выкрикивал газету «Vorwärts!».[6] Гауфлер сказал: «Вот посмотри — он соци-

алист и поэтому не умеет вести себя на улице». Пешковского мы застали огорченным. Он нам рассказал, что он только что решился обратиться к одному господину на улице с вопросом «какое сегодня число?». Тот же ему ответил, что это он обязан сам знать, а после прочел ему очень длинную нотацию, из которой он почти ничего не понял. Саша[7] был совсем в недоумении. Гауфлер же ему сказал, что это так и должно быть, потому что в Берлине всякий знает, которое сегодня число.

Теперь я уже примирился с Берлином и нашел в нем много положительных сторон, которых нет в Париже. Положим, все они пока не художественного и не общественного свойства, а чисто практического, в духе «дамских фартучков по 50 пфенигов». Жизнь тут дешева необыкновенно и замечательно удобна. Квартиры в Париже совсем не приспособлены к домашней жизни — там все совершается на улице и в ресторане, здесь же на каждом шагу так и чувствуется спокойное домовитое немецкое хозяйство, со всеми его удобствами. Марка (50 коп<еек>) здесь вполне соответствует рублю, и если б не дорога, то каждый русский обитатель должен был бы ехать в Берлин для экономии, а при жизни месяца два и дорога может вполне окупиться. И это все не только относительно квартиры и обеда (за 50 пф<еннигов> мне дают такой, что я доесть не могу), но и относительно всех других вещей. Тут так и подмывает покупать такие вещи, о которых раньше совсем и не думал, видя их цены в окнах магазинов. И это кажется нам дешевым таким еще при нашем скверном курсе, каково же это должно быть для самих немцев. Как город, Берлин начал мне тоже все больше и больше нравит<ь>ся, после того как я побывал в его новых частях. С одним только я не примирюсь здесь — это с полным отсутствием старинных соборов и вообще остатков средневековья,[8] которых так много в Париже и которые своим контрастом так смягчают чересчур крикливые краски современной жизни. Но Париж я никогда не забуду. Какую сцену видел я перед отъездом![9] Был яркий солнечный день. Семиэтажные дома были усеяны народом и увиты флагами, на старых деревьях бульваров висели гроздья уличных мальчишек, а по бесконечным улицам широким потоком

лилась могучая народная волна с развевающимися красными знаменами социальной революции. Потухая и зажигаясь снова, раскатывался и развертывался мотив Карманьолы,[10] смешиваясь с лучами солнца..... Парижский рабочий делал мирную социалистическую демонстрацию в честь открытия памятника – Торжество республики. Пятьсот тысяч человек проходили перед трибуной, где стояли президент и министры, и в один голос пели: «A bagne Merciè!*A bagne Merciè! A bagne!» Французскому правительству не надо, подобно Гарун-аль-Рашиду, наряжаться в лохмотья, чтобы прислушиваться к голосу народа.[12] Но хочет ли оно подражать ему? Я шел в толпе за знаменем, на котором было написано «Ni dieu, ni maître!» (Ни Бога, ни господина!), я сам чувствовал себя частью толпы и кричал «vive Zola!»** вместе с другими. Этого дня я никогда не забуду. В демонстрации принимало участие много групп учащихся – и мальчиков, и девочек. На их знаменах тоже был девиз: «Ni dieu, ni maître!» С таким будущим Франции нечего бояться национализма и милитаризма – они убегут перед этим новым социалистическим поколением, чуждым реванша и католицизма. Vive la révolution sociale!***

Сегодня ходил прописывать свой пашпорт в полицию, и меня там спрашивали, какого числа родился мой батюшка и в какой день вышла замуж моя матушка, и не случалось ли мне когда-нибудь в тюрьме сидеть. О Господи!

Пишите же побольше и поскорее. Я оставил за собой комнату Гауфлера. Всем вашим привет и поклон.

Поедете в Италию летом?[13]

Макс. Волошин.

[1] П.П. Теш и В.Л. Гауфлер.

[2] Кёльнский готический пятинефный собор (длина 144 м, высота 157 м) строился в 1248–1560 гг., но был окончен лишь в 1842–1880 гг.

* На каторгу Мерсье! [11] (*Примеч. Волошина.*)

** Да здравствует Золя! (*фр.*)

*** Да здравствует социальная революция! (*фр.*)

Заказ № 5706

[3] Цитата из главы IV поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка» («Deutschland. Ein Wintermärchen», 1844) в переводе Волошина (Т. 4 наст. изд. С. 893–894).

[4] Начальные строки главы I той же поэмы (Там же. С. 887).

[5] Гауптвахта – иначе Новая караульня, здание в стиле классицизма (1816–1818, архитектор К.Ф. Шинкель).

[6] Газета «Форвертс» («Вперед»), орган социал-демократической партии Германии в 1876–1878 и 1899–1933 гг.

[7] А.М. Пешковский.

[8] Волошин неточен: в Берлине сохранились две готические церкви – Мариенкирхе (ок. 1260 – сер. XIV в.) и Клостеркирхе (ок. 1290–1300).

[9] Далее следует описание открытия памятника «Триумф Республики» (бронзовая группа) на площади Нации, состоявшегося 7/19 ноября 1899 г.

[10] «Карманьола» – французская революционная песня-пляска. Впервые зазвучала на улицах Парижа вскоре после взятия дворца Тюильри 10 августа 1792 г. Во время революций 1830 и 1848 гг., Парижской Коммуны 1871 г. «Карманьола» с новыми словами стала широко популярной в народе.

[11] Генерал Огюст Мерсье, французский военный министр, был одним из инициаторов дела А. Дрейфуса.

[12] Гарун-аль-Рашид (Харун ар-Рашид; 763 или 766–809) – халиф из династии Аббасидов, идеализированный арабским фольклором. В сказках «Тысячи и одной ночи» Гарун-аль-Рашид – покровитель искусств, мудрый, справедливый отец народа; переодетым ходил по городу, чтобы узнать нужды простых людей.

[13] Этот вопрос был оставлен без ответа.

86. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

17/29 декабря 1899 г. – 22 декабря 1899 г. / 3 января 1900 г. Берлин

29 декабря.

Вообразите, мама, что я вот уж третий день сижу дома, никуда не хожу и всё только немецкие книги читаю и «Vorwärts»,[1] на который успел уже подписаться, но в котором почти ровно ничего не понимаю. И не только читаю, но и слова выписываю и учу их даже. Все это настолько для меня самого странно и необыкновенно, что мне кажется, что это все не к добру. Проводивши вас тогда на вокзал,[2] я вернулся

домой, надел на себя новую пару, постоял полчаса перед зеркалом и отправился на званый вечер. Так как было еще рано, то я предварительно зашел в Русскую читальню, где умудрился вылить на себя графин воды. Herr Holtfretter[3] встретил меня очень радушно и познакомил меня с обществом, состоявшим из многочисленных розово-голубых барышень и черно-серых кавалеров. Представление состоялось очень торжественно: он меня вывел на середину залы и торжественно и отчетливо провозгласил: «Herr Maximilian von Woloschin», а затем начал мне по очереди называть имена девиц и кавалеров, чинно сидевших вдоль стен. При этом соответствующий индивидуум торжественно вставал и на почтительном расстоянии делал книксен или расшаркивался, я же отвешивал глубокий поклон и шаркал ножкой. Когда я таким образом сделал тридцать выгибаний поясницы и тридцать соответствующих движений правой ногой, то Herr Holtfretter сказал, обращаясь к обществу, краткую речь, в которой объяснял, что я иностранец, приехавший в Берлин изучать немецкий язык и поэтому объясняюсь на этом диалекте с большим трудом; я же ввиду документального подтверждения его слов, чувствуя, что теперь и мне пора наконец что-нибудь сказать, сказал: «Ja, ich habe schon sehr schlecht deutsch sprechen».* Затем я был уведен в другую комнату, чтобы быть демонстрированным перед «Großmama»** (при этом мне, разумеется, вспомнился тигр, о котором рассказывал Пав<ел> Пав<лович>)[4]. Ну а затем для меня началось совершенно отчаянное плаванье по вязким ухабам немецкого салонного разговора. Мне-то, в сущности, было бы все нипочем, но когда я замечал страдальчески-растерянное выражение лиц моих собеседников, бывших не в состоянии уловить хоть какой-нибудь смысл в причудливых комбинациях немецких слов, судорожно вылетавших из моего рта, то мне становилось стыдно и я мучился угрызениями совести. Все немецкие кавалеры имели какой-то странно неоконченный вид. Так как это был канун сочельника, то пелись хором различные «Weihnachtslied».*** Затем голубая

* «Да, я очень плохо говорю по-немецки» (*нем.*).

** Бабушка (*нем.*).

*** «Рождественская песня» (*нем.*).

девица пела комическую песню, из которой я мог понять только припев «der Papagai sagt “bum!”».* Между тем tout le monde il rigolait comme baleine.** Я же, памятуя историю с немецкой комической песнью у Джерома,[5] не решался смеяться. Тогда Herr Holtfretter подошел ко мне и сказал, что это очень смешная песня и что поэтому все смеются, и он передал мне своими словами ее содержание. Это была, насколько я мог понять, очень трогательная история одного попугая, который свободно разговаривал и по-немецки и по-французски (при этом мне стало стыдно), но который, к своему несчастию, оказался зрителем Ватерлооской битвы,[6] которая произвела на него такое впечатление, что он с тех пор произносил только одно слово «Бум-м-м!!...», подражая пушкам. И когда, наконец, взбешенный хозяин свернул ему голову, то попугай все-таки в последний раз, умирающим голосом, сказал «Бум-м-м...!» и умер. При этом Herr Holtfretter склонял головку набок, изображая умирающего попугая, и с большим чувством произносил «Бум!».

31 декабря на горизонте Веберовской квартиры[7] совершенно неожиданно появился сам Herr Professor Berger. Herr Professor обладает фигурой солидных размеров и изрядного роста, увенчанной розовой головкой новорожденного ребенка, еще покрытого со всех сторон белым пухом. На моих хозяек его появление произвело совершенно ошеломляющее действие, и они еще до сих пор не могут от него опомниться. Freulein Franziska все прибегает мне изливать душу, что он, ее швагер,[8] непременно хочет, чтобы она не то в Кобург к ним переезжала, не то сам хочет переселяться в Берлин и поселяться на одной квартире с ней, ну а она этого, очевидно, совсем не хочет.

Новый год я встречал у бывших хозяев Пешковского (он сам уже на новой квартире живет),[9] а после двенадцати ходил по Фридрихштрассе, которая в эту ночь бывает вся запружена народом, точно парижские бульвары, потому что все берлинцы в эту ночь выходят на улицу и кричат дикими голосами.

* «Попугай говорит “бум!”» (*нем.*)

** Все ржали как киты (т.е. во всю ширь рта) (*фр., искаж.*).

Кроме того, устраивают еще охоту на цилиндры. Едва только откуда-нибудь покажется какой-нибудь человек в цилиндре, как на него накидываются со всех сторон, и затем слышится глухой звук удара чьей-нибудь палки о цилиндр. Так что в эту ночь немцы надевают цилиндр только с сознательным намерением покончить с ним. Иногда происходит настоящая травля, и толпа бежит за извозчиком, на котором едет цилиндр, до тех пор, пока не покончит с ним.

Ваши три открытки я получил. Что вы делали в Варшаве? и зачем хотели там останавливаться? Не перепутали ли вы подарков? Лёле – Золя, Любе – мешок, Скворцу[10] – Венеру, Яше – Лассаля[11] и маленькие портреты. Экономии соблюдать мне все никак не удается, несмотря на все желание, так что меня начинает брать сомнение, смогу ли я себе еще скопить на Италию. Вы, мама, когда Скворца увидите, то скажите ему, чтобы он мне денег достал – хоть бы те 15 руб., которые он мне под честным словом обещал вернуть в августе. Спросите тоже Яшу, пожалуйста, как денежные дела землячества? Я, собственно, не обязан отдать мой долг (50 р.) именно теперь, но если деньги там очень нужны, то вы произведите вычет из моих денег, когда получите их в январе. Гауфлер пишет, что он мне деньги уже выслал,[12] так что я, может, завтра их уже получу. Думая об университете, мне приходит в голову, не перейти ли мне лучше на историко-филологический факультет? Я потеряю только один год при этом, но это имеет те выгоды, мне кажется, что я, во-первых, буду больше заниматься, так как вообще больше занимаюсь историей и литературой, чем юридическими науками, половина которых меня совершенно не интересует, между тем как именно эта-то половина новыми правилами сделана предметом обязательных ежедневных занятий. Кроме того, если мне придется в будущем совсем уехать за границу для окончания университетского курса, то ведь занятие юриспруденцией за границей не будет иметь никакого смысла. Конечно, есть и там темные стороны в виде древних языков на первых курсах, обязательных и для историков, но они все-таки имеют только второстепенное значение. Разумеется, это всё только предположения – что вы ду-

маете об этом? Теперь уж неделя, как я никуда, кроме обеда, не выхожу и целый день учу немецкие слова до остервенения и читаю по-немецки. Что это значит? Целую бабушку, дядю Гришу, д<ядю> Колю[13], Лёлю, Любу, Мишу[14], Яшу и т.д.

Макс. Волошин.
3 января 1900 г.

Посылаю Вам свою карточку.[15] Отчего мне Яша ничего не пишет?

[1] См. примеч. 6 к п. 85.

[2] Около 12/24 декабря Е.О. уехала из Берлина в Москву, Волошин же остался в ожидании разрешения вернуться в университет и для практики в немецком языке. По-видимому, Е.О. увезла в Москву прошение Волошина (от 4/16 декабря 1899 г.) о разрешении «весною 1900 года держать полукурсовые экзамены со второго курса на третий курс юридического факультета» (Труды и дни. С. 69).

[3] Сведений об этом лице не найдено; не исключено, что Волошин искаженно приводит фамилию (различные ее написания в автографах писем унифицированы).

[4] П.П. Теш.

[5] Упомянутый эпизод – в юмористическом романе Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (1889), в гл. 8: не знающие немецкого языка слушатели воспринимают песню сентиментально-трагическую как комическую (см.: *Джером Джером К.* Избранные произведения: В 2 т. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 1. С. 124–127).

[6] В битве при Ватерлоо (в современной Бельгии) 18 июня 1815 г. армия Наполеона I была разгромлена английскими и прусскими войсками.

[7] В Берлине Волошин поселился в квартире сестер Вебер (одну из них звали Франциска) и фрау Бергер, по адресу: Plan-Ufer, 36-1. См. п. 83, 84.

[8] Schwager (*нем.)* – деверь, шурин, зять, свояк.

[9] См. п. 83.

[10] Лёля – Е.С. Лямина; Люба – Л.С. Лямина; Скворец – прозвище М.П. Свободина, полученное им во время коллективного путешествия по Крыму в июне 1899 г.

[11] Я.А. Глотов. Подразумевается, видимо, портрет Фердинанда Лассаля.

[12] В письме от 15 декабря 1899 г. В.Л. Гауфлер благодарил Волошина за то, что он «выручил его» этими деньгами (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 397).

[13] Н.Г., Г.О. и Н.О. Глазеры.

[14] М.С. Лямин.

[15] Волошин сфотографировался в Берлине анфас и в профиль (ателье не указано).

87. Е.О КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

24 декабря 1899 г. / 5 января 1900 г. Берлин.

Berlin. 5 января 1900 года.

Милая мама! Только что получил Ваше письмо[1] и, право, не знаю хорошенько, что и ответить. Если экзамены будут в апреле, то, разумеется, мне не имеет смысла оставаться в Берлине, а надо ехать в Москву. Поступать в Университет только для того, чтобы заплатить 50 руб., тоже не стоит — надо прямо экзамен держать. Но нового прошения я подавать не согласен. Ведь это прямо издевательство какое-то со всеми этими бесконечными прошениями и беспричинными принятиями и непринятиями, допущениями и недопущениями. Новое прошение я согласен подать только в такой форме, какую я только что составил и прилагаю к этому письму, — Вы ее просмотрите, исправьте и пришлите мне. Но в сущности его — в содержании я никаких изменений делать не буду. В прошлом письме,[2] которое вы, верно, уже получили, — я его на имя бабушки писал, я делал некоторые предположения о переходе на историко-филологический факультет. Эта мысль все больше и больше мне начинает нравиться. Попросите, пожалуйста, Яшу узнать тоже на всякий случай программу первого курса И<сторико-> филологического факультета и какие на нем экзамены. Книг мне, во всяком случае, сюда не высылайте теперь, потому что, если я буду держать экзамены на юридическом факультете, то я, во всяком случае, приеду в Москву готовиться, но приеду не раньше конца января по новому стилю — да оно так и выйдет,

верно, с окончательным выяснением дела. Я думаю, что вы, верно, с моей формой прошения согласитесь – я овцой быть не хочу, а резкого ничего в нем не говорю (даже нарочно 2 раза Ваше Превосходительство написал)[3] и остаюсь исключительно на фактической почве. Не сохранилось ли у Вас подлинного текста причин моего увольнения – это было бы надо точнее написать.

Письма сюда из Москвы идут всего два дня, так что мы всегда успеем списаться. Отвечайте мне скорей. А пока я буду заниматься немецким языком. К словам немецким рвение у меня уж ослабевает – я только одну неделю зубрил их со всем пылом прилежания, на какое только способен, а теперь они снова только выписываются. «Vorwärts»[4] идет с трудом, а Гейне очень ходко. Начал тоже Итальянское путешествие Гёте[5] читать. Не доведется мне, кажется, этим летом в Италию попасть. А впрочем, ведь из Крыма можно в Константинополь... и далее летом. У меня с хозяйками великолепные отношения: они меня всё в неурочное время кофеем поят, пирожными кормят; чай мы вместе иногда пьем, Гейне читаем. А сейчас они даже до слез огорчились, узнав, что я, может, скоро уеду из Берлина. Мне и самому как-то вдруг стало жалко покидать его, как я ваше письмо прочел, а впрочем, это верно вообще за границу. Фотографическую карточку мою передайте бабушке и целуйте ее. А Любе и Лёле[6] я позже пришлю. Напишите мне, пожалуйста, подробнее, как вы всех в Москве нашли. Яша[7] мне писал, что Лёля сдала латинский экзамен – поздравляю ее. Целую всех. Кланяюсь Ольге Михайловне и Скворцу.[8] Остались ли все довольны подарками и дали ли вы Любе сумочку или же, все-таки, какую-нибудь иную комбинацию придумали?

Где теперь Павел Павлович?[9] Неужели он всю дорогу не переставал rigoler?*

Макс. Волошин.
5 января 1900 года. Берлин.

---

* чудачить, шутить (*фр.*).

Бывшего студента Московского
ИМПЕРАТОРСКОГО Университета
юридического факультета четвертого
семестра, исключенного за участие
в студенческих беспорядках, Максимилиана
Александровича Кириенко-Волошина

ПРОШЕНИЕ:

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разъяснить мне, почему я, будучи 15 февраля 1899 года (т.е. до начала студенческих беспорядков в Московском Университете) исключен из Московского Университета на год и выслан на жительство в г. Феодосию Таврической губернии, по причине, как было объявлено в Университете моей матери, агитации с моей стороны 15 февраля в актовой зале и дурной характеристики, выданной мне из гимназии,[10] а затем, при начале так называемых «вторых забастовок» получив бумагу, в прочтении которой и расписался в городской Феодосийской полиции, в которой было сказано, что я имею право вернуться в Москву и быть принятым в Университет обратно *без подачи прошения*, тем не менее в Университет не только не был принят, но был вторично исключен из оного, несмотря на то, что во «вторых забастовках» не мог физически принимать никакого участия, так как в это время находился в г. Феодосии и не пользовался своим правом въезда в Москву, будучи извещен частным образом, что там начались снова обильные высылки.

Вторично я был исключен уже без права поступления. Затем, подав в августе 1899 года прошение на имя г. Ректора об моем обратном зачислении в число студентов Московского Университета, я получил право поступить обратно на второй курс юридического факультета осенью 1900 года.[11] Но при этом ни одно университетское решение не было мне объявлено письменно, а все были устно сообщены или моей матери, или моим родственникам, справлявшимся в канцелярии Университета по моей просьбе, исключая только

бумаги, сообщенной мне Феодосийской полицией, относительно моего беспрепятственного въезда в Москву и обратного принятия в Университет.

Также ни разу не было мне отвечено и на мои просьбы о высылке мне моих бумаг, которые и до сих пор мною не получены.

Таким образом, по делу 1) относительно моей гимназической характеристики, с которой я, однако, был принят в Университет по окончании гимназии безо всяких особых ходатайств с моей стороны, и 2) относительно моей агитации 15 февраля в актовой зале (обвинение совершенно недоказанное, так хотя я там и присутствовал, интересуясь происходившим, но ни с кем, кроме лично мне знакомых студентов, не разговаривал; а публичной речи в тот день, как известно, не было произнесено ни одной) по этому делу университетским советом было принято *четыре* последовательных решения, то смягчавших, то увеличивавших мое наказание безо всяких на то поводов с моей стороны. Честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство разъяснить это юридическое недоразумение и сделать соответствующее распоряжение о зачислении меня в число студентов юридического факультета Московского Университета.

Максимилиан Кириенко-Волошин.

5 января 1900 г.

Адрес: Berlin. Plan Ufer 36[I] b<ei> Weber. Max. Woloschin.

[1] Письмо Е.О. с известием о том, что Волошин может быть принят в Московский университет в январе — при условии подачи прошения; среди ее писем к Волошину не сохранилось.

[2] Имеется в виду п. 86.

[3] Прошение написано на имя ректора Московского университета, которым в то время был зоолог Александр Андреевич Тихомиров (1850—1931).

[4] См. примеч. 6 к п. 85.

[5] «Italienische Reise» (1816—1829, три тома).

[6] Л.С. и Е.С. Ямины.

[7] Я.А. Глотов.

[8] О.М. Струкова и М.П. Свободин.

[9] П.П. Теш, приехав в Берлин из Брюсселя 22 ноября / 4 декабря 1899 г., уехал в Москву вместе с Е.О. около 12/24 декабря.

[10] О том, что директор Феодосийской гимназии выдал ему лишь «удовлетворительную характеристику», Волошин сообщил Г. Кржижевскому (о чем тот писал Волошину в Киеве 16 октября 1897 г. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 711). С этой характеристикой (высылавшейся непосредственно в администрацию университета) Волошина познакомил симпатизировавший ему инспектор Р.И. Державин. См. п. 24, примеч. 8.

[11] Это прошение на имя ректора (без даты) сохранилось в «Деле канцелярии инспектора» — с пометой «До осени 1901 г.» (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, ед. хр. 436, л. 13).

88. Е.С. ЛЯМИНОЙ

26 декабря 1899 г. / 7 января 1900 г. Берлин

Милая Лёля! Посылаю тебе мою фотографию и главу из «Воскресенья», пропущенную в русских изданиях.[1] Поздравляю тебя с окончанием латинского языка. Что же ты теперь думаешь делать? — Подавать прошение в Петербурге или ждать открытия курсов в Москве? Почему тебе лучше не поехать за границу — в Германии тебе это обойдется дешевле, чем в Москве, значительно, а в Париже столько же. Я вообще теперь не понимаю, почему все не едут за границу, хотя бы для экономии. Хотя я сначала и огорчился, узнав из маминого письма, что мне, вероятно, предстоит скорая перспектива возвращения в Москву,[2] но тем не менее в настоящее время мне даже начинает хотеться вернуться, особенно после того, как я рассчитал, что поехать летом в Италию через Константинополь и Грецию будет дешевле, чем из Берлина, и еще интереснее. От Феодосии до Афин билет стоит всего 10 рублей! Теперь я вообще тоже не понимаю того, почему все не путешествуют.

Я думаю, что в Москву все-таки раньше конца января (т.е. 17 янв<аря> по ст<арому> ст<илю>) не приеду, т<ак?> хочу в таком случае съездить Дрезден посмотреть перед отъ-

ездом.[3] Так ты мне напиши, что у вас теперь делается, как вы время проводите, кто бывает, видаешь ли ты Леру,[4] что Галинка, Малинка, Зюзюка[5] и т.д.? Яша отчаянно мало пишет и каждое письмо его производит на меня такое же впечатление, как те крошечные порции, которые подавали нам в Швейцарии и над которыми я рычал от голоду. Целую Любу, Мишу и Яшу.[6] Галинке, Малинке, Зюзюке и Лере кланяюсь.

Макс. Волошин.

Berlin Plan Ufer 36 [I] b<ei> Weber.
7 января 1900 года.

Напиши мне, как вы встретите Новый год?

[1] Роман Л.Н. Толстого «Воскресение» печатался в России в журнале «Нива» (с № 11 за 13 марта 1899 г. до № 50, вышедшего в декабре 1899 г.) с многочисленными цензурными изъятиями и искажениями (свыше 500), в том числе были полностью изъяты три главы, а пять глав сокращены на три четверти и более их общего объема. См.: *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 33. М.: Гослитиздат, 1935. С. 398. Одновременно «Воскресение» печаталось за границей В.Г. Чертковым в тринадцати отдельных выпусках по авторским гранкам без цензурного вмешательства в текст (отдельное издание: *Толстой Л.Н.* Воскресение. Роман. Издательство «Свободного Слова». V. Tchertkoff. Purleigh, Maldon, Essex, England, 1899).

[2] Подразумевается письмо от 21 декабря 1899 г. (см. примеч. 1 к п. 87).

[3] Поездка Волошина в Дрезден не состоялась.

[4] В.А. Воллк-Ланевская.

[5] Галина и Людмила Жебунёвы и, видимо, Зинаида Дуранте.

[6] Л.С. Лямина, М.С. Лямин, Я.А. Глотов.

89. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27–28 декабря 1899 г. / 8–9 января 1900 г. Берлин

Для мамы.

Милая мама!

Я уже успел примириться с мыслию о быстром возвращении в Москву, и она мне теперь даже улыбается. Но мне все-таки не хотелось бы уезжать раньше конца месяца – во-

первых, потому, что за квартиру заплачено, во-вторых, чтобы все-таки посмотреть берлинские музеи как следует — без вас я еще нигде не был — всё дома сидел, и в-третьих, съездить все-таки в Дрезден. Сегодня только получил я наконец деньги от Гауфлера, хотя он мне уж давно писал, что выслал их. Я думаю, что мне этих денег и на обратный путь хватит, потому что, как я рассчитывал вчера, отсюда дорога до Москвы стоит всего 17 рублей (по Герман<ии> в IV кл<ассе>, а по России в III).

Не знаю, сколько вот только обойдутся мои зубы — я сегодня же отправлюсь к доктору. Если, паче чаяния, мне в конце концов денег этих на возвратный путь не хватит, что, впрочем, не думаю, тогда займу у Пешковского — у него теперь есть, а последнее время он всё у меня занимал.

Что же вы думаете относительно прошения — если у вас нет записочки с перечислением моих вин, то эту часть надо совсем выкинуть, потому что могут быть фактические неточности — в актовой зале я действительно в тот день не агитировал, но зато в библиотечной сказал пять слов. Так что оставить нужно только недоумение по поводу четырех различных приговоров по одному делу без открытия каких-либо новых фактов. Достаточно ли официально и неудобопонятно и тяжело это у меня изложено, чтобы сойти за действительное прошение?

О себе писать мне нечего, потому что целый день или читаю, или говорю с хозяйками. Они просят Вам очень кланяться и всё вздыхают о том, что им пришлось прощаться то с Гауфлером, то с Вами, а теперь со мной. Недавно прочел в «Vorwärts'е» объявление о каких-то никогда не продирающихся бессмертных кожаных брюках для рабочих. Непременно куплю себе для лета — стоят всего 4½ марки. Хорошо бы тоже непромокаемый меховой мешок для спанья на воздухе в горах купить — стоит он целых 20 марок и весит всего 3 кило. Но зато какая экономия на гостиницы — выйдешь вечером из города, выберешь неудобное место, залезешь в мешок и заснешь. И украсть-то только вместе с мешком могут. Что вы думаете об этом? При перспективе возвращения в Россию у меня теперь составился новый план путешествия через Константинополь

в Италию или хоть по крайней мере в Грецию — ведь до Афин всего 10 рублей доехать в третьем классе!

Что ж Вы купили в Вене — какие-нибудь подарки от моего имени для Миши и для Ивана?[1] Верно, ананаса Мише так и не купили? Если не купили, то подарите ему из моих книг Сочинения Писарева[2] — ему это гораздо полезнее ананасов теперь будет, и, может, он тогда прочтет его, а то я ему в прошлом году давал, а он всё не читал. Скажите ему только, что дарю с тем условием, чтобы он читал, а если читать он не будет, то я, вернувшись из заграницы, возьму у него книги обратно, а лучше из Берлина ему сахарную свинью с незабудкой во рту привезу. Поставьте ему эти условия.

Целую всех. Пишите мне обо всем подробнее.

Макс. Волошин.
8 января 1900 года. Берлин.

Нашли ли вы комнату? и куда Вам теперь писать? Видели ли Ольгу Мих<айловну>?[3] Как ее здоровье?

9 января 1900 года.

Милая мама! Сегодня я получил Ваше второе письмо из Москвы от 23 декабря. На все вопросы, заключающиеся в нем, вы найдете, т.е. уже нашли ответы в моих письмах, отправленных вам в Москву раньше. Это уже по счету четвертое. Когда вы приехали, — застали ли вы уже мое первое письмо, адресованное на имя бабушки? Почему вы мне ничего не пишете относительно моих предположений об историко-филологическом факультете? Если я буду принят в январе, то мне ничего не будет стоить перейти на ис<торико>-фил<ологический> и держать весною там экзамен на второй курс, так что практически это вещь вполне осуществимая, но вот вопрос — стоит ли? Мне пока кажется, что — да, потому что в сущности все мои интересы направлены именно в эту сторону — истории, искусства и литературы, а никак не права. И фактически-то в университете выходило, что я больше слушал и занимался на филологическом, чем на юридическом. Только вот там обязательны древние языки на первых двух курсах, но они, кажет-

ся, там в очень небольшой пропорции – вот это надо было бы узнать.

У нас в Берлине всё по-старому. Herr Professor уехал, а фрау профессор осталась. Фреулейн Франциска[4] все бегает, суетится и вчера даже совсем было в постель слегла, но сегодня опять бегает, уроки дает совсем бледная и измученная.

Появился у меня новый знакомый Herr Pastor Wittek[5] – друг Herr'a Professor'a, который приглашал меня на будущей неделе к себе. Он теперь очень часто сюда заходит, но хозяйки мои не выносят его присутствия и прячутся от него всеми силами. Это крошечный мужчина с розовым бритым лицом и с седыми бакенбардами, без усов, с очень самоуверенными и обходительными манерами, и называет он меня – «mein jünger Freund».*

Вчера вечером я был во второй раз у Herr Holtfretter'a и провел часа три в обществе его, его супруги и таксы. Последняя мне больше всего понравилась, и мы друг друга лучше всего понимали. Но я уже значительно больше понимал все-таки, чем тогда, когда я был в первый раз, так что мне кажется, что если бы я прожил здесь до весны, то я бы, пожалуй, и взаправду бы стал понимать разговорную немецкую речь. Но теперь мне самому очень захотелось уже вернуться в Москву. Herr Holtfretter просит вам передать свой «Gruss».**

Мне осталось все-таки неясным из вашего письма: что же мне все-таки надо подавать прошение или без этого вопрос об моем принятии будет поставлен на очередь? Какое впечатление произвела на вас наружность Державина?[6] Правы ли были те студенты, которые на хвостовском диспуте[7] хотели идти меня бить, заключив по сходству, что я непременно должен быть его сын?

Прочли ли вы ту главу из «Воскресенья», которую я прислал Лёле?[8] Какое впечатление она на вас произвела? Вчера я читал в читальне, куда заходил перед тем как идти к Holtfretter'y, последний выпуск «Воскресенья», там есть одно удивительно сильное описание казни политических. Если

* «Мой юный друг» (*нем.*).
** Gruß (*нем.*) – привет, поклон.

достану еще этот выпуск, то пришлю Лёле, эту главу тоже. Отчего вы так мало о знакомых пишете? Где теперь Мишель?[9] Он, судя по вашему письму, не живет вместе с Ольгой Михайловн<ой>? Что вы слыхали о Лаврове,[10] Арнольде[11] и Блюме?[12] Подробности о Ляминых и Яше[13] напишите.

Целую и кланяюсь всем.

Макс. Волошин

P.S. Почему вы не хотите, чтобы я писал вам по вашему собственному адресу? Какая у вас комната и сколько стоит? Как вы с обедом устроились? Георгиевский переулок — он ведь, кажется, пересекает Гранатный — это там, где я у Пестель[14] уроки давал.

[1] М.С. Лямин и неустановленное лицо.

[2] В «Списке книг» (без даты), составленном Волошиным в записной книжке № 40 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 448, V), значатся Сочинения Д. Писарева в 6 томах (издание с предисловием Евг. Соловьева было предпринято Ф. Павленковым в 1894 г.).

[3] О.М. Струкова.

[4] Профессор Бергер и Франциска Вебер.

[5] Дополнительными сведениями об этом лице мы не располагаем.

[6] Рафаил Иванович Державин, преподаватель латыни в 5-й московской гимназии, в 1897 г. – помощник инспектора, а затем инспектор Московского университета. В марте 1899 г. отказался быть усмирителем студентов и уступил свой пост Я.А. Карпееву. Однако в 1900 г. снова был инспектором (*Орлов В.Н*. Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. С. 352).

[7] В.М. Хвостов читал в Московском университете римское право. Волнения студентов возникли в связи с защитой им докторской диссертации в ноябре 1898 г.: под влиянием агитации Союзного совета объединенных землячеств (позднее про Хвостова говорили, что он получил кафедру «за подавание калош министру») студенты устроили в актовом зале обструкцию, громко протестуя против присвоения Хвостову ученой степени (Там же. С. 320).

[8] См. п. 88, примеч. 1.

[9] М.П. Свободин.

[10] М.В. Лавров — сын издателя и редактора журнала «Русская Мысль», студент филологического, затем юридического факультетов

Московского университета. См. его письмо к А.П. Чехову о студенческом движении (Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М.: Изд. АН СССР, 1960. С. 453–454).

[11] Ф.К. Арнольд – сын статского советника из Пскова, студент-юрист, позднее присяжный поверенный. Женился на дочери В.А. Гольцева. Автор мемуаров «Свое и чужое» (Частное собрание).

[12] В.И. Блюм – студент-юрист (прозвища: «Лбум», «Виллимотылек»), позднее – театральный критик, переводчик, журналист (псевдоним – Тис).

[13] Я.А. Глотов.

[14] Справочная книга «Вся Москва на 1898 г.» указывает лишь Георга Александровича Пестеля, жившего в доме Савостьяновой на Петровке; «Вся Москва на 1900 г.» – Елизавету Ивановну Пестель, жившую в Георгиевском переулке (дом Дикого) и владевшую домом в Успенском переулке.

90. А.М. ПЕТРОВОЙ

28 декабря 1899 г. / 9 января 1900 г. Берлин

Berlin. Plan-Ufer 36[I] b<ei> Weber.
9 января 1900 года.

Милая Александра Михайловна!

Наконец-то! Ну и спасибо же вам за письмо.[1] Теперь, когда мама уехала и поток впечатлений иссяк – мне каждое письмо из России доставляет неизъяснимое удовольствие, но это блаженство так редко доставляют мне мои добрые знакомые.....

Те<пе>рь сижу в Берлине я,
И очень скучно в нем.
Густые хлопья инея
Повисли под окном...

А выйду ль я на улицу, –
Мне встретится студент
Со шрамом по всему лицу,
Стоит как монумент

С осанкой сверхестественной
Торжественный жандарм....

Заказ № 5706

Гирляндою божественной
Идут ряды казарм.

Здесь все живое прячется,
Куда ни поглядишь....
«И верится, и плачется»,[2]
И хочется в Париж.

О, теперь-то я Гауфлера вполне понимаю. Помню, когда он привел меня в Национальную галерею (картинную)[3] и прибавил, что он еще и сам не бывал тут, то у меня зашевелились от ужаса волосы на голове и я дикими глазами посмотрел на человека, прожившего два года в Берлине и не осмотревшего даже его музеев. Но теперь я нисколько не удивляюсь: я сам только первые дни бегал по Берлину и смотрел, так сказать, еще с разгону, по силе инерции, а теперь я давно уже не выхожу из дому... Да и не к чему. На улицах так скучно и с<к>верно, а дома так «гемютлих»,* так тепло и хорошо. Мягкие войлочные туфли** гораздо удобнее кожаных башмаков, а теплая вязаная куртка*** удобнее пиджака... Хозяйки меня поят кофеем, кормят сладкими кухенами и рассказывают мне, что их покойный фатер говорил, что никак нельзя ночью через Тиргартен**** ходить – потому что там разбойники, а что в Мюнхене недавно одна дама щенят родила. И я вот постепенно гипнотизируюсь, гипнотизируюсь.....

Да, и какого черта, мне там на улице и в музеях делать! Самое большее, что удивляться дешевизне вещей, производимых германской промышленностью, и восхищаться добротностью «дамских фартучков». О, милый Воля! как я теперь понимаю тебя! Но я тоже понимаю теперь и Генриха Гейне, говорившего, что немцы злоупотребляют своим правом быть глупыми и что немецкая жизнь тянется как волос по молоку.[4] О эти немцы! Они блещут все семейными положительными добродетелями, т.е. не блещут – это слишком энергичное слово для них, они мерцают внутренним, мягким, влажным,

* Уютно (*нем.* gemütlich).
** 75 пфен<нигов>. (*Это и следующие два примеч. сделаны Волошиным.*)
*** 5 марок.
**** Парк в самом центре Берлина.

лунным сиянием, но, Боже мой! как они скучны. Мне кажется теперь, что я даже в русском провинциальном обществе не встречал такой отчаянной косности, узкости, таких невылазных болот предрассудков и таких крепких перегородок в мозгу. Гейне они ненавидят. «О, это был дурной человек. Ведь вы знаете, от какой болезни он умер?»[5] — говорили мне мои хозяйки. И это думает вся Германия, которая до сих пор не поставила ему памятника на своей почве (недавно ему поставлен памятник в Нью-Иорке)[6] и обливала грязью его память, как только поднимался этот вопрос. Гёте хотя и признают, но считают ужасным человеком, а одна из моих хозяек, Frau Professor, так и не читала «Фауста», потому что ее Herr Professor строго-настрого запретил ей читать это «безнравственное произведение», равно как и всего Гейне и Лессинга. И заметьте, что хозяйки мои (они же — бывшие Гауфлера) прекрасные люди: очень симпатичные, добрые и далеко не глупые — во всем, что не касается Германии, — здесь они глупость считают своей нравственной обязанностью. Мужчина для них — это высшее существо, и Herr Haufler был действительно хозяином там. Он строго говорил «Heraus!!»,* и все три хозяйские собачки поджимали хвостики и послушно выходили из комнаты, а обе хозяйки начинали пред ним приседать, делая книксены, — и это обе уж пожилые женщины. Сперва они и передо мной так приседали, но теперь, слава Богу, перестали. А немецкие девицы!! Пешковский, приехавши в Берлин, поселился сперва в семействе, где было 10 девиц дочерей различного калибра.

Как-то он пришел ко мне и сказал: «Макс, пожалуйста, посмотри на них и скажи, что они — натуральны или нет? Я все смотрю на них и никак не могу решить этого». Вот я и познакомился. Девицы оказались необыкновенно разговорчивые и моментально засыпали меня вопросами, от которых я совсем ошалел: «Правда ли, что в России ужасно много князей? Правда ли, что русские князья очень любят немецких "медьхен"? Нам наша подруга говорила, что они всегда влюбляются в приезжих немецких барышень». Хотя я и чувствовал,

* «Вон!» (*нем.*).

что мне нужно было ответить, что если б я был русским князем и увидел бы вас в России.... Но я позорно воспользовался незнанием немецкого языка. «Правда ли, что русские женщины огненнее (feuerlicher), чем немецкие?» Тут уж мне пришлось прямо заявить, что я в этих вопросах совсем некомпетентен, а Саша начал что-то им объяснять по-немецки. Теперь мы с ним видимся редко — он меня к себе не пускает, изолируясь от русского языка. Он переселился на другую квартиру (Breslauerstrasse 30[I] links bei Aller), и я на днях получил от него письмо: «Макс! Напиши мне, пожалуйста, когда ты *не будешь* дома, чтобы я мог прийти к тебе в гости» — т.е. это он хочет для того не застать меня дома, чтобы иметь предлог остаться меня ожидать и поупражняться тем временем в немецком языке с моими хозяйками. Ах! не могу еще тоже не прибавить о нем следующей пикантной подробности — когда он искал себе квартиру, то некоторые хозяйки спрашивали его, «не китаец ли он?». В настоящее время он занят тщетными попытками приучиться думать по-немецки.

Только что меня прервало письмо, полученное от мамы: она пишет, что я, может, буду принят в университет в январе.[7] Это мне ужасно неприятно. Как ни скверно в Берлине, но возвращаться отсюда в Россию мне так же не хочется, как если б мне предложили снова поступить в гимназию. Мне теперь иногда время от времени снится ужасный сон на одну тему, но с разными варьяциями — именно, что я почему-то — иногда в виде наказания за беспорядки, иногда просто случайно — попадаю из университета снова в гимназию в восьмой класс и меня снова начинает засасывать эта жидкая масса Гролихов, Чураевых, Бондарей.... Бр-р-р...! Теперь за границей мне иногда начинает казаться, что вся Россия одна сплошная классическая гимназия. Не понимаю, почему придумали такую странную меру, — отдавать студентов в солдаты за участие в беспорядках: это не предотвратит их. Вот если бы решили студентов отдавать в гимназисты, то я ручаюсь, что больше бы беспорядков не было. Я бы первый не вернулся бы в университет, а теперь все-таки вернусь. Эта перспектива быстрого возвращения (это уж второе мамино письмо по

этому поводу)[8] нарушила все мои планы. Я мечтал, что с первыми лучами весеннего солнца я вылечу из Берлина и пойду странствовать по Германии и проберусь на юг Италии в Рим, который меня теперь манит к себе неотразимо. Хотя теперь я и начинаю склоняться к мысли, что было бы лучше вернуться теперь в университет, а потом, после экзаменов, отправиться в Италию из Крыма через Константинополь. Но ужасно не хочется возвращаться снова на юридический факультет; меня все теперь тоже привлекает мысль перейти на историко-филологический, потому что в сущности, как это мне выяснилось во время путешествия особенно ясно, меня история и история искусства интересуют больше всего, а мои юридические науки ни капельки. Но это все покажет будущее, а пока я накупил себе путеводителей по Италии и усердно изучаю их. Теоретически я уж исходил всю Италию вдоль и поперек, с Сицилией включительно, а в Риме даже с закрытыми глазами смогу разобраться. Нигде так не чувствуешь недостаточности исторических познаний, как в Италии, и нигде так ясно не кричат камни под ногами. Только кричат они не «аминь!», а «учись!». Сначала это даже тяжело: каждая церковь не просто церковь, а музей и картинная галерея, каждый камень не просто камень, а памятник. И все так красиво и так напоминает оперные декорации, что кажется сначала неестественным и ненастоящим. Страсть к живописи доходит там до того, что совершенно новые дома раскрашиваются под старину — на свежей штукатурке рисуется зеленая плесень и обломавшиеся кирпичи, из нарисованного полуоткрытого окна выглядывает какой-нибудь нарисованный старик, и это так развивает на первых порах скептицизм, что все кажется нарисованным: и эти чересчур яркие абрисы гор на горизонте, и эта зелень на белой стене дома, и ярко-красные листья этого вьющегося по старой стене неведомого произрастания, и эта темно-зеленая гладь прозрачного озера, похожего на кусочек зеркала посреди корзины с цветами, а особенно эти скалы, как две капли воды похожие на те картонные, которые употребляются в фотографиях, и венецианские гондолы. Мне сейчас так и представлялась та знаменитая гондола в зале Айвазовского, кото-

рая со скрипом выползает из-за задней кулись.[9] Но потом это проходит, когда, приглядевшись, замечаешь ту живую струю красоты и жизни, которая бьет среди этих мертвых остатков прошлого. Памятники старины и современная жизнь только тогда хороши, когда они соединены вместе. Это в Париже особенно ярко. Если бы там старинные церкви и зданья не смягчали бы эту ужасающую пестроту улиц, если б там нельзя было бы по временам уйти немного в прошлое, чтобы отдохнуть от сумасшедшего водоворота этой бьющей из краев жизни, то там невозможно было бы двух дней прожить. Так же тяжело и в Италии, пока не заметишь там струек живой органической жизни народа среди этих мумий умершей красоты, покрытых кишащими паразитами — туристами. Берлин так и несносен потому, что в нем нет ничего, ничего старого, и эти греческие колоннады гауптвахты и художественных музеев нестерпимо холодны и академичны.

В поэзии старых больших
городов
Есть близкое что-то к природе:
Стихийною силою веет от них.
И в уличном шуме, в народе,
Струящемся бурной и пестрой
волной.
Когда приглядишься поближе,
Услышишь рев бури и дальний
прибой....
Я помню, бывало, в Париже
Дыханье всемирной столицы
вдыхал
Я с дикой и странной любовью:

Здесь каждый вершок обагрен
и облит
Героев священною кровью;
Есть жгучее что-то в его мостовой,
Вспоенной волною восстаний,
И веет дыханьем борьбы
вековой
От этих соборов и зданий.....
...Спускается вечер, прозрачен
и тих,
Струится красавица Сена.
Оттенки прозрачны, как
пушкинский стих,
Как краски у Клода Лоррена...[10]

А по улицам струится эта нервная, живая парижская толпа; последние лучи солнца скользят по куполу Пантеона.[11] Вдали рисуются черным силуэтом башни Нотр-Дам, и черной массивной неуклюжей массой огромных круглых средневековых башен отражается в воде Palais de Justice.[12] Алмазные

огоньки зажигаются на дальних мостах и внизу на реке, где идет то же сумасшедшее движение, что и на улице, бодрящее и возбуждающее, как горный воздух на альпийских высотах. Никогда больше в Берлин не приеду, а только в Париж.

Кстати о стихах: все время было слишком много впечатлений, чтобы писать их. Непосредственное, моментальное впечатление может передать только проза — поэтому мои письма и были так полны. Стихами же можно заниматься, когда все это уляжется, облекая свои прежние впечатления в строгую архитектурную форму стиха. Теперь же в Берлине я снова начал писать — один законченный лирико-исторический отрывок о Версале я приведу ниже — это, в сущности, суммирование того, что я писал в письмах. Продолжал я тоже и «XIX век».[13] Написал строф шесть новых, но пришлю вам их позже, потому что отдельными стихами я еще недоволен, а отрывок все-таки надо привести в более или менее целом виде. А что вы так напустились на те несколько строчек, написанных на почтовой карточке,[14] право, не понимаю — ведь это только пояснительный текст. И что вы, собственно, называете «умничаньем», и почему не хотите ни в каком случае отрекаться от этого слова?[15] Неужели то, что я считаю бессмысленным (для себя) писать чисто лирические стихотворения? Право, Александра Михайловна, внутри у меня ровно нет ничего интересного — т.е. такого, что не было бы у других, и докладывать об этом в стихах другим людям не стоит, выдумывать же себе особенные чувства прямо свинство, а я это в большинстве своих лирических стихотворений делал. А окружающий мир так богат и прекрасен, что, посмотрев его, внутрь себя совсем смотреть не захочешь. Эти краски, образы, оттенки, цвета, города, картины, горы, водопады, озера, ледники, уличные движения так бесконечно разнообразны и ярки, что ими делиться невольно хочется.

Ну, вот это Версаль — наверно опять ругаться будете.

В осенний, холодный, но солнечный день
Бродил я по парку в Версале.
На мраморных, старых ступенях дворцов
Увядшие листья лежали.

И шорох шагов в полумраке аллей
Тревожил покой сновидений
Старинного парка и тени былых,
Исчезших давно поколений.*
Все то же... По-прежнему мрамор статуй
Рисуется в воздухе чистом...
Да! Трудно, бродя по версальским садам,
Немного не стать роялистом.
Какое величье! Подобный размах,
Создавший такие чертоги,
Возникнуть мог только, когда на земле
Царили не люди, а боги.
Когда всемогущий «Roi le Soleil»
Сиял в одиноком сияньи....
Тогда на царей не бюджет, не народ —
Лишь дамы имели влиянье.
Прекрасное время! Madame Ментенон
Сидела в Большом Трианоне,
Людовик же в самом Версале сидел,
Сияя величьем на троне.
Порою, наскучив сияньем своим
И ролью всесильного Бога,
По этим аллеям в Большой Трианон
Он шел, чтоб развлечься немного.
Я видел там старый бильярд... Неужель
Случалось, что здесь в Трианоне
Играл сам великий Roi le Soleil
В порфире своей и в короне?
О, если б придворным поэтом я стал,
Я б спеть попросил свою музу,
Как он высочайшей рукой отправлял
Торжественно «желтого в лузу».
Но я, coq le Dieu!* — не придворный поэт!
Мне нравится это сиянье
Тогда лишь, когда его больше уж нет —
И этому есть основанье:
Версальские парки смотреть ведь никто
Из смертных тогда не пускался,
Когда здесь единственный солнце-король
Один, как сыр в масле, катался.

* Избави Бог (*фр.*).

О, да! То был истинный лимбургский сыр –
И тонкий, и острый: прекрасный
Образчик сыров, отравляющих мир
Гниеньем и вонью ужасной.
Но эти французы толк знают в сырах –
Сыр гнил у них долгие годы
И подан был, наконец, как десерт
На пире народной свободы.
И съел с аппетитом французский народ
Свой сыр, и теперь в нетерпеньи
Сырам своим новым прогнить не даст,
А ест, лишь начнется гниенье.
В России наш сыр прогнивает давно
По разным дворцам и хоромам.
Как жаль, что наш вечно голодный мужик
Совсем не рожден гастрономом.
Но, впрочем, потребности можно развить
В нем медленным, мирным процессом,
Когда его выжмет сперва капитал
Фабрично-промышленным прессом.[16]

Что книги вы выслали – спасибо. Мне их раньше и не нужно было: мне Яша должен был их после Рождества выслать, а теперь, так как я сам вернусь, вероятно, и совсем в Берлин пересылать не будет. Простите за хлопоты и за беспокойство. «Триумфа Смерти» я не читал.[17] А вот вы прочтите роман Горького «Фома Гордеев», напечатанный в журнале «Жизнь» за этот год (его вы можете в читальне найти – там, кстати, портрет Михаила Митрофановича на обложке помещен).[18] Горький – это будущая громадная сила, да и теперь он уж не маленький. Вы читали 2 книжки его рассказов?[19] Если нет, то непременно прочтите и напишите, какое впечатление произведет. Прочел я недавно «Воскресенье» в заграничном издании и был поражен страшной силой некоторых сцен, которых в русских изданиях, разумеется, нет. Он еще не кончен здесь печатаньем – его Чертков в Лондоне печатает.[20] Если хотите, то можете достать это издание – с доставкой в Россию на дом оно стоит шесть рублей (ввиду трудности доставки таких книг в Россию – прибавляет Чертков). Если можете

шестью рублями пожертвовать, то напишите мне и деньги пришлите, а я перешлю их в Лондон. Пишите мне поскорей. Я раньше 15 янв<аря> по ст<арому> ст<илю> отсюда не уеду. Кланяюсь всем.

Макс. Волошин.

P.S. Получили ли Вы Моцарта? Шлю вам еще Шиллера и Бетховена.[21] Вообразите, что они стоют тут по 15 коп. на наши деньги!

P.S. Вообразите, что в Берлине продаются пирожные под названием «Свежие императорские поцелуи»!

[1] Письмо А.М. Петровой от 5—7 декабря 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 35—36 об.).

[2] Строка из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» («В минуту жизни трудную...», 1839).

[3] Национальная галерея в Берлине — собрание живописи и рисунков; основана в 1876 г.

[4] Подразумеваются высказывания Г. Гейне в его цикле «О французской сцене. Интимные письма к Августу Левальду» («Über die französische Bühne», 1837): «Немец может с гордостью утверждать, что только на немецкой почве дураки могут дорастать до той титанической вышины, о которой плоский, рано приплюснутый французский дурак не имеет никакого понятия» (Письмо второе); «Жизнь немца похожа на волос, который тянут по молоку. Да, это сравнение было бы еще более верно, если бы сказали: немецкий народ похож на косу из тридцати миллионов вместе сплетенных волос, безмятежно плавающую в большом горшке молока» (Письмо четвертое) (*Гейне Генрих*. Собр. соч. / Ред. Петра Вейнберга. СПб.: Изд. Б.П. Вейнберга, 1899. Т. 5. С. 15, 36. Перевод П.И. Вейнберга).

[5] Г. Гейне с 1846 г. был поражен прогрессивным параличом.

[6] Памятник Г. Гейне был открыт в Нью-Йорке (в Киммельпарке) 8 июля 1899 г. (скульптор Эрнст Гертер): посредине круглого бассейна установлена колонна, завершающаяся фигурой Лорелеи; ниже размещен горельефный портрет поэта по рисунку Давида Д'Анже; три нимфы — Лирика, Сатира и Меланхолия — окружают цоколь.

[7] Письмо Е.О. Кириенко-Волошиной от 21 декабря 1899 г. (см. примеч. 1 к п. 87).

[8] Письмо Е.О. Кириенко-Волошиной от 23 декабря 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 66—67 об.), в котором она сооб-

щала о своей беседе с инспектором Державиным и о назначенном на 29 декабря совете, на котором предполагалось рассмотреть прошение Волошина.

[9] В доме И.К. Айвазовского в Феодосии была устроена сцена с видом Венеции в качестве задника.

[10] Начальные фрагменты стихотворения Волошина «Камни Парижа» (Т. 2 наст. изд. С. 378).

[11] Пантеон — храм на холме святой Женевьевы, построенный по проекту Ж. Суфло в 1758—1790 гг. Вскоре стал усыпальницей выдающихся людей Франции (Вольтер, Руссо, В. Гюго и др.).

[12] Palais de Justice (Дворец Правосудия — *фр.*) на острове Сите — ансамбль зданий, включающий собственно Дворец Правосудия, капеллу Сент-Шапель и Консьержери. Здесь имеется в виду Консьержери, здание конца XIII — начала XIV в. с двумя башнями-близнецами.

[13] См. примеч. 10 к п. 30.

[14] В письме от 5—7 декабря 1899 г. Петрова критиковала волошинскую строку: «*Глядел* великий романист на *шум* детей» (подчеркивания Петровой) — и выносила свой вердикт: «порядочная, т.е. непорядочная декадентщина». Упомянутая открытка Волошина, вероятно, не сохранилась.

[15] Подразумевается следующий пассаж из того же письма Петровой: «Перечитываю иногда и нашего поэта-лауреата, г-на Волошина, и удивляюсь — почему он не изволит больше писать? <...> Бросьте Вы к черту Ваше умничанье (не отрекусь от этого слова, хоть убейте) и пишите, пишите».

[16] Стихотворение «Версальский сыр» (Берлин, 21 декабря 1899 / 2 января 1900 г.) (Т. 2 наст. изд. С. 370—371).

[17] «Триумф смерти» («Trionfo della morte», 1894) — роман итальянского писателя Габриеле Д'Аннунцио. 7 декабря Петрова писала Волошину: «Что читаю? <...> Начала и опять не смогла окончить романа Гаврюшки Анунциева «Триумф смерти». Читали ли Вы его? В предисловии он такого наобещал, что я с жадностью схватилась, но... не одолела. Слишком уж умная и хитросплетенная вещь для романа. И почему он больной тип взял?»

[18] «Жизнь» — литературно-политический журнал, тяготевший к марксизму, издавался в Петербурге в 1897—1901 гг. Роман Горького «Фома Гордеев» был напечатан в 1899 г. (№ 2—4, 6—9). На обложке журнала были изображены старец с длинной бородой (несколько напоминавший, по-видимому, М.М. Петрова) и юноша на берегу моря.

[19] Речь идет об «Очерках и рассказах» М. Горького (Т. 1–3. СПб.: С. Дороватовский и А. Чарушников, 1898–1899).

[20] В.Г. Чертков, живя с 1897 по 1907 г. в Великобритании, издавал запрещенные цензурой произведения Л.Н. Толстого.

[21] По-видимому, речь идет о слепках с посмертных масок. 12/25 марта 1900 г. Петрова писала Волошину: «Маска Бетховена привела меня в полнейший восторг».

1900

91. Я.А. ГЛОТОВУ

2/14 января 1900 г. Берлин

14 января 1900 г.

Berlin. Plan-Ufer 36^{I} b<ei> Weber.

Милый Яша! Спасибо за твое длинное и подробное письмо.[1] Последние дни мне ужасно скучно в Берлине, так как занятия немецким языком почти бросил и только жду с нетерпением решения судьбы – ехать в Москву, или не ехать? В конце концов я и сам не знаю, чего мне хочется, – я, кажется, с одинаковой радостью приму всякое решение, потому что, несмотря на твои мрачные письма, мне все-таки хочется в Москву. Главное вот если бы летнее путешествие удалось. – В Берлине на улицах так все мертво, что не тянет из дому – я даже в театре ни разу не был. Утром приносят мне обыкновенно «Vorwärts» («O warum so schlechte Zeitung!!»* – восклицают мои хозяйки). Я начинаю в нем как будто уж больше разбираться и смысл некоторых известий понимаю даже без словаря, но передовиц так и не могу одолеть. Последнее время довольно часты телеграммы из России. Дня два тому назад была телеграмма, что в Петербурге арестован некий Иван Вольф и раскрыт заговор и план покушения на его величество, и что предполагаются обширные аресты. Но больше никаких известий об этом не было, и в Русской колонии говорят, что это всё враки. Все время тревожные и злорадные по отношению к англичанам известия о передвижении русских войск к афганской границе, причем «Vorwärts» ядовито приветствует эту «новую демонстрацию в честь всеобщего мира» и, цитируя статьи «Нового Времени» о божественной выносливости

---

* «О почему такая плохая газета!!» (*нем.*).

русского солдата, не имеющей себе ничего подобного в других странах, иронически восхищается миролюбием русской официозной прессы. Более любопытное и интересное известие слышал я на днях на русском балу, устроенном здесь под Новый год (ст<арого> стиля). Помнишь ты дело в Полтаве (я его сам хорошенько не помню) относительно найденно<й> у какого-то ученика нелегальной брошюрки и затем о высылке по этому делу из Полтавы административным порядком, по Высочайшему распоряжению 30 человек из земских деятелей. У меня остались об этом только очень смутные и неясные воспоминания. Но дело не в этом, а в том, что правительствующий Сенат *отменил* высочайшее распоряжение об административной высылке, а высланные подают иск о возмещении потерь. Оказывается, что есть статья, по которой Сенат может отменить высочайшее распоряжение, «сделанное по неверному докладу министра», что Сенат, воспользовавшись отставкой Горемыкина,[2] и сделал.

Да! тоже вот — достань непременно № 57 «Северного Курьера» от 29 декабря и прочти там фельетон «Из птичьих сказок» Фон-Дудерзака — сказка о яйцах (перевод с немецкого). И затем, имея в виду, что это совсем не перевод, читай ее внимательнее между строк и постарайся понять всю аллегорию и отдельных лиц. Так как аллегория очень туманна и предумышленно запутана, то ты этот фельетон сохрани, а я тебе при свидании объясню. В виде ключа могу в письме только сказать, что петух Верти-хвост — Суворин, а Лайварнак — Буренин,[3] а в остальном, я думаю, ты и сам разберешься. Покажи это Ж.[4] Ужасно тяжело положение той страны, в которой могут появляться только такие аллегории.

В заключение политики — вот очень характерная карикатура из местных интересов. Называется «Всегда за делом». Действие происходит в общественно<м> ватерклозете с отделениями I и II класса за 5 и за 10 пф<еннигов>, в которых обыкновенно заседает почтенная дама с газетой или с чулком в руках и к каждому входящему обращается с вопросом: «Für grossen oder kleinen Gemach, gnädige<r> Herr?»* и затем водво-

* «Для больших или малых дел, милостивый государь?» (*нем.*).

ряет его куда надо. На карикатуре дверь одного из таких отделений приотворяется и через нее просовывается лицо очень сериозного господина: «Дайте мне, пожалуйста, бумаги». — На лице дамы невыразимое удивление: — «Но я же вам уже дала целую газету!» — «Да, но она мне нужна для следствия — я в ней нашел повод для возбуждения процесса об оскорблении величества». Это очень характерно. Здесь действительно эти процессы составляют страшный быт. В «Vorwärts'е» целый ежедневный отдел посвящен хронике их. Либкнехт,[5] как мне говорили, в общей сложности за всю свою жизнь просидел 18 лет (!!!!) в тюрьме за оскорбления величества. Недурно?

Русские здесь всё народ не особенно интересный. Чаще всего я вижусь здесь с Авксеньтьевым. Он здесь тоже состоит председателем (научного ферейна).[6] Заседания этого ферейна бывают интересны. Устраиваются они обыкновенно в какой-нибудь отчаянной пивной, холодной и сырой, как будто осклизлой от табачного дыма и пива, разлитого на столах и на полу. Такие учреждения называются здесь лакалями[7] (вероятно, от глагола лакать). В них всегда необыкновенно холодно, тесно, скверно и квартальный сидит. Пока я был на двух собраниях. На одном читался реферат о сионизме — была масса евреев и прения были очень жарки и одушевленны — некоторые говорили великолепно — особенно из ярых сионистов. Другой реферат читался о Горьком Таном — поэтом (ты верно его встречал в «Жизни» или «Русс<ком> Богатстве»[8] — один из наиболее симпатичных современных поэтов с гражданскими мотивами). Но реферат не был из удачных. Интереснее были маленький рассказ и несколько ненапечатанных стихотворений, прочтенных им после. Читал ли ты «Воскресенье»? Только что вышли первые главы III части в издании Черткова, и они производят очень сильное впечатление, особенно рассказ Нехлюдову одного политического о том, как были повешены 2 его знакомых. Я прочел этот выпуск бегло в читальне, но больше его достать не мог — если достану, то пришлю эту главу. Читал ли ты те главы, что я Лёле прислал?[9] Портреты я достану — не знаю вот только как Герцена — большого-то во всяком случае нет, да и провезти его трудно — лучше обык-

новенную карточку после увеличить в Москве. Бюст Сократа поищу. Я видел в Париже бюстики его и хотел тебе даже купить, но они были так скверно сделаны, что я раздумал. Деньги лучше выслать, а то я не знаю, хватит ли мне имеющихся на дорогу, вместе с покупками. Сумочка, кажется, на наши деньги около 2 р. стоит (спроси у мамы), портреты можно считать по 50 к., бюстик – 1 р., я думаю. Но лучше пришли денег немного больше – я, может, еще тогда что-нибудь интересное найду из фотогр<афий> (это очень дешево здесь сравнительно с Россией).

Ларисcе[10] я написал письмо в ответ на ее неполученное – получила ли она его?

Теперь иду обедать – до свиданья.

Кланяюсь Екатер<ине> Влад<имировне> и Людм<иле> В<ладимировне>.[11] Целую Лёлю, Любу и Мишу.[12] Буду ждать со страшным нетерпением известия о решении моей судьбы.

Макс. Волошин.

P.S. Купил себе два томика стихотворений поэта-анархиста Джона Генри Макая – буду переводить и пришлю, когда переведу.[13] Откуда достали вы такую удивительную даму? Она не немка?[14] В Берлине я вот только такие разговоры и слышу, только об иных предметах. Новый год по старому стилю я встречал на русском вечере, где сперва очень скверно читала Горева, а потом танцевали. Мне казалось, что я сижу в Романовке.[15] Тут уж был не лакаль, а целый зал с люстрами и зеркалами. Положим, рядом было и какальное отделение, где я сидел все время и любовался пьяными студентами, перенося мыслью на милую родину, где я часто видел точно таких же пьяных студентов.

[1] См. примеч. 3 к п. 62.

[2] И.Л. Горемыкин был членом Государственного совета и министром внутренних дел в 1895–1899 гг., отправлен в отставку 16 октября 1899 г.

[3] В фельетоне неизвестного автора «Из птичьих сказок фон Дудерзака. (Перевод с немецкого). Сказка о яйцах (Eiermärchen)» (Северный Курьер. 1899. № 57. 29 дек. С. 2) фигурирует не Верти-хвост,

а Хвост-крючком – старый петух («Голос его <...> мог соперничать с собачьим лаем»), вещающий с навозной кучи слова, которые признаются курами «за ужасно остроумные»; скорее всего в этом персонаже содержится намек на В.П. Буренина. Аналогичным образом черты А.С. Суворина правомерно усмотреть в образе серого козла (которого поддерживает Хвост-крючком), который «особенно хвастался своим благоразумием»: «Это был весьма премудрый козел, и борода его имела философский покрой».

[4] Видимо, подразумеваются Жебунёвы.

[5] Вильгельм Либкнехт был одним из редакторов социал-демократической газеты «Форвертс».

[6] Н.Д. Авксентьев, студент юридического факультета Московского университета с 1897 г., бывший в 1899 г. одним из организаторов студенческих волнений и исключенный из университета без права обратного поступления, осенью 1899 г. выехал в Германию, изучал философию и политэкономию в Берлинском и Лейпцигском университетах; стал центральной фигурой кружка русских студентов, обучавшихся в Германии.

[7] Das Lokal (*нем.*) – ресторан, кафе, закусочная; трактир.

[8] См. примеч. 18 к п. 90. «Русское Богатство» – литературный, научный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1876–1918 гг.; с 1892 г. – центр легального народничества (идейные руководители – Н.К. Михайловский и В.Г. Короленко).

[9] Е.С. Лямина. См. п. 88, примеч. 1.

[10] Лариса Владимировна Жебунёва.

[11] Е.В. Глотова и ее сестра.

[12] Л.С. Лямина и М.С. Лямины.

[13] Эти книги немецкого поэта (уроженца Шотландии) Джона Генри Маккея (Mackay) – «Sturm» и «Dichtungen», изданные в Цюрихе и Лейпциге (б.г.), – сохранились в библиотеке Волошина, имеют его пометы (см. комментарии М.Ю. Кореневой: Т. 4 наст. изд. С. 979). Известно одно стихотворение этого немецкого поэта в переводе Волошина – «Оставил я город и дом, и людей...» (Там же. С. 918).

[14] О ком идет речь, неясно (отклик на сообщение в несохранившемся письме Глотова).

[15] Владельческое село в Балашовском уезде Саратовской губернии.

Заказ № 5706

92. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

2/14 января 1900 г. Берлин

14 января 1900 года. Berlin. Plan-Ufer 36^{I} b<ei> Web<er>.

Дорогая мама! Ваше письмо получил сегодня утром[1]. Я теперь жду не дождусь только момента, когда Вы меня известите наконец, могу ли я возвращаться в Москву или оставаться в Берлине. Благодаря этому и мои занятия немецким языком, т.е. выписывание и учение слов, опять прекратились: не зная ничего, где буду находиться и что буду делать, совсем ни заниматься, ни читать не хочется, и поэтому последние <дни> было как-то ужасно скучно — тем более что все русские книги я отдал, чтобы остаться наедине с немецкими, а в читальню было лень идти, потому что холодно. Пожалуйста — напишите мне немедленно, как только можно будет узнать, потому что ведь по берлинским правилам я должен завтра, т.е. 15-го, сказать хозяевам, остаюсь я или нет на следующий месяц, положим, я с ними говорил об этом и они ничего не имеют против того, что я скажу позже, но все-таки неловко. Они, кстати, вам каждый раз всё кланяются. Относительно прошения того, которое вам послал я, пожалуй, согласен,[2] но эта бесконечная, многократная подача прошений производит впечатление, будто бы они заставляют меня просить у них несколько раз прощение и говорят: нет, мы тебя теперь не простим, а если ты вот еще раз у нас попросишь, тогда, может, и простим. Я согласен, что требование о разъяснении ни к чему не поведет, но так как глупость прошений и их унизительность заключается главным образом в их ничем не мотивированной форме, то я предполагаю придать ему такой вид: ввиду того, что со мной было поступлено так-то и так-то (перечисление всех приговоров, произнесенных надо мной), то ввиду очевидного недоразумения прошу принять меня и т.д. Написать прошение и подать — это не трудно, но ведь это же, в конце концов, слово в слово выходит то, что говорил Тихомиров вам прошлой весной: «Да, если они раскаются и попросят прощения, то...». Я согласен придать какую угодно канцелярскую форму, мотивировать причины, которые заставляют подавать

меня снова прошение как можно мягче, но просить прощения не желаю. Первое прошение в августе[3] еще не было просьбой о прощении, потому что тогда были разные новые указы и распоряжения, которые изменяли положение исключенных, а теперь, после того как это прошение послано и я через Яшу уведомлен решительно, что могу поступить только в августе 1900 г., всякое новое прошение, поданное без каких-либо мотивированных причин, есть уже просьба о прощении. Что вы об этом думаете?

О филологическом факультете мы с вами поговорим после, потому что если меня допустят до экзамена в этом году, то только уж до юридического, а филологического экзамена с I на II мне держать не позволят, т<ак> к<ак> у меня не будет зачетов (юридические-то у меня есть за прошлый год), и таким образом во всяком случае юридические экзамены держать буду, а если нет и в Москву не вернусь, то, освоившись с немецким языком, займусь историей искусства — это мне будет полезно и для путешествия в Италию, и для филолог<ического> факультета. Но все-таки кажется, что мне теперь больше хочется вернуться в Москву в университет. Пишу это «кажется» потому, что сперва, получив ваше первое извещение о том, что я верно буду принят, я огорчился ужасно, что вы по моим письмам верно видели, а через день я уже ликовал от мысли, что поеду в Москву. Так верно будет и теперь, что бы вы мне ни написали — я через день буду ликовать, но пока это состояние неизвестности очень скверно — терпеть его не могу. Сегодня я Яше отвечал на письмо[4] и передавал ему некоторые полученные новости об России — он вам их верно расскажет, так что их я повторять не стану. О тех 13 руб. от Миши[5] я действительно забыл, да и теперь что-то очень смутно только вспоминаю. Так вы ему уж ничего не говорите — я приеду, тогда, может, сам поговорю. Что за личность в конце концов этот — Федра?[6] Видели ли вы его? Видели ли вы Михайлу?[7] В каком он теперь положении (матерьяльном)? и что делает? Что Лёля[8] предполагает теперь делать? и что, в конце концов, — чем кончилось с Яшей и кончилось ли?[9] Целую их всех и бабушку. Поклон Ольге Мих<айловне> и Скворцу.[10]

Макс. Волошин.

[1] Письмо Е.О. от 29 декабря 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 68–69 об.).

[2] См. п. 87. 29 декабря Е.О. писала Волошину: «Все твои вопросы и требования разъяснений к прошению о принятии не относятся; их можешь писать отдельно и быть совершенно уверенным, что ответа на них не получишь, никаких разъяснений не дадут, а скорее всего для краткости и ясности отстранят тебя самого окончательно от университета со всеми твоими вопросами и требованиями, они так же немыслимы, как начатие судебного разбирательства по поводу студент<ских> беспорядков. Переходу твоему на историко-филологический я совсем не сочувствую, т<ак> к<ак> чем скорее покончишь с образованием в России, тем лучше, а потому кончать нужно юридический, занимаясь в то же время языками, а затем уже ехать за границу и слушать что угодно, что больше интересует».

[3] См. примеч. 2 к п. 69.

[4] См. п. 91.

[5] М.П. Свободин.

[6] Неустановленное лицо.

[7] М.В. Лавров.

[8] Е.С. Лямина.

[9] Подразумеваются исключение Я.А. Глотова из числа студентов Московского университета и перспективы последующего восстановления.

[10] О.М. Струкова и М.П. Свободин.

93. Я.А. ГЛОТОВУ

4/16 января 1900 г. Берлин

Яша! я видел сегодня один бюст Сократа[1] – бронзовый, подделка под антик, но самое лицо нехудожественно, хотя в общем бюст хорош. Он стоит 10 мар<ок>, т.е. пять рублей. Фарфоровых бюстов Сократа тут нет – я все главные магазины обошел. Покупать ли? Портрета Герцена тут достать нельзя, других же пока еще тоже не нашел, но Гауптмана портрет я видел, так что его-то достану. Напиши главное: покупать ли Сократа?

Макс. Волошин.
16 января 1900 года.

[1] В несохранившемся письме Глотов просил Волошина приобрести для него бюст Сократа и портрет А.И. Герцена. Ср. п. 91.

94. В.Г. ЧЕРТКОВУ

5/17 января 1900 г. Берлин

М. Г.!

В объявлении о Ваших изданиях сказано между прочим, что «Воскресенье»[1] может доставляться и прямо в Россию (по повышенной цене). Распространяется ли это также и на другие Ваши издания? Я буду Вам чрезвычайно благодарен, если Вы мне это напишете. Цель этого – распространение таких маленьких библиотечек в провинции преимущественно между учащимися средн<их> учебных заведений.

Неизвестно еще, насколько широкое распространение получит этот план, но пока мы находимся в полном неведении относительно главного пункта – как достать книги. Если это окажется действительно возможным при помощи «Свободного Слова»[2] и относительно его изданий, то нельзя ли будет тем же путем при Вашем содействии получать и другие книги, разумеется не противоречащие прямо Вашей программе (напр<имер>, Кенана, Туна, письмо Цебриковой, некоторые тома Герцена, письмо Б<елинского> к Гоголю[3] и др<угие> книги так<ого> рода, необходимые для наших целей).

Если же все это окажется невозможно, то Вы верно сможете указать мне другой путь, которым можно получать книги в России, т<ак> к<ак>, повторяю, мы совершенные новички в этом деле.

Еще одна просьба: Мой адрес Berlin. Plan-Ufer 36[I] rechts bei Weber – но я здесь остаюсь не дольше конца января, так можно вас попросить поскорее ответить.

Max Woloschin.

17 января 1900 г.

[1] См. примеч. 1 к п. 88.

[2] В.Г. Чертков, высланный в 1897 г. за границу, организовал в Англии издательство «Свободное Слово», выпускавшее в свет сочинения Л.Н. Толстого (в частности, «Полное собрание сочинений Л. Толстого, запрещенных в России»), журналы «Листки Свободно-

го Слова» (1898–1902; 25 номеров), «Свободное Слово» (1901–1905; 18 номеров).

[3] Книги Джорджа Кеннана в заграничной неподцензурной русской печати издавались неоднократно: «Последнее заявление русских либералов» (Женева, 1890), «Русская политическая тюрьма. Петропавловская крепость» (Женева: Изд. Эльпидина, 1891), «Сибирь и ссылка» в двух томах (Лондон: Вольная типография, 1890). Имеются в виду также издания: *Цебрикова М.* Письмо императору Александру III. Лондон, 1894; Сочинения А.И. Герцена. Т. 1–10. Genève; Bale; Lyon, 1875–1879; Письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю, с предисл. М. Драгоманова. Genève: H. Georg, 1880 (впервые опубликовано в «Полярной Звезде» на 1855 г.; подробнее о распространении и списках этого документа см.: Письмо Белинского к Гоголю / Статья и публикация К. Богаевской. Комментарий Я.З. Черняка // Литературное наследство. Т. 56. В.Г. Белинский. II. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 513–605). Тун – возможно, австрийский политический деятель граф Франц-Антон Тун (1847–1916), известный в свое время речью против притязаний немцев в Богемии (1888).

95. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

8/20 января 1900 г. Берлин

Дорогая мама!

Ну значит, мне еще четыре дня ждать решения своей судьбы:[1] это мне отчаянно надоело, и я теперь не знаю совершенно, на какой лад мне настраиваться – на безмятежное ли, тихое житье в Берлине вперемежку с немецким языком, или же на беспокойную подготовку к экзаменам в Москве. В ожидании же этого начал снова бегать по музеям. Был недавно на выставке Кнауса, и это самое, пожалуй, интересное из всего, что я видел в Берлине, – мне очень хотелось видеть все его картины, а здесь как нарочно открылась его полная выставка всех картин, рассеянных по разным городам и музеям. Вы видели его несколько картин в Национальной галерее: помните его Детский праздник – Вам понравилось.[2] В жанрах он очень напоминает Маковского,[3] а особенно хороши у него сцены из детской жизни и из еврейской. У него масса какого-то

особенного, тонкого, необыкновенно симпатичного юмору. Был я и на одном социал-демократическом собрании, но из того, что там говорилось, ничего не понял; видел же только непроницаемые облака табачного дыму и среди них силуэты бесчисленных немцев, пьющих пиво. Нашел я недавно новую столовую, еще более дешевую и еще более лучшую, чем наша в Ewangelische Jüngling Verein. Это вегетерианская столовая — там надо брать по порциям, и я совершенно бываю сыт, съев за 30 пф<еннигов> две вегетерианские котлеты (необыкновенно искусная имитация мяса — приготовляются они из чечевицы) с неизменным «Kartoffel-salat'ом». Вместо салфеток там даются какие-то особенные мягкие бумажки, а ножей совсем не дают — это, верно, тоже какое-нибудь вегетерианское обыкновение. Но вообще быть вегетерианцем очень приятно — там и газет много, и социал-демократические есть — интереснее, во всяком случае, чем быть евангельским юношей. Купил я себе сегодня за 4½ марки Leder Hose—Hercules,* о которых Вам уже писал. Они тоже в некотором роде вегетерианские — кожи в них нет никакой; но прочности и плотности они необычайной. Из чего сие приготовлено, право, не знаю и не представляю себе, но во всяком случае из чего-то абсолютно несокрушимого. Сшиты они какими-то металлическими нитками, пуговицы прикованы к ним чугунными заклепками, карманы у них тоже такого размера и прочности, что, очевидно, покойный Геркулес имел обыкновение туда прятать свою палицу — гарантия панталон при ежедневном сползании с гор по острым камушкам на собственных салазках и коленях — год. Когда же они износятся в этих местах, то можно сделать из них несколько пар великолепных горных подошв: словом, штаны, как видите, прямо для меня и предназначены, и я этим приобретением ужасно доволен и все бегаю в шкаф любоваться и мечтаю, глядя на них, как буду путешествовать летом. А наружный вид их совсем приличный. Только вот теперь начинаю бояться — пропустят ли меня через границу с такой «симфонией невыразимых», какая у меня теперь составилась, — придется на себя несколько надеть. Прилагаемую почтовую карточку с портретом Гауптмана отдайте,

* Кожаные штаны Геркулес (*нем.*).

пожалуйста, Яше[4] и спросите его, хочет ли он еще другую фотограф<ическую> карточ<ку> Гауптмана (он меня просил), она будет стоить 2 марки. Жаль только, что здесь помещена такая дурацкая Раутанделейн[5] — положим, что ее обрезать можно — это только на днях такие новые карточки вышли.

Спасибо за такое подробное письмо — читая его, я понимал прекрасно бабушку, потому что мне даже было интересно то, что ели у Ляминых, и я несколько раз с аппетитом перечитывал это место. Несмотря на тщетные попытки экономии деньги у меня всё куда-то идут и идут, и я думаю, что в Дрезден мне теперь съездить не удастся, т<ак> как теперь у меня всего 60 мар<ок>, а на дорогу надо minimum 50, да еще корзину купить. Не купить ли мне, пожалуй, лучше саквояж (из такого материала, как мой ранец), я тут где-то за 6—7 марок большие видел. Лёля и Яша просили меня здесь кое-что купить, я поэтому и просил их выслать мне деньги на это. Кстати — если я поеду теперь в Москву — то куда мне ехать с вокзала — к вам, или к Ляминым, или к бабушке? Не позабудьте мне этого написать. Удобно ли нам будет устроиться вместе? Смогу ли я вот какие-нибудь уроки в Москве найти — это было бы очень хорошо для меня. Хозяйки Вам кланяются и ждут письма от Вас. F<räu>lein Franziska[6] все страждет, что в феврале она останется совсем одна и без сестры и без меня «nur mit seinen drei Sobatschka».* До свиданья.

Целую бабушку, д<ядю> Гришу, Любу, Лёлю, Мишу,[7] Яшу, кланяюсь Ольге Михайловне, Мишелю[8] и всем остальным знакомым.

Макс. Волошин.
20 января 1900 года. Берлин.

[1] В письме от 4 января 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 1—4 об.) Е.О. сообщала Волошину, что была сегодня в университете, где узнала, что совет, на котором будет рассмотрено прошение Волошина, соберется 8 января.

[2] Картина Людвига Кнауса «Детский праздник», экспонировавшаяся в Берлине в Национальной галерее, написана в 1869 г.

* «только со своими тремя Sobatschka» (*нем.*).

[3] Видимо, имеется в виду русский живописец Владимир Егорович Маковский (1846–1920); как жанрист, выступал и его брат Константин Егорович Маковский (1839–1915).

[4] Я.А. Глотов. Ср. п. 93.

[5] См. примеч. 7 к п. 79.

[6] Франциска Вебер.

[7] Г.О. Глазер, Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[8] О.М. Струкова и М.П. Свободин.

96. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

11/23 января 1900 г. Берлин

23 января 1900 года. Берлин.

Милая мама! Два часа тому назад получил Ваше письмо, а теперь сижу у Пешковского, которого не застал дома и жду его, чтобы посоветоваться, так как сам ни к какому определенному решению не могу прийти.[1] Если б я был вполне уверен, что Державин действительно честный человек, каким он кажется, и хочет получить честное слово без всяких задних мыслей, то я бы немедленно приехал и выяснил бы ему следующее: беспорядков для беспорядков я не признаю и вплоть до 8 февраля был решительно против них, но раз беспорядки в университете возникнут, то не принимать в них участия я считаю нечестным. Какое? это другой вопрос – может, против них, если они так же бессмысленны, как волнения о билетах и хвостовская диссертация,[2] но вероятнее всего за них, и что единственная гарантия с моей стороны в случае беспорядков может быть только немедленная подача прошения об увольнении, которое меня будет освобождать от данного слова. Слово же я могу дать только в том, что не буду предпринимать ничего для возбуждения умов в здании университета, но в землячествах буду продолжать участвовать, как и участвовал,[3] что, разумеется, Державину, конечно, известно, так как ни землячества, ни имена их членов никакой тайны от инспекции не представляют, и она смотрит на них сквозь пальцы. Но вопрос – можно ли ему это сказать? Не есть ли в этом «сло-

ве» ловушка известного рода, поймав в которую некоторых подозрительных для них лиц, они хотят их связать и лишить свободы действия. Положим, что я всегда могу порвать это, подав прошение об увольнении, но стоит ли тогда только для этого возвращаться из Берлина, рискуя уж совсем потерять возможность окончить русский университет, а между тем как, подождавши до августа, можно вернуться не связанным никаким словом. Положим, кто ж поручится в том, что и тогда не будут представлены подобные условия? Положим, мне кажется, что Державин человек порядочный (хотя бы потому, что он немедленно заболел, как только начались прошлогодние беспорядки) и что ему можно дать слово в таком смысле, как я писал, предварительно выяснив мое отношение к беспорядкам. Но подожду – вот придет Пешковский, и я еще с ним поговорю.

Однако же уже седьмой час, я успел за это время уже выспаться у него на диване, а его все нет. Перечтя сейчас написанное, я увидел, что ведь если Державин просто чиновник и по-чиновничьи будет со мной разговаривать, то я, по всем вероятиям, после такого предполагаемого разговора совсем в университет не попаду. А с другой стороны, если себя не компрометировать таким разговором, а просто дать слово не принимать участия ни в каких студенческих беспорядках и движениях, то, чтобы честно держать его, надо будет отказаться не только от участия в землячестве (это для меня не столько важно в самом факте – т<ак> к<ак> особенно дорогого и приятного я в землячестве не вижу, но по существу – как поддержка студенческих организаций), но и вообще от каких бы то ни было разговоров об университетских порядках со студентами и от выражения каких бы то ни было мнений в аудитории, хотя бы и по поводу так часто представляющихся чисто студенческих дел, не касающихся начальства. Честное исполнение такого слова (без оговорок) поведет к сотням неприятных мелочей и возможных столкновений. Если сделать так – обратиться к Озерову с просьбой поручиться за меня на этих условиях: если он согласится, то ведь это будет гораздо лучше и значительно проще. Но сперва все-таки следовало бы узнать подробнее, что за человек Державин. В конце концов

прихожу к мысли, что необходимо ехать в Москву, так как так в письмах ничего не выяснишь, а нужно самому поговорить и с Озеровым (расспросив о Державине), и с Державиным. Что же это Пешковский-то не идет, наконец?*

Пешковский пришел и дал следующий хитроумный план: дать слово не принимать никаких участий в студенческих делах, а потом (в след<ующем> году) перейти в другой университет, освободив себя от слова. Ну об этом плане надо еще подумать. Одним словом, мне теперь выяснилось, что я еду в Москву. Денег мне не надо – я займу у Пешковского, а выеду дня через 4–5.

До свидания.

Макс Волошин.

[1] Письмо Е.О. (видимо, от 8 января 1900 г.), в котором она извещала Волошина о результатах рассмотрения его прошения в университет (см. примеч. 1 к п. 95), вероятно, не сохранилось.

[2] См. примеч. 7 к п. 89.

[3] См. примеч. 10 к п. 45, примеч. 1 к п. 54.

97. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

11/23 января (?) 1900 г. Берлин[1]

Прождал тебя битых три часа, если не больше. Необходимо тебя видеть по чрезвычайно важному делу, касающемуся моего возвращения в университет. Теперь все зависит от меня, но условия так запутаны, что я ни к чему определенному не могу прийти, а надо решить непременно сегодня же. Поэтому приходи ко мне непременно.

Max Woloschin.

[1] Написано на визитной карточке (подпись «Max Woloschin» – печатный текст), на обороте – шуточный рисунок: Волошин показывает длинный нос Пешковскому. Написано предположительно в ожидании Пешковского у него на квартире, параллельно с п. 96.

* *Последующий текст – карандашом.*

98. А.М. ПЕТРОВОЙ

13/25 января 1900 г. Берлин

Сию минуту уезжаю в Москву.[1] Адрес: Москва, Гранатный пер<еулок>, д<ом> Колпаковой, Елене Сергеевне Ляминой для М. В.

Макс. Волошин.

[1] Волошин предположительно приехал в Москву 16 января.

99. В.А. ГОЛЬЦЕВУ

Не позднее 28 января 1900 г. Москва[1]

[Глубокоуважаемый] Виктор Александрович! В качестве представителя одной из групп московских студентов, позвольте мне принести Вам в этот день поздравления и выразить наше глубокое уважение к Вашей деятельности в качестве литературного и общественного деятеля. Ваше исключение из числа профессоров Московского университета после введения новых уставов[2] и затем ваши «сто дней» невольного уединения[3] – это такие знаки отличия, которыми благодарное отечество награждает только своих лучших и честнейших граждан. И в настоящее время мирного отдохновения после бурных событий прошлого года, такие исторические воспоминания нам особенно приятны.

<*Другой вариант текста*:>

В. А., я приветствую Вас от лица одной из студенческих групп. Мы чувствуем себя молодыми воинами пред лицом старого и опытного бойца. В воспоминаниях [студентов] Ваше имя всегда связывается с той оппозицией, которую московская профессура оказала введению нового университетского устава. Ваше почетное исключение из числа москов-

ских профессоров и затем тюремное заключение — это такие факты, которые исчезнут из памяти студентов не раньше, чем самые новые уставы будут преданы забвен<ию>. Но наша признательность к Вам не ограничивается только этими героическими воспоминаниями; вы всегда принимали к сердцу студенческие интересы, и та группа, представителем которой являюсь я в настоящую минуту, может с особенной благодарностью подчеркнуть то горячее участие, которое выказали вы словом и делом, когда между ними зародилась идея студенческого Сборника.[4]

[1] Черновые наброски приветствия В.А. Гольцеву в связи с двадцатипятилетием издания журнала «Русская Мысль» и двадцатилетием его участия в журнале как бессменного редактора. Празднование состоялось на квартире Гольцева 28 января 1900 г. 30 января 1900 г. «Северный Курьер» в заметке Т. «Два юбилея» описал это празднование, на котором выступили И.И. Иванов, Л.М. Лопатин, С.Н. Трубецкой, Д.Н. Анучин, педагог Н.В. Тулупов, В.А. Гиляровский. «Вскоре после этого, — отмечалось в корреспонденции, — протискался юноша сквозь толпу и поздравлял Гольцева от лица некоторых студентов, приветствуя его, честного бойца за правду, от молодых бойцов будущего. Взволнованная и горячая речь была покрыта рукоплесканиями».

[2] Речь идет о преследованиях Гольцева, выступавшего с критикой системы образования, насаждавшейся министром народного просвещения Д.А. Толстым: избрание и неутверждение весной 1878 г. доцентом Московского университета, утверждение доцентом Московского университета в феврале 1881 г. и отставка в августе 1882 г.

[3] Подразумевается одиночное тюремное заключение Гольцева в Петербурге с июня по сентябрь 1884 г. по делу К.М. Станюковича и других сотрудников журнала «Дело».

[4] Замысел этого издания, относящийся к осени 1897 г., не был осуществлен.

100. Ю.А. ГАЛАБУТСКОМУ

29 января 1900 г. Москва

29 января.
Москва.

Дорогой Юрий Андреевич! Ваше письмо нашло меня в Москве – оно пошло следом за мной из Берлина.[1] Оттуда я уехал совершенно неожиданно – значительно скорей, чем сам предполагал, потому что оказалось нужным личные переговоры с инспекцией[2] для принятия на себя известных обязательств. Ну вот я и явился. Первое впечатление России было удручающее: не успел я еще в Александрове выйти из прусского вагона, как услышал грозный окрик жандарма: «Не сметь выходить из вагона, не предъявив пашпорта». Затем на вокзалах замелькали фигуры «обрусителей» в серых шинелях, потянулись бесконечные белые поляны, черные леса, покосившиеся избушки и наконец сама Москва, серая, грязная, приплюснутая к земле. Глаз совсем отвык от таких маленьких домов и узеньких уличек. Было такое чувство, будто какая-то западня захлопнулась за спиной и городовые тихо шептали: «Не уйдешь...» Но это чувство продолжалось только первые дни, и теперь дома сделались значительно выше, а городовой на углу начинает мне улыбаться, когда я прохожу.

Отправился я к инспектору, и у нас произошел удивительный разговор. Он был так изысканно любезен и так глубоко либерален, что я пришел в полный восторг. Ужасно люблю, когда подобные «особы» хотят подделаться под дух молодежи и начинают произносить «возмутительные речи». Это они всегда производят с необыкновенной грацией. Момент, когда Айвазовский признавался мне, что «я... я... знаете не... не...» – «Не либерал?» – «Нет... я, знаете, не сторонник деспотической власти»[3] – этот момент останется одним из лучших моментов моей жизни, наравне с тем, когда Державин-инспектор упоминал мне (между прочим) о «глупых словах Н<иколая> II» («бессмысленные мечтанья»).[4] Но разговор был интересен не только этим. Я боялся ловушки: т.е. я думал, что с меня хотят взять слово частным образом, чтобы

я его не мог нарушить, и связать им меня на все время студенчества. Поэтому я решил поставить дело начистоту и прежде всего пожелал сам дать характеристику своей неблагонадежности, ввиду того что инспекция придает чересчур много значения моей гимназической характеристике.[5] При этом я имел счастье узнать (конфиденциально), что я во время экзаменов подговорил всех товарищей не подавать руки одному из учеников, заподозренному в шпионстве (Кедрову). О милый Василий Феодорович![6] Итак, я развил Державину свои отношения к беспорядкам и прибавил, что если будут снова беспорядки (разумеется, разумные, как в прошлом году), то я приму в них участие непременно, а единственное слово, которое я могу дать, — это то, что я, прежде чем принять участие в беспорядках, подам прошение об увольнении. И вообразите, что он остался этим совершенно удовлетворен и на радостях разрешил мне участвовать в землячествах. Кроме того, т<ак> к<ак> я буду прямо допущен до экзамена в мае, а лекции пока слушать не буду, я освобождаюсь ото всех обязательных зачетов, введенных в этом году, и которые все мои менее опасные товарищи, принятые в августе, должны были сдавать, а кроме того, следовательно, освобождаюсь и от платы за ученье. Не правда ли, как хорошо?

Теперь я уже настолько вошел в московскую жизнь, что мне кажется, что я никогда за границей не был. Вчера было тут торжество — двадцатилетие «Русской Мысли», на котором фигурировал и я,[7] и даже *(Лист или листы с окончанием письма утрачены)*.

[1] Письмо Галабутского (Керчь, 5 января 1900 г.), — ответное на неизвестное нам письмо Волошина, — направленное по его берлинскому адресу, с развернутым отзывом о произведениях М. Горького, с пожеланием окончить университетский курс и не переходить на филологический факультет (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386, л. 16—17 об.).

[2] Подразумевается канцелярия Московского университета.

[3] Этот разговор с И.К. Айвазовским Волошин подробно изложил в дневниковой записи от 19 мая 1897 г. (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 119—120).

[4] См. примеч. 11 к п. 39.
[5] См. примеч. 8 к п. 24.
[6] В.Ф. Гролих.
[7] См. п. 99, примеч. 1.

101. В.Г. ЧЕРТКОВУ

Февраль 1900 г. Москва

М. Г.! Чрезвычайно благодарен Вам за Ваш милый и любезный ответ.[1] В настоящую минуту я нахожусь в Москве, и у меня на руках скопилось уже 72 рубля специально для выписки «Воскресенья»,[2] которые я в скором времени Вам перешлю через Берлин. Требований, вероятно, было бы еще больше, если бы цена могла бы быть уменьшена. То же самое и относительно других Ваших изданий, которые здесь совершенно неизвестны.

Ваше замечание о том, что у Вас нет никого в России, кто бы мог взять на себя получение книжного транспорта, навело меня на мысль – не могу ли я быть Вам полезен в этом: меня смущает только то, что я абсолютно неопытен в такого рода делах, как я Вам уже писал в первом письме, а кроме того, что Вы сами меня совершенно не знаете и поэтому доверять мне, разумеется, не можете. Пока я постараюсь навести справки у сведующих <так!> людей и в следующем письме извещу Вас, смогу ли я что-нибудь сделать в этом отношении, т<ак> к<ак> здесь, кажется, для Вас будет совершенно безопасно довериться и незнакомому человеку.

Не знаю – возможно ли будет переслать 12 экземпляров «Воскресенья» при помощи почты по 2 листа, поэтому я подожду пересылать Вам собранные мною деньги, пока мы не выясним способа получения вполне.

Что же касается скидки 33⅓ % и дарового экземпляра, то я Вам очень благодарен, но т<ак> к<ак> никаких корыстных целей не имею, то могу только принять это как уменьшение цены книги, которая вызовет еще больший спрос. Ну это, разумеется, в том случае, если нам удастся вступить в более деятельные сношения. Пока мой вполне безопасный адрес в

Москве: Новинский бульвар. Проточный пер., д<ом> Погожева (бывший). Надежде Григорьевне Глазер (без моего имени). Я же буду пересылать Вам письма через Берлин. Пока же я буду ждать Вашего ответа и указаний, как я могу быть Вам полезным, – может, Вы бы мне могли и указать, какие гарантии мог бы я Вам представить.[3]

С уважением

Макс. Волошин.

[1] На письме Волошина к В.Г. Чсрткову от 5/17 января 1900 г. (п. 94) имсется помста адрсcата: «Отв<стил> 2 ф<свраля>. В. Ч.». Письмо Чсрткова в архиве Волошина нс сохранилось.

[2] Подразумевастся заграничнос изданис романа Л.Н. Толстого (см. примсч. 1 к п. 88).

[3] Свсдениями о дальнейших контактах Волошина с Чсртковым мы нс располагасм.

102. А.М. ПЕТРОВОЙ

27 февраля 1900 г. Москва

27 февраля. Москва.

Милая Александра Михайловна!

Больше месяца я уже обретаюсь в Москве, и мне кажется, что и не ездил за границу. Приехал я слишком рано, как совершенно не рассчитывал, вызванный письмом мамы, извещавшим меня, что я могу поступить в университет, если переговорю лично с инспектором и дам некоторые обязательства. Сообразив, что если я теперь откажусь от переговоров, то все равно вопрос об обязательствах будет поднят в августе, я решил, что самое благоразумное будет ехать теперь же и окончательно выяснить свои отношения к университету. Относительно же обязательств я решил представить ультиматум и в случае разногласия проститься с рус<ским> университетом.

Вышло все очень хорошо. Инспектор[1] был глубоко либерален, я возвышенно-радикален, он меня отечески увещевал не портить своей карьеры, я ему доказывал огромное

Заказ № 5706

воспитательное значение студенческих беспорядков, он меня просил дать слово в том, что я не буду больше участвовать в беспорядка<х>, обещая, что он «об этом никому не скажет», я же говорил, что не могу не участвовать, что мои убеждения и т.д. Наконец мы сошлись на том, что я в случае наступления новых беспорядков, в которых я сочту своим долгом принять участие, сам подам прошение об увольнении и уеду за границу. Засим я был уведомлен, что могу держать весною экзамены, но к лекциям допущен не буду, в силу чего мне зачитаются все зачеты и я освобождаюсь от платы. Разумеется, мне хотелось его расцеловать за такое строгое наказание. Затем я пустился в общественную деятельность и начал говорить речи на разных юбилеях и обедах. Речи были всё радикальные и поэтому имели успех. О речи, сказанной на юбилее «Русской Мысли», даже писали в газетах, а «Северный Курьер»[2] даже напечатал выдержки из нее. «Тогда один юноша, протискавшись сквозь толпу, взволнованным голосом произнес... и т.д.».[3] Я, разумеется, читал, по сердцу у меня проходили целые глыбы сливочного масла, и я «портился». Перечислять другие речи не стоит, потому что об них в газетах не писали. Теперь я бегаю по знакомым, много занимаюсь историей искусства, которую изучаю теперь систематически, а кроме того добываю деньги для летнего путешествия в Италию: пишу рецензии в «Русскую Мысль»[4] о разных романах и перевожу немецкие книжки (экономические), в которых ни слова не понимаю, однако все-таки перевожу. Мама скоро едет уже в Крым и привезет Вам сюрприз от меня. Ждите. Я буду теперь жить у Ляминых, так что пишите туда же. В общем, последнее время дела очень много, и даже бегаю мало. Леру[5] видаю не особенно часто. В Крым меня как-то не тянет. Я узнал, что мир широк и прекрасен, а проехать по нем можно скоро и дешево по железной дороге — поэтому тянет меня в страны более дальние. Бродячие инстинкты мои всё растут и растут, а фантазия так работает, что я боюсь раскрывать географический атлас и несколько раз порывался достать из библиотеки Майн Рида.

Ах! Александра Михайловна, как бы мне хотелось иметь, во-первых, ботинки на толстых подошвах с гвоздями, хоро-

шую погоду, потом небольшую сумму в кармане и идти, идти, идти... Кланяюсь Мих<аилу> Митроф<ановичу> и Нине Александр<овне>[6] и остал<ьным> знаком<ым>. Что же до Вас, то это вы пишете ерунду, что мне скучно будет подробности Вашей «обыденной» жизни читать. Пишите всё и побольше. Мне все интересно. Раньше на горных вершинах лежал легкий туман, но теперь сошел он, и я все вижу так ясно, ясно. И отчего я так счастлив?

Макс. Волошин.

[1] Р.И. Державин. Ср. п. 100.

[2] «Северный Курьер» – политическая и литературная газета либерально-радикального направления, издававшаяся в Петербурге в 1899–1900 гг. (редакторы-издатели кн. В.В. Барятинский, К.И. Арабажин).

[3] См. п. 99, примеч. 1.

[4] Была опубликована (без подписи) лишь рецензия Волошина на книгу А. Воротникова «В старых стенах. Повести южных берегов» (Русская Мысль. 1900. № 4. Библиографич. отдел. С. 123). См.: Т. 5 наст. изд. С. 275–276.

[5] В.А. Воллк-Ланевская.

[6] М.М. и Н.А. Петровы.

103. А.М. ПЕТРОВОЙ

7 апреля 1900 г. Москва

Всегда Ваши письма приводят меня в бешеный восторг.

У меня так мало людей, которые бы мне читали настоящие художественные нотации. Раньше, бывало, все читали, даже люди, видевшие меня в первый раз в жизни, удержаться не могли (помните Натансон?), а теперь перестали. Уважение, что ли, начинают чувствовать? Ну, не знаю.... Словом, у меня, кажется, только трое и остались – мама, вы да Пешковский. Но у мамы по преимуществу только две темы, близко связанные между собой: моя лень и «что же ты в будущем-то думаешь делать?» Но это все не то – ни мама, ни Пешковский никогда не могут вполне удовлетворить моей жажды к нотациям – только

Вы! одна Вы, дорогая Александра Михайловна, вполне понимаете то, что мне нужно, и вполне удовлетворяете меня. Ваши нотации всегда производят на меня такое впечатление, как струя свежего, опьяняющего горного воздуха на привыкшего <к> городской атмосфере человека. (За последнее время я у себя, между прочим, замечаю неуклонную тенденцию все, все бодрящее и оживляющее, что мне очень уж много удовольствия доставляет, сравнивать с горным воздухом).

Ну, а тут уже ваша громовая нотация без слов, а в виде паузы в 9 дней (от 12 марта до 21 мар<та>) меня окончательно привела в бешеный восторг. «Послушайте, Господин Фейерверк»[1]... и пауза девять дней —

...Молчание гробницы
Громкое, как шум победной колесницы.[2]

Нет! это удивительно сильно! И напоминает мне удивительно те «молчаливые бури, когда тучи сходятся, сходятся..., а потом расходятся», о которых вы мне когда-то говорили. Помните, когда вы «совсем проговорились и сказали половину». Ну, ну, только, пожалуйста, не сердитесь и не обижайтесь на меня за это.

Но удар за удар, Алекс<андра> Мих<айловна>: Ваше самомнение гораздо больше моего. Что значит эта фраза: «Вся Феодосия в обморок упадет, а я буду забавляться»?[3] Но тут ничего дурного нет, и я вот это чувство именно и люблю. Считать себя выше дурака и пошляка это не есть самомнение, а только сознание своего достоинства. А подразнить ограниченное филистерство какою-нибудь неожиданностью бывает ух как приятно! и именно эту мысль вы и высказали, и я с вами вполне и глубоко согласен. Это — самомнение; но в этом дурного еще ничего нет, а дурное начинается там, где относишься свысока к тому, кто стоит наравне с тобой, не говоря о том, кто стоит уже гораздо выше. Но вы и сами знаете, какую слабость я питаю к авторитетам, и в неуважении к ним упрекнуть меня никак нельзя. А то, что я всегда хвастаюсь вам своими успехами, — это все вытекает из давно известного Вам свойства моей натуры, стараться каждому показаться таким, как тому

хочется. Вот и теперь мне ужасно хочется рассказать Вам, как я читал мою «Горную сказку» (о «Пот<онувшем> колоколе») в одном литературном кружке, собирающемся у московской богачки Морозовой.[4] Меня там просили прочесть реферат, я и прочел «Сказку». По содержанию это, собственно, критическая статья, а по форме это сам черт не разберет, что такое: наполовину она написана в стихах, наполовину в прозе, действие в ней происходит то в Швейцарии, то в Косьмодемьяновском монастыре под Алуштой, то в Художествен<ном> театре в Москве; действуют в ней и я сам, и Виттиха, и Раутенделейн,[5] и Снегурочка,[6] и Лассаль, и Озеров, и еще много в том же роде. Но в общем она производит впечатление цельное и сильное, сколько я мог заметить по своим слушателям, т<ак> к<ак> каждый раз, как я ее читал, по окончании длилось несколько минут то невольное и странное молчание, которое для автора и для чтеца всегда составляет бóльшую похвалу, чем какие бы то ни было слова, потому что, черт их разберет, говорятся ли они из вежливости или искренно. Такое же молчание было и там после окончания, но так как после окончания полагаются прения, то все сочли своим долгом не остаться просто под впечатлением, а начать разбор «Пот<онувшего> кол<окола>». Основная идея, между прочим, которую я проводил в «Горной сказке», та, что ни одно художественное произведение не может быть просто подвергнуто простому, сухому научному анализу, потому что при этом все, что составляет его сущность, непосредственный аромат поэзии, неизбежно улетучивается и перед читателем вместо живой обаятельной личности остается распластанный, окровавленный труп. В конце, между прочим, я пародировал все отдельные высказываемые публикой мнения о «Пот<онувшем> кол<околе>»,[7] и во время чтения это место заслужило особенное одобрение, и представьте себе все мое удовольствие, когда во время прений все те, которые сами смеялись несколько минут раньше над теми словами, стали сами совершенно сериозно, слово в слово, повторять их. Жаль, что я не могу Вам прочесть сию же минуту мою сказку, а то Вы не можете понять того беско-

нечного ликования, от которого колыхался и сотрясался мой жив... ах, извините, Алекс<андра> Мих<айловна>, — желудок. Я бы с громадным удовольствием переписал бы вам и прислал сейчас же свою сказку, но, с одной стороны, у меня сейчас совсем нет врем<ен>и (экзамены), а с другой стороны, самый оригинал лежит в редакции «Рус<ской> Мысли». Но вероятнее всего, что в «Рус<скую> Мысль» ее не примут, так как она слишком не соответствует ее общему характеру. Тогда я пошлю ее в «Жизнь» и пришлю вам оттиск».[8]

В апреле <в> «Рус<ской> Мысли» будет только одна моя рецензия («Повести южных берегов» Воротник<ов>а).[9] Кроме того, в «Рус<ской> Мысли» будет (это уже решено) моя статья о переводах Гауптмана Бальмонтом.[10]

Но пока вся эта литерат<урная> деятельность на время экзаменов заглохла: я занимаюсь, немного подучиваю итальянский язык, изучаю карты Италии и итальянскую живопись. Да, ведь я вам, кажется, и не писал, что я на все лето удираю в Италию на заработан<ные> деньги и брожу там все время пешком. Осенью я верно буду в Крыму, так как вернуться думаю через Грецию и Константинополь. (Это и дешевле).

Теперь я только об этом и думаю, и только этим и полн.

Карточки, особенно одна — ваша — великолепны. Это верно пробный этюд к картине «Тоска». Повернуть голову совсем en face, больше опустить, сделать глаза гвоздем — и ничего лучшего для декадентской картины не надо. Аксессуары, узоры и фон необыкновенно хорошо. Выражение возвышенной симметрии в руках производит впечатление поразительное. Кстати, читали ли вы роман Киплинга «Свет погас»? Там один полугениальный молодой художник, который знает, что он должен через несколько месяцев ослепнуть, рисует картину «Отчаяние», которая представляет только одно лицо женщины, которая хохочет.[11] Представляете ли вы себе эту идею — крайнюю степень отчаянья? Это необыкновенно сильно и смело. Относительно другой карточки: кто эти три лица на первом плане, мне не известные? Очень было мне приятно и Диану на полочке увидеть; отдаете ли вы ей все должное? Это необыкновенно яркий образчик французской тонкости и гра-

ции — в Германии вы ни за что нигде ни одной такой головки не найдете. Диана ли это? Мне кажется, да, хотя это и не соответствует принятым изображениям.

Девочка дикая, грустная, страстная....
Это ли ночи богиня прекрасная
— Гордого Феба сестра?[12]

Трепещет и сверкает искорками лесное озеро. Тонкий рог молодого месяца прорезывает меркнущую синеву неба. Вдали слышится лай псов, растерзавших Актеона....[13] Первый порыв жгучего чувства оскорбленной стыдливости прошел, и в первый раз что-то больное-человеческое прокралось в холодное божественное сердце; образ юноши невольно стоит перед глазами, и гордая девственная богиня на минуту превратилась в задумчивую, пугливую, грациозную девочку....

Как жаль, что бетховенской маски не мог вам вручить лично. Это с моей стороны был очень интересный психологический эксперимент. С одной стороны, вы должны были прийти в полнейший ужас — ведь все-таки мертвец, физиономия страшная, зловещая, как раз под пару лампе-сове, а с другой стороны, восторг, так как это Бетховен. Но, положим, это все я себе очень ясно представляю. Только его надо не прямо на бархат повесить, а задрапировать его слегка, тогда это значительно эффектнее будет. А когда вы это сделаете, то пришлите мне, пожалуйста, с него фотографию при сильном боковом освещении в рембрандтовских тонах. Хорошо?

Обратили ли вы внимание на номер «Мира искусства», посвященный Поленовой?[14] Если нет, то посмотрите — там есть прямо поразительные вещи, замечательно русские, несмотря на сильное французское влияние. Рассмотрите хорошенько ее стилизованные цветы, это одни из лучших попыток в этом направлении. Вот если бы вы попытали свои силы в этом роде?

Ваши восторги относительно Горького я вполне разделяю и могу сказать только: «А вот прочтите-ка второй да третий том».[15] Чехова новый рассказ «В овраге» напечатан в январе «Жизни»,[16] и в нем есть великолепные страницы, в которых

даже как будто что-то новое проскальзывает. Также разделяю я и Ваше мнение о русской литературе, но только мне кажется, что так каждый о своей литературе будет думать. Прочтите в «Жизни» в последней книжке тоже новый рассказ Горького «Мужик».[17]

Теперь Чехов пишет новую пьесу, которая пойдет в Худож<ественном> театр<е> зимою, но ни название ее, ни содержание еще неизвестны.[18] В Худ<ожественном> теат<ре> будет поставлена тоже «Снегурочка» Островского,[19] вот тоже интересно. Могу вам тоже похвастаться тем, что я познакомился теперь с очень многими из артистов этого театра.

Леру[20] я видаю изредка. В последний раз мы с ней очень много и хорошо беседовали. Ну разумеется, о Феодосии и об вас. Теперь у нас весна, с позволения сказать, и мне неотступно представляются букетики фиалок на комоде, белый терн в стакане, хождение на горы за цветами, белая кофточка, какая-нибудь дикая шляпа на голове, Пешковский с проколотым пальцем и т.д. Лера говорит, что делает громадные успехи, и страшно радуется и ужасно довольна своим учителем. От Пешковского я все не имел никаких известий и только на днях получил громадное послание, в котором он жалуется на тоску и ругает немцев.[21] Я ужасно рад, что даже и его в Берлине пробрало. Он раскаивается в своей прежней «изоляции», жалеет, что так мало со мной тогда виделся, и жаждет русских разговоров и русских знакомств, и русских писем. Даже и он нашел, что все время заниматься невозможно, а нужно с кем-нибудь и поговорить, только просит не считать это за слабохарактерность с его стороны – примите это к сведению, когда будете писать ему. Воля не колонистские привычки привез с собой, а самый что ни на есть берлинский цимес,[22] и так будет с каждым, кого прохватит берлинским духом до корня души.

Вот удивляюсь, что Вам понравилось «В Версале»,[23] я думал, что вы меня проклянете за него. И тоже напрасно вы думаете, что вы что-нибудь мне о нем писали – ни строчки!

К «XIX веку»[24] прибавился в Берлине один отрывок, но я его напишу после, а теперь вот лучше несколько не отделанных еще фрагментов о Париже. Начало самое «В поэзии старых больших городов...» я вам писал, а вот продолжение:[25]

Спускается вечер и ясен, и тих,
Струится красавица Сена.
Оттенки прозрачны, как пушкинский стих,
Как краски у Клода Лоррена.
И вот огоньки уж на Сене зажглись,
И высится, мрачен и страшен,
Темнеющей массой Palais de Justice
С рядами таинственных башен.
Кипящая жизнь подмывает волной
Старинные зданья и стены
И лижет и точит гранит вековой,
Как воды красавицы Сены.
Но вся пестрота этой жизни людской,
Безумно несущейся мимо,
Без этих остатков минувших веков
Была бы почти нестерпима.
Они в нее вносят трагичный аккорд,
Как реквием отжитой силе.
Так мумии предков на древних пирах
Меж пьяных гостей проносили.
...Стемнело. Повсюду сверкают огни.
Движенье кипит на бульварах.
Довольно же блеску. Уйдем в лабиринт
Запутанных, тихих и старых
Таинственных улиц... О, если б они
Было<с> поведать могли бы!
На площади башни чернеют во тьме,
Как две сталактитовых глыбы.
Воспетый поэтом собор Notre Dame!
Фантазии юной приманки!
Напрасно искал я на темных стенах
Зловещее слово «'ανάγκη»*
Все стерто. Израненный, старый собор
Чуть виден средь мрака ночного,
Но самое кружево черных камней
Сплетается в страшное слово.
Здесь поле иной грандиозной борьбы:
Теперь торжествует мещанство.
Надломлена сила великих церквей,
Могучих твердынь христианства.
Да будет! Сияющий разум стряхнет
Оковы и веры, и чувства!
Мне жаль только этот таинственный мир
Забытого ныне искусства.
Прохладу и сумрак старинных церквей,
Проникнутых тихой любовью,
Где весь отдаешься невольно во власть
Прекрасному средневековью.**
Слегка выделяясь, во мраке видны
Пилястры, карнизы, оконца...
И только розетки сияют вверху,
Как два фиолетовых солнца.
Висят разноцветные нити лучей,
На сводах дрожащие пятна,
Весь сумрак какой-то прозрачный, цветной,
Таинственно-тихий, понятный...
А в окнах... там целый особенный мир
Готических старых соборов —
Вся эта гармония красок, цветов,
Фигур, переплетов, узоров......

* «Ананке» – судьба, рок. См. роман Гюго.[26] (*Примеч. Волошина.*)
** *Далее зачеркнуто*: Висят разноцветные нити лучей

На этом обрывается. А вот дальше о Лувре (это всё будут отдельные картины при прогулке по Парижу ночью).

Там белые мраморы в залах стоят,
Их лица прекрасны и строги.
Повиты туманною дымкой веков,
Там дремлют античные боги,
И слышится мраморный гимн красоте
В созвучьях ритмических линий...
Там в зале на пурпурном фоне встает
Таинственный облик богини.
В лице ее только одна красота:
Ни горя, ни счастья, ни муки....
Мучительно-дивной загадкой у ней
Отломаны чудные руки.

Глядел я, и делались эти черты
Всё чище, понятней и ближе.
И... виделось старое кладбище мне
Одной из окраин в Париже.
Кругом монументы богатых мещан,
И скромно лежит между ними
Простая могила. На белой плите
Написано славное имя
Того, кто бессменно стоял на часах
У трупа заснувшей свободы,
Когда истомленные страшной борьбой
Во тьме задыхались народы.
В то время в развалинах старых твердынь
Шипели и ползали гады,
И молча защитники света во тьме
Слагали свои баррикады.
И лишь наступали чудовища тьмы,
Тогда начиналась потеха,
И он пригвождал их к позорным столбам
Сверкающей молнией смеха.
Но часто в ликующем вихре борьбы
Неверны бывали прицелы,
И верных друзей поражали не раз
Его ядовитые стрелы.....
Родился не здесь он. Родился в стране
Преданий и сказок – на Рейне,
Где высятся замки и льется рейнвейн,
И звался он Генрихом Гейне.
Но даже по смерти язвит его вновь
Врагов ядовитое жало:
Мещанская пошлость и злоба ему
В посмертном венце отказала.
Где памятник Гейне? Поэт оскорбил
Немецкую скромность стихами!!!
Зато на чужбине могилу его
Украсили люди цветами:
Над нею склонились цветы хризантем
И грустные, белые розы....
Сбылось предсказанье поэта: в цветы
Теперь расцвели его слезы.

И здесь, у подножья самой красоты
Мне чудился облик поэта
Страдальческий, скорбный и бледный как гость
Иного – не нашего света.
Больной он пришел... дотащился сюда...
И сел. Бесконечное чувство
Любви и страданья в глазах... а лицо
Все залито светом искусства.

Он с нею прощался.... Сюда он пришел,
Собравши последние силы,
И больше совсем не вставал со своей
Огромной «матрацной могилы».
Но умер не скоро. Горячая мысль
Кипела, страдала, боролась,
Но в трупе жил только сверкающий смех
И ясный, чарующий голос.

Ну, вот вам. Напишите мне подробнее, пожалуйста, Ваше мнение. Последнюю часть этого стихотворения я написал только сию минуту, пишучи это письмо, и потому не могу совершенно судить, хорошо это или дурно. Писал ли я вам стихотворение «Via Mala»,[27] написанное мною в Швейцарии, которое теперь вошло в «Горную сказку»? Если нет, – то я вам пришлю его в следующем письме. Ну, а теперь поздравляю Вас с Пасхой,[28] с Вашими будущими рождениями, кланяюсь Нине Алекс<андровне> и Мих<аилу> Митрофановичу, всем «мальчикам»[29] и т.д. А теперь умолкаю. Да и давно пора.

Макс. Волошин.

P.S. Посылаю вам на память портрет Горького. Боюсь только, что вы разочаруетесь в нем по портрету. Но ведь он такой именно и должен быть.

• 7 апреля 1900 года. Москва.

Вам поклоны от Лёли, Любы и Яши.[30]

[1] В письме, начатом 12 марта 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 38–40 об.), Петрова благодарила Волошина за маску, после чего обращалась: «Послушайте, Господин Фейерверк,

21 марта!

Долго, однако, нужно “слушать” меня. По теперешнему обыкновению, никак не могу толком написать письмо и Бог знает какие промежутки устраиваю».

[2] Неточная цитата из «Второй фракийской элегии. Томис» (1829) В.Г. Теплякова; в оригинале: «Святая тишина Назоновой гробницы // Громка, как дальний шум победной колесницы!» (Поэты 1820–1830-х годов. Л.: Сов. писатель, 1972. Т. 1. С. 612. Б-ка поэта. Большая серия). Волошин знал ее, безусловно, по тексту рецензии А.С. Пушкина «Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова, 1836», в которой приводится фрагмент из «Второй фракийской элегии».

[3] В окончании цитированного письма, датированном 3 апреля, Петрова делилась соображениями относительно собственных живописных опытов: «Носятся передо мной 2–3 картины совершенно символически-демонического характера, и я их обязательно напишу – детей пугать. Отчаянно хочется написать и выставить – вся Феодосия в обморок упадет, а я буду забавляться. Нет, не верьте. Одна из картин – “Тоска” – лишь фигура на неопределенном фоне, но... разве я исполню без всякого таланта? Обидно. Другая “Забота”. Третья – “Удалось!”: вор украл – всё во вкусе Гойя, но более больное».

[4] В.А. Морозова жила в особняке на Воздвиженке. Статья Волошина «Горная сказка», представляющая собой отклик на драматическую сказку Г. Гауптмана «Потонувший колокол», в полном объеме не сохранилась. См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 909–910.

[5] Фантастические персонажи «Потонувшего колокола».

[6] Героиня одноименной драматической поэмы в стихах А.Н. Островского (1873).

[7] Устные отзывы о постановке «Потонувшего колокола», в основном скептические и недоуменные, зафиксированы в одной из записных книжек Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 453). См. также: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 541.

[8] См. примеч. 18 к п. 90.

[9] См. примеч. 4 к п. 102.

[10] Статья Волошина «В защиту Гауптмана» (Русская Мысль. 1900. № 5. С. 193–200) представляет собой критический разбор «Драматических сочинений» Г. Гауптмана в переводе под редакцией К. Бальмонта (М., 1900). См.: Т. 5 наст. изд. С. 277–287.

[11] Роман Редьярда Киплинга «Свет погас» («The Light that Failed», 1890) публиковался в журналах «Вестник иностранной литературы», «Русское Богатство» (1892), «Читатель» (1896). Картина «Меланхолия», с образом женщины, «которая изведала всю скорбь в мире и теперь хохочет над нею», описана в главе 10 (см.: *Киплинг Редьярд.* Соч.: В 3 т. М.: Радуга, 2000. Т. 3. С. 125). Показательно, что еще в 1893 г. Волошину приходила в голову сходная идея. 1 марта он записал в дневнике: «Вот у меня все время теперь мысль. <...> Представить человека в полном, страшном, безвыходном отчаяньи. Он ищет

себе хоть в чем-нибудь, хоть в природе, сочувствия, а кругом лунная, тихая, беззвучная, немая летняя ночь. <...> Вот эта-то противуположность, это величавое спокойствие ночи и бурное отчая<нье>. Вот это может послужить великолепной темой» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 78).

[12] Намеченная тема развита затем в сонете «Диана де Пуатье», завершенном в марте 1907 г. (Т. 1 наст. изд. С. 30). Здесь контаминирован образ богини римской мифологии Дианы, считавшейся олицетворением Луны, и возлюбленной французского короля Генриха II Дианы де Пуатье (1499–1566), изображенной Жаном Гужоном в скульптуре для фонтана замка в Анэ (1558–1559, Лувр).

[13] Актеон (*греч. миф.*) – юный охотник, превращенный Артемидой (Дианой) в оленя и растерзанный собственными собаками.

[14] Творчеству Е.Д. Поленовой посвящен № 18/19 журнала «Мир Искусства» за 1899 г.

[15] Имеются в виду «Очерки и рассказы» М. Горького (см. примеч. 19 к п. 90). В письме от 12 марта – 3 апреля 1900 г. Петрова выражала восторг по поводу первого тома, прибавляя: «Ликую без конца, что не оскудевает русская литература».

[16] Повесть Чехова «В овраге» опубликована в № 1 журнала «Жизнь» за 1900 г. (С. 201–234).

[17] Повесть М. Горького «Мужик» (оставшаяся незаконченной) была напечатана в № 3 (С. 128–161) и № 4 (С. 1–34) журнала «Жизнь» за 1900 г.

[18] Речь идет о пьесе А.П. Чехова «Три сестры» (премьера – 31 января 1901 г.).

[19] «Снегурочкой» А.Н. Островского был открыт сезон 1900/1901 г. в Московском Художественном театре (в сентябре).

[20] В.А. Воллк-Ланевская.

[21] Имеется в виду недатированное письмо А.М. Пешковского из Берлина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 30–35 об.).

[22] Воля – В.Л. Гауфлер. Цимес – еврейское кушанье; в переносном смысле – деликатес.

[23] См. п. 90, примеч. 16. 21 марта Петрова писала Волошину: «От Вашего “Версаля” я в полном восторге».

[24] См. примеч. 10 к п. 30.

[25] См. п. 90, примеч. 10. Далее приводятся два фрагмента из стихотворения «Камни Парижа» (Т. 2 наст. изд. С. 378–380, 381–383).

[26] Роман «Собор Парижской Богоматери» («Notre Dame de Paris», 1831).

[27] См. п. 80, примеч. 24.

[28] Пасха в 1900 г. – 9 апреля.

[29] Н.А. и М.М. Петровы и их сыновья.

[30] Е.С. и Л.С. Лямины, Я.А. Глотов.

104. А.М. ПЕТРОВОЙ

Около 10 апреля 1900 г. Москва

Александра Мих<айловна>! Так как я за эти дни успел закончить свой «Париж», то посылаю Вам соответствующие изменения текста, связующие звенья и конец.[1] После слов

«...веет дыханье борьбы роковой
От этих соборов и зданий»...

следует:

Сперва он меня и пугал, и давил
Своей красотой непонятной.
Но после как женщину я полюбил
Весь этот Париж необъятный.
Спускается вечер, и ясен, и тих... и т.д.

После слов «Меж пьяных гостей проносили» идут стихи:

В глухих переулках молчанье и тишь,
Здесь звуки и блеск угасают
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
О, камни Парижа! О, если б они
Былое поведать могли бы... и т.д.

После слов:

«Вся эта гармония красок, цветов,
Фигур, переплетов, узоров...»

идет:

Теперь там все тихо...
Трепещущий свет
Едва озаряет ступени,
Статуи и стены. От темных колонн
Ложатся гигантские тени.
И тени шевелятся, тянутся вверх,
Как длинные черные руки,
И вдруг раздвигают покров тишины
Органа могучие звуки....
И тяжко вздыхает огромный собор,
Рокочут далекие своды,
И тихо и глухо им вторят из тьмы
Пустых галерей переходы....
В глухих переулках молчанье и тишь.
И шум, и огни угасают...
И только в пролетах карнизов и крыш

Далекие звезды сияют.
Слепыми глазами большие дома
Глядят в темноту. Оживают
И шепчутся камни при звуке шагов,
И беглые тени мелькают.....
Вот Лувр. Расцветал он как чудный цветок
В течение долгих столетий.
Как сердце Парижа он рос вместе с ним,

И камни священные эти
Слагал в бесконечной работе веков
Бесчисленный ряд поколений.
Теперь там сквозь окна при свете луны
Виднеются белые тени.
Там белые мраморы в залах стоят,
Их лица прекрасны и строги...
и т.д.

После слов «в цветы теперь расцвели его слезы» идет:

И здесь у подножья богини — в лучах
Холодного лунного света,
Мне чудился бледный, прекрасный, немой
Страдальческий облик поэта.

Дальше как было. Потом:

Он с нею прощался... Он встал и пришел,
Собравши последние силы,
И больше не мог уже встать никогда
Со страшной «матрацной могилы».
Но в нем не угасла горячая мысль:
Она еще долго боролась,
А в трупе жил только сверкающий смех
И ясный, чарующий голос.
В глухих переулках молчанье и тишь,
И шум, и огни угасают....
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.

Чем ближе к бульварам, тем звуки слышней.
Там вечная кипень людская,
Там вечный поток разноцветных огней
Несется, гремя и сверкая.
Но только люблю я не эту толпу
Бульваров, кофеен и прочих
Вертепов и зрелищ — люблю я толпу
Здоровых парижских рабочих.
Я помню картину: народ затопил
Все окна, балконы, веранды.
На старых деревьях бульваров висят
Парижских мальчишек гирлянды.

Знамсна и солнцс.... Струится толпа
Рской разноцвстной, всслой...
То здссь загорится, то вспыхнст вдали
Горячий мотив карманьолы,
И вдруг разольстся как вихрь, как пожар,
Подхватит как буря.... Тогда мнс
Казалось, что здссь у мсня под ногой
Шсвслятся самыс камни,
Что стоит дать волю враждс всковой,
Бсзумной, слспой, но понятной –
И в щспы размсчст толпа, разнссст
Всcь этот Париж нсобъятный.
Но нынчс он всссл – державный народ.
Проходят за ротами роты
Рабочих и жснщин, и снова горят
И искрятся смсх и остроты.
Я видсл, как школьники дсти несли
Огромнос краснос знамя
С дсвизом «Ni dicu ct ni maîtrc!» Дсвиз,
Написанный их жс руками!

Да. Франция можст бсз страха глядеть.
Чсго сй бояться на свстс,
Когда из сс материнской груди
Выходят подобныс дсти?
В глухих псрсулках молчаньс и тишь.
И шум, и огни угасают
И только в пролстах карнизов и крыш
Далскис звсзды сияют.
В красивом, развссистом паркс Монсо
Есть мраморный бюст Мопасана.
И дсвушка тихо задумалась там
Над мраморной книжкой романа.
Я долго стоял и глядсл на него....
Далскис звуки рыдали...
Оссннис листья носились над ним
И мраморный лоб цсловали....
На улицах всюду молчаньс и тишь.
И шум, и огни угасают.
И шспчст сквозь сон нсобъятный Париж
И ясныс звсзды мсрцают.....

Это все. Я бы вам это целиком переписал бы, но страшно некогда. И вот непременно, когда мне заниматься нужно, мне начинает страшно хотеться писать стихи. После того, как я начал кончать отрывок об Гейне в вашем письме, я уже больше и остановиться не мог, несмотря на всю пасхальную сумятицу. Всю страстную субботу и все воскресенье[2] я писал, несмотря на то, что кругом всё мыли, жарили, варили, шумели, чадили, говорили, кричали – писал и злился до того, что к моей комнате уже нарочно стали подходить и дразнить меня

в щелочку, как тарантула. Так что уж Вы соедините сами, пожалуйста, все это вместе, а потом как можно скорее напишите мне обо всем об этом наиподробнейший критический отзыв, потому что это первое оригинальное произведение, для которого я хочу нарушить молчание и попробовать его печатать, и не знаю еще, стоит ли оно того. Так что, пожалуйста, напишите. Когда я, между прочим, раскрыл томик Гейне, в который я вложил розы с его могилы, то на той странице, на которой они лежали, оказалось стихотворение:

Aus meinen Tränen spriessen
Viel blühende Blumen hervor.[3]
Из моих слез вырастет
Много цветущих цветов.

Сбылось предсказанье поэта: в цветы

Теперь расцвели его слезы.

Макс. Волошин.

Пишите скорее!!!!!!
Пишите скорее!!!!!!
Пишите скорее!!!!!!
Пишите скорее!!!!!!

[1] Далее приводятся фрагменты стихотворения «Камни Парижа» – в добавление к тем, которые были сообщены в п. 90 и 103.

[2] 8 и 9 апреля.

[3] Начальные строки второго стихотворения цикла «Лирическое интермеццо», входящего в «Книгу песен» («Buch der Lieder», 1827) Г. Гейне.

105. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14 апреля 1900 г. Москва

Дорогая мама!

Только что пришло Ваше письмо[1] и застало меня за Госуд<арственным> правом. Экзамен у меня будет 26-го апреля, а я уже значительно больше половины прошел. В общем

Заказ № 5706

в исходе экзаменов я почти не сомневаюсь. Конечно, может произойти какая-нибудь непредвиденная случайность, но, разумеется, девяносто шансов за вполне благоприятный исход. Но провались я теперь, я, мне кажется, право, обрадовался бы этому, потому что это сразу бы покончило со всей канителью юридического факультета, на который я попал сам не знаю почему. Кончать его только из-за бумажки, да и то такой, которая, может быть, и не понадобится, а только так, «на всякий случай», как Вы сами говорили, право, такая игра совсем не стоит свеч и ужасно напоминает m-me Алкалаеву, читавшую Молешотта и Бюхнера и постившуюся на всякий случай. Держать переходные экзамены, разумеется, не трудно, какой-нибудь месяц работы над несколькими скучными и скверными книжками ничего не значит, но дело в том, что вот еще и в будущем году дела будет так немного, а ведь там для бумажки будут уже сериозные и огромные государственные экзамены, для которых нужно будет уже массу скверных книжек не читать, а долбить, и притом уже самых что ни на есть неинтересных, и потом экзамен не будет формальностью, и все это только для «бумажки на всякий случай»!

И притом ведь я никогда все равно юристом не буду, потому что для этого нужна любовь и интерес к делу, а у меня их нет. Не лучше ли было бы прямо и честно бросить все это и действительно сериозно заняться тем, что всегда составляло главный интерес в моей жизни, — литературой, искусством и историей, и чем я всегда и занимался собственно? При 40 рублях в месяц и при том уже наметившемся литературном заработке[2] я бы мог уехать на несколько лет в Париж и там заниматься тем и слушать то, что я хочу, а вернувшись в Россию, окончательно заняться литературой (практически). В Москве этого сделать нельзя, потому что здесь нет ни соответствующих лекций, ни книг, ни материалов. Я по крайней мере, право, не вижу теперь для себя смысла в окончании юрид<ического> факультета и совершенно бесцельной трате еще 2 лет на совершенно ненужные и неинтересные мне вещи. Вы ведь всегда напираете на то, что эти бумажки в материальном отношении значат очень много, и приводите в этом случае пример

Голицына.[3] Так ли это? Настолько ли важно для меня непременно поступать на службу? Принципиально я против этого, а если не будет бумажки, то и самая дорога будет мне отрезана. И хорошо ли, будучи в теории в этом убежденным, на практике все-таки стараться открыть себе лазейку «на всякий случай»? Стоит ли быть настолько практичным? Ведь вот держу я теперь эти экзамены (и выдержу их), но ведь в сущности я это все делаю только потому, что Вы так хотите и Вы так сказали. Совершенно сериозно. Ведь не стал же я бы этого делать сам, будучи настолько убежден в бессмысленности всего этого. Что Вы думаете об этом? Ну, а пока у нас идут праздники[4] и все, разумеется, тоскуют и скучают. С первого дня без конца идет дождь, и это очень способствует настроению. Ну, разумеется, были в первый день все у бабушки, ели куличи и т.д. На меня в то время как раз напал припадок стихотворства, и я всю субботу и все воскресенье писал (даже у бабушки). Если хотите прочесть, то попросите у Алекс<андры> Мих<айловны> – я ей писал,[5] а то это слишком долго переписывать.

Не знаю совсем, что купить для переводов. Я ведь знаю, что вам нужно что-нибудь такое, что бы вас захватило, как Ганнеле.[6] Именно такое условие я и ставил, когда расспрашивал разных лиц, но ото всех получал ответ, что таких книг теперь больше не пишут. M-me Юнге указала несколько книг немецких, по ее словам очень интересных, но совершенно не захватывающих. Вот лучше не хотите ли лучше переводить с французск<ого>, напр<имер>, совершенно не переведенного у нас Анатоля Франса,[7] который, по всем видимостям, писатель очень замечательный, но у него всё большие романы? Так что уж и не знаю, как быть. Напишите мне об этом подробнее и поставьте сумму, которую вы бы хотели ассигновать. Все вам кланяются.

Макс. Волошин.
14 апреля.

M-me Юнге говорит, что Анатоль Франс невыносимо скучен, и советует перевести «Albert Schnells Untergang» Макая (роман), который ей страшно нравится.[8] Покупать?

[1] Письмо от 9 апреля 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 12–13 об.). Е.О. выехала из Москвы в Крым около 10 марта 1900 г. Согласно другому ее письму (без даты), Волошин писал ей еще 6 апреля – но это письмо не сохранилось.

[2] Речь, видимо, идет о договоренности Волошина писать рецензии для журнала «Русская Мысль»; в феврале – марте 1900 г. он подготовил для журнала рецензию на коллективный сборник стихов «Книга раздумий» (опубликована ныне по автографу; см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 91–93), а также на «Потонувший колокол» Гауптмана в переводе К. Бальмонта (см. примеч. 10 к п. 103), на книги рассказов М. Серао и Дж. Роветты (опубликована ныне по черновому автографу; см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 527–529).

[3] Возможно, речь идет о каком-то из сослуживцев Е.О. по Московско-Брестской железной дороге. Визиты Голицына зафиксированы в дневнике Волошина 23 августа 1891 г. и 13 апреля 1892 г. (см.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 49, 55).

[4] Пасхальные каникулы.

[5] См. п. 103.

[6] См. п. 34, примеч. 2.

[7] На самом деле роман Франса «Преступление Сильвестра Боннара» был опубликован в «Новом журнале иностранной литературы» в 1899 г. (перевод С.С. Мириманoвой), роман «Таис» – в «Историческом Вестнике» в 1891 г., рассказ «Красное яйцо» – в газете «Новое Время» в 1899 г. и т.д. См.: Анатоль Франс. Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке (1877–1982) / Сост. Г.И. Лещинская, М.В. Линдстрем. М.: Книга, 1985.

[8] Упоминаемый роман Джона Генри Маккея («Падение Альберта Шнелля») вышел в свет в 1895 г.

106. А.М. ПЕТРОВОЙ

Не ранее 18 апреля 1900 г. Москва[1]

Дорогая Александра Михайловна!

Прежде всего, поздравляю Вас самих с днем рождения.[2] Юрию Андреевичу я, разумеется, буду сам писать, но собирать поздравления от феодосийцев не смогу, потому что совершенно не вижу никого из них и не знаю их адресов.[3] Вообще тут из студентов-феодосийцев остался все самый несимпатичный

мне народ. Относительно моих стихов я уже пришел к убеждению, что печатать их не стоит.[4] Имея все картины еще слишком ярко у себя перед глазами, я еще не успел написанное отделить от представляемого, и теперь, когда муть в стихах несколько отстоялась, я увидел все их недостатки. Это, прежде всего, не каменная глыба, а конгломерат, искусственно составленный из разнородных кусков, и то, что вы считали за трещинки, – это всё неудачные спайки. Его нужно разломать на отдельные куски и сделать из него ряд отдельных стихотворений. Тогда они гораздо больше оформятся. Это и понятно, если принять в соображение способ, которым стихи эти были написаны, что вы и можете наблюдать в разновременных присылках разнокалиберных кусков. Та связь между картинами, которая была ясна для меня, совершенно непонятна, сколько я заметил, для моих слушателей. Чрезмерная яркость впечатлений вызвала тоже нагромождение сравнений и эпитетов, что в такой большой вещи страшно утомляет. Поэтому лучше смотрите на эту вещь, как на несколько совершенно случайных отдельных отрывков, и сообразно этому выскажите и свое мнение. Посмотрите апрельск<ую> книжку «Рус<ской> Мысли» в читальне – там есть одна моя рецензия («Повести южных берегов» Воротникова).[5] Положим, что книжечка дрянная и рецензия ничего особенно интересного не представляет. В мае пойдет моя отдельная статья «В защиту Гауптмана» (о переводах Бальмонта).[6] О «Горной сказке» еще никакого ответа не получил.[7] Думаю в случае неудачи отнести ее не в «Жизнь», а в газету «Курьер», так как, с одной стороны, здесь гонорар скорее получишь, а с другой, – можно будет как-нибудь пристроиться с письмами из Италии, когда буду странствовать. Я теперь полон окончательно и до краев одним путешествием. Задача нелегкая: на 150 рубл<ей> пройти через Тироль, озера, всю Италию, прожить в Риме, в Неаполе и вернуться через Афины и Константинополь, и в три месяца! Своих будущих спутников я довел до такого же состояния, в котором нахожусь и сам, и они тоже только и думают о путешествии, непротираемых башмаках, нераздираемых штанах,

картинных галереях, итальянских видах, альпийских ледниках и т.д.[8]

До свиданья, кланяюсь всем Вашим и Спитковскому.

Макс. В.

Сашин адрес: Schaussée Strasse. 2[b] Hof Quergebäude II links.[9]

Получал ли он Ваше письмо, я право не знаю: он мне ничего не пишет. При мне он, помнится, получил от Вас в Берлине одно письмо, и кажется ответил тогда же. Больше ничего не знаю. Представьте себе – у нас теперь здесь старик Сальвини – и ни одного билета!!! Он играет в Малом театре.[10] У меня есть толь<ко> слабая надежда попасть, т<ак> к<ак> меня обещали поместить за кулисами в осветительной будке – но это очень мало вероятно.

[1] Ответ на открытое письмо Петровой от 15 апреля 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 41), полученное в Москве 18 апреля (дата почтового штемпеля).

[2] Подразумеваются именины Петровой – 20 апреля; день ее рождения – 7 августа.

[3] В письме к Волошину от 15 апреля Петрова напоминала, что 23 апреля – именины Ю.А. Галабутского. Волошин поздравил Галабутского в неизвестном нам письме, о чем можно судить по ответному письму от 30 апреля 1900 г.: «Спасибо за память, за поздравление, за стихи. В день своих именин я много порадовался, получив приветствия от бывших учеников, гимназистов и студентов» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386).

[4] Имеется в виду стихотворение «Камни Парижа». См. п. 90, 103, 104.

[5] См. примеч. 4 к п. 102.

[6] См. примеч. 10 к п. 103.

[7] См. примеч. 4 к п. 103.

[8] Ср. сообщение в письме О.М. Струковой к Е.О. Кириенко-Волошиной от 12 апреля 1900 г.: «Макса видим часто, он <...> ни о чем, кроме Италии, не говорит <...>, уверяет, что на это надо только 150 руб. на три месяца. <...> Смутил Кандаурова и Арнольда» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 329).

[9] Берлинский адрес А.М. Пешковского.

[10] Томмазо Сальвини выступал на сцене Малого театра четыре раза – 17 и 24 апреля 1900 г. в роли Отелло в одноименной трагедии У. Шекспира и 21 и 26 апреля в роли Коррадо в драме Паоло Джакометти «Гражданская смерть» («Семья преступника»).

107. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

26 апреля 1900 г. Москва

26 апреля 1900 г.

Дорогая мама!

Сегодня утром я получил Ваше письмо,[1] а потом отправился держать Государственное право, что вполне благополучно и исполнил (4). Но, выйдя с экзамена, почувствовал такое неприятное ощущение, что немедленно отправился в баню и пролежал там минут десять на полке, что со мной еще никогда не бывало. Результаты вышли великолепные: все государственное право сразу испарилось из головы, начиная с важнейшего учения о самодержавной власти и кончая последней запятой. Теперь я чувствую себя как вст<р>епанный и снова могу влить в свои мозги какую угодно дозу самой отвратительной микстуры, изготовленной по рецепту любого из благонамереннейших московских профессоров. Но это, к счастью, больше и не понадобится, т<ак> к<ак> остается всего два экзамена по предметам интересным и потому считающимся второстепенными: философия права и политичес<кая> экономия со статистикой.

У меня экзамены кончатся поздно – 20 мая, т<ак> к<ак> я держу в качестве экстерна и поэтому в последней группе. Так что я в конце мая так и выеду прямо на Вену, Мюнхен. В Крым я думаю вернуться в конце августа или в самом начале сентября и с отъездом оттуда, вероятно, особенно торопиться не буду. Хорошо было бы условиться нам тогда встретиться в Севастополе и предпринять прогулку с Вяземскими.[2] Но, положим, об этом еще рано загадывать. Я рассчитываю, что все это можно сделать на 150 р. Считая на переезды 80 р. (я высчитал

по путеводителям), а остальные деньги распределив на 3 месяца, остается по 2 франка в день на остановки и питание; останавливаясь на постоял<ых> дворах и в ночлежных домах и питаясь преимущественно хлебом, молоком и др<угой> примитивной пищей, этого хватить может свободно. Какая в точности у меня окажется на руках сумма, я еще не знаю. Статья моя о Бальмонте уже набирается в «Р<усской> Мысли» и идет в мае.[3] А «Горная Сказка», как я и думал, не принята там, «как несогласная с направлением “Р<усской> Мыс<ли>”».[4] Дело в том, что у меня там, в числе прочих лиц «Потон<увшего> Колокола», действует и школьный учитель, как олицетворение педантической науки и пошлости толпы, так мне Гольцев сказал, что ему вся эта вещь очень нравится, но только об школьном учителе так отзываться в «Рус<ской> Мысли» нельзя. «Я, конечно, понимаю вашу мысль, но, видите ли, наш русский школьный учитель представляет совершенно иной тип, и в публике может произойти недоразумение». Напрасно я доказывал, что «Рус<ская> Мысль» издается для людей понимающих, а не для идиотов, но он был другого мнения и предлагал мне сделать соответствующее изменение, на что я не согласился. В «Жизнь» я ее не послал,[5] потому что там слишком долго ответа ждать придется, да и гонорар не скоро вышлют, а мне это теперь самое важное; поэтому я снес в «Курьер»[6], имея в виду в случае ее успеха предложить корреспонденции и путевые очерки из Италии. А вы мне, мама, все-таки в июле, когда получите мои деньги, рублей пятьдесят вышлите мне в Неаполь – это будет нам <в> виде запасного капитала, на всякий случай, а спутникам я своим ничего не буду до времени говорить о возможности новой получки, чтобы они экономнее были (касса у нас будет общая – каждый по 150 р. вносит).

Около недели тому назад мы все были в высшей степени смущены загадочными явлениями: по Москве стала ходить тень Пав<ла> Павловича.[7] Первая ее видела Лёля,[8] как-то в сумерках на пустынной улице, но решила, что ошиблась. Но на другой день Миша[9] видел тень, проезжавшую на извозчике, и тень сказала ему «здравствуй», мы долго толковали об этом и уже решили, что это, наверное, предзнаменование войны или

чего-нибудь другого в этом роде, но тогда бабушка объяснила мне, что Пав<ел> Пав<лович> приезжал в Москву за Вашей юбкой, и угостила меня шампанским.

Макс. Волошин.

Все Вас целуют.

[1] Это письмо Е.О., по всей вероятности, не сохранилось.

[2] В Севастополе жила Валентина Орестовна Вяземская, вышедшая замуж за военного моряка Дмитрия Ксенофонтовича Селезнева (1866–1911); на их дачу «Еленкой» приезжали гостить Валериан и Любовь Вяземские (приятели детских лет Волошина), которые могли бы, по мысли Волошина, составить компанию в путешествии.

[3] См. примеч. 10 к п. 103.

[4] См. примеч. 4 к п. 103.

[5] Об этом намерении Волошин ранее сообщал А.М. Петровой (п. 103).

[6] Редакция газеты «Курьер» находилась в доме Катуар на Покровском бульваре.

[7] П.П. Теш.

[8] Е.С. Лямина.

[9] М.С. Лямин.

108. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

3 мая 1900 г. Москва

Дорогая мама!

Письмо Ваше я только что получил и в очень многом, в чем Вы меня упрекаете, я вполне с Вами согласен.[1] Но мне кажется, что лучше обо всем этом поговорить осенью при свиданьи, когда и я сам за лето все хорошенько обдумаю. Основная моя мысль такова: зачем учиться тому, что не интересует, и идти по дороге, к которой симпатии меня не влекут (это еще не значит, что она несимпатична для меня), когда можно изучать предметы интересные и идти дорогой, которая привлекает меня. Не знаю, верно ли, – но мне кажется, что занятия теми предметами, которые интересуют и увлекают, вы именно и называете игрой и как забаве никакого значения им не

придаете. Относительно же всего прочего: изучения языков и лени вообще – что же я могу возразить Вам, кроме того, что решил сериозно заниматься с будущей осени, но возражение это настолько уже избито с моей стороны, что я сам, пишучи его скептически, улыбаюсь в настоящую минуту.

Ну, а пока отбываю экзаменационную повинность в университете и, несмотря на мое полное равнодушие к экзаменам, отбываю недурно, в чем, положим, ничего удивительного и нет. Следующий экзамен у меня 8 мая, и я вам тогда же напишу об его исходе. Пока у нас всё по-прежнему: все держат благополучно экзамены и даже по большей части на пятерки (Мишель[2], Яша[3]), Люба[4] в половине мая собирается в Ялту, Ольга Мих<айловна>[5] в деревню, где раньше управлял Модест;[6] сегодня она ночевала у нас, так к<ак> квартиру она уже оставила, а Мишель живет теперь в Редакции с Михайлой.[7] Вообще же я мало и редко кого теперь вижу, потому что или готовлюсь к экзаменам дома, или в Румянцевском[8] читаю разные книги для путешествия. Пишу рецензии. За первую в апрельской книжке[9] получил уже 6 руб. В мае наконец пойдет статья о Бальмонтов<ском> переводе, которую я довольно сильно изменил и за которую надеюсь получить не менее 30 руб. Она уже напечатана и выйдет 20 мая.[10] Раз в неделю бываю у бабушки, и там тоже никаких изменений. Мишель продал перевод «Зеленого попугая» за 100 р. книгоиздательству московских декадентов «Скорпион».[11] Вот бы вашу «Ганнеле»[12] попробовать туда? Ведь Вы бы и без гонорара напечатали ее? M-me Юнге вчера выехала в Коктебель, и вы, вероятно, увидите ее раньше получения этого письма.

Отчего Вы мне не написали ничего решительного относительно книг для перевода? Лёля[13] собирается тоже в Крым – в Ялту. Хочет пройти пешком одна из Севастополя в Ялту, пожить там, а потом на Кавказ. Яша совершенно не знает, куда он попадет – вероятнее всего, что на Кавказ. Отчего умерла Найда? Здесь ее смерть произвела гораздо большее впечатление, чем смерть Айвазовского.[14]

Интересно все-таки было бы посмотреть на Феодосию <в> эти дни, верно, много любопытных и характерных сце-

нок там происходило; я даже пожалел немного, что кончил так рано гимназию.

Ну до свиданья.

Макс. Волошин.
3 мая 1900 года.

[1] В письме от 27 апреля 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 14–19 об.) Е.О. настаивала на том, чтобы Волошин «выбрал юридический факультет, как самый общеобразовательный и интересный», и упрекала его в отлынивании от серьезной учебы: «Ты не учился, а слегка играл наукой, благотворительностью, общ<ественной> деятельностью»; «Наподобие малышей в детском саду, хочешь учиться, играя. Вот и тянет тебя в веселый Париж с соответствующими лекциями, книгами, материалами без знания соответствующего языка. Нелепо и смешно, хотя и очень занимательно и весело позабавиться в науку в таком роскошном саду для взрослых детей».

[2] М.П. Свободин.

[3] Я.А. Глотов.

[4] Л.С. Лямина.

[5] О.М. Струкова.

[6] М.В. Сакулин.

[7] М.В. Лавров. Редакция – журнала «Русская Мысль».

[8] Имеется в виду библиотека Румянцевского музея.

[9] См. примеч. 4 к п. 102.

[10] См. примеч. 10 к п. 103.

[11] Пьеса «Зеленый попугай» («Der grüne Kakadu», 1899) австрийского прозаика и драматурга Артура Шницлера (1862–1931) на сюжет из эпохи Великой французской революции вышла отдельным изданием (вместе с его пьесами «Парацельс» и «Подруга») в московском издательстве «Скорпион» в 1900 г.

[12] См. примеч. 2 к п. 34.

[13] Е.С. Лямина.

[14] Найда – кличка собаки. И.К. Айвазовский скончался в Феодосии 19 апреля 1900 г. и был торжественно погребен в богатой усыпальнице близ церкви св. Саркиса (Сергия) – с надписью на надгробии: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную славу».

109. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

8 мая 1900 г. Москва

Ваши письма мне всё судьба получать в тот момент, когда я ухожу на экзамен. Так было и в этот раз: сегодня утром я еще лежал в постели, когда мне пришли сказать, что пора идти на экзамен, так как уже 10 часов, и дали мне Ваше письмо.[1] Сегодня была философия, и я ее так же благополучно стряхнул с плеч, как и государственное право (4+). Разве я вам ничего не говорил о том, что Арнольд и Кандауров[2] идут со мной? Я думал, что Вы об этом знаете. Кроме них еще идет и четвертый – студент князь Ишеев,[3] приятель Кандаурова и Арнольда, которого я мало знаю. Кроме того, к нам стремится присоединиться еще Плетнев.[4] Кандауров – это друг Арнольда, очень симпатичный, естественник, держащий в настоящую минуту государствен<ные> экзамены. Он очень интересуется живописью, и ездил в Палестину, Египет и Сирию вместе с художн<иком> Поленовым. Вот и все, что я пока могу про него сказать. Относительно экономии у нас будут приняты меры: именно все деньги будут на руках у кассира, так что таким образом мы будем гарантированы от частной расточительности, а общая не представляет такой опасности, так как будет умеряться благоразумием других и самого кассира, которым избран Кандауров. 150 р. – это только на дорогу, еду и остановки, а на паспорт и другие потребности каждому предлагается взять сколько он может. Собственно, пока у меня есть 100 р., но и в наличности и их у меня нет, так как их взяли у меня разные лица для уплаты за ученье, под клятвой вернуть их к 15 маю. Но если они их не вернут, то я совершенно не знаю, что буду делать. За статью в «Рус<ской> Мысли» я получу рублей 30–40, да возьму аванс в счет уже готовых рецензий,[5] которые будут печататься летом. Если пойдет и «Горная Сказка», то денег еще больше будет, но вы все-таки мне в июле 50 р. в Рим вышлете – это про запас – на всякий случай. Относительно маршрута у нас будет постановлено окончательное решение послезавтра, и поэтому я Вам напишу после, и куда и когда можно мне писать.

Между прочим, Модест[6] выздоровел и находится в настоящее время в Москве и ищет меня, но никак не может найти: он был у Павлиновой:[7] она ему дала адрес Ольги Мих<айловны>,[8] а та уже съехала с квартиры, так что, как мы найдем друг друга, не знаю. Между прочим, встретил я на днях моего старого товарища по гимназии – Румянцева[9] (помните?), и он мне сообщил, что он только на днях вышел из психиатрической лечебницы, так что я теперь могу с гордостью говорить, что всех друзей моего детства начинают уже постепенно выпускать из сумасшедших домов.

Ну, кажется, больше и не о чем писать. Кланяюсь всем коктебельским обитателям. Почему же все-таки умерла Найда?[10]

У меня теперь только один экзамен по политич<еской> экономии и статистике – 20 мая, а выедем мы, верно, 25<-го>.

Макс. Волошин.
8 мая. 1900 г. Москва.

[1] Письмо от 2 мая 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 20–21 об.), в котором Е.О. передавала сведения О.М. Струковой о том, что Волошин «ни о чем, кроме Италии, не говорит».

[2] Л.В. Кандауров был воспитанником семьи художника Василия Дмитриевича Поленова.

[3] В.П. Ишеев, сын статского советника, окончил с золотой медалью 3-ю московскую гимназию в 1896 г. и поступил на юридический факультет Московского университета.

[4] Видимо, Николай Аркадьевич Плетнев (1877–?), уроженец Вятки, сын надворного советника, студент-юрист Московского университета с 1898 г.

[5] См. примеч. 10 к п. 103. Возможно, перу Волошина принадлежит рецензия «Рядовой Петр Холькет» (на рассказ Олив Шрейнер «Trooper Peter Halket of Mashonaland» (1897) в переводе Е. Бекетовой), появившаяся (без подписи) в № 8 «Русской Мысли» за 1900 г. (Библиогр. отдел. С. 277); 27 апреля 1900 г. М.В. Лавров просил Волошина прислать эту рецензию «поскорее» (так как есть конкурент – другой автор, пожелавший написать о том же) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 749).

[6] М.В. Сакулин.

[7] Неустановленное лицо.

[8] О.М. Струкова.

[9] Владимир Данилович Румянцев. Окончил гимназию в Москве в 1898 г., в 1903 г. – ученик Московского филармонического училища.

[10] См. п. 108, примеч. 14.

110. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

20 мая 1900 г. Москва

Дорогая мама!

Сегодня у меня были последние экзамены (политическая экономия и статистика), которые прошли блестяще (по 5). Так что наконец я свободен и могу ехать. Вероятнее всего, что я уеду 25-го, т<ак> к<ак> 24<-го> уже получу паспорт,[1] но может оказаться задержка с моими спутниками – т<ак> к<ак> они могут не успеть достать себе паспорта, а это довольно длинная процедура здесь. Не помню, писал ли я Вам, что Арнольд в конце концов отказался от путешествия – у него какие-то сложные семейные обстоятельства. Что Евгения Пав<ловна>[2] здесь, я тоже Вам писал. На Любовь Сергеевну[3] я, оказывается, произвел неотразимое впечатление, – Ев<гения> Пав<ловна> рассказывала мне, что она необыкновенно высокого обо мне мнения и даже делала ей – Ев<гении> Павловне – выговор за то, что она не чувствует ко мне достаточного почтения. Я всегда замечал, что у меня есть способность нравиться пожилым дамам.

Люба вчера уехала в Крым. А вот с Лёлей что-то плохо.[4] Последние дни она ходит как убитая, все время плачет или делает над собой страшные усилия, чтобы сдержаться, и это наконец разрешилось сегодня тем, что она вдруг за чаем неожиданно швырнула два стакана об пол и разрыдалась почти до истерики. Таких припадков с ней еще не бывало. Ей необходимо поскорее уехать, но она ни за что не хочет уезжать до конца Мишиных экзаменов.[5] При этом присутствовал Яша,[6] но он говорит, что он ничего не знает и не понимает. Когда мы после остались втроем с Мишей, то Миша сказал Яше: «Яша, я хочу тебя вызвать на откровенность. Мне кажется, что Лёля в тебя влюблена?» – на что Яша ответил: «Не ручаюсь». Сло-

вом, что-то происходит, но чтó, не знает никто, так как сами они молчат, даже Нин<а> Федос<еевна>[7], которая сегодня мне в общих чертах передавала то, что вы мне рассказывали, ничего не понимает. Хорошо, что Любы уже нет, а то и она была последние дни в ужасно напряженно-нервном состоянии.

Страшно жаль Лёлю, но Яшу, по-моему, решительно ни в чем обвинить нельзя. Поскорее бы Лёле на медицинские курсы поступить или уехать в университет за границу – все-таки ей было бы лучше и легче.

Отвечайте мне на это письмо в Мюнхен. Я там пробуду первые числа июня по стар<ому> стилю. А потом пишите мне в Швейцарию – Энгадин, Пон<т>резина, где я буду в 20-х числах.

По всем вероятиям, это уже последнее мое письмо из Москвы. Что делает Екатер<ина> Феодор<овна>?[8] Кланяйтесь ей и Пав<лу> П<авловичу>.[9]

Макс. Волошин.

[1] Волошин получил заграничный паспорт 22 мая 1900 г.

[2] Е.П. Теш.

[3] Л.С. Теш.

[4] Л.С. и Е.С. Лямины. Переживания Е.С. Ляминой были обусловлены ее причастностью к студенческим волнениям, распространению нелегальной литературы и последовавшим полицейским сыском.

[5] М.С. Лямин.

[6] Я.А. Глотов.

[7] Н.Ф. Локошенко.

[8] Е.Ф. Юнгс.

[9] П.П. Теш.

111. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

26 мая 1900 г. Москва[1]

Дорогая мама! Пишу Вам открытку, так как сегодня вечером выезжаю из Москвы. Письмо Ваше от 20 мая получил. В Мюнхен мне не пишите, потому что я там буду до 3–4 июня

(ст.ст.), не позже, и письмо не успеет меня застать. Пишите мне в Швейцарию. Энгадин. Понтрезина. Я там буду около 20 июня, а до конца июня в Милан. Теперь я еду на Вену, потом Дунаем до Линца, на Зальцбург и Мюнхен. Я бы уехал еще третьего дня, но меня они задержали, и если так дело будет продолжаться, то я, верно, от них удеру и пойду один. Теперь к ним еще присоединился откуда-то, какой-то статистик Смирнов,[2] который мне что-то ужасно не нравится. Я и так-то чуть вчера один не уехал. Поздравляю Вас с прошлыми именинами. Кланяюсь Ек<атерине> Феод<оровне>[3] и Пав<лу> П<авловичу>[4].

Макс. Волошин
26 мая 1900 г. Москва.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Москва. 26 V 1900; Феодосия. 28 V 1900.

[2] Алексей Васильевич Смирнов (1873—?) окончил тамбовскую гимназию, в 1894 г. поступил на юридический факультет Московского университета (позднее перешел в Петербургский университет).

[3] Е.Ф. Юнгс.

[4] П.П. Теш.

112. А.М. ПЕТРОВОЙ

26 мая 1900 г. Москва

Дорогая Александра Михайловна!

Сегодня я выезжаю из Москвы на Вену, Зальцбург — Мюнхен.[1] В Мюнхене я пробуду до 3—4 июня. А потом до 20 июня мой адрес: Schweiz. Engadin, Pontresina. Max Woloschin. Poste restante. До конца июня Милан. С дороги я, верно, вам напишу. Больших писем посылать не буду — некогда будет, а открытки. В Понтрезине буду ждать Вашего письма — ответа на все многочисленные мои письма, на которые вы мне еще не отвечали. Поклон всем Вашим.

Макс. Волошин.
26 мая 1900. Москва.

[1] Волошин выехал за границу вместе с В.П. Ишеевым, Л.В. Кандауровым и А.В. Смирновым. В пути они вели поочередно ежедневный «Журнал путешествия», начатый 28 мая в Варшаве (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 5–108).

113. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

31 мая / 13 июня 1900 г. Линц[1]

В настоящую минуту мы сидим в хор<ош>еньком ресторане на берегу Дуная в Линце.[2] Только что мы вернулись с гор. Рядом с нами внизу стремится со страшной быстротой Дунай, по которому мы сегодня сюда приехали пароходом из Вены. Там мы пробыли день, и из нового я видел только Шенбрунн,[3] и в нем самолично Франца Иосифа, проехавшего в экипаже. Вена оказалась дорогой для нас, и мы превысили там нашу дневную норму, зато Линц поражает дешевизной, и мы ночуем теперь в гостинице в отдельной комнате по 20 крейц<еров> с персоны. Завтра выезжаем в Зальцбург, проведем там день и ночью будем, верно, уже в Мюнхене. Пишите мне до 15 июня (ст.ст.) в Понтрезину (Швейцария). Немецкое наречие здесь поразительно и настолько искажено, что, представьте себе – меня считают за немца и мой немецкий язык принимают за берлинское наречие. Пока путешествуем согласно. Только непредвиденный спутник статистик Смирнов очень дисгармонирует, и мы, верно, скоро расстанемся.

Макс. Волошин.
13 июня (н.ст.). Линц.

[1] Открытка. Почтовый штемпель: Linz. 14. 6. 00.

[2] Линц – главный город верхней Австрии на левом берегу Дуная. Среди достопримечательностей – собор XVII в., капуцинская церковь, музей, колонна в честь св. Троицы на главной площади. Путешественники поднимались на гору Петлинсберг (537 м над уровнем моря). Выехав вечером 26 мая из Москвы по железной дороге, Волошин и его спутники прибыли в Варшаву 27 мая, а вечером 29 мая (11 июня) – в Вену. В Линц они прибыли на пароходе в 17 часов (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 14–16).

[3] Шенбрунн – парк в юго-западной части Вены, создан в 1705–1706 гг., с дворцом того же названия в стиле барокко.

Заказ № 5706

114. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

6/19 июня 1900 г. Эрвальд[1]

В настоящую минуту я сижу в маленькой горной гостинице в Эрвальде в Тироле,[2] куда мы перевалили сегодня пешком из Баварии по удивительно красивой горной лесной дороге. Теперь из окон видна вершина Цуг-Шпитце — высочайшая в Баварск<их> Альпах,[3] вся залитая вечерним светом. В Мюнхене мы пробыли 3 дня, а оттуда проехали в Обераммергау. Знаменитые мистерии не представляют из себя ничего особенно интересного, т<ак> к<ак> утратили всю свою первобытную наивность, а действительной художественности не приобрели.[4] Двухдневное пребывание там обошлось нам довольно дорого, и вообще мы превысили свой бюджет, т<ак> ч<то> для того чтобы исполнить весь намеченный маршрут, нам придется верно сделать быстрее, т<ак> к<ак> день нам обходится не по 70 к., а около 1 руб. каждому. Недели через полторы буду в Понтрезини (Грауби), но, кажется, лучше пишите мне в Милан. В Мюнхене я не нашел ни одного письма.[5] Писали ли вы? Кажется, я попрошу выслать мне в июле все деньги за июль и август — т.е. 80 р. в Рим, впрочем, я еще напишу об этом. Теперь у нас начинается самая интересная часть пути по горам. Спутниками своими, особенно Кандауровым, я доволен, недоволен толь<ко> статистик<ом> Смирновым, с котор<ым> мы постоянно ругаемся за медлительность. Кланяюсь всем коктебельск<им> обитателям.

Макс.
Ehrwald. Tirol. 19 июня 1900 г.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Ehrwald. 20.6.00; Феодосия, 13.VI.1900.

[2] Эрвальд — деревня в Баварских Альпах (в Тироле) на высоте 993 м, куда путники пришли 6/19 июня пешком из Гармиша (в Баварии).

[3] Цугшпитце — вершина в 2963 м над уровнем моря.

[4] «Мистерии страстей Господних» разыгрывались жителями баварского селения Обер-Аммергау: роль Христа исполнял местный

гончар, Пилата – бургомистр, Иуды – маляр и т.д. См. очерк Волошина «В Обер-Аммергау (Из странствий)» (Т. 5 наст. изд. С. 288–299).

[5] В Мюнхене путники находились с вечера 1/13 июня по 3/15 июня, посетили выставку Сецессиона, Глиптотеку, галерею Шак, собор, Новую Пинакотеку.

115. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

8/21 июня 1900 г. Ленгенфельд[1]

Из Эрвальда мы прошли через Мариенберг[2] в долину Инсбрука[3] и, не спускаясь к нему, поднялись к Эцталь.[4] Теперь у нас маленький полуденный привал в деревушке Энгенфельд.[5] День довольно серый, горы и ледники покрыты облаками, из-под которых бьют водопады. По Тиролю путешествовать очень дешево, и моя мечта об ночлегах на сеновалах уже осуществляется. Вероятно, завтра мы достигнем конца долины и, может быть, сможем сделать перевал через Hoch-Joch[6] в долину Мерана[7], а оттуда через два дня мы будем уже в итальянском городе Бормио. Оттуда через Швейцарию (Энгадин) мы спустимся через Белладжио в Милан. Погода в горах нам не особенно благоприятствует: часто моросит дождик, но зато прохладно. Эцталь необыкновенно красива и разнообразна по видам. Пока путешествие со всеми билетами и расходами на каждого обошлось в 35 р., что, собственно, очень дешево, и это несмотря на крупные передержки в Вене и в Обераммергау. Пишите мне в Милан.

Макс. Волошин.
Lengenfeld. 21 Jüni.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Längenfeld. 21 <6. 1900>; Феодосия. 14 VI 1900.

[2] Мариенберг – гора в Альпах.

[3] Долина реки Инн, где находится Инсбрук, главный город австрийской провинции Тироль.

[4] Эцталь – долина реки Эц. В деревню Эцталь путешественники приехали поездом со станции Мец.

[5] Правильно: Ленгенфельд.

[6] Хох-Йох – горный перевал и вершина (2897 м над уровнем моря).

[7] Мерано – долина в Северной Италии.

116. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

10/23 июня 1900 г. Альпы[1]

Только что совершили переход через ледники[2] и теперь спускаемся в долину Мерана[3], но до него не дойдем, а пойдем через Стельвио в Бормио. Вчера нас застала гроза в горах, и мы перебирались через потоки по пояс в воде.

23 июня.
Макс.

[1] Видовая открытка («Der Hochjochferner mit Unterkunftshülle "Zur schönen Aussicht" 2875 mt»). Штемпели: Naturns. 26.6.00; Феодосия. 19 VI 1900.

[2] Переход через ледники Волошин описал в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 30–32).

[3] См. п. 115, примеч. 7.

117. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13/26 июня 1900 г. Бормио[1]

Это прекрасный замок в долине Этча. Вчера мы через Стельвио п<е>решли в Италию по дивной дороге через снега и глетчеры.[2] Через неделю буду в Милане.

Макс.
Italia. Bormio. 26 июня 1900 г.

[1] Видовая открытка («Castelbell im Vintschgau»). Штемпели: Bormio. 27.6.00; Феодосия. 20 VI 1900.

[2] Этот переход, длиной в 40 верст, «самый большой и самый утомительный», Волошин описал в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 35–37). «Высочайшую шоссейную дорогу в Европе» он охарактеризовал также в «Листках из записной книжки» (Т. 5 наст. изд. С. 350).

118. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13/26 июня 1900 г. Бормио[1]

Вчера мы перешли через Стельвио (Stilfser-Joch) высочайшую дорогу в Европе (около 3-х верст высоты) и теперь находимся в итальянском городке Бормио,[2] где реши<ли> отдохнуть день после этого гигантского перевала (40 кил<ометров> длин<ой> с подъемом на 3 версты в один день). Отсюда мы пройдем через швейцарск<ую> территорию (Энгадин) к Комо[3] и затем в Милан. После Милана пишите мне в Геную, где я буду недели через 2. Последние дни путешествия с переходами через Hoch-Joch и Стельвио[4] были великолепны. Особенно хорош был спуск ледников Hoch-Joch'а к Мерану. Переход от полной зимы к совершенно южной природе в несколько часов ходьбы, тем более что до Hoch-Joch'а природа очень сурова и северно во всей Этцальской долине.

Макс. Волошин.
Bormio. 26 июня 1900.

[1] Видовая открытка («Stilfser Joch-Strasse von der Payerhütte»). Штемпели: Bormio. 27.6.00; Феодосия. 22 <?>. VI. 1900. Переадресовано в Севастополь.

[2] Итальянский городок в Альпах (1225 м над уровнем моря) близ границы Италии с Швейцарией и Австрией.

[3] Комо – живописное озеро в Ломбардии, на высоте 197 м над уровнем моря, окруженное лесистыми горами, длиной 49 км, с одноименным городом в юго-западной части (главным городом провинции Комо).

[4] См. примеч. 2 к п. 117.

119. Е.С. ЛЯМИНОЙ

13/26 июня 1900 г. Бормио[1]

Это прекрасный замок в долине Этча.

Вчера мы через Стельвио пришли в Италию по дивной дороге через снега и глетчеры.[2] Через неделю буду в Милане.

Макс.
Italia. Bormio. 26 июня 1900 г.

[1] Видовая открытка («Castelbell im Vintschgau»). Штемпели: Bormio. 27.<6.00>; Ялта. 20.VI.1900.

[2] Ср. п. 117.

120. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

15/28 июня 1900 г. Сондрио

Третий день я уж в Италии. Мы перевалили через Стельвио[2] в Бормио, и здесь у меня так разболелась нога, что мне пришлось оставить своих спутников идти одних в Энгадин, а самому на дилижансе отправляться в Сондрио,[3] откуда я и пишу вам в настоящую минуту. Здесь я ночевал и сейчас уеду ж<елезной> д<орогой> на Комо,[4] где и буду их ждать. Впрочем, может, проеду через день прямо в Милан,[5] если соскучусь один на Комо. Они должны прийти через 5 дней.[6] Поразительнее всего был наш переход через глетчеры на Hoch-Joch'е. Представьте себе сплошную ослепительно белую равнину, белые пики, яркое солнце и совершенно темное ночное небо при этом ослепительном свете. Легкие облачка казались красно-коричневыми среди этой белизны. Впечатление дня это совсем не производило, точно мы на другой планете были. Во время 3-час<ового> пребывания во льдах при нескольк<их> градусах морозу наши лица и руки были обожжены почти до пузырей, а глаза воспалены. Мы прошли через льды третьи в этом году и первые без проводника. Пока все 3 недели путешествия со всеми билетами и частными расходами (письмами и покупками) обошлись на каждого по 50 рублей, считая со дня выезда из Москвы. 80 р. за июль и август вышлите мне лучше прямо в Бриндизи до востр<ебования>, когда получите их. Теперь пишите мне в Геную, а потом во Флоренцию.

Макс

28 июня.

[1] Открытка. Штемпель получения: Севастополь. 22 VI 1900.

[2] См. примеч. 2 к п. 117.

[3] Главный город итальянской долины Валтеллина, образуемой рекой Адда.

[4] См. примеч. 3 к п. 118.

[5] Выехав утром 16/29 июня пароходом к городу Комо, Волошин оттуда отправился поездом в Милан, куда прибыл в три часа дня. См.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 44; Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 126.

[6] Волошин воссоединился со своими спутниками по путешествию в Милане 19 июня / 2 июля.

121. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

16/29 июня 1900 г. Милан[1]

Сегодня, приехавши в Милан, я сейчас же отправился на почту и не нашел ни одного письма. Или Ваши письма не доходят? Если вы писали в Понтрезину, то мои спутники привезут их, но я думаю, что письма могли бы уже прийти и в Милан. После этого письма пишите мне во Флоренцию – я там недели через две буду, а после прямо в Рим. Теперь я жалею, что не продолжал пути – нога совсем перестала болеть. Сегодня утром я проехал через все Комо[2] на пароходе. Самое красивое – это берега от Белляджио[3] до Комо, которых мы с вами не видали. Я устроился дешево – комната стоит 1 лира, – вообще оказывается, что все те комнаты, которые мы с вами имели за 1½ фр<анка>, можно, поторговавшись, иметь за франк. Дня через 4 явятся мои спутники, мы через неделю будем в Генуе, откуда пешком пойдем до Каррари (а может, и с пере<садкой> на жел<езной> дороге). Оттуда на Пизу и Флоренцию. Письма, следовательно, я буду спрашивать в Генуе, Флоренции, Риме, Неаполе и Бриндизи, куда вышлите мне деньги.

Макс В.
Милан 29 июня.

[1] Открытка. Штемпели: Milano. 30.6.00; Севастополь. 24.6.1900.

[2] См. примеч. 3 к п. 118.

[3] Белладжио – мыс, разделяющий озеро Комо на западную и восточную части.

122. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

23 июня / 6 июля 1900 г. Генуя[1]

В Милан мне привезли Ваше письмо из Понтрезины,[2] и я Вам писал сейчас же к Вяземским.[3] Не зная, застало ли

оно Вас там, повторю снова: 80 р. вышлите мне, пожалуйста, в Бриндизи франками не позже 5–6 июля, т<ак> к<ак>, благодаря неизбежным передержкам, наше путешествие все ускоряется, и я, верно, в августе уже вернусь. Сегодня мы приехали в Геную.[4] Действительно, это великолепный и необыкновенно своеобразный город с такими узенькими улицами и такими громадными домами, что дух захватывает. Утром сегодня мы были в Чертозе (Шартрёзе).[5] Море в Генуе великолепно, и по шоссе, идущему по скалистому берегу, растут настоящие пальмы. Я думаю, что в Риме мы будем дней через 10 и там пробудем недели две. Хотя это, конечно, может все измениться и ускорится. Если будете мне отвечать сейчас же после получения этого письма, то ответьте мне в Рим, а если позже, то в Неаполь. Где теперь Лёля[6] и где Яша?[7] Они мне обещали писать – я им отправил немало открыток, а от них все-таки ни строчки до сих пор. Много ли вы путешествовали с Вяземскими? Где теперь Ольга Михайловна[8] и будет ли она в Коктебеле? Где будет Ев<гения> Пав<ловна>[9] в конце лета? Что m-me Юнге? Мне теперь страшно жаль, что я целую неделю просидел в Милане,[10] когда мог бы это сделать с гораздо большим успехом в Генуе.

Макс. Волошин.
Genova. 6 Luglio 1900.

[1] Открытка. Штемпели: Genova. 6.7.00; Севастополь. 1 VII 1900.

[2] Письмо Е.О. от 5 июня 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 29–30 об.) было доставлено спутниками Волошина, приехавшими в Милан вечером 19 июня / 2 июля. В нем Е.О. сообщала о своей предстоящей поездке к Вяземским в Севастополь. Понтрезина – климатический курорт в швейцарском кантоне Граубюнден (1803 м над уровнем моря), при дороге на Бернинский перевал.

[3] В письме от 21 июня 1900 г. (Там же, л. 31–33 об.) Е.О. сообщала, что находится на даче Вяземских «Еленкой» под Севастополем, куда ей и переслали открытки Волошина из Эрвальда и Ленгенфельда.

[4] В «Журнале путешествия» Волошин на следующий день записал свои впечатления от Генуи (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 49–50).

[5] Чертоза – общее название картезианских монастырей в Италии. Здесь имеется в виду Павийская чертоза (в 7 км от Павии), основанная в начале XV в., с фресками, скульптурами и пышным декоративным убранством.

[6] Е.С. Лямина.

[7] Я.А. Глотов.
[8] О.М. Струкова.
[9] Е.П. Тещ.
[10] Волошин пробыл в Милане с 16/29 июня до утра 22 июня / 5 июля.

123. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27 июня / 10 июля 1900 г. Флоренция

Уже третий день мы живем во Флоренции.[1] Из Генуи мы прямо проехали в Пизу, провели там день, были на берегу, где утонул Шелли,[2] и третьего дня приехали во Флоренцию. Теперь по целым дням мы бегаем по картинным галереям и церквам и через 2 дня едем в Рим, так что будем там, вероятно, 1 или 2 июля по ст<арому> стилю и останемся две недели, т.е. до 15-го, после же пишите в Неаполь, но мы там долго не останемся. Флоренция далеко не так красива и оригинальна, как Генуя. Только со стороны, с окрестных холмов, покрытых великолепной растительностью, она красива. До сих пор в Италии мы еще не испытывали жары и даже в самой Флоренции, которая во время лета считается самой невыносимо жаркой из всех итальянских городов, стоит прохладная погода. Спутниками своими — князем и Кандауровым — я очень доволен и сошелся с ними. Третий же, Смирнов, очень несимпатичен; но он, кажется, скоро совсем отстанет от нас. В общем, это путешествие как-то более спокойно и, пожалуй, более богато усвоенными впечатлениями, чем первое.[3] Вероятно потому, что мы не мечемся так, как метались с вами, а двигаемся по определенному маршруту и имеем более определенные цели и интересы. Но все-таки прошлое путешествие как-то больше поражало своей новизной впечатлений. Теперь жду с нетерпением Рима. Так как я не знаю, получили ли вы мои предыд<ущие> письма, то еще раз пишу про деньги: вышлите мне, пожалуйста, 80 р. франками в Бриндизи, как только их получите, не позже 10 июля. Пишу вам теперь в Феодосию, т<ак> к<ак> думаю, что вы уже вернулись от Вяземских. Писем, кроме одного, адресован<ного> в Понтрезини, я от вас не получал.

Макс.
10 июля (27 по ст.ст.).

[1] Во Флоренцию путники прибыли вечером 25 июня / 8 июля. Помимо осмотра города, они знакомились с галереей Уффици, собором, галереей Питти, церковью Санта-Кроче, а в последующие дни осмотрели Национальный музей, Галерею изящных искусств, ряд церквей с росписями знаменитых художников.

[2] В Пизу путники прибыли поездом вечером 24 июня / 7 июля; на другой день на трамвае отправились к месту на берегу залива Специя, где 8 июля 1822 г. утонул Перси Биши Шелли.

[3] Имеется в виду путешествие с Е.О. по Италии и Швейцарии в 1899 г.

124. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

30 июня / 13 июля 1900 г. Рим[1]

13 июля[2] (н.ст.).

Сегодня утром я приехал в Рим и нашел на почте Ваше письмо, писанное у Вяземских[3] и пересланное мне сюда из Милана. К Вяземским я адресовал вам еще из Милана одну открытку, а потом посылал не то две, не то три снова в Коктебель. Одновременно с Вашим письмом я получил письмо от Пешковского, который зовет меня в августе ехать вместе с ним на север Норвегии и предлагает на это деньги.[4] Если возврат их он согласится продлить до возвращения мне Леринного[5] долга или до первого большого литературного заработка, то я соглашусь и из Константинополя проеду жел<езной> дор<огой> в Берлин, а оттуда вместе с ним в Норвегию и вернусь в Москву к концу сентября прямо в университет. Я ему сейчас пишу и получу от него ответ, верно, еще в Риме, где я пробуду до 29 июля по новому стилю. По-моему, такого случая побывать на севере Европы упускать ни в каком случае не следует. Пишите мне теперь прямо в Бриндизи, буду около 5 августа нов<ого> ст<иля>, т<ак> к<ак> я в Неаполе пробуду недолго, и вышлите туда же 80 р. франками. Погода в Италии все время прохладная, и мне в синих рубашках не жарко. Свои Lederhose* я выбросил в Милане; они мне служили великолепно и были еще целы, но очень тяжелы и неимоверно

* кожаные штаны (*нем.*).

безобразны. На юге Италии все поразительно дешево; но только необходимо торговаться, т<ак> к<ак> запрашивают всегда раза в 3.

[1] Открытка. Штемпели: Roma. 14.7.00; Феодосия. 7 VII 1900.

[2] В автографе описка: 17 июля.

[3] Письмо Е.О. от 21 июня 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 31–33 об.) с сообщением о том, что она живет у Вяземских уже 11 дней.

[4] Сообщив Волошину в недатированном письме о совершенном им путешествии по Гарцу, Пешковский развил перед ним идею «другого путешествия – по Норвегии пешком»: «Проехать в Северную Норвегию в западную, прибрежную часть и там побродить по горам. Мне кажется, что это наименее опошленная из европейских стран. Природа ее мне представляется дикой, неприветливой, но своеобразной и величественной. <...> В Норвегии я надеюсь иметь много невиденного и не прославленного еще туристами. <...> Путешествие это я хотел бы выполнить либо один, либо вдвоем с человеком, которого я удостою своим выбором. Прежде всего он, конечно, остановился на тебе. <...> Что касается денег, то, если у тебя их нет, может быть, ты найдешь возможным взять у меня? Обстоятельства мои теперь таковы, что об стеснении для меня не может быть речи. Готовым к выезду я могу быть числа 10-го августа» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 47–48).

[5] В.А. Воллк-Ланевская.

125. Я.А. ГЛОТОВУ

30 июня / 13 июля 1900 г. Рим[1]

Дорогой Яша! Получил сегодня твое письмо в Риме, а в Милане не получал: его верно перешлют сюда.[2] К 15 августу нов<ого> ст<иля> я буду в Константинополе уже. Сегодня я получил от Пешковского письмо:[3] он мне предлагает ехать с ним в августе в Норвегию и ходить там пешком и предлагает денег с бессрочной выплатой, так что я из Констант<инополя> верно проеду ж<елезной> д<орогой> через Болгарию в Берлин и оттуда к Нордкапу.[4] Вернусь тогда прямо в Москву в конце сентября. Я сегодня только приехал в Рим, и ты себе можешь представить, что со мной делается теперь, т<ак>

к<ак> сегодня же я решил и в Норвегию ехать. Пальмы и фиорды, северное сияние и forum Romanum, храм Петра,[5] – все это так и пляшет у меня теперь в голове. Пред этим мы пробыли 6 дней во Флоренции.[6] В Риме наняли кварт<иру> на две недели. Числу к 4 августа (н.ст.) буду в Бриндизи. Потом в Афины и Константинополь. До Рима все путешествие нам обошлось почти по 100 рублей. Это очень дешево, принимая в расчет все, что мы видели, и притом мы себе не так уж совсем во всем отказывали. Получал ли ты все мои открытки? Что делает Лёля?[7] Где она? Я ей всё посылал письма в Ялту на дачу Шмелевой. Кто выходит и куда выходит пешком? Пожалуйста, не будь так лаконичен. Пожалуйста, отправь то же мое прошение в Университет.[8] Не было ли моих рецензий в «Рус<ской> Мысли»? А если были, то какие? О письмах я справляюсь почти кажд<ый> день.

Макс. Волошин.
12 Luglio.[9] Roma.

[1] Открытка. Штемпели: Roma. 14–7–00; Адлер. 12 VII 1900. Переслано в Екатеринодар.

[2] Эти письма Глотова не сохранились.

[3] См. примеч. 4 к п. 124.

[4] Нордкап – наиболее известный мыс на севере Европы, на острове Магерё в Норвегии; скала высотой 300 м.

[5] Римский Форум – центральная площадь Рима с храмами главных богов, базиликами для суда, зданиями для заседаний Сената, с портиками и статуями. Собор св. Петра в Ватикане – самое священное место западного христианства, сооружен в XVI–XVII вв. (архитекторы Д. Браманте, Микеланджело, Джакомо делла Порта, Карло Мадерно, Дж.Л. Бернини и др.).

[6] Пребывание во Флоренции – с 25 июня / 8 июля по 29 июня / 12 июля.

[7] Е.С. Лямина.

[8] Прошение в Московский университет о зачислении на 3-й курс юридического факультета.

[9] Описка в дате (путешественники прибыли в Рим 13 июля н.ст.).

126. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

2/15 июля 1900 г. Рим

Дорогая мама! Сегодня я получил третье Ваше письмо; то, которое было написано у Вяземских 24-го[1] и адресовано во Флоренцию. Вы задаете много таких вопросов, которые, верно, уже ранее выяснялись Вам из моих открыток. Нога у меня, верно, заболела от переутомления — вспухло Ахиллесово сухожилие и было, верно, небольшое воспаление, которое очень быстро прошло от усердной сма́зки иодом и семидневного отдыха в Милане. Бриндизи — это большой итальянский порт на Адриатическом море и место нашего отплытия из Италии в Грецию. Потому я избрал его местом для высылки денег. Мы, верно, будем там около 20 июля по с<тарому> стилю. Так что и письма адресуйте туда же. Останавливаться мы там долго не будем — только дела сделаем и пароходу дождемся. Через неделю после этого мы будем, верно, в Афинах и дня через 3 в Константинополе. Предложение Пешковского ехать в Норвегию, о котором я вам писал,[2] меня совершенно увлекло, и теперь все будет зависеть от его ответа, который я должен получить еще в Риме, так что я напишу вам об окончательном своем решении недели через полторы. Когда вы думаете приехать в Москву? Мне ведь уж, поехавши в Норвегию, конечно, придется отказаться от Крыма, и я попаду в Москву даже раньше, чем ожидал. Из виденных мною городов по оригинальности наибольшее впечатление произвела Генуя со своими невероятно узенькими улицами и восьмиэтажными домами, украшенными гирляндами грязного белья. Флоренция очень интересна своими галереями и церквами, но я бы ни за что не хотел бы в ней жить. В противность своему имени (Флоренция = цветущая) в ней нет ни клочка зелени. Но зато окрестные холмы утопают в роскошной растительности и оттуда раскрываются дивные виды на город.

Пиза производит впечатление своим запустением. Ее прекрасный собор с знаменитой падающею башней стоит совсем на краю города (недаром Заяц никак не мог найти его)

на площади, заросшей травой.[3] Тут же великолепное Campo Santo,[4] окруженное внутри кружевной мраморной балюстрадой. Кажется, что никто уже несколько столетий не заглядывал на эту пустынную площадь, на которой высятся эти мраморные здания, не почерневшие от дыма, как Миланский собор, а пожелтевшие, точно они сделаны из слоновой кости. Из Пизы мы ездили купаться в море, на тот берег, где утонул Шелли[5] и потом был сожжен Байроном на костре. Берег пустынный, песчаный. Море голубое, бесконечное, совсем не похожее здесь на наше. На горизонте синеют очертания острова Горгоны. Недалеко от берега густой сосновый лес, а вдали синие Апеннины.

О Риме мне еще трудно что-нибудь сказать. Он захватывает постепенно, но властно. Вчера мы провели вечер у одной русской дамы,[6] которая живет в Риме уже 30 лет, на великолепной вилле, которая совершенно одна стоит среди роскошного парка на вершине Яникульского холма.[7] Весь Рим развертывается прямо внизу под ногами — это почти та же самая панорама, которую Пьер Фроман в день своего прибытия в Рим видел с площадки Сан-Пьетро ин Монторио,[8] которая находится тут же немного пониже. И теперь представьте себе старую виллу, построенную в XVI веке Джулио Романо,[9] учеником Рафаэля, для фамилии Медичи, а после принадлежавшую Боргезе и Ланте,[10] прозрачную итальянскую ночь, луну, «сияющую без лучей», как говорит Байрон,[11] и весь Рим внизу. Огоньки сверкают везде. Длинной лентой они вьются по течению Тибра; электрический свет сияет на Квиринале,[12] направо ясно рисуется линия Альбанских гор, а налево смутно мерещится силуэт Соракты.[13]

Сегодня весь вечер мы бродили по форуму и, когда смерклось, то сидели в Колизее.[14] Пора кончать, т<ак> к<ак> свечка догорает, а другой нет. Я думаю, что вы уже выслали деньги раньше, чем прочтете это письмо, потому что без этих денег нам придется совершенно неожиданно сесть в Бриндизи на мели. Спросите Любу Вяземскую, не умудримся ли мы встретиться где-нибудь в Европе, если я поеду в Норвегию?

Кланяйтесь им всем. Что делает m-me Юнге? и где она? Я ей послал одну открытку из Милана с головой Христа да Винчи, которую она так любит.

Макс В.
Roma. 15 Luglio 1900.

P.S. Жизнь поразительно дешева: 2 июля (ст.ст.) у нас комната на трех за 25 франков на две недели, и очень порядочная, но масса блох, которых, положим, здесь везде много.

Вы спрашиваете, чем кончилось наше купанье в потоках во время грозы в Тироле: тем, что мы пришли, щелкая зубами от холода, в домик, стоявший на леднике, и там высохли, а на другое утро мы были уже на ледниках. Поразительно, что никто из нас после этого купанья даже насморка не получил. А вода была ледяная в полном смысле слова, так как текла прямо из снегов.

[1] В письме от 24 июня из Севастополя (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 34–35 об.) Е.О. сообщала о получении открыток Волошина из Бормио и из Сондрио (п. 117, 118, 120).

[2] См. п. 124, примеч. 4.

[3] Заяц – прозвище Евг. П. Теш. Собор в Пизе был построен в 1063–1118 гг., кампанила («падающая башня») – в 1174–1350 гг. См. пизанские записи Волошина: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 128–129; Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 52–53.

[4] Campo Santo (святое поле) – обозначение кладбищ в Италии. Пизанское Кампо Санто – крытое кладбище; строительство здания было начато по проекту Джованни Пизано около 1270 г., полностью завершено в 1463 г.; восточная стена расписана в XIV в. последователями Джотто, на северной стене – 24 фрески на сюжеты Ветхого Завета (1469–1485) работы флорентийского и пизанского живописца Беноццо Гоццоли.

[5] См. примеч. 2 к п. 123.

[6] Имеется в виду Надежда Дмитриевна Хельбиг (урожд. княгиня Шаховская, 1847–1922), пианистка (ученица Ф. Листа), знакомая Л.Н. Толстого. См.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 66–69.

[7] Один из холмов, на которых расположен Рим, в юго-западной его части (район Трастевере).

[8] Пьер Фроман – священник, герой романа Э. Золя «Рим» («Rome», 1896; в том же году опубликован в нескольких русских переводах), а также его романов «Лурд» и «Париж», составляющих вместе с «Римом» трилогию «Три города». Сан-Пьетро-ин-Монторио – церковь, построенная в 1500 г. на средства испанского короля Фердинанда Арагонского, с фресками Себастьяно дель Пьомбо. Вид на Рим, открывающийся Пьеру Фроману с вершины холма, на котором стоит эта церковь, описан в гл. 1 «Рима» Золя. См.: *Золя Э.* Собр. соч.: В 26 т. М.: Худож. литература, 1965. Т. 18. С. 12–13.

[9] Вилла, о которой идет речь, была построена Джулио Романо для Балдассаре Турини ди Пескиа в 1518 г.

[10] После смерти Андреа Турини в 1550 г. вилла стала собственностью кардинала Марчелло Ланте; семейство Боргезе стало ее владельцами с 1817 г. (при них здание было перестроено архитектором Луиджи Канина).

[11] Образ восходит, по всей вероятности, к стихотворению «Sun of the Sleepless!» («Солнце неспящих») из цикла Байрона «Еврейские мелодии» («Hebrew Melodies», 1815). Ср.: *Гербель Н.В.* Полн. собр. соч. Байрона в переводе русских поэтов. 4-е изд. / Под ред. Д. Михаловского. СПб., 1894. Т. 1. С. 104 (перевод Д. Михаловского).

[12] Высочайший из холмов Рима в северо-восточной части города.

[13] Гора (686 м) в 40 км от Рима, в Этрурии; воспета Горацием (Оды. I, 9).

[14] См. примеч. 5 к п. 125. Колизей, или амфитеатр Флавия (75–80 гг.), с ареной и четырьмя ярусами для зрителей (на 50 000 человек). См. стихотворения Волошина «На Форуме» и «Ночь в Колизее», написанные в тот же день (Т. 1 наст. изд. С. 20; Т. 2 наст. изд. С. 458).

127. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

4/17 июля 1900 г. Рим[1]

Ваше письмо от 27-го, в котором вы пишете о словах Валериана относительно Ташкента и моем путешествии туда,[2] снова переполошило меня, перевернуло все планы о Норвегии и показалось мне настолько соблазнительным, что я одновременно с этим письмом пишу Валериану и спрашиваю его, насколько это действительно возможно. Это ведь очень хорошо для меня, особенно если при этом можно будет еще

и заработать что-нибудь. А из универс<итета> можно взять отпуск до ноября или даже просто прислать свидетельство о болезни. Около 25 июля я буду в Афинах, а около 1 августа в Константинополе. Напишите мне в Афины. А Пешковскому я сейчас тоже напишу, что окончательный ответ дам ему из Афин или из Константинополя. Вчера я вам отправил большое письмо (закрытое) в Коктебель.[3] Вообще все письма после открытки с головой Христа из Милана (единств<енной> посланной к Вяземским) я адресовал в Коктебель, думая, что вы уже вернулись туда. Бабушке я написал немедленно по приезде в Рим большое письмо.

Макс Волошин
Рим. 17/3 Luglio 1900.[4]

Арнольд не поехал с нами потому, что он женится на Ольге Гольцевой. 12 июля его свадьба. Это открылось теперь.

[1] Открытка. Штемпели: Roma. 17.<7.>00; Феодосия. 10 VII 1900.

[2] В письме от 27 июня из «Еленкоя» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 36–37 об.) Е.О. сообщала о предложении В.О. Вяземского (инженера путей сообщения) взять Волошина «на изыскания в Ташкент» и передавала его слова: «И ему было бы хорошо, и заработал бы, и у меня был бы приятный компаньон».

[3] Имеется в виду п. 126.

[4] Неверно указана дата по старому стилю.

128. А.М. ПЕТРОВОЙ

7/20 июля 1900. Рим

Roma. 20 Luglio. 1900 г.

Рим...... Я увидел его в первый раз с Monte Pincio.[1] Под тенью старых каштанов и магнолий был зеленоватый полусумрак, а впереди в рамке зелени сочных кактусов и пальм под нестерпимо жгучими лучами итальянского солнца, голубым облачком клубился стройный купол св. Петра.[2] Был полдень. Магазины все заперты, и на улицах ни души. Но тогда я еще не почувствовал его.

Заказ № 5706

Я почувствовал его вечером, когда мы сидели у одной русской,[3] живущей постоянно в Риме, в старинной вилле, построенной в XVI в<еке> Джулио Романо.[4]

На темном небе стоял полный месяц, «сияя без лучей», а внизу, прямо под ногами лежал весь Рим, сверкая огоньками, как будто подернутыми лунной дымкой. Линия огней тянулась по Тибру, на Квиринале[5] сверкали огни. Одни кварталы уже замерли в темноте, другие еще светились редкими огоньками. Надо всем городом висело какое-то смутное бормотанье – далекий шум засыпающего великого города. На горизонте смутно мерещились Альбанские горы[6] и одинокая вершина Соракты[7] налево. Пахло цветами.... Внизу кричала лягушка... На звездном небе темные силуэты кипарисов...

Рим не захватывает сразу, как другие города, как Генуя, как Париж, которые сразу бьют в глаза всей своей оригинальностью. Рим слишком разбросан (хотя он, в сущности, не особенно велик), и он поражает сперва то отдельной развалиной, то видом, то церковью и только потом это все начинает соединяться в одну картину.

Ти-во-ли! Тиволи![8] Уже в самом звуке этого слова слышится что-то ликующее, пронизанное яркими лучами солнца. Маленький городок лепится на краях обрыва. На скале развалины храма Сивиллы,[9] а внизу в пропасти, полной зелени и черных скал, рвутся и разлетаются белой пылью великолепные каскады.

На склоне гор великолепная заброшенная вилла....

«Мне уж снился он когда-то,
Этот старый, темный сад,
Воздух, полный аромата.....»

Чем-то давно знакомым повеяло от этих старых мраморных лестниц, зацветших плесенью и исчервленных временем, от этих темных аллей, дорожки которых заросли мохом, фонтанов, обросших зеленью, струйки которых весело поют и переливаются на солнце, этих сырых полуобвалившихся гротов, в которых теперь сидят одни большие серые жабы. Все это было когда-то так знакомо по тем наивным прекрасным сказкам о старых замках и очаровательных принцессах, кото-

рые так легко гибнут от малейшего дуновения мысли и могут расцветать, как нежные тропические растения, только на благодатной почве детской фантазии.

В зеленовато-прозрачном полусумраке лавров старые мраморные боги; тритоны и речные божества в обру<ши>вшихся гротах, нимфы над фонтанами – вся старая мифология, воскрешенная XVII веком, но не холодно-рассудочная, а живая и оживотворенная среди этого разрушения. Из-за каменной балюстрады, на которой качается сухая трава, облитая солнцем, раскрывается бесконечная синева Кампаньи и маленький купол на горизонте – св. Петр. Стройный ствол темного кипариса.... крик цикад.... монотонное журчанье фонтана..... Бедные старые тени восемнадцатого века! Бедные очаровательные принцессы в шелковых платьях, с перетянутыми талиями, напудренными высокими прическами, на своих высоких каблучках! Ваши тени смутно мелькают теперь в темных аллеях. Они так же поблекли и завяли, как большие каменные лилии и царственные орлы герба дома д'Эсте, остовы которых печально сереют в заброшенном парке.

Ниже под горой другая вилла.[10] Бесконечные аллеи кипарисов..... Траурные деревья – символы смерти. Солнце жжет уцелевшие мозаики пола великолепного дворца. Полуразрушенные стены, уцелевшие своды, библиотеки, музеи, театр, термы, гипподром – все, что может создать тонкий вкус художника и власть повелителя всего мира. Теперь все заросло травой и синевато-пыльной зеленью олив. Другая эпоха – другие тени. Я видел двух людей, задумчиво бродивших рука об руку в тени кипарисов. Они в длинных широких одеждах, падавших мягкими складками с одного плеча. Один был человек среднего роста, с курчавыми волосами с проседью и коротко подстриженной бородой, немного вившейся на его полных, немного одутловатых щеках. В серых живых глазах его чувствовалась сила и быстрота. Странное впечатление производил его длинный, мощный нос и красивый чувственный рот под небольшими усами. В нем виделся умный практический человек, умеющий хорошо делать свое дело и

наслаждаться тонкой красотой мысли и искусства: эпикуреец в античном смысле этого слова. Движения его были быстры и энергичны.[11]

Его спутник был юноша атлетического телосложения и поразительной красоты. Он шел медленно и задумчиво. Дивная голова его была низко опущена на широкую могучую грудь. Из-под широких почти сросшихся бровей задумчиво глядели большие печальные глаза. В его красоте не было греческой нервности и тонкости линий. Какая-то сонная восточная греза, прекрасная и неопределенная, лежала на этом могучем теле и почти детском лице. Прекрасные тени императорского Рима! Вы жили на головокружительной высоте всемирного господства и умели воспользоваться всей красотой вашего положения. Прекрасный юноша Антиной, утонувший в Ниле, обоготворенный Адрианом после смерти, дивным изображением которого я любовался в Ватикане![12] Я видел эту задумчивую тень, идеальной красотой которой хотели обновить падавшее искусство, под траурными кипарисами, выросшими на развалинах виллы Адриана.

Да! Много есть прекрасного в этом мире, и по миру можно так дешево проехать. Тем не менее средства наши все-таки истощаются, и мы через 4 дня уезжаем из Рима. Так как денег у нас остается мало, то трудно сказать, что́ мы успеем увидеть в Неаполе и в Греции. В конце июля я буду уже в Константинополе. Но вернусь ли оттуда в Крым, неизвестно, потому что Саша зовет меня в Норвегию,[13] и я бы поехал из Константинополя прямо туда, если бы не намечалась другая перспектива – проехать в Ташкент.[14] Так что, куда я еще попаду, это одному Аллаху известно. Если не трудно, то напишите мне что-нибудь о себе в Афины – хоть открытку, а то ведь я уже сколько месяцев от вас никаких сведений не имею. Только напишите сейчас же, потому что иначе письмо не застанет меня, а то даже лучше в Константинополь (poste restante. Max Woloschin). Что теперь говорят у нас о Китае?[15]

В последних газетах есть телеграммы о том, что Россия и Германия установили строгую цензуру для телеграмм с театра войны. Наши дела в Китае по последним телеграммам обстоят очень плохо. Китайцы двинули из Манджурии 450 тысяч

войска на русскую границу и бомбардируют теперь Благовещенск. Манджурская ветвь жел<езной> дороги оставлена русскими и находится в руках китайцев. В России назначена экстерная мобилизация 200 000 войск. Я пишу все это потому, что верно эти известия в русские газеты не пропускаются, чтобы не тревожить публики. Какую поразительную перемену фронта всех газет приходится теперь видеть: все те, кто стоял за буров[16] и громил англичан, теперь громят с таким же остервенением китайцев. А уж ведь, должно быть, хорошо себя вели европейцы в Китае, если довели такой смирный, трусливый, земледельческий народ до подобного кровавого поголовного восстания.

А небось теперь никто не будет устраивать манифестации в пользу Китая, «сражающегося за свою независимость», никто не поедет добровольцем в их войска, никто пожертвований собирать не станет. Все это очень поучительно. Я же лично от всей души желаю полного успеха китайцам в деле национального освобождения и обновления. Да и Европе, а России особенно, было бы необыкновенно полезно получить хороший военный урок. Это бы дало такой могучий толчок духовному развитию, который, может быть, наконец вывел <бы> нас из нашей спячки и вознаградил сторицей все поражения, столь тяжелые для нашего «патриотизма».

А в зверских убийствах виноваты не китайцы, а сами же европейцы. Потому что, если бы они не так нагло эксплуатировали Китай ради своей торговли, убежденные в своей безнаказанности, и вместо того, чтобы спаивать китайцев опиумом, постарались занести к ним семена благородной европейской культуры, то им и не пришлось бы так дорого платиться за это. Только бы китайцы держались так же крепко, как буры, и это будет великолепный урок Европе. Право, жаль теперь и в Россию возвращаться – ведь верно теперь в русских газетах ничего кроме славословий «миролюбивому воинству» не пишут, а в телеграммах помещаются только одни известия об истреблении китайцев и фиктивных победах русских войск.

Ну, до свиданья. Кланяюсь Нине Александровне, Михаилу Митрофановичу[17] и всем вашим.

Макс.

[1] Монте Пинчио – холм в Риме.

[2] См. примеч. 5 к п. 125.

[3] Речь идет о Надежде Дмитриевне Хельбиг (см. примеч. 6 к п. 126).

[4] См. примеч. 9 к п. 126.

[5] Квиринал – холм к югу от Монте Пинчио.

[6] Альбанские горы (иначе Монти-Лациали) – в 20 км от Рима; высшая точка – 954 м над уровнем моря.

[7] См. примеч. 13 к п. 126.

[8] Тиволи (*лат.* Tibur) – город в Лацио, в Сабинских горах под Римом, известный с IV в. до н.э. как место летнего пребывания древнеримской аристократии. Живописные водопады на реке Аньо (Таверон). В XVI в. принадлежал дому д'Эсте, построившему здесь знаменитую виллу. Волошин и его спутники были там 6/19 июля. Ср. запись Волошина в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 80–82).

[9] Храм Сивиллы (или Весты) – II–I вв. до н.э.

[10] Речь идет о вилле Адриана (125–135), которая и в наши дни поражает грандиозными размерами и величием сохранившихся руин.

[11] Имеется в виду Публий Элий Адриан (76–138) – римский император (117–138) из династии Антонинов, страстный поклонник Эллады.

[12] Антиной (?–130) – греческий юноша, возлюбленный Адриана. Его изображения в виде греческого бога или героя ставились в храмы, украшали виллы. Имеется в виду скульптура в музее Ватикана.

[13] Письмо от А.М. Пешковского с приглашением совершить совместное путешествие в Норвегию Волошин получил в первый день пребывания в Риме 30 июня / 12 июля. См. примеч. 4 к п. 124.

[14] См. примеч. 2 к п. 127.

[15] Имеется в виду восстание ихэтуаней – крестьян и городской бедноты Северного Китая в 1899–1901 гг. При осаде посольского квартала в Пекине был убит германский посланник, после чего Германия, Австро-Венгрия, Великобритания, Франция, Россия, Япония и США организовали интервенцию в Китай.

[16] Буры (африканеры) – народность в Южной Африке, потомки голландских поселенцев XVII в., а также французских и немецких колонистов. В 1899 г. Англия развязала войну против бурских республик – Трансвааля и Оранжевого Свободного государства. Героическая борьба буров за свою независимость против превосходящих английских войск пользовалась всемирной поддержкой и большой

популярностью в России; добровольцы приезжали сражаться на стороне буров из многих стран Европы и Азии. К июню 1900 г. обе бурские республики были присоединены к Британской империи, но партизанская война буров продолжалась до мая 1902 г.

[17] Н.А. и М.М. Петровы.

129. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

10/23 июля 1900 г. Рим

23/10 июля 1900 г. Рим.

Дорогая мама! Пока мы еще в Риме, но дня через 3, вероятно, выедем в Неаполь. Вероятно – потому, что в Риме мы, т.е. князь должен был получить деньги, но деньги еще до сих пор не пришли, и мы их ждем со дня на день и посылаем телеграммы. Придется, если деньги не придут, оставаться в Риме, т<ак> к<ак> дальше ехать не на что, а по расчету выходит, что у нас, с моими деньгами в Бриндизи, остается как раз столько, чтобы, пробыв несколько дней в Греции, вернуться в Россию. Боюсь, чтобы и с моими деньгами в Бриндизи как-нибудь не вышла такая же задержка, т<ак> к<ак> каждым лишним днем, проведенным здесь, мы у себя отнимаем день в Греции, и в конце концов может случиться, что нам придется проехать мимо Афин, не заезжая в них, или прямо застрять где-нибудь.

От окрестностей Рима нам уже пришлось отказаться – мы были только в Тиволи и на вилле Адриана.[1] О восхождении на Везувий и поездке на Капри тоже нечего думать. Дня два мы пробудем в Неаполе, дня три употребим на Помпею, Сорренто, Амальфи, Равелло и Салерно и прямо в Бриндизи. Так что в Константинополе я, верно, буду уже 25 июля (ст. ст.). Пешковскому я написал, что в Норвегию не поеду; делать такой долг, хотя бы и бессрочный – это слишком неприятное обязательство. Одновременно с прошлым письмом, отправленным к вам, я писал и Валериану,[2] спрашивая его о Ташкенте, на основании Вашего письма. Туда бы я поехал на осень с большим удовольствием. Так что я во всяком случае приеду сперва в Крым и в последних числах июля буду у Вяземских.

Письма я буду спрашивать в Бриндизи, Афинах и Константинополе.

Я вам уже писал, кажется, что мы здесь познакомились с одной русской дамой, живущей постоянно в Риме. У Леонида (Кандаурова) была к ней рекомендация от Поленова (художн<ика>). Фамилия этой дамы Хельбих, она жена немецкого профессора-археолога, дочь кн. Шаховской[3] и поэтому, как оказалось вчера, прекрасно знает Павла Павловича.[4] Она же, оказалось, когда-то рисовала акварелью на тарелке тот портрет Пав<ла> Пав<ловича>, который так долго находился в моем обладании. Помните: с цветами мимозы и надписью «Noli me tangere» (не тронь меня)?[5] Мы были оба очень поражены этим открытием, и она просила передать Пав<лу> Пав<ловичу> свой поклон и сказать, что если он попадет в Рим, то прямо бы ехал к ним. Я же могу Пав<лу> Пав<ловичу> только посоветовать как можно скорее воспользоваться этим предложением: их вилла (я вам писал об ней) — одно из красивейших мест во всем Риме. Вид оттуда дивный. Она стоит совершенно одна в парке на самой вершине Яникула между S. Pietro in Montorio[6] и дубами Тасса,[7] растущими над старинным каменным амфитеатром, в котором Палестрина давал свои концерты. Сама дама и все ее семейство очень интересны. Прежде всего представьте себе все столпотворение языков, обычаев и национальностей в их доме. Муж — профессор-немец,[8] про которого она сама выражается довольно презрительно, говоря, что она совершенно не понимает таких ученых, которые способны проводить целые месяцы над изучением вопроса о том, стриг ли Перикл себе усы в определенное время своей жизни. Дочь ее полунемка, полуитальянка[9] — художница и замужем за итальянским художником, не говорящим ни на одном языке, кроме итальянского. У этой же дочери двухлетний сын, названный Валентином в честь московского отца Валентина,[10] обожаемого прабабушкой кн. Шаховской. Сын m-me Хельбих кончил Римский университет[11] и теперь плывет из Абиссинии, где он занимался химическими исследованиями над какими<-то> ядовитыми растениями, из которых до сих пор не решались добывать каучук благодаря

их ядовитости, что он опроверг, по Красному морю прямо в Москву, чтобы учиться рус<скому> языку. Я оставил для него Лёлин[12] адрес, чтобы он мог найти меня там.

Сама она очень словоохотлива, интересна и симпатична, но настолько толстой дамы я не только никогда не видал, но даже себе и представить не мог. Я у ней насчитал около 5 подбородков, дальше же не мог считать, так как они опускаются под платье и сливаются там со складками живота. Она уверяет, что она сама и есть «толстая дама из-за границы» в «Плодах просвещения», т<ак> к<ак> Толстой изобразил именно ее, после их бесед о спиритизме.[13] У ней своя амбулатория, в которой она по целым дням лечит итальянских ребятишек, но в медицину она не верит и к ученым вообще относится очень скептически. Про Момзена, который ежегодно гостит у них по несколько месяцев, она выражается: «О, да! это очень симпатичный и милый старичок, но и он в сущности ничего не знает: каждый раз все по-другому говорит». Она очень сочувствует буддизму, перейти в который ей не раз предлагали, но все-таки она христианство предпочитает. У ней есть попугай, которого она очень любит, и так как попугаи живут по 300 лет, она завещает его шведскому королю,[14] т<ак> к<ак> это, по ее мнению, самая крепкая династия в Европе и наверно 300 лет еще просуществует, а кроме того, она очень дружна с наследницей шведского престола.[15] У ней громадная собственная научная библиотека, частью на латинском языке, и она нам читала по-латыни средневековые предсказания о судьбе пап и толковала их, заметив, что, впрочем, подобные вещи она лучше всего толкует во сне, и раз она, таким образом, так удачно толковала своему мужу одно ученое и очень уважаемое немецкое сочиненье по эстетике, которого до сих пор еще никто не мог понять, что он пришел в полный восторг и сам потом, когда она проснулась, объяснял ей.

Что теперь говорится в русских газетах о войне с Китаем?[16] Здесь были телеграммы из Парижа, что в Германии и России установлена очень строгая цензура надо всеми телеграммами с театра военных действий, поэтому, вероятно, Вам теперь только и приходится читать, что о русских побе-

дах, между тем как положение восточных окраин более чем сериозно: из Манжурии к русской границе двинуто 450 тысяч китайских войск, китайские области Манжурии, занятые русскими и рус<ской> жел<езной> дорогой, оставлены русскими и находятся во власти китайцев. Благовещенск уже несколько дней бомбардируется китайцами. Русских войск для защиты 8-тысячеверстной границы ничтожное количество. Этим объясняются указы о вызове войск со всех частей Сибири, Ташкента и Семиреченска, экстерная мобилизация 200 000 в России и призыв запаса. Из мер, принятых на месте, замечателен только высокогуманный приказ – выжечь и вырезать все китайские деревни, находящиеся на русской территории. История бывает иногда очень саркастична. После того как Англия возмущалась делом Дрейфуса, выступила бурская война,[17] и понятие об справедливости в английской прессе моментально изменилось. Теперь пред европейским обществом, так сочувствовавшим угнетенным бурам, возникает судьба Китая, почти тождественная, и что-то мне не приходилось ни слышать, ни читать еще ни одного слова в пользу китайцев. А уж должно быть хорошо вели себя европейцы в Китае, если они довели мирных земледельческих китайцев до такого поголовного восстания. А приемы европейцев в Китае! – ведь они вполне тождественны с той ложью англичан, которою они настраивали народонаселение против буров. Разве эта фиктивная резня в Пекине и избиение послов и министров,[18] портреты которых с перерезанными горлами пестрили все это время страни<цы> газет и журналов, да еще отпечатанные кровавой краской, – разве это не то же самое? Интересно теперь, кто в европейской прессе вступится за китайцев, и те, которые шли волонтерами к бурам, борющимся за свою независимость, пойдут ли сражаться за китайцев, точно так же сражающихся за свою свободу и за свою национальную независимость?

Макс. Волошин.

[1] См. примеч. 8, 10 к п. 128.

[2] В.О. Вяземский. См. п. 127.

[3] Вероятно, Наталья Дмитриевна Шаховская (1795–1884), жена князя Дмитрия Федоровича Шаховского (?–1867).

[4] П.П. Теш.

[5] Фраза воскресшего Христа, обращенная к Магдалине: «Не прикасайся ко Мне» (Ин. XX, 17)

[6] Церковь Сан Пьетро ин Монторио на Яникульском холме; построена, согласно преданию, на месте, где был распят апостол Петр.

[7] Вечнозеленый черный дуб, под которым Торквато Тассо любил сидеть вечерами, любуясь Римом. Ср. запись В.П. Ишеева от 8/21 июля 1900 г. в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 85).

[8] Вольфганг Карл Хельбиг (1839–1915) – немецкий археолог; старший секретарь Прусского археологического института в Риме.

[9] Елизавета Хельбиг.

[10] Имеется в виду Валентин Николаевич Амфитеатров (1836–1908), протоиерей, настоятель московского Архангельского собора в Кремле; был связан с либеральными кругами; за свое красноречие прозывался «золотые уста»; отец писателя А.В. Амфитеатрова.

[11] Имеется в виду Дмитрий Вольфгангович Хельбиг (1873–1954, Рим), впоследствии итальянский генерал.

[12] Е.С. Лямина.

[13] То же сообщение зафиксировано в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 85). Этот персонаж имеет такую характеристику в перечне действующих лиц комедии «Плоды просвещения» (1890): «Толстая барыня, Марья Васильевна Толбухина, очень важная, богатая и добродушная дама, знакомая со всеми замечательными людьми, прежними и теперешними». Л.Н. Толстой сделал в дневнике запись о беседе с Хельбиг в Ясной Поляне 2 июля 1890 г. (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. М.: Гослитиздат, 1952. Т. 51. С. 203). Впервые Хельбиг была там в 1887 г.

[14] Шведский король – Оскар II (Фридрих, 1829–1907), король Швеции и Норвегии с 1872 г.

[15] Имеется в виду жена (с 1881 г.) наследника престола Густава-Адольфа (1858–1950) принцесса Виктория Баденская (1862–1930, Рим).

[16] См. примеч. 15 к п. 128.

[17] См. примеч. 16 к п. 128.

[18] Вступив 13–14 июня 1900 г. в Пекин, ихэтуани осадили посольский квартал; во время 56-дневной осады были убиты германский посол Кеттелер, секретарь японского посольства и др.

130. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14/27 июля 1900 г. Неаполь[1]

Второй день в Неаполе.[2] Деньги мы в Риме благополучно получили в тот же день, как я вам писал. Через 3 дня мы будем уже в Бриндизи. Страшно боюсь, чтобы с моими деньгами не случилось какого-нибудь недоразумения, т<ак> к<ак> мы останемся тогда совсем без сантима и мне даже некуда телеграфировать будет, потому что я номера своих бумаг не знаю. Неаполь красив поразительно. Но самое интересное здесь уличная жизнь,[3] которая изобилует многими своеобразными особенностями. Отсутствие костюма, например, совсем не считается здесь чем-то предосудительным, и улицы, набережные особенно, кишат голыми ребятишками. Окрестности поразительно красивы. Боюсь, что в Константинополе мы будем еще раньше 25 июля (ст.ст.). Тогда я прямо в Севастополь к Вяземским, и вы мне к этому времени и туда уж пишите. Верно, мне придется у них просить денег взаймы для моих спутников, которые не смогут иначе добраться до Москвы.

Макс. Волошин.
Неаполь 14/27 июля 1900.

[1] Открытка. Штемпели: Napoli. 27.7.00; Феодосия. 23 VII 1900.

[2] В Неаполь путники прибыли из Рима 13/26 июля. Посетив Национальный музей и городок Поццуоли, были затем в Помпеях, в Салерно и в Равелло.

[3] Свои неаполитанские впечатления Волошин занес в «Журнал путешествия» 13/26 июля (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 91–94).

131. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

15/28 июля 1900 г. Салерно[1]

Салерно 28/15 июля.

Сегодня масса впечатлений. Мы выехали утром из Неаполя и совершенно неожиданно (осмотрев Помпею) бросились на Везувий,[2] соблазнившись тем, что какой-то маль-

чишка взялся за лиру быть проводником. Но Везувий – это уже совершенно идеальное место для обирания ближних. Мальчишка привел нас к дороге, за прохождение по которой полагается 5 лир с человека. Мы сошлись на одной лире. Потом, при поднятии к самому кратеру, нам объявили, что туда подниматься, не уплатив по 4 лиры с персоны, никак нельзя. И тут нам удалось сторговаться за 2 лиры, несмотря на то что нам показывали официальную таксу. Но в конце концов мы были вознаграждены за все. Кратер шел вниз глубокой воронкой, края которой желтели от серы. Изредка оттуда вырывались громадные клубы дыма и слышался шум. Воздух был наполнен какими-то едкими, удушливыми газами. Вниз открывалась поразительная панорама на весь Неаполитанский залив: с одной стороны Сорренто и Капри, а с другой вулканические очертания Мизенского мыса и Искии.[3] Теперь поздно вечером мы только что приехали в Салерно.[4] Было темно, и мы видели только, как поезд проходил по скалам высоко над морем, а внизу светились огоньки в Салерно. Завтра мы в Амальфи, а послезавтра в 6 часов вечера будем в Бриндизи. И у нас рассчитано так, что у нас, верно, не останется больше ни копейки при приезде туда.

Макс. Волошин.

P.S. В Неаполе я получил Ваши два письма – открытое и закрытое.[5] Вообще же я получил, кажется, все ваши письма, только всё позже, потому что мы ехали скорее, чем предполагали. В Южной Италии приходится торговаться даже за железнодорожные билеты, т<ак> к<ак> и тут запрашивают.

[1] Открытка. Штемпели: Salerno. 29.7.00; Феодосия. 22 VII 1900.

[2] Действующий вулкан на юге Италии близ Неаполя (1277 м над уровнем моря). Самое сильное его извержение в 79 г. затопило грязью Геркуланум, лавой – Стабии и целиком засыпало пеплом Помпеи.

[3] Сорренто – порт на южном берегу Неаполитанского залива. Мыс Мизено ограничивает с запада Неаполитанский залив. Искья – остров к западу от Неаполя.

[4] Салсрно – главный город провинции Салсрно, в ссверной части Салсрнского залива, с собором XI в.

[5] Письмо Е.О. из Ссвастополя от 3 июля 1900 г. и сс открытка, отправлснная из Фсодосии 7 июля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, сд. хр. 647, л. 38–39 об., 28).

132. Я.А. ГЛОТОВУ

19–21 июля / 1–3 августа 1900 г. Близ острова Корфу – Коринф

Адриатическое море.
Итальянск<ий> пар<оход> «Romania».[1]
19 июля (ст.ст.).

Лежу на животе на палубе. Солнце немилосердно жарит спину. Часа 3 назад мы уже бросили якорь у берегов Корфу. Но на берег съехать мы не можем, т<ак> к<ак> проклятые лодочники просят за переезд по драхме, а денег мало, очень мало. Дай-то Бог только Афины увидеть. С одной стороны набережная города, с лодками и пароходами на рейде, крепость на скале, выходящей в море, несколько кипарисов – вот и всё – это Корфу. С другой желтый выжженный островок с несколькими кактусами, а дальше голубовато-розовые горы Эпира (это еще турецкие владени<я>), похожие на берега между Алуштой и Судаком с моря. Это письмо обгонит меня, верно, всего дня на четыре, а может, и совсем не обгонит. Я 25 июля уже наверное буду в Севастополе и отправлюсь немедленно к Вяземским, так что ты наведайся к ним около этого времени, чтобы узнать обо мне, а то напиши мне письмо на имя Елены Дмитриевны Вяземской. Я не могу вполне точно назначить времени прибытия, т<ак> к<ак> неизвестно, сколько времени мы пробудем в Афинах и Константинополе, что будет вполне зависеть от наших расходов и цены билетов, а также и от пароходных расписаний. Т<ак> к<ак> между Константинополем и Севастополем существует, кажется, сообщение только посредством «Русс<кого> Общ<ества>», то вероятнее всего, что мы приедем в Севастополь с первым пароходом после 25-го, если только нас как-нибудь благодаря чуме в Бейруте не задержат

в карантине.[2] Что я буду делать теперь в Крыму, еще не знаю. На следующий год у меня есть решительные намерения относительно тебя. Прежде все<го> мы с тобой должны за зиму заработать рублей по 200 и тогда мы отправимся на все лето странствовать по Средиземному морю – в Сев<ерную> Африку (Тунис и Алжир), Испанию и острова. Это очень дешево и удобно. Осмотрим, конечно, хорошенько Константинополь и Грецию, которых я не успею теперь порядком осмотреть. Это будет очень хорошо и не дорого. Из Рима мы прямо проехали в Неаполь, где пробыли два дня и были в Поццуоли, на Лукринском и на Авернском озерах и около Мизенского мыса. Затем мы проехали в Помпею и поднимались в тот же день на Везувий.[3] К сожалению, он в этот день был спокоен, и мы имели возможность смотреть внутрь кратера, оранжево-зеленого от налета серы. Из него по временам вырывались клубы дыма и едкие удушливые газы. Почва под ногами была горяча и повсюду вырывались струйки дыма. С вершины открывалась дивная панорама на Неаполитанский залив.

На другой день мы были в Салерно, откуда ходили в Равелло,[4] оригинальный полумавританский городок, забравшийся на вершину скалы над морем, куда приходится карабкаться по бесконечной лестнице, частью висящей на устоях, частью вырубленной в скале. Прибавь к этому скалистые голубые берега, бесконечно синее море, ярко-зеленые лимонные плантации, агавы, кактусы, маслины, пальмы.

Пока я писал, в пролив вошло шесть каких-то броненосцев и подняли невыносимую пушечную пальбу. Броненосцы, кажется, английские. В Бриндизи мы узнали об убийстве Гумберта,[5] присутствовали при ночной траурной демонстрации и вчера целый день ожидали нового короля, который должен был приехать в Бриндизи из Корфу, но вечером оказалось, что он проехал прямо в Реджио. Нельзя сказать, чтобы здесь это убийство произвело сильное впечатление – население приняло эту весть довольно равнодушно, и на демонстрации свои верноподданнические чувства выражали шумно только мальчишки, да и те больше, кажется, радовались воцарению Викт<ора-> Эммануила III, чем негодовали на смерть Гум-

берта. Совсем не знаю, что делается в Китае, т<ак> к<ак> с выезда из Рима не видал ни одной газеты. Сейчас опять рассчитывал время возвращения. Выходит, что будто раньше 27–28<-го> не приеду. Ничего не разберу.

Макс.

Посылаю это письмо из Коринфа, куда только что приехал. Это скверная, маленькая деревушка на берегу моря. Сейчас идем к развалинам Акро-Коринфа.[6] Завтра утром в Афины.

20 июля (ст.ст.) Коринф.

Если наврал твой адрес в Балаклаву, то виноват ты сам, так скверно и неразборчиво написано. Сейчас рассматривали расписание Рус<ского> Общ<ества>. Выходило, что или совсем не придется останавливаться в Константинополе, или ждать там целую неделю. Но расписание оказалось прошлогодним.

21 июля.* Вчера вечером ходили на развалины старого Коринфа, от которого осталось только 3 дорических колонны, и на крепость Акрокоринф, с которой огромный вид на Коринфский и Эпирский заливы до Афин и на часть Пелопонеса. Сегодня едем в Афины, а в воскресенье[7] выезжаем оттуда в Констант<инополь>.

[1] Волошин и его спутники сели на этот пароход вечером 18/31 июля в Бриндизи. Ср. запись Волошина на пароходе «Romania» в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 102–103).

[2] Путешественники прибыли в Севастополь на пароходе Русского общества 28 июля (Труды и дни. С. 78).

[3] Поездка в Поццуоли (городок к западу от Неаполя с античными реликвиями: амфитеатр Флавиев, несколько храмов, развалины древнего порта) и к озерам состоялась 14/27 июля, поездка в Помпеи – на следующий день. См. записи В. Ишеева и Волошина в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 94–98).

[4] Равелло – город в горах над морем (374 м над уровнем моря) недалеко от приморского городка Амальфи и в 24 км от Салерно; был основан норманнами в XI в. и пережил свой расцвет в XIII в.

* *В автографе описка*: ав<густа>

Ко времени путешествия Волошина пришел в запустение (около 1100 жителей). Примечательны архитектурные памятника Равелло в норманнско-мавританском стиле. Ср. запись Волошина в «Журнале путешествия» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 98–101).

[5] Король Италии (с 1878 г.) Гумберт (Умберто) I был убит 29 июля н.ст. 1900 г. анархистом Г. Бреши в Монце на народном празднестве. Его преемником стал последний король Италии Виктор-Эммануил III.

[6] Акрокоринф – цитадель древнего Коринфа (575 м над уровнем моря) на Истмийском перешейке с развалинами храма Аполлона (ок. 550 г. до н.э.).

[7] 23 июля / 5 августа.

133. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13 сентября 1900 г.[1]

Путешествие по Черному морю[2] прошло прекрасно при великолепной погоде. Ночевали в Батуме. Окрестности его великолепны. Такай богатой, могучей, почти тропической растительности я нигде не видал. Вот где бы действительно стоило иметь домик.[3] Нельзя себе просто представить этого поразительного разнообразия. Теперь мы подъезжаем к Баку. Я по настоянию Валериана,[4] который обещает оплату проезда, еду все время во втором классе. Вчера целый день после Сурамского перевала[5] мы любовались ледяной цепью Кавказских гор, и у меня явилось страстное желание поскорей отправиться туда. Сегодня в 6 часов вечера мы выйдем на пароходе из Баку и завтра уже будем в Красноводске.

Макс. Волошин.
Среда 13 сентября.

[1] Открытка. Штемпели: Баку. 13 IX 1900; Батум. 14 сент. 1900; Феодосия. 17 IX 1900.

[2] 2 сентября 1900 г. Волошин – ранее, 21 августа, арестованный жандармами в Судаке, этапированный в Москву, проведший неделю в Басманном полицейском доме и освобожденный из-под стражи 1 сентября без права «въезда в столицу» (Труды и дни. С. 79) – выехал

Заказ № 5706

из Москвы вместе с В.О. Вяземским, назначенным начальником партии по изысканию Южной части Оренбург-Ташкентской железной дороги, в Севастополь. 8 сентября состоялось их отплытие на Батум, куда они прибыли около 10 сентября.

[3] О намерении приобрести землю в Коктебеле и построить там собственный небольшой дом Е.О., по-видимому, сообщила сыну при их встрече в начале августа. Желание отделиться от П.П. Теша было вызвано осложнением отношений с ним, а также желанием Н.Г. Глазер жить вместе с дочерью (см. далее п. 150).

[4] В.О. Вяземский.

[5] Сурамский перевал (949 м над уровнем моря) в Сурамском хребте в Грузии, соединяющем Большой и Малый Кавказ и отделяющем Колхидскую низменность от Куринской впадины.

134. А.М. ПЕТРОВОЙ

17 сентября 1900 г. Ташкент

17 сентября 1900 г. Ташкент.

Третьего дня на станции в Асхабаде видел я Адриана.[1] Поезд, к сожалению, стоял всего 20 минут. Он произвел на меня очень благоприятное впечатление и стал положительным красавцем. Ну, разумеется, наш разговор состоял и<з> беспорядочных отрывистых вопросов и таких же ответов. Т<ак> что чего бы то ни было толкового сообщить совсем не могу. Мы условились встретиться зимою, когда я уже буду окончательно на жительстве в Ташкенте, а он переселится в Мерв. Ташкент, куда я прибыл сегодня, произвел на меня прекрасное впечатление. Весь город состоит из домиков, построенных в громадном парке, пронизанном сетью ручейков. Все здесь необычно ново и красиво, кроме удивительнейших типов «ташкентцев-обрусителей»[2] и варварского обращения с простонародьем и рабочими, которое поражает, как только подъезжаешь к Каспийскому морю. Едва ли скоро мне удастся вам написать, т<ак> к<ак> через несколько дней мы удаляемся в степь, где и оснуемся надолго. Кланяюсь.

Макс.

[1] А.М. Петров – брат Петровой, офицер. Сохранились два его письма к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 945).

[2] Ташкентцы – собирательный образ, описываемый в сатирическом цикле М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы. Картина нравов» (1869–1872).

135. Я.А. ГЛОТОВУ

18 сентября 1900 г. Ташкент

Шесть тысяч верст отделяют меня от Москвы: ведь это подумать только! Кажется, я еще никогда так далеко не забирался. «Ташкентцев» много приходилось видеть, знал я тоже, что «Ташкент есть понятие собирательное» (см. у Щедрина),[1] но что настоящий, конкретный Ташкент так хорош, красив и своеобразен, что ташкентцы не в переносном смысле, а в прямом и так красиво задрапированы в свои разноцветно-полосатые халаты и так картинно ездят на верблюдах по главным просекам (город весь стоит точно в лесу) города и что это первый русский город, где совершенно нету жандармов, – этого я не знал.

Из Севастополя я проехал пароходом до Батума. Батум совершенно ошеломил меня богатством растительности. Таких роскошных произрастаний я даже и в Италии не видал. Ж<елезная> д<орога> горами до Тифлиса показалась мне робкой и незначительной после альпийских, но зато видневшиеся «у врат Кавказа на часах сторожевые великаны»[2] манили меня неотразимо своими ледяными пиками. Просто поразительно, насколько очертания Кавказа не похожи на очертания Альп. Баку встретил нас воздухом, пропитанным керосином, и густым лесом темных обелисков черного городка, не лишенных своеобразной красоты. Первое, что поразило меня, это бесконечное избиение рабочих-татар со стороны всех, кто только может. То же дикое варварство поражало и <на> нефтяных промыслах, где мы были. Всюду какое-то бессмысленно нелепое хищение. Нефть льется по земле и собирается в лужи. Вся почва пропитана нефтью. Город пред-

ставляется человеком, кинувшимся на землю, чтобы забрать и захватить как можно больше себе, и драгоценная жидкость течет у него между пальцами и он сам захлебывается в ней, лежа в этой вонючей, жидкой грязи. На другой день около полудня вдали показался берег Красноводска:[3] голые холмы и мертвая пустыня, подступившая к самому Каспийскому морю. Вплоть до вечера из окна вагона виднелось море, а на другой день мы были уже в настоящих степях. Поезд остановился в виду невысоких, тонких глинобитных полуразрушенных стен, развеваемых ветром. Рядом небольшое здание музея. На станции громкое имя «Геок Тепе». И это стены «неприступной крепости»! Это взятие такой-то «твердыни» составляет «блестящую страницу русской истории»?[4] В музее рядом с русскими берданками в виде глубочайшей иронии выставлены наивные кремневые ружья защитников Геок-Тепе. Какую бессознательную пощечину русской славе составляет этот музей и эти развалины развеваемой ветром крепости. Что-то глубоко трагическое видится теперь в этих красивых, так гармонирующих с окружающей обстановкой фигурах туземцев. Они жили в этих степях и умели обращаться с ними... А проезжая по этим пустыням, невольно спрашиваешь себя: «и зачем это *нам* нужно?» На всем печать какой-то бесцельной жадности...

Вчера я приехал в Ташкент и дня через четыре еду за Туркестан на Сыр-Дарью, где два месяца буду жить в степи, где никого нет, кроме тигров. Теперь масса дела: покупаем верблюдов и юрты. Мой адрес: «Ташкент. Контора изысканий Оренбургско-Ташкентской ж<елезной> д<ороги>. Валериану Орестовичу Вяземскому для Макса». Да, можешь себе представить, что я ведь еду в качестве фельдшера[5] и буду исполнять должность механика – как раз подходящее занятие для юриста. Пиши скорее и больше, а от меня скоро не жди, потому что с Сыр-Дарьи не скоро напишешь, а в Ташкент я вернусь только в ноябре. Целую Лёлю. Покл<он> Ек<атерине> Влади<мировне>.[6]

Макс.

18 сент<ября>. Ташкент.

[1] «“Ташкентцы” – имя собирательное» – первая фраза очерка «Что такое “ташкентцы”?» из цикла «Господа ташкентцы» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. литература, 1970. Т. 10. С. 22).

[2] Цитата из части 1-й (III) поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (1839).

[3] Волошин и В.О. Вяземский отплыли из Баку вечером 13 сентября на пароходе «Князь Барятинский», днем 14 сентября прибыли в Красноводск (Труды и дни. С. 79–80).

[4] Геок-Тепе – железнодорожная станция в 45 км к северо-западу от Асхабада. Крепость текинцев Геок-Тепе была осаждена, подвергнута штурму и взята 12 января 1881 г. в ходе Второй Ахал-Текинской экспедиции под руководством генерала М.Д. Скобелева (1880–1881). Предпринятые ранее походы для взятия ее, возглавлявшиеся генералами Н.П. Ломакиным и И.Д. Лазаревым, окончились неудачей. См. также дневниковую запись Волошина от 15 сентября 1900 г. (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 136).

[5] «Фельдшером» Волошин назван в «Удостоверении», выданном ему в феврале 1901 г.

[6] Е.С. Лямина и Е.В. Глотова.

136. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

20 сентября 1900 г. Ташкент

Дорогая мама!

Уже третий день я нахожусь в Ташкенте.[1] Немедленно по приезде сюда я познакомился с редактором здешней газеты «Русский Туркестан»: Гейером, бывшим сосланным,[2] к которому меня направил один господин, с которым я познакомился в дороге.

Когда я ему объяснил мое положение, то он мне дал прежде всего совет в полицию не являться до тех пор, пока обо мне не будут получены какие-либо сведения, а сведения могут получиться только через его руки, так как он сам служит в Областном Управлении, а то могут мне устроить какую-нибудь неприятность, а так я могу жить сколько мне угодно без паспорта и без документов, особенно в степи. Если же я буду в

степи, когда они придут, то он сам устроит все без меня. Вообще тут край благодатный, хотя бы уж тем, что здесь абсолютно не существует жандармов. Город очень красив и оригинален, как я вам писал. В других городах обыкновенно хлопочут о том, чтобы для освежения воздуха устроить в разных частях «воздушные резервуары», т.е. насадить деревья и разбить парки, а здесь дума тщетно ходатайствует о разрешении *вырубить* половину деревьев на улицах для оздоровления города, т<ак> к<ак> деревьев так много, что они будто бы лишают город протока воздуха! Действительно на некоторых улицах на каждом тротуаре можно насчитать до *с е м и* рядов пирамидальных огромных тополей, между которыми проходят маленькие вымощенные кирпичом дорожки, как в парках, и везде по бесчисленным «арыкам» — канавам — текут бесконечные ручьи. Домов почти не видно за зеленью, и около каждого дома находится большой старый сад. И все эти огромные тополя, которыми засажены улицы, посажены всего 20 лет назад. За городом синеют горы — это отроги Тянь-Шаня, и в 100 верстах от Ташкента есть такие ущелья и глетчеры, на которых еще не бывала нога европейца. Немного же дальше верст за 300—400 на Памире уже есть вершины, достигающие 7 верст высоты (Мон-Блан 5 вер<ст>), причем крайний пункт русских владений на Памире находится всего в 80 верстах от Кашмирской долины, причем путешествие по горам в тех местах, если идти вдоль по границе и останавливаться на кордонах, очень удобно. Теперь мы ждем денег и вещей, а через несколько дней выезжаем в Туркестан,[3] где будем покупать верблюдов. Я еще не был в азиатском Ташкенте — он находится дальше с другой стороны, и мы туда собираемся вместе с Гейером завтра. Погода тут стоит прекрасная — это самое лучшее время года: зима тут очень короткая — в феврале уже все начинает зеленеть. Иногда она бывает сурова, но не всегда. Моя служба будет считаться с 15 августа и дорожные расходы будут мне выплачены. Я всю дорогу по настоянию Валериана ехал во втором классе, а по Каспийскому морю даже в первом, словом со всеми удобствами. У нас с ним прекрасные отношения,

и мне он все больше нравится.[4] Почту нам по распоряжению губернатора будут доставлять немедленно в степь все время, так что пишите мне почаще.

Макс. Волошин.
20 сентября 1900 г. Ташкент.

[1] Ташкент в 1900 г. – главный город Сырдарьинской области и Туркестанского генерал-губернаторства; состоял из «старого» азиатского города и «нового», русского, со 150 000 жителей. Завоеван русскими в 1865 г.

[2] Иван Иванович Гейер – редактор газеты «Русский Туркестан» (с 1900 г.), автор «Путеводителя по Туркестану» (Ташкент, 1901), книги «От Ташкента до Гавы» (Ташкент, <1895>). Участник революционной организации «Народная воля», в 1887 г. осужден петербургским военно-окружным судом на четыре года каторги, но, дав сведения для обвинительных актов «по делу 21-го», был не только оправдан, но и получил «за содействие властям» правительственное пособие в 300 р. (*Троицкий Н.А.* «Народная воля» перед царским судом (1880–1894). 2-е изд. Саратов, 1983. С. 132, 200, 396). В справочнике «Деятели революционного движения в России» (Т. 3, вып. 3. М., 1934) Гейер был включен в особый выпуск «Провокаторы 1880-х гг.» (в свет не вышел). О предательстве Гейера сообщают другие члены «Народной воли»; см.: *Головкин В.Н.* Из воспоминаний народника // Народовольцы. М., 1931. С. 213–232; Воспоминания члена Центрального кружка «Молодой Народной воли» Г.Н. Добрускиной (Из персонального музейного фонда проф. А.М. Ладыженского) // Известия Ростовского областного краеведческого музея. 1972. Кн. 2 (4). С. 34–40.

[3] Туркестан (Хазарет) – безуездный город Чимкентского уезда Сырдарьинской области, на тракте от Ташкента к Оренбургу; в 1900 г. – 11 590 жителей.

[4] В.О. Вяземский знал Волошина ребенком в Москве и, как старший, нередко подшучивал над ним. См.: *Вяземская Валентина.* Наше знакомство с Максом // Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 71. В 1894 г. окончил институт инженеров путей сообщения (перед этим какое-то время учился в университете). Участвовал в постройке Уссурийской и Сибирской железных дорог (под руководством отца). Яхтсмен, виолончелист-любитель; автор статьи «Эволюция во взглядах на науку и связанные с нею необходимые изменения в методах преподавания» (Пг., 1915).

137. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

28 сентября 1900 г. Ташкент

28 сентября 1900 г. Ташкент

Дорогая мама,

Ваше письмо с метрическим свидетельством я получил вчера.[1] Мы, как видите, еще до сих пор не выбрались из Ташкента в степь; но теперь уже можно твердо надеяться, что послезавтра мы выедем. Мои дела устроились прекрасно, или, другими словами, никак не устроились. Я вам уже писал, кажется, о Гейере – знатоке Туркестана, издателе газеты «Русский Туркестан»[2] и бывшем сосланном. К нему меня направил один господин, с которым я познакомился на пароходе. Да положим, что я и без того бы познакомился с ним, так как без него никто из собравшихся теперь в Ташкенте изыскателей и шагу не сумел бы сделать. Когда я рассказал ему о своем положении и спросил совета, он мне посоветовал никуда не являться и ни у кого ничего не спрашивать, пока не получатся обо мне какие-нибудь сведения. А сведения должны пройти через его руки, так как он служит в областном управлении. Пашпорта у меня тут никто не спрашивает, а когда мы приехали, то в «Туркестанских Ведомостях» было оповещено, что «приехали инженеры Вяземский и Волошин для производства изысканий и остановились в гостинице такой-то».[3] Таким образом, я оказался еще официально инженером и абсолютно вне всяких подозрений. Ну можно ли представить себе более милую страну. За 25 коп. тут можно приобрести колоссальный арбуз пуда в 1⅓ в 2, подобных которым по грандиозности мне никогда не случалось встречать. Виноградный куст тут приносит в среднем по 3 по 4 пуда винограду, а с десятины собирается по 10 000 пудов. За городом видны снеговые горы – отроги Гиндуку,[4] достигающие 4000 метров, т.е. высоты Тирольских Альп.

Относительно «полосатых дядей» вы напрасно беспокоитесь.[5] Хотя их на Сыр-Дарье действительно много, но они, оказывается, строго соблюдают известную градацию при удовлетворении своего аппетита: сперва они едят диких кабанов, которых очень много в колючих зарослях на берегах:

когда кабанов нет, они едят киргизский скот. При отсутствии скота — киргизок, затем киргизов и только в крайнем случае европейцев. Причем, по всем вероятиям, если у них уже так тонко развито чувство табели о рангах, они сперва станут есть рабочих, потом техников и только наконец инженеров Путей Сообщения, а так как меня в настоящее время здесь считают за инженера, то Вам беспокоиться совсем не о чем.

Я тут уже пристроился к газете Гейера «Русский Туркестан», которая начнет выходить с первого октября и откроется моим фельетоном в первом же номере,[6] так что если дела газеты пойдут хорошо, то у меня окажется еще и литературный заработок, т<ак> к<ак>, хотя я и хотел отказаться от гонорара, пока газета не приобретет солидное количество подписчиков, но Гейер на это не согласился. Как же вы сами решили провести зиму? Нам почта будет доставляться в степь, и поэтому адресуйте письма так: Ташкент. Начальнику III партии по изысканиям Ор<енбург>-Таш<кентской> ж<елезной> д<ороги> В.О. Вяземскому, а не в контору.

Макс. Волошин.

[1] О высылке метрического свидетельства Волошина Е.О. сообщала в письме от 15 сентября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 42–43 об.).

[2] «Русский Туркестан» — газета, выходившая в Ташкенте в 1898–1907 гг. (сначала три раза в неделю, с 1901 г. — ежедневно). В 1901 г. редактором ее стал И.Ф. Касперович, а Гейер — соиздателем (наряду с А.Л. Шварцем, Н.Н. Касьяновым и О.А. Шкапским).

[3] В № 76 «Туркестанских Ведомостей» от 21 сентября 1900 г., в разделе «Справочный указатель», сообщалось о прибытии «с 15-го по 19-е сентября» инженеров Вяземского, Хрепникова и Волошина («номера “Франция”») (С. 481).

[4] Гиндукуш — горная система в Афганистане, Пакистане и Индии (высотой до 7690 м); между нею и Ташкентом, однако, лежит горная система Памир (до 7495 м высотой).

[5] «Полосатые дяди и пятнистые тети», упомянутые в письме Е.О., — тигры. В Туркестане в конце XIX в. были крайне редки — в отличие от барсов и медведей (в горах).

[6] В № 1 «Русского Туркестана» от 1 октября 1900 г. был напечатан очерк Волошина «В Обер Аммергау (Из странствий)». См.: Т. 5 наст. изд. С. 288–299.

138. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

8 октября 1900 г. Под Туркестаном

8 октября.

Третьего дня мы выступили в степь из г<орода> Туркестана. Я пока назначен заведующим лагерем и вообще всем домашним хозяйством. Теперь мы сделали уже два перехода и находимся верстах в 25 от Туркестана. Кругом бесконечная ровная степь, а на горизонт синеет горная цепь Кара-Тау.[1]

Караван у нас очень большой – 21 верблюд и 3 телеги. Я наблюдаю за нагрузкой и за разбивкой лагеря, так что мне приходится целый день проводить верхом, если только лагерь не останавливается на два дня на месте. Бифштексы мои довольно сильно это чувствуют, особенно благодаря необыкновенно странному устройству здешних седел, которые скорее имеют сходство с колом, на который сажали преступников, чем с инструментом для спокойного сидения. Днем в степи еще очень жарко, но зато ночью бывают уже заморозки, т<ак> что на рассвете, когда мы встаем, мы очень усердно щелкаем зубами и кутаемся в шубы. Я себе тут купил верблюжью шубу за 4 рубля, очень теплую и мягкую, но несколько ароматную. Погода неизменно хорошая, небо постоянно ясное, а днем дует легкий ветерок, который утихает ночью.

Вероятно, наша партия скоро разделится, и мы с Валерианом[2] поедем вперед к Джулеку[3] и пойдем оставшимся навстречу. Тогда мне нужно будет приняться уже и за действительную изыскательную работу и сделаться пикетажистом. О полосатых дядях еще не слышно – они будут дальше. По целым дням в степи играет <?> фата-моргана. Теперь она довольно оживлена: всюду фигуры верблюдов и юрты киргизов, перекочевавших к зиме ближе к реке.

С Валерианом мы очень сошлись, и часто по целым часам мы с ним беседуем. Он очень спокоен и уравновешен и очень хорошо определяет людей и умеет с ними обращаться, что очень часто ему приходится проявлять теперь в разных столкновениях с инженерами его партии. Вообще он мне очень нравится, чем больше я его узнаю.

До свиданья. Пора ложиться спать, т<ак> как завтра еще до света мы выступаем дальше к развалинам покинутого степного города Саурана[4].

Пишите мне почаще. Не слыхали ли вы, где теперь Пешковский? Что делается у Петровых? Кланяюсь всем.

Макс. Волошин.

[1] Каратау – горный хребет, северо-западный отрог Тянь-Шаня, длиной 420 км, высотой до 2176 м над уровнем моря.

[2] В.О. Вяземский.

[3] Джулек – поселение на реке Сырдарья, так описанное в «Путеводителе по Туркестану» И. Гейера: «Это жалкое ныне поселение было некогда одним из наших опорных военных пунктов <...>. Сыр-Дарья, размывая правый берег, поглотила почти все постройки, и теперь здесь имеются: почтовая станция, управление участкового пристава, почтово-телеграфное отделение, русско-туземная школа, да несколько домов, где проживают ведущие с киргизами торговлю русские. Раз в неделю здесь бывает довольно оживленный базар» (Ташкент, 1901. С. 217).

[4] «Путеводитель по Туркестану» Гейера сообщает, что «развалины огромного древнего города Саурана» находятся недалеко от станции почтового тракта Таш Суат, третьей к северу от г. Туркестан, на правом берегу (Там же).

139. Л.В. КАНДАУРОВУ

8 октября 1900 г. Под Туркестаном

8 октября 1900 г.

Спешу Вам наскоро ответить, дорогой Леонид, потому что сейчас есть оказия послать письмо в Туркестан.[1] Я нахожусь в степи или, точнее сказать, в пустыне, идем параллельно течению Сыр-дарьи, но еще не подошли к ней. Относительно Семенцова[2] вот что: сейчас производятся изыскания дороги и все места возможные и невозможные, как, например, мое, т<ак> к<ак> я зачислен фельдшером, числюсь техником, а фактически заведую лагерем и караваном, так что под моим начальством состоит двадцать верблюдов, четыре палатки,

одна юрта и пятнадцать баранов. Изыскание закончится к апрелю будущего года, и тогда в случае, если постройка дороги будет решена окончательно, раскроется масса всевозможных мест и тогда мне Вяземский обещал непременно его устроить, так что по всей вероятности в апреле это окажется вполне возможно.

В степи мы пробудем до конца ноября, а после останемся в Ташкенте, тогда я может смогу устроить и какое-нибудь другое занятие для него до постройки дороги, но это далеко не наверно и сможет определиться только в ноябре. Я очень доволен всем происшедшим: сидение в одиночестве в Басманской части[3] после Константинопольских участков[4] и Сырдарьинские степи после Рима,[5] – это все очень ярко и хорошо и поучительно. Юрта мне напоминает купол Пантеона[6] в миниатюре по своему освещению, а длинные вереницы верблюдов на фоне синеющих гор Кара-тау[7] очень напоминают издали разорванные арки Римских водопроводов.

Картины в степи поразительные, особенно по вечерам. Особенно когда мы ехали с Валерианом (Вяземским) на лошадях из Ташкента. На границе бесконечной степи гигантской ледяной стеной вздымается Александровский хребет,[8] (один из отрогов Гинду-куша высотою с Тирольские Альпы). По вечерам вся степь пылала красным пламенем, а горы принимали сине-розовые оттенки. Летом мы собираемся прогуляться на Памир. Странно кажется, что в этих местах Альпы уже представляются горами средней высоты, т<ак> к<ак> только отроги Гинду-куша, подходящие к Ташкенту, не выше их, а на Памире самые удобные доступные проходы достигают высоты Монблана. Лошади там не переносят разряженного воздуха, и можно ездить только на яках. В ста верстах от Ташкента уже есть такие места, где еще нога европейская не бывала. Сам Ташкент удивительно хорош и оригинален. Это город, построенный в лесу. Домов совершенно не видно на улицах за зеленью. Всюду на улицах текут речки и городская дума тщетно изыскивает средства на вырубание деревьев на улицах «для свежего воздуха» и прорубание просеки.

Теперь целые дни провожу в степи или верхом или пешком, купаюсь в степных речках. Днями жара страшная, но ночью уже бывают морозы и в юрте холодно.

Пишите мне, пожалуйста, чаще, я буду очень благодарен. Напишите мне адрес Карлыча.[9] Князю[10] поклон. Немного мне пожалуй и жалко, что я не в Москве и Ваше положение филолога первого курса[11] не кажется мне уже настолько незавидным. Только, пожалуйста, не заключите из этого, что я недоволен своим теперешним положением. Напротив, я каждое утро по пяти минут прыгаю от радости (вечером не могу так, засыпаю от усталости). Отбыв здесь свой срок изгнания, который еще не определен, я моментально уеду в Париж года на четыре в école des chartes,[12] по всей вероятности. Жаль, что со мной нет нашего дневника, я бы его с удовольствием перечитал.[13] Пишу здесь в одной ташкентской газете[14] и хочу написать здесь ряд итальянских очерков, которые мне послужат потом материалом для стихотворений. Очень жаль, что мне не придется познакомиться с г. Поленовым, а мне бы страшно хотелось. M-me Helbig так и не написал, кажется потому, что забыл ее имя.[15] Напишите мне, приехал ли ее сын?[16] Ну, до свидания, пишите же пожалуйста, потому что Вы себе представить не можете, какое удовольствие доставляет всякое письмо из «Европы» — я только теперь начал сознавать, что Москва находится в Европе. Потом я Вам напишу толковее и более четко, а теперь страшно спешу, так как сейчас скачет джигит в Туркестан.

Поклон всем, Макс.

[1] Волошин отвечает на письмо Кандаурова из Москвы от 19 сентября 1900 г.: «Сейчас только встретил Якса и пишу Вам, Макс, в Ташкент, куда Вы наконец попали. Я страшно завидую Вашему положению и с удовольствием бы променял свое положение первокурсника филолога на Ваше» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617).

[2] Студент Алексей Васильевич Семенцов отбывал административную высылку в усадьбе Борок художника В.Д. Поленова. Кандауров писал Волошину о нем в том же письме: «Мне бы очень хотелось прислать к Вам своего друга детства, бывшего студента Семенцева,

он уже два года живет у Поленовых и теперь еще 2 года ему нельзя жить в универ<ситетских> городах. Он страшно любит природу и с большим удовольствием взялся бы за занятия, сопряженные со скитаниями по диким местам. Если есть какая-нибудь возможность его там устроить, напишите, пожалуйста, поскорее».

[3] Волошин находился в Москве под арестом в Басманном полицейском доме с 25 августа по 1 сентября 1900 г. (см. примеч. 2 к п. 133).

[4] Утром 24 июля / 6 августа 1900 г. Волошина и его спутников задержала в Константинополе турецкая полиция. После длительных проволочек их доставили в русское консульство и затем в русское Пантелеймоновское подворье. См. запись Кандаурова в «Журнале путешествия» за этот день (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 107–108).

[5] В Риме Волошин находился с 30 июня / 13 июля по 12/25 июля 1900 г.

[6] Пантеон – храм в Риме, посвященный всем богам, сооружен около 125 г.; ротонда, перекрытая огромным куполом (диаметр свыше 43 м) с отверстием в центре (диаметр около 9 м). Волошин посетил Пантеон 5/18 июля 1900 г. (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 78).

[7] См. примеч. 1 к п. 138.

[8] Александровский (ныне Киргизский) хребет находится между Каратау и озером Иссык-Куль.

[9] Ф.К. Арнольд.

[10] В.П. Ишеев.

[11] Кандауров поступил на филологический факультет Московского университета по инициативе и при материальной поддержке В.Д. Поленова. Весной 1901 г., однако, оставил университет.

[12] Школа хартий (уставов) в Париже; существовала при Сорбонне, готовила археологов и палеографов.

[13] Имеется в виду «Журнал путешествия» (см. примеч. 1 к п. 112). 19 сентября 1900 г. Кандауров сообщал Волошину: «Дневник наш доставил много материала для чтения по вечерам у Поленовых».

[14] Имеется в виду «Русский Туркестан» (см. примеч. 2, 6 к п. 137).

[15] Отклик на сообщения Кандаурова в цитированном письме: «Поленовы желали бы с Вами познакомиться. M-me Helbig была уже раньше нас в Москве, виделась с Мамонтовыми и рассказывала про нас. Из нас больше всех ей понравились Вы».

[16] В ответном письме от 5 ноября Кандауров, сообщая имя и отчество Н.Д. Хельбиг, а также ее римский адрес, добавлял: «Сына ее в России пока не было» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617).

140. Я.А. ГЛОТОВУ

8 октября 1900 г. Под Туркестаном[1]

Я в степи. На горизонте горы Каратау. Состою теперь начальником каравана. Теперь мы верст за 20 за г. Туркестаном.[2] Об тиграх еще не слышно, но говорят, что дальше их будет много. Целый день провожу верхом в степи, и если бы теперь изжарить мои бифштексы – они оказались бы очень мягкими. С первой же оказией напишу подробнее, а теперь некогда. Сейчас едет джигит в город.

Пиши мне скорее. Макс.

8 октября.

[1] Открытка. Штемпели: Туркестан. 9 X 1900; Москва. 20 X 1900.
[2] См. примеч. 1 к п. 138, примеч. 3 к п. 136.

141. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

10 октября 1900 г. Под Туркестаном[1]

10 октября. Вчера мы прошли мимо разрушенного города Саурана в степи. Мы с Валерианом ездили туда верхами. Вид с высокой крепостной стены на степь, синеющую вдали, а вблизи покрытую красноватой сухой травой, очень сильный и дающий много настроения. Теперь мы ежедневно переходим лагерем с места на место, и я целый день во время передвижений провожу верхом. Когда остановимся на день, тогда я напишу Вам побольше. Дня через 3 мы подойдем к Сыр-Дарье. Сейчас караван уже трогается, и я пишу сидя верхом. Джигит едет в город и отвезет это письмо.

До свиданья.

Макс.

[1] Открытка. Штемпели: Туркестан. 11 X 1900; Феодосия. 23 X 1900.

142. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

10 октября 1900 г. Под Туркестаном

10 октября. Сегодня утром перед выступлением лагеря я Вам отправил открытку, а только что получил от джигита Ваше письмо от 24 сентября, где Вы пишете о том, что хотите купить себе место в Коктебеле.[1] Мне сейчас пришла в голову одна мысль. И когда я сообщил о вашем намерении Валерьяну,[2] то он в одно слово со мной высказал то же.

Почему вам не купить землю в Батуме. Представьте себе место, где растут апельсины и чай, где нет лихорадок, где *абсолютно нет пыли*, где нет зимы, т<ак> к<ак> декабрь и январь там лучшие месяцы в году, как осень в Крыму. Такой ослепительно богатой растительности, как там, я никогда не видал. Валериан говорит, что только на Цейлоне в тропических зарослях он видел нечто подобное. Когда мы ехали на пароходе по Черному морю, мы познакомились с одним господином, по фамилии Снегиревым, бывшим политическим ссыльным, исколесившим в свое время всю Сибирь, начиная с полярных областей вплоть до Туркестана, а теперь помощником начальника государственных имуществ на Кавказе.[3] Он произвел на нас совершенно обаятельное впечатление. Лицо и голова его удивительно напоминают Маццини. Так вот, он нам много рассказывал про Батум, в окрестностях которого он себе только что купил землю. Там в 13 верстах от Батума к югу за речкой Чорохом[4] есть такие земли, пред которыми, по его словам, самая батумская растительность, так поразившая нас своей буйной силой, кажется чахлой и жидкой. До последнего года эта местность была совершенно недоступна, т<ак> к<ак> через Чорох совершенно не было перехода, но теперь там устроено 2 парома. Валериан очень желает купить там землю, и Снегирев (прекрасно знающий эти места уже по самой своей службе) обещал ему подыскать десятин 12 на берегу моря за 3—4 тысячи, т<ак> что это в теории уже почти решено. Теперь, когда я сказал Валериану, что я хочу Вам советовать купить землю в Батуме, он пришел в восторг от этой мысли и просил непременно уговорить Вас купить там землю. Может быть, даже у него часть, или так: уступить вам часть с тем, чтобы вы пос-

троили там домик из 2—3-х комнат, чтобы он мог туда тоже приезжать, или с тем чтобы вы заведовали там хозяйством — словом, как-нибудь там можно условиться и столковаться, если только вы выразите свое согласие. Причем он прибавляет, что деньги, истраченные на это, никак нельзя считать брошенными, т<ак> к<ак> с Батумом должна повториться история Сочи,[5] где 12 лет назад никто даром не хотел брать землю, а теперь десятина ценится до трех тысяч.* Право, мама. Покупайте там, а Коктебель бросьте. Представьте себе домик на берегу моря среди почти тропической растительности, кругом снеговые горы, благодаря которым здесь лето никогда не бывает особенно жаркое. Валерьян просит ответить как можно скорее, и тогда сейчас же начнется переписка со Снегиревым, на которую потребуется месяца четыре.

Макс.

Пусть пока это все будет между нами: это желание Валериана.

Валериан хотел сам написать Вам об этом, но сейчас выяснилось, что завтра мы опять снимаемся лагерем дальше, и он никак не успеет этого, сейчас отсылаю это письмо. Мы идем грандиозными шагами и в 5 дней сделали почти уже ⅓ всех изысканий.

[1] 24 сентября 1900 г. Е.О. писала Волошину: «...мне так захотелось иметь свой уголок с домиком, что я только об этом и думаю; тот кусочек земли, который я облюбовала, принадлежит, оказывается, болгарам; не знаю, удастся ли с ними сладить. Завтра буду говорить об этом с ихним старостой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 44).

[2] В.О. Вяземский.

[3] Федор Михайлович Снегирев – коллежский советник, с 1900 г. помощник управляющего государственных имуществ Кутаисской губернии. Среди участников политических процессов 1870—1880-х гг. не значится.

[4] Чорох – река в Аджарии и Турции (438 км длиной), впадает в Черное море близ Батуми.

* При нас на пароходе ехало туда несколько спекулянтов, которые туда устремляются теперь сотнями. *(Примеч. Волошина.)*

Заказ № 5706

[5] Сочи, или Даховский поселок, в 1900 г. имел 1309 жителей (из них коренных – только 91) и рекламировался как зарождающийся климатический курорт с морскими купаньями и сернистыми источниками поблизости (в Мацесте).

143. Я.А. ГЛОТОВУ

23 октября 1900 г. Джулек

Джулек. Берег Сыр-Дарьи. 23 октября 1900 года.

Яша! Ау!! Где ты? А я черт знает где, а именно в городе Джулеке на берегу Сыр-Дарьи. Город состоит из пяти домов, а наш домик почти на самом берегу. Перед домом летают фазаны, а зайцы выскакивают прямо из подворотни. Иногда бывает, что по главной улице города степенно проходят дикие кабаны, а не так давно по городскому парку гуляли тигры и делали глазки или, вернее, зубки проходящим киргизкам. Положим, тигр тут животное тонко образованное и основательно усвоившее себе понятие о табели о рангах, очевидно под влиянием идей обрусения. Обыкновенно он питается дикими кабанами, при отсутствии же их домашним скотом – верблюдами, если их нет, то киргизками, затем киргизами и только в крайнем случае европейцами, обязанности которых здесь исполняют русские; и не было ни одного прецедента, чтобы тигр скушал какое-нибудь должностное лицо; несмотря на то, что здешние тигры без особенного труда закидывают пойманного верблюда себе на спину и продолжают непринужденно галопировать по лесистым берегам Сыр-Дарьи. Положим, все это уже tempi passati,* так как здесь теперь уже тигров нет – они дальше на севере около Арала. А степь очень хороша. Я полюбил ее за это время. Она вовсе не похожа на крымские степи, ни на степи Новороссии.

Полмесяца провел я верхом на лошади все время в степи и на рассвете, и днем, и вечером, и ночью, и в палящий жар, и в холод, и в дождь. Степь можно действительно понимать только верхом, точно также как и верховая езда имеет дейс-

* прошедшие времена (*ит.*).

твительный свой смысл в степи. Они так же неразлучны, как готический собор с музыкой органа, и дополняют друг друга. Одно из самых сильных впечатлений это были развалины города Саурана – крепости, построенной китайцами, потом служившей киргизам, а теперь совершенно разрушенной, так что от нее остались только грандиозные остатки высоких глиняных стен из необожженного кирпича, которые вот уже три столетия разве<и>вает степной ветер. Я уехал вперед от каравана в сторону и взъехал с конем на самую вершину широкой стены. Внизу в широком четвероугольнике стен, на фундаментах разбитых домов, растет трава и видны груды синих изразцов – остатки облицовки мечетей. Впереди бесконечная красновато-бурая пустыня, чем дальше, все мутнее, все синее, и горы на горизонте. Все ровно – ни холмика, ни деревца, только фата моргана развертывает по горизонту свои раск<р>ашенные декорации. Но теперь их мало – вечереет. Тишь полная. Слышно, как стелется по земле степной ветер... слышно, как звенит сухой «джюсан»*... Слышно, как воздух свистит под крыльями пролетающей большой птицы... Под лучами заходящего солнца степь пылает красным пламенем. Все, что было днем серо, плоско и бесцветно, теперь ожило и оделось в самые яркие, ослепительные краски. От старых стен поползли густые сине-фиолетовые тени. Каждая незаметная травка, каждый крошечный кустик пустил из себя длинную отчетливую тень. Горы розовеют и синеют. Все становится ярче, ярче и начинает постепенно потухать. Степь одевается синевато-пепельным оттенком. На развалинах стены на расплавленной полосе огня, охватившей запад, отчетливо рисуется силуэт одинокого ворона.....

Да. Закаты – лучшее, что я видел в степи. Я и теперь каждый вечер хожу гулять по пустым колючим зарослям на берегу Сыр-Дарьи и смотреть закат. Ничего подобного по яркости и красоте цветов не видал я ни в Италии, ни в Греции. И особенно хороши они тут, отраженные в перламутровых водах степной красавицы Сыр-Дарьи.

Ну, а летом на Памир. Памир и Париж – это все, о чем я теперь мечтаю. Ведь только подумать о том редком счастье и

* Степная трава. *(Примеч. Волошина.)*

так близком и возможном для меня теперь, как побывать на «Крыше Мира», пред которой самые Альпы кажутся карликами, где самые доступные проходы находятся на высоте Монблана, есть еще в русских владениях вершины, достигающие 7 верст высоты (пик Кауфмана),[1] где лошади не выносят разреженной атмосферы, а ездят только на яках, где целые дороги проходят на грандиозной высоте по кольям, вбитым горизонтально в отвесную скалу, где перевалы приходится делать, взбираясь по ветвям арчи с одной площадки на другую. Сидючи в Ташкенте, я уже успел довольно подробно изучить карту Памира и наметить несколько маршрутов к Памирскому посту — крайнему пункту русских владений, всего на какую-нибудь сотню верст отстоящему от начала долины Кашмира. И в то же время постоянно и неотступно предо мной стоят мысли о Париже. Только теперь мои парижские впечатления начали формироваться и вставать со страшной яркостью в воображении. Я теперь так рад, что наконец кончилась моя скучная канитель с русскими университетами и юриспруденцией. Мне теперь кажется, что только теперь, т.е. не теперь, а когда я очучусь в Париже, начнется для меня настоящее истинное развитие учения, когда я буду предоставлен всецело своей воле и своему интересу, который мне послужит лучшим путеводителем в работе. Когда я по вечерам гуляю в степи, я часто с такой яркостью переношусь в Париж, что, выведенный из забытья неожиданным криком верблюда или фырканьем фазана, с шумом вылетевшего у меня из-под ног, останавливаюсь с недоумением и спрашиваю себя: как это я попал сюда? И как это, находясь в центре Азии, в том котле, где кипела всегда народная буря, выбрасывавшая свою пену до самых отдаленных стран Запада и затоплявшая своим внезапным разливом обширные низменности Восточной Европы, как это можно здесь так мечтать о Париже и с такой яркостью переноситься из этих омертвевших пустынь в кипящий котел Европейской мысли? Яша! копи деньги. Непременно копи. Мы с тобой поедем за границу, поедем в Париж, понимаешь ли ты? Если я здесь скоплю много денег, а это очень вероятно, то ты у меня возьми. Жаль, что тебе нельзя будет на Памир отправиться со мной — я рассчитываю, что это обойдется из Ташкента не

менее ста рублей, т<ак> к<ак> необходимо будет яка покупать, для перевозки юрты, теплых вещей и провизии, а без яка обойтись никак нельзя. Да и для личного передвижения он будет необходим, т<ак> к<ак> первое время с непривычки бывают невыносимые головные боли и страшна<я> одышка и кровотечение при каждом движении от разреженного воздуху. Что ты не пишешь ничего? мне так хочется знать что-нибудь о Москве, а я оттуда только одно письмо от Леонида Кандаурова получил.[2] Что в университете делается? Как наши аресты отозвались? Что делает Иван Христофорович[3] и каков он в своей семейной жизни? Видал ли ты наших новых семейных людей — Блюма и Арнольда? Что Мишель?[4] Что делается у Ляминых? Что делают и чем занимаются озерианцы?[5] Что нового в литературном мире? Ведь я совершенно ничего не знаю, что делается на свете, т<ак> к<ак> получаю здесь только газету «Русский Туркестан», как сотрудник, даром.

До сих пор я живу, не имея ни одного документа и не имея решительно ни одной неприятности. Когда мы с Валерианом приехали в Ташкент, здешний официоз «Туркестанские ведомости» известил, что приехали *«инженеры* Вяземский и Волошин»,[6] и меня никто не беспокоил. А когда я собирался явиться в полицию и посоветовался с редактором «Русского Туркестана» Гейером, в свое время приговоренным к повешению по лопатинскому делу,[7] а теперь расписывающимся на официальных бумагах за вице-губернатора, то он мне сказал: «Никто у вас пашпорта не спрашивает, вы никуда и не являйтесь. А когда получится об Вас известие из Охранки, то оно должно пройти через мои руки и я Вам все устрою». Я так и остался в качестве «инженера», и даже, представь себе, ездил с именным приказом от генерал-губернатора в местный арсенал получать оружие и боевые припасы для нашей партии. Меня даже для пикантности сняли на извозчике с 12-тью берданками в объятиях. Ну разве здесь не великолепная страна? Гейер между прочим немного знает Влад<имира> Алек<сандровича> Жебунёва по Харькову и просит передать ему поклон, что ты и сделай. «Русский Туркестан» — это только что возродившаяся газета,[8] известная по громкому делу об убийстве ее издателя Сморгунера, застреленного полковни-

ком Сташевским. Помнишь, Короленко писал об этом в статье о дуэли.[9] Гейер тоже тогда был ее редактором. Это удивительно симпатичный и энергичный человек, лучший знаток и исследователь края, почти один собственными руками устраивавший все переселенческое дело во всей Туркестанской области с самого начала колонизации. Поставлена ли уже новая пьеса Чехова?[10] Как она только выйдет, вышли мне, пожалуйста, ее немедленно, а деньги я тогда тебе после сейчас же за нее вышлю. А главное пиши, пиши. Потому что это черт знает что такое: до сих пор ни строчки!! Да ради Бога узнай, где теперь Пешковский? Не был ли он в Москве? Лёля,[11] может, знает его адрес — он ей ведь писал. Целую ее, Любу и Мишу. Поклон Екатер<ине> Владимир<овне>.[12]

Макс Волошин.

[1] Одна из высочайших вершин горной системы Памира (7134 м). Открыт в 1871 г. А.П. Федченко, назван в честь К.П. Кауфмана, туркестанского генерал-губернатора. Впоследствии неоднократно переименовывался: в 1928 г. — пик Ленина, в 1998 г. — пик Независимости, в 2006 г. — пик Абу Али ибн Сина.

[2] См. примеч. 1 к п. 139.

[3] И.Х. Озеров.

[4] М.П. Свободин.

[5] Подразумеваются студенты, группировавшиеся вокруг И.Х. Озерова.

[6] См. примеч. 3 к п. 137.

[7] См. примеч. 2 к п. 136. Под лопатинским делом подразумевается «процесс 21-го»; по нему Г.А. Лопатин (возглавивший в 1884 г. «Народную волю») в июне 1887 г. был приговорен С.-Петербургским военно-окружным судом к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости. Освобожден в 1905 г. См.: *Добрускина-Михайлова Г.Н.* Лопатинский процесс. (Процесс 21-го) // Народовольцы. М., 1931. С. 202—212.

[8] Газета «Русский Туркестан» издавалась с 25 сентября 1898 г., не выходила затем в течение года (с 4 сентября 1899 г. по 30 сентября 1900 г.).

[9] Редактор «Русского Туркестана» адвокат А.А. Сморгунер был застрелен из револьвера 4 сентября 1899 г. в канцелярии ташкентского окружного суда командиром 5-го Оренбургского казачьего полка полковником А.Д. Сташевским (пытавшимся таким образом выра-

зить свой протест против адвокатского выступления Сморгунера с разоблачением действий казачьего сотника Н.П. Колокольцова). Разбирательству по этому делу посвящены статьи В.Г. Короленко (за подписью: Вл. Кор.) «Два убийства» (Русское Богатство. 1899. № 7 (10). Отд. II. С. 172–176) и «Суд над убийцей Сморгунера» (Там же. № 8 (11). Отд. II. С. 153–156).

[10] Подразумевается драма «Три сестры», впервые опубликованная в «Русской Мысли» (1901. № 2). Ее премьера на сцене Московского Художественного театра состоялась 31 января 1901 г.

[11] Е.С. Лямина.

[12] Л.С. и М.С. Лямины, Е.В. Глотова.

144. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

25 октября 1900 г. Джулек

Г<ород> Джулек. На берегу Сыр-Дарьи. *25 октября.*

Дорогая мама!

Только что я получил Ваше письмо от 5 октября, вместе с планом домика и развитием проекта покупки земли в Коктебеле.[1]

Вероятно, в эту минуту, когда я пишу Вам, вы уже получили мое письмо – ответ на ваше предыдущее, в котором я пишу Вам о Батуме и о землях за Чорохом. Я почти уверен, что Вы соблазнитесь ими и перемените свое решение с Коктебелем на Батум; я сам с удовольствием употребил бы часть своих денег на ту же батумскую землю, но, видевши то, ни за что бы не хотел что-нибудь приобретать в Коктебеле. Валериан[2] тоже с нетерпением ждет Вашего ответа и просит вам сообщить, что его утвердительное решение о покупке земли зависит только от постройки дороги. Если постройка будет решена, то он сейчас же напишет Снегиреву и дело весною уже будет окончено. Ему самому очень улыбается ваше соседство во всех отношениях. Мне это улыбается еще больше, и я с удовольствием прибавлю от себя к вашим 1½ тысячам еще столько же (или, если надо, и больше) из своих денег, для того чтобы только купить клочок земли там. Батум своей природой и растительностью произвел на меня совершенно ослепительное впечатление. Вы представьте себе только эту тро-

пическую растительность в соединении со снежными горами и морем, которые дают постоянную прохладу; полное отсутствие лихорадок и полное отсутствие пыли, которое делает его в климатическом отношении местом совершенно исключительным.[3] И притом это место пока еще дикое, не опоганенное людьми, и притом только в 10 верстах от большого портового города,[4] почти на границе Малой Азии. Какие прогулки можно будет совершать там и близкие и дальние, и пешком и верхом и на велосипеде, потому что рядом же к северу расстилается большая равнина – дельта Риона.[5] Нет, Вы, пожалуйста, бросьте совсем мысль о Коктебеле и купите землю там.

Сейчас мы находимся в маленьком городке Джулеке – конечном пункте наших изысканий, состоящем из 5 домов,[6] из которых тот, в котором обитаем мы, стоит на самом берегу Сыр-Дарьи. Кругом городка бесконечные заросли саксаула и кустарника, в котором живет бесконечное количество фазанов и диких уток, так что, когда идешь, то они вылетают из-под ног в разные стороны, как кузнечики из травы жарким летом. Их так много, что они даже на двор залетают. Заячьи уши так и мелькают в густых зарослях, в которых всюду идут узкие дорожки, протоптанные дикими кабанами, которые иногда невозмутимо проходят по главной улице городка. Я теперь только понимаю старо-русское выражение «и всякой дичи тут была великая сила». Тигров теперь уже тут нет, они теперь водятся только к северу около Арала, но еще несколько лет назад их видели еще и здесь и они таскали верблюдов, хватая их за шею и перекидывая себе на спину – вы себе представьте только, каков должен быть зверь, чтоб верблюжую махину стащить. Тут еще уцелела соколиная охота, т.е., вернее, ястребиная. То и дело встречаешь в степи красивые фигуры киргизов с ястребом на руке. Мы с Валерьяном участвовали раз в такой охоте. Она производится верхом. Сперва тихо едут по густым зарослям, выслеживая фазана. Ястреб, вытянув голову вперед, зорко следит своими острыми желтыми глазами. Вдруг из-под ног вырывается с фырканьем огромный фазан с длинным хвостом. Ястреб несется за ним, а охотники за ястребом. Начинается сумасшедшая скачка по бурелому и канавам. С моим Козлом (лошадь) сотворилось что<-то> совершенно

необыкновенное. Он прыгал через арыки (водоснабдительные канавы), подскакивал всеми четырьмя лапами в воздух, несся сквозь сплошные чащи колючек, словом, совсем пришел в какое-то остервенение, так что удержать его не было никакой возможности, и при этом совершенно не спотыкался, что он очень любит делать на совершенно ровном месте. Ястреб убивает фазана одним ударом клюва в голову и, гордо выпрямившись, стоит на трупе убитого врага в торжественной позе победителя и с сознанием собственного достоинства поглядывает на окружающих. Ему показывают кусок сырого мяса, и он, взмахнув крыльями, плавно садится снова на руку хозяину.

Другой популярной забавой киргизов служит «драть козла». Это устраивается обыкновенно по какому-нибудь торжественному случаю, напр<имер> свадьбы. Около юрты хозяина, который выставляет козла – т.е. тушу с отсеченной головой и ногами, собирается толпа киргизов из соседних аулов, которые для этого приезжают из-за нескольких десятков верст. Один киргиз, схватив тушу козла, мчится верхом по степи, через арыки, овраги и кустарники, а вся остальная толпа с гиком догоняет его, чтобы отнять козла. Все смешивается в невообразимой каше: люди, лошади, пы<ль> столбом. Иногда двое, схватившись обеими руками за козла, мчатся не глядя куда, пустив лошадей по воле, и валятся вместе с ними в какой-нибудь степной каньон или речку вместе с лошадьми кувырком, но сейчас же опять вскакивают, а козла в это время хватают уже другие. Теперь все киргизы на зиму перекочевывают на зимовки к Сыр-Дарье, так что вся степь пестреет то здесь, то там круглыми точками юрт и постоянно где-нибудь на горизонте встает большой столб пыли – признак, что там дерут козла. Через дня 3 мы уже отправляемся обратно в Ташкент,[7] но по дороге должны еще сделать кое-какие работы по вариантам и задержаться еще на несколько дней в Туркестане. Я теперь исполнял и некоторые технические работы по изысканиям, напр<имер>: «вешил», «вел пикетаж»[8] и т.д. Марья Николаевна,[9] по соображениям Валериана, должна прибыть в Ташкент так уже к 20 ноябрю, следовательно, выехать из Севастополя около 12 ноября.

Что меня очень поражает и удивляет в здешнем краю — это местные чиновники и чины полиции, как разные уездные начальники, пристава и др<угие> официальные лица, с которыми нам теперь постоянно приходится сталкиваться. Это совершенно другой тип, чем русские, соответствующие чиновники. Они гораздо интеллигентнее, либеральнее и гораздо менее «чиновники», чем в России. По тому, что я видел в Баку и в Закаспийской области, я ожидал найти тут поголовное избиение туземцев и вообще весь тип покорителя, обрусителя, т.е. «ташкентца».[10] Но, к удивлению, здесь этого совсем не оказалось, и сколько я мог наблюдать и слышать, они умеют здесь применяться к довольно своеобразным обычаям и нравам киргизов, и некоторые не только не применяют ни кулачной, ни нагаечной расправы, но и энергично восстают против этого, так что в этом отношении являются много культурнее разных инженеров изыскателей, которых я видел в Ташкенте и которые уверяли, что «с этим народом нельзя иначе». А здешние степные администраторы даже с некоторой похвалой говорили о том, что если ударить киргиза, то он сам немедленно даст сдачи.

Самый Ташкент действительно прелестный городок, и в нем бесконечное количество воды. Это, собственно, не речки, а «арыки», т.е. оросительные канавы, которые отличаются от крымских речек тем, что в них всегда очень много воды, т<ак> что в Ташкенте по каждой стороне улицы оказывается по одной речке довольно широкой и глубокой, так что через них везде сделаны мостики, текущей между рядами деревьев. Недостаток Ташкента — это лихорадки, которых особенно много летом. По пространству он довольно-таки велик, особенно азиатская часть. Замечательно то, что когда к нему подъезжаешь, то до тех пор пока не выедешь на улицу, — города совершенно не видишь, а видишь впереди только один лес.

От бабушки я недавно получил письмо, в ответ на мое поздравление 17 сент<ября>,[11] отправленное из Ташкента, и сейчас же ей ответил. Лёле я действительно должен остался*

* Только мне почему-то кажется, что я должен всего за 5 дней, а не за две недели. Я уехал, кажется, 20 мая, а когда поселился, не помню. Но не было доплачено только за дни свыше месяца, по предложению Лёли.

и совершенно упустил это из виду за всеми происшествиями последних месяцев.[12] Так что Вы, пожалуйста, отдайте ей за меня, потому что я смогу послать, когда буду в Ташкенте, а тогда до получения пройдет месяца 1½. Валериан все хочет написать Вам сам о Батуме, но его так теребят все время, что он никак не может улучить минуту. До свиданья. Давайте лучше в Батуме землю покупать.

Макс. Волошин.

[1] 5 октября 1900 г. Е.О. писала Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 45—46 об.): «Я все еще мечтаю о домике, рисую планы, испачкала уж пропасть бумаги, — а с покупкой кусочка земли все ничего не выходит ни у Юнге, ни у болгар <...> У меня расчет такой: земля и домик должны обойтись не дороже 1500 р.; в домике 5 небольших комнат, по 5 р. в месяц, итого 25 р. в месяц, в три месяца 75 р.». Прилагавшийся к письму на отдельном листе план будущего дома не сохранился.

[2] В.О. Вяземский.

[3] Волошин склонен был идеализировать климат Батума; согласно «Энциклопедическому словарю» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (Т. 3. СПб., 1891. С. 186), там «вследствие обилия влаги, роскошной растительности в окрестностях города, болот и сильной жары летом господствуют тяжелые формы лихорадок»; «жизненные и санитарные условия крайне плохи», «при западном ветре мутные воды р. Чороха подходят к самому берегу» и т.д.

[4] Здесь речь идет уже не о Батуме (который и был портом), а о том месте за Чорохом, где Волошин мечтал приобрести землю.

[5] До устья реки Риони от Батума около 50 км.

[6] См. примеч. 3 к п. 138.

[7] В обратный путь из Джулска Волошин и Вяземский отправились 4 ноября.

[8] «Вешил» — то есть ставил вехи (знаковые шесты). Пикетаж — выбор точек на местности при нивелировании (см. п. 147).

[9] Мария Николаевна Вяземская (урожд. Изотова, 1876—1942) — жена В.О. Вяземского (с 1897 г.).

[10] См. примеч. 2 к п. 134.

[11] Поздравление — с днем рождения; Н.Г. Глазер родилась 15 сентября. Это письмо Волошина, так же как и ответное, не сохранилось.

[12] Здесь идет речь о Е.С. Ляминой: Волошин поселился у нее в Москве в Гранатном переулке, вернувшись из Европы, около 16 января 1900 г. и жил там до нового отъезда в Европу 26 мая.

145. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

3 ноября 1900 г. Джулек

Дорогая мама, сегодня конец нашего пребывания в Джулеке, которое продолжается уже более двух недель. Завтра мы с Валерьяном[1] выезжаем обратно по направлению к Туркестану, где будем, вероятно, недели через полторы, так как предстоит еще работа по дороге с вариантами изысканий.

Марья Николаевна[2] вчера уже приехала в Севастополь, о чем мы получили телеграмму, и скоро отправится уже сюда. Ее отъезд зависит только от окончания наших работ. Мне будет вручен билет для бесплатного проезда по Закаспийской ж<елезной> дороге, как «агенту по изысканиям», и я отправлюсь ее встречать в Баку, а если не успею, то в Красноводск, а Валериан, верно, выедет навстречу позже. Так как сейчас после окончания работ в степи у меня никакого определенного дела не будет, то я отправлюсь со своим бесплатным билетом путешествовать по Средней Азии: в Мерв, Бухару, Самарканд, а если билет будет иметь силу и в другую сторону Закаспийской дороги, то поеду в Маргелан и Андижан. Там пока еще везде прекрасная погода и тепло. Положим, у нас тоже не холодно, но все время пасмурно и изредка моросит дождик, что, положим, для этих краев и для этого времени большая редкость, т<ак> как дожди обыкновенно начинаются позже.

Если будет хорошая погода и времени достаточно, то, пожалуй, сделаю из Андижана маленькую экскурсию в Алайские горы, отделяющие Фергану от Памира. Если это удастся, то я куплю себе для путешествия лошадь. Тут киргизские лошади, очень маленькие, крепкие, выносливые и питающиеся одним бурьяном, стоят по 15–20 р., причем их всегда можно продать за ту же цену. Это будет гораздо выгоднее, чем идти пешком верст 200.

Сегодня почтовый день, и я жду от Вас сегодня ответа на мое первое письмо о Батуме.[3] При благоприятных обстоятельствах он должен прийти сегодня, и Валериан и я ждем его с понятным нетерпением. Положим, я почти и не сомневаюсь в Вашем утвердительном ответе. Если бы вы сами видели Батум и его окрестности во всей их красоте, то и раздумывать бы

не стали, и, по-моему, если где-нибудь стоит иметь уголок, то только в таком месте, как Батум. В Коктебеле у меня никогда не являлось желание иметь «свой домик», но тут оно явилось невольно. И подумайте, как благоприятно обстоятельства складываются. Последнее Ваше письмо, которое я получил, была открытка от 14 октября, сколько я мог разобрать по штемпелю.[4] Посмотрим, что принесет с собою сегодняшняя ташкентская почта.

Раздумывая о Париже и о том, как я туда поеду, я думал не раз о выборе наиболее интересного маршрута, и мне приходило в голову, не отправиться ли мне пешком через Памир и Гималаи в Индию и оттуда через Суэцкий канал. Это совсем не так далеко. Английская граница на Памире проходит всего в какой-нибудь сотне верст от русского памирского поста, а оттуда совсем близко до Кашмирской долины,[5] которая, кажется, соединена с Бомбеем железнодорожной сетью. Если это возможно сделать рублей на полтораста, то это будет очень соблазнительно. А на 150 р., мне кажется, это можно, т<ак> к<ак> пешеходное путешествие через Памир (насколько оно возможно, я узнаю будущим летом) будет стоить пустяки, а путь морской от Бомбея до Порт-Саида стоит в III-м классе рублей 80 на пассажирском пароходе, а на каком-нибудь купеческом судне, значит, рублей 40. А от Порт-Саида до Марселя можно добраться рублей за 20—30.

А из Охранки[6] полное молчание — ни документов, ни предписаний, ни приговора, ни запроса. Это меня очень интригует. Главное, полная неизвестность того, сколько времени придется находиться здесь в Средней Азии и насколько надо торопиться с осмотром ее. Скоро ли Вы собираетесь в Москву?

Пока я заканчиваю письмо. Если же от Вас получу сегодня что-нибудь с почтой, то еще припишу.

Отправляю это письмо без приписки. Т<ак> как нужно его отправить с той же ташкентской почтой, которая должна мне привезти ваше письмо. Ведь письма отсюда идут не через Ташкент, а через Оренбург.

Макс.

3 ноября 1900 года. Джулек.

[1] В.О. Вяземский.

[2] М.Н. Вяземская.

[3] Имеется в виду п. 142.

[4] Эта открытка, отправленная из Феодосии 14 октября и полученная в Ташкенте 22 октября 1900 г. (данные почтовых штемпелей), была переслана в Туркестан; в ней Е.О. сообщала: «Писем от тебя давно не получала, последнее было от 20 сентября» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 49).

[5] Кашмирская долина в Индии со всех сторон окружена высочайшими хребтами, отрогами Гималаев; доступ туда в 1900 г. был открыт только летом — и верхом. Главный город Сринагар.

[6] Охранное отделение (до 1903 г. — «Отделение по охранению общественной безопасности и порядка») — местные органы полицейского сыска царской России, подчиненные Департаменту полиции. В Москве Охранное отделение было создано в 1880 г., с 1896 по 1902 г. начальником его был жандармский полковник Сергей Васильевич Зубатов (1864—1917).

146. А.М. ПЕТРОВОЙ

3 ноября 1900 г. Джулек

Снова наступили лунные ночи. Бродя по вечерам на берегу Сыр-Дарьи, около которой стоит маленький домик, в котором я живу уже полмесяца, и глядя, как вспыхивали искорки месяца на холодной стальной поверхности реки, я думал все о том, где я видел полнолуние в течение этого года.

Когда я постарался припомнить себе ряд пейзажей, залитых светом полной луны, то разнообразие получилось изумительное. Месяц тому назад я бродил по пустынным улицам Ташкента между бесконечными аллеями тополей, облитых ярким лунным светом. Светло было как днем. Улицы казались очень широкими. Тихо журчали по краям улиц многоводные «арыки». А сквозь освещенные окна одноэтажных домов было видно, как обыватели играют в карты. И где только было освещенное окно, там непременно за ним виднелся зеленый стол. Это было в сентябре.

Во время полнолуния в августе я сидел в Москве в Басманной части.[1] Самой луны не было видно, но противоположная стена пожарной части, видимый край каланчи и кусочек

сада были ярко освещены. Видно было также сквозь железную решетку, как на мощеный двор падает черная резкая тень тюремного здания. Какой контраст с предшествующим полнолунием, когда я сидел на окне четвертого этажа Пантелеймоновского подворья в Константинополе[2] и внизу под моими ногами развертывался Золотой Рог,[3] а за ним, как в фантастическом сне «1001 ночи», вставали силуэты дворцов, мечетей и минаретов С<т>амбула, одетые лунной дымкой, легкие, почти прозрачные, нереальные. Ясно можно было отличить купол Софии,[4] мраморные минареты Ахмеде[5] с двумя легкими перехватами и тот плоский мысок, отделяющий Золотой Рог от Босфора, от которого отчаливает обыкновенно лодка, в которой находятся «мешки», сбрасываемые в Босфор. За мыском чуть белела башня Леандра.[6] Во всей картине, несмотря на ее красоту, было что-то страшное, зловещее.

Потом мне вспоминается вид Рима, освещенного луной, с виллы Ланте, находящейся на Яникуле, о котором я Вам тогда писал,[7] и Piazza di Senioria во Флоренции со своими мраморами и суровым Palazzo Vecchio.[8] Еще раньше — в мае — лунная ночь под ледниками у Гох-Иоха,[9] в маленьком доме, наполовину засыпанном снежными сугробами. Из окна виднели<сь> заиндевелые, запачканные, мерзлые морды трех ледников, спускающихся в широкую котловину. И снега, бесконечные снега, сиявшие при луне. За месяцы пребывания в Москве я не могу припомнить ни одной ночи, но в январе мне вспоминается ярко один уголок Берлина, куда я любил ходить по ночам. Это за Тиргартеном. По берегу Шпре к Шарлоттенбургу[10] идет узкая дорожка для пешеходов, закрытая густыми деревьями. Тут было всегда безлюдно и тихо. Под ногами дальних прохожих скрипел снег. Шпре текла холодная, блестящая, но не замерзшая. На противуположной стороне, залитые лунным светом, поднимались грандиозные здания каких-то складов. Издали доносился грохот поездов, свистки паровозов; мелькали красные огни поездов окружной дороги, перелетавших поминутно через Шпре по недалекому мосту. Но здесь было все-таки как-то сравнительно тихо и хорошо.

И после всего этого пустыни Средней Азии, берега Сыр-Дарьи, городок Джулек, в котором я уже сижу полмесяца. Поэт превратился в «техника»; юрист в начальника каравана

из 20 верблюдов; а «государственный преступник» в «инженера»,[11] которому местная администрация оказывает всякое содействие. В общем, я, конечно, всем очень доволен. Доволен и степью, и Сыр-Дарьей, и великолепными закатами над нею, подобных которым я не видал и в Италии; доволен развалинами старых городов, на которые я натыкался в пустыне, и снеговыми горами на горизонте, и предстоящим путешествием на Памир.

Недели через две я вернусь в Ташкент и поеду странствовать по Закаспийской дороге. Я получу бесплатный билет для разъездов и тогда, верно, загляну и в Асхабад к Адриану,[12] посмотрю и Бухару, и Мерв, и Самарканд, а может отправлюсь и в Ферганскую область. Спешу закончить письмо, чтобы сдать его на почту, которая сейчас будет. Все подробности обо мне вы, верно, знаете от мамы, поэтому не буду повторяться. А напишу подробнее из Ташкента, а пока буду ждать Вашего ответа по адресу: «Ташкент. Начальнику III-ей партии по изысканиям Оренбург-Ташкентской ж<елезной> д<ороги> Валериану Орестовичу Вяземскому для Макса».

Поклон Михаилу Митрофан<овичу> и Нине Алексан<дровне>,[13] и всем знакомым.

Макс.
3 ноября. Джулек.

[1] См. примеч. 2 к п. 133, примеч. 3 к п. 139.

[2] Пантелеймоновское подворье — русский странноприимный дом в Константинополе (ныне Стамбул), устроенный Афонским монастырем.

[3] Золотой Рог — залив у европейского берега Босфора, вдающийся в сушу на 12 км.

[4] София — Айя-София, храм святой Софии (532–537, архитекторы Анфимий из Тралл и Исидор из Милета).

[5] Ахмеде — мечеть Ахмеда I (1609–1617, зодчий Мехмет-ага).

[6] Леандр (*греч. миф.*) — юноша из Абидоса, влюбившийся в жрицу Афродиты Геро из города Сест на противоположном берегу пролива Геллеспонт (древнее название Дарданелльского пролива, разделяющего Мраморное и Эгейское моря). Каждую ночь Геро зажигала на башне в Сесте огонь, и Леандр плыл к возлюбленной по темному морю, глядя на пламя маяка. Однажды огонь погас, и Леандр утонул.

[7] См. п. 128.

[8] Пьяцца ди Синьория – главная площадь Флоренции. В ее ансамбль входит Палаццо делла Синьория (Палаццо Веккьо), построенное в основном в 1298–1314 гг. по планам Арнольфо ди Камбио, расширенное и достроенное в XV–XVI вв.

[9] Гох-Йох – перевал в Альпах.

[10] Шарлоттенбург – западная окраина Берлина за Тиргартеном (административный район с одноименным парком) по реке Шпрее. Основан в 1705 г. королем Фридрихом I в память его супруги.

[11] В «Справочном указателе» газеты «Туркестанские Ведомости» за 21 сентября 1900 г. Волошин был назван среди прибывших в город инженеров.

[12] А.В. Петров.

[13] М.М. и Н.А. Петровы.

147. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

12 ноября 1900 г.

12 ноября 1900.

Милая мама! Ваше письмо от 18 октября[1] застало меня в степи под Туркестаном. Мы с Валерианом[2] было уже обрадовались, думая, что в нем ответ относительно Батума, которого мы оба ждем с громадным нетерпением, и он едва ли даже не больше, чем я. Но оказывается, что вы и до сих пор еще его не получили. Ужасно долго идут письма. В настоящую минуту я сижу на почтовой станции между Туркестаном и Джулеком[3] и жду лошадей, а Валериан уехал вперед. Работы в поле наконец кончились, и мы возвращаемся в Ташкент. Да и давно пора. Теперь и холодно и дожди идут и снег даже. Нам надо было сделать на возвратном пути разные варианты, и мы торопились адски. Я не был уже начальником каравана, т<ак> к<ак> караван прямо из Джулека был отправлен в Туркестан, а исполнял обязанности техника – был «пикетажистом», т.е. разбивал намеченную линию на пикеты (пространство в 50 сажен) и делал глазомерную съемку. Утром вся степь бывала покрыта инеем, иногда за ночь выпадал сплошной белый покров, который исчезал к полудню, раз был и довольно сильный снежный буран, который нас застал в степи на работе,

Заказ № 5706

но тем не менее мы сделали 82 вер<сты> в 5 дней, т.е. по 16½ верст в день, тогда как средний успех изысканий обыкновенно считается 3½ вер<сты> в день.

Наконец 10 ноября мы вернулись в Туркестан. Даже как-то жалко было расстаться со светлой просторной красивой юртой, так напоминающей Римский Пантеон, и променять ее на маленькие тесные комнатки почтовых станций и заменить верховых лошадей почтовым экипажем. Положим, что наш экипаж, в котором мы едем теперь, очень удобен и покоен. В нем мы и спим по ночам, закрывшись шубами и кошмами, и почти и не чувствуем тряски. Но это специальный экипаж, высланный по особому распоряжению почтосодержателем из Ташкента для таких знатных путешественников, а обыкновенно тут приходится довольствоваться удивительными инквизиционными инструментами «трешпанками». Даже в созвучии тут есть что-то общее с треххвосткой. Мне пришлось проехать в трешпанке всего 30 верст, но я никогда в жизни не испытывал ничего более ужасного. Прежде всего это экипаж абсолютно неупругий, не обладающий даже миллионной долей рессорности. Каждый толчок он возводит в кубическую степень, причем даже неисправность дороги и быстрота езды особенной роли не играют. Даже когда лошади шагом идут, что тут делают очень многие почтовые лошади, то кажется, что трясет еще больше. При быстроте и ухабах все сливается в какое-то одно общее ошеломляющее целое, а тут каждый толчок приобретает свою индивидуальность и особенную энергию.

В верховой езде я сделал, кажется, значительные успехи. Мне случалось проезжать верхом до 50-ти верст без особенного утомления, а последние 30 верст, от конца нашей работы до Туркестана, я сделал на таком бешеном жеребце, на котором я бы раньше не только не усидел, но и не в состоянии был бы и сесть на него. Мне его предложил из любезности один киргиз, и как я только на него взгромоздился, он меня с первого же абцуга[4] понес в карьер, так что я только версты через 4 смог с ним справиться. И так всю дорогу он выплясывал подо мной самые необыкновенные штуки.

В Ташкенте, если не будет особенных задержек, мы будем 15-го. Странно как здесь меняются представления о расстояниях. Эти полтысячи верст, которые отделяют Джулек от Ташкента и которые надо делать на лошадях, кажутся такими маленькими. А ведь это представить себе только по сравнению с расстояниями в Западн<ой> Европе.

Из Ташкента я прямо выеду в Красноводск встречать Марью Николаевну,[5] т<ак> что, по всем вероятиям, буду Вам снова посылать только открытки вплоть до обратного возвращения в Ташкент.

Макс Волошин.

1 В письме от 18 октября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 47–48 об.) Е.О. сообщала о получении письма Волошина от 28 сентября, а также о том, что цена десятины земли у наследников Э.А. Юнге колеблется от 2000 р. («по береговой полосе») до 400 р.

2 В.О. Вяземский.

3 По-видимому, здесь описка; подразумевается: «между Туркестаном и Ташкентом» (ср. ниже сообщение о возвращении в Туркестан 10 ноября).

4 Abzug (*нем.*) – отъезд; здесь в смысле: с первого шага.

5 М.Н. Вяземская.

148. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

19 ноября 1900 г. Каспийское море.

Дор<ог>ая мама! Пишу Вам сидючи в кают-компании парохода «Каспий», идущего из Красноводска в Баку. Налево от меня идет отчаянная игра в карты с ругательствами и прихлопыванием ладонью по столу, которую ведут какие-то восточные люди, а направо без конца задают разные вопросы мои случайные спутники с самого Ташкента, один венгерец и один австриец, доктора зоологии,[1] возвращающиеся в Вену после научной экспедиции по центральной Азии. Сверх того немного качает и прямо за спиной до исступления работает паровая машина, так что письмо мое никак не сможет отличаться связностью и разборчивостью. 15 ноября вечером я приехал с Валерианом[2] в Ташкент и на другой же день выехал

в Баку, что<бы> там встретить Марью Николаевну.[3] Как раз перед отъездом мне передали целых четыре ваших письма, 2 из Феодосии, одно с дороги и последнее большое, заказное из Москвы, где вы пишете о бабушке и Охранном отделении.[4] Я мог их только пробежать перед отъездом и вот только сегодня на пароходе нашел возможность писать вам. Но отвечать сейчас на всё я совсем не в состоянии, так как хочется поговорить очень о многом по поводу этих писем, а это я сделаю, только когда наконец успокоюсь в Ташкенте. Ваше письмо в стиле библейских пророков своим заключением привело в восторг Валериана, и как-то удивительно совпало с темами наших с ним разговоров, которые мы с ним вели без конца в Джулеке, бродя по вечерам в густых зарослях по берегам Сыр-Дарьи. Итак, я свободен. Если успею, то я в Баку же напишу прошение в Охранное отделение о выдаче мне вида и вышлю с этим письмом Вам, т<ак> к<ак> иначе опять не выйдет никакого толку, как и с первым прошением. В Московский университет я все равно не вернусь, если бы даже мне и разрешили это сделать немедленно, а в апреле выеду в Париж. Думаю, это будет самое лучшее, т<ак> к<ак> к тому времени у меня денег будет достаточно, до летнего семестра останется еще месяца 1½, чтобы хорошенько напрактиковаться в языке, и сверх того я захвачу еще Салон и др<угие> выставки. Только вот жаль, что на Памир я так и не попаду.

Положим, для курьеза, пожалуй, и можно было бы подать прошение в Моск<овский> Ун<иверситет>, но специально для курьеза, чтобы иметь письменный документ того, что вам было сообщено устно. Теоретически Вы вполне правы в своем негодовании, но в применении ко мне, которому пока все вышепроисшедшее и происходящее доставляет неизъяснимое удовольствие, я не могу с ним согласиться иначе как теоретически. Узнайте, пожалуйста, адрес Пешковского. Когда же Лёля[5] собирается в Германию? Отчего мне Яша[6] ничего не пишет? Целую бабушку и дядю Гришу.[7] Я напишу бабушке из Ташкента. Завтра же я поеду, верно, из Баку обратно. Даже странно так близко от Москвы находиться: я уж четвертые сутки еду.

Макс.

P.S. Теперь сижу в Баку[8] на вокзале и вкладываю в это письмо прошение о виде. Пожалуйста, подайте его сами.[9]

[1] О ком идет речь, установить не удалось.

[2] В.О. Вяземский.

[3] М.Н. Вяземская.

[4] Открытка, датированная 24 октября, письмо от 26 октября, открытка от 29 октября 1900 г., отправленная из почтового вагона (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 50–54). Имеется в виду письмо Е.О. от 2 ноября 1900 г. (Там же, л. 55–60 об.), в котором сообщалось о ее визите в Охранное отделение. По словам «самого» (Зубатова?), Волошин «свободен, может приехать в Москву и поступать в университет» (но принят будет, скорее всего, лишь с осени 1901 г. «на 3-й курс»); «бумаги» Волошина (включая паспорт) будут ему высланы, по его требованию, в указанное им место.

[5] Е.С. Лямина.

[6] Я.А. Глотов.

[7] Г.О. Глазер.

[8] В Баку Волошин прибыл вечером того же дня (Труды и дни. С. 82).

[9] Подразумевается прошение о виде на жительство в Москве. 1 сентября 1900 г. Волошин был лишен права «въезда в столицу».

149. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

28 ноября 1900 г. Ташкент

Ташкент. Вторник. Какое число, не знаю (29?).[1]

Дорогая мама!

Сию минуту я только вернулся в Ташкент и сейчас же получил еще два ваших письма (второе и третье из Москвы).[2] Встретив Мар<ью> Николаевну в Баку (получили ли вы мое письмо, отправленное оттуда и писанное во время качки на Каспийском море?),[3] я проводил ее до Асхабада, где нас встретил Валериан,[4] а я сам остался там на три дня у Адриана Петрова,[5] затем останавливался еще в Самарканде и осматривал все тамошние древности,[6] которые вы, верно, видели на фотографиях у Михаила Митрофановича,[7] и вот только сегодня вернулся в Ташкент. Пока у меня еще нет собственного угла,

т<ак> к<ак> я буду ночевать у Валерьяна на неустроенной еще квартире, а пока сижу и пишу в его номере, между тем как он сам в соседнем номере у Ор<еста> Полиеновича[8] собирается играть арии на виолончели.

Как вы, верно, уже знаете из того прошения, которое я вложил в бакинское письмо, мой заграничный пашпорт был арестован вместе со мной и находится в Охранном отд<елении>.[9] Я думал, что вы это знали, а чего они вам этого не сказали, право, не понимаю. Мысль о возможности обратного поступления в русский университет мне даже и в голову не приходила до вашего письма.[10] Неужели еще мало опыту? И неужели же вы думаете, что после этих двух историй, хотя бы мне и выдали в награду за доставленное мне удовольствие... то бишь за безвинные страдания, свидетельство о благонадежности («О пастор! пастор! За счастье счастья ждать? Награды за награду?»),[11] меня все-таки допустят до окончания университета. Ну, даже если я и кончу, то какой смысл из всего этого? Я выдержал государственный экзамен, потерял на это еще два года и что же? Я сейчас же уезжаю в Париж, но ни в каком случае не для того, чтобы заниматься и усовершенствоваться в юридических науках, а только для того, чтобы как можно скорее забыть их, как было с латинским и греческим языком после гимназии. Так что выйдет, что гимназию я проходил как нечто совершенно для меня ненужное, для того чтобы иметь право поступить в университет, а теперь, сознав ненужность для меня университета (т.е., разумеется, в тех рамках и пределах обязательного курса, какие представляются для меня обязательн<ыми> в России), я почему-то еще должен буду кончить это нечто для меня совершенно ненужное, чтобы наконец заслужить право заняться своим образованием, так, как я хочу, а не так, как хотят «творящие волю пославшего их»[12] составлять так учебные программы, которые подготовляли бы подданных, умеющих достойно творить волю пославшего их. Ведь я на государственную службу не пойду. А вдруг? Так тем лучше – у меня будет отрезан путь на все будущее время от того, что я в настоящее время считаю для себя подлость<ю>, а для других вредным образом действий. Нет, мама, теперь я хочу наконец работать над тем, что меня действительно влечет

и действительно интересует. Я ведь вам рассказывал об некоторых литературных темах, которыми я собираюсь заняться. Как только начнется постройка,[13] т.е. в конце марта, я через Москву двинусь в Париж. Если б мне вас тогда еще в Москве застать. Я рассчитываю, что у меня к тому времени скопится minimum рублей 250, что для меня будет вполне достаточно, на путешествие и на жизнь в Париже до июля. А 240 р. за перв<ое> полугодие 1900 г.[14] вы тогда оставите себе для поездки зимой в Париж. А в Москве мне надо будет быть, чтобы повидаться с бабушкой со всеми знакомыми, захватить вещи и потолковать с неко<тор>ым<и> редакциями. Дня через 3–4, как только оснуюсь на месте, я напишу бабушке. Относит<ельно> университ<ета> буду еще говорить с Валерианом, который будет, я уверен, всецело на моей стороне. Словом, скоро буду писать. Крепко целую бабушку и дядю Гришу.[15]

Макс.

P.S. Где теперь Ев<гения> Пав<ловна>[16] и как ее здоровье? Получили ли вы письмо со вложен<иями> от Валер<иана> заказное? Спасибо за все сведения об Арнольде и Блюме.[17] Пожалуйста, попросите Лёлю справиться у Леры[18] об моем альбоме (фотограф<ическом>), который прошлой весной остался у нее, – Лёля знает. А также адрес Пешковского.

Были ли обо мне известия в Ташкенте, не знаю, т<ак> к<ак> теперь только что приехал, а тогда почти что и не был. Землячеств<ами> и др. я нисколько не дорожу, но порывать с ними всякие сношения ради оконч<ания> унив<ерситета> считаю слишк<ом> позорным.

[1] Вторник – 28 ноября 1900 г.

[2] Два письма Е.О. из Москвы – от 8–9 и 12 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 61–66 об.).

[3] М.Н. Вяземская. Имеется в виду п. 148.

[4] В.О. Вяземский.

[5] Предполагаемое время пребывания Волошина в Асхабаде – 22–25 ноября.

[6] Предположительно Волошин был в Самарканде 26 и (или) 27 ноября.

[7] М.М. Петров.

[8] О.П. Вяземский. С 1901 г. он участвовал в строительстве южной части Оренбург-Ташкентской железной дороги и, по-видимому, приехал в Ташкент с Дальнего Востока (где в 1900 г. им было закончено строительство Уссурийской железной дороги).

[9] См. примеч. 6 к п. 145.

[10] Мысль о повторном поступлении в Московский университет была высказана Е.О. в письме от 8 ноября 1900 г., со ссылкой на В.В. Быховского, который советовал «кончить университетский курс и тогда только ехать за границу».

[11] Слова Генриха из драмы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (монолог в заключительной части 3-го действия).

[12] Ироническое переосмысление евангельских слов (Ин. IV, 34; VI, 38).

[13] Имеется в виду постройка железной дороги.

[14] Сумма процентов с капитала Волошина (по 40 р. в месяц).

[15] Г.О. Глазер.

[16] Е.П. Теш, младшая дочь П.П. Теша.

[17] 8–9 ноября 1900 г. Е.О. писала Волошину о встрече с Ф.К. Арнольдом: «Он очень похудел, изменился, его все жалеют, говорят, что он очень неудачно женился, что жена его слопала (мое выражение) и от прежнего Арнольда ничего не осталось. Жена его никуда не пускает одного, а у них перестают бывать прежние товарищи его, потому что не переносят ее. <...> Блюмы представляют из себя очень счастливую пару, в очень несчастных обстоятельствах: он живет при родителях, она должна была отказаться от места клас<сной> дамы в Москве, чтобы для поправки здоровья поехать в деревню на место гувернантки, а теперь по непредвиденным обстоятельствам лишилась и этого места».

[18] Е.С. Лямина, В.А. Воллк-Ланевская.

150. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

4 декабря 1900 г. Ташкент

4 декабря. 1900 г.

Дорогая мама, сегодня получил я Ваше письмо с известием о дяде Грише.[1] Ну что же, я могу только вполне согласиться с тем, что вы мне писали несколько писем назад: это должно быть громадное облегчение для бабушки, если толь-

ко благополучно пройдет все впечатление первого времени. Вы ничего не пишете, как она перенесла это. Ваши письма (последние) ужасно мрачны, и я ярко представляю себе всю обстановку, в которой вам пришлось прожить последние недели, как только могу представить, находясь за 6 тысяч верст в совершенно иной обстановке. Вы пишете, что бабушка хочет ехать в Коктебель? Это очень хорошо и, кажется, лучшее, что она может сделать. Но я все-таки не понимаю, почему вы предпочитаете Коктебель в этом случае Батуму.[2] В Батуме удобства сообщения гораздо лучше, чем в Коктебеле. Местность за Чорохом находится всего только в 13 верстах от Батума, затем сам Батум соединен с цивилизованными странами не только морем, но и ж<елезной> дорогой (линия Владивосток – Петровск – Баку – Тифлис – Батум). Как будет бабушка перебираться из Феодосии в Коктебель эти 22 версты? И ведь не будет же она жить зимой в Коктебеле во время снега, ураганов и холодов? Ей придется уезжать в Феодосию. Между тем как в Батуме круглый год великолепная погода и в декабре цветут розы. Местность там далеко не пустынная, а, напротив, заселяющаяся очень быстро. Там живет временами Снегирев, о котором я вам писал, туда будет наезжать Валериан,[3] там собирается купить землю некто Рудовский[4] – один из сослуживцев Валериана, очень симпатичный пожилой поляк, который хочет поселить там свою семью и мечтает об Батуме не меньше, чем Валериан. А кроме того, там и без того есть уже коекакие обитатели, судя по рассказам Снегирева. Конечно, если бы вам пришлось жить там одной, это было бы невозможно. Но ведь там будет теперь и бабушка. В случае если Лёля[5] уедет в Берлин, я уверен, Люба[6] с удовольствием поселится с вами – ведь мечтала же она вместе с нами об общей колонии два года назад. Ольга Михайловна[7] будет к вам приезжать. А когда все будут разъезжаться, вы будете ездить ко мне в Париж.

Для здоровья бабушки Батум окажется неоценимым после грязной, душной, пыльной Москвы, где и здоровые люди чувствуют себя больными. Если же на это понадобится больше немного денег (хотя едва ли), то возьмите из моих. И уже весной вы бы могли поехать туда, поселиться пока в самом Батуме, который представляет из себя довольно большой

город (больше Феодосии),[8] с широкими улицами, залитыми зеленью, миленькими одноэтажными домами, каштановыми аллеями, тенистым бульваром на самом берегу моря и великолепными снежными горами кругом, заросшими бесконечными дремучими лесами.

Я говорил с Валерианом о своей будущей судьбе, и он вполне одобряет мой план ехать в Париж. Он говорит, что понимает вашу мысль, почему вы мне советуете окончить университет в России, но в это же время согласен с моими доводами. Я сам понимаю, что кончить университет в Москве очень благоразумно, но это уж даже чересчур предусмотрительно: принципиально отказываться от государственной службы и в то же время оставлять себе лазейку на всякий случай какой-нибудь перемены в убеждениях. Положим, тут, конечно, не одна только государственная служба, но все равно меня не привлекает юридическая деятельность, а работать только для получения жалования или гонорара это значит работать плохо. Ну да во всяком случае, ведь вы сами говорите, что хотите, чтобы я сам за себя решил, так я и решаю ехать в Париж, и я думаю, что и вы сами согласитесь со мной. Что же касается до того, что Быховской берется меня убедить не участвовать в землячествах,[9] так тут собственно и убеждать нечего: мне и самому они надоели, да только в них ли дело? Не может ли явиться тысячи неожиданностей, при которых повторится то же самое. А беспорядки, которые должны быть через год по закону вероятности? Нет, довольно с меня Москов<ского> университета.

Вот уж второй день как я устроился на своей квартире. С Валерианом я не мог устроиться, потому что квартира у него слишком маленькая. Но зато я устроился прекрасно у его университетского товарища, а теперь учителя Ташкентской гимназии, Александра Васильевича Яхонтова. У меня средних размеров комната, очень чистая и очень светлая, с огромным письменным столом. Я живу на полном пансионе, даю уроки его маленькому восьмилетнему сыну и приплачиваю еще 10 рублей, причем на последнем мне еще пришлось самому настоять, т<ак> к<ак> он ни за что не хотел брать никаких денег.

Читали ли Вы в сентябрьской книжке «Вестника Европы» письмо Влад. Соловьева в редакцию «по поводу последних событий»?[10] Прочтите, оно очень кратко, но производит сильное впечатление.

Крепко целую бабушку и надеюсь увидеться с ней в начале апреля, когда поеду в Париж.

Макс.

Теперь мне можно писать так: Ташкент. Шахризябская улица, д<ом> Павлова. Александру Васильевичу Яхонтову для Макса.

P.S. Пашпорт[11] вышлите мне, пожалуйста, поскорей: ведь он мне всегда может понадобиться и, кроме того, заграничн<ый> пашпорт я буду здесь брать, чтобы не вышло в Москве недоразумений.

Получили ли вы мое письмо из Баку? и еще одно из Ташкента?[12]

[1] В письме от 24 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 67–69 об.) Е.О. сообщала о смерти Г.О. Глазера, последовавшей 17 ноября.

[2] Е.О. писала: «...как мне забираться в такую даль, из которой в период осенних и зимних бурь на море и выбраться-то нельзя будет», добавляя, что Н.Г. Глазер хочет жить с ней именно в Коктебеле, а так как «на горе» у П.П. Теша им всем (еще и с А.О. Глазером) жить «немыслимо», то ей «обязательно нужно строить» там свой домик.

[3] В.О. Вяземский.

[4] Иван Антонович Рудовский, инженер путей сообщения. Сохранилось его письмо к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1040).

[5] Е.С. Лямина.

[6] Л.С. Лямина.

[7] О.М. Струкова.

[8] В Батуме в конце XIX в. (1889 г.) было около 12 000 жителей и 847 построек. В Феодосии в то же время (1897 г.) было 27 238 жителей.

[9] 8 ноября 1900 г. Е.О. сообщала Волошину, что была сегодня у В.В. Быховского, который советовал ему окончить университетский курс в Москве и «удержаться от участия в разных землячествах, комитетах, съездах»; «тем более, – добавляла Е.О., – что ты к ним относишься уже без всякого интереса» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 64 об.).

[10] «По поводу последних событий (Письмо в редакцию)» В.С. Соловьева, датированное 1 июля 1900 г., появилось в № 9 «Вестника Европы» за 1900 г. (С. 302–306); в нем утверждалось, что столкновение европейцев с Китаем является переломным пунктом всемирной истории.

[11] Речь идет о русском паспорте Волошина, полученном Е.О. «из иностранного отдела» (Охранки?).

[12] Подразумеваются п. 148 и 149.

151. Н.Г. ГЛАЗЕР

4 декабря 1900 г. Ташкент

Дорогая бабушка!

Сегодня я получил от мамы письмо с известием о смерти дяди Гриши.[1] Она там также пишет, что вы собираетесь вместе с нею ехать на юг. Вот это замечательно хорошо. Только, бабушка, поезжайте в Батум, как я писал маме. Вы там так быстро оправитесь после московской духоты, вони, грязи, маленьких квартир, низких комнат. Подумайте только – там постоянная весна, в декабре цветут розы, растут апельсины и лимоны, цветет чай – словом, совсем рай земной. Я уверен, что вы там сразу почувствуете себя гораздо лучше.

И кроме того Батум далеко не глушь: туда можно проехать по железной дороге от Москвы до самого Батума.

Я нигде даже в Италии не видал ничего подобного по богатству растительности.

Климат так абсолютно здоровый, и это единственное место в России, где абсолютно нет пыли. Право, бабушка, уезжайте действительно поскорей из этой отвратительной Москвы, где у Вас столько тяжелых воспоминаний.

Я устроился теперь на квартире очень хорошо и очень дешево и думаю пробыть в Ташкенте до марта, а затем поеду учиться в Париж через Москву и надеюсь скоро с Вами увидеться.

Крепко целую Вас и желаю как можно скорее уехать на животворящий юг.

Макс.

[1] См. примеч. 1 к п. 150.

152. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

10 декабря 1900 г. Ташкент

Дорогая мама!

От Вас все нет писем. Последнее было от 25 ноября,[1] а 25–26 вы должны были бы получить мое письмо из Баку, отправленное 20 ноября. Потом я вам по приезде из Ташкента еще два письма отправил.[2] Т<ак> к<ак> ваш ответ на бакинское письмо уже должен бы был получиться, то я начинаю беспокоиться, не произошло ли чего-нибудь с бабушкой?

Я только что перечитывал все ваши письма, писанные из Москвы, и страшно ярко перенесся в ту обстановку с болезнями и смертью, в которой вы теперь. Как же вы думаете устроиться с бабушкой в Коктебеле? Как же вы доберетесь туда с дядей Сашей?[3] Но ведь вы останетесь еще в Москве до начала апреля и мы увидимся с вами? Хватит ли Вам на поездку в Париж тех 240 рублей, которые останутся от моих денег за 1-ое полугодие 1901 года, и когда вы думаете тогда приехать в Париж?

Живется мне у Яхонтовых очень хорошо. Дела обязательного пока у меня нет никакого, потому что другие партии еще до сих пор не кончили своей работы и не вернулись еще в Ташкент. Когда вернутся, тогда начнется составление отчета и мне, верно, дадут что-нибудь писать или считать. Пока я совсем завалился журналами и газетами и старыми и новыми и читаю по целым дням. Читали вы в «Вестнике Европы» в сентябре предсмертное письмо Вл. Соловьева о китайских делах и статью Трубецкого о нем в той же книжке?[4] Я не понимаю только, как мог Соловьев приветствовать эту варварскую речь Вильгельма.[5] Я имел терпение перечитать в «Рус<ских> Ведомостях» все телеграммы из Китая с мая месяца и все корреспонденции Иоллоса из Берлина[6] и возмущался до глубины души. Апофеоз Европейского варварства и Европейской глупости (а в частности, немецкой) – это поход, сооруженный Вальдерзее для осквернения гробниц Мингов и для доставления «душ предков» в Пекин,[7] чтобы заставить кит<айского> импер<атора>[8] приехать туда.

«Пленных не берите, пощады не давайте — *приготовьте путь культуре*». И это «предводителя гуннов» Соловьев приветствует как «Зигфрида». Я вполне понимаю, почему, и понимаю мысль и идею Соловьева, но не могу примириться с этим (т.е. стихотвореньем).[9] Мы как-то рассчитывали с Валерьяном,[10] сколько китайцев надо убить для «приготовления пути культуре» и для произведения на них надлежащего впечатления, т.е. именно такого, о котором заботится Вильгельм-Зигфрид, «чтоб в течение 1000 лет ни один китаец не посмел бы косо взглянуть на немца». В 50-х годах этого столетия во время восстания тайпингов было убито *20 миллионов* китайцев,[11] что на Китай особенного впечатления не произвело, что и не удивительно в стране, где настолько относятся к смерти с пренебрежением, что считают чуму за «благословенье Божие». Следовательно, надо убить минимум 100 миллионов, тогда это верно произведет впечатление. Но для это<го> в течение 3-х месяцев ежедневно придется убивать по 3 миллиона, т.е. такое число, которое равняется числу убитых за время всех наполеоновских войн. И это ежедневно по такому числу, а то финансы ни одной страны не выдержат. Но даже и современная культура не изобрела еще таких орудий, которыми ежедневно можно убивать по 3 миллиона.

Сегодня мне говорили, что ташкентская полиция ищет меня, чтобы передать мне... паспорт. Откуда сие? Неужели охранка расщедрилась? Завтра пойду узнавать, в чем дело.

Передайте Яше,[12] что письмо его я получил и отправлю ему ответ на днях. Были вы у Юнге?[13] Видели ли вы m-lle Багратион?[14] Что Ольга Михайловна и Миша?[15] Вы писали, что Пешковский убедил Лёлю[16] ехать в Германию, когда же она думает ехать? и куда именно? Почему лучше не во Францию? Я теперь после Вильгельмовых речей совсем Берлин возненавидел. Обратили ли вы внимание на речь Бебеля?[17]

Пора ложиться спать. Уже второй час ночи. Кланяюсь всем. Крепко целую бабушку. Я ей в прошлом письме к вам отдельно писал.

Макс.

Мой адрес теперь: Ташкент. Шахризябская ул. Александру Васильевичу Яхонтову для Макса.

[1] Имеется в виду письмо Е.О. от 24 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 67–69 об.).

[2] Подразумеваются п. 148–150.

[3] А.О. Глазер, брат Е.О., психически больной, с 1893 г. находился под опекой Н.Г. Глазер (с 5 марта 1909 г. – под опекой Е.О.).

[4] См. примеч. 10 к п. 150. Статья князя С.Н. Трубецкого «Смерть В.С. Соловьева» была напечатана в № 9 «Вестника Европы» за 1900 г. (С. 412–420); здесь же было помещено написанное незадолго до кончины стихотворение Соловьева «Дракон. Зигфриду» (С. 316).

[5] Речь Вильгельма II, которой он напутствовал 14 июля 1900 г. отправлявшиеся в Китай германские войска; «Русские Ведомости» дали пересказ ее из немецких газет в № 198 от 18 июля.

[6] Корреспонденции Г.Б. Иоллоса из Берлина печатались в газете «Русские Ведомости».

[7] Граф Альфред фон Вальдерзее, командующий союзными войсками, подавлявшими восстание ихэтуаней, прибыл в Пекин 29 сентября 1900 г. Минги (Мин) – китайская императорская династия в 1388–1644 гг. Пекин был занят войсками союзников, богдыхан и его двор находились в провинции, на территории, контролируемой восставшими. Попытки заставить его вернуться в столицу (что должно было повлиять на ход войны) предпринимались многократно; поднятие германского флага над гробницами Мингов (о чем «Русские Ведомости» сообщали 22 ноября 1900 г.) было одной из таких попыток.

[8] Император Куан-Сю (Гуансюй, 1872–1908) в начале 1898 г. предпринял попытку начать в стране «100 дней реформ», но был арестован вдовствующей императрицей Цыси (1835–1908). (Подавление реформ стало одной из причин восстания ихэтуаней).

[9] Имеется в виду стихотворение Вл. Соловьева «Дракон», включающее явное обращение к Вильгельму II: «Наследник меченосной рати! / Ты верен знамени креста, / Христов огонь в твоем булате / И речь грозящая свята». (Впрочем, Л. Слонимский в статье «Владимир Сергеевич Соловьев» (Вестник Европы. 1900. № 9. С. 421) указывал, что, будучи в редакции журнала 5 июля 1900 г., поэт посчитал это стихотворение «уже несвоевременным, ввиду некоторых изменившихся обстоятельств».)

[10] В.О. Вяземский.

[11] Восстание тайпинов – крестьянская война в Китае в 1850–1864 гг. против феодального гнета и маньчжурской династии Цин, приведшая к созданию повстанцами своего государства. За 15 лет войны погибло, действительно, до 20 миллионов человек, ряд провинций был опустошен, часть городов превращена в развалины.

[12] Я.А. Глотов.

[13] Е.Ф. Юнге.

[14] Елена Ивановна Багратион, москвичка.

[15] О.М. Струкова и М.П. Свободин.

[16] Е.С. Лямина.

[17] «Пламенная» речь Августа Бебеля, одного из основателей и руководителя германской социал-демократической партии, в защиту «боксеров» была пересказана в статье Г.Б. Иоллоса (под псевдонимом: I) «Из залы рейхстага», опубликованной в «Русских Ведомостях» 13 ноября 1900 г. (№ 316).

153. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

11 декабря 1900 г. Ташкент[1]

Только что успел я запечатать свое письмо, как получил ваше от 1 декабря (ответ на бакинское).[2] Я думаю ехать в марте в Париж, потому что в это время начнется постройка и Валерьян[3] уедет из Ташкента в Туркестан. Мне оставаться на постройку не стоит 1) потому что тогда надо уже на более долгий срок оставаться, 2) потому что мне не хочется терять здесь времени, а лучше скорее в Париже за дело приняться. Ехать же опять в Туркестан на короткое время не стоит. Вот почему я выбираю для отъезда конец марта. Я бы и раньше уехал, если бы было достаточно денег. К марту же, я думаю, у меня чистыми останется 250—300 р., что мне хватит, с поездкой и остановкой в Москве, так <до> августа-сентября в Париже. За Памир вам бояться нечего, потому что зимой он абсолютно неприступен, а мне слишком хочется в Париж, чтобы ждать здесь еще до лета или осени, когда мы думали отправиться с Валерианом, но это, я думаю, тогда вознаградит осенним путешествием на Пиренеи из Парижа, если денег хватит. Что это такое «перерождение стенок сердца», очень сериозная это вещь? Рубашка мне ваша как раз, и я за нее очень вам благодарен. Целую бабушку.

11 декабря утром. (Закрытое письмо написано 10<-го> веч<ером>, а не 11<-го>).[4]

Макс.

[1] Открытка. Штемпели: Ташкент. 11 XII 1900; Москва. 20 XII 1900.

[2] В письме от 1 декабря 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 70–71 об.) Е.О. высказывала сомнение в разумности приобретения земли в Батуме, не зная условий местности: «...есть ли поблизости деревня, селение, где можно иметь некоторую провизию, рабочих, прислугу, расстояние от города с почтой и т. д.»

[3] В.О. Вяземский. Подразумевается строительство железной дороги.

[4] Имеется в виду п. 152.

154. А.М. ПЕТРОВОЙ

11 декабря 1900 г. Ташкент

Ташкент. 11 декабря.

Дорогая Александра Михайловна!

Только сегодня я получил Ваше письмо[1] и каюсь, что так мало писал. А произошло это вот от чего. Вернувшись из степей (я там только в Джулеке, откуда я вам писал,[2] две недели пробыл, а то всё верхом да пешком изо дня в день передвигался), я сейчас же уехал в Баку, чтобы встретить жену Валерияна,[3] а на возвратном пути останавливался на 3 дня у Адриана в Асхабаде и в Самарканде.[4] Вернувшись же к началу декабря в Ташкент, я несколько дней искал квартиры и устраивался, а теперь захлебываюсь в книгах, газетах и журналах, по которым я страшно проголодался. Ведь я с мая месяца ничего не читал!!! Еще в Италии китайские события ошеломили меня, и я сквозь туман неизвестного языка и газетного вранья и травли чувствовал, что совершается какая-то всемирно-историческая подлость. В степи я не видал газет. Но наши разговоры с Валерианом – бесконечные разговоры, которые мы вели, гуляя по целым часам на берегах Сыр-Дарьи или совершая бесконечные переезды по степи верхом или в тряской телеге, всегда вертелись около Китая. Только в этой мертвой безлюдной пустыне, испещренной белыми костями верблюдов, где только редко-редко встретятся старые глиняные стены разрушенного укрепления или города, построен-

Заказ № 5706

ного китайцами в незапамятные времена, и в виду этих — замыкающих ее ледяных великанов, которые видели столько крови и варварства, и бесконечные орды — миллионы миллионов варваров, шедших в Европу, мысль невольно приобретала объективность, широту и бесстрастность. Я помню, как мы раз вечером возвращались с Валерианом верхами в лагерь и говорили о том, что теперь в истории человечества совершается перелом гораздо более великий, чем франц<узская> революция, что с этого года начинается какой-то новый период в истории человечества. И представьте, какое впечатление на меня произвело, когда я открыл в «Вестнике Европы» последнее письмо Влад<имира> Соловьева),[5] где он говорит это же самое теми же словами, которые употребляли мы в нашем разговоре.

«Да и теперь, когда все заметили, многие ли по первым ударам оценили весь объем и всю силу уже наступившей, уже разразившейся беды? После нескольких дней напряженного испуга, опять всё по-старому. Кто в самом деле уразумел, что старого больше нет и не помянется, что прежняя история взаправду кончилась, хотя и продолжается в силу косности какая-то игра марионеток на исторической сцене? Кто понял, что наступившая ныне историческая эпоха настолько же — нет, гораздо больше — удаляется от всех наших вчерашних исторических забот и вопросов, как время великой революции и наполеоновских войн было по существу интересов далеко от эпохи войн за испанское наследство».[6] Только выводы он делает отсюда другие: он чувствует полный крах *европейской* цивилизации и *европейского* христианства и принимает это за конец всемирной истории. Ведь это только те варвары, которые когда-то проходили по этим степям, из которых я вам пишу теперь, чтобы разрушить и добить эллинскую культуру, уже исковерканную и оплеванную римскими солдатами, снова возвращаются в Азию, оставшись такими же варварами, и идут разрушать другую культуру, гораздо более старую, чем наша, и может быть, и более совершенную. Мы ведь до сих пор так гордились своей культурой, что и подумать не могли, что может быть кто-нибудь равен нам, — всё это варвары.

А между тем, китайская культура единственная, в которой государственный строй не основан <на> рабстве, как у нас, в которой нет разделения на сословия и поэтому нет ни аристократии, ни презренного демоса, которая не нуждается для своей охраны в солдатах, без которых европейская существовать не может, и глубоко презирает войну и нас, европейцев, за то, что мы любим воевать и страшно суетимся. Кто же прав из нас? Кто ближе к идеалу – мы ли, которые ставим в основу своей культуры бесконечное увеличение потребностей, или они, которые стараются уменьшить их до самого неизбежного? А ведь здесь, в этой основе, все различие и вся будущая и прошедшая история.

Припомните другие предсмертные слова пророка (потому что он никогда не был философом, а всегда пророком – отсюда вся его великая и прекрасная нелогичность) Вл. Соловьева, записанные Трубецким:[7] «Профессора всемирной истории упраздняются: их предмет теряет свое жизненное отношение для настоящего... о войне алой и белой роз[8] больше говорить нельзя будет. Кончено все!.... И с каким нравственным багажом идут европейские народы на борьбу с Китаем! Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху троянской войны... Только тогда были молодые богатыри, а теперь старички идут».

И как он мог до такой степени быть ослепленным своей страстной любовью к этой культуре, чтобы приветствовать этого мерзавца (простите!) Вильгельма, который заявлял: «Пощады не давайте, пленных не берите – *приготовьте путь культуре*».[9] На заключение речи никто не обратил тогда внимания, а ведь в нем-то вся суть, сила и глубочайшая, разумеется бессознательно высказанная истина. «Как *христианин* и германский император нахожу, что это мало», заявил он же на предложение богдыхана принести умилостивительные жертвы богам, «как христиане» европейцы казнят китайцев, «как христианин» Вальдерзее приказыв<ает> осквернить гробницы Мингов[10] и «привезти в Пекин души предков»!!, чтобы т<аким> об<разом> приманить туда китайского императора. И скверно, и смешно. Сознательное оскорбление

религиозных святынь народа в политических целях. И потом самая мысль о похищении душ и т.д. уж настолько *немецкая*! И предтеча-Вальдерзее может говорить: «Аз есмь глас вопиющего: приготовьте путь культуре». И отвратительно и стыдно за человечество, читая газеты. И плюнуть и раздавить этих скверных злых ядовитых гадов хочется.*

3 часа спустя.

Совершенно не могу спокойно говорить о китайцах, так это все выворачивает меня. Даже вот ругаться начал, чего со мной не бывает обыкновенно, и мне было бы даже неловко отправлять это письмо в таком виде, если бы у Вас самих в письме не было такого количества «дьяволов», вполне дающих представление о вашем адском состоянии духа. Да «если б вам крылья»! Я об <этом> часто думаю. Вам их нужно; ох как нужно, хотя бы для того, чтобы слегка пролететься в Италию. Я чувствую в себе какой-то необыкновенный прилив сил и чувствую, что крылья мои всё растут и растут, мысль сбрасывает одна за другой ветхие загородки, и земля начинает казаться чересчур маленькой планеткой (в географическом отношении). А писать я почти ничего не пишу. Сидючи в Джулеке, кое-что из итальянского путешествия написал, но это все еще не успело сложиться и впечатлениям надо осесть. Пока же обдумал и верно на днях напишу маленькую поэмку на тему о китайских подвигах и победах (ядовитую),[12] да для здешней газеты[13] хочу прозой написать итальянские впечатления, чтобы потом на досуге отшлифовать их в стихи. Потом «Горную Сказку»[14] хочу сократить и из красок перенести в мрамор, т.е. тоже нарядить в стихи — выпуклее будет. Читали «Джиоконду» Д'Аннунцио?[15] Я ее захватил с собою в дорогу, когда ехал в Баку, и кувыркался на диване как дельфин от восторга. Хорошо, что в купе больше никого не было. А если вы меня теперь спросите о содержании

* Это все одна сторона цивилизации — теоретическая, идеальная, которая прячется в великих центрах Европы, но чем дальше от центров, тем сильнее эта накипь штыков и пушек, которые Европа высылает в виде авангарда. А рабство во франц<узских> колониях? (Разоблачение Клода Виньона).[11] (*Примеч. Волошина.*)

драмы, то я ничего не смогу рассказать, потому что все заслонено ослепительным светом той ремарки, в которой описывается Sirenetta, и потом картиной Египта и Нила в рассказе какого-то очень неинтересного господина. Это заслоняет все. А зато как ярко мне представлялись эти декорации: San Miniato и Viaredgio[16] около Пизы, которые я видел летом. Читаете ли вы «Воскресшие Боги» Мережковского? Опять для меня целый ряд жгучих наслаждений и воспоминаний об итальянских впечатлениях. См. ноябрь «Мира Божьего». Там об Рафаэле и Микель-Анджело.[17] Я так и подпрыгнул, когда прочел у него мои мысли и мои впечатления, которые я считал такою ересью, что боялся и высказывать. У Тэна в «Voyage en Italie»,[18] в этих двух желтеньких французских томиках, моих неизменных спутниках по пустыне, опять все *мои* мысли и *мои* настроения. Боже мой! в какой бешеный восторг пришел я, когда прочел, что Тэн ставит древнюю (помпейскую) живопись выше Возрождения. Ведь именно это я сам говорил и доказывал своим спутникам в Неаполитанском Музее.[19]

Ну, а теперь вот что: вы опять Адриана ругаете.[20] Не напрасно ли? Я был у него в Асхабаде 3 дня, что вы, верно, уже от него знаете, т<ак> к<ак> он обещал на другой же день по моем отъезде написать вам. Я, собственно, не знаю, за что вы его ругаете и в чем обвиняете, а потому опишу просто все свои впечатления и образ его жизни, как я узнал его за эти 3 дня. Я приехал в Асхабад вечером и, сунувшись в железнодорожный отдел, узнал, что Адриан уехал в Геок-Тепе[21] устраивать музей. Между прочим, меня очень обрадовало, когда он мне сообщил, что на него этот музей и эти развалины производят впечатление глуб<ок>ой иронии над «славной русской победой» (как и на меня в первый раз), что для него, как для *офицера*, очень смело и самостоятельно. Совершенно неожиданно я в тот же вечер попал совершенно случайно к Успенским, с которыми не только не был знаком раньше, но даже и фамилии не знал, а сохранилось какое-то смутное воспоминание о ваших нескольких словах. M-me Успенская[22] произвела на меня впечатление очень симпатичное и интеллигентное, только немного, пожалуй, мятущееся или (только

это слишком сильно) взбалмошное. На Адриана она имеет, кажется, хорошее влияние — заставляет его работать, читает обильные нотации, но, с другой стороны, и сама много отнимает у него времени, как мне кажется, разными поручениями: не своими, но общественными, благотворительными, концертами и т.д. (Конечно, все эти мои отзывы и впечатления строго между нами). Вечером приехал Адриан, и мы отправились к нему. Он живет на окраине очень скромно и без прислуги. С первого же вечера он меня совершенно извел своей любезностью: уложил меня на свою кровать, а сам устроил себе нечто варварское из стульев и т.д. На другой день с утра он меня опять направил к Успенским, а сам побежал работать. Дела у него в это время было масса: разные отчеты и т.д., так что нам даже сравнительно очень мало пришлось видеться и говорить, только по вечерам. Читает он очень мало, за отсутствием времени. Но зато до само<за>бвения каждую свободную минуту увлекается летательными снарядами, им самим изобретаемыми. В комнате у него отовсюду торчат разные палки, трепыхаются крылья, обтянутые папиросной бумагой, и всякие другие страсти. Самая главная его летательна<я> машина, которая, по его же словам, оказалась родной сестрой знаменитого «велосипеда»,[23] хранится где-то в другом месте. Книг по воздухоплаванию он, впрочем, не читает, а хочет своим умом дойти и глубоко верит, что принцип ему открыть удалось. Живет он очень скромно. Не пьет уже давно и притом абсолютно, даже вина и пива не пьет. Экономия ему все-таки, кажется, не очень удается. С одной стороны он, как сам сознается, много тратит на извозчиков, а с другой не может удержаться от того, чтобы «угостить». Когда мы вместе с ним ходили в ресторан обедать или ужинать (он всегда там обедает), то у нас каждый раз длиннейшие пререкания из-за этого происходили. У него есть известная широта по отношению к деньгам, и держать экономию ему очень трудно по самой натуре. Но ведь этого никак в упрек ставить нельзя. Как мне показалось, он часто хандрит. Самое худшее в его положении — это то, что он ничего не читает и нет таких импульсов, которые побуждали бы его к этому. Вообще же он про-

извел впечатление симпатичное, прямое, честное, и главное, что в нем хорошо и в крайних обстоятельствах всегда может служить для него опорой, это его способность к увлечениям, как с летательной машиной. В мае он решил ехать в Феодосию. По наружности теперь он стал совсем красавцем и, вероятно, должен иметь большой успех. Но эта сторона его жизни осталась для меня совсем закрытой. Подробно я его о жизни его не расспрашивал и то, что пишу, пишу из случайных разговоров и наблюдений.

Ну а теперь обо мне. Прежде всего, я оправдан.[24] «Ни в чем не виновен, но снисхождения не заслуживает». Т.е., другими словами, могу ехать, куда угодно, но в университет быть принятым в этом году не могу, а в будущем – может быть... Мама возмущена ужасно и разнесла там всех: и охранное отделение, и ректора. Письмо свое она заключает такой филиппикой, очень характерной и наглядно мне показавшей, как мы с ней, находясь на разных концах земли, все-таки совпадаем в своих настроениях: «Может, это не наказание, а почет особенный, как и арест, прогулка под конвоем жандармов от Судака до Москвы, тюрьма не шельмование, а опять-таки почет особенный, самый настоящий, исключительно для русского студента выдуманный, и студенты, мол, этому почету рады, гордятся им, восторгом сияют, если только не заблагорассудят от нечего делать повеситься? И в последнем случае никто не виноват – все творят только волю пославшего их.[25] А где этот пославший? что говорит? что думает? Не говорит ли и он опять, что творит только волю пославшего его? Таким образом мы добираемся до Бога, но Бога, нам совершенно неведомого, не имеющего сходства с предвечным, премудрым духом любви, милосердия, справедливости, мы как на камень натыкаемся на фальсифицированного Бога. К концу XIX столетия человечество дошло до возмутительной, ужасной по своим последствиям фальсификации Бога и, кощунствуя словами учения Его, творит мерзости, злодеяния, убийства, подлости с легким сердцем и большим достоинством. За человека страшно становится. Тьма... тьма... всяческая тьма. Прости, Господи, не ведают бо, что творят!»[26]

Вообще мамины письма очень мрачны, да и есть отчего. Ее старший брат (алкоголик), который жил у бабушки все время, умирал у нее на руках и наконец умер.[27] Бабушке самой тоже плохо. Вообще обстановка и жизнь мамы в Москве очень тяжелая. Ну, а я решил действовать так, как и думал, т.е. университетом Московским больше не прельщаться, а ехать прямо в Париж в Ecole des chartes.[28] Довольно здесь время терять, – мне кажется, что вот только теперь я наконец из гимназии в университет поступлю. Я думаю уехать отсюда в марте, остановиться на неделю в Москве, чтобы повидаться с мамой и навестить бабушку, которую я едва ли еще увижу, и ехать прямо в Париж года <на> 4–5, так что нам, верно, долго увидеться не придется, если только вы не соберетесь с деньгами и с духом и не приедете сами за границу. В каком университете Mario Lago?[29] Не удастся ли нам познакомиться? Я ведь из Парижа на каникулы постоянно буду уезжать в Италию или Испанию.

А что Пешковский? Писал он вам? Я от него уже 5 месяцев ни строчки не имею, т.е. с Рима, и первое известие получил только на днях от Якса.[30] Опять буду цитировать. Сегодня все мое письмо из цитат состоит:

«...У нас в номерах происходила следующая сцена. "Барыня, – говорил маме швейцар недоумевающим тоном, – там вас какой-то мужчина спрашивает". – "Какой мужчина?!" – "Маленький, черный, с сумкой и ящиком". – "С сумкой и ящиком?!... Чего ж ему надо?" – "Я спрашивал-с, он говорит – это, собственно, не ваше дело..." – "Ну, зовите его.... Ах!!! Александр Матвеевич! Вот не ожидали, как я рада (и т.д.). Вы откуда?" – "С вокзала... то есть, нет – из Петербурга... ах! то есть, нет... я, собственно говоря, из Норвегии". – "!!???... Из Норвегии!?? а что вы там делали?" – "Пешком ходил..." – "А с кем?" – "Да я, собственно говоря.... а-адин..." – "Один??! а где же ваши вещи?" – "Да вот – ранец и фотография". – "И больше ничего? Точно Макс!!" – "Ах да, кстати, а где же Макс?" – "Он (и т.д.)..." – "Правда! Что вы говорите???!!!"»

Ну вот вам яркая сцена появления Пешковского в Москве.

Относительно Леры[31] я никак не пойму: где она? Разве она не поехала осенью в Москву? Или как же?... Я ничего не понимаю. Одна просьба: если она еще в Феодосии, попросите ее выручить мой альбом, со всеми моими фотографическими карточками, который она у меня взяла прошлой весною и оставила у кого-то из своих знакомых в Москве. Попросите ее написать или им, или Яксу, чтобы он взял его. Если она уже уехала, то напишите ей, пожалуйста, или Евгению Альфонс<овну>[32] попросите. Я страшно боюсь, чтобы он не пропал: ведь там все фотографии и ваши в том числе. Пожалуйста, сделайте это. Стихов Mario Lago буду ждать с нетерпением и только пришлите мне, пожалуйста, кроме перевода и итальянский текст: ведь я все-таки чуточку тоже теперь понимаю по-итальянски.

Вы, верно, удивляетесь, что я ничего не пишу ни о Шах Зинде? ни о Регистане, ни о Ханым Биби,[33] которые я видел недавно — но вы видите, я так переполнен тем, что я теперь читаю, и тем, что мне пишут, что совсем не могу уделить время внешним впечатлениям, которых чересчур много было за этот год. Я страшно рад, что вам нравится «Горная Сказка», а вот когда я ее высеку из мрамора.... Почему я пока ничего не писал, вы понимаете — негде было: хотя бывали моменты, что охватывало такое желание писать и стихи так вертелись в голове, что я записывал и сидя на лошади в степи. Но это всё отрывки, которые надо спаять и скрепить. Кажется, на днях начну писать и руками, и ногами, чувствую приближение момента.

Пишите скорее. Кланяюсь Мих<аилу> Митр<офановичу>, Нине Алекс<андровне>, Жене, Лере, Вере, Асприц и cetera.[34]

Макс. Волошин.

Мой адрес: Ташкент. Шахризябская улица. Александру Васильевичу Яхонтову для Макса.

[1] Письмо от 10–22 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 42–47 об.).

[2] См. п. 146.

[3] В.О. Вяземский. См. п. 148, примеч. 3.

[4] См. п. 149, примеч. 5, 6.

[5] См. примеч. 10 к п. 150. Далее приводится цитата из этой публикации Вл. Соловьева.

[6] Война за испанское наследство (1701—1714) началась после смерти последнего испанского Габсбурга (1700) и возведения на испанский престол Филиппа Бурбона (внука Людовика XIV). Против франко-испанской коалиции выступила коалиция Великобритании, Голландии, Австрии, Пруссии.

[7] Цитируемые ниже (с неточностями) слова Вл. Соловьева приводятся в статье кн. С.Н. Трубецкого «Смерть В.С. Соловьева» (Вестник Европы. 1900. № 9. С. 414).

[8] Война Алой и Белой розы (1455—1485) — длительная борьба за английский престол между двумя боковыми ветвями королевской династии Плантагенетов — Ланкастерами (в гербе — алая роза) и Йорками (в гербе — белая роза).

[9] Имеется в виду речь Вильгельма II, произнесенная 14 июля 1900 г. (см. примеч. 5 к п. 152).

[10] См. примеч. 7 к п. 152.

[11] Книга К. Виньона «Les colonies françaises» вышла в свет в Париже в 1885 г.

[12] Этот замысел нашел отражение в стихотворении «...И бысть в Берлине велий глас...» (Ташкент, декабрь 1900). См.: Т. 2 наст. изд. С. 375.

[13] Имеется в виду газета «Русский Туркестан». Цикл путевых очерков Волошина «Листки из записной книжки» появился в номерах от 28 января, 9 и 16 февраля, 2 и 18 марта. См.: Т. 5 наст. изд. С. 321—352.

[14] См. примеч. 4 к п. 103.

[15] «Джиоконда» («Джоконда», 1899) — драма Габриеле Д'Аннунцио, действие которой происходит во Флоренции и на взморье близ Пизы.

[16] San Miniato и Viaregio — приморские городки в Тоскане, близ Пизы.

[17] Роман «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» — вторая часть трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист». В № 11 журнала «Мир Божий» за 1900 г. была помещена глава «Леонардо, Микель-Анджело и Рафаэль». Роман печатался в этом журнале на всем протяжении 1900 г.

[18] «Voyage en Italie» («Путешествие по Италии») — сочинение Ипполита Тэна, впервые опубликованное в 1866 г. (рус. пер. 1913—1916).

[19] Национальный музей в Неаполе, основанный в XVIII в.; в нем экспонируются археологические памятники из Помпей, Геркуланума и других городов Южной Италии. Волошин посетил музей 13/26 июля 1900 г. См. Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 91–94.

[20] В письме от 10–22 ноября Петрова предлагала Волошину при встрече «отчитать» ее брата А.М. Петрова – «болвана Адриашку».

[21] См. примеч. 4 к п. 135.

[22] Евгения Алексеевна Успенская – жительница Асхабада. Ее Петрова упоминает в письме к Волошину от 24 января 1908 г.

[23] Речь идет о велосипеде, сконструированном М.М. Петровым: машина была такой тяжести, что феодосийские остряки отнесли ее к «недвижимости».

[24] 27 октября 1900 г. управляющий Министерством внутренних дел постановил переписку о Волошине прекратить. 2 ноября Е.О. Кириенко-Волошина, посетив Охранное отделение в Москве, узнала, что дело ее сына «кончилось ничем» и он может подавать прошение о приеме его на 3-й курс.

[25] Выражение из Евангелия (Ин. IV, 34; VI, 38).

[26] Цитата (с небольшими неточностями) из письма Е.О. Кириенко-Волошиной от 2 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 60–60 об.).

[27] Имеется в виду Г.О. Глазер. См. примеч. 1 к п. 150.

[28] См. примеч. 13 к п. 139.

[29] Марио Лаго (1877–?) – студент Туринского университета, сын юриста из Генуи. Писал стихи и прозу. А.М. Петрова познакомилась с ним осенью 1900 г. в Феодосии и всячески пыталась свести с ним Волошина.

[30] Я.А. Глотов.

[31] В.А. Воллк-Ланевская.

[32] Е.А. Воллк-Ланевская.

[33] Художественные реликвии Самарканда: Шах Зинде (Шахи Зинда – «живой царь») – мемориальный архитектурный ансамбль у мнимой могилы Кусама ибн-Аббаса (1334–XV в.); Регистан – ансамбль городской площади (начал складываться в XII в.) с медресе, мечетью, караван-сараем и т.д.; Ханым Биби (Биби-Ханым, 1399–1404) – соборная мечеть Тимура, с обширным двором, обведенным арочно-купольными галереями.

[34] М.М. и Н.А. Петровы, Е.А. и В.А. Воллк-Ланевские, В.М. Нич, Н.Н. Асприц.

1901

155. Л.В. КАНДАУРОВУ

Начало января 1901 г. Ташкент

Увидя почерк мой, Вы верно удивитесь: я так давно Вам не писал...

В конце концов, я начал находить какое-то своеобразное удовольствие в мучениях совести и в том, что ежедневно, придя с занятий в конторе, я открывал Ваши письма,[1] раскладывал перед собой лист бумаги, брал в руки перо... и начинал читать какую-нибудь книжку. Как видите, я уже даже в конторе работаю, что не особенно интересно. Но прежде всего дело: о Семенцове[2] я несколько раз говорил с Валерианом Вяземским, и он мне каждый раз говорил: «Конечно, место ему можно будет дать, если постройка будет, то мест будет масса. Пусть он тебе напишет, что ему, собственно, хочется». От себя я могу высказать также соображения: прежде всего ему верно смогут дать место только на линии[3] – в степи, где он не будет видеть ничего кроме киргизов и верблюдов. Хочет ли он этого? Жалованье он будет получать верно не больше пятидесяти рублей. Я сам теперь получаю семьдесят пять, но предупрежден, что если останусь на постройку, то буду получать пятьдесят рублей.

Поэтому напишите мне минимум, за который он поехал бы, а я ему постараюсь выторговать максимум. Сам я думаю скоро уезжать отсюда, т.е. не раньше конца марта и не позже июня: все будет зависеть от того, сколько денег успею я скопить, т<ак> к<ак> я, заехавши в Крым на несколько недель, поеду прямо в Париж года на четыре, чтобы там поступить на Faculté des lettres или école des chartes.[4] Ведь Вы знаете, что я оправдан и получил полную свободу передвижения. Но еще в

феврале, как только закончится спешная работа по составлению проекта, я думаю вместе с Валерианом поехать за границу, именно в Китай. Это очень близко. От Андижана, города Ферганской области, до которого доходит Среднеазиатская железная дорога, до Кашгара (большой китайский город) всего пять дней туда на почтовых с перевалом через Тянь-Шань.[5]

Эта поездка мне заменит путешествие на Памир, от которого мне придется отказаться, т<ак> к<ак> отправляться туда можно не раньше, чем в июле или конце июня, а я так долго здесь не останусь. Да и Китай меня еще больше теперь интересует, чем Памир, т<ак> к<ак> за это время еще больше утвердился в том, из-за чего мы спорили в начале июля в Риме, но особенно под влиянием рассказов Валериана, который долго жил на Востоке, бывал раньше в Китае и хорошо знает китайцев. По правде сказать, ведь это самый приличный и порядочный народ на земном шаре в настоящую минуту. Впрочем, и Вы, может быть, переменили уже с того времени свои взгляды на китайскую войну.[6] Кстати, посылаю Вам свой фельетон, помещенный в местной газете и касающийся в корне этих вопросов.[7]

Не знаете ли, отвечал Федор[8] на мое письмо? Я от него еще ничего не имел и боюсь, не пропало ли его письмо. Поклон Вашей жене.[9] (Увы, только в новом столетии приходится мне поздравлять Вас с этим). Что поделывает Князь?[10] Поклон и улыбки всем моим знакомым.

Макс.

Мой адрес теперь: г. Ташкент, Шахризябская ул., дом Павлова, кв. Яхонтова.

[1] Письма Л.В. Кандаурова к Волошину от 19 сентября, 5 ноября и 23 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617).

[2] См. примеч. 2 к п. 139.

[3] Линия строительства железной дороги между Ташкентом и Оренбургом.

[4] См. примеч. 12 к п. 139. Faculté des letters – Литературный факультет в старой Сорбонне.

[5] Этот замысел осуществить не удалось.

[6] См. примеч. 15 к п. 128.

[7] Статья «Эпилог XIX века», опубликованная в газете «Русский Туркестан» (1901. № 1. 1 янв.; № 2, 3 янв.). По газетным вырезкам, которые Волошин отправил Кандаурову, статья была перепечатана в журнале «Грани» (1998. № 188. С. 7–25). См.: Т. 5 наст. изд. С. 300–317.

[8] Ф.К. Арнольд.

[9] Лидия Тимофеевна Кандаурова (урожд. Струнникова; 1873–1943).

[10] Князь В.П. Ишеев.

156. Я.А. ГЛОТОВУ

9 января 1901 г. Ташкент

9 января 1901 г.
Ташкент.

С XX-м веком!!!!

Дорогой Яша!

И сколько времени я тебе не писал! А все потому, что хотел написать очень много. Положим, я как-то весь декабрь месяц находился совсем не в письмо-писательном настроении. За твое письмо, такое длинное, такое обстоятельное, и местами такое художественное, особенно же за появление Пешковского в Москве большое тебе спасибо.[1] Мама мне пишет, что ты снова собираешься писать мне. И это так меня устыдило, что я себя пришпорил и уселся писать.

Прежде всего, копишь ли ты деньги? Мама пишет, что твой проект ехать с Пешковским куда-то на север – (о нем, между прочим, я только в первый раз и услышал) – рухнул, благодаря тому, что Пешковский летом будет занят.[2] Если он рухнул не благодаря тебе, то, значит, у тебя деньги есть или по крайней мере будут. Нужно, значит, как-нибудь устроить так, чтобы нам провести лето вместе. Через месяц я думаю поехать на несколько дней в Китай – в Кашгар. Это пять суток езды на лошадях от Андижана, куда доходит жел<езная> дор<ога>. Относительно же своего отъезда из Ташкента я еще ничего не

знаю, потому что у меня нет никаких побудительных причин поступать так или иначе. В марте начнется постройка дороги,[3] и я, если захочу, смогу остаться и на постройку. Так что я так и решил: не раньше марта, не позже мая. За первое стоит желание поскорей приехать в Париж, за второе – заработать больше денег и пробежаться в мае по Военно-Грузинс<кой> дороге, направляясь в Крым. Во всяком случае летом я уже буду в Париже. А осенью, если останется немного лишних денег, отправлюсь на время каникул в Пиренеи и, может, в Испанию. Поэтому вот: приезжай летом в Париж. Вдвоем мы устроимся очень дешево. Если останешься на август, то пойдем в Пиренеи, а нет, так будем бродить по окрестностям Парижа и на короткое время сможем поехать в Бретань со всеми ее замками и легендами. Памир мне теперь придется бросить, потому что туда можно отправиться только в июле, т<ак> к<ак> до этого он еще весь покрыт снегом. Вот у меня еще идея, но идея, которую я думаю только в будущем привести в исполнение: из Ферганской области пройти пешком через Памир в Кашмирскую долину и в Индию. Но это очень трудное и рискованное дело, т<ак> к<ак> придется проходить сквозь дикий Кафаристан,[4] где легко могут пристрелить и прирезать, да и нужно запастись разрешением от английского правительства, иначе примут за шпиона, которых тут обоюдно ужасно боятся. Так что теперь придется довольствоваться перевалом через Тянь-Шань по дороге в Кашгар. Что же ты думаешь насчет Франции? Относительно Пиренеев я думаю обольщать Пешковского, когда буду в Берлине. А если и то и другое будет невозможно и я поеду из Ташкента в мае, то нельзя ли, может, нам встретиться на Кавказе, а еще лучше в Закавказье, которое поразило меня своей красотой?

Затем вот еще какие дела: 1) Устроил ли ты, а если нет, то устрой мои земляческие дела относительно долгу в 50 р., которые я отдал Лере[5] и котор<ые> надо перевести на нее. 2) Достань у нее же мой альбом с фотографическими карточками, взятый прошлой весной. 3) Исполни свое обещание относительно книг моих у бабушки и прими их в лоно сво-

ей библиотеки. 4) Выбери оттуда все путеводители, все мои стихи и тетради и отдай их маме, равно как и фотографии от Кандаурова, хотя, впрочем, если они тебе очень нравятся, то оставь их у себя и поделись поровну с Лёлей.[6] Я посылаю тебе в этом письме свой фельетон «Эпилог XIX века», а об «Обер-Аммергау»[7] я послал маме с просьбой потом передать его тебе, но это ерунда, потому что я торопился и мне невыносимо мешали его писать. Посылаю тоже несколько из переводов, которые я тоже дал в «Рус<ский> Тур<кестан>».[8]

О себе мне почти нечего теперь писать. Полдня я занимаюсь в конторе, а полдня читаю, пишу и занимаюсь с учеником. В Ташкенте невыразимая грязь, и он потерял всю свою летнюю красоту. Только в ясные дни горы над ним встают чистые, белые, сверкающие и зовут.... Хотя, впрочем, я не дошел еще до того состояния, когда начинаешь *мечтать* о путешеств<ии>. Пока я только взвешиваю и обдумываю.

А вот видел я Самарканд. Это действительно красота, несмотря на то, что я его зимой видел. Какие развалины, какие краски изразцов. Среднеазиатский Рим! Не с чем больше и сравнить его. Особенно красавица Шах-Зинда[9] – мечеть, построенная Тамерланом и сверкающая во всей своей разноцветной красоте, точно вчера построенная.

Хорош и Регистан – та площадь с тремя мечетями, которая изображена у Верещагина на картине «Торжество Ислама».[10] На картине одна мечеть, а по бокам площади находятся еще две такие же. Много я видел верещагинских пейзажей. Видел и то место (под Туркестаном), где происходит его картина «Окружили».[11]

Но все-таки самое яркое – это первое впечатление славного Геок-Тепе с его глиняными стенами и кремневыми ружьями, о котором я тебе раньше писал.[12]

Пиши мне, что делается у Озерова. Кто там бывает? Как он выглядит в семейной обстановке? Поклонись ему и всем озерианцам. Пиши об Мишеле,[13] Арнольде, Блюме, Лавр<ове>, Кан<д>аур<ове>, князе[14] и кланяйся им.

Целую Любу, Лёлю и Мишу.[15]

Поклон Екатер<ине> Владимировне.[16] Знает ли она уже о моем аресте? Да! Адрес Пешковского! Адрес Пешковского, ради Бога!!

Мой адрес: Ташкент. Шахризябская ул., д<ом> Павлова, кв. Яхонтова.

Макс Волошин.

[1] В несохранившемся письме Глотов сообщал Волошину о приезде А.М. Пешковского из Берлина в Москву. Ср. п. 154. (С. 456 наст. тома).

[2] В письме от 26 декабря 1900 г. Е.О. Кириенко-Волошина информировала сына о том, что Я. Глотов «получил на днях от Пешковского письмо, в котором отказывается от предлагаемого совместного путешествия на север летом, т<ак> к<ак> как раз в это время у него будут неотложные занятия по университету» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 647, л. 82–82 об.).

[3] Подразумевается железная дорога Ташкент – Оренбург.

[4] Правильно: Кафиристан (ныне Нуристан) – территория на северо-востоке Афганистана и в соседних районах современного Пакистана, населенная группой родственных племен (кати, вайгали, ашкуни, прасун).

[5] В.А. Воллк-Ланевская. Речь идет о денежной ссуде, предоставленной студенческим Крымским землячеством.

[6] Е.С. Лямина.

[7] См. примеч. 7 к п. 155, примеч. 6 к п. 137.

[8] В «Русском Туркестане» были опубликованы выполненные Волошиным переводы стихотворений Людвига Уланда «Бертран де Борн» (1900. № 7. 15 окт.) и «Граф Эберштейн» (1900. № 19. 12 нояб.), а также переводы стихотворений «Олаф» Генриха Гейне (1900. № 19. 12 нояб.) и «Негритянский князь» Фердинанда Фрейлиграта (1901. № 27. 4 марта). См.: Т. 4 наст. изд. С. 863–867, 880–882, 915–917.

[9] См. примеч. 6 к п. 149, примеч. 33 к п. 154.

[10] Имеется в виду картина В.В. Верещагина «Торжествуют» (1872; Третьяковская галерея).

[11] Картина Верещагина «Окружили, преследуют...» (1872); была уничтожена автором.

[12] См. п. 135, примеч. 4.

[13] М.П. Свободин.

[14] Князь В.П. Ишеев.

[15] Л.С., Е.С. и М.С. Лямины.

[16] Е.В. Глотова.

Заказ № 5706

157. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

11–12 января 1901 г. Ташкент

Шахризябская, д<ом> Павлова, кв. Яхонтова.
11/24 января 1901 года. Ташкент.

Только что получил твой увесистый конверт, дорогой Саша; и так был обрадован, что убежал, не докончив обеда, в свою комнату, заперся, прочел залпом оба письма,[1] причем во время чтения подскакивал, бегал по комнате и вообще производил разные неподобающие действия. Когда я читал твое письмо в Неаполь, то мне казалось, что, если бы я его получил тогда, я непременно бы поехал с тобой в Норвегию. А не получил я его вовсе не потому, чтобы оно меня там уже не застало, а потому (это я сейчас узнал, взглянув на конверт), <что ты> адресовал его Kirienko-Woloschin'у, а на почте спрашивал исключительно Max Volochine, что я и тебе всегда отмечал, сообщая свои заграничные адреса. Ну, что бы там ни было, неизвестно, но тем, что бы́ло, я очень доволен. О моем путешествии до Рима ты уже знаешь из римского письма.[2] В Неаполе я пробыл все<го> 2 дня.[3] Денег уже мало было, а непременно хотелось Грецию посмотреть. Осталось впечатление только чего<-то> ослепительно красивого, блестящего, ужасно сильно живущего. Потом Помпея, Везувий. В Помпее меня ошеломила древнеримская живопись. (Собственно, не в самой Помпее, т<ак> к<ак> она вся находится в Неаполитанском музее).[4] Она показалась мне целым откровением. Она гораздо ближе к нашей современной, чем живопись Возрождения. И я ее ставлю выше последней. И представь мой восторг, когда я это же самое прочел у Тэна.[5] Затем пешком из Салерно в Амальфи и маленький городок Равелло,[6] как орлиное гнездо лежащий на вершине отвесной скалы над морем в лимонных рощах, куда можно добраться только по лестницам, местами высеченным, местами прямо приделанным к скале. Там все голубое: и небо, и море, и горы, и зелень. А солнце! «Экстаз света», как говорит д'Аннунцио в «Джиоконде»[7] (прочти). И как это все теперь ужасно далеко от меня. За сколько тысяч

верст? Из Салерно мы проехали в Бриндизи, где нас нагнала телеграмма о смерти Гумберта.[8] Ночью была демонстрация, но народ печали выражал мало и на патриотические речи «народ безмолвствовал».[9] Через два дня отошел пароход на Патрас.[10] Целый день мы стояли в виду Корфу, и у нас не было денег, чтобы нанять лодку и съездить на берег посмотреть памятник Гейне.[11] Наконец, Греция. Из Патраса мы проехали ж<елезной> дор<огой> в Коринф. Какая бедность и народа и природы. И какая красота – ни одного лишнего штриха, ни одной лишней краски, а все-таки красивее Италии во всей ее роскоши. Я поднимался на гору Акрокоринф, с которой развертывается под ногами вся средняя Греция с Коринфским и Эгинским заливами. Перешеек, почти прямо под ногами. Скалы Парнаса.... Саламис... Эгина... и наконец смутные очертания Акрополя[12] далеко, далеко в тумане.

Из Афин я себе взял на память только сорную травку, выросшую между мраморных плит театра Диониса, в котором когда-то собиралась избраннейшая публика на первые представления драм Софокла, и ветку оливы со склонов Акрополя для Алекс<андры> Мих<айловны>.[13]

В Константинополе нас прежде всего арестовали, по подозрению в том, что мы армяне (в Турции это, оказывается, государственное преступление), и таскали целый день по разным полицейским присутствиям и местам заключения: это было прологом будущего.[14]

Приехав в Крым, я заметался: в Севастополь, в Балаклаву, сейчас же оттуда с Яшей в Ялту,[15] из Ялты той же ночью через Яйлу на Чатырдаг,[16] в Алушту. Наконец, в Феодосию, в Коктебель, в Керчь к Юрию Андреевичу,[17] снова в Коктебель, в Судак... И тут меня наконец поймали жандармы,[18] которые, как оказалось, с самого моего переезда через границу ловили меня и только через 2 недели поймали. К этому времени я уж и не думал про Ташкент, т<ак> к<ак> Валериан Вяземский все еще обретался в Петербурге и ничего не было еще известно даже о постройке дороги, а собирался через несколько дней ехать в университет. За что и почему меня арестовали, я не знал абсолютно и терялся в самых неправдоподобных догад-

ках, что не мешало мне все-таки сиять радостью и весельем по поводу этого факта. Я тогда чувствовал себя ужасно гордым, особенно когда меня провезли под конвоем по улицам Феодосии. Когда меня в тот же вечер отправляли в Москву, на вокзал меня пришли провожать только Лера и Вера.[19] Алекс<андра> Мих<айловна> ни сама не пришла, ни пустила Исара[20] из политических видов и опасений. Я, разумеется, был в восторге от своего интересного положения, и потом Алекс<андра> Мих<айловна> меня ужасно ругала за то, что я все время «бравировал». Так в этом убеждении она и осталась. Я просидел день в Харьковской центральной тюрьме, а затем был посажен в Москве в Басманную часть, где и отсидел в одиночке две недели, удивляя охранщиков своим прекрасным расположением духа.[21] Сидючи же в тюрьме, я читал, делал шведскую гимнастику и царапал на стене стихи при помощи зубчика от гребенки, т<ак> к<ак> карандаш и бумага воспрещались. Ну об этом периоде моей жизни ты знаешь верно по Яшиным и Лёлиным[22] рассказам. Затем я поехал в Севастополь. День пробыл в Феодосии и через Батум направился в Ташкент.[23] Ташкент мне очень понравился с первого взгляда. Он утопает в зелени. На каждом тротуаре доходит до семи рядов деревьев. Да вот тебе: городская дума здесь проектирует правильную порубку деревьев на улицах для дровоснабжения. За Ташкентом стоят ледяной стеной горы Каратау (отроги Тянь-Шаня) высотой с Тирольские Альпы. Положим, Альпы здесь карлики сравнительно. Недалеко ведь отсюда за Алайским хребтом возвышает<ся> вершина 26 тысяч фут<ов> (7 верст) Пик Кауфмана.[24] А от послед<него> русского селения: Памирского поста – всего 150 верст до Кашмирской долины. Отсюда (т.е. из Ташкента) мы тронулись на работы за г. Туркестан к Джулеку (см. по течению Сыр-Дарьи).[25] Это было самое лучшее из всего. До Туркестана все время направо возвышалась над этой сухой выжженной, знойной степью ледяная цепь гор, а дальше горы стали ниже. Здесь я только понял всю красоту степи.

Полтора месяца я провел в седле. Только верхом можно понять степь. Сперва бифштексы мои не понимали и очень страдали, но потом и они поняли. Я исправлял должность на-

чальника каравана. Под моей властью состояло 22 верблюда, красивых, нелепых, с библейскими физиономиями, напоминающими об ихтиозаврах. Удивительно старомодное, выносливое и в то же время нежное животное. На целые дни, пока передвигался караван, мы уезжали вдвоем с Валерианом в степь. Там мы натыкались на полуразрушенные, развеваемые ветром стены старых городов и крепостей, тысячелетних китайских укреплений, без конца вели разговоры о Китае и о Европейской цивилизации. Об этом-то мне и нужно много, много с тобой поговорить. Валериан очень интересный и оригинальный человек. Он хорошо знает Китай и любит его. От него я узнал много неожиданного и нового. Как-то эти степи умели внушать удивительно объективный взгляд, и отсюда на этой почве, освященной тысячелетиями, по которой Европейские народы проходили даже еще без детских панталончиков, можно было взглянуть со стороны на Европейскую цивилизацию.

Мне как-то ужасно ярко представились ее два источника: как из старого Египта вывезли основы свои два народа — греки и евреи. Рим был ретортой, в которой попавшие туда элементы получили страшную жизненность, практическую мощь и стремление к всемирности. Он воспринял Грецию и Иудею и придал им силу. Ведь теперешняя Европейская культура — чисто еврейская. Средневековое христианство — это еврейство. Теперь и капитализм и социализм тоже создается Евреями. Inde irae.[26] И что удивительно, что единственная страна, где нет евреев, т<ак> к<ак> они, попадая туда, неизбежно ассимилируются и исчезают, — это Китай. Валерианов исходный пункт — то, что основа и зло Европейской цивилизации — это милитаризм. Капитализма бы не было, если б его не защищал солдат. Капитализм — это второстепенное зло и следствие уже, а не начальная причина. А Европейская цивилизация без солдата существовать не может. Положим, он слишком мрачно смотрит на Европейскую цивилизацию. Он долго жил на окраинах, где все великие и прекрасные идеи, кипящие в центральных котлах Европы, проступают только накипью из штыков. Я с ним во многом не согласен, но он дал

мне сильный толчок. В XX веке нам надо будет идти учиться к другим цивилизациям: китайцам, индусам. У китайцев нет солдат и они войну ненавидят, а Европейцев презирают за то, что они очень много суетятся и любят воевать. Помнишь ты осенью – письмо одного китайца, появившееся в английских газетах, где он говорит о том, что китайцы уже тысячу лет назад пережили Европейские искания и настроения. Его встретили насмешками, но я глубоко верю в истинность этого письма. Я посылаю тебе один мой фельетон «Эпилог XIX века»,[27] где есть кое-что об этих делах, только, к сожалению, коротко, т<ак> к<ак> меня слишком торопили. А пока до завтра, спать пора.

12/25 января.

1½ месяца мы прожили в юртах. Иногда нам приходилось одеваться при температуре в 5 градус<ов> ниже нуля. ½ месяца я прожил в крошечном городке Джулеке из 5 домов.[28] Там из подворотен вылетают фазаны, по улице гуляют дикие кабаны, а в окрестностях иногда ходят тигры. При нас, положим, не было, т<ак> к<ак> за последние годы они ушли севернее к Аралу. Под конец нас засыпало уже снегом, и приходилось работать иногда во время снежной вьюги. Вернувшись в Ташкент, я немедленно отправился с поручениями в Баку, а на возвратном пути останавливался в Асхабаде у Адриана Петрова и в Самарканде.[29] Помнишь, когда-то Асхабад казался нам краем света, а теперь, когда я оказался на полторы тысячи верст за Асхабадом, он показался мне лежащим совсем в Европе. Положим, представления о расстояниях тут удивительно меняются. Русские расстояния кажутся такими же маленькими после среднеазиатских, как западноевропейские после русских. Проехать чуть не тысячу верст из Ташкента в Казалинск,[30] на лошадях и по грязи и притом на «трешпанке» (Drei<ge>spann) – варварском инструменте, не обладающим не только ни малейшей тенью рессорности, но умудряющимся каждый толчок возводить в куб и квадрат, так что только мечешься на дне его, бьешься головой об кузов и перестаешь уже что-нибудь чувствовать, – это считается совсем близким.

Самарканд поражает царственным величием своих Тамерлановских развалин.[31] Это среднеазиатский Рим. Теперь

уже 1½ месяца я живу в Ташкенте. Теперь составляется проект жел<езной> дор<оги>, у меня довольно много всякой математической работы. Это ты представь себе только меня в роли техника. В декабре я получил от Охранки известие, что дело мое оставлено без последствий и что я свободен располагать собой.[32] Я уже предварительно решил в русский университет не возвращаться, а ехать в Париж на Faculté des Lettres или в Ecole des Chartes.[33] Счастливое окончание дела только ускорит это. Я не определил еще срока выезда, но это во всяком случае будет весной между мартом и маем, т<ак> к<ак> я хочу летний семестр уже быть в университете. Я, разумеется, заеду сперва в Крым к маме, потом в Москву (если получу, как служащий, даровой билет) и непременно остановлюсь на несколько дней у тебя в Берлине. Надо будет только подогнать так, чтобы у тебя свободное время было — к Пасхе,[34] что ли? Мне мама пишет, что Яша получил от тебя письмо о том, что ты не можешь ехать в предполагаемое путешествие по северу России.[35] Я об этом услыхал в первый раз, но во всяком случае вот что: я имею на тебя виды на время осенних каникул и буду тебя всячески настраивать и обольщать при свидании: поедем в Пиренеи и затем Испанию. Я думаю, что у меня на это останется немного денег. Вспомни Атта-Троля,[36] Дон Кихота, Дон Карлоса,[37] и поедем. Меня страшно манит теперь всё на юг к Средиземному морю, и тебе тоже надо будет увидеть и понять его. Положим, если ты вместо Испании выберешь Сицилию, я тоже не буду ничего иметь. Путешествия на юге стоят очень дешево: все мое последнее путешествие по Италии и Греции целиком со всеми решительно расходами от Москвы до Севастополя обошлось <в> 170 рублей. Но мне больше хочется в горы, в Пиренеи, где много средневековых замков, много дикости и нетронутости, и много света и солнца. Ты приедешь ко мне в Париж сперва (стыдно, что ты еще не был в Париже). Я тебе его покажу в течение двух недель, а затем мы через Прованс проедем в Пиренеи и будем там бродить — (гулять, а не бежать).

Теперь же я в феврале месяце собираюсь вместе с Валерианом в Китай, т.е. в Кашгар. До Андижана есть железная до-

рога, а оттуда всего 5 суток езды на лошадях через Тянь-Шань. А в Китае побывать теперь мне ужасно любопытно. Я много мечтал о Памире. Но туда отправиться можно только летом, а я в это время буду уже в Париже. Но один план я непременно приведу когда-нибудь в исполнение: пройти отсюда пешком через Памир и Гималаи в Индию. Вообще меня теперь страшно мучит одна идея, о которой я пока еще никому не говорил: после окончания курса в Париже, т.е. через 4—5 лет, изучивши какое-нибудь ремесло, отправиться странствовать пешком, по Индии, Китаю и Японии, чтобы познакомиться с этими культурами не с Европейской точки зрения, которая всегда будет высокомерно-презрительной, а с вполне объективной. В Париже я буду постепенно подготовляться, занимаясь историей и языками. Но главнейшая-то цель моя теперь в Париже — это все-таки литература <и> искусство. Ведь если ты не можешь найти в себе никаких определенных склонностей к какому-нибудь роду человеческого познания, кроме склонности к усердным занятиям вообще, то я вижу свои склонности очень ярко и строго очерченными. Я с твоими взглядами на историю литературы как науку абсолютно не согласен. С твоими опасениями относительно сухости и холода еще больше.[38] Для человеческой «мысли» нельзя составить формул, или же составленные формулы совсем не будут походить на естественно-исторические. Логические основы исследования останутся в основах те же, но приемы должны создаться другие. Так что эта часть литературы останется еще долго свободной. Но есть другая сторона, к которой естественно-исторический метод свободно может быть приложен и должен быть приложен. Эта область в литературе, сколько мне известно, еще не выделялась — именно приемы изобразительности. Впрочем, я начинаю вспоминать, что я тебе уже весной писал об этом и что твои рассуждения об этом в неаполитанском письме, вероятно, только ответ на мои.[39] Ты мне между прочим сообщил новость, что Лера в этом году не в Москве: вот этого я совсем не знал. Почему?

От Алекс<андры> Мих<айловны> я пока получил только одно письмо, наполненное исключительно бурными опи-

саниями достоинств Mario Lago.[40] Таких писем Алекс<андра> Мих<айловна> еще не писала. Вероятно, тебе она писала о нем в точно таком же тоне. Влюблена она? Во всяком случае он меня очень заинтересовал, так же как и его друг: Antonio del Veccio, о котором мне очень интересно будет услышать твое мнение. Я вообще итальянцев очень полюбил: они к нам както гораздо ближе, чем французы и особенно немцы. А кстати, как поживает Freulein Franciska Weber и Frau Berger? Если ты их когда-нибудь встретишь, то передай им мой поклон. Я, будучи в Берлине, непременно зайду к ним. Кланяйся и всем другим знакомым: Авксентьеву, Иванову, Рабиновичу[41] и т.д.

У меня в Ташкенте знакомых немного, но все-таки раз в 10 больше, чем у тебя в Берлине. Прежде всего я здесь познакомился с редакцией местной, только что народившейся газеты «Русский Туркестан» и чувствую, как приятно быть первым <в> деревне, а не вторым в Риме. Я там довольно много пишу. Образец тебе — мой новогодний фельетон.[42]

Яхонтов, у которого я живу, — учитель математики в здешней гимназии и товарищ Валериана по университету. Мы с ним ведем бесконечные «русские» разговоры, обо всем, начиная с дифференциального счисления и кончая путешествиями Радда-Бай по Индостану.[43]

Недавно я познакомился еще с одним интересным человеком: сидевшим 4 года в Шлиссельбурге и 12 лет проведшим на Сахалине, на каторге. Свои воспоминания он печатал в «Историческом вестнике» под псевдонимом Миролюбова.[44] Он был морским офицером и был приговорен за политические организации в войсках сперва к повешанью, а потом помилован. Только 2 года <как> он вышел с Сахалина. Это удивительный человек по какой-то примиренности, с какой он глядит на все. Достоевский, верно, таким был. Его настоящая фамилия Ювачев. Другой интересный, но совсем противуположный тип политического — это Гейер, издатель «Рус<ского> Туркестана». Он тоже был приговор<ен> к смертной казни по Лопатинскому процессу,[45] но после сослан сюда в Ташкент, где и остался. Это сама энергия. Кажется, никто здесь не знает лучше его Туркестанский край и больше не ра-

ботает над ним. Теперь он занимает здесь административное положение и расписывается на бумагах вместо губернатора. Впрочем, здесь и сам вице-губернатор был <в> свое время судим по Каракозовскому делу:[46] поэтому мой фельетон и получил возможность появиться на свет. Вот и все мои знакомые. Ну, надо закончить письмо и идти в контору. Пиши скорее и больше.

Макс Волошин.

P.S. Я недавно прочел «Jenseit<s> von Gut und Böse» Ницше[47] и был совсем ошеломлен. Непременно купи и прочти. Особенно главы: «Народы и цивилизация» и «К происхождению морали». Когда прочтешь, напиши. Там об Евреях очень интересно. Он их очень любит. Между прочим, последними словами умирающего Вл. Соловьева были: «Мне надо молиться за несчастный Израильский народ». См. Сентябрь 1900 г. «Вестн<ика> Европы» статью Трубецкого.[48]

P.S. Не успел я еще запечатать письмо — звонок: открытка от Лёли с твоим адресом.[49] Немного поздно.

[1] Письмо Пешковского из Берлина от 10 января 1901 г. (29 декабря ст.ст. 1900 г.) и приложенное к нему письмо с датировкой «Август 1900 г.», отправленное ранее Волошину в Неаполь и возвращенное автору (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 50–59 об.).

[2] Письмо Волошина к Пешковскому, отправленное из Рима, нам неизвестно.

[3] В Неаполе Волошин и его спутники были с утра 13/26 июля до утра 15/28 июля 1900 г.

[4] См. примеч. 19 к п. 154.

[5] См. примеч. 18 к п. 154.

[6] См. п. 132, примеч. 4.

[7] Слова Козимо Дальбо в действии 1-м (сцена II) драмы «Джиоконда» (*Д'Аннунцио Габриэле*. Собр. соч.: В 2 т. М.: Можайск – Терра, 1994. Т. 2. С. 235).

[8] См. примеч. 5 к п. 132.

[9] Обыгрывается финальная ремарка («Народ безмолвствует») трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825).

[10] Греческий город на берегу Патрасского залива.

[11] Памятник Генриху Гейне на Корфу (острове в Ионическом море) – мраморная статуя (1879) работы датского скульптора Луиса

Хассельриса, установленная австрийской императрицей Елизаветой в парке на вилле Ахиллеон. Ср. запись Волошина в «Журнале путешествия» от 19 июля / 1 августа 1900 г. (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 102–103).

[12] Парнас – горный массив к северу от Коринфского залива (высотой до 2457 м). Саламис (правильно: Саламин) – остров в Эгейском море у побережья Аттики. Эгина – остров в Эгейском море между Арголидой и Аттикой. Акрополь – афинский Акрополь (возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, так называемый верхний город).

[13] А.М. Петрова.

[14] См. примеч. 4 к п. 139.

[15] Яша – Я.А. Глотов (живший тогда в Балаклаве). Упоминаемые разъезды приходятся на последние дни июля 1900 г.

[16] Горный хребет Яйла на Южном берегу Крыма. Чатыр-Даг – одна из его вершин.

[17] Ю.А. Галабутский.

[18] Волошин был арестован в Судаке 21 августа 1900 г.

[19] В.А. Воллк-Ланевская и В.М. Нич.

[20] Исар-Абрам Иосифович Спитковский (1878–?), соученик Волошина по Феодосийской гимназии, с 1898 г. студент Киевского университета, впоследствии врач-хирург.

[21] См. примеч. 2 к п. 133, примеч. 3 к п. 139.

[22] Е.С. Лямина.

[23] См. п. 133, примеч. 2.

[24] См. примеч. 1 к п. 143.

[25] Это путешествие с изыскательской партией В. Вяземского продолжалось с 6 октября по 15 ноября 1900 г.; Волошин был назначен начальником каравана и заведующим лагерем (Труды и дни. С. 80).

[26] Отсюда гнев (*лат.*). Цитата из Ювенала (Сатиры, I, 165): «Ind(e) ir(ae) et lacrimae» («Отсюда гнев и слезы»).

[27] См. примеч. 7 к п. 155.

[28] См. примеч. 3 к п. 138.

[29] См. примеч. 5, 6 к п. 149.

[30] Город Казалинск находится в 935 верстах от Ташкента (недалеко от Аральского моря), но, судя по письмам, отправленным Волошиным во время путешествия, экспедиция далее Джулека в северо-западном направлении не продвинулась.

[31] Тамерлан (Тимур) создал государство со столицей в Самарканде. Столицей государства Тимуридов Самарканд был в конце XIV–XV вв.

[32] 11 декабря 1900 г. Волошин расписался в ташкентской полиции на извещении, что его дело прекращено, и получил заграничный паспорт (Труды и дни. С. 82).

[33] См. примеч. 4 к п. 155, примеч. 12 к п. 139.

[34] Пасха в 1901 г. – 14 апреля.

[35] См. примеч. 2 к п. 156.

[36] Герой сказочной поэмы Генриха Гейне «Атта Троль. Сон в летнюю ночь» («Atta Troll. Ein Sommernachtstraum», 1841–1847) медведь Атта Троль; его берлогу автор расположил в Испании (в Наварре) – в Ронсевальском ущелье, прославленном в старофранцузском эпосе «Песнь о Роланде».

[37] Герой одноименной драматической поэмы Фридриха Шиллера (1783–1787).

[38] Подразумеваются следующие рассуждения в августовском письме Пешковского: «...в литературе меня в сущности интересует она сама, а не ее история. Я интересуюсь ею как критик, но не как историк. <...> "На высотах научной мысли" всегда холодно, что бы ни трактовала та или иная наука. Если пока в области истории или истории литературы еще не холодно, то это потому, что они еще не науки».

[39] «Неаполитанское» письмо – т.е. направленное Пешковским в Неаполь и не полученное там Волошиным (по причине, указанной в начале этого письма).

[40] Имеется в виду письмо А.М. Петровой от 10–22 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 42–48 об.) с подробным рассказом о Марио Лаго – «молодом итальянце, приехавшем для поправки здоровья»: «...я совсем, совсем очарована им. <...> Ему двадцать два года; в будущем году он оканчивает университет и поступает еще в Академию для изучения языка, т<ак> к<ак> пишет и стихи и прозу <...> Читала и переводила ему Ваши стихи; они ему очень понравились. Он мне написал также маленькое дивное стихотворение <...>».

[41] Российские студенты, входившие в Берлине в кружок Авксентьева.

[42] Подразумевается статья «Эпилог XIX века».

[43] Радда-Бай – псевдоним писательницы и основательницы Теософского общества Елены Петровны Блаватской (1831–1891), под которым она выступала в русской периодике 1880-х гг. и опубликовала книгу «Из пещер и дебрей Индостана» (М., 1883).

[44] См.: *Миролюбов* <Ювачев> *И.П.* Восемь лет на Сахалине // Исторический Вестник. 1900. Т. 79. № 1–3; Т. 80. № 4–6; Т. 81. № 7 (отд. изд.: СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901); *Ювачев И.П.* Борьба

с хунхузами на маньчжурской границе // Исторический Вестник. 1900. Т. 82. № 10–11.

[45] См. примеч. 7 к п. 143.

[46] Каракозовское дело – политический процесс в Верховном уголовном суде (август – сентябрь 1866 г.) над ишутинцами (тайное революционное общество в Москве с филиалом в Петербурге); из 36 подсудимых Д.В. Каракозов (совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на Александра II) был приговорен к смертной казни, 8 человек отправлены на каторгу, 9 – в сибирскую ссылку. Помощником губернатора в Ташкенте в 1900 г. был генерал-лейтенант Николай Александрович Иванов (1842–?), однако по делу Каракозова проходил Дмитрий Львович Иванов (1846–1924), приговоренный к отдаче в солдаты с правом выслуги (в 1867 г. был переведен в Ташкент из Оренбурга, в 1870 г. произведен в офицеры, в 1873 г. поступил в Горный институт; впоследствии видный геолог).

[47] Книга Фридриха Ницше «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» (1886).

[48] Волошин отсылает к следующему фрагменту статьи С.Н. Трубецкого «Смерть В.С. Соловьева»: «Раз он сказал моей жене: “Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться”, и стал громко читать псалом по-еврейски. Те, кто знал Владимира Сергеевича и его глубокую любовь к еврейскому народу, поймут, что эти слова не были бредом» (Вестник Европы. 1900. № 9. С. 415).

[49] Среди писем Е.С. Ляминой к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803) эта открытка не сохранилась.

158. Е.С. ЛЯМИНОЙ

12 января 1901 г. Ташкент

Милая Лёля!

Письмо твое пришло как раз в тот момент, когда я уже запечатывал письмо к Пешковскому,[1] в ответ на его два письма: одно явившееся сюда, побывав в Неаполе, а другое из Берлина, полученные мною вчера. Так что я уже узнал его адрес. Посылаю тебе мой «Эпилог XIX века».[2] Яше я писал на днях, и он, верно, уже получил мое письмо.[3] На Памире нам с ним встретиться не придется, потому что я сам туда не попаду, т<ак> к<ак> весной уже думаю быть в Париже и удовольству-

юсь здесь, вероятно, только поездкой в феврале в Кашгар, через Тянь-Шань. А вот если б нам с Яшей встретиться в Париже, а потом в Бретань или в Пиренеи – это бы очень хорошо было. Почему ты разду<ма>ла ехать в Германию? Положим, в Париж бы лучше, и я, если только попаду теперь в Москву, непременно буду уговаривать тебя ехать в Париж.

А я думаю теперь, что смогу попасть и в Москву и в Крым, т<ак> к<ак> я, кажется, в качестве служащего имею право на даровой билет по всем казенным дорогам.

Времени своего отъезда я никак решить не могу, т<ак> к<ак> это все отчасти связано с решением постройки дороги, что решится в феврале. Начинает уже хотеться в горы, и я вчера, сидючи в конторе, написал следующее стихотворение:

Душно в городс! Как только
Снсг растаст под лучами,
Закажу ссбс ботинки
С двухдюймовыми гвоздями,
Приготовлю «Lcdcrhoscn»,
Альпснпток с крючком из рога,
«Rückcnsak» ссбс достану,
Колбасы куплю немного,
И лишь первый луч заглянст
В запылсннос оконцс,
Набскрснь надсну шляпу,
Порыжслую от солнца,
И пойду ссбс я в горы
С нсизменным красным гидом,
Поражая и пугая
Всех прохожих диким видом.
Побсгут за мной мальчишки
Восхищённою толпою.
(Я люблю быть популярным, –
От читатслсй нс скрою).
А когда, минуя город,
Я один останусь в поле,
А кругом засвищут птицы,
Запоют ручьи на волс,
Запою я тожс пссню,
Откликаясь птичкам дальным,
Хоть отнюдь нс обладаю

Я талантом музыкальным,
Хоть ни разу верной ноты
Я не взял... Но вот привычка:
Если я один останусь,
То пою всегда как птичка.[4]

Передай Нине Федосеевне,[5] что здесь в Ташкенте есть барышня с хвостиком бурым и длинным — вершка в четыре. Когда она была маленькая, то хвост у ней торчал из панталончиков. Кроме того, она богатая невеста. Я еще не познакомился, но имею сериозные намерения. До свиданья. Спасибо за адрес. Целую Любу и Мишу.[6] Не знаешь ли ты, справлялся ли Яша об «Горной Сказке» в Мире Искусства, как обещал?[7]

Макс.
12/25 января 1901 года.

[1] См. п. 157 и примеч. 49 к нему.
[2] См. примеч. 7 к п. 155.
[3] См. письмо к Я.А. Глотову от 9 января 1901 г. (п. 156).
[4] Датировано 7 января 1901 г. См.: Т. 2 наст. изд. С. 459.
[5] Н.Ф. Локошенко.
[6] Л.С. и М.С. Лямины.
[7] См. примеч. 4 к п. 103. «Мир Искусства» — литературно-художественный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1899—1904 гг. (редактор С.П. Дягилев).

159. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

17 января 1901 г. Ташкент

Дорогая мама!

Получил сегодня Вашу открытку от 7-ого января.[1] Беспокойство Ваше по поводу моего неписания, верно, рассеялось уже в тот же день, т<ак> к<ак> я писал вам 29 декабря,[2] т.е. как раз 9 дней пред этим, так что завтра верно я от вас получу уже ответ на него. Работы теперь еще больше: я бываю в конторе теперь от 10 до 3-х и от 6 до 9, так что последние дни совсем некогда что-нибудь делать.

Взвешиваю все различные побудительные причины к моему отъезду и все никак не могу решиться. К началу марта у меня будет 300 рублей, а может, и больше. Теперь у меня 170, и за январь и февраль я получу еще 150. Кроме того, я не брал еще в редакции денег ни за одну статью.[3] Собственно, при отъезде я имею право как служащий получить обратные прогоны в размере полуторамесячного жалования, т.е. 110 р., но получу я их едва ли, т<ак> к<ак> сам ни в каком случае ни говорить, ни просить не буду. Даровой билет по казенным ж<елезным> д<орогам> верно получу. Так что собственно ехать я смогу даже в начале марта.

Что вы сами думаете об моем отъезде? От Лёли[4] я получил открытку с адресом Пешковского в один день с его собственным письмом из Берлина, в котором он сообщает мне свой адрес.

Из знакомых я вижусь теперь чаще всего с одним очень интересным человеком Ювачевым, бывшим 4 года в Шлиссельбурге и 8 лет на каторге на Сахалине.[5] Его воспоминания напечатаны в «Русском Архиве» под псевдонимом Миролюбова (Очерки Сахалина – с янв<аря> по июль 1900 г.).[6] Он бывший флотский офицер и был приговорен сперва к повешенью за политические организации в войсках. После Сахалина (он всего 4 года оттуда) он много путешествовал по Америке, Японии, Сирии и Палестине. Он какой-то совсем удивительный человек – примиренный, ровный – в типе Достоевского и религиозный. Статьи его очень стоит прочесть. Он тут тоже «техником» на изысканиях. Мы с ним видимся почти каждый день и ведем бесконечные разговоры.

Ах! Прочтите также в ноябрьской книжке «Русского Богатства» письма Дионео из Англии.[7] Очень типично. Что говорят и думают московские студенты по поводу 170 киевлян, отданных в солдаты?[8] Т<р>усят или негодуют? Или то и другое вместе?

Целую бабушку.

Макс.

17 января 1901 года.

По поводу моего фельетона генерал-губернатор[9] собирал экстерный совет для обсуждения того, что имел ли право цензор пропустить его. Решили оставить без последствий.

[1] В подборке писем Е.О. к Волошину эта открытка отсутствует.

[2] Это письмо Волошина к матери, вероятно, не сохранилось. 12 января 1901 г. Е.О. информировала сына о получении его письма от 30 декабря (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 1).

[3] Речь идет о гонорарах за публикации в газете «Русский Туркестан».

[4] Е.С. Лямина.

[5] И.П. Ювачев, служа в Черноморском флоте в Николаеве, вступил в 1882 г. в военную организацию «Народной воли», затем вел революционную пропаганду и в Морской академии в Петербурге. В 1884 г. на «процессе 14-ти» был приговорен к повешению, замененному 15 годами каторги. В тюрьме Ювачев обратился к религии и стал противником террора. С сентября 1887 г. находился на Сахалинской каторге, где в 1890 г. с ним общался А.П. Чехов (который позднее отразил образ Ювачева в «Рассказе неизвестного человека»). Вернувшись в Петербург в 1897 г., Ювачев стал толстовцем. См.: *Сахарова Е.М.* Судьба революционера и ее отражение в творчестве Льва Николаевича Толстого и Чехова // В творческой лаборатории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 172–176.

[6] Журнал «Русский Архив» здесь указан ошибочно. См. примеч. 44 к п. 157.

[7] Дионео – псевдоним Исаака Владимировича Шкловского (1865–1935, Лондон), публициста, критика, прозаика и поэта. Очерки «Из Англии» (Русское Богатство. 1900. № 11. С. 82–105) – обзор английской печати о «хулиганах» – в том числе «культурных». Продолжение очерков – в № 12 «Русского Богатства».

[8] 20 декабря 1900 г. в Университете св. Владимира в Киеве состоялись митинги с требованием возвращения в университет исключенных перед этим участников студенческой сходки; по распоряжению министра просвещения, опубликованному в газетах 11 января 1901 г., 183 студента были отданы в солдаты. По призыву социал-демократов и кадетов в феврале – марте 1901 г. студенческие демонстрации протеста состоялись в Киеве, Харькове, Москве и Петербурге.

[9] Генерал-губернатор Туркестана в 1901 г. – генерал от инфантерии Сергей Михайлович Духовский (1838–1901).

Заказ № 5706

160. Я.А. ГЛОТОВУ

20 января 1901 г. Ташкент

Ты стал удивительно хорошо и интересно писать, Яша! Твое письмо, полученное мною сегодня,[1] так интересно и увлекательно, что, несмотря на всю ту тоску и пакость, которые теперь царят в Моск<ве>, мне все-таки захотелось туда. Письмо мое ты, верно, уже получил и получил вместе с ним и мой фельетон.[2] Мама, верно, передала тебе также и фельетон об Обер-Аммергау.[3] Это единственные произведения мои в Ташкенте. У меня действительно было много времени в начале декабря, но тогда совсем не хотелось писать, а теперь страшно хочется писать и совсем нет времени, т<ак> к<ак> я занят беспрерывно с 10 часов утра до 9 часов вечера. Положим, это временно и, верно, опять скоро я буду свободен. Мой первый фельетон «В Обер-Аммергау» ташкентской публике не понравился. Он был помещен в первом номере «Русского Туркестана», которым тот открыл в прошлом году свое существование вновь, после целого года молчания, со времени убийства своего первого издателя Сморгунера, застреленного в редакции одним вспыльчивым полковником, оскорбленным нападками либеральной газеты на его особу.[4]

«Зачем это вы *перевод* в своем первом номере поместили?» – спрашивали редактора догадливые ташкентцы по поводу моего фельетона. Зато «Эпилог XIX века» произвел неожиданный эффект. Генерал-губернатору[5] доложили, что в новогоднем номере «Русского Туркестана» помещена «апология революции». Перепуганный генерал-губернатор собрал экстерный совет для обсуждения этого ужасного произведения; мой фельетон читался, комментировался, но в конце концов решено было «оставить без последствий». В результате в течение нескольких дней ташкентцы цитировали разные места из фельетона. Особенно их поразило то обстоятельство, что XIX век родился в Париже, а умер в Пекине, а потом подпись.[6] У «Русского Туркестана» сразу прибавилось подписчиков. Через несколько дней я был в гостях у вице-губернатора[7] (он же и цензор, если ты это еще не забыл с прошлых

экзаменов). Он меня встретил словами: «Ну пусть они там мне объявляют выговор, за то, что я пропустил ваш фельетон... Я даже и хотел бы этого. Мне уж столько выговоров за разную ерунду объявляли, что получить выговор за такую вещь, как Ваш фельетон, мне бы даже хотелось. Впрочем, я тут никакой “апологии революции” и не вижу – просто очень широкий исторический захват...» Сидючи там за чайным столом, я смотрел на публику и думал: «Ну где возможно, кроме России, такое изумительное сочетание элементов». В состав общества входили: вице-губернатор (привлекался по каракозовскому делу), его жена (была сильно замешана в дела террористов), два полицейме<й>стера (не были никуда замешаны и, слушая все говорившееся, недоуменно хлопали глазами, т<ак> к<ак> из Средней Азии никуда не выезжали), советник областного Управления Гейер – он же редактор «Русского Туркестана» (сидел по лопатинскому делу и был приговорен к повешенью),[8] техник по изысканию Ор<енбургско>-Таш<кентской> ж<елезной> д<ороги> Ювачев (бывший морской офицер. Был приговорен по делу о военных организациях к повешению, помилован 20-тью годами Шлиссельбурга, но, просидев там 4 года, помилован еще раз 8-мью годами каторги на Сахалине. 3 года назад был выпущен и поехал на Сандвичевы острова, затем в Америку, а этим летом в виде бедуина странствовал по Сирии). Его воспоминания о Сахалине напечатаны в «Историческом Вестнике» (я маме писал неверно, что в «Русском Архиве») за 1900 г. от января по июль, под псевдонимом Миролюбова.[9] Это в высшей степени интересный и симпатичный человек. Положим, ты уж из этого краткого формулярного списка можешь видеть, насколько интересный. Мы с ним видимся теперь почти каждый день и ведем бесконечные разговоры. Он отличается какой-то удивительной примиренностью и очень религиозен. Словом, он нашел выход Достоевского. Теперь он пишет очень любопытное исследование об «Уральцах» – раскольниках, сосланных на берега Аральского моря, с которыми он познакомился и очень сошелся во время пребывания там в период изысканий.[10] Он собирается в Петербург, и если он в Москве остановится, то я постараюсь уст-

роить так, чтобы ты с ним познакомился. Между прочим завтра едет в Москву отсюда один молодой ученый Берг, бывший московский студент — окончивший еще при нас.[11] Он будет там очень короткое время и, вероятно, будет читать в географическом обществе либо в обществе любителей естествознания свой доклад об исследованиях Аральского моря: очень интересный. Ты заметь по газетам (он приедет в один день с этим письмом) и пойди, а потом, может, и познакомишься и узнаешь обо мне. Он очень милый человек, почти мальчик.

Будешь ли ты писать о Памире? Верно не будешь! А если не будешь, то передай-ка эту работу мне лучше. У меня тут под руками богатейший материал в публичной библиотеке: все, что когда-нибудь было написано о Памире русскими и иностранными путешественниками. Кроме того, сотни показаний очевидцев, да еще, может, и мои собственные наблюдения. Подумай и если решишь, то оставь себе Волгу, а мне пришли все требования и условия, а я сооружу здесь капитальнейшее исследование. Только скорее, если да. Я много хотел писать об своих путешествиях, да вот все никак не выберу времени, а то сейчас же примусь.

Стихотворение, о котором ты меня просишь, написано как-то вечером на форуме. Вот оно:

Арка... Разбитый карниз.
Своды, колонны и стены —
Это обломки кулис
    Сломанной сцены.
Кончена пьеса. Ушли
Хор и актеры. Покрыты
Траурным слоем земли
    Славные плиты.
Здесь пьедесталы колонн...
Там возвышается ростра,
Где говорил Цицерон
Плавно, красиво и остро...
Между разбитых камней
Ящериц быстрых движенье...
Зной раскаленных лучей...
Струйки немолчное пенье...

Зданье на холм поднялось
Цепью изогнутых линий.
В кружеве легких мимоз
Очерки царственных пиний...
Царственный холм Палатин!
Дом знаменитый Нерона!
Сколько блестящих картин,
Крови, страданий и стона.
Вечер. И Форум молчит.
Тени проходят иные....
В воздухе ясном звучит
Ave Maria![12]

Я кое-что начинал писать об Италии. Но всё пока обрывки. Вот отрывок о Тиволи (Вилла д'Эсте и вилла Адриана).[13]

Фонтаны, аллеи... Запущенный сад...
Развалины старого дома...
Я все это видел когда-то давно...
Мне все это с детства знакомо...
Должно быть, из сказок наивно простых,
Украшенных мыслью немецкой,
Которые в жизни цветут только раз
На почве фантазии детской.
И тают как снежный узор на стекле
При первом дыхании мысли.
В аллеях зеленый сырой полумрак,
Пушистые ветви нависли.
Горячий, трепещущий солнечный луч
Пробился сквозь ветви платана...
Блестя в темноте и поет и звенит
Холодная струйка фонтана.
Зацветшие мраморы старых террас,
Разросшийся плющ на пороге....
В таинственных гротах одетые мхом
Забытые, старые боги.....
Везде изваяния лилий — гербы
Фамилии Д'Эсте старинной.
В развалинах весь восемнадцатый век:
Манерный, кокетливый, чинный,

Век фижем и мушек, Ватто и Буше,
Причудливый век превращений.....
В сыром полумраке зеленых аллей
Скользят грациозные тени...
Чуть слышно атласные платья шуршат....
Со шпагой, изящен и ловок,
Идет кавалер, и мутятся ряды
Напудренных белых головок...
Проносит<ся> легкий, кокетливый смех
По дальним извивам дорожки...
По мраморным плитам широких террас
Скользят чьи-то белые ножки...
О бедные ножки прекрасных принцесс,
Ласкавшие старые плиты!
Давно уж великой народной волной
Вы сломаны, стерты и смыты...

Другая эпоха – другой колорит.
Суровый, как бронзы Гиберти.
Ряды кипарисов и синих олив –
Печальные символы смерти.
Спокойно и тихо... Фундаменты стен.
Все срыто, разрушено, голо...
И только горячее солнце палит
Цветные мозаики пола.[14]

(Дальше не написано.)

Кстати: справлялся ли ты в «Мире Искусства» о «Горной Сказке»,[15] а то я ее в «Рус<ском> Тур<кестане>» напечатаю, чтобы не пропадала по крайней мере и чтобы знакомым можно было бы дать оттиски. Отчего ты не пишешь ничего о Жебунёвых? Я Ларочке[16] писал, но ни ответа, ни привета. Также и Карлыч[17] не отвечает мне на мое письмо. Брал ли ты у князя или у Леонида наш дневник?[18] Если нет, то возьми почитать – ведь там изо дня в день все наше путешествие.

Ну довольно. Рука устала и голова ошалела от бесконечного писанья. Пойду прогуляться по азиатскому городу, хоть уже час ночи. Но я люблю лунные ночи в Ташкенте. Пиши мне такие же художественные интересные и веселые песни. Кланяюсь всем и целую кого следует.

Что-то у вас теперь в университете... Хотелось бы быть в Москве, пиши об этом подробнее, а то ведь я ничего не знаю. Будут ли у тебя деньги на путешествия? Как это ты умудрился у Омона[19] 50 р. прокутить? Мне аж досадно: ведь это стоимость дороги до Неаполя вместе с пашпортом.

Макс.
20 января 1901 г.
Ташкент. Шахризябская, д<ом> Павлова.

Зачем это ты мне карточку финки прислал? Где теперь Шура и где Дунечка?[20]

Саша наконец написал мне из Берлина письмо, помеченное августом 1900 года и адресованное в Неаполь + современная приписка.[21] Об Норвегии он ни слова. Где и как он там ходил?

[1] Это письмо не сохранилось.

[2] Имеется в виду п. 156. Фельетон – «Эпилог XIX века» (см. примеч. 7 к п. 155).

[3] См. примеч. 6 к п. 137.

[4] См. примеч. 9 к п. 143.

[5] См. примеч. 9 к п. 159.

[6] «XIX век родился в 1789 году в Париже и умер в 1900 в Пекине», – фраза из «Эпилога XIX века» (Т. 5 наст. изд. С. 301). Подпись под статьей в № 2 «Русского Туркестана» от 3 января 1901 г.: Max Vole-à-Chine – имеет каламбурный смысл; подразумевается: Макс, летящий в Китай.

[7] Генерал-лейтенант Н.А. Иванов. См. примеч. 46 к п. 157.

[8] См. примеч. 2 к п. 136, примеч. 7 к п. 143.

[9] См. примеч. 5, 6 к п. 159.

[10] Указанная работа Ювачева либо не была завершена, либо осталась неопубликованной, либо была напечатана в неизвестном нам издании. Позднее Ювачев опубликовал в «Историческом Вестнике» – журнале, в котором он постоянно сотрудничал, – очерк на сходную тему: «Закавказские сектанты» (1904. Т. XCL, январь. С. 167–179; февраль. С. 586–607).

[11] Имеется в виду Лев Семенович Берг (1876–1950), физикогеограф и биолог, впоследствии президент Географического общества СССР (1940–1950), академик АН СССР (1946).

[12] Стихотворение «На Форуме» (1900, Рим); опубликовано в исправленной и сокращенной редакции. См.: Т. 1 наст. изд. С. 20.

[13] См. п. 128, примеч. 8, 10.

[14] Напечатано по тексту этого письма: Т. 2 наст. изд. С. 518–519.

[15] Ср. п. 158; см. примеч. 4 к п. 103.

[16] Лариса Владимировна Жебунёва.

[17] Ф.К. Арнольд.

[18] Кн. В.П. Ишеев и Л.В. Кандауров. Подразумевается «Журнал путешествия» (см. примеч. 1 к п. 112).

[19] Театр «Омон» в Камергерском переулке (дом Лианозова).

[20] Неустановленные лица.

[21] Саша – А.М. Пешковский. См. примеч. 1 к п. 157. К датировке «Август 1900 г.» Пешковский приписал дату повторной отправки письма: «(10 I 1901)».

161. А.М. ПЕТРОВОЙ

23 января 1901 г. Ташкент

Дорогая Александра Михайловна!

Посылаю Вам свой новогодний фельетон,[1] который Вам верно будет интересен.

Писать не могу сегодня, т<ак> к<ак> занят теперь разными работами со страшными названиями с 10 час<ов> утра до 9 вечера. А вы мне пишите и поскорей, а то я в последних числах – фюить!! – прямо в Париж. В Крым, увы, не попаду. А в Москве остановлюсь, остановлюсь и в Берлине, специально, чтоб Саше[2] помешать, а то он заработался уж очень. Кроме Faculté des Lettres у меня теперь мелькает мысль: не поступить ли мне и в гравировальное отделение в Académie des Arts?[3] А? Как вы думаете?..

Ну, там видно будет.

Пишите-ка мне поскорей, а то ведь Бог весть сколько лет еще не увидимся, если только вы сами в Париж не приедете.

А что теперь со студентами-то делают![4] Хорошо, что я покончил с этим.

Кланяюсь всем.

Спросите, пожалуйста, Леру об моем альбоме с фотографическими карточками, который она оставила у каких-то своих знакомых в Москве. Пожалуйста, спросите.[5]

Макс.

Ташкент. Шахризябская ул., д<ом> Павлова, кв. Яхонтова.

23 января 1901 года.

[1] Статья «Эпилог XIX века» (см. примеч. 7 к п. 155).

[2] А.М. Пешковский.

[3] «Académie des Beaux-Arts» – Академия изящных искусств (создана в 1816 г.) в составе Института Франции (L'Institut de France).

[4] См. примеч. 8 к п. 159.

[5] В письме от 24 января 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 48–51 об.) Петрова уведомляла Волошина, что говорила с В.А. Воллк-Ланевской относительно альбома – и та «обещала возвратить его обязательно».

162. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

23 января 1901 г. Ташкент

Дорогая мама!

Сегодня пришло Ваше письмо от 12 января (ответ на мое от 30 декабря).[1] Прежде всего о делах. Я сказал Валериану,[2] что хочу продать свою кровать, и он ответил, что покупает ее для конторы. О цене мы еще не говорили, но во всяком случае это лучше, чем тащить эту неуклюжую и тяжелую махину, которой я не пользовался. Относительно ковра я узнаю и напишу. Мех тоже постараюсь купить в скором времени. Если вы будете ждать меня в Москве, то это будет очень хорошо. Я думаю, что смогу приехать теперь даже раньше: в начале марта, т<ак> к<ак> у меня к концу февраля будет уже 300 рублей, не считая того, что я получу с редакции, а там наберется верно до 60-ти.

Кроме того, я заключил с редакцией[3] условие на то время, пока я буду за границей, что я буду посылать им ежемесячно по 2 фельетона, а они мне регулярно каждый месяц бу-

дут высылать по 25 рублей, а через несколько месяцев будет производиться общий итог, т<ак> к<ак> я, конечно, в двух фельетонах напишу больше, чем на 25. Так что у меня таким образом будет в месяц обеспечено не 40 р., а 65 р., что мне даст возможность быть не только вольнослушателем, но и действительным студентом. У меня будет 165 фр. в месяц, а Жорж Занд жила в Париже во времена своей молодости на 100.

Как Валериан говорит, я могу получить билеты по всем казенным жел<езным> дорогам. То есть всё до Москвы, кроме расстояния Баку – Ростов. Я думаю, что смогу получить и от Москвы до Варшавы. Это будет мне стоить дешевле, чем пароход от Батума до Феодосии. Если я тронусь в начале марта, то Вам и ждать не придется.

Не понимаю, почему Вам так хочется домик именно в Коктебеле, когда на свете есть много значительно лучших мест. Почему вы так сразу отвергаете предположение Досекина о Неаполе, право, не понимаю.[4] Домик где-нибудь на берегу Соррентского полуострова, особенно с южной его стороны между Салерно и Амальфи около Capo del Orso при городках Minori и Majori или дальше около Позитано[5] – что может быть лучше? Туристов там нет: они толкутся на северном берегу около Сорренто. А какая красота! Когда я попал туда,[6] мне сначала показалось, что я вижу что-то знакомое, похожее на Ялту, но после понял, что Ялта сравнительно с этим просто лубочная копия с мастерского произведения гения. Там все голубое: и море, и скалы, и небо. Глядя на Черное море, нельзя составить себе никакого представления о всей синей прозрачности Средиземного. Оно так же не похоже на него, как Патриаршие пруды[7] на Коктебельский залив.

У нас был бы там маленький домик, окруженный тенистой рощей лимонов. Кругом бы вился виноград, росли кактусы и агавы. В горах тысячи прогулок одна другой живописнее и верхом, и пешком, и на лодке. Страшная дешевизна жизни. Симпатичные веселые итальянские крестьяне. Рядом в нескольких часах езды Неаполь. Дорога до Москвы всего 40 рублей.

Во всяком случае вот что: погодите решать что-нибудь определенное до моего приезда, а поговорив, решимте это

вдвоем, потому что мне хочется тоже вложить в домик свою долю.

Напишите мне, когда бы вы думали уехать в Крым, если бы не дожидались меня? А я напишу Вам об окончательном сроке моего отъезда в скором времени. От Яши[8] я на днях получил письмо. Что-то теперь у Вас в Москве со студентами делается?

Макс.

23 января 1901 г. Ташкент.

Целую бабушку.

[1] Упомянутое письмо Волошина не сохранилось.

[2] В.О. Вяземский.

[3] Редакция газеты «Русский Туркестан».

[4] 12 января 1901 г. Е.О. писала Волошину, что идея «строить в Коктебеле домик» укрепилась, она думает «сделать это с подрядом», а Батум «совсем похерила»; узнала от Досекиной (а не от Досекина), что «на берегу моря близ Неаполя» можно купить замок с клочком земли за 900 р., но и это ее «не соблазняет» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 1–4 об.).

[5] Небольшие города на берегу Салернского залива. Саро del'Orso – мыс в Салернском заливе, юго-западнее Салерно.

[6] Волошин был в Салерно и Равелло 16/29 июля 1900 г. См.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 98–101.

[7] Патриаршие пруды – местность в Москве неподалеку от Большой Садовой улицы между Ермолаевским и Малым Патриаршим переулками. Из трех прудов, устроенных в заболоченной низине в 1683–1684 гг. патриархом Иоакимом, в настоящее время остался лишь один.

[8] Я.А. Глотов.

163. Л.В. КАНДАУРОВУ

24 января 1901 г. Ташкент

Я только что перечитал Ваши три письма, дорогой Леонид, писанные мне в Ташкент,[1] и мне снова стало совестно, что я так долго Вам тогда не ответил. Может, Вы поэтому и не пишете теперь? Ну, не сердитесь, пожалуйста.

Я сам верно уже скоро буду в Москве, проездом в Париж, и остановлюсь там дней на десять.

Жизнь моя теперь идет очень однообразно, т<ак> к<ак> я с десяти часов утра до девяти часов вечера занят в конторе, а потом вплоть до трех ночи заготовляю впрок фельетоны для «Русского Туркестана». Между прочим, начал писать и очерки нашего путешествия, т.е. путешествия там нет, а только очерки и картины.[2] В общем, слабо.

Ни на Памир, ни в Кашгар я, очевидно, не поеду, т<ак> к<ак> слишком меня сразу потянуло в Париж. А осенью на время каникул (тамошних) думаю в Пиренеи и в Испанию.

Что это Карлыч[3] мне не пишет?

Да — вот просьба: узнайте, пожалуйста, у Карандеева[4] адрес нашего константинопольского знакомого Эдуарда Тарсиана[5] в Париже. У меня адрес был записан, но пропал во время ареста, а у Карандеева, может, сохранился. А мне бы хотелось найти Тарсиана в Париже. Он — милый.

До двадцатого февраля я буду во всяком случае в Ташкенте, а письма идут сюда из Москвы девять дней.

Я никак не могу понять из Ваших писем: продолжаете ли Вы быть филологом или бросили университет?

Что поделывает Князь?[6]

Слышали ли что-нибудь о незабвенном Алексисе?[7] Общий поклон.

Макс.

Ташкент, Шахризябская ул., д<ом> Павлова, кв. Яхонтова.

[1] Письма Л.В. Кандаурова от 19 сентября, 5 ноября и 23 ноября 1900 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 1—6).

[2] По впечатлениям от летнего заграничного путешествия 1900 г. Волошин написал цикл путевых очерков «Листки из записной книжки», опубликованный в «Русском Туркестане» в 1901 г. (№ 13. 28 янв.; № 18. 9 февр.; № 20. 16 февр.; № 26. 2 марта; № 34. 18 марта). См.: Т. 5 наст. изд. С. 321—352.

[3] Ф.К. Арнольд.

[4] Со студентом естественного факультета Московского университета В.А. Карандеевым Волошин и его спутники по путешествию познакомились на пароходе «Эвтерпа» 22 июля / 4 августа 1900 г. См.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 107—108.

[5] 4 февраля Кандауров отвечал Волошину: «Я справлюсь у Карандеева, но едва ли он знает адрес Терсиана более точно, чем Вы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617). Ср. недатированное письмо В.А. Карандеева к Волошину: «Насколько я понял Ваше письмо, мне показалось, что Вы считаете адрес, оставленный нам Терсианом, за его адрес в Париже. Между тем это – адрес его родителей в Константинополе. Он следующий: Constantinople, Grande rue de Perà № 407. Вы можете, конечно, узнать парижский адрес Терсиана, написавши его родителям <...>» (Там же, ед. хр. 624).

[6] Кн. В.П. Ишеев.

[7] А.В. Смирнов. 4 февраля 1901 г. Кандауров отвечал: «Князь не едет в Москву, верно трусит студенческих смут, как бы не получить в чужом пиру похмелье. Alexis'а я видел осенью только мельком» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617).

164. Л.В. КАНДАУРОВУ

25 января 1901 г. Ташкент

Сегодня только утром я отправил тебе письмо и сейчас же получил ответ.[1] Я очень рад, что, наконец, наш римский брудершафт подействовал, хоть и через шесть месяцев.[2] Где мы бишь его пили? Кажется, в каком-то из переулков около св. Петра? Помню только, что за какие-то печенья с нас лиру взяли тогда (ужасная сумма!). Ужасно медленно действующее вино было. Представь себе, меня даже князевы штаны[3] перестали возмущать, а ведь полтора месяца назад я вспоминал и возмущался. Ужасно мне будет интересно прочесть теперь наш дневник.[4] Какое впечатление производит он на наших знакомых?

Относительно знакомства с Поленовым я очень мечтаю, после твоего первого письма,[5] и думаю быть в Москве именно как раз в начале марта. В Кашгар я уже верно не попаду: теперь страшные снега на Тянь-Шане, и Валериан[6] отказывается. Поэтому я и приеду раньше. Не можешь ли ты мне как-нибудь устроить через Поленовых знакомство с какими-нибудь русскими художниками в Париже. Я буду об этом просить г-жу Юнге, но едва ли у ней остались какие-нибудь знакомые теперь в Париже. Кроме занятий историей литературы и ис-

кусства, я думаю попробовать учиться и рисованию-гравированию собственно. Я теперь снова начал рисовать пером, и это мне очень улыбается. Только это, конечно, одни бесчисленные проекты, т<ак> к<ак>, кроме того, я еще думаю учиться какому-нибудь ремеслу, чтобы иметь возможность путешествовать совсем без денег. Думаю после окончания курса в Париже идти пешком в Индию через Памир и Гималаи, думаю еще поехать в Японию. Это последнее, между прочим, страшно дешево, если поехать из Европы на японском пароходе и немного научиться языку. Двухсот пятидесяти рублей вполне достаточно. Не желаешь ли в новое «сверхчеловеческое путешествие» в Японию?

Поздравляю Константина Васильевича.[7] Господи! Кажется, с моего отъезда из Москвы все переженились: ты, Федор,[8] Блюм, Озеров, Константин Васильевич, Климентьев. И все сразу. Прямо поветрие какое-то.

Учиться у китайцев я советую совсем не в ироническом смысле:[9] во-первых, мы их совсем не знали, во-вторых, это единственная цивилизация, не основанная на рабстве, потом они умудрились избегнуть милитаризма и капитализма, наконец, полная равноправность, отсутствие аристократии и в основе вместо лозунга «прогресс есть увеличение потребностей» диаметрально противоположное стремление. Это все может не понравиться, и мы найдем, что в Европе все-таки истина, но поучиться этому следует. «Быть как можно меньше европейцем»[10] для настоящего (но не для другого) времени — это необходимый нравственный принцип.

Поклон Лидии...[11] (а дальше вот не помню как), Федору, Блюму, Князю, Константину Васильевичу и т.д.

Макс.

[1] Имеются в виду п. 163 и письмо Кандаурова от 14 января 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 7–8 об.).

[2] Подразумевается предложение Волошина «выпить брудершафт» 3/16 июля 1900 г. в Риме (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 72).

[3] Приобретение кн. В.П. Ишеевым новых брюк стало предметом полушуточного обсуждения на страницах «Журнала путешествия» (записи от 11/24 июля 1900 г., см.: Там же. С. 89–90).

[4] Т.е. «Журнал путешествия».

[5] Имеется в виду письмо Кандаурова от 19 сентября 1900 г. См. примеч. 15 к п. 139. В письме от 14 января Кандауров сообщал о своем намерении сводить Волошина в марте к Поленовым.

[6] В.О. Вяземский.

[7] В письме от 14 января Кандауров извещал Волошина о женитьбе брата, К.В. Кандаурова, в двадцатых числах января.

[8] Ф.К. Арнольд, писавший Волошину в недатированном письме: «Леонид, скорбная головушка, Владимир Виваныч (Блюм. — *Ред.*), *бывший* "Вилли Мотылек" <...> и я, Карлыч — женились» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 202).

[9] 14 января 1901 г. Кандауров писал Волошину: «Твой фельетон очень интересен, но я все же не чувствую пристрастия к китайцам и понимаю как прием иронии советы у них учиться».

[10] Смысловые очертания образа «европейца» соотносятся у Волошина с его трактовкой в книге Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (отд. 8, фрагменты 241, 242). См.: *Ницше Фридрих.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 360—362.

[11] Л.Т. Кандаурова.

165. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

29 января 1901 г. Ташкент

29 января 1901 г.

Дорогая мама!

От Вас все нету ответа на мое письмо с новогодним фельетоном,[1] а я его жду с нетерпением, т<ак> к<ак> оно могло бы прийти уже 25-го. Я решил ехать в Москву около 20 февраля. Я получу тогда жалование (Валериан[2] сказал, что даст мне и прогоны и билет) и поеду вместе с Ювачевым, о котором я Вам уже писал (я только ошибся: его статьи о Сахалине помещены не в «Русском Архиве», а в «Историческом Вестнике» за 1900 г. с января по июль).[3] Мы тогда проедем до Тифлиса, а оттуда по Военно-Грузинской дороге.[4]

Такой черной шкурки, как вы просили, я не нашел, но зато купил для вас огромную — белый мех очень мягкий, пушистый, теплый с длинными локонами неизвестно от какого животного. Сарт[5] все говорил про какую-то каракулю. Но

сколько мне известно, таких животных не существует. Купил я тоже Вам и ковер: 2¾ арш<ин> длины и 1¾ ширины, кажется, ничего себе: мохнатый и не очень пестрый. И то и другое стоит 27 рублей (вместе). И я это верно вышлю раньше, т<ак> к<ак> не хочу тащить с собой слишком много.

Пишу я теперь фельетонов массу: один напечатанный посылаю Вам. Это начало очерков путешествия.[6] Фельетоны эти в Ташкенте производят фурор. Вице-губернатор,[7] у которого я теперь часто бываю, мне говорил вчера: «Вы пишите только больше: все пропущу, что ни напишете», и каждый раз, как я к нему прихожу, просит меня прочитать о Версале (сыр),[8] что ему очень нравится.

Что делается теперь со студентами в Москве и вообще? Кроме правительственного сообщения сюда не проникло никаких сведений.[9]

Я думаю, что вы во всяком случае не тронетесь из Москвы раньше половины марта, так что мы, прожив вместе с полмесяца, тронемся одновременно в разные стороны.

Пока у меня совсем почти не было знакомых в Ташкенте, но теперь меня уже совсем осаждают разными приглашениями и просьбами об участии в литературных вечерах, концертах, спектаклях.

Я собираюсь, между прочим, ставить здесь «Дядю Ваню».[10]

До свиданья. Целую бабушку и с нетерпением жду Вашего мнения о новогоднем фельетоне.

Макс Волошин.

P.S. Заграничный пашпорт я думаю взять здесь, чтобы не иметь историй в Москве. А то скажут, как Пешковскому, что надо сперва три месяца прожить.

[1] Письмо Волошина к Е.О. (с приложением газетных вырезок со статьей «Эпилог XIX века»; см. примеч. 7 к п. 155), вероятно, не сохранилось.

[2] В.О. Вяземский.

[3] См. примеч. 44 к п. 157, п. 159, примеч. 6.

[4] Военно-Грузинская дорога от Тифлиса до Владикавказа, протяженностью в 208 км, идет через Мцхет, долины Куры и Терека, Да-

рьяльское ущелье и Крестовый перевал (на высоте 2384 м над уровнем моря).

[5] Сарты — искони оседлая часть узбеков, их самоназвание в Ташкентском, Ферганском, Хорезмском оазисах и в южном Казахстане.

[6] В № 13 «Русского Туркестана» от 28 января 1901 г. был напечатан очерк Волошина «Листки из записной книжки (май — август 1900 г.)» с описанием путешествия по Австрии. Позднее появились еще четыре очерка под этим же названием. См. примеч. 2 к п. 163.

[7] Генерал-лейтенант Н.А. Иванов.

[8] Стихотворение Волошина «В Версале», или «Версальский сыр» («В осенний холодный, но солнечный день...»), написанное 2 января 1900 г. в Берлине. См. п. 90, примеч. 16.

[9] В № 11 «Русских Ведомостей» от 11 января 1901 г., в частности, сообщалось, что в беспорядках участвовало от 250 до 700 из 2700 студентов Московского университета; из задержанных 395 двое были определены в военную службу на три года, пятеро — на два года и 176 — на один год (остальным 209 — выговор).

[10] Замысел постановки этой пьесы (1896) А.П. Чехова не был осуществлен.

166. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

4 февраля 1901 г. Ташкент

4 февраля 1901 г.

Наконец-то я получил от Вас письмо,[1] дорогая мама, а то я начинал уже беспокоиться. На это письмо Вы мне уж не отвечайте: Ваш ответ не застанет меня, потому что я выеду из Ташкента 20 февраля или 21-го. Приеду я в Москву не второго марта, а несколько позже, т<ак> к<ак> проеду по Военно-Грузинской дороге, что меня несколько задержит.[2] Билетов даровых я, к сожалению, не получу, так как, оказывается, они смогут получить только через 2 месяца. Но это ничего — по моим расчетам дорога до Москвы мне обойдется 40 рубл<ей> с Военно-Грузинской дорогой. При отъезде у меня будет вместе с прогонами (112 р.) — 386 руб. да из редакции я получу еще 80—100 рубл<ей>.

Заказ № 5706

Прожив в Москве недели две, я тронусь в Берлин. Остановлюсь там на несколько дней, а оттуда думаю проехать в Париж через Дрезден, Нюренберг, Страссбург, чтобы повидать и эти города. Расстояние тут такое же, как через Кёльн, а через Кёльн III кл<асс> от Москвы до Парижа стоит 38 р. Я же по Германии поеду в IV классе, значит, еще меньше. Словом, я надеюсь быть в Париже в начале апреля и думаю, что у меня останется к тому времени еще 300 рублей, что мне свободно хватит на время летнего семестра + путешествие на Пиренеи в августе. 40 рублей в месяц мне действительно было бы только в обрез,[3] но теперь, когда я еще буду получать от «Русского Туркестана» по 25 р. ежемесячно, у меня будет 162 фр. в месяц, что вполне достаточно, даже слишком достаточно — и на жизнь и на плату в университет.

Странно: зачем это мне надо подавать прошение об увольнении, чтобы получить мои бумаги из Университета, когда я оттуда и без того два раза уже выгнан?[4] Не понимаю. Но это я уж сделаю лично по приезде.

С вашими замечаниями относительно фельетонов я вполне согласен. Вот только если б мне еще удалось в Москве заручиться разными корреспонденциями из Парижа — я был бы совсем богачом.

Я приеду с Ювачевым, и он остановится на несколько дней в Москве, и я вас тогда непременно познакомлю с ним. Он удивительно интересный и удивительно хороший человек.

В нем какая-то удивительная уравновешенность и примиренность, которая особенно поражает после его рассказов о тех ужасах, которые он переиспытал за 4 года в Шлиссельбурге и за 8 лет на каторге. Положим, он сам не любит это говорить и говорит очень редко об этом. Он глубоко религиозен, до экстаза, но и это в нем как-то очень уравновешенно и не поражает. Вообще это очень интересный и симпатичный человек во всех отношениях, и мне ужасно интересно, какое впечатление произведет он на вас.

Целую бабушку.

Макс.

[1] Письмо Е.О. от 23 января 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 6–9 об.) с отзывом о статье Волошина «Эпилог XIX века»: «...ты, видно, писал наспех или поленился отделать слог; есть много шероховатостей; кроме того, первая часть Эпилога производит впечатление составленной из отдельных вместе сшитых кусочков; вторая часть мне гораздо более нравится, но все это не вполне удовлетворяет меня: я жду более сильного чувством, яркого и вместе простого выражения в произведениях твоих».

[2] Волошин выехал из Ташкента (вместе с И.П. Ювачевым) в Москву около 22 февраля (через Самарканд, Асхабад, Красноводск, Баку, Тифлис, Владикавказ), прибыл в Москву 4 марта 1901 г.

[3] Е.О., сделав (в письме от 23 января) расчет стоимости жизни в Париже, считала, что на питание уйдет в месяц 93 франка и «на все остальное» останется 17–20 франков – «что-то маловато!».

[4] 23 января Е.О. писала Волошину: «Если ты хочешь получить из Университета свои бумаги и свидетельство об окончании 2 курсов университета, то пиши прошение об увольнении с просьбою возвратить твое метрическое свидетельство, формуляр<ный> список отца и выдать свидетельство».

167. ЭДУАРДУ ТЕРСИАНУ

Январь – начало февраля (?) 1901 г.[1] *Ташкент*

Mon cher monsieur Gedwarde!

En revenant de Constantinople, je suis arrêté en Crimée comme un revolutionnaire et envoyé à Moscou avec les gendarmes. Là on m'avait mis en prison oú j'ai été quelques semaines.[2] N'est-ce pas ce ressemble au turque? Après on m'avait envoyé en exile dans l'Asie Centrale,[3] où j'ai reçu une place à recherches de chemein de fer Orenbourg – Tachkente. Deux mois j'ai passé aux steppes au bord de Sir-Darya toujours à cheval, habitant dans les «jourtes» des Kirgises. Maintenant je demeure dans la ville de Tachkente, et j'espère qu'au mois de mai 1901 je pourrai venir à Paris pour étudier à l'Ecole des chartes,[4] et dans quelques mois j'aurai le plaisir de vous rencontrer là. Envoyez s'il vous plaît votre adresse parisienne.

Max Volochine.

Mon adresse: Russie. L'Asie Centrale. Tachkente. Bureau de Chemin de fer Orenbourg – Tachkente. A M-r Max Volochine.

П е р е в о д:

Мой дорогой господин Гедвард!

Возвращаясь из Константинополя, я был арестован в Крыму как революционер и препровожден с жандармами в Москву. Там я был посажен в тюрьму, где пробыл несколько недель.[2] Не правда ли, это напоминает турецкие нравы? После этого меня отправили в ссылку в Центральную Азию,[3] где я получил место в партии по изысканию трассы железной дороги Оренбург – Ташкент. Я провел два месяца в степях на берегу Сыр-Дарьи, не слезая с лошади, а жилищем мне служили киргизские юрты. Теперь я проживаю в городе Ташкенте и надеюсь, что в мае месяце 1901 г. смогу приехать в Париж для занятий в Школе хартий[4] и через несколько месяцев буду иметь удовольствие там с вами встретиться. Пришлите мне, пожалуйста, ваш парижский адрес.

Макс Волошин.

Мой адрес: Россия. Центральная Азия. Ташкент. Контора железной дороги Оренбург – Ташкент. Г-ну Максу Волошину.[5]

[1] Текст письма составлен, вероятно, в ожидании парижского адреса Терсиана, который Волошин запрашивал в п. 163.

[2] См. примеч. 2 к п. 133, примеч. 3 к п. 139.

[3] Волошин поехал в Среднюю Азию по собственной воле; после ареста и последовавшего освобождения ему лишь было запрещено проживать в столице.

[4] См. примеч. 12 к п. 139.

[5] В архиве Волошина сохранилось недатированное письмо Терсиана к нему из Константинополя (текст по-французски: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1386) – ответное на письмо Волошина, отправленное из Парижа (не ранее весны 1901 г.). Терсиан сообщал, что назначен в Константинополе правительственным архитектором, и с теплом вспоминал о кратковременной встрече с Волошиным: «Иногда, когда я читаю Верлена, вспоминаю, как Вы вечером читали мне его. <...> Часто думаю о Вас, но не хватает смелости писать. Ваша простота и Ваша живость, Ваш характер и Ваша откровенность внушили мне симпатию к Вам. Я неожиданно решил, что нашел в Вас родственную душу. Но увы, это было слишком коротко. Я был бы рад, если б Вы были аккуратны в переписке».

168. А.М. ПЕТРОВОЙ

12 февраля 1901 г. Ташкент

Милая Александра Михайловна! Каждый раз, как я получаю ваши письма, я испытываю очень глубокое впечатление. Ведь действительно: существуют во всем мире только два человека, которые присутствовали при первых слабых побегах моего духовного мира — Вы и Пешковский, и вы оба можете понять каждый шаг, каждую новую ступень, в то время как для всякого другого, сделайся он наиближайшим моим другом, я буду только величиной со многими неизвестными. Когда я получаю Ваши или его письма, меня каждый раз вновь озаряет мысль, что об «этом» и «так» говорить я могу только с вами и больше никогда и ни с кем. Каждый раз я перебираю все геологические наслоения мыслей, осевшие на дно. Многого нельзя никак сказать ни на каком языке, выразить невозможно никакими словами, и можно только тогда говорить, когда это все вместе раньше передумано. Вы правы — пустыня мне много сказала, но далеко все-таки не так много, как могла бы, потому что я был не один в пустыне. Моя «пустыня» еще впереди.[1] Может, тоже «на половине жизненной дороги»?[2] Теперь туда — в пространство человеческого мира — учиться, познавать, искать. В Париж я еду не для того, чтобы поступить на такой-то факультет, слушать то-то и то-то — это всё подробности, это всё между прочим — я еду, чтобы познать всю Европейскую культуру в ее первоисточнике и затем, отбросив все «европейское» и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям «искать истины», в Индию, в Китай. Да, и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности. Когда это будет сделано, тогда уж действи<тельно> нужно будет на сорок дней в пустыню, а после того в Россию окончательно и навсегда. Вы боитесь, что я отрешусь от всего родного.[3] Теперь, пока это, может, и *надо* будет сделать, чтобы получить полный и абсолютный простор для мысли. А потом, когда наступит время, родное само хлынет в душу неизбежным, неотразимым поток<ом>,

и тем сильнее хлынет. Вертится у меня одна фраза Щедрина: «Хорошо за границей, а в России лучше: лучше — потому что больнее».[4] «У нас занятней», — говорит он в другом месте.[5] А ведь и действительно занятней! В какой такой другой стране студентов будут отдавать в солдаты за то, что они хотят исключить из своей среды нескольких негодяев-товарищей? Разве это не занятно?

А то вон в Ташкенте болтают, что двух студентов за отказ от воинской повинности расстреляли.... По всем вероятиям врут, конечно, а все-таки занятно. Кто из молодых людей не мечтает сделаться мучеником идеи, пострадать за правду и т.д. И что же? Россия ведь именно такая страна, которая прямо так и создана для молодых радикально настроенных людей: страдай за правду, сколько твоей душеньке угодно. Это-то удовольствие каждый, кто хочет, может себе доставить: даже и придумывать ничего не нужно, а просто приходи да и страдай.

Изнуренный ношей крестной,
Всю тебя, страна родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.[6]

И при том наилиберальнейшая страна эта Россия. Не далее как вчера вечером я по настойчивому требованию публики несколько раз читал свой «Версальский сыр»,[7] а публика состояла из вице-губернатора (цензор тож),[8] советника областного Управления, начальника города, двух полицеймейстеров и лиц, принадлежащих к прокурорскому надзору. Восторг был самый искреннейший, а в заключение вице-губернатор сказал мне «от лица местной администрации» приветственную речь, в которой желал счастливого продолжения «такой же» литературной деятельности. И все присутствующие были искренно тронуты и приветствовали меня, высланного студента, который по-настоящему у них у всех под надзором состоит. Разве это не занятно? Правда сказать, вице-губернатор-то в свое время по каракозовскому делу судился,[9] а советник областн<ого> правления был по лопатинскому делу к повешенью приговорен,[10] но ведь и это тоже к одним из занятнейших казусов русской жизни принадлежит. Да я даю голову

на отсечение, что те самые лица, которые теперь студентов в солдаты отдают, встреться я с ними где-нибудь дома, также таяли бы в либеральном восторге, слушая притчу о сыре. Я не в осуждение своим ташкентским знакомым говорю: они очень умные, интеллигентные и действительно пострадавшие люди, но таковы уж занятные особенности русского администратора вообще. Ни один жандарм не мог вынести больше пяти минут, когда я, улыбаясь, смотрел на него, чтобы тоже не рассмеяться, в то время, когда я сидел в тюрьме. И вот подите-ка – опять это особенность русской натуры: именно эта-то «занятность» русской жизни всего милее и всего дороже-то и кажется, хотя логически-то как раз наоборот следовало бы!

Мама мне сегодня как раз пишет, что была в университете сходка всего из 300 человек, но что все идет вяло: настроения нет.[11] Опять-таки занятно; отдали 170 человек в солдаты, а настроения все-таки нет.

Бедный Яша,[12] – мама пишет про него: «Он вообще производит теперь впечатление человека, попавшего в тяжелое, безвыходное положение; подумывает также об увольнении из университета, т<ак> к<ак>, оставаясь, надо принимать участие в сходках, волнениях, что грозит солдатчиной, расхолаживающей и это незначительное меньшинство скромно негодующих». Яше мать было предложила сама ехать в заграничный университет, но теперь просит подождать: может, и так все пройдет. Яша собирается ехать в Женеву, т<ак> к<ак> в Париже слишком дорого, а немецкого языка он не знает, чтобы ехать в Германию. Хорошо будет, если он тоже уедет за границу: я его все-таки буду уговаривать ехать в Париж: вдвоем мы там дешево проживем. Он мне такие хорошие и такие остроумные письма пишет (жаль только, что редко), что, право, мне кажется, что у него литературный талант есть. Я уже скоро еду в Москву – так, 18–20 февр<аля>, и в Москве пробуду до половины марта (сегодня уже прошение о заграничном пашпорте подал), так что вы мне теперь в Москву пишите (Проточный пер<еулок> около Смоленского рынка, д<ом> Богданова, Надежде Григорьевне Глазер для Макса). А позже Paris. Poste restante Max Volochine, пока я не устроюсь там.

Я, разумеется, остановлюсь и в Берлине у Саши.[13] А оттуда думаю проехать через Дрезден, Нюренберг и Страсбург, т<ак> к<ак> я еще не видел этих городов. Вот, может, в Берлине и с Антонио дель Веккио[14] познакомлюсь. А этот берлинский период Сашиной жизни все-таки не останется вполне темным: я у него уж выведаю про его подвиги. Вот Вам труд, кстати: начните жизнеописание Пешковского в юности. Тема очень благодарная и, кроме того, впоследствии такой труд может и действительно оказаться неоцененным документом. Посылаю вам разные мои писания. Они не очень-то отделаны. Писать-то хотелось, да было так много дела служебного, что у меня дни были заняты с 10 час<ов>утра до 9 вечера.

За сим общий реверанс.

Макс.

12 февраля 1901 г. Ташкент.

P.S. Собственно об очень многом еще бы хотелось поговорить, да я как-то сейчас не в состоянии, а если оставлю письмо, то залежится.

[1] В письме к Волошину от 24 января 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 48–51 об.) Петрова сообщала: «Когда Вы уехали, папа говорил с Еленой Оттобальдовной, что пустыня на Вас произведет должное влияние, что Вы вовсе не потеряете время, а, напротив, научитесь серьезнее, пристальнее, вдумчивее смотреть вдаль. И я была вполне с ним согласна. Оставалось только подтверждение, и оно теперь налицо. Картина, написанная Вами, широка и прекрасна, Вы *почти поняли*, чтó нужно, поняли настолько, насколько способна понять Ваша натура».

[2] Перевод 1-й строки «Божественной Комедии» Данте («Ад», песнь I) «Nel mezzo del cammin di nostra vita».

[3] В приписке от 26 января к цитированному письму Петрова выражала надежду на то, что Волошин не утеряет «живейшей связи с родиной, которая *обязательно должна быть*».

[4] Подразумевается следующий фрагмент из цикла «Убежище Монрепо» (очерк «Монрепо – усыпальница», 1879): «Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, все-таки выходит, что

у нас лучше. Лучше, потому что больней» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. литература, 1972. Т. 13. С. 334).

[5] Слова Мальчика без штанов в главе I цикла «За рубежом» (1880): «У нас, брат, шарóм покати, да зато занятно...» (Там же. Т. 14. С. 40).

[6] Приведенная по памяти неточная цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

[7] См. п. 90, примеч. 16.

[8] Генерал-лейтенант Н.А. Иванов.

[9] См. примеч. 46 к п. 157.

[10] См. примеч. 2 к п. 136, примеч. 7 к п. 143.

[11] См. примеч. 6 к п. 169.

[12] Я.А. Глотов.

[13] А.М. Пешковский, учившийся в Берлинском университете.

[14] Об Антонио дель Веккио – друге Марио Лаго, студенте философского факультета в Берлине – Петрова сообщала Волошину в письме от 22 ноября 1900 г., называя его, впрочем, Джорджо (Giorgio): «На днях буду писать Пешковскому, чтобы он обязательно познакомился с его другом в Берлине. Он еврей и учится философии. Вот пару сведу!»

169. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14 февраля 1901 г. Ташкент

14 февраля 1901 г. Ташкент.

Вот уже два дня как в Ташкенте жара. Да! буквально жара. Солнце печет, как летом, прохожие обливаются потом, на улицах пыль. Еще неделька – и все будет зеленеть. И это в половине февраля. А фиалки еще в январе были.

Я вчера получил Ваше письмо от первого февраля.[1] Но я теперь так занят разными сборами к отъезду, что бегаю по целым дням. Сегодня исполнил все формальности для получения заграничного пашпорта и послезавтра его получу. Я решил пашпорт взять здесь, чтобы меня в Москве не задержали с разными формальностями. Деньги я думаю устроить так: триста рублей я переведу отсюда прямо в Париж в Crédit Lyonnais,[2] а остальные 130 возьму с собой на всю дорогу и пребывание в Москве. Я выеду верно 18-го в воскресенье, т<ак>

к<ак> иначе сможет оказаться, что я даже и до Красноводска билета не получу. Словом, когда вы это письмо получите, то я буду уже в пути и, верно, на Каспийском море. Но не считайте, что я буду ехать всего 9 дней, т<ак> к<ак> Ювачев хочет остановиться в Самарканде, и я тоже не прочь от этого, т<ак> к<ак> тех нескольких часов, что я провел там, слишком мало, чтобы осмотреть все. Ведь это по своим развалинам настоящий Средне-Азиатский Рим. А потом нас задержит еще Военно-Грузинская дорога, тем более что мы поедем не в дилижансе, а на почтовых, чтобы иметь возможность останавливаться в интересных местах. Так что на все это уйдет еще верно неделя, так что я очутюсь в Москве только около 6 марта. Во всяком случае при отъезде я Вам еще напишу.

А хорошо было бы, если бы Екатерина Владимировна[3] действительно отпустила Яшу[4] за границу. Я не думаю, чтобы в Париже нельзя было бы устроиться на 40 р. А вдвоем, если он со мной поедет, тем более. В Женеве (потому что если он хочет ехать во Французскую Швейцарию, то поедет, разумеется, только в Женеву) он, пожалуй, пропадет один с тоски.

С другой стороны: если б он поехал в Париж, то верно бы собралась туда и Лёля,[5] и это опять-таки было бы очень хорошо для нее.

Ну да это я уж сам буду с ним толковать, когда приеду в Москву.

Я очень хорошо понимаю его угнетенное состояние. И я сам, становясь в это положение, решительно не знаю, что тут делать. Польза участия в движении слишком ничтожна, а кара слишком велика, т.е. велика не в смысле самой солдатчины, а в смысле неизбежного отказа от солдатчины и следующего после сего возмездия.

Я глубоко радуюсь, что я теперь уж не студент. Хотя это в сущности только формальная уловка, и будь я в Москве, я не знаю, что бы я делал. Теперь принимать участие в беспорядках возможно только в том случае, если заранее решишься на все последствия отказа от военной службы. Меня совсем поразило то, что Вы пишете, что у московских студентов настроения нет и они его ждут откуда-то.[6] Это-то после отдачи 170 чело-

век в солдаты нет настроения? Неужели это им для настоящего настроения мало? Откуда же еще большего-то ждать!

Ну до свиданья. Целую бабушку.

Макс.

[1] Письмо Е.О. от 1 февраля 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 10–13 об.).

[2] Лионский кредит – французский банк, имевший отделения во многих городах.

[3] Е.В. Глотова.

[4] Я.А. Глотов.

[5] Е.С. Лямина.

[6] Е.О. сообщала (в письме от 1 февраля 1901 г.), что 29 января в Московском университете была студенческая сходка, на которую собралось «только 300 с чем-то человек»: «Все идет у студентов очень вяло, нет настроения, и они ждут его откуда-то». На студенческое движение 1901 г. наложило отпечаток то, что оно было обезглавлено: летом 1900 г. практически все члены Исполнительного комитета были арестованы (*Орлов В.Н.* Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. С. 371–374). Однако в конце февраля 1901 г. в Москве прошли массовые демонстрации студентов, сопровождавшиеся стычками с полицией.

170. А.М. ПЕТРОВОЙ

16 февраля 1901 г. Ташкент

Александра Михайловна!!!

Чего вы?!!!

Трах! трах! тр-р-р-ах!!!!

Десять динамитных бомб одна за другой!!![1]

Фу! Даже из глаз искры посыпались!

Ну чего? Ведь если бы действительно что-нибудь! От моей поэмы того не убудет, а в самом начале XX века мне удалось основательно выругаться. Кроме того, теперь прошли в печать многие строфы, которые могли пройти только в Ташкенте, и следовательно, на будущее они обеспечены, кроме того, мне лень было писать прозой то, что написано стихами, кроме того, в Ташкенте этого все равно

никто читать не будет. А внутреннее развитие «Века» пойдет себе таким же путем, как и шло. Как поэму-то я его еще долго не выпущу – это вы не беспокойтесь, а вот вы прочтите хорошенько вторую часть, где Макс Vole à Chine,[2] она и интереснее, и фельетоннее. Одно меня только утешило: генерал-губернатор по поводу вашего внучка специальный совет собрал, чтоб решить: революция или не революция? Судили, судили и решили: не революция.[3]

То, что я вам послал теперь: Листки из записной книжки,[4] и это тоже всё материалы для будущих стихов – вы так на них и смотрите. А потом я за это все вместе сто рублей получил. Чувствую, что вас от этой фразы сейчас взорвет. Но вы сообразите-ка, что так же как мои фельетоны только скверные куколки, из которых выпорхнут блестящие стихи, так и эта сторублевая бумажка – это вся Испания, с целыми Пиренеями, с черноокими испанками, бодающимися быками, шелковыми веерами и хроническими революциями, лежащая на дне моего кармана. Разве это не стоит нескольких фельетонов? Я бы, может, и усумнился бы, пожалуй, печатать их, если бы это не было в Ташкенте и если б я не был уверен, что их никто не станет читать. А здесь я просто записываю себе разный материал, который по своей лени и не потрудился бы записать. А так по крайней мере мне легче будет обрабатывать его. Кстати вот посылаю Вам еще один фельетон о Бёклине.[5]

Когда Лера[6] выедет в Москву? Я выезжаю 20 февр<аля> и, следовательно, буду там, с разными остановками в Самарканде и на Кавказе, около 6-го марта.* Пусть она мне напишет, у кого мне искать мой альбом,[7] а если сама к тому времени выедет, то свой адрес.

А почему это вы так ополчились на мой план заняться гравированьем?[8] Ведь вы сами же мне всегда говорили, чтобы я занялся рисованием и что у меня есть «врожденный штрих» – так, кажется? Так что я думал именно вам удовольствие доставить... а вы....

Положим, я очень вам благодарен, что вы мне напомнили о моем плане учиться гравированью, т<ак> к<ак> я успел уже забыть о нем.

---

* *В автографе описка*: февраля.

А ваше письмо очень художественно. Право? Оно прекрасно передает настроение (только извините, пожалуйста) человека... как бы это выразить деликатнее?.. находящего<ся> в состоянии очень силь<ного> умственного возбуждения.

Многое для меня осталось там все-таки не совсем ясно. Но! шутки в сторону. Вы не совсем правы и не совсем поняли назначения этого фельетона. Буду ждать вашего письма в Москве.

Макс.
16 февраля 1901 г. Ташкент.

[1] В недатированном письме к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 59–60 об.) Петрова подвергла резкой критике его статью «Эпилог XIX века»: «Не с ума Вы сошли? <...> Прочтя только что ваше письмо и фельетон, я взорвалась, как бомба. <...> Я так любила, так радовалась росту и развитию маленького внученка – “XIX века”, так радовало меня, что он свободно креп и здоровел <...> до совершеннолетия далеко еще было ему – и вдруг: о ужас! – является ко мне: голова напомажена, один башмак на ноге, другой черт его знает – где? претенциозно разряжен <...>. Говорит не своим голосом, спешит, запыхивается» – и т.д.

[2] Подпись под статьей «Эпилог XIX века» (см. примеч. 6 к п. 160).

[3] См. п. 160, примеч. 9 к п. 159.

[4] См. примеч. 2 к п. 163.

[5] Некрологическая статья «А. Бёклин († 3 января 1901 г.)» была опубликована в «Русском Туркестане» 31 января 1901 г. (№ 14). См.: Т. 5 наст. изд. С. 318–320.

[6] В.А. Воллк-Ланевская.

[7] Речь идет об альбоме с фотокарточками Волошина.

[8] В цитированном письме Петрова замечала: «...я сильно надеюсь, что Вы не очень-то долго будете изучать пиротехнику, т.е. гравирование <...> Чтó, бишь, Вы там будете изучать? Не знаю – не могу или не хочу понять?»

171. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

18 февраля 1901 г. Ташкент

Дорогая мама!

Я было думал, что выеду из Ташкента уже сегодня (воскресенье 18-го февр<аля>). Но по просьбе Ювачева пришлось отложить, так как он открыл здесь какие-то новые материалы для своей книги (Об уральских казаках, сосланных на Аральское море), и мы, верно, выедем 20–22<-го>.

У нас совсем лето, и не только деревья готовятся зеленеть, но уже первый комар жужжал у меня сегодня над ухом.

Я получил такую уйму денег, что совсем не ожидал. 350 р. я перевел на свое имя в Париж на Crédit Lyonnais.[1] Сто рублей завтра отправлю на ваше имя в Москву переводом (это мне на дорогу в Париж) и еще 50 возьму на дорогу до Москвы. Билетов мне не дали, т<ак> к<ак> они выписаны очень поздно и придут только через месяц, и я даром проеду только до Красноводска. Я получил 112 р. прогонов, 115 р. из редакции и еще 42 р. из конторы за сдельные работы по подсчету земляных работ: вот и разбогател. Теперь-то уж в Пиренеи и в Испанию я поеду, без всякого сомнения, этой осенью.

Вчера была получена в Ташкенте телеграмма о покушении Карповича на Боголепова.[2] Подроб<но>сти к нам не дошли никакие еще. Но знаете, я, вероятно, с этим Карповичем знаком, потому что я встречался в Берлине с одним бывшим московским студентом естественником по фамилии Карповичем и несколько раз разговаривал с ним, помнится, о Московском университете. Если только это он, то он не производил впечатление человека, способного на такой решительный поступок.

Это был брюнет большого роста, прекрасно сложенный, с черной бородой и красивым смеющимся лицом, каким-то немного юмористическим выражением в глазах, но мало разговорчивый. В последний раз я его видел накануне моего отъезда из Берлина, когда мы, человек 12 москвичей, собрались в Татьянин день <в> одном локале.[3] Я тогда и узнал, что он москвич. Помню, что он запевал студенческие песни, а больше никаких впечатлений о нем не осталось.

Что-то теперь будет твориться? Вот когда уже пойдут репрессалии без всякого разбора. Видите, как хорошо я сделал, что расстался с Университетом. При теперешних обстоятельствах я бы, если бы даже совсем смирно сидел, все-таки наверно попал бы в солдаты. А солдатчина – это прямо смерть. Нет, я очень рад. Теперь и гимназисты-то кончающие не хотят в русский университет идти, а всё за границу стремятся.

Ну до скорого свиданья.

Целую бабушку.

Макс.

18 февраля 1901 г. Ташкент.

P.S. Только что хотел запечатать это письмо, как мне принесли Ваше от 8-го февраля. Относительно фельетонов вы правы[4] – ведь я и сам Вам писал, что писал их наскоро. Ведь для меня это все только материалы для будущих стихов, а потому не удивительно, что они произвести впечатления не могут, а между тем для маленькой газеты они еще слишком хороши. А кроме того, в этих фельетонах – вся моя будущая поездка в Испанию, и если вы посмотрите на них с этой точки зрения, то найдете их очень содержательными. Дневник наш, конечно, не художествен,[5] потому что интересен только для нас – путешествовавших. Да может, для тех, кто хорошо знает всех трех. А для нас он действительно страшно интересен, так как самое незначительное слово там нам гораздо больше напоминает, чем целые страницы. А что вы зевали, это вполне естественно. Мех и ковер я везу вам в подарок, так что вы о цене не беспокойтесь. Мех очень легок. А ковер, мне говорят, дешев, так как такой стоит рублей 20: он из хороших. Военно-Грузинская дорога займет немного лишнего времени – всего дня три и вовсе не так дорога: теперь такса дилижансов значительно понижена и III кл<асс> стоит 3 р. А увидеть ее мне страшно хочется: когда я иначе на Кавказ попаду. Ювачева же буду сегодня же просить ускорить отъезд: я и не предполагал, что вы так торопитесь и думаете в начале марта ехать.[6] Я буду в Москве между 6–8 марта.[7]

[1] См. примеч. 2 к п. 169.

[2] Министр народного просвещения Н.П. Боголепов был 14 февраля 1901 г. смертельно ранен выстрелом (покушение совершил исключенный из Московского университета студент П.В. Карпович) и скончался 2 марта.

[3] Локаль (Lokal – *нем.*) – трактир, ресторан. Именины Татьяны – 12 января (ст.ст.).

[4] 8 февраля 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 14–17 об.) Е. О. писала о своей неудовлетворенности очерками Волошина в «Русском Туркестане» («пока ты даешь мне очень мало, а я слишком требовательна»).

[5] О «Журнале путешествия» (который Я. Глотов читал у Ляминых вслух) Е.О. писала с явной пристрастностью в том же письме: «Судя по этим путевым впечатлениям, ни у одного из вас – ни искорки дара живописания: так все вяло, бесцветно, неинтересно, а смешное совсем не смешно», – резюмируя: «...мне бы так хотелось прийти когда-нибудь в восторг от сильной, искренней, образной, но простой речи человеческой в твоем произведении».

[6] В письме от 8 февраля Е.О. просила сына обойтись без Тифлиса и Военно-Грузинской дороги: «Выезжай лучше 20 февраля прямо в Москву». 1 февраля 1901 г. она писала о своем желании уехать в Крым еще до половины марта – когда можно было бы начать постройку «домика» (препятствием к чему служила Н.Г. Глазер, по-видимому, не желавшая уезжать так рано весной).

[7] См. примеч. 2 к п. 166.

172. Л.В. КАНДАУРОВУ

Около 20 февраля 1901 г. Ташкент

Когда ты получишь это письмо, то я буду уже на пути к Москве и недели через полторы после него явлюсь к тебе сам лично. Совет относительно отсылки «Эпилога» в Рим приму и исполню непременно.[1] Относительно же председателя Симферопольской Казенной Палаты, я, право, не могу сказать.[2] Его я не знаю и кто он, не знаю. Не знаю, есть ли у нас с ними общие знакомые. Ну да это мы уже при свидании перетолкуем и подумаем. Знаю, что раньше был им Крым-Гирей, потомок крымских ханов, а теперь не он. По этому поводу, в нашей

совместной поэме с Мишелем[3] «Сон в Шули», «Покойный мулла из Албата» предсказывал былому хану:

«Сынам твоим много придется терпеть,
Властитель Сарая богатый,
Твой правнук не будет Сараем владеть,
А только Казенной Палатой!»[4]

На этом мои сведения исчерпываются. Вообще в Симферополе знакомых у меня мало.

Мне очень приятно, что мой фельетон Поленовым понравился,[5] и я еду с надеждой, что Вы меня непременно с ними познакомите.

Посылаю Вам начало описания нашего путешествия.[6] Имейте в виду то, что это, во-первых, писано для Ташкента, а во-вторых, писано в попытке для приобретения средств на Париж. В Москве я думаю пробыть около двух недель, а потом в Париж. Вот если бы Вы мне через Поленовых какие-нибудь художественные знакомства там устроили, я бы Вам был очень благодарен.

Макс.

[1] В письме от 4 февраля 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 9–10 об.) Кандауров передавал Волошину совет жены Поленова «послать в подарок m-me Helbig свое произведение».

[2] В том же письме Кандауров просил Волошина о протекции (через кого-либо из его знакомых) к начальнику Симферопольской казенной палаты.

[3] М.П. Свободин.

[4] Цитата из неоконченного стихотворения «Сон в Шули» (июль 1899 г., Бахчисарай). См.: Т. 2 наст. изд. С. 513.

[5] В упомянутом письме Кандауров сообщал Волошину: «Я читал Ваш фельетон у Поленовых, и Поленову он очень понравился, особенно первая часть, из второй описание степи также заслужило его одобрение».

[6] К письму прилагались, вероятно, газетные вырезки с очерками Волошина «Листки из записной книжки» (см. примеч. 2 к п. 163).

Заказ № 5706

173. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

5 марта 1901 г. Москва

5/18 марта[1] 1901.

Дорогой Саша!

Вчера я приехал в Москву и думаю пробыть тут недели полторы, т.е. к 4 апр<еля> (нов<ого> ст<иля>) или к 18 марта стар<ого> я буду в Берлине, если только меня не попросят выехать раньше по случаю беспорядков, которые теперь в Москве в полном разгаре. Яша сидит уже неделю в Бутырках.[2] Вчера это все на меня обрушилось с полной неожиданностью, т<ак> к<ак> я провел 13 суток в пути от Ташкента и ничего о последнем бурном периоде беспорядков не знал, конечно.

Относительно двух недель пребывания с тобой я, конечно, согласен и очень рад и могу только предложить тебе на это время проехать куда-нибудь в горы: в Южную Баварию или в Швейцарию, а потом разъедемся: я в Париж, ты в Берлин.

Ты пишешь, что ты до 18 апреля свободен.[3] Ну так вот я так и постараюсь хоть к 1 апреля или немного позже приехать. Я принимать участия не буду никакого, т<ак> к<ак> считаю свой отъезд достаточным личным протестом, а попадать в солдаты не желаю, т<ак> к<ак> дал себе слово ни в каком случае не соглашаться на отбывание, а это грозит слишком сериозными последствиями.

Пока до свиданья.

Макс.

Пиши на имя бабушки.

[1] В автографе описка: «февраля».

[2] Я.А. Глотов был заключен в Бутырскую тюрьму за участие в студенческих волнениях (в конце февраля).

[3] А.М. Пешковский сообщал Волошину в недатированном письме из Берлина: «...от 15 марта до 18 апреля у меня каникулы, и я решил во что бы то ни стало отдохнуть и погрузиться в dolce far niente (сладостное безделье — *ит.*) хотя бы на 2 недели; поэтому твой визит будет вдвойне кстати <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 61).

174. И.П. ЮВАЧЕВУ

8 марта 1901 г. Москва

Для Ивана Павловича Ювачева.

Напоминаю Вам еще раз мой адрес: Смоленский рынок. Проточный переул<ок>, третий дом от угла направо (№ 3) во дворе, кв<артира> Глазер (10). Я думаю пробыть до 14<-го>, если меня не попросят выехать раньше.*

Макс.
8 марта. 1901-го.

P.S. Я зайду к Вам в воскресенье[1] в 12 часов дня.

[1] 11 марта.

175. А.М. ПЕТРОВОЙ

13 марта 1901 г. Москва

Получил Ваше письмо только что.[1] 17 марта выезжаю в Берлин и отправлюсь с Пешковским на 2 недели куда-нибудь на юг в горы, а потом в Париж. Леру завтра отыщу — спасибо за адрес[2] — я думал, что так и не увижу ее. Осенью буду в Испании: может, там мне удастся встретиться с seniore Mario.[3] В России творятся и делают<ся> ужасы, о которых потом.[4] Теперь я слишком разрываюсь на части, бегая по Москве и под впечатлениями всех обрушившихся на меня известий. Яша сидел в Бутырках[5] — теперь его услали в Екатеринодар.

Макс.
13/26 мар<та> 1901 г.

Книги вышлю; если позволите, вышлю еще новый сборник Брюсова, где есть действительно хорошие вещи.[6]

---

* *Далее зачеркнуто*: В понедельник меня не будет дома вечером, но днем я верно зайду к Вам.

[1] Письмо от 9 марта 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 52–52а об.).

[2] В упомянутом письме Петрова сообщила московский адрес В.А. Воллк-Ланевской: Б. Царицынская, дом Кисляковой № 6, кв. Е.А. Воздвиженской.

[3] Марио Лаго.

[4] Подразумеваются прежде всего студенческие волнения, охватившие Петербург, Москву, Киев, Харьков, Казань. Производились аресты, около 500 московских студентов было исключено, часть выслана из Москвы.

[5] Я.А. Глотов. См. примеч. 2 к п. 173.

[6] Сборник В. Брюсова «Tertia vigilia. Книга новых стихов. 1897–1900» (М.: Скорпион, 1900). Петрова просила прислать ей «стихотворения (два томика) Александра Добролюбова». В 1900 г. вышло в свет «Собрание стихов» Александра Добролюбова (М.: Скорпион, 1900) с предисловием И. Коневского и В. Брюсова, ранее – книга Добролюбова «Natura naturans, natura naturata» (СПб., 1895).

176. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13/26 апреля 1901 г. Париж

26 avril 1901*.
Paris. Rue Berthollet 11bis (Hôtel de Monde № 16).

Наконец-то я собрался написать Вам большое письмо, дорогая мама. Как Вы знаете из моих открыток[1], я поехал с Пешковским в Бретань,[2] но пробыл там недолго, и через неделю мы вернулись с ним в Париж. Где он оставался еще неделю. Дней 8 назад он уехал, а я принялся за устройство своей парижской жизни. Останавливались мы с ним в нашем старом отеле «из Лондона и Парижа»,[3] у которого оказался новый хозяин. Затем я начал после его отъезда искать себе комнату, сначала без мебели, но потом по совету Гамбурга,[4] который имеет теперь свою собственную аптеку на бульваре Пор Рояль. Я взял себе меблированную комнату по 25 фр. в месяц, которую обменю через неделю на комнату в 20 фр. двумя этажами выше в том же отеле. Мой адрес теперь: *Rue Berthollet 11bis*.

* *В автографе описка*: 1900.

Я начал посещать лекции в Лувре и в Collège de France[5] (слушал, между прочим, Гастона Пари)[6] и записался на лекции в Ecole de Louvre,[7] где специально читается история искусства (по совету Щукина).[8] Завтра пойду в первый раз в Ecole de Louvre. И представьте себе, что я не только присутствовал на лекциях, но даже кое-что понял и вполне усвоил главное содержание лекции. Каждый день я теперь тоже занимаюсь рисованием в мастерской одной русской художницы;[9] рисую с натурщика и начал даже делать успехи, так что многие художники уговаривают меня продолжать заниматься, находя у меня «чувство рисунка».[10]

Познакомился я и с французскими художниками и литераторами и даже был на одном вечере у одного французск<ого> художника.[11] По вечерам часто встречаюсь с одним французским молодым человеком[12] (помощником Гамбурга), живущим в одном отеле со мной (по его совету я и попал сюда), и мы с ним ведем французские разговоры.

У Щукина я был только раз и очень недолго. Это еще совсем молодой человек, очень простой и симпатичный. Я сразу же познакомился у него с несколькими знаменитостями, напр<имер> с известным историком Гастоном Буасье (который, между прочим, прекрасно говорит по-русски).

Ах! Да вот если б вы знали, с кем я еще здесь встретился совершенно неожиданно: – с Косоротовым, студентом, который бывал у Митрофа<на> Дмитриевича![13] Он теперь явился в Париж в качестве специального корреспондента «Нового Времени» и художественного критика. Встреча была очень нежная, и он просил передать Вам свой особенно горячий привет. Положим, он особенно симпатичного впечатления не производит, а «Новым Временем» от него так и разит.[14]

Я давно не был на почте, но еще неделю назад ничего не было: я с самого отъезда ничего не получил. Мои корреспондентские карточки[15] имеют значение, и меня как корреспондента пускают даром на все художественные выставки. Лекции тут заканчивают в июне. Так что верно на июль и август я уеду в Пиренеи. Напишите, что делается в России? Тут упорно

пишут, что Толстого высылают за границу, и ждут его в Париж.[16] Если действительно это случится, то, судя по настроенью, ему будут устроены овации не меньше, чем Крюгеру.[17] Тут почти каждую неделю бывают собрания протеста против русс<ких> событий. И в Германии и Франции называют рус<ское> движение революцией и ожидают, что будет дана конституция. Вообще всё здесь страшно преувеличивают.

Макс.

[1] Эти открытки не сохранились. Выехав 17 марта из Москвы за границу, Волошин около 20 марта прибыл в Берлин, где встретился с А.М. Пешковским. Оттуда они около 22 марта / 4 апреля приехали в Париж и сразу отправились в Нормандию и Бретань.

[2] Судя по разным упоминаниям, Волошин и Пешковский посетили в Нормандии монастырь Мон-Сен-Мишель, в Бретани – остров Бель-Иль (Локмарьяк) и вернулись в Париж около 28 марта / 10 апреля 1901 г.

[3] Волошин и Пешковский поселились в «Hôtel de Londres et de France» на rue de Fossés-St. Jacques, 20. Отъезд Пешковского в Берлин состоялся около 4/17 апреля 1901 г.

[4] Морис Гамбург (?–1934) имел аптеку в доме 48 на бульваре Port-Royal.

[5] Collège de France (на площади Марселен-Бертоле) основан в 1534 г. Франциском I, в зданиях XVI в.; научно-исследовательское и учебное заведение, не имеющее стабильных учебных планов и программы и не проводящее экзаменов.

[6] Гастон Парис. Его лекции по средневековой культуре Волошин неизменно отмечал в ряду самых значимых событий своей жизни (см.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 227, 233, 243, 250).

[7] Ecole de Louvre – курсы искусствоведения при Лувре; в статье Волошина «О самом себе» (1931) они названы Луврской школой музееведения (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 267).

[8] Имеется в виду И.И. Щукин, владелец салона живописи, коллекционер и искусствовед, живший с 1893 г. в Париже.

[9] Имеется в виду Елизавета Сергеевна Кругликова, живописец и график, обосновавшаяся в Париже с 1895 г. Ее ателье на ул. Буассонад, 17 стало местом встреч русской художественной колонии в Париже (см.: *Бенуа А.* Кругликова в Париже // Е.С. Кругликова. Жизнь и творчество. Л.: Художник РСФСР, 1969. С. 79–80). Рекомендации к ней Волошин получил от В.О. Вяземского и И.П. Ювачева.

[10] С Кругликовой в ателье жила ее подруга, художница Е.Н. Давиденко. Появление Волошина у Кругликовой описано в ее воспоминаниях (Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 88) и в его очерке «О самом себе» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 268).

[11] Неизвестно, о ком идет речь.

[12] Неустановленное лицо.

[13] Митрофан Дмитриевич – Пшенецкий, москвич, дядя В.О. Вяземского, сослуживец Е.О. по Московско-Брестской железной дороге, где он занимал должность помощника начальника подвижного состава и тяги. Журналист, прозаик и драматург А.И. Косоротов в это время студентом не был (он окончил Московский университет в 1893 г.). Позднее вывел Волошина – в образе художника Плахова – в своей пьесе «Весенний поток» (СПб., 1905).

[14] Ежедневная петербургская газета «Новое Время» (1868–1917), издававшаяся А.С. Сувориным, имела репутацию правительственного официоза и отличалась национализмом и сугубой консервативностью.

[15] Видимо, карточки корреспондента газеты «Русский Туркестан».

[16] 24 февраля 1901 г. Л.Н. Толстой был отлучен Синодом от церкви, что всколыхнуло общественное мнение не только в России, но и за границей. Сочувствие и поддержку, выраженные писателю студенчеством и интеллигенцией, вызвала и последовавшая затем травля Толстого церковью. На подавление полицией и казаками студенческой демонстрации в Петербурге 4 марта 1901 г. Толстой отозвался 15 марта письмом «Царю и его помощникам», в котором обличал «грубые, отжившие формы правления». 4 апреля Толстой написал «Ответ» Синоду, распространившийся в списках и опубликованный за границей, – что вызвало как новые выступления в его поддержку, так и нападки со стороны правящих кругов.

[17] Стефанус Иоханнес Паулус Крюгер был руководителем антибританского восстания в Трансваале в 1880 г., затем (в 1883–1902 гг.) – президентом Трансвааля. В июне 1900 г. Крюгер посетил Европу (пытаясь добиться поддержки буров в их войне с англичанами), однако, будучи горячо встречен общественностью, помощи от европейских правительств не получил.

177. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

26 апреля / 9 мая 1901 г. Париж

Rue Berthollet 11bis. Paris. 9 мая 1901 г.

Дорогая мама!

Получил Вашу открытку из Орла.[1] Даже странно себе представить, что бабушка наконец двинулась из Москвы. И слава Богу! Когда Вы мне писали, что собираетесь и прощаетесь,[2] мне все не верилось. И мне кажется, что бабушка теперь в Крыму совсем по Москве и не будет скучать, а напротив, будет страшно рада, что выбралась оттуда. В жизни дяди Саши[3] это путешествие, верно, представит целую эпоху и может быть перелом к лучшему.

Ну а у меня все то же. Хожу на лекции и половину не понимаю. Хожу вразброд, куда придется, т<ак> к<ак> все занятия заканчиваются уже в июне, и я хочу этим воспользоваться, чтобы ориентироваться.

Более регулярно посещаю в Ecole de Louvre[4] лекции по искусству.

Каждый вечер от 7 до 10<-ти> рисую в академии Colarossi,[5] куда я записался.

Посылаю Вам вырезки из L'Aurore;[6] она открыла у себя целый отдел, где помещает ежедневно протесты французских писателей против русских безобразий.

Завтра должен состояться большой митинг французских писателей для составления ответа на письмо русских литераторов о 4<-м> марта.[7] Объявлено, что там будет говорить Анатоль Франс,[8] Октав Мирбо, Пресансе и др. А эти вырезки вы не выбрасывайте, а лучше пошлите Лёле[9] или Яше.[10]

Досекина здесь еще нет. Да! Если увидите Алекс<андру> Михайловну,[11] то извинитесь перед ней, что я все не отвечаю. Я как-то теперь совсем не <в> письменном настроении и еще никому не писал.

Я Вам, кажется, писал о Пешковском, что он, заканчивая этим летом свои естественно-научные занятия, поступает на филологический факультет и едет для этого обратно в Россию. В будущем он, кажется, хочет избрать себе педагогическую карьеру.

Ну пока до свиданья.

Целую бабушку.

[1] Эта открытка не сохранилась.

[2] Видимо, речь идет о письме Е.О. от 30 марта 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 18–19 об.), в котором она сообщала о намерении выехать с матерью и братом в Крым 3 апреля.

[3] А.О. Глазер.

[4] См. примеч. 7 к п. 176.

[5] Академия Colarossi — общедоступная художественная мастерская в Париже (на rue de la Grands, 10), основанная скульптором и педагогом Филиппо Коларосси в 1880-х гг. За небольшую плату здесь можно было писать одетую и обнаженную натуру.

[6] «L'Aurore» — ежедневная газета социалистов-республиканцев, выходила с 1897 г. 7 мая 1901 г. в ней были опубликованы ответы на анкету «О русском деспотизме», инициированную созданным во Франции «Комитетом солидарности с русскими студентами».

[7] Письмо протеста против избиения студенческой демонстрации в Петербурге 4 марта 1901 г. вечером того же дня было подписано 45 писателями (в том числе Н.Ф. Анненским, Н.Г. Гариным-Михайловским, М. Горьким, Д.Н. Маминым-Сибиряком, Н.К. Михайловским). Позднее к ним присоединилось еще 34 писателя. См. текст письма: *Горький М*. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М.: Наука, 1997. Т. 2. С. 118–119.

[8] См. Письмо в ответ на анкету о деспотизме русского самодержавия Анатоля Франса (*Франс Анатоль*. Собр. соч.: В 8 т. М.: Гослитиздат, 1960. Т. 8. С. 544–545).

[9] Е.С. Лямина.

[10] Я.А. Глотов.

[11] А.М. Петрова.

178. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

29 апреля / 12 мая 1901 г. Париж

12 мая 1901. Rue Berthollet 11[bis].

Дорогая мама!

Вчера я получил Ваше первое письмо из Феодосии,[1] адресованное на Rue Berthollet. Поздравляю бабушку с благополучным водворением в Крыму.

Третьего дня я был на митинге французских писателей для выражения протеста против русских безобразий. Хотя Анатоля Франса и не было, но было страшно интересно. Пре-

красную речь сказал поэт-анархист Тальяд, тот самый, который когда-то был ранен бомбой, брошенной в одном из блестящих парижских ресторанов, и придя в чувство, произнес знаменитую фразу, наделавшую столько шуму: «Да! Но жест был красив!»[2]

Затем вся толпа с пеньем Карманьолы[3] и криками «Vive Tolstoi!!» пошла устраивать демонстрацию к русскому посольству. Но на половине дороги явилась масса городовых, которые удивительно быстро и ловко раздели<ли> толпу и рассеяли. Но часть, очевидно, все-таки дошла до посольства, так как уже через час мы, сидя на Сен-Жермене в кафе с Гамбаровым и Де-Роберти,[4] видели, как пронеслась на велосипедах целая стая городовых по направлению к Rue de Grenelle.[5]

Посылаю вам вырезки из L'Aurore и Petite République[6] за последние два дня. Уже по этому количеству Вы можете судить, как много пишут теперь о России.

«Мы провозглашаем не союз двух правительств, а союз двух революций!» — повторяли на разные лады ораторы.

Сведущие люди, как Дорошевич, который теперь в Париже, предсказывают скорое падение франко-русского союза,[7] но, с другой стороны, теперешнее сочувствие французских intellectuelles[8] показывает, что существует действительно духовный союз, о котором едва ли можно было предполагать. Испанские волнения[9] далеко не пользуются в Париже такою популярностью, как русские.

Вырезки перешлите после Лёле.[10] Целую бабушку.

Поклон Петровым.

Макс.

[1] Е.О. писала 21 апреля 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 21–22 об.): «Вот уже неделя, как мы живем с бабушкой и Сашей в Феодосии, а завтра едем в Коктебель». Сняв там две комнаты с террасой и кухней до августа, Е.О. надеялась к этому сроку построить собственный дом.

[2] Ситуация освещена искаженно; в действительности Лоран Тайяд (Tailhade) не был жертвой террористического акта, но, узнав о том, что в декабре 1893 г. в Бурбонском дворце Огюст Вайян с балкона для публики бросил бомбу в палату депутатов, воскликнул: «Что

за важность – жертвы, если жест красив!» («Qu'importe la victime si le gest est beau»).

[3] Карманьола – народная революционная песня-пляска, популярная со времен Великой французской революции.

[4] Ю.С. Гамбаров и Е.В. Де Роберти в Париже читали лекции в Высшей русской школе общественных наук.

[5] На rue de Grenelle, 79 находилось русское посольство.

[6] «Petite République» – парижская газета, орган французских социалистов-реформаторов; выходила с 1875 г. См. также примеч. 6 к п. 177.

[7] Франко-русский союз был оформлен в 1891–1893 гг. при Александре III как ответ на создание Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии (1892 г.); просуществовал до 1917 г.

[8] В словоупотреблении Волошина это высший, творческий слой, так сказать, духовная аристократия образованного класса, противопоставлявшийся им русской интеллигенции, как анархическому, разрушительному и стадному началу. В недатированном наброске «Интеллигенция, третий элемент» (ок. 1919) он писал: «Intellectuel – это человек, имеющий свой взгляд на мир и на явления культуры и взявший себе право стать в стороне от ходовых политических делений и общественных шаблонов» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 378).

[9] Имеются в виду антиклерикальные беспорядки, начавшиеся в Барселоне 10/23 апреля 1901 г.: тысячные демонстрации против засилья иезуитов и с требованием отделения церкви, сопровождавшиеся разгромом церквей, убитыми и ранеными.

[10] Е.С. Лямина.

179. Е.С. ЛЯМИНОЙ

3/16 мая 1901 г. Париж

Paris. 11bis Rue Berthollet.
16/3 mai 1901.

Дорогая Лёля!

Вот уже целый месяц, как я сижу в Париже и только теперь собрался писать письма. Прежде всего: где Яша[1] и что он думает делать летом? Потом, что ты думаешь делать сама?[2] Я тут встретился с одной знакомой барышней, которая только что приехала сюда из Монпелье, где пробыла на медицинском

три года, и Монпелье она ругательски ругает, как город страшно глухой и скучный.

Положим, и в Париже на медицинском тебе придется плохо первый год, т<ак> к<ак> первый курс, где проходятся все естественные науки, необходимые для медика, — это просто школа, в которой ставятся отметки, нельзя опаздывать на лекции, где делают выговоры, куда в случае отсутствия надо представлять медицинское свидетельство и т.д.

В конце июня я с двумя знакомыми русскими художницами[3] уезжаю в Пиренеи в Республику Андорру, которая замечательна тем, что об ней никто, нигде, никогда ничего не писал.

Поедет ли Яша?

Я отослал маме много вырезок из газет с протестами разных французских писателей, которые потом просил переслать тебе. Недавно тут был громадный митинг французских писателей для составления ответа на письмо русских литераторов.[4] После митинга толпа с пением «Internationale» и с криками «Vive Tolstoi!», «A bas le tzare!»* отправилась к русскому посольству. Но тут вступилась полиция, и толпу разогнали.

Ораторы на всяческие лады провозглашали: «вместо союза двух правительств — союз двух революций!» Напиши мне, пожалуйста, как относятся студенты к Ванновскому. Неужели действительно были ему все те овации, о которых пишут?[5] Неужели ожидают, что из всех этих либеральных слов и нелепых действий что-нибудь путное выйдет? Я по крайней мере вижу во всем этом только одно замазывание всей истории, которое, кроме вреда, ничего принести не может.

Timeo Danaos et dona ferentes.[6]

Даже их-то именно особенно боюсь, потому что дары их ценности никакой не представляют решительно, а массу это по неведению удовлетворит.

Пиши мне, пожалуйста, побольше обо всем, что делается в России и в Москве.

Целую Любу и Мишу. Поклон Нине Федосеевне.[7]

Где Яша???

Макс.

---

* «Да здравствует Толстой!», «Долой царя!» (*фр.*).

[1] Я.А. Глотов.

[2] Имеется в виду намерение Е. Ляминой получить медицинское образование.

[3] Подразумеваются Е.С. Кругликова и Е.Н. Давиденко.

[4] См. п. 177, примеч. 6, 7, п. 178.

[5] Генерал от инфантерии П.С. Ванновский в марте 1901 г. был назначен министром народного просвещения, пытался провести реорганизацию высших учебных заведений. В ответном письме от 16 мая 1901 г. Лямина сообщала: «Ванновского, действительно, встретили в Москве очень хорошо, чуть ли не рукоплескали, в ответ на что он сказал: “Подождите хлопать, завтра, пожалуй, вам придется меня освистать”. Возвращать уволенных он никого не захотел, боясь обструкции, но, если настроение к осени успокоится, то к осени могут вернуть. Беспорядки продолжают вспыхивать то тут, то там в различных городах <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[6] Боюсь данайцев, даже дары приносящих (*лат.*). Цитата из «Энеиды» (II, 49) Вергилия – слова жреца Лаокоона, относящиеся к огромному деревянному коню, сооруженному греками («данайцами») якобы в дар Минерве.

[7] Л.С. и М.С. Лямины и Н.Ф. Локошенко.

180. И.П. ЮВАЧЕВУ

3–10 / 16–23 мая 1901 г. Париж

Как раз только что прочел первую часть большой статьи Мережковского «Достоевский и Толстой», помещенной в «Мире Искусства» за прошлый год.[1] Сегодня с самого утра не отрываясь читал – так захватило. Это удивительная вещь, может даже более глубокая, чем «Воскресшие Боги».[2]

Мережковский страшно глубоко захватывает и страшно широко. Даже жутко делается. Еще немного, и я его сопричислю в сердце своем к лику великих русских писателей.

Пожалуйста, прочтите эту вещь, Иван Павлович; она на вас должна громадное впечатление произвести.

Я начинаю письмо так нелепо, потому что впечатление меня совсем захватило.

Ваше письмо я получил несколько дней назад[3] и сразу устыдился своего молчания.

И вот снова это письмо лежало целую неделю. Ну Вы ведь знаете, какой я лентяй.

Я Вам очень благодарен за рекомендацию к Елизавете Сергеевне.[4] Она мне очень нравится, и мы с ней видимся постоянно – почти каждый день, т<ак> к<ак> я рисую теперь по вечерам в той же академии, где и она.

Скоро мы с ней собираемся отправиться в Пиренеи в Андорру, а оттуда, может, проедем на Балеарские острова.

Что делается теперь в России? Здесь такие ужасы пишут. Но нужно отдать французам справедливость: они относятся с большим сочувствием к русским движениям. Недавно мы были с Елиз<аветой> Сер<геевной> на митинге французских писателей для выражения протеста против русского деспотизма и вынесли очень сильное впечатление.[5]

Если будете мне отвечать, то адресуйте письмо: Pyrénées. Pespublique* Andorra. Poste restante.

Как-то здесь Дорошевич читал лекцию о Сахалине и очень красноречиво и ярко описывал Онорское дело.[6]

После лекции я с ним говорил про Вас, и он рассказывал, что про Вас чуть не целые легенды сложились на Сахалине, как про миротворца, но, к сожалению, нас перебили, а через несколько дней он уехал в Россию, так что мне не удалось расспросить его подробнее.

До свиданья. Крепко целую Вас.

Макс.

23 mai 1901.
Paris. Rue Berthollet 11bis.

P.S. Спасибо Вам за то, что вы так заботились и беспокоились относительно «Недели»,[7] но я бы даже и не мог воспользоваться, если б было и можно, потому что только приехавши в Париж понял, как я мало понимаю, что бы писать.

---

* *Рукой Ювачева (?) карандашом приписано правильное написание*: République

[1] Часть I («Л. Толстой и Достоевский как люди») исследования Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия» была опубликована в № 3–12 журнала «Мир Искусства» за 1900 г. (Т. III), там же (№ 1–2) помещено Вступление к этому произведению.

[2] См. примеч. 17 к п. 154.

[3] Письмо из Петербурга от 20 апреля / 3 мая 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1349).

[4] Е.С. Кругликова.

[5] См. п. 178.

[6] В.М. Дорошевич читал лекцию о Сахалине (где он побывал в 1897 г., подробно осветил эту поездку в своей книге (ч. 1–2) «Сахалин», вышедшей в Москве в 1903 г.) в парижской Русской высшей школе общественных наук в апреле 1901 г. Имеется в виду дело, связанное со злоупотреблениями сахалинской администрации, в результате которых на прокладке Онорской просеки на острове погибло много каторжан (см. комментарии С.В. Букчина в кн.: *Дорошевич В.М.* Воспоминания. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 722–723).

[7] «Неделя» – еженедельная газета, выходившая в Петербурге в 1901 г. с 7 января по 29 июля (редактор-издатель В.П. Гайдебуров). В упомянутом письме Ювачев сообщал: «Я обещал устроить Ваши статьи в “Неделю”, но... этого нельзя будет сделать, т<ак> к<ак> “Неделя” умирает, в наст<оящее> время она находится при последнем издыхании».

181. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

5/18 мая 1901 г. Париж

Paris. Rue Berthollet 11 bis.
18 mai 1901.

Отчего ты ничего не пишешь? Я теперь вошел уже в курс парижской жизни. Слушаю лекции в Ecole de Louvre.[1] Дни провожу в библиотеке, вечера в художественной академии. Как жаль, что тебя не было: здесь недавно был митинг французских писателей для выражения протеста против русских безобразий. Это стоило посмотреть, т<ак> к<ак> были все знаменитости и говорили лучшие ораторы. В «L’Aurore» пе-

чатается целый ряд писем всех французских писателей с протестами против русского правительства. Было даже письмо Метерлинка и очень хорошее.[2]

В конце июня я собираюсь в Пиренеи в республику Андорру, которая меня окончательно покорила тем, что об ней решительно нигде и ничего не написано. Я туда собираюсь с несколькими художниками, и мы предполагаем составить целое литературно-художественное описание этой неизвестной еще в Европе страны.

Представь себе: я Александре Михайловне[3] еще до сих пор не написал!

Познакомился ли ты ближе с Покровским? Бываешь ли ты часто у него? Кланяйся ему от меня.[4] Если есть новости об России, то напиши. Здесь мало.

Как ты относишься к Ванновскому?[5] По-моему, все это ерунда невыносимая, желанье страстное замазать дыры, и, кроме вреда, изо всех этих либ<ер>альных слов и консервативных огрызаний по временам <ничего> выйти не может.

Нет! Не поехал бы я теперь в Россию на твоем месте!

Пришли непременно карточки: как мои, так и статуй.

Не знаешь ли, где Яша?[6] Об нем ни слуху, ни духу.

Встретился здесь неожиданно с Дорой Бершадской:[7] помнишь, той знаменитой Дорой Спитковского. Тогда в Феодосии она мне гораздо больше нравилась: в ней была какая-то особенная вдумчивость, а теперь она стала самой обыкновенной курсисткой. Иду с ней сегодня вечером на сионистическое собрание слушать Макса Нордау.

До свиданья.

Макс Волошин.

[1] См. примеч. 7 к п. 176.

[2] См. примеч. 6 к п. 177. Имеется в виду статья Мориса Метерлинка «Против русского деспотизма» («Contre le despotisme russe» // L'Aurore. 1901. 10 mai. P. 1). За сообщение сведений из французской периодической печати выражаем глубокую признательность Людмиле Шведовой.

[3] А.М. Петрова.

[4] Письма с ответом на этот и последующие вопросы Волошина в подборке писем Пешковского к нему за 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963) нет.

[5] См. примеч. 5 к п. 179.

[6] Я.А. Глотов.

[7] Феодосийка; училась на медицинских курсах в Монпелье.

182. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

10/23 мая 1901 г. Париж

Paris. Rue Berthollet 11bis. 23/10 mai 1901.

Дорогая мама!

Получил ваше письмо от 1-го мая вчера.[1] Получили ли Вы два мои письма с вырезками из французских газет? Если я успею сегодня купить, то вложу в это письмо ответ Толстого Синоду и письмо к царю.[2]

В Париже жарко, пыльно, воняет асфальтом и другими летними запахами больших городов, так что я уже собираюсь в Пиренеи недели через две. Лекции все равно уже в июне заканчиваются, и не будет большой беды, если я, начав с середины, не дослушаю до самого конца. Пишите мне теперь так: «Республика Андорра в Пиренеях.[3] Respublique <так!> Andorra. Andorra-Viela <так!>. Poste restante. A Max Volochine».

Прежде всего я поеду в эту республику. Она представляет из себя самостоятельное государство на границе между Испанией и Францией. Туда нет никакой дороги, и она замечательна тем, что об ней никто никогда ничего не писал.[4] Во всем государстве 6000 человек населения. Затем я спущусь пешком к Барцелоне и оттуда проеду на Балеарские острова,[5] так что пишите после Андорры в Барцелону. Там теперь, кстати, интересно: революционное движение.[6]

Я еду с несколькими художниками: именно с Киселевым – академиком, знакомым Поленовых,[7] с Кругликовой, знакомой Вяземских и Ювачева, и ее сожительницей Давиденко.[8]

Вы спрашиваете, кто у меня еще есть из интересных русских знакомых. Очень интересна семья русских эмигрантов

Заказ № 5706

Гольдштейн,[9] с которой я познакомился через Поленовых. Это бывшие друзья Бакунина.[10] Интересен очень проф. Аничков, который после отдачи студентов в солдаты принципиально подал в отставку и уехал из России, и его жена, которая пишет под псевдонимом Ivan Strannik во французских журналах и перевела Горького по-французски,[11] причем Горький имеет теперь громадный успех в Париже и на всех французских митингах протеста его имя всегда упоминается рядом с именем Толстого. А его арестом здесь возмущаются, право, кажется, больше, чем в России.[12] А потом у меня еще очень много знакомых среди художников и почти все русские профессора, находящиеся в Париже: Гамбаров, Де-Роберти, Котляревский[13] и т.д. Ковалевского[14] здесь еще нет, поэтому я с ним еще не познакомился. Познакомился с Дорошевичем. Познакомился с польским историком Валишевским, который написал историю Петра Великого.[15] Помните, был разбор в «Вестнике Европы»,[16] и вы так восхищались его языком и сравнениями и мне читали. Познакомился и со Скальковским — автором вопросительного знака[17] (передайте Пав<лу> Пав<ловичу>).[18] Вот замечательный экземпляр. Он как-то каждым своим выражением, каждым словом, всей своей фигурой представляет одно сплошное неприличие и похабство. Вся его речь состоит из самых выразительных русских неприличий. Познакомился с очень интересным ученым иезуитом О. Пирлингом, автором громадных исследований о самозванстве.[19] Познакомился с художником Кузнецовым из Москвы (может, из дяди-Колиных Кузнецовых?).[20]

Наконец, даже с некоторыми французскими литераторами и художниками: известным художником Редон,[21] публицистом и поэтом Леклерком,[22] художественной семьей Моллар[23] и т.д., потому что перечислять надоело, да я все равно всех не вспомню. Да, еще познакомился с русским священником Смирновым,[24] с которым Вяземские были хорошо знакомы в Дрездене.

Я никак не могу себе представить бабушку и дядю Сашу[25] в Коктебеле. Ваше житье там страшно мне интересно. Какое все это впечатление производит на бабушку и рада ли она, что выбралась из Москвы? Что вы купили землю на берегу моря,

а не у Пав<ла> П<авловича>, я очень рад, и я думаю, что вы сами будете рады. Где теперь m-me Юнге?[26] Извинитесь перед Алек<сандрой> Мих<айловной>,[27] что я ей все не пишу, – я все никак собраться не могу.

Кстати: возьмите у Петровых журнал «Мир искусства» за 1900 год (у них есть) и прочтите там статью Мережковского «Толстой и Достоевский».[28] Я недавно прочел и пришел в страшный восторг: это самое глубокое, что было написано о Толстом и Достоевском. Да, вам, верно, и Алекс<андра> Мих<айловна> об этом говорила, она мне первая об этой статье писала. А также прочтите там зараз статью Сизерана «Темницы искусства»[29] – очень смелая и страшно верная вещь.

Ничего вы не знаете об Яше?[30] Где он? Я писал Лёле,[31] но ответа не получил еще.

Где теперь Евгения Павл<овна>[32] и где она думает быть?

До свиданья. Целую бабушку. Поклон Павл<у> Павловичу.

Макс.
23 мая. Paris.

[1] В письме от 1 мая 1901 г. из Коктебеля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 23–26 об.) Е.О. сообщала, что купила участок земли в ⅓ десятины на берегу моря у Н.В. Миловской.

[2] См. примеч. 16 к п. 176.

[3] Андорра, или Долины Андорры, – карликовое государство в Восточных Пиренеях, между французским департаментом Арьеж и Каталонией, находившееся под протекторатом Франции и Испании. Площадь 495 кв. км, население в 1900 г. – около 12 тысяч человек.

[4] В статье об Андорре в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (Т. I. СПб., 1890. С. 753–754) названы испанская (1849) и французская (1879) книги об этой стране. Волошин составил библиографический перечень источников сведений об Андорре, приведенный К.С. Корконосенко в комментариях к его неоконченной статье «Андорра» (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 913–914).

[5] Группа островов в западной части Средиземного моря, в 200 км к востоку от Испании: Майорка, Менорка и архипелаг мелких Питиусских островов.

[6] См. примеч. 9 к п. 178.

[7] Имеются в виду академик живописи А.А. Киселев и семья художника В.Д. Поленова.

[8] Е.Н. Давиденко училась в Академии художеств в 1893–1910 гг., подруга Кругликовой (Волошин в шутку называл их обеих «Кругливиденко»). В 1918 г. Давиденко организовала в Петрограде театр марионеток (*Смирнова Н.И.* Советский театр кукол. 1918–1932. М., 1963. С. 93).

[9] Правильно: Гольштейн. Владимир Августович Гольштейн – врач, двоюродный брат художницы М.В. Якунчиковой, политический эмигрант из России (в 1871 г. обвинялся по делу С.Г. Нечаева); в Цюрихе сблизился с М.А. Бакуниным, в 1880-х гг. отошел от революционной деятельности. Двоюродный брат Н.В. Поленовой, знакомый И.Х. Озерова. Его жена Александра Васильевна Гольштейн – переводчица, прозаик, критик; участница народнических кружков, она около 1874 г. также эмигрировала; в Цюрихе подружилась с Бакуниным, а в Лондоне – с П.Л. Лавровым. Ее салон в Париже А.Н. Бенуа определил как «художественный и литературный центр» (*Бенуа А.Н.* Мои воспоминания. М.: Наука, 1980. Т. 2. С. 119–120).

[10] А.В. Гольштейн принадлежат воспоминания (за подписью А. Баулер) «М.А. Бакунин накануне смерти» (Былое. 1907. № 7 (19). С. 62–87).

[11] Е.В. Аничков в 1901 г. участвовал в создании русской Высшей школы общественных наук в Париже. Его жена – Анна Митрофановна Аничкова (урожд. Авинова; псевдоним – Иван Странник, Ivan Strannik; 1868–1935) – прозаик, критик, переводчица; автор романов и статей, написанных на французском языке. В Париже с конца 1890-х гг. В ее переводе на французский был издан сборник рассказов М. Горького «Бродяги» (Les vagabonds. Paris, 1901). См.: *Анникова Г.Г.* Ранние переводы А.М. Горького во Франции (1899–1902) // Иностранная филология. Вып. 8. Алма-Ата. 1976. С. 166–168.

[12] Горький был арестован в Нижнем Новгороде в ночь на 17 апреля 1901 г. за революционную деятельность. 6 мая Л.Н. Толстой обратился к товарищу министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирскому с ходатайством за Горького (болевшего туберкулезом), и 17 мая, после медицинского осмотра, тюрьма была заменена писателю домашним арестом.

[13] Котляревский – либо Нестор Александрович (1863–1925), историк литературы, профессор, впоследствии академик; либо Сергей Андреевич (1873–1940), историк, земский деятель, один из создателей конституционно-демократической партии.

[14] М.М. Ковалевский, профессор Московского и Петербургского университетов; впоследствии член Государственной думы, масон, правый кадет, был основателем Высшей русской школы в Париже.

[15] Казимир Феликсович Валишевский был автором ряда книг по истории России XVII–XVIII вв. на французском языке. История Петра Великого – «Pierre le Grand. L'édication – l'homme – l'œuvre» (Paris, 1897). Русское издание «Истории Петра Великого» (М.: Сфинкс, 1911) сохранилось в библиотеке Волошина.

[16] В № 12 «Вестника Европы» за 1897 г. была напечатана рецензия А.Н. Пыпина «Новая книга о Петре Великом» (С. 719–753).

[17] К.А. Скальковский – сотрудник газеты «Новое Время»; в 1891–1896 гг. директор Горного департамента Министерства государственных имуществ. «?» – один из псевдонимов Скальковского. Автор книги очерков «В Париже» (СПб., 1898).

[18] П.П. Теш.

[19] Работы П.О. Пирлинга о Смутном времени – «Rome et Demetrius» (Paris, 1878), «La Russie et le Saint-Siège» (Paris, 1901). Монография Пирлинга «Дмитрий Самозванец» (М.: Сфинкс, 1912) сохранилась в библиотеке Волошина.

[20] К.П. Кузнецов в 1897–1899 гг. занимался в академии Коларосси, с 1900 г. жил в Париже постоянно. Жена Н.О. Глазера («дяди Коли») Дарья Владимировна была, по-видимому, урожденная Кузнецова.

[21] С Одилоном Редоном Волошина познакомила А.В. Гольштейн в начале мая 1901 г. на выставке Салона независимых (см.: Т. 5 наст. изд. С. 789 – комментарий К.М. Азадовского).

[22] Письмо Волошина к Леклерку сохранилось в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 70).

[23] Возможно, пейзажист и гравер Арман-Жозеф Моллар (1862–?).

[24] Возможно, Яков Георгиевич Смирнов, протоиерей, настоятель при русском посольстве в Париже в 1909 г.

[25] А.О. Глазер.

[26] Е.Ф. Юнге.

[27] А.М. Петрова.

[28] Исследование Д.С. Мережковского (1865–1941) «Л. Толстой и Достоевский» печаталось в журнале «Мир Искусства» с 1900 г., было закончено публикацией в 1902 г. Ср. п. 180, примеч. 1.

[29] Статья Робера де ла Сизеранна «Темницы искусства» в журнале «Мир Искусства» (1900. № 3/4. Отд. I) посвящена вопросу защиты памятников старины.

[30] Я.А. Глотов.

[31] Е.С. Лямина.

[32] Е.П. Теш.

183. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

16/29 мая 1901 г. Париж

29/16 мая. Paris.

Я говорил недавно с одним профессором,[1] подавшим в отставку и уехавшим из России после историй этого года, об «русской революции». «Да это безусловно революция, – говорил он, – ведь не каждая революция имеет успех, с одной стороны. Потом чрезвычайно трудно определить, что такое революционное движение. Это видно только отступя на несколько десятков лет. Ну а если сравнить с германским движением 48 года,[2] то все те же элементы окажутся налицо. Безусловно, это начало революции. Именно – только первое начало, а не продолжение 70-х годов,[3] т<ак> к<ак>, вероятно, это движение пойдет совсем иным путем. И посмотрите, какое громадное значение имеет то, что теперь во главе всего революционного движения, оказывается, фактически стоит исполинская фигура Толстого, которого даже русское правительство не смеет тронуть».

Я с этим глубоко согласен. Мне представляется, как какой-нибудь будущий историк уже совершившей<ся> и отошедшей в то время вдаль русской революции будет отыскивать ее причины, симптомы и веяния и в Толстом, и в Горьком, и в пьесах Чехова, как историки Французской революции видят их в Руссо и Вольтере и Бомарше.

Теперь Чехова семидесятники упрекают за бесцельность и пессимизм, а историк будущего именно в этих качествах будет видеть именно его революционное значение. Это все вполне возможно.

Конечно, живя в России, трудно себе это представить, видя, как жизнь идет своим порядком, но ведь и за несколько часов до великой революции никто, даже самые проницательные политики, не чувствовали, что революция уже началась. В Париже в эпоху террора, которая нам кажется такой ужасной, жизнь текла тем же спокойным порядком, и туда так же, как всегда, собирались массами иностранцы веселиться и хо-

рошо пожить. Может быть, действительно отсюда из заграницы виднее и понятнее, потому что дальше.

Номер «Накануне»[4] проникнут этим же духом. Обратите внимание на протест матерей.

Страшно даже как-то верить в то, что это «начало», до такой степени это кажется неожиданным счастьем.

Через неделю я уеду из Парижа. Лекции заканчиваются в конце июня, но мне, начавшему слушать в середине, не много горя не дослушать нескольких.

До конца мая (стар<ого> ст<иля>) пишите мне в Андорру, а после в Барцелону.

Целую вас и бабушку.

Макс.

[1] Имсстся в виду Е.В. Аничков.

[2] Так называсмая мартовская рсволюция, начавшаяся 27 февраля 1848 г. в Бадсне. Задачсй сс стало созданис единого национального государства и ликвидация феодальных порядков. 18 мая 1848 г. во Франкфурте-на-Майне собралось общегерманскос Национальное собрание. Выступления продолжались и в 1849 г., но в цслом рсволюция оказалась нсзавершенной.

[3] Подразумевастся народничсское движение, организовавшееся в 1870-е гг.

[4] «Накануне (On thc Evc)» — «социал-рсволюционнос обозрсние», ежсмесячный журнал, издававшийся на русском языкс в Лондоне с января 1899 по фсвраль 1902 г. (вышло 37 номсров). В № 29 был опубликован «Протест матсрсй» (против избисния студснтов).

184. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

24 мая / 6 июня 1901 г. Париж

6 июня. Paris.

Дорогая мама!

Это уж мое последнее письмо из Парижа, потому что я выезжаю завтра вечером, а послезавтра утром уже буду лезть на Пиренеи.[1] За последние дни, как горох из мешка, на меня посыпались всякие старые знакомые: приехал Сер<гей>

Вас<ильевич> Досекин, приехал Коренев[2] (господин с черными усами, которого мы видели у Досекин<а>), потом встретился с несколькими крымскими знакомыми, совсем неожиданно.[3] Сер<гей> Вас<ильевич> очень оригинален и так же интересен, как был когда-то, 8 лет назад. С ними я последние дни и бегал по Парижу все время, так что и не собрался написать Алекс<андре> Мих<айловне>,[4] за что Вы пред ней извинитесь, пожалуйста, и скажите, что я ей напишу с Балеарских островов. Да! Теперь лучше уж адресуйте мне туда письма: Espagne. Iles de Baleares. Mallorca. *Palma*. Poste restante.

Пальма – это столица Майорки, где я наверно буду (проездом).

Потом я думаю поселиться где-нибудь около Вальдемозы, где когда-то жила Жорж Занд с Альфредом де Мюссе.[5]

Вот как быть с деньгами? Мне, вероятно, в июле понадобятся для возвратного пути. Писать оттуда с Балеар очень долго; не лучше ли, если б Вы выслали мне в Пальму рублей 50 непосредственно по почте и лучше всего франками: я думаю, на франки-то можно будет разменять в Феодосии, ведь там так часто иностранные суда бывают. Тогда вышлите 150 франков, т<ак> к<ак> их можно выслать бумажками, обозначив точно и свой адрес на случай, если меня эти деньги не найдут.

Ваше письмо с известием о том, что Яша в Коктебеле,[6] я получил три дня назад. Я хорошенько не понимаю, почему у него был обыск и какая опасность грозит ему, если его тогда же не арестовали. Долго ли он думает пробыть в Коктебеле, если не будет новых осложнений? Письмо от него буду ждать в Барцелоне.

Что он думает делать с Университетом?

Кругликова (художница, с которой я отправляюсь в Испанию) получила от своего брата[7] известие, что Лина теперь уехала в Лондон к Любе[8] и они поедут вместе путешествовать, но куда, неизвестно. Мне-то, верно, с ними не встретиться. Как поживает бабушка? Как идет постройка?[9] Я очень рад, что Вы в конце концов остановились на приморском клочке земли. Где m-me Юнге? Получила ли она посланные ей в Зариема[10] почтовые карточки? Где Ольга Михайловна?[11]

Целую бабушку и Яшу.

Макс.

Получили ли Вы все мои письма со вложениями? Их было, помнится, четыре подряд. А с деньгами, мне кажется, лучше всего это все сделать сейчас же, т<ак> к<ак> у Вас, наверно, теперь есть, чтобы потом не телеграфировать и т.д.

[1] Волошин и его спутники приехали 26 мая / 8 июня в 11 ч. в Тараскон, откуда двинулись пешком в предгорья Восточных Пиренеев.

[2] Художник А.Г. Коренев в советские годы – председатель Севастопольской ассоциации художников, заведующий Восточным музеем в Ялте. Его сестра была женой С.И. Щукина.

[3] 24 мая / 6 июня Волошин встретился с феодосийкой А.Н. Арендт (Труды и дни. С. 88).

[4] А.М. Петрова.

[5] Вальдемоза – деревня на острове Майорка, с закрытым картезианским монастырем поблизости. Жорж Санд жила в Вальдемозе зимой 1838/1839 г. не с А. де Мюссе, а с Фридериком Шопеном, закончила там роман «Спиридион»; позднее написала книгу «Зима на Майорке» (1842).

[6] Письмо Е.О. с известием о том, что Я.А. Глотов «дня 4 тому назад проявился в Коктебеле», датировано 11 мая 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 31–32 об.). По словам Е.О., Глотов «ждет ареста, т<ак> к<ак> в Екатеринодаре у него был обыск, ничего не давший, но поводом к нему были полученные из Москвы на третье лицо прокламации к рабочим».

[7] Брат Е.С. Кругликовой – Николай Сергеевич Кругликов (1861–1920), инженер путей сообщения. Писал стихи, издал поэму «Праздник у Халифа» (СПб.: Сириус, 1910).

[8] Лина – В.О. Вяземская (Селезнева). Ее сестра, Любовь Орестовна Вяземская, училась в Кембриджском университете (закончила его в 1903 г.).

[9] В письме от 22 мая 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 33–34 об.) Е.О. сообщала, что 16 мая (в день рождения Волошина) «произошла закладка домика» и «в настоящее время фундамент уже выведен».

[10] Зарисма – возможно, Сарема (Сааремаа), остров Моонзундского архипелага в Балтийском море.

[11] О.М. Струкова.

185. А.М. ПЕТРОВОЙ

29 мая / 11 июня 1901 г. Андорра

Resp. Andorra. 11 июня 1901 г.

Дорогая Александра Михайловна!

Простите меня, пожалуйста, за такое долгое молчание. В течение трех месяцев я почти каждый день собирался писать и, разумеется, так и не собрался. А было много о чем: путешествие с Пешковским по Бретани,[1] потом неделя вместе с ним в Париже[2] – все это целый ряд эффектных положений и великолепных штрихов. Теперь я пишу Вам из самой трущобы Пиреней – из Республики Андорры, в которой живу в настоящее время. Это крошечное самостоятельное государство, совершенно отрезанно<е> от остального мира. Из Франции сюда можно добраться только пешком через несколько горных брешей в центральной цепи Пиренеев, да по тропинкам, протоптанным контрабандистами, и из Испании есть одна верховая дорожка. Ни одной колесной дороги во всем государстве и ни одной повозки! Главные государственные доходы составляет контрабанда.

Вчера я был в гостях у президента республики,[3] господина с коричневым носом, обритыми по-испански усами и бородой и с огромными разноцветными заплатами на различных частях туалета. Надо прибавить, что он же местный трактирщик. Сегодня отправляюсь с визитом к секретарю Республики, который даст мне разные сведения, из которых я хочу составить статью для «Русской Мысли».[4]

Государство очень любопытное. Есть две политических партии: консервативная – испанская и либеральная – французская. Главная рознь между ними в том, что последняя хочет провести колесную дорогу, а первая – нет.

Со времен Карла Великого реформ не было никаких. Войн и свержения династий тоже не было, так что отечественная история не существует. Газет нет и не было. Литераторов тоже, но зато почти все грамотны и школы бесплатные.

Войска нет.[5] Это ли не идеальная республика?

На днях пройдем в Ургель, маленький испанский городок, бывший всегда центром карлистских движений.[6] (Я путешествую с художниками – Киселевым (академиком), Кругликовой и Давиденко). Около 20 июня мы будем в Барцелоне, а затем я проеду на все лето на Майорку. Адресуйте мне письма так: *«España. Mallorca. Palma. Posta restante. Max Volochine»*.

Представьте себе, что я встретил пред отъездом в Париже Тусю Арендт.[7]

Оказалось, что она видела в первый раз меня вместе с Пешковским и чуть не умерла от хохота. Потом я еще раз встречал ее в Люксенбургской галерее, но не узнавал. И только познакомившись с ее сестрой, в той академии, где я рисовал, узнал об ее пребывании в Париже. Она учится пению у Полины Виардо и собирается все Вам написать. Из феодосийцев встретил еще в Париже Дору Бершадскую – помните, в которую был влюблен Исар.[8]

Я слушал лекции по искусству в Ecole de Louvre и работал в академии Colarossi.[9]

Конечно, сами себе можете представить, сколько впечатлений, встреч и знакомств. Я все это хотел Вам описать подробно и поэтому не написал ничего. Теперь же и подавно, т<ак> к<ак> все это заслонено новыми впечатлениями: переходом через Пиренеи, нравами Андорры и т.д.

Осенью, когда вернусь в Париж, буду писать много, да и теперь с Майорки, верно, напишу. Я думаю там остановиться в Вальдемозе, где когда-то жила Жорж Занд с Альфред<ом> де Мюссе.[10]

Кланяюсь Нине Алекс<андровне> и Михаилу Митрофан<овичу>[11] и всем вашим. Мама верно сообщала Вам все обо мне.

Макс.

Посылаю без марки, т<ак> к<ак>, хотя в Андорре и есть почта, но заграничных марок нет.

[1] В Бретани с А.М. Пешковским Волошин находился в начале апреля (примерно с 6 по 10 н.ст.).

[2] Пешковский отбыл из Парижа в Берлин около 4/17 апреля.

[3] Президентом совета (старшим синдиком) Андорры (столица – Андорра-ла-Вьеха) был в 1901 г. Жозеф Кальда, живший в соседнем селении Лас-Калодас.

[4] Статья Волошина «Андорра» была начата, но не закончена. См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 541–550.

[5] В Андорре существовала всеобщая воинская повинность для мужчин от 16 до 60 лет.

[6] Карлистские движения – династические войны между двумя ветвями испанских Бурбонов в 1833–1840 и 1872–1876 гг. Карлисты – представители клерикально-абсолютистского политического течения, получившие название от имени претендента на испанский престол дона Карлоса Старшего.

[7] См. примеч. 3 к п. 184.

[8] Исар – И.О. Спитковский.

[9] См. примеч. 7 к п. 176, примеч. 5 к п. 177.

[10] См. примеч. 5 к п. 184.

[11] Н.А. и М.М. Петровы.

186. Е.С. ЛЯМИНОЙ

31 мая / 13 июня – 1/14 июня 1901 г. Уржель-дель-Сео – Понс

Urgel-del-Seo. 13 июня 1901.
España.

Дорогая Лёля!

Пишу тебе из Уржеля – маленького испанского городка в горах Сиерра-Гади, куда мы только что добрели из Андорры под ослепительным, проливным испанским солнцем. Сегодня утром в Андорре в сапожной мастерской я нашел твое письмо.[1] Ты, конечно, удивляешься, почему в сапожной мастерской? Очень просто, потому что в этом государстве и сапожная мастерская и почта – одно и то же. И надо отдать справедливость андоррскому директору почты: он исполняет свои почтовые обязанности совсем как сапожник. Мы (т.е. художник Киселев (академик), художницы Кругликова и Давиденко и я) пробыли в это<м> микроскопическом государстве, главные доходы которого составляет контрабанда, – 3 дня.[2] Познакомились с местной администрацией: с президентом республики (он же трактирщик), с секретарем государствен-

ного совета (огородник) и т.д. Это государство, в котором нет ни одной колесной дороги. Мы пробирались сюда из Франции горными тропинками через главный кряж Пиренеев, познакомились с контрабандистами, ночевали со свиньями и т.д.

Андорра еще носит совсем северный характер, а здесь в Уржеле совсем юг: и бесконечные оливковые рощи и, главное, солнце — испанское солнце. Это средневековый городок, который и теперь еще запирается на ночь. Это центр всех карлистских движений, который <у>же много раз во время XIX века переходил из рук в руки.

Пейзаж кругом города — совсем тосканский: тополя, оливки и синие волнистые горы. И представь себе, каково мне было среди всей этой обстановки XVI века (в Уржеле тоже нет ни колесных дорог, ни повозок) читать твое письмо, полное всей этой русской бесконечной полицейской канителью, с обысками, арестами, высылками, всей этой тягучей, скучной русской революцией «на коленях» без всякой яркой вспышки в ближайшем будущем.

Тут перерыв. Продолжаю на другой день. Сижу в испанской гостинице в городе Понс, ожидая дилижанса, который отойдет в час ночи и доставит нас к первой станции жел<езной> дороги, откуда мы сперва проедем в монастырь Монсерат,[3] а потом в Барселону, а уж затем на Майорку. Пока мой адрес: «España. Mallorca, Palma. Posta restante». А где именно на Майорке мы оснуемся, я еще не знаю. Об Яше я уже имел сведения из Коктебеля, но совершенно не мог понять, в чем дело.[4] Это совершенно ужасно, если его вышлют на три года — хоть беги за границу. Конечно, все это выяснится, но все-таки, если это и придется, то пусть он только не остается в Европ<ейской> России, а едет куда-нибудь дальше. Откуда явились эти обвинения и кто занимается их выяснением?

Твое отношение к Киеву я вполне понимаю.[5] Но если хоть какая-нибудь возможность будет — уезжай в Париж: только в Париж и больше никуда. Ты устроишь<ся> и дешево и прекрасно. Теперь нечего «нам» делать в России. Последнее движение показало, что всё идет помимо студенческих сходок и землячеких собраний. Быть пушечным мясом и тянуть ка-

нитель с полицейскими обысками и допросами обидно. Лучше за эти несколько лет, которые остались до полного начала,[6] хорошенько подготовиться за границей.

Приезжай в Париж и зови Яшу. Мы прекрасно устроимся.

Целую Любу и Мишу и поздравляю его с окончанием его первого российского «хождения по мукам».[7]

Макс.
Pons. 14 июня.

Пиши больше! Я ни от кого, кроме мамы, не получаю писем, а мама сама не в курсе дел.

Ах! Как хороши все старички, висевшие на стена<х> в качестве самого опасного революционного элемента![8]

[1] Письмо от 16 мая 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[2] Путешественники прибыли в Андорру вечером 27 мая / 9 июня и отбыли на Уржель 31 мая / 13 июня (Труды и дни. С. 88).

[3] Бенедиктинский монастырь Монсеррат на одноименной горной местности (на высоте 721 м над уровнем моря), в 50 км к северо-западу от Барселоны; основан в 1025 г., современный архитектурный ансамбль сложился к XII в. Является духовным символом и религиозным центром Каталонии.

[4] В упомянутом письме Е. Лямина сообщала о Я. Глотове: «Сегодня получила от Яши (в Коктебеле у Пав<ла> Пав<ловича>) телеграмму, что он жив, цел, невредим <...> великолепное российское учреждение, именуемое охранкой, наклепала <так!> на Яшу того, что сам черт ничего не разберет, и я не знаю, удастся ли нам всё выяснить, чтобы хоть отбавить половину наказания (3 года под надзор полиции без права въезда в университетские города). Яшу обвиняют в бегстве из-под ареста, в денежном подстрекательстве толпы на Тверском бул<ьваре>, и еще в других подобных же несообразнос<тях>».

[5] В том же письме Е. Лямина сообщала: «...не знаю, удастся ли мне поехать за границу осенью. Папа поднял вопрос <...> о совместном жительстве в Киеве; дело может обостриться до того, что он откажет нам в деньгах, тогда мне придется думать о хлебе насущном, а не о науке. Ты меня поймешь, что в Киев я переселиться не могу, лучше петля на шею или ночлег на Хитровом рынке».

[6] Подразумевается начало сокрушительных для государственного устройства России перемен.

[7] Л.С. и М.С. Лямины; имеется в виду окончание М. Ляминым гимназического курса.

[8] Отклик на сообщение в цитированном письме Е. Ляминой: «...при обыске у меня забрали все твои открытки-картинки, — даже со стены сняли, — которые я не сочла нужным спрятать, т<ак> к<ак> ничего особенного не было написано».

187. Я.А. ГЛОТОВУ

2/15 июня 1901 г. Барселона

Barcelona 15 junio.

Дорогой Яша!

Я читал твое письмо,[1] адресованное мне в Париж, шатаясь по улицам Барцелоны и поражая испанцев странными выражениями лица и восклицаниями на неизвестном языке. Положим, я по своему костюму гораздо больше испанец, чем самые испанцы. Я за это время перелез через самую дикую часть Пиренеев в экзотическую республику Андорру, провел там несколько дней и вот сегодня приехал в Барселону. Прекрасное государство — эта Андорра! Сам президент республики (он же трактирщик) объяснял законы и обычаи республики и собственноручно вытащил из старого сундука гаротту:[2] премиленький инструмент их для быстрого удушения уголовных преступников. Объяснялся он на смеси каталонско<го> наречия с провансальским — представляешь, как это было понятно. Главные доходы государства — это контобанда <так!>: здесь-то и живут и действуют знаменитые испанские контабандисты (пресимпатичный и прелюбезный народ — нас именно один из контабандистов вел по их горным тропинкам). Секретарь верховного совета водил нас по дворцу совета и показывал те серые халаты, в которых местные депутаты заседают в совете.

Затем мы спустились к первому испанскому городку Ургелю, а оттуда продолжили путь в классическом испанском дилижансе, запряженном шестеркою мулов. Кругом были бесконечные скалистые ущелья, а на верху неприступных скал крошечные городки, совершенно вросшие в них, совер-

шенно слившиеся с их вершинами. Это всё горные гнезда, которые свили себе здесь карлисты. Эта страна почти все время находится в волнении. Сотни раз эти голые скалы переходили из рук королевских войск в руки дон-Карлоса.[3]

Еще два месяца назад тут кипела борьба, слышалась перестрелка.[4] Какая разница с Андоррой, в которой существуют только две партии: консервативная и прогрессистская, и вся разница их программ заключается в том, что последние настаивают на устройстве колесной дороги, а первые не хотят идти дальше своих родных горных тропинок. Пока колесных дорог <в> Андорре нет и поэтому нет ни одной колесной повозки и нет даже ни одного колеса, кроме старого мельничного. Борьба партий была так велика во время последних выборов, что оказалось трое убитых. Теперешний президент принадлежит к прогрессистам и с презрением называет консервативную партию атавизмом, но колесной дороги тем не менее построить все-таки не посмел. Я к своему удивлению почувствовал, что, будь я гражданином Андорры, я был бы консерватором.

Сведения об карлистах сообщал мне кучер дилижанса, знавший несколько слов по-французски. «А Вы сами карлист?» — спросил я его. Он обиженно посмотрел на меня и с гордостью отвечал:

«Нет, сеньор, я, слава Богу, социалист!». Тьфу, пропасть! Вот тоска-то. Теперь столько социалистов развелось, что както даже совестно сказать: «Я социалист». Анархист — это всетаки нечто более пикантное, хотя, чувствую, что в Париже скоро и это понятие слишком опошлится. Разве теперь, например, в России найдется квартальный, который не был бы либералом, и жандарм, который не был бы социалистом? Ведь вот наш общий друг ротмистр Николаев — он наверное социалист, — недаром же он считает себя другом дома, и просит передавать маме поклоны.[5] Благодаря тому, что он несколько раз арестовывал членов одной семьи, он уже считает себя близким человеком. Чисто по-русски!

Только что вернулся с боя быков. К этому, верно, надо привыкать с детства, и я, должно быть, настолько испорчен

христианской моралью, что не могу наслаждаться этой поэзией волочащихся внутренностей и луж крови. Я видел там мальчика лет 7-ми, который буквально весь дрожал от восторга, смотря на это. Детей масса. Но весь вид арены, всей толпы и этого солнца, этих пестрых и ярких звуков: свистков, криков, аплодисментов — великолепен.

Мне казалось, что я сижу в древнем Колизее и только роль христианских мучеников играют лошади. Самым симпатичным из всех были быки. Среди окружающих зверей только в них было что-то человеческое.[6] От Лёли недавно получил письмо.[7] Цела ли она теперь?

Неужели тебя на целых 3 года закатили? Если тебе «права» отстоять не удастся, то поезжай в Ташкент, там по крайней мере не душно и дела всякого много. Жду твоих писем и буду отвечать наиаккуратнейшим образом.

Адрес: España. Mallorca. Palma. Posta restante. A Max Volochine.

[1] Это письмо не сохранилось.

[2] Гаррота (гаррот) — вид (и орудие) смертной казни в Испании (удавление).

[3] См. примеч. 6 к п. 185. На территории Каталонии проходили Вторая (1846—1849) и частично Третья (1872—1876) карлистские войны, в ходе которых карлисты потерпели поражение.

[4] См. примеч. 9 к п. 178.

[5] Иван Сергеевич Николаев, жандармский ротмистр, помощник начальника Таврического губернского жандармского управления в Керчь-Еникальском градоначальстве и Феодосийском уезде; 21 августа 1900 г. он арестовал Волошина в Судаке. В письме от 22 мая 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 33—34 об.) Е.О. Кириенко-Волошина сообщала, что при обыске у Глотова (в доме П.П. Теша) Николаев просил его передавать Волошину поклон.

[6] Свои впечатления от корриды Волошин изложил в очерке «Бой быков», опубликованном в газете «Русский Туркестан» (1901. № 156. 19 авг.). См.: Т. 5 наст. изд. С. 361—369.

[7] Имеется в виду письмо Е.С. Ляминой от 16 мая 1901 г. (см. примеч. 4, 5, 8 к п. 186).

Заказ № 5706

188. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

3/16 июня 1901 г. Барселона

Barcelona 16 junio 1901.
Carders 45 Fonda Alba.

Дорогая мама!

Вчера я нашел на почте Ваше письмо от 22 мая,[1] адресованное в Париж. Из Парижа мною было послано 2 письма с вырезками из французских газет и потом 2 заказных со статьями Толстого. Если *русские подлецы* (пишу это специально для тех, которые будут читать это письмо раньше Вас) Вам их не доставили, то Вы мне, пожалуйста, напишите, т<ак> к<ак> сохранность заказной корреспонденции обеспеч<ен>а всемирным почтовым союзом[2] и они обязаны, в случае недоставки адресату, возвратить письма отправителю, и им по этому поводу придется уже ведаться с французской почтой. После я отправил Вам целый ряд открыток (уж не помню сколько) из разных мест своего путешествия.[3] Их-то вы, вероятно, все уже получили и, следовательно, знаете о моем путешествии. Теперь я в Барцелоне и послезавтра выезжаю на Майорку. В одном из парижских писем я просил Вас перевести мне в Пальму (глав<ный> город Майорки) франков 150–200 (лучше прямо письмом). Не знаю, получили ли Вы это письмо? Деньги я проживал всё заработанные, и у меня теперь осталось немного, т<ак> к<ак> первое путешествие с Пешковским[4] стоило мне гораздо дороже, чем я думал, да и это мы ведем не с такой спартанскою воздержанностью, как раньше. В «Русс<кий> Тур<кестан>» я отправил только один фельетон,[5] но очень большой. Денег от него еще не получал, да и не рассчитывал получить теперь, т<ак> к<ак> на обмен писем надо minimum месяца 1½ – 2. Теперь я думаю написать на Майорке статью об Андорре для «Русской Мысли».[6] В общем в Париже у меня выходило больше 100 фр. в месяц. Но я очень часто бывал в театрах и вообще не был очень экономен и делал покупки.

В Испании дешевизна страшная: представьте, что мы теперь живем на полном пансионе за 4 пезеты в день (пезета

по курсу ниже франка и = 25 к.). У нас прекрасные комнаты, нас кормят до отвала, разными рыбами, омарами и т.д., поят винами. И это все с квартирой рубль в день! На Майорке будет, конечно, еще дешевле. Я в Пальме не останусь, а уеду куда-нибудь в другое место на берегу моря, но куда, не знаю. Поэтому пишите мне пока так: España. Mallorca. Palma. Posta restante. А там я оставлю свой адрес.

Я кладу в это письмо тоже и письмо для Яши.[7] Там я как раз говорю о своих последних путевых впечатлениях, так что прочтите его. От Лёли я получил письмо в Андорре, от 16 мая.[8] Значит, тогда она еще была цела, впрочем, обыск был, вероятно, после уж этого?[9] Просто тоска берет, когда читаешь в письмах об этих бесконечных обысках и арестах. Ну, сидеть в тюрьме или под надзором, действительно что-нибудь сделавши или застреливши министра, что ли, какого-нибудь — это еще имеет смысл, но сидеть без всякого действия, это совсем скучно. Если Лёлю посадят, это будет ужасно, и я боюсь, что она не вынесет, если это затянется. И потом как это осложнится в семейных отношениях? Что думает делать Яша, если его действитель<но> на 3 года закрепостят? Пусть едет в Ташкент — там все-таки жизнь шире. Неужели он все-таки не покидает мысли снова поступить в русский университет? Пешковский в этом году (я вам ведь писал об этом) едет в Россию, чтобы поступить на филологический факультет. Вынесет ли он это, попробовавши уже заграницы?

Я все больше и больше радуюсь, что уехал за границу именно теперь.

Поздравляю Вас с закладкой домика, родившего<ся> так<им> обр<азом> в один день со мной.[10] Когда-то мне придется побывать в нем?

В вашем и Яшином письме, полученным мной одновременно, мне больше всего понравилось то, что ротмистр Николаев передавал Вам поклон.[11] Это совсем великолепно. Благодаря тому, что он арестовывал сперва сына, а потом племянника, он уже себя считает как бы близким знакомым. Не умилительно ли?

Почему это все делается с Пав<лом> Пав<ловичем>?[12] Где m-me Юнге? Получила ли она все мои открытки? Что

Евген<ия> Пав<ловна>?[13] Будет ли она этим летом в Коктебеле? Как живет бабушка и как ей нравится Коктебель? Напишите мне всё подробнее.

Целую бабушку и Яшу.

Поклон Пав<лу> Пав<ловичу> и m-me Юнге.

Если ротмистр Николаев еще раз придет, скажите ему, что я в Испании и целую его в обе щечки.

Макс.

[1] Письмо Е.О. от 22 мая 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 33–34 об.).

[2] Всемирный почтовый союз – международная межправительственная организация, образованная в 1874 г. на 1-м Международном почтовом конгрессе (Россия была одним из учредителей).

[3] Эти открытки не сохранились.

[4] Путешествие с А.М. Пешковским по Нормандии и Бретани в конце марта 1901 г. (см. примеч. 2 к п. 176).

[5] По-видимому, имеется в виду статья «Гергардт Гауптман и его “Потонувший колокол”» (опубликована в № 52 «Русского Туркестана» 11 апреля 1901 г.). См.: Т. 5 наст. изд. С. 353–360.

[6] См. примеч. 4 к п. 185.

[7] Имеется в виду п. 187.

[8] Цитаты из этого письма Е.С. Ляминой – в примеч. 4, 5, 8 к п. 186.

[9] В письме к Волошину от 16 мая 1901 г. Е. Лямина писала о последствиях пересылки ею нелегальных заграничных изданий: «...письма мои последние были перехвачены, посылка арестована, у товарища обыск, через неделю у меня (ничего ровно не нашли, даже не было ни твоих, ни Яшиных писем); товарищ был даже на допросе (я еще нет), на котором он сказал, что посылка предназначается Яше. По сему случаю я ужасно тревожилась за Яшу, чувствуя за собой большую вину, но, как мне кажется, дело пока обошлось; я еще не успокоилась совсем» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[10] См. п. 184, примеч. 9.

[11] См. примеч. 5 к п. 187.

[12] Е.О. писала, что Теш пакостит ей по непонятным для нее причинам.

[13] Е.П. Теш.

189. А.М. ПЕТРОВОЙ

11/24 июня 1901 г. Вальдемоза

Mallorca. Valdemosa. 24 junio 1901.

Фу! Жарко... Только что вернулся с купанья, а это прогулка не маленькая, потому что отсюда нужно полтора часа сползать до моря по уступам отвесных скал и 2 часа подниматься. Вот уже третий день я живу в Вальдемозе и ничего прекраснее, чем это место, не могу себе представить. Она лежит на краю небольшого плато, окруженного горами, заросшими дубом, оливами, пальмами и кактусом. Рядом монастырь — упраздненный еще в начале XIX века. Здесь есть длинный коридор — налево ряд дверей бывших келий, направо арки, в которых сквозит зелень. Здесь, в этом монастыре, провела зиму Жорж Занд с Шопеном. Зима была дождливая, по пустынным коридорам гулял ветер, двери хлопали, и этот звук гулко отдавался по бесконечным сводам. У Шопена был постоянно насморк, и они все время ссорились. Здесь было создано несколько ноктюрнов и написан «Спиридион».[1]

Теперь квартиры в монастыре более комфортабельны, и их занимают несколько богатых семейств майоркинцев, приезжающие сюда из Пальмы.[2] В тех самых комнатах, в которых когда<-то> жил Шопен, живет теперь безвыездно и лето, и зиму один испанский ученый Матиас Обрадор, работающий над рукописями знаменитого средневекового схоластика и алхимика Раймонда Люлли,[3] жившего здесь, в Валь<демозе> в начале XIII столетия. Мы познакомились в первый же день приезда <с> его сыном — мальчиком лет 18 — поэтом,[4] а потом и с самим Обрадором. Это пожилой, энергичный, живой и чрезвычайно интеллигентный человек, близкий друг эрцгерцога австрийского,[5] которому принадлежит Вальдемоза и ее окрестности. Это один из многих австрийских эрцгерцогов, отрекшийся от всяких знаков отличия и проводящий все время или на Майорке, или на Зантэ.[6] Теперь он на Зантэ. Его дворец Мирамар[7] — находится в километрах пяти от Вальдемозы. Это маленький домик, похожий на все старые ма-

ленькие домики соседних долин. Внутри прохладно. Местные соломенные циновки устилают пол. По стенам ряды старых майоличных блюд. (Майолика родилась на Майорке и получила от нее свое название). Простая местная деревянная мебель. Зато снаружи южное солнце осыпает золотыми лучами и домик, и пальмы, и кактусы, и зеленые короны пиний. А внизу между соснами блестит синее, синее Средиземное море. Простота и старина – это высшая роскошь. По дороге встрет<или> восьмидесятилетнего управляющего – толстого испанца с седыми бакенбардами. Дальше дом, в котором эрцгерцог дает даровой приют и пищу в течение трех дней и трех ночей каждому из путешественников, который вздумает заглянуть в его владения. Нас встречает старуха-крестьянка, еще более древняя, чем управляющий. У ней оливковое лицо, соломенная шляпа с широкими опущенными полями, вылинявшая юбка. Она фамильярно треплет своей коричневой морщинистой рукой по подбородку элегантного и представительного профессора Обрадора и смеясь говорит с ним на местном майоркинском наречии. Обрадор смеясь объясняет нам, что когда эрцгерцог в первый раз 40 лет назад приехал сюда на Майорку, он ее встретил такой же старой и поручил ей заведыванье гостиницей.

Вечереет. Стволы пиний и их бесчисленные руки, поддерживающие широкие зеленые зонтообразные купола зелени, становятся ярко-красными. Вдали на склоне горы между строгими кипарисами видна часовня – это усыпальница герцогов Сен-Симонов – младшей линии того рода, из которого происходил и суровый мемуарограф эпохи Людовика-Солнца, и «великий изобретатель идей» начала XIX века.[8]

Перед нами широкий круглый бассейн, окруженный кипарисами. За ними широкие зонтики пиний. Сквозь зелень сквозит море, вечерняя заря и сине-лиловая муть вечерних гор. Тихо и таинственно... В воде отражается тонкий рог месяца. Что-то похожее по настроению на «Священную рощу» Бёклина.[9]

В надвигающихся сумерках мы возвращаемся в свою деревенскую гостиницу. Пока мы едим в большой продол-

говатой комнате с белыми стенами национальную рисовую похлебку — «шóпа», начинает собираться публика. Приходят крестьяне в круглых шляпах, приходят женщины с детьми. Приходит и Обрадор.

«Вы, верно, хотите увидеть наши национальные танцы? Вот мы сейчас устроим бал... Моя младшая дочь протанцует вам: она пошла сейчас за своей подругой. А вот пока позвольте Вас познакомить с моей женой и старшей дочерью».

Приходит дочь — девочка лет двенадцати в голубом простеньком платье, с тонким, аристократическим, стрекозиным лицом. С ней ее подруга — длинная гибкая девочка-крестьянка. Сейчас же появляются гитара и кастаньеты и начинается «хота». Лица у танцующих девочек внимательны и сериозны. «О, танец у нас дело в высшей степени сериозное», — шепчет на ухо сеньор Обрадор. Звенит и рвется гитара, стучат кастаньеты... Этот резкий, сухой стук похож на это жгучее солнце и на стук кузнечиков в траве. Что<-то> опьяняющее и подхватывающее в этом ускоряющемся темпе. Танцуют до трех раз. «Ну, теперь танцевать вам» — все обступают бедно одетую молодую крестьянку. Та отказывается, но потом передает ребенка на руки донне Обрадор и бежит переодеваться. С ней выходит танцевать молодой парень — сапожник. Он держит приподняв сложенные руки и глаза, устремленные вверх, будто не танцует, а молится. У нее на затылке белая вуаль, тщательно закрывающая косу; когда она сидит, это делает ее немного сутуловатой, но во время танца это дает ей особую своеобразную грацию. Руки она держит врозь, точно крылья, прижав локти к бокам. Но зато она танцует вся — не только ноги, — но каждая жилка, каждый мускул, все тело танцует. Как потом оказывается, это лучшая танцорка всего острова. Кастаньеты действуют совсем опьяняюще.[10] Худ<ожник> Киселев под грохот аплодисментов танцует русскую. Жгучие испанские песни сменяются заунывно-раздольной: «Вниз по матушке по Волге».[11] Сама донна Обрадор, происходящая из древнего рода Готфрида Бульонского, танцует вместе с толстой хозяйкой кабачка. Равенство полное. Вероятно, и сам эрцгерцог, когда живет в своем Мирамаре, точно так же при-

ходит вечером в кабачок, посмотреть на танцы, а может и сам танцует иногда. Право, кажется, что перенесся куда-то в 13-ое столетие, к началу феодализма, когда сеньоры запросто пировали со своими вассалами, и так и кажется, что в дверях сейчас покажется сериозная фигура задумчивого Раймонда Люлли — Благочестивого, как его называли здешние крестьяне.

Макс.

P.S. Вероятно, я останусь здесь на все лето, если найду комнату. Мой адрес таков: Espagne. Les Balears. Mallorca. Valdemosa. A Max Volochine. Кланяюсь Мих<аилу> Митроф<ановичу> и Нине Александ<ровне>.[12] И вообще всем. Получили ли мое письмо из Андорры?[13]

[1] «Спиридион» («Spiridion») — роман Жорж Санд (1839), героем которого является монах — искатель истины. Писательница считала «Спиридион» своим религиозно-философским манифестом. Четыре месяца, проведенные ею с ее спутниками на Майорке, описаны в книге ее путевых очерков «Зима на Майорке» (1842).

[2] Пальма — главный город и порт Балеарских островов (провинция Испании) на острове Майорка. В 1901 г. — более 60 000 жителей. Путешественники были здесь с 5/18 по 8/21 июня 1901 г.

[3] Люлли — Раймунд Луллий, основоположник каталонской литературы. Уроженец Майорки.

[4] Имеется в виду Бернардо Обрадор и Биллон (ок. 1883 — после 1934). В 1908 г. в Барселоне вышла его книга «Испано-американские республики» («Las Republicas hispano-americanas»), переиздана в Мадриде в 1934 г.

[5] Эрцгерцог Австрийский и Тосканский Людвиг Сальватор Габсбург-Лорен (1847—1915), автор описания Балеарских островов, изданного в Лейпциге в 1869—1891 гг. в семи томах.

[6] Итальянское название острова Закинф из группы Ионических островов.

[7] Летняя резиденция (с 1872 г.) эрцгерцога Людвига Сальватора.

[8] Имеются в виду Луи де Рувруа герцог Сен-Симон (1675—1755), французский писатель и государственный деятель (его «Мемуары» в 21 томе впервые были изданы в 1829—1830 гг.), и Клод Анри де Сен-Симон (1760—1825), французский мыслитель, социолог, социалист-утопист.

[9] Картина Арнольда Бёклина (1882), экспонируется в Художественном музее Базеля.

[10] Впечатления этого вечера позднее вылились в стихотворение Волошина «Кастаньеты», впервые опубликованное в журнале «Новый Путь» (1903. № 8). См.: Т. 1 наст. изд. С. 15–16. См. также очерки Волошина «По глухим местам Испании. Вальдемоза» (1901) и «Cartuja de Valldemosa» (1904) (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 94–112, 134–160).

[11] Русская народная лирическая песня (известна в записи Н.А. Львова, последняя четверть XVIII в.).

[12] М.М. и Н.А. Петровы.

[13] Имеется в виду п. 185.

190. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

11–12 / 24–25 июня 1901 г. Вальдемоза

Mallorca. Valdemosa. 24 junio.

Дорогая мама,

вот уж третий день я в Вальдемозе. Здесь так хорошо, что я, может быть, останусь здесь на все лето, если найду комнатку. Тут я познакомился с одним испанским ученым доном Матиасом Обрадором и его сыном лет 18<-ти>.[1] Сын уже начал учиться у меня русскому языку, а я у него испанскому. Ничего прекраснее, чем это место, я не видал еще нигде. Здесь целые оливковые леса многовековых олив. Пальмы, кактусы, горы, поросшие пиниями и дубами. Рядом внизу море. Вальдемоза лежит на плато,[2] которое обрывается крутой стеной к морю, и надо около часу, чтобы спуститься туда. Пока мы живем в деревенской гостинице, но через неделю спутники мои разъезжаются и я надеюсь найти себе комнатку где-нибудь в долине. Один рыбак[3] мне предлагал сегодня поселиться у него над самым морем, но оттуда слишком далеко подниматься в Вальдемозу и там слишком тесно под этой стеной скал.

Здесь чувствуешь себя совсем как будто в XIII столетии. По вечерам все крестьяне и профессор Обрадор с женой, которая происходит из рода Готфрида Бульонского, и с дочерью собираются в деревенском кабачке, и там идут бесконечное

пенье, танцы, гитара и кастаньеты.[4] Рядом великолепное по красоте имение эрцгерцога Австрийского,[5] который почти постоянно живет здесь (теперь его нет) и тоже приходит посмотреть на танцы и провести вечер в том же кабачке.

Обрадор живет в старом упраздненном монастыре, где когда-то жила Жорж Занд с Шопэном в течение целого года.[6]

Здесь тысячи прогулок одна другой живописнее и красивее. Я каждый день и утром <и> вечером брожу в горах вместе с Бернардо Обрадором — сыном.

Глушь полная. Добраться сюда из Пальмы можно только на дилижансе (часа 3 езды), а сама Пальма — столица острова — тоже кажется страшной глушью. Жители себя испанцами не называют, а называют исключительно майоркинцами и делят весь мир только на две части: Mallorca и por-Mallorca, т.е. все остальное, что вне Майорки, в том числе и Испания, хотя от Пальмы до Барцелоны всего одна ночь пути.

Солнце здесь прямо ослепляет и обжигает, но в то же время днем в комнатах вовсе не жарко. Положим, теперь как раз самое лучшее время на Майорке. В Пальме в гостинице полный пансион с комнатой, обедом, ужином и утренним шеколадом стоит 3 пезеты, т.е. 78 коп. — по курсу. А обеды обильные и с разными рыбами, омарами, вином и разнообразными фруктами. Положим, что здесь весной 1000 апельсинов стоит 6 пезет, т.е. 1 р. 60 к.

Это ли не дешевизна? Я раньше думал, что Италия самая дешевая страна в Европе, но Испания оказывается еще дешевле.

Вот бы здесь Вам домик завести. Один только недостаток у жителей — они страшно религиозны, и Обрадор меня предупреждал уже, что для того чтобы установить с ними дружеские отношения, необходимо каждое воскресенье бывать на мессе, иначе они будут смотреть, как на еретика, и относиться враждебно. Так что завтра мы все торжественно отправляемся слушать мессу.

Как только устроюсь, сейчас же начну писать статью об Андорре и о Балеарских островах для «Рус<ской> Мысли»,[7] т<ак> к<ак> еще, кажется, ничего об этих странах на русском языке не появлялось.

Между прочим, в Вальдемозе нравы так просты, что, напр<имер>, каждый путешественник, приезжающий сюда, может провести даром три дня в особой гостинице, устроенной Ерцгерцогом, и его там будут и поить и кормить в течение трех дней и трех ночей тоже даром. Ну до свиданья. Теперь мой адрес: Les Balears. Mallorca. Valdemosa. Целую бабушку и Яшу.[8] После письма еще по парижскому адресу, с выражением беспокойства, по поводу молчания, я еще ничего от Вас не получал. Хотя из Парижа отправил 3 заказных, штук 6 открыток с дороги, заказное из Барцелоны и теперь это. Яшино письмо получил в Барцелоне и отвечал ему в одном из Ваших писем. Получила ли Алекс<андра> Мих<айловна> мое письмо из Андорры?[9] Одновременно с этим я ей тоже отправляю письмо.[10] Что Лёля?[11]

Макс.

25 июня.[12]

Вчера утром в то время, когда мы возвращались с купан<ья>, сеньор Бернардо, немного замявшись, сказал мне:

«Позвольте мне дать вам один совет... Это, собственно, разумеется, не мое мнение: мне это, конечно, все равно... но для того чтобы поддержать хорошие отношения с жителями... Скажите, вы католик?»

– Нет.

«Ну вот, видите, здесь настолько глухая страна, что наши крестьяне еще не имеют понятия о веротерпимости, и если вы хотите, чтобы они к Вам хорошо относились, то вы не должны им говорить, что Вы не католик. И кроме того, Вам необходимо будет каждое воскресенье бывать у мессы. Вы, конечно, понимаете, что я говорю это только для того, чтобы предупредить возможные неприятности. Ни я, ни мой отец – мы никогда не бываем в церкви, когда живем в Пальме, но здесь это необходимо, т<ак> к<ак> они смотрят на всякого, кто не бывает у мессы, как на очень скверного человека. Вот когда здесь жил m<onsieu>r Гастон Вилье[13] с женой, то он не посещал мессы, и ему жители делали массу неприятностей. Вы, конечно, понимаете, почему я Вам это говорю?»

Сегодня утром Бернардо зашел за мной, и мы пошли в монастырь. По широким белым коридорам — таким пустынным и таким прохладным — толпился народ. Приподняв занавеску, мы вошли в церковь и заняли одну из больших сериозных деревянных ниш.

Тихо.... Группы склоненных темных фигур. Черные кружевные наколки на головах у женщин. Легкое движение вееров, точно трепетанье бесчисленных белых крыльев. Голос что-то монотонно и скучно что-то бормочет у алтаря. Купол расписан грубо и ярко. Раскрашенные фигуры святых. Церковь лишена поэзии старины и таинственности. Только пол, покрытый местной майоликой, интересен. По звонку все опускаются на колени.

Первые десять минут это кажется интересным, потом делается скучно и глупо.

[1] См. примеч. 4 к п. 189.

[2] Плато с высшей точкой в 1570 м над уровнем моря.

[3] Джан (см. п. 191).

[4] См. п. 189, примеч. 10.

[5] Имение Мирамар. См. примеч. 5 к п. 189.

[6] Жорж Санд и Ф. Шопен прожили в Вальдемозе лишь 4 месяца (зима 1837—1838 г.).

[7] См. примеч. 4 к п. 185.

[8] Я.А. Глотов.

[9] А.М. Петрова. Имеется в виду п. 185.

[10] См. п. 189.

[11] Е.С. Лямина.

[12] Возможно, последующий текст — страница дневника, позднее подложенная Волошиным к его письмам к матери (при разборе архива в 1930 г.). Над текстом — карандашная помета: «1901».

[13] Гастон Вюилье (Vuillier), автор книги «Забытые острова. Балеарские острова, Корсика и Сардиния: Путевые зарисовки» (Les Îles oubliées: les Baleares, la Corse et la Sardaigne: Impressions de voyage. Paris: Hachette, 1893).

191. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13/26 июня 1901 г. Вальдемоза

Для мамы.

Valdemosa. 26 junio.

Дорогая мама!

Ну вот я и поселился окончательно на самом берегу моря метров на четыреста ниже Вальдемозы в маленьком рыбацком поселке в хижине у рыбака. Окон в моей комнате нет, но есть большая дверь, в которую виден огромный куст кактуса и кусочек моря. Мой хозяин m-r Джан, бывший повар на яхте аршидюка австрийского, говорит на всех европейских языках, в том числе по-французски, по-итальянски, по-немецки, по-английски, по-чешски, по-польски и по-гречески, не говоря об испанском и специально майоркском, который представляет среднее между испанским и французским, приближаясь к лангедокскому наречию. Его недостаток в том, что он говорит всегда на всех этих языках одновременно, что делает его речь, разумеется, очень интересной для лингвистического анализа, но совершенно непонятной. А потом он очень любит перечислять те языки, которые он знает, и те места земного шара, в которых он бывал с аршидюком. Сегодня он мне успел уже перечислить то и другое по пяти раз, а т<ак> к<ак> он знает языков много, а ездил тоже много, то на это ушло достаточно времени.

Постепенно мы приобретаем много знакомств. В первый же день мы познакомились, как я вам писал, с одним испанским ученым проф. Обрадором и его сыном Бернардо. Остальные жители относились к нам подозрительно и недоверчиво косились на бициклетные шаровары наших дам, а мальчишки на улице пели:

Señora bicicleta
Cuesta dos peseta<s>...*

Но потом любопытство и желание получить свой портрет превозмогло.

* Госпожа велосипед
Не стоит даже двух песет... (*исп.*)

Когда же в воскресенье,[1] по тонкому политическому совету Бернардо, мы появились в церкви во время мессы и чинно заняли места <на> старых резных потемневших скамейках — это окончательно покорило сердца обитателей Вальдемозы.

В тот же день все местные дамы сделали нам визит в деревенскую гостиницу, а хозяйка гостиницы прониклась к нам таким уважением, что подала в этот день счет ровно вдвое больший, чем в предыдущие. Вечером пришел старичок доктор с седыми усами и внук управляющего ерцгерцогскими имениями.

Потом мы познакомились еще и с донной Шереда — владетельницей замка. Это произошло так: Киселев отправился рисовать какой-то портал во дворе замка и познакомился с какой-то дамой. Как это вышло, он хорошенько сам не знает. Мы от него добились только того, что он увидал у дамы великолепный английский холст, прекрасные краски, сейчас же схватил их, усадил даму и начал писать ее портрет. Разумеется, он это все делал молча, т<ак> к<ак> по-французски он не говорит совсем, по-итальянски забыл, да и по-русски не очень-то любит много говорить. Дама была изумлена и польщена. Одним словом, мы очутились и в замке. Это старый красивый замок, с бесконечными переходами и башнями, с великолепной старинной мебелью, иконами по стенам, как это водится в Испании, бывший когда-то дворцом испанского короля Санчи I.[2]

Вчера перед обедом сидим мы на каменной скамье под старыми дубами на площадке около монастыря и рисуем мальчишек, сидящих на противуположной скамейке. В отдалении показывается старичок в золотых очках с Викторо-Эммануиловской бородой и усами.[3] Его притягивают неотразимо наши тетради с рисунками. Он похаживает около, постепенно сокращая круги, заглядывает сзади из-за спины, что мы рисуем, и наконец садится на противуположную лавку рядом с позирующими мальчишками, мечтательно опускает голову набок, закладывает руку за жилет и принимает байронически-меланхолическую позу.

Бернардо шепотом сообщает нам, что это бывший морской министр дон Гомес Имас и что он предлагает нам нари-

совать его портрет. Едва удерживаясь от смеха, мы начинаем в четыре карандаша рисовать портрет ex-ministr'a. Полчаса экс-министр сидит смирно, сохраняя байронический вид, потом начинает ерзать. Ел<изавета> Сер<геевна> (Кругликова) подает ему его портрет, и лицо экс-министра расплывается в довольную улыбку. Он складывает портрет в четвертушку, прижимая большим пальцем складки бумаги, чтобы она лучше сложилась, и прячет его в боковой карман.

Сегодня в четыре часа утра я спустился сюда к морю и вот пока поселился здесь у рыбака. Не знаю, останусь ли я у него долго или нет. Здесь только тем неудобно, что для каждой прогулки надо прежде всего сделать часовой подъем в гору, но зато здесь великолепное купанье и замечательная дешевизна. Жизнь здесь мне будет стоить 35—40 пезет в месяц, т.е. рублей 10 – всё.

Пока мне все путешествие с Пиренеями и Барцелоной и переездами стоило 120 франк<ов>, т.е. 45 рублей. Это очень мало. Т<ак> к<ак> у меня теперь еще остается 200 пезет, да я еще надеюсь недели через 2 получить от Вас 150 фран<ков>, то я думаю проехать отсюда в августе в Андалузию и к первому сентябрю быть в Париже.

Здесь же пока буду писать для печати. Так<им> обр<азом> я надеюсь, что зима в Париже у меня будет обеспечена больше, чем 100 фр. в месяц.

Что вы думаете насчет поездки в Париж этой зимой? Сможете ли Вы? Или нельзя будет оставить бабушку одну? Хотя, положим, я думаю, что она во всяком случае не будет жить зимой в Коктебеле, а переедет в Феодосию, а при таких обстоятельствах уехать на 2, на 3 месяца, если ее здоровье будет хорошо, совсем не опасно.

Как сложилась ее жизнь в Коктебеле? Довольна ли она или все-таки скучает по Москве, по грязном дворе, Устинье и прочей привычной обстановке? Как отразилась пе<ре>мена образа жизни на дяде Саше?[4]

Цела ли еще Лёля?[5] Что делает Яша[6] и что он думает делать впоследствии? Если ему не удастся добиться отмены 3-годичной ссылки, не удастся ли ему добиться заграничного

паспорта? Вероятно, я найду ответы на эти вопросы в ваших письмах, но я до сих пор еще ни одного не получил – ни одного, адресованного не в Париж, а в разные этапные пункты моего путешествия. Вы мне напишите, сколько и куда вы писали писем. Если вы надумаете ехать в Париж, то надо будет позаботиться о помещении. Я все не знаю еще – взять ли годовую комнату или оставаться в гостинице? На август и сентябрь мне предлагали одни знакомые[7] свою квартиру, которая на это время останется пустая. Ну до свиданья. Целую бабушку.

Адрес: Les Baleares. Mallorca. Valdemosa.

Макс.

P.S. Ввиду того что я не знаю, доходят ли мои письма до Вас, посылаю это на имя бабушки.

[1] 10/23 июня.

[2] Санчо I Великий – король Кастилии и Наварры, правил в 970–1035 гг.

[3] Т.е. как у Виктора-Эммануила III, короля Италии с 1900 г.

[4] А.О. Глазер.

[5] Е.С. Лямина.

[6] Я.А. Глотов.

[7] Неизвестно, о ком идет речь.

192. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

15/28 июня 1901 г. Вальдемоза

Valdemosa 28 junio 1901.

Дорогая мама!

Получил одно за другим два Ваши письма – одно адресованное в Андорру, другое в Пальму вместе с чеком.[1] Как Вы знаете из моего предыдущего письма: дела мои (денежные) совсем не плохи, а гораздо лучше, чем я думал. Двухсот пезет хватит на житье в Вальдемозе в июле и на путешествие по Андалузии в августе. Достанет ли их на возвратный путь до самого Парижа, не знаю – во всяком случае, присланный чек оставлю только на самый крайний случай. Мне очень жаль,

что я Вас заставил так хлопотать и беспокоиться: я нарочно написал заблаговременно, чтобы можно это сделать при удобном случае, а потом я, помнится, предлагал вам выслать мне деньги в письме. Ну да это уже все равно. Во всяком случае, пересылка в письмах гораздо проще. Я от рыбака снова переселился в город, т<ак> к<ак> там хотя море и было под боком, но жара оказалась совершенно невыносимая, т<ак> к<ак> солнце с раннего утра начинало раскалять каменную стену гор, нависшую над рыбацким поселком, а тень исчезала совершенно. Теперь у меня хорошая прохладная комната в городе. В нижней комнате, широкой и прохладной, с дверью, занавешенной рыбацкой сетью, как водится в майоркских домах, сидит моя хозяйка, седая старуха, и прядет шерсть на старозаветной прялке, точь-в-точь какая-нибудь старая сказочная мачеха в замке. Тут мне, конечно, жизнь будет стоить дороже, чем у рыбака, – 60 пезет в месяц, т.е. полный пансион с комнатой 16 рублей. Как хотите, а это все-таки не дорого.

В своих последних письмах вы сильно ополчаетесь на Яшу.[2] Я не знаю, в чем заключался тот разговор, который произвел на Вас такое дурное впечатление, но то, что вы ставите Яше в упрек его предупредительность по отношению к Пав<лу> Пав<ловичу>,[3] по-моему, это совершенно неосновательно. Я себе представляю, насколько теперь обольстительно мил и любезен Пав<ел> П<авлович> с Яшей (ведь у меня были иногда с ним такие отношения, когда я ходил с ним на работу), *и Яше* буквально неловко сделать ему что-нибудь неприятное, а о пролазничестве здесь буквально не может быть и речи. Вообще я не замечал совершенно тех черт в Яше, о которых Вы пишете, и совсем с Вами не согласен.

Как будет хорошо, если Вы соберетесь вместе с Заинькой[4] в Париж на зиму. Тогда нам надо будет на trois* нанять маленькую квартиру, это будет стоить гораздо дешевле. Тут квартиры отдают по 300–400 в год. Меблировка почти ничего не будет стоить, т<ак> к<ак> можно будет взять часть напрокат, часть у знакомых, часть купить по случаю. Но только едва ли Заинька действительно поправится при таких услови-

* троих (*фр.*).

Заказ № 5706

ях, как вы пишете. Вот если бы она на Майорку приехала, то наверное бы быстро поправилась. А дорога ей бы окупилась дешевизной здешней жизни. Только устроиться здесь очень трудно, и без Бернардо (о котор<ом> я вам писал – сын проф. Обрадора) мы бы ни за что не устроились бы. Прежде всего здесь ужасный язык – специально майоркский, который совершенно не похож на испанский, но приближается к лангедокскому наречию, которое в свою очередь совсем не напоминает север<ный> французский.

Относительно французского языка я, кажется, здесь буду даже иметь больше практики. С одной стороны, я постоянно беседую по-французски с Бернардо (я-то извлекаю пользу из этого, т<ак> к<ак> он, конечно, говорит лучше меня, но зато он, не будучи вполне уверен, начинает постепенно перенимать мои ошибки). А потом, я теперь читаю исключительно по-французски, т<ак> к<ак> других книг никаких нет. На счастье или несчастье пропал мой фран<цузско>-русс<кий> словарь, и я поэтому стал читать значительно быстрее и больше. Может, это и к лучшему.

Но что же в конце концов будет делать Ев<гения> Пав<ловна> в Коктебеле? Может, она наконец переселится в Ваш домик, когда он будет готов?[5] Кланяйтесь ей и скажите, что я страшно желаю видеть ее зимой в Париже.

Да, вот относительно времени приезда в Париж: самые лучшие месяцы – это с сентября до декабря. Декабрь, январь и февраль, говорят, невыносимы. Постоянно идет дождь, всюду страшный холод, в каминах дует – словом, приезжать в это время совсем не стоит. Может, так сделать: приехать в начале октября и захватить декабрь, потому что начало декабря еще бывает хорошо.

На днях я поеду на несколько дней в Барселону, чтобы выручить пропавшие вещи, отправлен<ные> по железн<ой> дороге из Тараскона, и сейчас же вернусь назад.

Пока до свиданья. Целую бабушку.

А Яше советуйте лучше ехать в Ташкент.

Макс.

[1] Письма Е.О. от 25 мая (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 35–38) и 2 июня 1901 г. (Там же, л. 39–40 об.).

[2] В письме от 25 мая 1901 г. Е.О. возмущалась поведением и речами Я.А. Глотова, не сообщая, что конкретно ее «привело в полнейшее негодование».

[3] П.П. Теш.

[4] Подразумевается Евг. П. Теш; о ее приезде в Коктебель Е.О. сообщала Волошину в письме от 2 июня 1901 г.

[5] 2 июня Е.О. писала, что постройка ее дома «быстро подвигается вперед»: «...уж принялись за крышу, кладут балки; думаю, что к июлю все будет готово».

193. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

22 июня / 5 июля 1901 г. Валенсия

5 июля. Valencia.

Сегодня приехал сюда на рассвете,[1] а в 6 час. вечера выезжаю в Малагу. Если не будет качки, то проеду оттуда через Гибралтар в Кадикс, и через Севилью и Кордову в Мадрит. Т<ак> к<ак> я теперь еще совсем не могу рассчитать, сколько у меня будет денег по возвращении в Париж в конце июля, то *на всякий случай,* чтобы не беспокоить вас потом экстренными письмами, переведите мне туда еще денег (сколько заблагорассудите) по адресу: Boulevard Port Royal. 48. Pharmacie de M. Hambourg pour Max Volochine. Вам самим даже нечего ездить за этим в Феодосию, это может Яша[2] сделать. А то лучше так: пошлите русскими бумажками poste restante денежным письмом. Только Кириенко не пишите, т<ак> к<ак> ее у меня в пашпорте на франц<узском> языке нет. До свиданья. Целую бабушку. Поклон Зайцу.[3]

Макс.

[1] Волошин выехал из Пальмы в Барселону и далее в Валенсию один: его спутники остались в Вальдемозе (см. п. 194).

[2] Я.А. Глотов.

[3] Прозвище Евгении П. Теш.

194. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

22–23 июня / 5–6 июля 1901 г.

Пароход «Alceria».
В море между Валенцией и Малагой.
5 июля.

Четыре дня назад я покинул Вальдемозу, чтобы съездить за затерявшимися вещами в Барцелону[1] и сейчас же вернуться обратно на Майорку. Но в результате оказалось, что я совсем распростился с Майоркой и направил свой путь морем в Андалузию. После бесплодных поисков вещей и хлопот в Барцелоне, занявших целый день, я выехал в Валенцию, где провел сегодня целый день. Город некрасивый – каменный и без зелени. Бедекер[2] пишет – orientale* – ничуть не бывало. Съел два апельсина «Valenc», апельсины как апельсины. Пошел купаться – море грязное. Бросил. Пришел в какое-то маленькое кафе в порте и стал рисовать. Испанские квартальные, увидя, что их рисуют, натурально начали принимать позы античных богов: тот – Венеры Медицейской, этот – Аполлона. Зато успех был полный. Обступила толпа народу и все стали просить портретов: испанцы, негры, голландцы, англичане: все интернациональности торгового города. Стало так жарко и тесно, что пришлось удрать на пароход и сидеть там на рейде 3 часа.

Итак, я плыву теперь к югу: взял билет до Малаги. Если не очень будет качать (меня так раскачало между Пальмой и Барселоной, что я стал бояться качки), то из Малаги проеду в Кадикс через Гибралтар и Танжер (в Африке). Это, между прочим, самый дешевый путь в Андалузию: здесь железн<ые> дор<оги> страшно дороги. Сетования Озерова относительно испанской жары пока не оправдываются. Впрочем, я пока все по портам, а внутри не был. Что меня особенно тянет в Андалузию – это танцы.

* восточный (*фр.*).

Аликанте.[3]

Пароход стоит здесь шесть часов. Брожу по городу и зашел в кафе, чтобы написать это письмо. Покойный Юнге[4] говорил, что когда он в первый раз приехал в Коктебель, то ему показалось, что он попал в Аликанте, до такой степени они похожи. Действительно: не самый город, но окрестности, и не по очертаниям, но по общему характеру удивительно напоминают Коктебель и вообще наши места, скорей даже Меганом.[5] Только ярче, еще белее, синее и розовее. На сероватой белой выжженной равнине кое-где пальмы да синие зубчатые горы. Много настроения и оригинальности. Кроме пальм, здесь никакой растительности, но зато их много – целые аллеи и бульвары. Желтовато-белые скалы в коронах из крепостей.

Теперь жду 10-ти часов, чтобы в военном управлении получить разрешение подняться на одну из них, где по Бедекеру открывается замечательный вид. Завтра вечером буду в Малаге. На пароходе народу мало.

Познакомился с двумя американками – старухой и молодой. Старуха скульпторша и работает всегда во Флоренции. Они так же скверно говорят по-французски, как и я, и поэтому беседа у нас <идет> довольно легко, хотя, вероятно, не без недоразумений. Например, она мне рассказывала вечером, что прошлой зимой она встретила в окрестностях Флоренции настоящего живого фавна. Думаю, что здесь было какое-нибудь недоразумение. Едва ли Ваш ответ на это письмо успеет меня застать в Мадрите, поэтому лучше пишите уж в Париж по адресу: Boulevard Port Royal 48 Pharmacie Hambourg pour Max Volochine.

Как идет коктебельская жизнь? Что делает бабушка? Как поживает Заяц?[6] Вернулся ли Яша?[7] Думаете ли вы осенью приехать с Заяцем в Париж?

Макс.
6 июля. Alicante.

Целую бабушку. Что Лёля Лямина?

[1] Волошин пробыл в Барселоне 19 июня / 2 июля, вечером отправился в Валенсию.

[2] Путеводитель по Испании, выпущенный книгоиздательской фирмой Карла Бедекера.

[3] Аликанте — главный город провинции Аликанте, крепость и важный торговый порт, живописно расположенный, частично на скале (в 200 м над уровнем моря), увенчанной замком св. Варвары. Жителей в 1901 г. около 36 000 человек.

[4] Э.А. Юнге.

[5] Меганом — мыс в юго-восточном Крыму, к востоку от Судака, между Козской и Капсельской долинами, выжженный солнцем и лишенный растительности.

[6] Евгения П. Теш.

[7] Я.А. Глотов.

195. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

25 июня / 8 июля 1901 г. Малага

8 июля. Малага.[1]

Завтра наконец выезжаю из Малаги, которая мне таки порядочно надоела за эти 3 дня ожидания парохода, но я все-таки решил дождаться парохода на Кадикс, чтобы посмотреть Гибралтар. И кроме того, это для меня очень удобно, т<ак> к<ак> пароход идет прямо в Севилью. Сначала я ничего не мог понять, т<ак> к<ак> знал, что Севилья совсем не у моря стоит, но оказывается, что морские суда ходят по Гвадалквивиру вплоть до самой Севильи. Я уже давно не имел от Вас писем, что и вполне натурально, т<ак> к<ак> я просил всё пересылать на мое имя в Мадрит. Как идет постройка домика? Об этом главном, что Вас теперь должно интересовать, Вы мне почти ничего не пишете. На каком плане Вы в конце концов остановились? В каком именно месте у моря будет он стоять? Ближе, чем певицы?[2] Какой он вообще имеет вид? На каком названии Вы остановились?[3] Лучше всего с именем подождать, и тогда оно само придет. Ну, значит, вы окончательно решили на зиму приехать в Париж? Заключаю это из того, что вы собирались с Зайцем.[4] Это будет очень хорошо, и я думаю, что мы устроимся так, что Вы всю зиму проживете до весны, хотя ведь самое лучшее время в Париже — это с сентября по конец ноября и с половины марта до конца мая. Меня теперь потянуло уже обратно в Париж; отчасти поэтому я и ускоряю

свой путь, хотя все-таки как, будучи в Испании, кроме Севильи не заехать в Кордову, в Толедо. Ведь это все мне по дороге. Ну там-то я остановлюсь наверно. Но вот еще хочется страшно остановиться на родине Дон Кихота — в Ла-Манче — это уж не знаю.

Но что лучше всего все-таки в Испании — это танцы. Ни по каким балетам об них себе понятия составить невозможно. Я никогда не предполагал, чтобы в них могло быть столько же увлекательности, чувства и настроения, как в хорошей музыке. Если Вы сможете себе представить, как человек поет всем телом, то вы себе представите, что такое испанский танец. Но все это уже наполовину опошлено тем, что производится в разных кафе в усладу иностранцам. Только на Майорке я и видел настоящие народные танцы. Меня теперь и в Севилью-то особенно тянет, чтобы посмотреть настоящие андалузские танцы.

Малага сама мало интересна, но окрестности характерны и красивы. Целые банановые рощи. Пальмы растут прямо в поле. За две копейки на наши деньги вы получаете здесь в ресторане стакан самого лучшего и тонкого вина: хереса, малаги, мальвазии, лагримас; вина густые, чуть не тягучие. Я никогда не имел представления о том, что такое херес, а теперь могу сравнить его только со жгучими лучами здешнего солнца, превращенными в вино. Теперь уже — в начале июля поспевает виноград.

Ну, до свиданья. Пишите мне в Париж poste restante. Целую бабушку. Поклон Зайцу, Яше и Пав<лу> Пав<ловичу>.[5]

Макс.

Я нарочно, между прочим, отправляю это письмо по дороге через Бриндизи.[6] Обратите внимание, сколько дней оно будет идти. Оно должно дойти отсюда морем скорее, чем сушей.

[1] Малага — торговый и военный порт в Андалусии, при устье реки Гвадальмедина, со средневековой застройкой старого города; в 1901 г. — 116 000 жителей.

[2] Две бывшие певицы — Людмила Николаевна Баженова (псевдоним — Баженова-Беллини; ?—1913) и ее подруга Софья Георгиевна

Попова, совладелицы дачи «Отрада». Их участок земли в Коктебеле примыкал к участку Е.О. с востока.

[3] Названием своего дома Е.О. позднее избрала: «вилла Макселена».

[4] Евг. П. Теш.

[5] Я.А. Глотов, П.П. Теш.

[6] Город-порт в южной Италии.

196. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

30 июня / 13 июля 1901 г. Севилья

13 июля. Севилья.

Наконец-то, после 12-дневного плавания по испанским берегам Средиземного моря, Гибралтару, Атлантическому океану и, наконец, Гвадалквивиру, я вчера прибыл на пароходе в Севилью. И слава Богу, потому что это бесконечное качанье начало мне совсем надоедать.

«Шумит, бежит Гвадалквивир».[1] Это широкая и глубокая река, по которой ходят океанские пароходы (положим, по дороге они же садятся на мель и ждут прилива, как это было со мной). И течение ее так тихо, что она похожа на пруд.

Вчера вечером в одном кафе видел знаменитых гитан. «Гитана» — это звучит ужасно поэтично.

————— раз
Шла гитана молодая,
Красотою чудных глаз
Проповедников пленяя.[2]

И вот на сцену выплыли трое жилистых, черномазых, костлявых расписных гитан, точно три акулы, и стали разводить руками, приседать, вскрикивать и изображать данс де вантр.[3] Безобразнее это<го> я в жизни своей ничего не видывал. Но зато национальные испанские танцы: севильяна, хота, малагенья — это совершенный восторг. (Гитаны — это испанские цыганки.)

Рисованье, между прочим, неоценимая вещь в путешествии. Благодаря ему знакомишься со всякими классами людей, начиная с испанского ex-ministr'а (о котором я Вам писал) и

нидерландского генерала, с которым я познакомился в Малаге, кончая обширным знакомством с севильскими уличными мальчишками, рабочими и тореадорами.

Никто не может побороть страстного желания видеть себя изображенным на бумаге.[4] Вчера в том кафе я имел такой успех, что тут же в честь меня были сложены какие-то куплеты и пропеты со сцены. Жаль только, что я ничего не понял. И главное, знакомства т<аким> образом завязываются при абсолютном незнании языка. Сегодня я уже встретил на улице человек 6, которые со мной раскланивались. Послезавтра я выезжаю в Кордову, а 18<-го> думаю быть в Мадрите, так что числа 25–27 июля верно буду в Париже.

Возвращаться из Мадрита мне придется уже на те 150 фр., что Вы выслали в Пальму, т<ак> ч<то> у меня останется не больше 40–50 фр. по приезде в Париж. Т<ак> ч<то> вы мне пришлите, пожалуйста, еще денег в Париж до востребования денежным письмом и русскими деньгами, и, пожалуйста, не ездите сами за этим письмом в Феодосию – ведь это можно и поручить кому-нибудь. И адресуйте не Кириенко-Воло<шину>, а просто Max Volochine, т<ак> к<ак> у меня в пашпорте именно так стоит по-французски.

Мне как раз надо будет сейчас же по приезде в Париж сделать кое-какие покупки по части туалета и книг, и, кроме того, я хочу записаться в какое-нибудь гимнастическое общество. Т<ак> что вышлите рублей 100. Я сейчас же по приезде примусь за писанье во все газеты и <к> октябрю верно уже получу с них деньги. Я пишу 100 руб<лей>, чтобы не затруднять Вас новыми присылками. Я же думаю, что теперь мне жизнь будет стоить дешево: квартиру мне предлагали одни знакомые на 2 месяца их отсутствия, а обедать я буду в экономической русской столовой, где можно обедать за 50 с<антимов>, т<ак> ч<то> еда мне в день будет стоить франк, а раньше я тратил около 3 фр. ежедневно.

Ну до свиданья.

Макс.

Целую бабушку.

[1] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Ночной зефир...» (1824).

[2] Неточная цитата из баллады Вас.И. Немировича-Данченко «Херомита и король Санхец»; в оригинале:

Сатане на завтрак раз
Шла гитана молодая,
Красотою чудных глаз
Проповедников смущая.

(*Немирович-Данченко Вас. Ив.* Край Марии Пречистой (Очерки Андалузии). СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1902. С. 41; *Немирович-Данченко Вас.* Стихи. 1863–1901. 2-е изд. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1902. С. 379).

[3] Danse du ventre (*фр.*) – танец живота.

[4] Некоторые из рисунков Волошина, выполненных в Испании, опубликованы в кн.: Пограничные культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания). СПб., 2001. С. 344–350; *Багно В.Е.* Россия и Испания: общая граница. СПб.: Наука, 2006. Вкл. между с. 288 и 289.

197. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

2/15 июля 1901 г. Кордова

15 julio. Cordoba. 9 час. вечера.

Сегодня в 12 часов дня я слез с поезда в Кордове[1] и теперь вот сижу в кафе в ожидании отхода поезда на Толедо – Мадрит, который отойдет в 3 часа ночи, так что мне предстоит сидеть еще здесь 6 часов. Перспектива тем более приятная, что я выехал из Севильи в 5 часов утра, и уже теперь мне начинает хотеться спать.

Весь день я провел в соборе: знаменитом Кордовском соборе,[2] чуть ли не самом большом после Св. Петра.

Он совсем не делает этого впечатления, т<ак> к<ак> он страшно низок и плосок. Вся его величина в ширине. Этот бесконечный лес колонн

(Исполинские колонны,
Счетом тысяча и триста,
Подпирают тяжкий купол
Кордуанского собора)[3]

был бы очень красив, если бы посреди него католические монахи (это была мавританская мечеть) не втиснули неуклюжую ренесанщину с толстомясыми купидонами и не испортили бы раз и навсегда удивительную перспективу аллей, составленных из сотен мавританских марок. Вполне понимаю Карла V, который, увиде<в> эту штуку, публично выругался и обозвал их идиотами. (Это было во время освящения новой постройки).[4]

Сами колонны далеко не исполински<е> и сами по себе в отдельности ничего красивого из себя не представляют, но в своей массе действительно импонируют.

Кроме это<го> в Кордове решительно ничего нет интересного. Извилистые белые улицы. Совершенно безлюдные и горячие. Почти пересохший Гвадалквивир, а за ним типичный испанский пейзаж: холмистая желто-серая обуглившаяся от зноя пустыня. По берегам реки густая зелень и пальмы.

По другую сторону города зеленеют горы — Кордовская Сиерра, но их как-то ниоткуда, кроме как <с> бульвара, не видно.

Через два дня я буду в Мадрите и, вероятно, пробуду там не дольше 4 дней и затем прямо в Париж.

По дороге мне все приходилось довольствоваться, конечно, французскими книгами (и их-то тут не во всяком городе достанешь). И романы французские, точно так же как и газеты, я теперь читаю совсем свободно (без словаря, т<ак> к<ак> мой фр<анцузско->рус<ский> словарь пропал вместе с другими вещами). Конечно, много слов мне не известных, но все-таки прогресс уже в том, что я настолько освоил<ся> с формой французской речи, что мне не надо каждую фразу в уме переводить и перечитывать по нескольку раз. Словом, я теперь уже начинаю читать по-французски для удовольствия непосредственного, для *времяпрепровождения*, а это уже все-таки шаг. По приезде в Париж думаю приняться в конце концов все-таки за грамматику, т<ак> к<ак> без этого не обойдешься никак, а потребность выражать свои мысли на французском диалекте у меня все увеличивается.

Я совсем не помню, писал ли я Вам еще из Парижа, что я получил приглашение этой осенью прочесть в Русском Университете[5] лекцию о XIX веке (на тему моей поэмы).[6]

Вот тоже метаморфоза: из исключенного студента и фельдшера оказаться лектором на той же кафедре, с которой читают Максим Ковалевский, Де Роберти, Гамбаров и проч<ие> основатели университета и эмигранты русской науки.

Так что вот мне теперь предстоит еще сейчас же по приезде в Париж сериозно заняться подготовкой к первому выступлению на университетской кафедре.

Представляю себе то движение носом, которое сделает Пав<ел> Пав<лович>,[7] когда вы ему сообщите об этом.

А может, Вы и сами будете в Париже к тому времени, когда я буду читать? Хотя нет! Вас бы я меньше всего хотел бы иметь слушательницей.

До свиданья. Целую бабушку и Яшу[8]. Поклон Зайцу[9] и Пав<лу> Пав<ловичу>.

Макс.

P.S. Получили ли Вы письмо с просьбой о высылке денег в Париж, отправленное из Севильи?[10]

[1] Главный город провинции Кордова, на правом берегу Гвадалквивира, на склоне отрога гор Сьерра-Морена, бывший центр арабского халифата на Пиренейском полуострове. В 1901 г. — около 56 000 жителей.

[2] Кордовский собор — до 1236 г. мечеть (начата в 785 г., достраивалась до конца X в., став одной из крупнейших в мире), с 850 колоннами.

[3] Первая строфа стихотворения Г. Гейне «Альманзор» из цикла «Опять на родине», входящего в «Книгу песен» (1827), в переводе М.Л. Михайлова (*Гейне Г.* Полн. собр. соч. Т. 1. / Ред. П. Быкова. СПб., 1900. С. 223).

[4] Ср.: «До 1528 года мечеть оставалась нетронутою, хотя и обращенною в церковь, но тогда духовенство Кордовы <...> выпросило у Карла V позволение проделать окно, и вместо окна сделало в самой середине мечети огромный придел, по величине своей настоящий храм в готическом стиле. Умный Карл V, узнавши об этом, очень жалел, что не сохранили вполне такого колоссального и единственного в Испании памятника арабского религиозного зодчества» (*Боткин В.П.* Письма об Испании / Издание подготовили Б.Ф. Егоров, А. Звигильский. Л.: Наука, 1976. С. 53. Лит. памятники).

[5] Имеется в виду Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[6] См. примеч. 10 к п. 30.

[7] П.П. Теш.

[8] Я.А. Глотов.

[9] Евг. П. Теш.

[10] Имеется в виду п. 196.

198. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

6/19 июля 1901 г. Мадрид

Мадрит 19 июля.

После долгих упрашиваний и уговариваний посмотреть «еще раз» почтовый чиновник в конце концов дал мне Ваше письмо от 15 июня,[1] которое совершило длинное путешествие через Пальму и Вальдемозу, прежде чем попасть в Мадрит.

Не знаю, были ли еще письма в промежуток моего отсутствия, т<ак> к<ак>, приехав в Мадрит,[2] я к удивлению узнал, что мои спутники, которых я думал еще дожидаться в Мадрите, уже все уехали во Францию, и очень возможно, что кое-какие письма на мое имя остались у них. Сам я выезжаю в Париж завтра (с остановкой на один день в Эскуриале).[3] Теперь я сижу в одной «оршадерии»[4] (стилограф истощился, надо писать карандашом), в ожидании 4 часов, когда я должен отправиться в Палату Депутатов с письмом к лидеру испанской демократической социальной партии Леруксу. Письмо это я получил от моего соседа по комнате, обитающего в том же пансионе донны Петрониллы, где нахожусь я теперь. Это испанец – инженер и социалист, демагогический оратор, провозгласивший в 1892 г. во время восстания в Бадахосе республику, приговоренный к гаротированию,[5] бежавший в Англию и теперь после амнистии вернувшийся назад. Его зовут Франциско Мира.[6] Узнав, что я был и инженером и фельдшером, и сидел в тюрьме и был в ссылке в Средней Азии, он проникся ко мне глубочайшей внимательностью и решил, что мне необходимо познакомиться с Леруксом.

Но едва ли мне с ним удастся познакомиться, т<ак> к<ак> сегодня, кажется, будет бурный день в палате. Вчера пришло известие об уличной битве в Сарагоссе с баррикадами и убитыми,[7] с сожжением церквей и т.д., и, кажется, Лерукс сегодня будет интерпеллировать по этому поводу правительство. Но едва ли не большее впечатление, чем сарагосская история, произвели на испанцев телеграм<мы> о безнадежном положении Толстого.[8] Он здесь страшно популярен, и все книжные магазины полны его переводами. Из других русс<ких> писателей больше всего переведены на испанск<ий> яз<ык> Мережковский и Кропоткин (революционер). Сенкевич по обилию переводов соперничает с Толстым.

Положение в Испании тревожное. Мира покачивает головой и советует мне немного подождать в Мадрите: «вот Вы увидите». Очевидно, последует ряд восстаний в других городах.

Но как это ни соблазнительно, а меня все-таки уже окончательно потянуло обратно в Париж.

Перечитал Ваше письмо еще раз и вижу, что все Ваши письма были мною получены и ни одно не пропало. Относительно же того, что Вы не имели ответов на ваши вопросы, это потому, что тогда еще письма не были получены. Ведь сюда страшно долго почта идет. А вот Вы ничего больше не пишете мне относительно Парижа и приедет ли Заяц?[9] Я ему настоятельно рекомендую приезжать: Париж – самое лучшее средство от всяких болезней. Я смогу ее и со многими испанцами познакомить там, т<ак> ч<то> она будет иметь практику.

С чеком у меня была довольно длинная история. Когда я приехал в Мадрит, у меня было все<го> 10 се́нтимос в кармане, а тут вдруг в Crédit Lyonnais у меня чека покупать не захотели, найдя меня подозрительным (и немудрено, т<ак> к<ак> я нахожусь в обычном «путешественном» виде). Мне пришлось обращаться к русскому посольству, и только с письмом от секретаря посольства[10] у меня в конце концов согласились взять чек. Самое дорогое для меня во всем путешествии была в конце концов покупка франц<узских> книг и газет, которые в Испании очень дороги, и я по прибл<изительному> подсче-

ту на них истратил 60 франк<ов>, но зато теперь уже не берусь за фр<анцузскую> книж<ку> как за урок, а читаю ее с таким же удовольствием и так же быстро, как русскую, разумеется, поним<ая> еще далеко не все, т<ак> к<ак> нет словаря.

На днях буду писать Яше, а то я не знал, где он (вы писали, что он уехал в Геленджик).[11] Целую бабушку. Клан<яюсь> Яше, Зайцу и Пав<лу> П<авловичу>.[12] Скажите Зайцу, что с нетерпением буду ждать ее приезда в Париж, и чем раньше она приедет, тем лучше, т<ак> к<ак> в декабре уже скверная погода.

Макс.

[1] В этом письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 41–42 об.) Е.О. сообщала, что дом «уже совсем вырос, покрыт крышей, уже в нем действует плита <...> неподалеку от домика вырос еще домишко в 3 комнатки из оставшегося материала». Здесь же она писала о Глотове: «Яшу уже прикрепили на 3 года к Коктебелю, с правом ездить в Феодосию, куда он на зиму думает переселиться, если не выхлопочет другого местопребывания».

[2] Волошин приехал в Мадрид 5/18 июля 1901 г. из Толедо (где провел день). Мадрид, столица Испании, с пригородами имел в 1901 г. более 500 000 жителей.

[3] Эскуриал – дворец-монастырь в 52 км от Мадрида, на южном склоне гор Гвадаррама. Построен по обету Филиппом II в 1563–1584 гг. Из-за величины и роскоши убранства испанцы называли Эскуриал восьмым чудом света.

[4] Кофейня с подачей оршада, прохладительного напитка из миндального молока с сахаром.

[5] Удушение посредством гарроты, железного ошейника. См. также примеч. 2 к п. 187.

[6] Сведений о нем не найдено.

[7] Сарагоса – главный город одноименной провинции, бывшая столица королевства Арагон. Бои между католиками и антиклерикалами произошли в Сарагосе 17 июля 1901 г.; один человек был убит, до 50 ранено; разгромлена редакция католической газеты.

[8] Состояние здоровья Л.Н. Толстого резко ухудшилось 2/15 июля (сильнейший упадок сил, желудочные боли), вызвав тревогу как в России, так и в Европе. Однако к 6/19 июля началось улучшение.

[9] Евг. П. Теш.

[10] Секретарями русского посольства в Мадриде в 1901 г. были статский советник Александр Христианович Кудрявский (первый секретарь) и коллежский асессор Владимир Владимирович Муравьев-Апостол-Коробьин (второй секретарь).

[11] Я.А. Глотов. В письме от 2 июня (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 39–40 об.) Е.О. сообщала: «Яша в настоящее время, пользуясь тем, что еще не прикреплен к месту, поехал прокатиться (взяв велосипед П.П.) в Геленджик. Въезд в Москву ему запрещен на 3 года, т<ак> ч<то> он думает зимовать в Коктебеле или Феодосии; я ему советую последнее».

[12] П.П. Теш.

199. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

9/22 июля 1901 г. Париж

22 июля. Paris.

Сегодня приехал в Париж, и прежде всего меня поймало Ваше письмо от 23 июня,[1] которое долго странствовало и, побывав в Пальме, Вальдемозе, Мадрите, Париже (poste restante), отправилось на Rue Berthollet и оттуда к Гамбургу, где и застало меня в тот же момент. Т<ак> к<ак> оказалось, что квартира моих знакомых, на которую я рассчитывал, свободна не будет, – я взял снова комнату в своем старом отеле,[2] так что адрес мой остается прежний: Rue Berthollet, 11bis.

Но прежде всего я хочу с Вами поговорить об одном деле. Гамбург теперь имеет аптеку, которую он купил месяца четыре назад. Сегодня он мне признался, что дела его идут плохо. Т.е. не в смысле клиентуры – потребителей его снадобий масса, как я сам это видел, т<ак> к<ак> он целый день занят, но он начал дело со слишком малыми деньгами, и теперь через месяц ему предстоит срочный выкупной платеж в 3000 фр., и он не знает решительно, как и где достать их.

Спрашивал, не знаю ли я кого-нибудь, кто бы согласился дать ему 1000 рублей под залог аптеки по 10%? Мне пришло в голову: не могу ли это сделать я? Но я ему это не сказал, но обещал написать в Россию и узнать у одного знакомого.

Вот предоставляю этот вопрос на ваше усмотрение. Разумеется, я не хочу брать с него 10%, т<ак> к<ак> это слишком много, но положим 6%, чтобы окупилась потеря при продаже бумаг и пересылка. Обеспечение аптекой кажется вполне достаточно, особенно под первую закладную.

Если Вы найдете это возможным, то переведите эту тысячу рублей *сейчас же* (т<ак> к<ак> ему это надо через месяц). Если Вам это кажется сомнительным, то не надо. Я предоставляю это вполне на Ваше усмотрение. Только бы мне не хотелось, чтобы он знал, что это идет от меня или от Вас, а может бы я мог это все ну хоть от имени Яши[3] сделать. Но только нужно решить сейчас же, т<ак> к<ак> обмениваться письмами некогда. Или прямо переводите, либо телеграфируйте: нет. Мне бы хотелось оказать ему услугу; но в общем я все-таки, конечно, точно его положения не знаю. Он мне кажется (да ведь и вам, верно, тоже) человеком вполне честным и заслуживающим доверия. Но, как Вы хотите. Если вы в чем-нибудь сомневаетесь, то не надо. О существовании денег у меня он не знает. А вот еще другое дело, на которое мне могут понадобиться деньги, дело гораздо более сомнительное, но к которому я обязательно примкну, если оно состоится, — это материальное участие в издании нового еженедельного журнала, затеваемого Аничковым (профессором), который меня приглашает к соучастию в издании.[4] Журнал радикального направления в политике (intellectuelle) и главным образом для проповеди «нового искусства». Ну об этом я буду писать позже, когда подробнее поговорю с ним теперь.

Макс.

[1] В письме от 23 июня (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 43—44 об.) Е.О. перечисляла письма и открытки Волошина, которые получила (от 17, 19, 24—26 июня), а также сообщала о Ляминых: «Лёля цела, живет с Мишей на даче в Голицыне, Люба в Гурзуфе».

[2] Т.е. в «Hôtel de Monde». См. п. 176.

[3] Я.А. Глотов.

[4] Проект этого издания остался неосуществленным.

Заказ № 5706

200. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14/27 июля 1901 г. Париж

27 июля. Париж. 11^{bis} Rue Berthollet.

Как я Вам уже писал, я опять устроился в той же гостинице. Если Вы приедете, то для меня гораздо удобнее будет найти другую комнату или квартиру вместе с Вами. И кроме того, у меня теперь хорошая комната в первом этаже за 25 фр. Это страшно дешево.

Получили ли Вы мое первое письмо из Парижа, где я пишу о Гамбурге (Амбуре)?[1] Во всяком случае повторяю, что все это всецело предоставляю на Ваше усмотрение.

Я теперь нахожусь в ожидании денег от Вас, которых я еще просил в письме из Мадрита. У меня теперь всего-навсего 15 фр., которых мне хватит на неделю, а что будет дальше, не знаю, т<ак> к<ак> придется занимать, а все мои более состоятельные знакомые разъехались. От «Русского Туркестана» ни слуху ни духу.[2] Совсем не знаю, что и думать. Закрылся он, что ли? Но во всяком случае Гейер бы мне написал или должен был бы ответить на мое письмо. Неужели с начала мая и до сих пор не мог еще получиться ответ?

Париж совсем опустел, т.е. не вообще, а для меня, т<ак> к<ак> почти совсем нет знакомых. И утром и вечером я сижу теперь в библиотеке, где и читаю и пишу.[3] И довольно много нового написал для XIX века.

Я теперь прихожу в ужас, до какой степени еще мало я знаю французскую литературу XIX века и как мало вообще знают ее еще в России.

Теперь во французских газетах мало пишут об России. Из более интересных вещей посылаю Вам статью m-me Северин по поводу болезни Толстого, напечатанную в «Le Journal»).[4] В том же номере было между прочим известие о том, что в Москве ставится памятник знаменитому русскому карикатуристу, родоначальнику русской карикатуры, прославившемуся своими многочисленными рисунками, не раз накликавшими на него гнев царя, – Гоголю!!![5]

Посылаю Вам тоже в качестве курьеза столбец из газеты «Studiant» – органа Латинского квартала.[6]

До свиданья. Целую бабушку. Поклон кому следует.

Макс.

P.S. Попал ли Яша под царский манифест?[7]

[1] Имеется в виду п. 199.

[2] После напечатания в «Русском Туркестане» статьи «Гергардт Гауптман и его “Потонувший колокол”» (см. примеч. 5 к п. 188; весьма вероятно, что была опубликована лишь первая часть этой статьи) в этой газете был помещен лишь один очерк Волошина – «Бой быков» (см. примеч. 6 к п. 187). 15 августа 1901 г. редактор газеты И.И. Гейер написал Волошину о прохождении его материалов: «“Бой быков” пойдет 19 августа. Вся история произошла так. Вы написали письмо и прислали фельетон, а сами уехали в Испанию. Фельетон был слаб и сего ради не увидел света. Вам я не отвечал, ожидая Вашего возвращения в Париж. Когда же Вы возвратились, я лег в больницу. Теперь я вышел и получил Ваше письмо с боем быков» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1374, л. 1–2. Хранится среди писем неустановленных лиц к Волошину).

[3] Волошин занимался в библиотеке св. Женевьевы на площади Пантеона (работала ежедневно с 10 до 15 и с 18 до 22 ч.).

[4] «Le Journal» – французская ежедневная газета, издававшаяся в Париже с 1892 г., республиканского направления. Анонимные заметки под заглавием «Болезнь Толстого» («Maladie de Tolstoi») были помещены в ней 18 и 19 июля 1901 г. (№ 3213. P. 2; № 3214. P. 2).

[5] Памятник Н.В. Гоголю в Москве был установлен только в 1909 г., к 100-летию со дня рождения писателя, на Арбатской площади (по народной подписке, по проекту Н.А. Андреева).

[6] Газетная вырезка при письме не сохранилась.

[7] «Манифест» – амнистия участникам студенческих беспорядков.

201. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14/27 – 17/30 июля 1901 г. Париж

27 июля. Париж.

Только что, сию минуту отправил Вам письмо и сейчас же после этого получил Ваше от 8 июля (21-го).[1] Оно пришло

в Париж как раз вовремя к моему приезду. Если Вы отправите мне деньги 14<-го> (27), т.е. как раз сегодня, то они должны прийти именно в тот момент, когда я истрачу последний франк. Значит, в этом отношении все обстоит благополучно.

Относительно толщины (увы!) даже путешествия перестали <оказывать> на меня влияние. По крайней мере все, кто меня здесь теперь встречает, замечают: «О, как Вы поправились!» – признак дурной. Очевидно, надо заняться гимнастикой, что я и сделаю немедленно по получении денег.

Какая болезнь собственно у Зайца?[2] Мне будет ужасно жаль, если Вы приедете в Париж без него.

Июля 30.

Только что получил Ваше письмо от 30 июня, которое пришло позже, чем письмо <от> 8 июля, т<ак> к<ак> заезжало в Мадрит. То, что Вы в нем пишете об Яше, для меня ничуть не убедительно, т<ак> к<ак> я ясно вижу, что он был во время того разговора в полуошалелом состоянии, а от долгих пребываний с Пав<лом> П<авловичем> ведь действительно ошалеть можно.[3] Отчего вот только он мне ничего не отвечает на мое письмо?[4]

А брошюрки Толстого и всё, что найду нового-интересного (теперь, что много нового появилось),* я Вам вышлю, когда получу деньги, а то мне теперь очень строгую экономию приходится соблюдать в ожидании получки.

Мне интересно, что Вы ответите относительно того, что я Вам писал о Гамбурге.[5] Мне, собственно, и хотелось бы оказать ему услугу, но не настолько, чтобы лишить<ся> этих денег; но совсем не знаю, стоит ли это или нет. Он ходит очень огорченный и говорит, что ему приходится жениться, что у него и невеста уж есть с приданым – надо только последнее слово сказать, но что ему страшно не хочется жениться.

Кстати вот, по поводу этого, прилагаю Вам в виде курьеза несколько объявлений о браках из газеты.[6] Очень любопытно.

Теперь дождливые и прохладные дни. Утро и вечер я провожу в библиотеке. День в музеях. По вечерам начал ходить в

---

* *Так в автографе.*

кафе, надеясь приобрести франц<узских> знакомых, но пока еще не приобрел.

До свиданья. Целую бабушку.

Поклон Яше и Зайцу.

Макс.

[1] Имеются в виду п. 200 и письмо Е.О. от 8 июля 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 49–52 об.). В нем она сообщала, что постройка дома «подходит к концу: дом внутри выштукатурен, покрыт полами, принялись уже за окраску окон и дверей <...> в домике коридор, 6 комнат, кухня, кладовая, погреб, три террасы; в домишке три комнаты, терраса; он в татарском вкусе: без потолков, полы глиняные. <...> Оба домика стоят гораздо ближе к морю, чем певицы». «На днях» в Коктебель приехала Е.Ф. Юнге.

[2] Евг. П. Теш. 8 июля Е.О. писала Волошину: «Вряд ли попаду с Зайцем в Париж: что-то он плохо поправляется <...>».

[3] В письме от 30 июня (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 45–48 об.) Е.О. извещала Волошина о бытовых конфликтах, возникших в ходе общения с Я.А. Глотовым и П.П. Тешем.

[4] Это письмо Волошина было, по-видимому, уничтожено Глотовым, находившимся под гласным надзором полиции.

[5] См. п. 199.

[6] Эти газетные вырезки при письме не сохранились.

202. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

22 июля / 4 августа 1901 г. Париж

Rue Berthollet 11bis. Paris.
4 авгу<ста> 1901.

Спасибо за деньги: я их получил как раз вовремя, т.е. в то время, когда тратил на обед последний франк.

Ну, жизнь моя пошла теперь заведенным порядком, утром я в библиотеке. Теперь уже не в Женевьевской, а в Национальной, которая все время была закрыта.[1] Разрешение для работы там пришлось доставать через консульство, что было очень нудно, т<ак> к<ак>, по русскому обычаю, заставляли приходить на другой день и т.д.

А после обеда отправляюсь в кафе, в театр, на публичный бал... и рисую, рисую, рисую...[2] Так что у меня в конце концов составится очень любопытный дневник. В академии я пока не работаю, но эти «croquis» еще полезнее и интереснее академии.

В библиотеке я теперь занимаюсь историей франц<узского> общества 30–40-х годов и читаю Ренана.[3] Кроме того, немного начал читать и по сатанизму.[4] Теперь, когда я только немно<го> стал входить в круг французской литературы и знакомиться с ее историей, я начал понимать, насколько ее мало знают в России и до какой степени неизмеримы ее богатства.

Наша литература богата, но куда же ей равняться с французской. Относитель<но>, принимая в расчет время ее возникновения и то, что ее современное состояние только еще младенческий период ее жизни, – конечно, в этом она вне сравнения, но безотносительно, беря XIX век во Франции <и> в России, все кажется таким бедным у нас. Я говорю, конечно, не об отдельных писателях, а об общей совокупности всей литературы. Я, конечно, беру не личные вкусы, а историческое значение. Я, напр<имер>, никогда Толстого не променяю на Бальзака, но все-таки должен признать, что историческое значение Бальзака было больше, чем значение Толстого.

Чувствую, что если я проживу года 3 в Париже и войду вполне в курс франц<узской> литер<атуры> и искусства, то тогда смогу действительно написать много нового и интересного для русского читателя. Прямо трудно себе представить, до чего велико наше незнание иностранных литератур (в чем мы упрекаем по традиции французов); а у нас-то! 2 года назад мы открыли Рёскина.[5] Все заговорили об нем, накинулись на переводы. А ведь Рёскин начал писать в 40-х года<х>, и в 50-х гремел уже по Европе, а к нам это отдалось только к началу XX века. А Анатоль Франс? Среди современ<ных> французских писателей он безусловно самый крупный художник, что во Франции и признается всеми. А в России было переведено только «Le crime de Silvestre Bonnard» 2 года назад,[6] а русс<кая> критика еще ни одним словечком об нем

не обмолвилась.[7] А Анатоль Франс уже старик. А посмотрите, как Горький во Франции гремит. Его имя везде ставится рядом с именем Толстого. Мережковский, к которому у нас принято относиться со скептической улыбкой, имеет громадный успех во Франции. Его «Смерть богов», о которой рус<ская> критика едва упомянула, переведена на все языки.[8] Испанские магазины заполнены переводами Сенкевича, Толстого, Мережковского и Кропоткина (анархиста). По-фран<цузски> уже есть Мельшин,[9] Чехов. А у нас слыхал ли кто-нибудь о Ферарне,[10] Андре Жиде, Реми де Гурмоне? А это всё имена. О Гюсмансе-то, может, и слыхали, но читать никто не читал, кроме Зин. Венгеровой, котор<ая> в «Вестн<ике> Евр<опы>» как-то о нем писала.[11]

Нет! мы ужасно мало следим за европейск<ой> литературой.

Ну до свиданья. Целую бабушку. Зайцу, Пав<лу> Пав<ловичу> и Яше[12] поклон.

Макс.

P.S. Прилагаю программу Рус<ского> Университ<ета>. Потом передайте ее Яше.

[1] См. примеч. 3 к п. 200. Национальная библиотека в начале XX в. – богатейшее из мировых книжных собраний, была открыта для посетителей с 10 до 16 ч.; иностранцы допускались в нее по рекомендации посольства или известного уважаемого лица.

[2] В 1930 г. Волошин вспоминал: «...я стал заносить в маленькие альбомчики карандашом фигуры, лица и движения людей, проходящих по бульварам, сидящих в кафе и танцующих на публичных балах. Образцами для меня в то время были молниеносные наброски Форена, Стейнлена и других рисовальщиков парижской улицы» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 268).

[3] Позднее Волошин приобрел французское собрание сочинений Жозефа Эрнеста Ренана, а также русские переводы его книг – «Апостолы», «Святой Павел» (б.г.), «Антихрист» (1906), «Марк Аврелий» (1906), «Жизнь Иисуса» (1907), «История израильского народа» в трех томах и др.

[4] В записных книжках Волошина разных лет имеются пространные списки оккультической литературы по гностицизму, офитам, черной магии и т.п.

[5] Первые переводы сочинений Джона Рёскина появились в России действительно лишь в 1898–1899 г.

[6] См. примеч. 7 к п. 105.

[7] На самом деле оценки творчества А. Франса, переводные и оригинальные, появлялись в русской периодике начиная с 1877 г. – в «Вестнике Европы», «Живописном Обозрении», «Русских Ведомостях» и т.д. (см.: Анатоль Франс. Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке (1877–1982). М.: Книга, 1985. С. 90–93).

[8] «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1896) – роман Д.С. Мережковского, первая часть трилогии «Христос и Антихрист». Во Франции этот роман к 1901 г. выдержал 17 переизданий (см. комментарии А.Л. Соболева в кн.: *Мережковский Д.С.* Смерть богов. Юлиан Отступник. М.: Худож. литература, 1993. С. 300).

[9] Л. Мельшин – один из псевдонимов Петра Филипповича Якубовича (1860–1911), поэта, прозаика, революционера-народовольца.

[10] Видимо, имеется в виду бельгийский поэт и драматург Эмиль Верхарн (Verhaeren; 1855–1916).

[11] Переводы ранних романов Жориса Карла Гюисманса появились на русском языке в конце 1870-х – начале 1880-х гг. В «Вестнике Европы» в составе обзора З.А. Венгеровой «Новости иностранной литературы» был опубликован отзыв о кн.: *Huysmans J.K.* La Cathédrale. Paris, 1898 (1898. № 3. С. 433–438. Подпись: З. В.); еще ранее в «Северном Вестнике» была напечатана ее же статья «Новые течения во французском романе (Ж.К. Гюисманс)» (1896. № 7. С. 113–132).

[12] Евг. П. Теш, П.П. Теш, Я.А. Глотов.

203. Е.С. ЛЯМИНОЙ

24 июля / 6 августа 1901 г. Париж

6 августа.
11bis Rue Berthollet. Paris.

Только что получил твое письмо, дорогая Лёля.[1]

Женщин в русский университет принимают безусловно. Так мне говорил Де Роберти еще прошлой весной. Даже и вопроса о неприн<н>ятии не появлялось ни у кого. Это было бы так дико здесь.

Теперь я никого из устроителей не вижу, т<ак> к<ак> все разъехались по разным странам до октября. За всеми подроб-

ностями можно обращаться к Евгению Васильевичу Аничкову (11bis Rue Faraday).

Он сейчас где-то <в> окрестностях в деревне, но письма ему пересылаются. Я бы тебе выслал полную программу, но у меня нет сейчас ее. Если достану, то вложу в письмо. Я, быть может, не только в числе слушателей, но и в числе лекторов окажусь, т<ак> к<ак> мне еще весной предлагали читать о XIX веке.

А в Париж, конечно, приезжай. Ведь подумай, какое громадное поле для занятий представляют в Париже, кроме русского университета, Сорбона и Collège de France.[2] Второй абсолютно общедоступен. А в первой почти половина лекций открыта для посторонней публики. А кроме того еще сотни бесплатных систематических курсов при всех мэриях города, в Ecole de Louvre, в Ecole de Beaux-Arts.[3] Тут ведь не как у нас: всё настежь для каждого желающего.

Вот я теперь начал заниматься в Национальной библиотеке. (Сперва я работал в Женевьевской).[4] Правда, туда можно получить разрешение только с рекомендацией от посольства. Но представь себе то, что несколько тысяч книг, находящихся в самой зале, всецело предоставлены публике. Она сама без всяких формальностей может их брать с полок, ставить на место и вообще хозяйничать, как угодно. Конечно, рукописи, манускрипты и уники[5] надо требовать. Лекции начнутся в октябре, но я бы советовал тебе приехать пораньше. Осень — лучшее время года в Париже, а кроме того, хорошо было бы тебе заране ориэнтироваться и познакомиться с городом до начала лекций.

Может, мы бы с тобой тогда годовую квартиру бы взяли. Это тут очень дешево и удобно. Это было бы дешевле, чем комнаты. Хотя мой отель поразительно дешев. Я за 25 фр<анков> имею хорошую комнату и в *первом* этаже.

К Логиновой я зайду сейчас по дороге в библиотеку.[6]

Жду тебя в Париже.

Кварт<ира> была бы очень удобна еще в расчете на приезд мамы и др<угих> знакомых. Здесь квартиры из 3—

4-х комнат стоят 300—400 фр<анков> в год. Причем, если ты ее занимаешь после начала тремеса, то месяца 3 живешь <*нрзб*> такой закон.

Целую Мишу!

Куда он поступает?[7]

Макс.

[1] Это письмо, видимо, не сохранилось.

[2] См. примеч. 5 к п. 176. Сорбонна – с XVII в. распространенное второе название Парижского университета; первоначально – богословский коллеж и общежитие для студентов и преподавателей в 1257–1554 гг. в Латинском квартале Парижа (от имени основателя Р. де Сорбона).

[3] См. примеч. 7 к п. 176. Ecole National Supériere des Beaux-Arts – Высшая национальная школа изящных искусств (Художественная академия) – на левом берегу Сены, напротив Лувра (улица Бонапарт, 14). Основана Людовиком XVIII в 1816 г.

[4] См. примеч. 1 к п. 202.

[5] От *фр.* unique – единственный; подразумеваются редчайшие издания.

[6] Знакомая Е. Ляминой, просившей Волошина в неизвестном нам письме обратиться к ней по какому-то делу.

[7] М.С. Лямин, собиравшийся поступить в Петербургский университет. 16 августа 1901 г. Е. Лямина писала Волошину: «Мишу в университет не приняли, т<ак> ч<то> ему остался только один институт» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

204. Е.С. ЛЯМИНОЙ

26 июля / 8 августа 1901 г. Париж.[1]

Был по данному тобой адресу у Логиновой, но ее там нет и никогда не было.[2]

Макс.

Обрати внимание на художественность исполнения этой карточки.

[1] Открытка. Штемпели: Paris 8 août 01; Голицыно 30 VII 1901. Отправлено по адресу: станция Голицыно Московско-Брестской ж.д., дача Бєттихер.

[2] См. п. 203, примеч. 6.

205. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27 июля / 9 августа 1901 г. Париж

Париж. 9 августа.
11bis Rue Berthollet.

Дорогая мама!

Купил я Вам Толстого, что нашел, и теперь буду посылать. Посылаю Вам тоже несколько интересных carte<s>-postale<s>. «Суверенов»[1] – если они Вам нравятся, оставьте, если хотите, себе, а остальные три передайте m-me Юнге, если она в Коктебеле. Ей они будут очень интересны в качестве новых приемов литографии, практикующихся в Париже. Такие есть большие картины – в этом же жанре – удивительные. Эти carte<s> postale<s> – копии с них, и они далеко не так хороши.

Толстого я Вам на целых 8 франков накупил – здесь, положим, все русские книги страшно дороги.

«Рабство нашего времени» – это одна из самых последних книг Толстого.[2] Помните, он московских экономистов у Озерова собирал.[3] И Левушка (Кобылинский) там был и так возмущался на то, что Толстой ничего в политической экономии не понимает, – так вот это та самая книга, которую он тогда писал.

Кстати, по поводу удивительного богатства французской литературы, сравнительно с русской бедностью, которая нам кажется таким богатством. (Я об этом Вам в прошлом письме писал). Я вчера услыхал подтверждение этому из уст одной русской дамы – эмигрантки-писательницы,[4] которая уже 30 лет живет в Париже. Я с ней познакомился через Поленовых. Она пишет уже 30 лет во французских и русских журналах, 30 лет живет в Париже, вращаясь в самых литературных

кругах, 30 лет следит специально за литературой, т<ак> к<ак> занимается переводами с английского и французского, и она мне говорила вчера: «Знаете, я английскую литературу, несмотря на то что следила за ней гораздо меньше, знаю неизмеримо больше французской. Когда я говорю с каким-нибудь литературно образованным англичанином, то я всегда нахожу что-нибудь такое, что могу ему сообщить по части его литературы и что будет для него новостью, а французская литература, над которой я проработала всю жизнь... Знаете — я еще ее совсем не знаю. Я еще продолжаю учиться. Каждый француз, с которым я говорю, всегда сможет мне сообщить что-нибудь такое, чего я не знала. Это совершенно неизмеримое богатство творчества».

Когда Вы приедете в Париж? В каком месяце?

До свиданья.

Целую бабушку. Поклон Зайцу, Яше и Пав<лу> Пав<ловичу>.[5]

Макс.

Получил Ваше письмо от 20 июля, уже отправляя это.[6] Отвечать на него буду после.

М.

[1] Подразумевается изображение на одной из прилагавшихся почтовых карточек.

[2] «Рабство нашего времени» – трактат Л.Н. Толстого (1899), впервые опубликованный в Лондоне в издании «Свободного Слова» (1900).

[3] Сведения об этой встрече не выявлены.

[4] А.В. Гольштейн.

[5] Евг. П. Теш, Я.А. Глотов, П.П. Теш.

[6] В письме от 20 июля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 55–56 об.) Е.О. делилась сомнениями: будут ли в ее доме жильцы, даст ли он «хоть тот процент, что давал капитал», и сообщала, что постройка обойдется ей почти в 4000 р.

206. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

29 июля / 11 августа 1901 г. Париж

11 августа.

Дорогая мама!

Письмо Ваше с известием об Яше только что получил.[1]

Неужели же он так и думает ждать, пока дело пойдет своим порядком и мертвая петля затянется окончательно. Теперь, пока он на свободе, хотя и под двойным надзором, исчезнуть из линии подсудности очень легко, особенно в приморском городе, где столько иностранных судов. А ждать, пока г<оспо>да жандармы сделают из него зачинщика и вожака русской революции 1901 года, совсем не расчет. Скажите ему это, а если нужны деньги, пусть возьмет из моих.

Посоветуйте тоже Любе[2] взять для себя заграничный паспорт и отправить его Леле.[3] Выйти из этой путаницы только так и возможно. Ждать же равнодушно, что этим господам угодно будет сделать, совсем бессмысленно.

Довольно у нас мучеников. Все равно скоро можно будет вернуться из-за границы.

Позже это будет в сто раз труднее и опаснее.

Я буду писать завтра или послезавтра. Теперь мне нужно бежать по разным делам.

Вышлите мне, пожалуйста, денег.[4] Мои средства истощились, а редакции не прислали еще ничего – ни денег, ни ответа.

Макс.

P.S. Г-ну Николаеву,[5] пожалуйста, от меня поклонитесь и адрес мой сообщите: любопытно, что он мне напишет.

Вечером.

Единственный исход Яше, по-моему, бежать за границу. И не за такие вины ссылались люди в Якутскую область. А теперь, когда надо изобрести «зачинщиков», тем паче. Думать, что все разъяснится, и надеяться доказать свою невинность – это совершенная наивность. Тут не в невинности дело, а просто в том, что надо найти известное количество опасных людей.

Доказывать при этом невинность и правоту — совершенно излишнее и бесплодное занятие. Университет не видать ему все равно. А какой-нибудь десяток лет, остающийся до переворота, лучше провести в Париже, чем в Красноярске. Любой капитан итальянского и французского судна (а они всегда есть в Феодосии) возьмет<ся> провезти тайного пассажира за 100—200 рублей. В Константинополе не спросят паспорта, если не слезать на берег, и идти дальше с тем же пароходом. Пробраться в Феодосию не так трудно. Надо только заранее условиться другому с капитаном.

Будь я, я бы все это через Лидочкиного отца[6] устроил, а теперь вам и П.[7] могут помочь. У их родственников есть суда. Денег пусть у меня возьмет. Ждать, ничего не делая, того момента, когда дверь тюрьмы захлопнется окончательно, совсем не благоразумно. Неудача же положения ухудшить пока не может. Позже будет труднее и опаснее.

Что касается меня, то я был занят тут все время совершенно другой историей. Был у меня здесь один очень интересный знакомый рабочий — русский. Он бежал за границу из полка. Был выслан из Австрии за пропаганду. Отправился в Алжир и пошел оттуда пешком в Абиссинию на службу к Леонтьеву,[8] но дошел до Туниса; Африка ему не понравилась, и он пешком же вернулся в Алжир, а оттуда уехал работать в Шотландию. Теперь уже около года живет в Париже, работает каменщиком и пишет стихи и рассказы. С ним его жена, которая тоже бежала из России. Простая крестьянская девушка, сама проехавшая всю Европу, прожившая три года в Англии и хорошо болтающая по-английски. И вот на днях к ним явил<ся> ее законный муж, от которого она бежала вместе с тем рабочим, когда тот жил в Глазго. Муж литвин — столяр, имевший хороший заработок в Англии, обращался с ней довольно грубо, иногда бил, но, кажется, сильно любил и страшно ревновал. Поэтому она и убежала. Он долго не знал их адреса и теперь, узнав, пришел пешком из Германии[9] в Париж. Я невольно оказался замешанным в эту историю. Она вернуться к нему отказалась. Муж пошел в русское консульство и в полицию

рассказывать, что этот рабочий анархист и собирается убить царя, надеясь, что его арестуют, а он тогда силой возьмет жену. Рабочий вместе с ней предпочли уехать на время из Парижа. Муж у них денег брать не захотел и остался в безвыходном положении, не зная ни языка и без работы. Он страшно убит всем этим и никак не может понять, почему и как она могла его оставить. Ей же вернуться к нему теперь, когда она другую жизнь узнала, и подавно невозможно.

Муж – человек очень малокультурный, несмотря на несколько лет жизни в Глазго, но симпатичный и, видимо, очень честный, прямой, но необразованный.

И вот сегодня я его наконец уговорил уехать обратно в Глазго, где он легко найдет работу, купил ему билет и отправил.

В результате у меня не только окончились свои деньги, но и пришлось занять у разных знакомых, так что мне теперь денег страшно надо.

Впрочем, я глубоко убежден, что он возвратит мне долг, как только найдет работу в Англии.

Ну вот.

А кроме того, посылаю Вам стихотворение в прозе Тургенева «Порог», написанное вскоре после 1-го марта и запрещенное.[10]

Я вам про него как-то рассказывал, но на оригинал наткнулся и сам только недавно в Национальной Библиотеке.[11]

До свиданья. Как хорошо, что я не в России, и если б только Яше и Лёле удалось теперь выбраться оттуда.

Целую бабушку. Кланяюсь Зайцу.[12]

Макс.

P.S. За этот месяц на одни марки истратил больше 25 фр.!!

[1] В письме от 26 июля 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 57–59) Е.О. сообщала: «Яша под манифест не попал, ему даже не разрешили являться на несколько часов в Феодосию». См. примеч. 7 к п. 200.

[2] Л.С. Лямина.

[3] Е.С. Лямина.

[4] В том же письме Е.О. сообщала, что выслала «из июльских процентов» 157 р., так что Волошину на жизнь до января 1902 г. из 240 р. осталось только 83 р.

[5] См. п. 187, примеч. 5.

[6] Т.е. через феодосийца Антона Афанасьевича Соломоса (дополнительных сведений о нем найти не удалось), отца Лидии Соломос.

[7] Кто подразумевается под этим обозначением, неясно.

[8] Николай Степанович Леонтьев (?—1910, Париж) — отставной поручик лейб-гвардии уланского полка, организовавший в 1894 г. научную экспедицию в Эфиопию и способствовавший установлению дипломатических отношений между ней и Россией; на службе у негуса Эфиопии (Абиссинии) Менелика II был правителем Экваториальной провинции.

[9] Вероятно, описка; следует, видимо: из Глазго.

[10] См. примеч. 4 к п. 28. Это стихотворение в прозе И.С. Тургенева было написано в мае 1878 г. (а не после 1 марта 1881 г., дня убийства Александра II «народовольцами»).

[11] Черновые и беловые автографы «Стихотворений в прозе» Тургенева хранятся в Отделе рукописей Национальной библиотеки в Париже (см.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 442; Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev / Notices et extraits par André Mazon. Paris, 1930. P. 90—91).

[12] Евг. П. Теш.

207. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

30 июля / 12 августа 1901 г. Париж

12 августа 1901. 11bis Rue Berthollet.

Дорогая мама!

Получил подряд оба Ваши письма от 17 и 20 июля.[1] Они оба ужасно печальны и носят печать подавленного настроения. Скоро ли кончится постройка домика и вы сможете приехать в Париж? Ведь такое состояние, как Вы описываете: без еды, без сна, у печки, да еще с головокруженьями и постройкой хоть кого изведет. Вы лучше всего не дожидайтесь поздней осени в Крыму, а как только будет положена последняя черепица на крыше — бросайте все и приезжайте скорее в Париж, чтобы застать здесь великолепную парижскую осень.

Тогда мы с вами поселимся где-нибудь в окрестностях месяца на два до начала зимы. Тут есть великолепные и громадные леса в получасе езды от Парижа – в Медоне, например.[2] Леса густые, запущенные, с великолепными видами на Париж и на Сену. В одном из этих городков: Медоне, Севре, Шавиле, Сен-Клу, Кламаре[3] – можно поселиться очень дешево, и мы проживем великолепно остаток лета.

Мы с Вами из окрестностей Парижа только в Версале и были – т.е. ничего ровно не видели, а тут совершенно великолепные места есть.

Я как раз вчера целый день провел в лесах вместе с Косоротовым. Относительно уроков для Зайца[4] я ничего не могу сказать. Тут уроки страшно трудно достать. А потом в настоящую минуту все мои знакомые разъехались, и мне спросить-то некого. Вот гораздо практичнее было бы Заиньке устроиться как-нибудь относительно переводов в какой-нибудь из провинциальных газет. Это сравнительно легко. Они плохо платят, зато охотно печатают: одно другое отчасти искупает. А я смогу указать ей теперь сотни непереведенных вещей по-французски.

Вот «Русский Туркестан» что<-то> совсем замолк. Я так-таки ни одной строчки оттуда не имел <с> самого отъезда. Так что и посылать-то туда ничего не хочется. Попробую теперь послать в новую крымскую газету: «Южный Край», в которой мне предлагали сотрудничество еще при моем отъезде из Москвы и о которой мне еще недавно писал Галабутский.[5]

Я теперь тоже начал переводить некоторые мелкие рассказы Анатоля Франса,[6] но куда пошлю их, не знаю. Хорошо было бы, если бы их в «Рус<скую> Мысль» приняли.

Посылаю Вам еще две брошюрки Толстого и номер анархической газеты «Les Temps nouveaux».[7] Она интереснее «Petite République».[8]

В редакцию к ним взбираешься точно в крепость: на восьмой этаж по почти отвесной лестнице. Крошечная комнатка, вся заваленная книгами, производит впечатление какой-то цитадели, в которой в крайнем случае можно целую осаду выдержать. Разительная разница со щегольской редакцией «Petite République», – официально признанного социализма и гонимого анархизма.

Заказ № 5706

До свиданья. Пожалуйста, не показывайте Яше[9] моих писем и брошюр Толстого, пока он не напишет мне ответа. А то я никогда не дождусь письма от него. Целую бабушку.

Кланяюсь Заиньке и Пав<лу> Пав<ловичу>.[10]

Макс.

[1] В письме от 17 июля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 53–54 об.) Е.О. сообщала, что постройка дома подвигается, но «под надзором Пинского» все делается «кое-как». Письмо от 20 июля – там же, л. 55–56 об.

[2] Медон – город к юго-западу от Парижа (7258 жителей в 1891 г.); местом прогулок парижан служил прилегавший к нему лес, с замком, построенным Людовиком XIV.

[3] Небольшие города к юго-западу от Парижа.

[4] Евг. П. Теш.

[5] Имеется в виду «Южный Курьер» – ежедневная газета, выходившая с 1901 по 1906 г. в Керчи. О своем сотрудничестве в ней Ю.А. Галабутский писал Волошину 15 июля 1901 г., сообщая, что издатель газеты (Б.И. Харитон) был его учеником (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386).

[6] В архиве Волошина сохранилась рукопись его перевода рассказа А. Франса «Святой Сатир» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 408). См.: Из лит. наследия-2. С. 85 (предисловие П.Р. Заборова).

[7] «Les Temps Nouveaux» – еженедельная газета анархистского направления, издавалась в 1895–1914 и 1916–1921 гг.

[8] См. примеч. 6 к п. 178.

[9] Я.А. Глотов.

[10] П.П. Теш.

208. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

1/14 августа 1901 г. Париж

14 августа 1901.
Paris. 11bis Rue Berthollet.

Ответ на письмо от 26 июля.[1]

Дорогая мама!

Напрасно Вы так обеспокоились моим кратким упоминовением о журнале.[2] Я, собственно, даже жалею, что написал

об этом, т<ак> к<ак>, с одной стороны, это только предположение, а с другой стороны, возможно не в близком будущем. Так что пока вам этого бояться совсем не стоит. То же, что вы это называете «блажью», — мне это совсем не нравится, потому что ведь я Вам тогда же писал, что об этом мы поговорим, когда Вы приедете в Париж, а в письмах писать тут слишком долго. «Рискованным» я это назвал потому, что вообще издание всякого журнала рискованно. Что «я буду издавать журнал», это тоже неверно, потому что это может быть только крошечной долей участия в издании журнала (я не предполагал тратить на это больше 2—3 тысяч). Одним словом, этот вопрос пока <отпал?> совершенно, т<ак> к<ак> препираться из-за предположения, *может быть* возможного только в далеком будущем, совершенно нелепо. Я не сообразил, что слова в письме всегда приобретают большую силу утвердительности, чем в разговоре, и поэтому написал это. А вот относительно Вашего собственного приезда в Париж? Из этого письма я вижу, что Вы это не считаете возможным в этом году. А в то же время мне кажется, что приехать Вам совершенно необходимо, т<ак> к<ак>, сколько я вижу из Ваших двух последних писем, у Вас теперь и в Коктебеле начинается та же зимняя тоска, какая у Вас бывала в Москве. Может, потому, что у вас теперь та же московская обстановка кругом, да еще неприятности с постройкой. Если Вас ничто, кроме денежного вопроса, не задерживает теперь, то, пожалуйста, не стесняйтесь и возьмите сколько надо. Потому что жить без передышки в том «московском» состоянии, которое сквозит в ваших письмах, совершенно невозможно и проездиться абсолютно необходимо.

А вот еще несколько соображений относительно моих денег в государственных бумагах.

Первое этического характера: хорошо ли держать их в бумагах, выпущенных рус<ским> правительством, то есть, другими словами, давать их в его бесконтрольное распоряжение, при полном несочувствии его действиям и предприятиям.

Второе практическое: безопасно ли держать деньги в государственных бумагах накануне ожидаемого и вероятного

финансового краха и в ожидании возможного политического. Не лучше ли их продать теперь, когда еще финансовое положение сравнительно благоприятно и все цены вздуты благодаря Витте.[3] Я, конечно, мало в этом понимаю, но мне кажется, что совокупность этих двух соображений очень внушительна... и что купеческий банк в настоящую минуту надежнее государственного. Хотя (еще новое соображение), может быть, лучше всего было бы поместить деньги в заграничных бумагах. Обо всем этом мне бы тоже хотелось с Вами поговорить при свидании. Теперь относительно моего собственного заработка. До сих пор за все мое пребывание в Париже я еще ничего не получил. Я посылал только в «Рус<ский> Туркестан» и ответа никакого не имел, хотя и писал еще из Испании.[4] Теперь я почти окончил статью для «Южного Курьера» и попробую послать туда.[5] Теперь вообще я пишу много, но пока еще не окончил ничего. Буду ли я иметь свой заработок в этом году, выяснится не раньше, чем через месяц. Во всяком случае мне кажется, что в этом году мне необходимы будут и те 80 р., которые остались. А в будущем я, может, и откажусь от процентов совсем. Надеюсь, что так будет. До отъезда в Испанию я чувствовал, что совсем не в состоянии что-нибудь писать о Париже. В живописи для меня открылось сразу столько нового, что я почувствовал себя полным невеждой в этом отношении, а прочесть французскую книгу было для меня непосильным трудом. И только вот в Испании совершенно неожиданно, благодаря потере словаря я вдруг зачитал по-французски и теперь могу уже действительно читать, а не разбираться в каждой строчке со словарем.

Сейчас у меня лежит новая книга Октава Мирбо, довольно увесистый том,[6] который я должен одолеть в 5 дней, т<ак> к<ак> взял его у Косоротова. Я хочу о нем писать рецензию в москов<ский> «Курьер».[7] Если бы мне удалось где-нибудь окончательно устроиться с постоянными рецензиями и отчетами об новинках французской литературы, то это было бы замечательно хорошо. Только устроиться не в провинциальной газете, где платят по 4 к<опейки> за строчку. На свой риск это опасно делать, потому что нужно писать о книге, когда она

только что вышла, а для этого ее надо покупать, т<ак> к<ак> совершенно новой книги нигде, ни в какой библиотеке не достанешь. А это каждый раз 3 франка.

Писать рецензии о книгах – это и легче и лучше оплачивается, чем переводы.

Относительно какого-нибудь *места* в Париже... я не думаю, чтобы это было возможным. Уроки достать труд<но> и, кроме того, я их не люблю, т<ак> к<ак> не чувствую никакой склонности. Устроиться в литературном органе основательном и основательно – вот что мне надо.

Поэтому меня так и прельщает мысль об журнале, в котором бы и сам имел некоторую долю. Тут постоянная работа для меня была бы гораздо важнее доходов с капитала, и если б даже журнал и лопнул бы по прошествии известного времени, то у меня бы все-таки осталось бы известное положение в литературном мире и всегдашняя возможность найти литературную работу. А теперь это незнанье: примут или не примут – страшно ослабляет интерес и усидчивость в работе. И опять-таки все это возможно только при моем пребывании в Париже. Потому что я теперь вижу, что без изучения французской литературы и искусства во всех ее новых и старых движениях решительно никуда не пойдешь.

Теперь, когда я немножко только начал втягиваться в литературные интересы Франции – у меня уже появилось совершенно новое критическое отношение к русским журналам, например. Как будто глаза раскрылись и я увидал то, чего никогда раньше на этом месте и не подозревал.

Ну а теперь до свиданья. Напишите мне, пожалуйста, получили ли Вы непосредственно пред этим письмом *два больших* заказных письма?

А в Париж Вы все-таки непременно приезжайте, а то Вы совсем изведетесь в Крыму, особенно-то зима с этой непрерывной кухней.

Да и мне бы очень хотелось увидеться с Вами и прожить зиму вместе. А жалеть взять для это<го> каких-нибудь 300 рублей право не стоит. Я твердо надеюсь, что скоро уже я смогу совсем отказаться от этих денег.

Целую бабушку и Яшу.[8] Поклон Зайцу и Пав<лу> Пав<ловичу>.[9]

Макс.

[1] В письме от 26 июля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 648, л. 57–59) Е.О. сообщала, что полученные от Волошина на поездку в Париж 240 р. ей пришлось употребить на строительство дома; на эту же цель «придется разменять выигрышные билеты».

[2] См. п. 199, примеч. 4. 26 июля Е.О. писала Волошину: «Ты хочешь взять денег на издание журнала, и разумеется, сумму немалую, на дело очень сомнительное, т.е. вперед можно наверное сказать, что деньги пропадут и пропадут из-за твоей блажи, прихоти издавать журнал, между тем как о заработке для существования ты еще серьезно и не задумывался: живешь и проживаешь готовое <...>».

[3] Граф С.Ю. Витте – с августа 1892 г. министр финансов; инициатор введения винной монополии (1894), проведения денежной реформы (1897), укрепивших внутренний и внешний курс рубля.

[4] См. примеч. 2 к п. 200.

[5] В газете «Южный Курьер» публикаций Волошина не обнаружено.

[6] Имеется в виду книга рассказов Октава Мирбо «Vingt et un jour d'un neurasthénique» (Paris, 1901).

[7] Рецензия Волошина на книгу Октава Мирбо «Двадцать один день неврастеника» (под заглавием «Новая книга Октава Мирбо») была опубликована в московской газете «Курьер» 8 сентября 1901 г. (№ 248). См.: Т. 5 наст. изд. С. 370–380.

[8] Я.А. Глотов.

[9] Евг. П. Тещ и П.П. Тещ.

209. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

Около 7/20 августа 1901 г. Париж[1]

Теперь еще о практических делах. До января в этом году я никак не смогу, вероятно, обойтись без остатка процентов.

С журналов я не получу денег раньше чем через полтора месяца – они торопиться с этим не любят. А «Русск<ий> Тур<кестан>», может, уже и кончился – я ведь ни одной вес-

точки из Ташкента ни разу не имел, хотя писал туда и статьи посылал. Как выйдет с «Южн<ым> Кур<ьером>» – не знаю, но на него все-таки больше всего надеюсь, и если мои статьи ему понравятся, то сейчас же предложу постоянное условие с ежемесячной платой.

В общем у меня выходит около 50 р., а не 40 р. в месяц. Теперь мне верно придется просить Вас о деньгах в середине сентября (нов<ого> стиля). У меня с уплатой 30 фр. долга (испанского во время путешествия) и покупкой некоторых необходимых вещей и книг (новых изданий здесь ни в одной библиотеке нет) остается 80 фр., что мне должно хватить с квартирой почти на месяц, но к тому времени едва ли мне вышлют уже деньги за статьи, так что так в начале сентября (стар<ого> стиля) Вы мне вышлите еще денег.

Я предлагал Лёле[2] нанять вместе квартиру. Это будет и дешевле, и удобнее, на случай Вашего и Любиного[3] приезда. Но только соберется ли она, в конце концов?

Мне очень интересно, что Вы мне ответите относительно продажи государственных бумаг. Я это писал совершенно сериозно, и мне страшно бы хотелось об этом с Вами лично поговорить. Я все-таки почему-то уверен, что Вы приедете в этом году в Париж. Если устроится дело с Лёлей относительно квартиры, это будет замечательно хорошо, дешево и удобно.

У меня еще до сих пор не являлось ни малейшего желания вернуться в Россию. Я даже не представляю себе: ну что бы я там стал делать теперь. Я твердо надеюсь, что вернусь в Россию только во время революции так года через четыре.

Да! а что во Франции-то делается. Какие приготовления, какие торжества, какие взрывы верноподданнических чувств![4] Газеты в витиеватости не уступают «Московскому Листку», а в выражении лояльности превосходят «Московские Ведомости»[5] и всё потому, что едет царь, с царицей, детками, коровой et «son chien Lowky», как пелось в 96 г. в одной песенке. С коровой – это факт – вчера в «Фигаро»[6] прочел. Там даже чуть ли уж не интервью с этой коровой не появилось. Аппартаменты для них готовят: для царя, царицы и для коровы. Только теперь

понимаю, до какой степени французам хочется короля, и они, пользуясь случаем, всю накопленную нежность переносят на чужого монарха, точно старая дева <на> кошек и собачек.

Прямо трогательно, особенно при том соображении, что это им опять обойдется в 500 миллионов нового заему, по всем вероятиям.

Vive le tzar! Целую бабушку. Поклон Зайцу, Пав<лу> П<авловичу> и Яше.[7]

Макс.

Как раз получил Ваше письмо от 4-го.[8] Я как-то не понимаю Вашего удивления пред моим увлечением французской литературой. Кажется, было бы странно, если бы было иначе. Тоже я не совсем понимаю, что Вы называете «общим систематическим образованием»? То есть что именно? какие отделы науки? Что же может быть более общего, чем история литературы и искусства? Ведь это история человеческой мысли вообще. Сюда только естеств<енные> науки не входят. А относительно системы – по-моему, рациональнее идти от современности вглубь, чем наоборот, как обыкновенно принято. Слушать лекции в Рус<ском> Универ<ситете>[9] я, разумеется, буду, т<ак> к<ак> там масса интересного, но самостоятельные занятия в библиотеке важнее – это Вам всякий занимавшийся скажет. Вообще я даже, пожалуй, больше придаю значения моему личному знакомству с профессорами и беседам, чем слушанью лекций.

Но вот относительно Вас: вы сами теперь подтверждаете то, что я писал Вам недавно, что вы привели с собой кусочек Москвы и московского настроения. Мне кажется, что многое облегчится, когда дом будет кончен и все войдет в более обыкновенную и менее тесную колею.[10] А пока Вам совершенно необходимо в Париж для проветривания.

Спасибо за поздравления.[11] Целую бабушку.

Макс.

[1] Вероятно, окончание письма, начало которого утрачено.

[2] Е.С. Лямина. См. п. 203.

[3] Л.С. Лямина.

[4] Имеется в виду готовившийся приезд в Париж Николая II (император находился во Франции 18–21 сентября 1901 г.).

[5] Ежедневные газеты охранительного направления.

[6] «Le Figaro» – старейшая ежедневная французская газета (выходит с 1826 г.), с конца XIX в. поддерживала республиканских консерваторов. Сведения восходят к корреспонденции «Русский император на маневрах восточной армии» («L'empereur de Russie aux manoeuvres de l'Est» // Le Figaro. 1901. № 232. 20 août. P. 1).

[7] Евг. П. Тещ, П.П. Тещ, Я.А. Глотов.

[8] В письме от 4 августа 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 1–2 об.) Е.О. вновь призывала сына подумать «об своем образовании серьезно»: «...пора начинать учиться, а не играть с наукой в промежутках между путешествиями, беготней и болтовней со знакомыми». В связи с интересом Волошина к французской литературе Е.О. писала: «Как я, так и Яша были очень удивлены таким твоим особенным интересом исключительно к французской литературе. Это мне кажется непонятным и нецелесообразным, для человека, не получившего еще общего высшего, систематического образования, и мой совет поступать тебе в парижский рус<ский> университет, да не дилетантом, а настоящим серьезным слушателем, сознающим всю необходимость такого образования вообще, а в особенности для литературного поприща».

[9] Имеется в виду Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[10] В том же письме Е.О. жаловалась на необходимость совместного проживания с престарелой матерью и душевнобольным братом: «Тяжело жить в обществе старухи, не имеющей никаких интересов в жизни <...> да идиота, вся жизнь которого в еде».

[11] Поздравления – с именинами (4/17 августа).

210. А.М. ПЕТРОВОЙ

9/22 августа 1901 г. Париж

Paris. 22 августа.
11bis Rue Berthollet.

Я нахожусь в этот момент под страшным художественным впечатлением, и именно Вам бы мне хотелось его передать. Я только что в первый раз в своей жизни видел рисунки Одилона Редона. Если б я смог Вам объяснить, что это значит!

Представьте, что пред вами среди тьмы в той стене, за которой, казалось, уже ничего нет и быть не может, вдруг растворяются двери, и вас заливает свет совершенно нового, неизвестного Вам искусства. Один свет, одно сияние, даже трудно очертания рассмотреть за этим.

Но начну сначала. Когда я уезжал из Москвы, Поленов (художник) дал мне письмо к одной русской даме, его родственнице, живущей в Париже, m-me Гольдстейн.[1]

Я пошел к ней и нашел в ней человека, от которого веет какой-то живительной свежестью мысли. Я знал об ней только, что она была другом Бакунина,[2] много работала для освобождения Италии и работала не словом, а делом и что в Россию вернуться не может. Теперь вот уже 25 лет она живет в Париже, мало видится с русскими, но хорошо знакома со многими французскими знаменитостями.

Она меня приняла очень любезно, благодаря рекомендации Поленовых, предложила познакомить с разными французскими историками искусства, узнав, что я хочу заниматься искусством.... Когда я пришел в следующий раз, я не застал ее дома.

Через несколько дней мы встретились в «Салоне независимых».[3] К ней подходили разные лица, и нам не удалось поговорить. Подошел француз-старик с седой, коротко остриженной головой, усами с проседью. Живой, элегантный, с очень умными и глазами. Небольшого роста. «Позвольте Вас познакомить... Одилон Редон... (по-русски мне) наша слава и знаменитость». Имя мне было совершенно не знакомо. Мы пожали руки, и я, конечно, не решился сказать ни одного слова на своем ужасном французском языке.

«Вас <с> Редоном познакомили?» — спросил меня русск<ий> художник, с которым я был там. Спросил с почтением. Но для меня имя Редона тогда было «звук пустой». Мы в России страшные невежды относительно всего, что делается за границей. Мне теперь даже стыдно подумать, что я, уезжая в Париж, собирался писать сейчас же корреспонденции об «салонах», об искусстве. Я почувствовал себя таким неучем, увидав все это.

После я уехал в Испанию. Теперь по приезде я снова зашел к m-me Гольдстейн. Она была одна, и мы очень разговорились. Лед был сломан. Сегодня я был снова у нее. Я много хотел с ней поделиться своими впечатлениями от музея Гюстава Моро, которым я страшно теперь увлекаюсь,[4] потом разговор перешел на Редона. Теперь-то я уже знал об нем, но еще не видел ни одной его вещи. Я сказал это.

M-me Гольдстейн задумалась и сказала:

«Видите, у меня есть его вещи, но я их очень немногим показываю. Я боюсь. Боюсь, что не поймут. А если не поймут, то будут смеяться. Но Вам, кажется, можно показать. Пойдемте в мою комнату».

Над письменным столом висел большой рисунок карандашом. Внизу рукой Редона написано: «Lumière» – Свет.[5]

В пустой каменной комнате перед исполински громадным окном две маленьких темных человеческих фигурки.

А за окном, не помещаясь даже в этой громадной рамке, виден профиль человеческого лица. Оно проходит. Чувствуется, что оно только что появилось и сейчас пройдет мимо. Лицо опущено, глаза полузакрыты, – опущены вниз с глубокой думой. У подбородка часть пальцев. В губах что-то невыразимо горькое.

Человеческие фигурки смотрят вверх на это громадное лицо, молитвенно сложив руки...

Между тем m-me Гольдстейн достала громадный альбом литографий (оригиналов) иллюстраций к «Искушению св. Антония» Флобера.[6] Что это? Как это назвать?.. Я совсем не знаю. Это не живопись, не рисунок. Рисунок – это что-то определенное, законченное. Музыка в рисунке? Нет. Музыкой мы обыкновенно называем (или скорей сравниваем с музыкой) то, в чем нет формы, т<ак> к<ак> музыка единственное искусство, где нет осязательно уловимой формы. Это все не то. Это были «les formes des pensées»,* употребляя слово самого Флобера. Нет, я даже не знаю, что это было, но я чувствовал себя совершенно потрясенным виденным. Там есть одно лицо сатаны. Оно не красиво, но и не безобразно. *Такого* лица ник-

* формы мыслей (*фр.*).

то и никогда не давал сатане. В наклоненной голове и в глазах, смотрящих в сторону, бесконечная скорбь познания. «Где же цель?» — спрашивает Антоний, которого сатана уносит на своих крыльях за пределы мироздания. «Нет цели», — грустно отвечает сатана.[7]

Нет цели! В его глазах чувствуется бесконечно горькое сознание того, что если бы *Он* это создал, то цель была бы. Это такое лицо, что я чувствовал, глядя на него, что у меня слезы подступают к глазам. Право, без преувеличений. Это было даже для меня самого полной неожиданностью. Я еще никогда ничего подобного не испытывал.

Антоний видит предвечный хаос: из глубокой тьмы выделяются какие-то полуоформленные зародыши всего существующего. Кольцо ли это планеты, или туловище змея? Оно переходит <в> полураскрывшийся стебель цветка, похожий на пасть дракона. Кристалл, превращающийся в птичье крыло. И человеческое лицо среди этого мрака с закрытыми глазами. И вы знаете, что эти глаза еще *никогда* не раскрывались, а если они раскроются... Нет! Я не знаю, что это.

Это не живопись — нет! Но я знаю, что я видел *мысли*. Понимаете, *«видеть мысли»*? Я совсем не понимаю, как это, но я знаю, что я видел это. Это совсем ни на что не похоже. Настолько не похоже, что даже страшно делается. Что-то совершенно неизвестное. Откуда пришли эти образы? В какой складке души они были погребены? Как нашел их Редон? Ничего не знаю.

Они страшно отчетливо и ясно выражены.

Я их видел сегодня утром и вот до сих пор (уже глубокая ночь) я не могу освободиться от их обаяния. Весь день я как во сне ходил. И этот профиль с глубокой горечью в губах, и это лицо Сатаны, с безнадежной думой о том, что если б он это создал, то была бы цель, — неотступно стоят пред глазами.

Как бы мне хотелось, чтобы вы это видели. Из всех известных мне людей, я знаю, что только Вы бы это поняли. Потому что я, глядя на них, чувствовал, что у Вас было какое-то прозрение этого: это же мне иногда чуть-чуть мерещилось в наших разговорах. Кончаю. Лампа гаснет.

Меня обещали свести к Редону. Он очень редко показывает кому свои работы.

До свиданья. Идите к свету искусства – в Париж. Я никогда так не чувствовал полноты жизни.

Макс.

[1] Правильно: Гольштейн (см. примеч. 9 к п. 182). Среди ее знакомых – И.М. Гревс, М.П. Драгоманов, Д.А. Клеменц, П.Л. Лавров, Н.П. Огарев, К.Д. Бальмонт и др. Ее второй муж В.А. Гольштейн был двоюродным братом сестер М.В. и Н.В. Якунчиковых, на одной из которых был женат ее сын Л.Н. Вебер, а на другой – художник В.Д. Поленов.

[2] См. примеч. 10 к п. 182.

[3] Салон Независимых – ежегодная выставка (с 1884 г.) французских художников, принимавшая работы любых художников, без жюри и наград. Волошин и Гольштейн посетили выставку в начале мая 1901 г.

[4] Музей Гюстава Моро был открыт в бывшем особняке художника (rue de la Rochefoucauld, 14), в нем хранилось около 1200 картин и акварелей, а также более 10 000 рисунков Моро.

[5] «Свет» – литография О. Редона (ок. 1893).

[6] Цикл иллюстраций к драме-мистерии Г. Флобера «Искушение святого Антония» из 24 литографий вышел альбомом (50 экземпляров) в 1896 г.

[7] Позднее эти образы отразились в стихотворении Волошина «Письмо» (1904, строфа 15). См.: Т. 1 наст. изд. С. 55. Экземпляр литографии находился в парижском ателье Волошина, а затем – в его доме в Коктебеле. См. также статью Волошина «Одилон Рэдон», написанную в 1904 г. (Т. 5 наст. изд. С. 397–399).

211. А.М. ПЕТРОВОЙ

14/27 августа 1901 г. Париж

27 août 1901
11[bis] Rue Berthollet. Paris.

Вы мне отправили Ваше письмо как раз в тот день, когда я Вам писал свое полоумное (а впрочем, может, и полу-умное (тьфу, какой скверный каламбур!)) о Рэдоне.[1]

Вот что называется гармонией душ. Если таковая же существует и у франко-русских почтальонов (у наций она существует безусловно – все газеты французские стали такими верноподданническими по поводу приезда царя с женой и с коровой, что «Москов<ским> Ведомостям» впору),[2] то Вы в настоящую минуту тоже читаете мое письмо.

Я еще три дня как ошалелый ходил после этих картин.

Какой вихрь новых впечатлений, не прекращающий<ся> уже три года. Мне каждый день кажется, что я только что родился на свет и все вижу в первый раз и так снова и снова, и снова. Со взглядами что-то поразительное. Это какое-то непрестанное разрушение одной части здания, в то время, когда другая все растет, растет, сама собой.

Многое из того, что я думал и писал в Ташкенте, кажется уже таким наивным. И главное, это все нисколько не намерено кончаться. Напротив: только теперь все и начинается.

Каждый день новая революция.

А сколько балласту при этом вылетает за борт! Несколько недель назад, например, окончательно вылетел социализм.

Это вас страшно удивит.

Он заменяется анархизмом. Не бойтесь, я не буду делать бомб, потому что суть не в этом: мысли страшнее бомбы, а книга разрушительнее динамита.

Умственный анархизм (к которому всецело примыкает и Толстой в своих последних экономических статьях – см. мамины приложения[3]) – это просто реакция против узости социализма (теперешнего).

Еще в апреле мы мирно беседовали обо всем с Пешковским (ведь он теперь убежденный социал-демократ), ну а теперь бы наверно охрипли от крика.

И Вы спрашиваете, начал ли я учиться! И когда же люди поймут, что учиться можно только на свободе, а не в тюрьме. Всякое учебное заведение, которое нужно *проходить*, – тюрьма. У меня теперь в Национальной библиотеке под руками все, что когда бы то ни было было написано на земле. Это Вы не называете учением? У меня пред глазами все то высокое и низкое, прекрасное и отвратительное, к чему привели три

тысячи лет европейской истории. И это вы не называете ученьем? Да знаете ли Вы, что я только в первый раз во всей своей жизни понял теперь, что значит учиться!

Конечно, я буду слушать много лекций зимою (теперь каникулы), но система...

Разве можно создать одну систему хотя бы даже для двух людей. Для каждого должна быть своя система, и эта система создается не логически (логика — условность, выдуманная людьми, — остаток схоластики, а в жизни ее нет), а самой жизнью, всей натурой.

Я только теперь понял это, а был ли я прав: на это может ответить только будущее.

Вы возмущались, что Пешковский идет на филологический факультет? Почему? Мы весной много говорили об этом. Я его убеждал всеми силами сделать это. Он колебался, но наконец тут же в Париже решил бесповоротно перейти на филологический. Разве вы не видите, что без широкого гуманитарного образования он не будет полон, он не будет Пешковским. Одно, с чем я не согласен, это то, что он едет в Россию для этого. Он много потеряет в широте. А ее-то ему теперь больше всего надо. Он слишком глубок и осторожен.

Если б он с самого начала попал не в поганый Берлин, а в Париж, то он бы другим стал. Ему бы Париж размах дал. Не выдержит он в России. Измучает его университетская жизнь. Ведь теперь вернуться в русский университет — то же самое, что из университета вернуться в гимназию. Он и сам это предчувствовал.

«Трудно будет к форме привыкнуть опять», — говорил он в Париже. «Я форму буду только в университет надевать, а всегда буду носить штатский костюм».

Это очень многозначительно. Пока он идеализирует Россию. Но, приехавши, увидит через несколько месяцев, что штатского платья (в отвлеченном смысле) в России никак не наденешь.

От Пешковского перейду к нотациям: мне предлагали читать лекцию о XIX веке, на основании моей поэмы,[4] т.е. другими словами ее самое, дополнив ненаписанные части

прозой. Как видите, тут ничего такого ужасного нет. Если я выступлю (а этого я не знаю еще – пусть об этом, пожалуйста, никто ничего не пишет), то только в качестве поэта, а отнюдь не ученого (избави Господи). А относительно Калиостро – спасибо.[5] Все-таки лестно: умный человек был. А предложение о лекции произошло потому, что здешним профессорам очень понравилась моя поэма по замыслу, а они стараются сделать курсы как можно более разнообразными и степеней ученых не признают.[6] Весной, например, тут прочел лекцию Дорошевич. И прекрасно прочел. Должен был тоже читать Рерих (товарищ Богаевского),[7] но уехал. Видите, ничего в этом самозванного и наглого нет. Если я выступлю, то только с чтением по своей *специальности*, а в поэзии все-таки я могу считать себя <с> известным правом специалистом. Да и не стали бы мне предлагать читать, если б не знали, что это может быть интересным.

Относительно журнала: это *не я* собираюсь его издавать, а профес<сор> Аничков,[8] который предлагал мне в нем участие и литературное, и материальное, т.е. быть одним из сооснователей. Кажется, имена Аничкова (он вышел в отставку немедленно после отдачи киевских студентов в солдаты)[9] и проф<ессора> Гревса вполне достаточны для доказательства солидности журнала, предполагаемого в далеком будущем, т.е. даже пока только желаемого. (Не говорите, ради Бога, об этом никому из феодосийских корреспондентов, то ведь прямо скандал может выйти: я ведь и маме-то об этом только случайно, к слову пришлось, написал, а вообще-то знакомым разглашать не хотел, потому что ведь, может, ничего решительно и не будет).

А журнал такой теперь совершенно необходим, т<ак> к<ак> на все новые течения западной мысли и западного искусства редакциями современных русских газет установлена цензура еще более строгая, чем цензура государственная над политическими известиями. У нас позволяют только глумиться над так называемым «декадентством» (слово, которого в Европе не существует)* и ни строчки не позволяют написать

* Есть только один термин: «L'art nouveau». (*Примеч. Волошина.*)

для объяснения действительного великого значения того громадного движения в искусстве, которое происходит теперь. А написать панегирик «новому искусству»! Да вот вам: «Мир Искусства».[10] Ведь кажется, что в России каждая редакция раз 50 обругала его за декадентство, а и этот самый смелый из декадентских органов, когда m-me Гольдстейн, по просьбе же Дягилева, прислала им статью о Гюставе Моро, где привела свою беседу с Рэдоном (1900 г.: 3–6 номе<ера>),[11] то они так перепугались одного имени Рэдона, что отказались печатать эту беседу, ради которой, собственно, была написана вся статья, т<ак> к<ак> подобные слова имеют, конечно, историческое значение. И нужен был весь взрыв негодования автора, чтобы они напечатали эту беседу с громадными сокращениями. А посмотрите-ка в «Мир Искусст<ва>» – кажется, в этой статье ничего такого страшного нет. А вот одно имя Рэдона какой ужас нагнало на этих якобы убежденных декадентов и знатоков нового искусства. Что же можно после этого требовать от других: от противников, если защитники таковы.

«Да вы знаете ли, – говорила мне как-то m-me Гольдстейн, – что из всех свобод самая высшая не свобода политическая, не свобода слова, а свобода творчества».

В устах старой революционерки и эмигрантки эти слова имеют еще более веское значение.

Тут разница между европейскими революционерами, у которых искусство идет об руку с революцией, составляя одно нераздельное, и нашими доморощенными социалистами, которые прежде всего накладывают новые цепи на свободную мысль и каждую тень искусства считают консерватизмом.

Понимаете ли теперь, какое значение сможет иметь в России журнал, который возьмется рассказать и объяснить русскому читателю, что сделала европейская мысль за последние двадцать лет и куда стремятся теперь ее зеленые побеги.

Тогда не будет таких позорных недоразумений, как с Рёскином, читая только что появившиеся переводы которого русский читатель убежден, что прерафаэлизм – это вид декадентства, и не подозревает, что он расцвел и отцвел в пятидесятых годах прошлого века.[12]

Заказ № 5706

Теперь о личностях.

Туся.[13] Она уехала недели две назад в Швейцарию, а потом, кажется, в Россию. Вернется к октябрю. Адреса ее теперешнего не знаю. Изменилась она очень мало. Только носит прическу Cleo de Merode[14] и страшно растолстела. По внешнему виду напоминает молодую русскую даму конца XVIII века, каких можно видеть на старых фамильных портретах. Старается одеваться в этом же стиле, и это ей очень удается. Голос у ней, говорят, великолепный (я слышал только упражнения), и она готовится в оперу. Поэтому Виардо и взяла ее в ученицы. Голос открылся неожиданно. Очень мила, проста и интересна, как всегда.

Mario Lago. Как Вам не совестно не направить его ко мне. Во-первых, он должен был проезжать Испанию, и мы бы могли встретиться там. Во-вторых, он, едучи в Берлин, уже наверно не миновал Парижа. Мы бы с ним, я думаю, лучше бы поняли друг друга, чем он Пешковским, хотя бы потому, что я все-таки больше говорю по-французски, чем Саша. Где он теперь?

Яша. Меня очень удручает его положение. Ведь он сбесится от тоски.[15] Я только на вас надеюсь в этом отношении. Он мне ничего не пишет. Мама об нем пишет тоже мало. Напишите Вы, какое он впечатление на Вас производит.

Исар.[16] Скажите ему, что я встретил в Париже его старую симпатию Дору Бершадскую. Она гораздо менее интересна, чем раньше, может потому, что увлекается чересчур сионизмом. Не Исар ли это так усиленно занят корреспондированием?

Рус<ские> студенты в Швейцарии. Что-то слышал, но не помню, что. Вообще, это одна из самых скучных разновидностей человеческой породы, живущей в Европе. Мало ей интересуюсь и почти не имею никаких сношений.

Живопись. Это уже не личность, положим. Живописью я никогда не занимался, а занимаюсь исключительно рисунком, не изучивши которого за гравюру браться нечего, а для изучения его нужны годы. Польза, которую я получил от него,

та, что я теперь в состоянии понять то глубокое совершенство рисунка, которое составляет основу значения французской живописи. Кроме того, мои «croquis»* оказали мне неоцененные услуги в Испании, особенно в Севилье, где я жил совершенно один и без языка,[17] но тем не менее, благодаря крокам, у меня уже на другой день был полон город всяких знакомых. Особенно хорошо это было по вечерам в кафе-балагане, в котором происходили испанские танцы.

Там были сотни, желавших получить свой портрет. Актеры, выйдя на сцену, принимали позы и махали мне руками, чтобы сказать: «Вот теперь рисуй», а в конце концов в честь меня была тут же сложена песня и пропета со сцены под аккомпанемент гитар. К сожалению, я ее не понял.

Для «Русской Мысли» статьи еще не начал писать. Но отправил за это время статью об последнем романе Октава Мирбо в «Курьер» (Москву), о бое быков в «Русск<ий> Туркестан»[18] и о парижской всякой всячине в «Южный Курьер» — керченскую газету, которую мне рекомендовал Юрий Андреевич.[19] Если они ее напечатают, то я предложу им присылать еженедельно по фельетону о парижской жизни. Коли согласятся да будут деньги платить, для меня это дивно будет, т<ак> к<ак> «Рус<ский> Турк<естан>» совсем замолк и я не знаю, существует ли он или нет.

Ну, а теперь стихи. Вот новое о XIX веке.[20]
Самая глухая пора реакции (20-е годы).

И он широкими глазами
На мир испуганно глядел,
А мир, повитый облаками,
В осенних сумерках синел,
«И было время час девятый».[21]
Все было тихо. И сквозь сон
Лишь бред Италии распятой
Во мгле унылой слышал он.
Да чьи-то слышались рыданья
У одинокого креста,
Где умирали красота
И мысль, и слово, и сознанье.
И в этот страшный крестный час
Сверкнул огонь и вдруг угас...

Дальше известное о Байроне.
Сороковые года в Европе:

* Кроки, наброски (*фр.*).

То было радостное время,
Когда в Европе молодой
Идеалистов юных племя
Явилось шумною толпой.
Ничто им трудным не казалось.
Их мысль, как пряди их волос,
Победоносно развевалась.
На каждый заданный вопрос
Они ответ найти желали
Не в небесах, а на земле.
В аудитории Мишле[22]
В немом восторге замирали,
И шум победный их знамен
Уже звучал со всех сторон.
В Collège de France лились потоки
Горячих мыслей. На земле
Явились новые пророки:
Кине,[23] Мицкевич и Мишле.
И всех племен и всех наречий
В Париж стекалась молодежь
Послушать огненные речи.
Ее охватывала дрожь
При чудном имени «свобода»,
И зрела в недрах городов
Дружина будущих бойцов,
«Освободителей народа».
То было время (странно это),
Когда Германия слыла
Страной безвольного Гамлета,
В ней философия цвела,
А не наука истребленья.
В ней был поэт и не один.
В то время центром просвещенья
Был скромный Веймар – не Берлин.

(Дальше еще не отделано. Отделаю – пришлю).

После 48-<го> года. Новая любовь XIX века, помимо своей супруги Конституции. Кто была она?

Под белой тканью покрывала
Она сокрыта от людей.
В Египте некогда стояла
И «тайна» было имя ей.
В Элладе в виде человека
Она изваяна была.
И глыба камня ожила
В объятьях пламенного грека,
И пал он ниц пред ней – святой
Обожествленной «красотой».
Израиль тоже в дни иные
Ее прихода ожидал
На землю в образе «Мессии».
Железный Рим отождествлял
Всё то, что сделал он когда-то,
В единой творческой мечте.
Другие верят, что распята
Она страдала на кресте.
Со взглядом, полным детской ласки,
Суровый рыцарь едет вдаль
Святой отыскивать Грааль.
Она же спит в немецкой сказке,
Спит много лет и только ждет,
Когда возлюбленный придет.
Так в вечной смене расстояний,
Эпох и наций человек
Давал ей тысячи названий
И новых форм. Но прошлый век
Ее любовно звал «Наукой».

А вот из Испании мелкие вещицы:

Из страны, где солнца свет
Льется с неба, жгуч и ярок,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет.
Беспокойны, говорливы,
Отбивая звонкий стих...
Из груди сухой оливы
Сталью вырезали их.
Щедро лентами одеты
С этой южной пестротой:
В них живет кусочек света,
В них сокрыт испанский зной.
И когда Париж огромный
Весь оденется в туман –
В мутный вечер на диван
Лягу я в мансарде темной,
И напомнят мне оне
И волны морской извивы,
И дрожащий луч на дне,
И узлистый ствол оливы,
Вечер в комнате простой,
Силуэт седой колдуньи,
И красавицы танцуньи
Стан и гибкий, и живой,
Танец быстрый, голос звонкий,
Грациозный и простой,
С этой южной, с этой тонкой*
Стрекозиной красотой.
И танцоры идут в ряд
Облитые красным светом,
И гитары говорят
В такт трескучим кастаньетам,
Точно щелканье цикад
В жгучий полдень жарким летом.[24]

Я здесь хотел сконцентрировать все об Испании. Удалось ли, не знаю.

Вот впечатление спуска в Андорру. (См. первый акт вагнеровского «Тангейзера»).[25]

Смертный, избранный богиней,
Чтобы свергнуть гнет оков,
Проклинает мир прекрасный
Светлых эллинских богов.
Гордый лик богини гневной,
Бури яростный полет.
Полный мрак. Раскаты грома...
И исчез Венерин грот.
И певец один на воле,
И простор лугов окрест,
И у ног его долина,
Перед ним высокий крест.
Меркнут розовые горы,
Веет миром от лугов,
Веет миром от старинных
Острокрыших городков.
На холмах в лучах заката
Купы мирные дерев,
И растет спокойный, стройный,
Примиряющий напев.
И чуть слышен вздох органа
В глубине резных церквей,
Точно отблеск золотистый
Умирающих лучей.[26]

* Текст письма, начиная с этой строки, хранится в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского (фонды, ДА. 69).

В вагоне

(Написано ночью в вагоне между Парижем и Тулузой, в мае, под ритм шума колес, взятый как музыкальная тема. Старайтесь отбивать темп, читая).

Снова дорога! И с силой магической
Все это вновь охватило меня:
Грохот, носильщики, свет электрический,
Крики, прощанье... свистки... суетня.
Снова вагоны едва освещенные...
Странные пятна теней...
Лица склоненные
Спящих людей...
Мерный, вечный,
Бесконечный,
Однотонный
Шум колес,
Ропот вечный,
Шепот сонный
В мир бездонный
Мысль унес.
Жизнь... работа...
Ти-та... то-та...
Вечно кто-то
Все стучит...
Ти-та... ти-та...
Вечно что-то
Мысли сонной
Говорит
Так вот в ушах и долбит, и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
С шумом колес мои мысли сливаются,
Поезд летит, перегнать их старается...
Чудится, еду в России я...
Тысячи верст впереди...
Ночь неприютная... темная...
Станция в поле... Огни ее —
Глазки усталые, томные
Шепчут: «Иди...»

Страх это? Горе? Раздумье? Иль что ж это?
Новое близится, старое прожито...
Прожито – отжито... Вынуто – выпито...
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
Чудится степь бесконечная...
Поезд по степи идет...
В вихре рыданий и стонов
Слышится песенка вечная....
Скользкие стены вагонов
Дождик сечет...
Песенкой этой все в жизни кончается,
Ею же новое вновь начинается...
И бесконечно звучит и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...
Странником вечным
В пути бесконечном
Странствуя целые годы,
Вечно стремлюсь я,
Верую в счастье,
И лишь в ненастье
В шуме ночной непогоды
Веет родимою Русью.
Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
С шумом колес однотонным сливаются,
И безнадежно звучит и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...[27]

Ну вот вам. Право не знаю, самое ли это худшее или самое лучшее из моих стихотворений. Знаю, что оно как-то сразу пронеслось в голове и я его тут же в вагоне залпом написал.

Уф! Двадцать страниц отмахал. Не могу больше. И устал, и в библиотеку надо. А все-таки еще всего не переговорил. Пишите почаще, ради Бога, а то ведь от вас теперь уж не скоро дождешься письма.

Поклон Михаилу Митроф<ановичу>, Нине Алексан<дровне>[28] и всем вообще. Что Адриан?[29]

Макс.

[1] Подразумеваются письмо Петровой от 28 июля – 3 августа 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 57–58 об.) и п. 210.

[2] См. п. 209, примеч. 4–6.

[3] Возможно, имеется в виду трактат Л.Н. Толстого «Рабство нашего времени» (см. примеч. 2 к п. 205). Две бандероли со статьями Толстого Волошин отправил матери из Парижа в мае 1901 г.

[4] Имеется в виду незавершенная поэма Волошина «Девятнадцатый век», над которой он работал с декабря 1898 до августа 1901 г. (Т. 2 наст. изд. С. 524–535).

[5] Узнав из беседы с Е.О. Кириенко-Волошиной о парижских планах Волошина, Петрова писала ему 28 июня: «Я советую Елене Оттоб<альдовне> как можно скорее ехать к Вам и забрать Вас под опеку. Как хотите, а я не могу не верить во всякую чертовщину, увидев воочию, что граф, знаменитый граф Калиостро воскрес!»

[6] Речь идет о Высшей Русской школе общественных наук, созданной в Париже группой русских профессоров (М.М. Ковалевский, Ю.С. Гамбаров, Е.В. Де Роберти и др.) осенью 1901 г.

[7] См. п. 180, примеч. 6. Н.К. Рёрих и К.Ф. Богаевский были учениками студии А.И. Куинджи. Богаевский жил в Феодосии, Петрова была дружна с ним и не раз, начиная с 13 ноября 1897 г., сообщала Волошину о его делах.

[8] См. п. 199, примеч. 4.

[9] Е.В. Аничков был с 1895 г. приват-доцентом Киевского университета св. Владимира по истории западноевропейской литературы и лектором английского языка, с 1901 г. заведующий кафедрой. Вышел в отставку из-за столкновений с ректором по поводу студенческих беспорядков.

[10] «Мир Искусства» – журнал, выходивший в Петербурге в 1899–1904 гг. под редакцией С.П. Дягилева (в 1904 г. – также А.Н. Бенуа). См.: *Корецкая И.В.* «Мир Искусства» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. 1890–1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982. С. 129–178.

[11] Статья А.В. Гольштейн «В музее Гюстава Моро» была опубликована (за подписью А.В. Б–р) в № 3/4 и 5/6 журнала «Мир Искусства» за 1900 г.

[12] Джон Рёскин поддерживал группу английских художников и поэтов «Прерафаэлитского братства», его книга «Прерафаэлизм» вышла в Англии в 1851 г.

[13] А.Н. Арендт.

[14] Cleo de Merode (наст. имя: Диана Клеопатра де Мерод, 1881–1966) – французская балерина.

[15] Я.А. Глотов, как сообщала Петрова, был выслан в Феодосию на три года.

[16] И.-А.И. Спитковский.

[17] Волошин находился в Севилье с 29 июня / 12 июля по 2/15 июля 1901 г. Его спутники по путешествию приехали с Майорки в Испанию позже.

[18] См. примеч. 7 к п. 208, примеч. 2 к п. 200.

[19] Ю.А. Галабутский.

[20] Далее приводятся фрагменты XI, XVIII–XIX, XXII поэмы «Девятнадцатый век» (Т. 2 наст. изд. С. 528, 531–534).

[21] «Около девятого часа» Иисус Христос «испустил дух» на кресте (Мф. XXVII, 46–50).

[22] Историк Жюль Мишле в годы Июльской монархии был кумиром радикального студенчества как страстный борец против католической церкви.

[23] Историк и политический деятель Эдгар Кинэ – с 1841 г. профессор Коллеж де Франс, откуда был уволен в 1846 г. за борьбу против католического духовенства и иезуитов.

[24] Впоследствии это стихотворение получило название «Кастаньеты». См.: Т. 1 наст. изд. С. 15–16.

[25] «Тангейзер» – опера Р. Вагнера (1845) на его же либретто. Тангейзер – миннезингер XIII в. (умер не ранее 1273), жизнь и личность которого стали темой народных германских легенд. По одной из них Тангейзер, проведя семь лет в гроте Венеры в горе Герзельберг, раскаивается и отправляется за отпущением грехов к папе Урбану. 1-е действие «Тангейзера» происходит в гроте Венеры.

[26] Стихотворение «Тангейзер» (Андорра, 1901) впервые опубликовано в журнале «Новый Путь» (1903. № 8). См.: Т. 1 наст. изд. С. 18.

[27] Стихотворение впервые опубликовано в 3-м альманахе издательства «Скорпион» «Северные Цветы» (М., 1903). См.: Т. 1 наст. изд. С. 13–14.

[28] М.М. и Н.А. Петровы.

[29] А.М. Петров.

212. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

14/27 августа 1901 г. Париж

27 августа 1901 г.
Paris 11[bis] Rue Berthollet.

Вот уже больше месяца, как я вернулся из Испании, но до сих пор не писал тебе потому, что (представь себе!!) был все время занят.

Действительно. Теперь я с утра до вечера работаю в Национальной Библиотеке по литературе, истории и искусству. Роюсь в старых фолиантах, перебираю связки старых газет, словом, вполне имитирую занимающегося человека. Кроме того, еженедельно строчу по статье и отправляю в разные газеты. Дело в том, что мне необходимо теперь же осенью заручиться постоянной журнальной работой, которой я бы мог жить в Париже, так как я хочу совершенно отказаться от своих денег (т.е. от процентов), предоставив их в пользование маме. А мне все-таки здесь надо иметь на жизнь не меньше 50 р. Так что работа у меня теперь кипит. Я разослал уже четыре статьи по разным редакциям и вот жду ответа, что-то будет?

Наравне с этим идет страшная ломка разных старых взглядов, новые открытия (субъективные, разумеется) в искусстве, преклонение пред величием французской литературы, изучение государственного устройства респ<ублики> Андорры, переписка с Алекс<андрой> Михайловной,[1] увлечение анархизмом, успехи в рисовании, новые стихотворения, собирание материалов для будущей статьи о Гюставе Моро, бешеный восторг перед картинами Рэдона...

Словом, видишь, на этот раз я действительно занят.

Что ты? и где ты?

Пиши мне скорее свой адрес, чтобы я мог побеседовать с тобой как следует. Виделся ли ты с Mario Lago? Где ты будешь лечиться? Где ты будешь учиться?[2]

Неужели все-таки в Москву? Помни мое предсказание: не выдержишь. Попробовав заграничной жизни, вернуться в рус<ский> университет так же трудно, как вернуться из университета в гимназию.

Лёля Лямина едет в Париж.[3] Миша[4] поступает в Инстит<ут> Путей Сообщения. Это ты знаешь? Яша на 3 года прикреплен в Коктебеле.[5] Ведь это ужасно. Ты ведь знаешь, что он в этих беспорядках участия сам не принимал, а только собирал деньги и носил провизию для заключенных. И после этого все-таки ехать в русский университет!!!

Не заглянешь ли все-таки осенью в Париж? У меня уже снова много накопилось нового для споров.

Приедет ли твой брат?[6]

Мне главное досадно, что, вернувшись теперь в Россию, и через 3 месяца совершенно разочаровавшись в русских университетах, ты надрывом заставишь себя остаться, а уж не уедешь за границу. И теперь у тебя уже ведь никого знакомых в Москве не будет: совсем чужой, совсем новый город. И какой скучный, какой пакостный. Подумай еще об этом раньше. Но не оставайся и в Германии.

Пиши скорее.

Макс.

P.S. Если есть у тебя те фотографии, что ты снимал весною с меня и со статуй, то пришли.

[1] А.М. Петрова.

[2] Своевременно на это письмо Пешковский не ответил; 3 ноября 1901 г. он писал Волошину: «...твое письмо, адресованное в Берлин, я получил 3 месяца тому назад в Киссингене, где я лечился, и с тех пор каждый день собираюсь писать тебе» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 68).

[3] В письме к Волошину от 16 августа 1901 г. Е. Лямина сообщала, что не сможет поехать в Париж «ранее конца сентября» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[4] М.С. Лямин.

[5] См. примеч. 15 к п. 211.

[6] Артур Матвеевич Пешковский.

213. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

16/29 августа 1901 г. Париж

Ответ на письмо от 8 августа.[1] 29 августа 1901.
Rue Berthollet 11bis. Paris.

Влагаю письмо для Яши.[2]

Дорогая мама!

Только что получил письма и Ваше и Яшино. Это очень грустно, что обстоятельства складываются так.[3] Но ведь вы бы могли приехать в Париж зимою из Москвы? Мне что-то все-таки не думается, что бабушка поедет в Москву. Ведь это ей

теперь только кажется, что в Москве хорошо было. А когда она вернется туда, попробовав чистого воздуха и моря, которые ей теперь и не нравятся, ей Москва с ее духотой, теснотой и грязью совсем ужасной покажется. Ей не в Москву надо, а в Феодосию на зиму. Там у ней и знакомства будут, и интересы, и церкви. Представьте себе, насколько положение ее будет в Москве ужасно. Ведь теперь это снова чужой город будет для нее.

Ее состояние, конечно, понятно — это агония духа. А для Вас все-таки будет лучше, если она будет в Москве. Лучше съездить на несколько месяцев в Москву зимой, чем изо дня в день томиться от этого.

Скоро ли будет кончен домик и все эти мучения с ним? Это ведь, кажется, необходимый период, который переживался и Пав<лом> Пав<ловичем>[4] во время постройки его дома. А жильцы летом, конечно, будут: ведь сколько теперь народу ежелетно приезжает в Коктебель и живет у болгар, у певиц...[5] А у Вас ведь будет и дешевле, и удобнее, и к морю ближе.

Вы пишете, что почему бы мне не обратиться в «Рус<скую> Мысль» да в «Рус<ские> Ведомости» с предложениями корреспонденции. Это вещь совершенно немыслимая. Я смогу писать только о том, что меня интересует, т.е. об искусстве и новейших течениях литературы, а об этом ни одной строчки ни в одном из этих журналов не пропустят. Дело в том (это открытие я сделал только здесь), что у нас в России, кроме правительственной цензуры, существует еще другая частная, не по политическим вопросам, а по вопросам искусства, устроенная нашими собственными журналами. И цензура даже более строгая. Революционно-политические идеи все-таки проскальзывают: обиняками все можно сказать: цензора все-таки просто чиновники. А революционные идеи искусства проскочут не скоро. Редактора это считают своим личным интересом и тщательно оберегают русское общество, не пропуская с Запада *ни одного* нового течения. Они позволяют только издеваться над карикатурными произведениями бездарностей, которых они называют декадентами, и стараются уверить публику, что в этом-то и заключается все

новое европейское искусство. А то, что действительно смело и прекрасно... Да вот, например, одно имя Одилона Рэдона, рисунки которого на меня произвели недавно такое потрясающее впечатление, о котором я Вам писал,[6] наводит панический ужас, и не на «Рус<скую> Мысль», принципиально высказавшуюся против всего нового, а на «Мир Искусства»,[7] задавшийся целью знакомить рус<скую> публику с этими течениями, который во всех редакциях именуется не иначе как «декадентским» органом.

Представляете вы себе это положение? Невольно является вопрос: имеют ли право желать и требовать свободы печати те, которые устраивают над мыслью еще более строгую цензуру, чем та, которая висит над ними. Тут невольно приходишь к мысли Толстого о том, что и либералы, и социалисты сводят понятие о свободе только к их собственной свободе, т.е. к тому, что они сами желают занять то главенствующее место, которое теперь занимают их противники. Одна старая русская эмигрантка, революционерка, работавшая много в Италии и во время объединения вместе с Бакуниным,[8] и после над социалистическим движением, устраивавшая там коммуны, мне говорила: «Знаете, из всех свобод самая дорогая, самая ценная, не свобода политическая и даже не свобода печати, а свобода творчества», я это не сразу понял, но теперь, когда понял, то глубоко с этим согласился.[9]

И особенно ценно и веско то, что это говорит человек, всю жизнь боровшийся за свободу политическую и свободу слова.

И еще заметьте, что это только у нас в России «эстетика» совпадает с консерватизмом: в Европе искусство идет вместе с революционными партиями, даже больше впереди их. Именно анархисты теперь и стоят во главе нового искусства, а у нас для радикала «эстетика» является чем-то глубоко позорным... Это только показывает, как нам еще далеко до очень-очень многого. Здесь все говорит на совершенно ином языке, хотя слова видимо и те же. Поэтому сначала и кажется, что мы понимаем все, а когда узнаем истинное значение слов, то видим, что ничего не поняли.

Положим, все эти длинные рассуждения совсем не относятся ко мне лично, т<ак> к<ак> я сам слишком еще мало проник в эти новые течения, чтобы уже выступать в качестве их проповедника, объяснителя или критика. Но даже то, что я и могу теперь писать — это не для «Рус<ской> Мысли» и не для «Рус<ских> Ведом<остей>». Мне бы больше хотелось устроиться в провинциальной газете: там по крайней мере всё пропускают: нет этой редакторской цензуры. Вот если напишу статью об Андорре, то отправлю в «Рус<скую> Мысль». Я пока собираю материалы для нее, об государст<венном> устройстве, истории и т. д. Она будет достаточно скучна и суха для того, чтобы ее приняли в «Рус<скую> Мысль».

Пока ответов ни из каких редакций не получал еще. На днях отправил в «Курьер» фельетон об новом романе Мирбо,[10] с переводом многих мест — очень сильных и ярких.

Я думаю, т.е. надеюсь, что к январю я настолько обзаведусь работой, что смогу действительно отказаться от своих процентов. Недавно Косоротов завел со мной речь о том, что ему надо будет секретаря, который бы давал ежедневно отчет о том, что нового появилось во французских газетах за день. А то он сам едва успевает их одолевать, а ему в качестве официального парижского корреспондента «Нового Времени» это необходимо. Говоря это, он как будто все намекал на то, что не возьмусь ли я за это? Но я тогда сделал вид, что намека не понимаю. Но теперь я сообразил то, что в сущности, взяв подобные обязанности, я нисколько не вступаю ни в какие сношения с «Новым Временем» и что это нисколько не может быть для меня ни унизительным, ни позорным, ни нечестным. Т<ак> что я, может, теперь сам поговорю с ним об этом. Тогда у меня уж будет обеспечено до 100 фр. в месяц.

Он мне теперь значительно симпатичнее, чем при первой встрече. У него безусловно есть литературный талант (до известной степени), хотя слишком много самоуверенности. «Ново-Временский» дух в нем есть, хотя он все-таки чересчур либерален для «Нов<ого> Времени» и, верно, недолго его продержат в Париже. Хотя, может, и потому он мне стал симпатичнее, что он сам ко мне относится с каким-то особенным расположением, а это невольно действует всегда подкупающе.

Ну посмотрим. Вас я все-таки жду в Париже. Целую бабушку. Поклоны в обычном порядке.

Макс.

[1] Приписка слева на полях. В письме от 8–9 августа (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 3–7 об.) Е.О. уточняла: «...деньги твои не в государ<ственных> бумагах, а в заклад<ных> листах Киев<ского> Земел<ьного> банка» – и снова призывала подумать «о себе, о дальнейшей жизни – с заботой, трудом, семьей».

[2] Вписано на свободном пространстве листа между датировкой и обращением. См. п. 214.

[3] Е.О. писала Волошину 8–9 августа, что для поездки в Париж ей «надо стряхнуть с себя все заботы, хлопоты, обязанности» (включая бабушку), чего она не может себе позволить.

[4] П.П. Теш.

[5] См. примеч. 2 к п. 195.

[6] О знакомстве с О. Редоном и его работами Волошин подробно сообщал не в письме к матери, а в письме к А.М. Петровой от 9/22 августа 1901 г. (см. п. 210).

[7] В данном случае конкретно подразумеваются обстоятельства, возникшие с публикацией статьи А.В. Гольштейн «В музее Гюстава Моро»; Волошин излагает их в п. 211.

[8] Подразумевается А.В. Гольштейн; она подружилась с М.А. Бакуниным в 1876 г. в Швейцарии (см. примеч. 10 к п. 182). Бакунин жил в Италии в 1864–1867 гг., когда завершался процесс освобождения страны от австрийского и папского гнета; в 1870 г. Италия стала единым государством.

[9] Последующие два абзаца добавлены после составления остального текста письма (первый приписан на свободном пространстве листа, второй вклеен).

[10] См. примеч. 7 к п. 208.

214. Я.А. ГЛОТОВУ

16/29 августа 1901 г. Париж

29 ав<густа> 1901.
Paris 11bis Rue Berthollet.

Ты меня здорово выручил. Ну что ж, давай буду тебе отвечать по пунктам.[1]

То, что ты мне сообщил об Андалузии,[2] меня очень заинтересовало — это полная новость для меня, и мне очень жаль, что не мог следить за этим в свое время — не мог именно потому, что был в это время в Андалузии. Представь себе испанца, прожившего февраль 1901 г. в Москве, не зная другого языка, кроме испанского, и ходившего по целым дням по московским кабакам и чайным, наблюдая и зарисовывая нравы московского простонародья: мог ли бы он хоть по какому-нибудь признаку догадаться, что в Москве революция. И конечно бы он знал не только все подробности случившегося, а даже гораздо больше, если бы он в это время жил в хотя бы в самом глухом уголке Испании и читал бы ежедневно испанские газеты. Ты как думаешь?

В Мадрите, когда я нашел людей, говорящих по-французски, я уже больше попал в курс испанских событий — об этом я писал маме.[3]

Социальные вопросы. Я ими действительно стал меньше заниматься, потому что теперь их от меня заслонили другие более интересные и широкие идеи.

Это вовсе не значит, что я совсем ими перестал интересоваться: я пользуюсь эпохой общего затишья, чтобы отдаться другим, для меня лично еще более важным и интересным вопросам. Правда, в России «колыхнулось болото стоячее»,[4] но оно уже и успокоилось. Теперь еще два года ждать надобно. А вот, когда оно всколыхнется опять, тогда и посмотрим, может, и в Россию пора будет ехать. А пока подожду здесь да буду заниматься.

Почему французская литература неизвестна — см. мамино письмо сегодняшнее.[5] А *зачем* я ей занимаюсь, на это я тебе не могу ответить, т<ак> к<ак> не признаю такой постановки вопроса. «Зачем» — это вопрос схоластический. Ты ведь не спросишь: зачем дождь идет? «Почему?» — это другое дело. Потому что меня это интересует и увлекает больше всего на свете. В этом мое призвание. А «зачем» это меня увлекает? право, не знаю.

Что же именно меня так привлекло во французском искусстве, на это я не имею прямо физической возможности ответить.

Это слишком много, и я ведь теперь только в преддверье вхожу. Все совсем *новое*. Этого достаточно. Хочешь узнать: приди и учись. Положим, это жестоко говорить человеку, на три года прикованному к коктебельскому утесу, но все равно увидишь и научишься позже, потому что скоро это и в Россию придет.

«Социализм», как партия. Я не только перестаю им интересоваться, но и готовлюсь совсем отойти от него. Если ты согласен со статьей Толстого «Современное рабство»,[6] то это уже разрыв с социализмом. Это уже анархизм – будущий противник торжествующего социализма. В истории дольше всего живут слова, но содержание их меняется беспрерывно. Социализм – идея и социализм – партия два диаметрально противуположных полюса.

Партия (а особенно торжествующая) всегда губит идею, т<ак> к<ак> принимает в себя все историческое наследие веками накопившихся пакостей. «Анархизм» теперь та же чистая идея социализма, которая приняла новое имя для отличия от партии, готовой занять место теперешних правительств. Если ты представишь себе государство торжествующего социализма, в его реальной форме, то ты тогда поймешь значение это<го> растущего протеста, этой будущей оппозиции.

Это будет, конечно, оппозиция аристократии против толпы, но аристократии ума. Т.е. та оппозиция, та борьба против демократии, которая велась в Афинах Сократом, Тимоном и др. Понимаешь мою мысль? То, что уже теперь начинает расти эта оппозиция, это только признак созревшей силы и скорого торжества социализма, чему, конечно, можно только радоваться. Но я думаю, что теперь уже время переходит в оппозицию против социализма. Уже и анархизм получает теперь в Европе новое содержание.

Динамитчики – это скорее еще крайние элементы социалистической партии, а анархистами теперь называют себя те, которые раньше были «Intellectuelles».

Во главе современного французского анархического движения теперь стоят Октав Мирбо, Тальяд...

Заказ № 5706

Анатоль Франс, хотя не называет себя анархистом, но в сущности и он со своей тонкой, художественной и беспощадной критикой современного строя примыкает сюда же.*

Любопытно будет то моментальное и окончательное разделение всех этих элементов, которое произойдет в момент победы социализма.

Прямо в ужас приходишь, какая нам в России предстоит бешеная умственная и социальная скачка, чтобы нагнать Европу.

Только бы ворота выломить. Я люблю быструю езду.

Едва ли Парижск<ий> Универ<ситет> сможет иметь такое значение, какое ты ему придаешь.

Нельзя доверять этой широкой программе. В первый год она не будет осуществлена во всяком случае: это не возможно. Если самый прилив слушателей даст им силу, тогда дело пойдет. Но средств нет ни копейки! Они ждут аудитории. Если аудитория явится, тогда и они иначе возьмутся за дело.

Только на первый год все наверное будут обмануты в своих ожиданиях. Это уж неизбежно. Написать об университете[7] я ничего не могу, т<ак> к<ак> ни Аничков, ни Гамбаров в Париж не вернулись и мне не только не у кого взять материалу для статьи, но даже нет программ, чтобы послать тебе.**

Странное впечатление производят здесь русские студенты. Они не пользуются ничем, что может дать Париж. Они совершенные дикари. У них нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтоб слышать, потому что наши русские уши и глаза должны сперва долго привыкать к новым совершенно незнакомым формам, чтобы научиться их различать: я это на себе теперь испытываю и, вероятно, еще долго буду испытывать.

Наши студенты, считая верхом европейской культуры социалистические движения, за ними только и следят, читают газеты исключительно социалистические, т.е. очень хорошие

* Почти все современные художники и писатели во Франции называют себя анархистами. *(Примеч. Волошина.)*

** Программа составлена летом без меня, и я настолько же мало знаю обо всем, что тогда было, как и ты. Гусеву <?> напишу сегодня же. (*Примеч. Волошина.*)

популярно написанные статьи, приспособленные для понимания людей с низшим интеллектуальным развитием, и при этом они абсолютно чужды, так же как они были чужды и в России, умственных движений и интересов высшей французской интеллигенции. Скучнее этих рус<ских> студентов я никогда в жизни ничего не видывал. То, что нормально (хотя тоже уже приелось по землячествам) в России, то здесь на свежем воздухе, полном дыхания новых нарождающихся идей, кажется страшно диким. И так всё! Если то же будет со студентами нового университета, то не поздравляю будущую «Новую Россию» с такими «новыми людьми».

Это всё старые люди будут. Прямо поразительно, как они умудряются создавать себе такую скорлупу, в которой они прячутся от окружающей жизни.

Относительно «Проституции в Париже» – надзора здесь нет никакого. Писать об этом слишком долго. Того понятия, которое у нас разумеется под проституцией, здесь совсем нет. С другой стороны, здесь каждая женщина проститутка. Это очень сложно, и я сам в этом не разобрался еще.

В «Южн<ый> Кур<ьер>» отправил одну статью с разными выдержками из французск<их> газет февраля 1848 г.[8] Если намеки поймут, то едва ли напечатают, хотя об России я, разумеется, ни слова.

Алекс<андре> Мих<айловне> я отослал все свои летние стихи.[9] Прочти у нее. Ты ведь, я думаю, все-таки бываешь в Феодосии, несмотря на запрещение? В Рус<ском> унив<ерситете>[10] я, разумеется, буду слушать. Книг вышлю, когда получу денег с какой-нибудь газеты, а то у меня теперь мало. Пиши мне почаще. Я буду тебе отвечать аккуратно, а то, пользуясь, что я маме часто пишу, ты совсем не пишешь. Желаю Заиньке[11] здоровья и Парижа. Поклон Пав<лу> Пав<ловичу>.[12]

Макс.

Здесь теперь Авсаркисов[13] – работает. Я с ним часто беседую. Он мне нравится.

[1] Письмо Глотова, на которое отвечает Волошин, не сохранилось.

[2] Наиболее крупные беспорядки на территории Испании происходили тогда не в Андалусии, а в Валенсии и Сарагосе, где 9—10 / 22—23 июля шли вооруженные столкновения между католиками-ортодоксами и свободомыслящими.

[3] См. п. 198.

[4] «Чуть колыхнулось болото стоячее» — 1-я строка стихотворения Н.А. Некрасова «Кузнец» (1872).

[5] Т.е. письмо Волошина к матери от 16/29 августа (п. 213).

[6] Имеется в виду трактат «Рабство нашего времени» (см. примеч. 2 к п. 205).

[7] Подразумевается Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[8] Рукопись этой статьи Волошина (не опубликованной в керчинской газете) неизвестна.

[9] Стихи в составе письма к А.М. Петровой от 14/27 августа 1901 г. (п. 211).

[10] См. выше, примеч. 7.

[11] Евг. П. Теш.

[12] П.П. Теш.

[13] Михаил Парсаданович Авсаркисов (1878—?) — студент юридического факультета Московского университета.

215. А.М. ПЕТРОВОЙ

1/14 сентября 1901 г. Париж

14 сентября 1901 г. Paris.
11bis Rue Berthollet.

Вот никак я не ожидал, что Вам так понравится мое стихотворение «В вагоне».[1] Я совсем не подозревал, что оно так хорошо, но прочтя Ваше письмо, перечел его и, признаюсь, поверил. Только переделать его я совсем не могу. Я его писал ночью в вагоне между Парижем и Тулузой под такт стуку поезда, а теперь вызвать снова то же настроение трудно — даже невозможно. Нет — теперь я ничего не могу изменить в нем.*

* Я не совсем понимаю вашей мысли: вы хотите, чтобы я выбросил об России, и после говорите, что это Вам больше всего нравится. Как это так? (*Примеч. Волошина.*)

Относительно «Спуска в Андорру» — вот что. Это стихотворение называется просто «Тангейзер», а об Андорре тут я упомянул только потому, что писал его под этим впечатлением. Меня страшно поразила эта картина своим полным тождеством с первым актом вагнеровской оперы, когда грот Венеры исчезает в громе и молнии, а Тангейзер остается один в широкой долине и торжественно и мирно звучит этот полуцерковный мотив — помните его?[2] Так что — я не Тангейзер. И ни маме, ни вам пугаться мании величия с моей стороны пока нечего. Я думал, что это понятно без комментариев. А вот относительно «танцуньи» — я ее поставил вполне сознательно, т<ак> к<ак> ни «плясунья», ни «танцорка», ни «танцовщица» — все это не подходит и не передает того, что я хочу. Поэтому я счел себя вправе сделать недостающее слово.[3] Ведь может же художник изобрести краску, раньше не употреблявшуюся, если она понадобится.

Вот «острокрышие городки»[4] — ведь этого слова тоже нет, а здесь оно нужно.

Относительно строфы «XIX в<ека>» о «новой любви» я не согласен.[5] Вы не вполне ее поняли, верно потому, что она пока совершенно изолирована. Я хотел оттенить то, что «Истина» (этого слова я нарочно не упоминаю, т<ак> к<ак> оно должно само прийти в голову читателю) всегда одна, только люди всех веков и народов дают ей новые формы и имена.

Эта строфа нисколько не есть возвеличенье «науки» XIX в<ека>, а напротив, если хотите, сведение ее с того пьедестала, на который ее поставил XIX в<ек>. У меня она является не единственной и самостоятельной и вечной, а только одной из тех форм, которые принимает «истина» в представлении человека. Понимаете? Я, кажется, не вполне ясен. Но перечтите эту строфу еще раз.

Мне самому из всех присланных вам вещей больше всего нравятся: «Кастаньеты» и из «XIX в<ека>» строфа «И он широкими глазами...».

Я начал на Майорке писать пролог к Итальянскому путешествию, который начал еще в тюрьме, но он не вполне закончен, так что я его пришлю позже.[6]

Но теперь об Яше. Я получил письмо от мамы дней 5 назад об его деле, и меня это совсем обескуражило.[7] Дело гораздо сериознее, чем Вам кажется, а может и маме. Тут не в том беда, что в университет не пустят, тут гораздо хуже. На поселение в Якутскую область и по меньшим обвинениям попадали. «Скорбные листы» всех русских волнений и движений пестрят такими фактами. То, что Вы пишете, что на суде увидят, что он смальчишничал, — это наивность. Тут ведь решительно никому не важно то, что виновата ли данная личность в данном деле или нет. Теперь надо отыскать «зачинщиков» революции 1901 года и представить их, куда надо. Яша же как раз под эту категорию подходит. В 99 г. был замешан. Теперь держался в стороне — а бумаги вот пересылал — значит, тут что-нибудь гораздо более важное.

Он мне ничего об этом не писал сам, но я думаю, что он ясно понимает всю опасность и даже безнадежность положения. Весною слишком все были перепуганы, чтобы теперь оказывать снисхождение «зачинщикам» и «подстрекателям». Яша тут подвернулся, и ему надо ждать не «высылки», а «ссылки» настоящей, может, в Сибирь, может, на много лет. И единственный выход, возможный только еще теперь, не теряя ни минуты: это воспользоваться иностранным судном, каких всегда много в Феодосии. После поздно будет. Лучше дольше просидеть за границей, чем годы в Сибири. Возвратиться же можно, дождавшись манифеста или революции.

Я боюсь писать ему лично, но если Вы ему сочувствуете — вы должны его уговорить. Остаться теперь в ожидании «правосудия» — это может стоить всей жизни. Испуг не прощается никогда, и теперь правительство будет беспощаднее, чем когда-либо. Разве можно надеяться на свою правоту, на доказательства, когда есть налицо этот роковой пакет. Тут все уже заранее решено. Для судей тут не будет вопроса: «Виновен ли данный симпатичный молодой человек?», у них будет одна только задача: «где виновные, где зачинщики? Если этот может быть виновным — значит, его следует устранить». Имейте в виду, что административная ссылка в Якутскую область совершенно не рассматривается как наказание у нас, а только

как мера предупреждения. И тысячи гибнут за полярным кругом в видах предупреждения опасных поступков с их стороны. Если мне не верите – спросите у Я<ши> или у мамы. Все это, конечно, только для Вас я пишу. Меня это известие потрясло совершенно. Я всю неделю хожу под впечатлением этого и в страхе, что Я<ша> не воспользуется указанным выходом. Уговорите его – иначе это гибель. Поговорите об этом и с мамой. Если б я был сейчас там! Я так под впечатлением этого, что и писать сейчас не хочется ни о чем.

Я хочу сегодня же отправить это письмо. Так что обо многом поговорим после. Одновременно с письмом посылаю Вам фотографию одной картины итальянского художника, Бальтистриэри «Бетховен», которая верно вам очень понравится.[8]

Вот что. Давайте-ка чаще переписываться. Пишите мне кажду<ю> неделю, не дожидаясь ответов. Я буду делать то же. У меня так много мыслей и новых впечатлений и никого, с кем бы я мог действительно поделиться. Беседа с Вами мне теперь буквально необходима. Да и Вам наверно это будет интересно и приятно. У меня был долгий период, когда я постепенно все дальше и дальше отходил от Вас и Ваших взглядов. Он начался на второй год нашего знакомства, т.е. в 95 г., и продолжался 6 лет. Теперь я чувствую и вижу, что иду снова к Вам громадными шагами, удаляясь с каждым шагом от Пешковского, который неуклонно и прямо идет все в ту же сторону, в какую пошел он еще в VI кл<ассе> гимназии. Он идет медленно и твердо, ощупывая каждый шаг и прорубая просеку, строго придерживаясь намеченного румба. Я же бегу извилистыми тропинками, может быть, теперь я очень далеко впереди него, но я легко теряю дорогу и направление, и после он наверно меня перегонит. Он не умеет скакать через логические преграды, как скаковая лошадь через барьер, он их должен разрушить, чтобы пройти. Зато назад он никогда не вернется. А мне это всегда приходится делать. Но себя я считаю настолько же правым, т<ак> к<ак> на его способ я не способен совсем. И вот теперь моя извилистая линия снова близко подходит к Вам, как когда-то подходила в 94 году при

нашем первом знакомстве, только теперь она идет туда сознательно.[9]

Так как же относительно переписки? Я знаю, что Вы ничего не будете иметь против того, чтобы получать от меня письма почаще, но мне-то важно, чтоб вы мне писали больше и чаще. Что делает теперь Вера Нич?[10] Вы об ней ничего не пишете. За Леру очень радуюсь. Только какое это место в Худож<ественном> театре?[11] Где теперь Гауфлер?

Об Саше[12] я ничего не знаю решительно. Когда узнаете его адрес — напишите. Я не вижу из Вашего письма: получили ли вы мое письмо об Редоне (художнике), отправленно<е> дней за пять до письма со стихами?[13]

Кланяюсь Мих<аилу> Митрофан<овичу> и Нине Алек<сандровне>[14] и конечно, всем: Лере, Жене, Вере, Исару[15] и т.д.

Макс.

Об взглядах и об остальном я напишу на днях.

[1] В письме от 21—26 августа 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 61—66 об.) Петрова признавалась: «Вы меня совершенно подкупили Вашим стихотворением “В вагоне”! Давно я не была в таком восторге, как читая его. Это — целый праздник для меня, и моя физиономия уже второй день иллюминована по этому случаю. Хожу — и сияю. Бедным моим посетителям покою нет — всем читаю его и... все, буквально-таки, в восторге. <...> Ка́к Вы думаете, не выиграла ли бы еще эта вещь, если бы Вы ее сделали более объективной, что ли? <...> Если бы к этому тонкому впечатлению от путешествия не было бы приурочено впечатлений от воспоминаний России? <...> Та́к, как оно есть теперь — оно само по себе великолепно и мне даже *именно* нравится в нем нить, связывающая его с Русью, но тэма так богата... что Вы напишите-ка на нее еще!»

[2] См. п. 211, примеч. 25.

[3] Подразумевается строка «И красавицы танцуньи» из стихотворения «Из страны, где солнца свет...» (п. 211, примеч. 24). «Вы, вероятно, по ошибке написали “танцунья”, вместо “плясунья”? Я чуть не упала от этого словечка», — замечала Петрова в цитированном письме. «Ваша “танцунья” — все-таки черт знает что! И не спорьте», — парировала Петрова (в письме от 19 сентября 1901 г. // Там же, л. 67—71 об.). И Волошин заменил это слово на «плясунью».

[4] Образ из стихотворения «Тангейзер».

[5] В письме от 21–26 августа Петрова отмечала: «Ваша строфа из “XIX века” о “новой его любви”, pardon, но мне кажется немного слабоватой по тону и по широте размаха».

[6] Замысел развернутого стихотворного произведения на темы итальянского путешествия 1900 г. не был реализован Волошиным.

[7] Упомянутое письмо Е.О. Кириенко-Волошиной не сохранилось. Петрова же в цитированном письме сообщала, что Я. Глотова вызывали на допрос и что его дело будет разбираться «месяца через четыре». Согласно более раннему письму Е.О. Кириенко-Волошиной (от 11 мая 1901 г.), у Глотова в Екатеринодаре был обыск, так как охранке стало известно о пересланных ему прокламациях к рабочим.

[8] Имеется в виду итальянский художник Лионелло Балестриери (1872–1958); его картина «Бетховен» (1900) находится в музее в Триесте.

[9] В ответ последовала отповедь: «...никак не могу понять, каким образом вы “снова и сознательно” повернули ко мне?! Да ведь Вы совершенно меня не знаете!» (письмо от 19 сентября 1901 г.).

[10] В. Нич служит «классной дамой в гимназии», – отвечала Петрова.

[11] О В.А. Воллк-Ланевской Петрова извещала в письме от 21–26 августа, что ее вызвали в Москву «к началу репетиций в Худож<ественном> театре» и что «она будет получать по 75 руб. в месяц».

[12] А.М. Пешковский.

[13] Имеется в виду п. 210.

[14] М.М. и Н.А. Петровы.

[15] Е.А. Воллк-Ланевская, В.М. Нич, И.-А.И. Спитковский.

216. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

8/21 сентября 1901 г. Париж

21 сентября 1901.
Paris. 11bis Rue Berthollet.

Дорогая мама,

сегодня получил наконец Ваше письмо (денежное с 81 р.).[1] Вы как-то так долго не писали после письма об новом Яшином деле,[2] что я все со дня на день ожидал от Вас письма, совершенно не зная, что у Вас там делается. Если Яшу обвиняют в

государственном преступлении, то я не вижу никакого основания на то, чтобы не арестовали Вас самих, прочитав какое-нибудь мое письмо, не арестовали бы бабушку в подозрении весенней революции – в этом ничего непоследовательного не будет. Поэтому я все беспокоился и откладывал мое письмо в ожидании Вашего. Теперь Вы ничего не пишете о Яше. Значит, все тихо. Но я твердо стою на том, что я писал в заказном письме: это единственный выход.[3] Конечно, может кончиться и ничем, но девяносто шансов за то, что кончится действительной ссылкой. Я ведь думаю, Вы согласны с тем, что для «судящих» вопрос будет совсем не в том: «был ли он зачинщиком», а в том, «мог ли он быть зачинщиком?» А на этот, конечно, всякий даст утвердительный ответ. Кроме того, вспомните, что ссылка в Якутскую губернию у нас рассматривается не как наказание, а как предупреждение. Средство, рекомендуемое мной, далеко не так страшно, как может казаться. Вернуться *отсюда* легче, чем оттуда. Ну довольно. Буду ждать от Вас известий.

Вы просите не отвечать на Ваше письмо. Мне, напротив, хочется отвечать на него, но отвечать ведь я могу только одним постоянным рефреном всех моих писем: *а все-таки Вам необходимо как можно скорее приехать в Париж.*

Пока здоровье бабушки позволяет, пока не явилось каких-либо новых неожиданных останавливающих фактов. Не следуйте примеруАлекс<андры> Мих<айловны>,[4] годами собирающейся в Коктебель. Вот тоже если б ее можно было хоть немножко вытащить за границу, как бы это для нее хорошо было. А деньги пусть Вас не останавливают. Я прошу Вас об этом. На леченье от болезней ведь денег не жалеют, а ведь это тоже леченье, и радикальное и наверняка успешное. Т<ак> что этот вопрос не должен совсем приниматься в соображение. А другие все скоро устранимы. Вы в последних письмах даже ничего уж и не упоминаете о поездке. Ведь стоит только захотеть, и все препятствия быстро исчезнут. Ликвидируйте наскоро дела с домиком,[5] оставив неоконченное до будущего лета, водворите бабушку в Феодосии и поезжайте в Париж. Я бы даже не советовал Вам ехать железной дорогой. В Феодо-

сии всегда есть пароходы (торговые), идущие в Марсель. Это было бы самое лучшее. Уже само морское путешествие освежило бы Вас. И при том оно гораздо интереснее и вероятно и дешевле.

Нет, мама, пожалуйста, не оставайтесь на зиму в Крыму.

И торопитесь, а то Вы попадете к самому скверному времени в Париже. А теперь совсем дивная погода. Воздух осенний, свежий. На деревьях распускаются, как всегда здесь бывает осенью, новые листья. Открываются театры, съезжается народ. Но что теперь с Лёлей?[6] Я от нее с месяц назад имел последнее письмо из Петербурга. Поступил ли куда-нибудь Миша Лямин? Едет ли Лёля? Если она и теперь, благодаря каким-нибудь неожиданным обстоятельствам, не выберется, то плохо ей будет. Где теперь Люба?[7] Поздравляю ее с именинами. Надо бежать менять деньги и отдавать долги. Так что это письмо буду кончать после.

С моим литературным заработком идет что-то плохо. Вот после семи месяцев молчания откликнулся «Рус<ский> Туркестан». Пишут, что все, что я им оставил, как раз заполнило аванс и только с печатаньем последней статьи начнется снова мой доход. Но сейчас денег нет, но после вышлют аванс. Довольно большую статью, отправленную весною, они сочли неудобным почему-то напечатать. Вообще же на расстоянии восьми тысяч верст оказывается сообщаться трудно, ожидая ответа по 2½ месяца при полной скорости и семи месяцев при замедлении. «Южн<ый> Кур<ьер>» и «Курьер» просто еще молчат. Я не посылаю туда пока ничего нового, ожидая ответа, а пока пишу об Майорке, да приготовляю материалы для статьи о картинах Моро, которую, разумеется, никто никуда не примет. А при таких условиях и писать не хочется. Если б только найти постоянный источник сбыта, у меня бы был теперь под руками неистощимый материал. Сколько бы тут можно было сделать переводов, компиляций захватывающего интереса, если бы только был издатель. Вот бы, например, издать книжку литературных портретов современных новейших французских писателей, составленную из критических очер-

ков Анатоля Франса, Роденбаха, Реми де Гурмона, Лемэтра и др. Это представляло бы громадный интерес в России, где никто ничего об этом не знает.

Ну в общем пока я совсем ничего не знаю, ждать ли мне литератур<ного> заработка или нет. Если не найду занятий в Париже теперь, то будет плохо.

То, что я вам писал о возможности работы у Косоротова, — не выяснилось еще, т<ак> к<ак> он тогда же уехал из Парижа, вот уже 2 недели его нет: он то в Компьени, то в Реймсе возится с царским приездом.[8]

Коли и тут ничего не выйдет, то придется обратить<ся> за уроками к русс<кому> священн<ику> Смирнову, с которым я познакомился через Елену Дмитриевну.[9] Он в постоянных сношениях с аристократической частью русс<кой> колонии и скорее сможет что-нибудь сделать.

Но этого бы мне страшно не хотелось. Хорошо бы, если бы уроки истории и литературы... а за что-либо другое совестно браться. Да вообще я в педагоги совсем не гожусь.

Ну, да я уверен, что это все как-нибудь да устроится.

Вы мне ничего не писали об Ольге Михайловне.[10] Как ее здоровье и вообще что она? Почему она в этом году так рано собирается в Москву?

Михайла Лавров пишет мне, что Мишель теперь уймы деньжищ загребает в «Курьер».[14] Не знаю, ловко ли попросить его о возврате долга?

Я читал его фельетоны. Есть очень остроумные места, но большею частью сквозит не «Миша — мальчик с балалайкой», а «Миша-резонер». Что всегда забавно, но жалко. Вот ему бы в Париж. Он как будто прямо для Парижа и создан. В Москве он не на своем месте... А в Париже он как раз попал бы на свою дорогу. В Москве он со своей жизнью свихнется, а в Париже с такою же — нет. Тут ведь все молодые люди так живут, и это нисколько на них не действует. Зато бы он получил в литератур<ном> отношении французский шик, к которому он очень склонен, но которого еще у него нет. Он не будет полон, пока не поживет в Париже.

Как здоровье Зайца?[12] Где он получил место в Москве?

Вот я никак не думал, что стихотворение «В вагоне» так всем понравится.[13] Это, мне кажется, вас заразила Алек<сандра> Мих<айловна> (она его страшно хвалила). Мне лично больше нравятся о кастаньетах и о Тангейзере (при спуске в Андорру).[14] Пишите мне больше о Лёле и Яше. Целую бабушку. Кланяюсь Ольге Мих<айловне> и Зайцу.

Макс.

[1] «Денежное» письмо без даты (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 8–11 об.), по контексту – от первых чисел сентября ст.ст.; в нем Е.О. сообщала, что завтра будет в Феодосии и отправит 80 р.

[2] См. примеч. 7 к п. 215.

[3] Речь идет о необходимости для Я. Глотова уехать за границу (см. п. 215).

[4] А.М. Петрова.

[5] В ответном письме от 1 октября 1901 г. Е.О. сообщала, что она «не против продать свое владение», если сможет получить «1000 руб. барыша», и что у нее уже есть два покупателя. (Владение в ту пору продано не было.)

[6] Е.С. Лямина.

[7] Л.С. Лямина.

[8] Прибыв 6/19 сентября 1901 г. на яхте «Штандарт» в Дюнкерк, Николай II с семьей и президентом Лубе направились в Компьень и Реймс.

[9] Е.Д. Вяземская.

[10] О.М. Струкова. О ее намерении ехать из Коктебеля в Москву Е.О. написала Волошину 8 сентября.

[11] В недатированном письме М.В. Лавров сообщал Волошину, что М.П. Свободин печатает в газете «Курьер» «эскизы» под псевдонимом Один и зарабатывает более 200 р. в месяц (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 749).

[12] Евг. П. Теш.

[13] См. п. 211, примеч. 27.

[14] См. п. 211, примеч. 24, 26.

217. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14/27 сентября 1901 г. Париж

27 сентября 1901.
Rue Berthollet 11bis.

Дорогая мама!

Получил только что Ваше письмо от 8 сентября.[1]

О Париже Вы ни слова в нем не пишете. Я совсем не знаю, думаете ли Вы все-таки ехать или нет. Чем же, наконец, кончится Ваша «каторга»? Ведь нельзя же продолжать ее до бесконечности. Зима выгонит Вас из Коктебеля, и ведь тогда Вы будете свободны.

Но Вы ничего не упоминаете и об этом. Что с Лёлей[2] теперь? Едет ли она или нет? Получила ли она пашпорт? Я давно уже ничего от нее не имел. Поступил ли Миша[3] куда-нибудь?

Как Яшины[4] дела? Относительно его я все-таки настаиваю на том, что писал в заказном письме. Может, это и ничем кончится, а может, ведь и ужасно плохо будет, и второе вероятнее.

У меня теперь снова нашла рисовальная полоса. Вот уже несколько дней как я забросил все книги и писание и рисую по целым дням и в академии. Теперь я и сам чувствую бóльшую уверенность и знание того, «что надо».

Денежные дела мои очень меня смущают теперь. Какое-нибудь занятие в Париже мне необходимо. Потому что на литературный заработок нельзя рассчитывать: он страшно не регулярен. А денег выходит много. Вот теперь из присланных Вами мне почти половину пришлось отдать сейчас же, расплачиваясь с долгами, которые я сделал благодаря тому курьезному делу, о котором я вам писал недавно (отправка в Лондон).[5] С уплатой за квартиру да с несколькими покупками у меня теперь снова 60 фр. осталось.

Я мало, собственно, трачу. На еду около полутора франка в день. Т.е. франк на обед и 50 с<антимов> на завтрак. Это уже минимум. Но на разные мелочные траты — конку, поездку за город, театр — в конце концов незаметно выходит много. И если я до конца месяца не найду работы, то не знаю, что и

буду делать: придется просить вас выслать мне еще из моих денег. Я думаю, что мне все-таки скорее удастся что-нибудь найти при тех обширных знакомствах, которые у меня теперь есть. Постепенно все уже начинают съезжаться в Париж, так что теперь можно что-нибудь устроить.

Ну это все видно будет.

Напишите же мне о Вашем приезде. Что же Вас зимой задержит? И вы бы ведь свободно могли, покончив со всеми делами, в половине октября приехать сюда. Теперь здесь вторая весна. Все снова расцветает и зеленеет. За городом полное великолепие.

Чем скорее вы приедете, тем лучше. Пока до свиданья.

Целую бабушку и Любу <?>. Поклон Яше, Пав<лу> Пав<ловичу>,[6] Екат<ерине> Феод<оровне>,[7] Ольге Мих<айловне>[8] и т.д.

Только что купил новый номер «Assiette au Beurre»[9] (один из лучших юмористических журналов), весь посвященный Трансваальской войне в рисунках Жан Вебэ́ра – знаменитого художника сказочника. Финальный лист так хорош, что посылаю его Вам.

Для Эдуарда[10] это конец – теперь никто иначе не сможет себе представить его физиономии. Право, тут Вебэр возвышается до грандиозности и сатирического пафоса Раблэ. Сохраните этот лист.

Настолько же хорош и «царский смотр», который я вышлю позже.

Макс.

[1] В письме от 7 сентября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 12–14 об.) Е.О. сообщала об отсутствии у нее кухарки и о чаепитии в новом доме с Глотовым, Л.С. Ляминой, О.М. Струковой, Е.Ф. и Ф.Э. Юнге.

[2] Е.С. Лямина.

[3] М.С. Лямин. См. п. 212. О принятии М.С. Лямина в институт Е. Лямина сообщила Волошину в письме от 22 сентября 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[4] Я.А. Глотов.

[5] См. п. 206.

[6] П.П. Тесh.

[7] Е.Ф. Юнге.

[8] О.М. Струкова.

[9] «Assiette au Beurre» — ежемесячный юмористический журнал, выходил в 1901—1936 гг.

[10] Эдуард VII (1841—1910) — английский король с 1901 г., первый из Саксен-Кобург-Готской династии.

218. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

16/29 сентября 1901 г. Париж

29 сентября 1901.

Только что получил Ваше письмо от 9 сентября — ответ на заказное.[1]

Сперва об Я<ше>.[2] Я не понимаю его — зачем столько советоваться там, где нужно как можно больше быстроты и меньше раздумья. Что ответит Б.? Переписываться об этом неудобно и еще неудобнее вмешивать ненужных лиц. А потом люди с положением, как Б. и В., конечно, посоветуют ждать и не принимать таких решительных мер, потому что сами себя будут ставить на такое место. Относительно себя они будут правы, а относительно его совершенно нет. А особенно еще мать спрашивать!! Нет, это ерунда все.

Тут вопрос ни «да», ни «нет», а только «как?» А для этого все эти аксессуары совершенно излишни и опасны. Достаточно было бы знать вам да еще А<лександре> Михайловне,[3] которая могла бы практически посоветовать и помочь. А так ничего не выйдет и отправится он лет на 10 в какую-нибудь область, и пропадут бесцельно и бессмысленно лучшие годы жизни, и будет он всегда каяться в том, что не воспользовался случаем. Скажите ему, что все, что он теперь делает, страшно глупо и опасно. Опасно и то, что я пишу об этом: но ведь тут уже иначе нельзя, и больше я писать не буду.

А если он хочет что-нибудь делать, то пусть делает до приезда Екат<ерины> Вл<адимировны>.[4] Разве же он не знает, что после ровно ничего уже не выйдет. Вы же меня, пожа-

луйста, извещайте обо всем происходящем, а то без известий обо всем страшно тоскливо. А Б., если будет благоразумен, то, конечно, не будет отвечать.

Любин[5] ответ мне очень не нравится: для нее здесь никакой опасности нет, а в нем слышен только страх. Как что об Лёле[6] узнаете — напишите.

Я только что был у рус<ского> священника,[7] просить об уроках, но его нет в городе. Коли ничего на этих неделях не найду, будет плохо: придется опять просить к половине октября у Вас денег.

Поликсена Соловьева — поэтесса: Вы разве не читали в «Вестнике Европы» ее лирическую драму в стихах?[8] Она, кажется, в январе была.

Куда Люба уезжает так рано? Что она будет теперь делать в Москве?

И скоро ли Вы сами наконец развяжетесь со всеми кухонными историями и приедете ко мне? Где теперь Вяземские и что у них делается? Где Люба Вяземская? Открывает ли она свою гимназию? Отчего Вы ничего не пишете об Мише Лямине? Поступил ли он куда-нибудь?

На днях получил от Блюма письмо радостное и счастливое. Едет в Маргелан учителем.[9] Я очень рад, что мне удалось ему способствовать в получении этого места, я писал об нем вице-губернатору ташкентскому, и он все устроил.

Посылаю Вам еще лист рисунков Вебэ́ра — царский смотр. Как Вам портрет Эдуарда[10] понравился?

Целую бабушку. Покл<он> Яше, Пав<лу> Пав<ловичу>[11] и Екат<ерине> Феодоров<не>.[12]

Макс.

[1] В письме от 9 сентября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 15–16 об.) Е.О. сообщала о получении письма Волошина от 11 августа и о знакомстве в Коктебеле с П.С. Соловьевой («родная сестра Вл. Соловьева, художница и писательница; она девица лет за тридцать, некрасива, в коротких волосах, в сапожках с голенищами <...> впечатление производит симпатичное»).

[2] 9 сентября Е.О. писала Волошину в связи с положением дел у Я.А. Глотова: «Мы уж говорили с Яксом не раз о том, что ты сове-

Заказ № 5706

тусшь, но все ж таки это так рискованно, что рсшиться на это сразу нсльзя; кроме того, он ждет мать свою в Коктсбсль, хочет вместе все обсудить. Завтра я буду в городе, повидаю Волкланевского, поговорю, посовстуюсь с ним обо всем этом делс. Писал он и Быховскому, но ответа еще не получил». Упоминаются А.М. Воллк-Ланевский, феодосийский адвокат, и В.В. Быховский, фигурирующие далее в письме Волошина под инициалами.

[3] А.М. Пстрова.

[4] Е.В. Глотова.

[5] Л.С. Лямина.

[6] Е.С. Лямина.

[7] Я.Г. Смирнов.

[8] П.С. Соловьева выступала как поэтесса под псевдонимом Allegro. В № 10 «Вестника Европы» за 1900 г. была опубликована ее драматическая фантазия «Слепой».

[9] О своем назначении в Маргелан («Просто сгораю от нетерпения поселиться в городе-саде, на прародине прадревних, пра-ариев») В.И. Блюм написал Волошину 5/18 сентября 1901 г. Первое из его писем к Волошину, отправленных из Маргелана (Ферганской области), относится уже к августу 1904 г.; всего сохранилось девять писем (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 263).

[10] См. п. 217, примеч. 10.

[11] П.П. Теш.

[12] Е.Ф. Юнге.

219. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

24 сентября / 7 октября 1901 г Париж

7 октября 1901.

Дорогая мама!

Получил Ваше письмо от 15 сентя<бря> (с Яшиным).[1] Я получил все Ваши письма – ни одно не пропало: только все то, что я писал, было еще до получки их.

Об Яше больше ничего писать не буду: в прошлом письме я все сказал и ответил даже и на то, что есть в вашем последнем письме.

На днях мне сказали, что в «Курьере» напечатан мой фельетон об Мирбо (7 сентября).[2] Редакция меня известить не

потрудилась и денег еще не прислала. Но я очень рад: теперь по крайней мере можно продолжать работать и писать, а то совсем и охоты не было.

Готовлю им статью об художнике Моро. Не могу Вам выслать этого фельетона, т<ак> к<ак> у меня его нет: я его только мельком видел в русской библиотеке.[3] Если Вам интересно, выпишите его через Мишеля Свободина: я там от себя пишу мало: больше цитирую, но цитаты говорят гораздо больше, чем всякие пояснения.

Недавно у меня был разговор с Косоротовым, в котором он меня спрашивал, согласился ли бы я на секретарские обязанности, если он будет окончательно утвержден в Париже.[4] Я отвечал утвердительно. Так что, *может быть*, у меня будет занятие и притом очень хорошее. Мы ничего не говорили о плате, но по некоторым данным я предполагаю, что это будет от полутораста до двухсот франков в месяц. Если так, то я совсем богачом буду. И «Курьера» прежде всего буду просить платы и аванса, так что пока, кажется, и обойдусь без новых денежных присылок, хоть в настоящую минуту деньги мои уже на исходе.

Профессора уже съезжаются в Париж. Сегодня, верно, пойду к Аничкову и узнаю об лекциях и спрошу о работе.

Французский язык мой будто бы подвигается вперед. Недавно я был в одном кружке французов (литераторов) и если не все мог объяснить сам, то по крайней мере разговор понимал от слова до слова.

Я последнее время много читал вслух по-французски с одной знакомой,[5] и это производит магическое действие.

Что Лёля?[6] О ней с ее последнего письма из Петербурга я ничего не знаю. И вы мне ни слова не пишете. Где она? И что с ней?

Яшу поблагодарите за письмо и скажите, что ему отвечу через несколько дней, т<ак> к<ак> сейчас никак не могу. Целую бабушку.

Макс.

[1] В письме от 15 сентября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 17–18 об.) Е.О. сообщала об ограждении своего участка плетнем (с воротами и калиткой): «Остается еще рыть колодец и сажать деревья». Письмо Я.А. Глотова не сохранилось.

[2] См. примеч. 7 к п. 208.

[3] Видимо, Тургеневская библиотека (на ул. Сен-Жак, 328), единственная в Париже бесплатная русская библиотека (с 1875 г.).

[4] Подразумевается утверждение Косоротова в качестве парижского корреспондента газеты «Новое Время».

[5] Неизвестно, о ком идет речь.

[6] Е.С. Лямина.

220. Е.С. ЛЯМИНОЙ

25 сентября / 8 октября 1901 г. Париж

8 октября 1901.
11bis Rue Berthollet. Paris.

Дорогая Лёля!

Я с тобой не согласен.[1]

Страдать и мучиться угрызениями совести тебе нет причины. Надо же различать сознательную вину (вина может быть только сознательной) и бессознательную причину. Ты была невольной причиной, но вина ведь не твоя. Искать же случая самой пострадать тоже нелепо. Вместо одного пострадавшего будет пострадавших два, а это нисколько не лучше, а хуже. Если можешь, уезжай: но возвращаться не надо.

Я тебя вполне понимаю и понимаю твое чувство: но это ложное чувство.

Если б ты могла помочь — тогда — да. Разумеется, тебе *надо* было бы остаться, а оставаться, чтобы пострадать, пострадать бесцельно и бессмысленно жертвой полицейского террора не имеет смысла.

Страдание вещь очень хорошая (и даже приятная) только тогда, когда оно имеет разумную и достижимую цель. Страдание нелепое и бесцельное — невыносимо.

А ты себе готовишь его.

Взгляни на все происшедшее проще и рациональнее.

Чрезмерная сложность и тонкость морального анализа — такой же крупный недостаток, как и отсутствие его.

Не устраивай себе надрыва. Смотри проще и подумай, что теперь целесообразнее.

Целую тебя и желаю всего лучшего. Перечти-ка ты ту страничку в «Трех разговорах» Влад. Соловьева, где монах Пафнутий (или Пансофий?) говорит, что единственный и самый страшный грех — это уныние.[2]

Видела ли Пешковского?

Макс.

[1] Ответ на письмо от 22 сентября 1901 г. из Голицына, в котором Е. Лямина делилась своими переживаниями, вызванными полицейским преследованием, и чувством вины перед теми, кому она могла навредить своими показаниями: «Не могу я уехать, раз я знаю, что по моей вине людям достается. Весьма странно, что меня до сих пор оставляют в покое. Порядком они меня извели этим. <...> Но, пойми, я не в таком настроении, чтобы благополучно сейчас ехать в Париж до окончания дела, и не могу я лично ничем помочь всей этой кутерьме! Заварила такую кашу, что я сама в ней совсем захлебываюсь и никак расхлебать не могу; никто мне не может посоветовать, как поступить. Прямо вмешаться невозможно, еще хуже чего-нибудь навертишь. Одним словом, положение самое дурацкое. Господи! а все эти разговоры как мне надоели, когда приезжаешь в Москву; косые взгляды, боязнь встретиться...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[2] Подразумеваются слова афонского странника Варсонофия, передаваемые г-ном Z в «Трех разговорах о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900) Вл. Соловьева (Разговор второй): «Грех один только и есть смертный — уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние — это уже, собственно, и не грех, а сама смерть духовная» (*Соловьев Вл.С.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 672).

221. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

3/16 октября 1901 г. Париж

16 октября 1901.
В Национальной библиотеке. Paris.

Дорогая мама!

Сегодня получил Ваше письмо от 26 сентября с известием, что в «Русской Мысли» печатается моя статья.[1] Вы спрашиваете, какая? Я этого и сам совершенно не знаю, потому что я *статей* никаких в «Русс<кую> Мысль» не посылал. Единственное предположение (если в письме Ольги Михайловны нет никакого недоразумения или путаницы) — что это мои «Камни Парижа»,[2] которые я еще весною послал Михайле Лаврову по его просьбе и который тогда еще спрашивал, может ли он показать их отцу и попробовать напечатать. Я отвечал утвердительно, и после всякая речь об этом замолкла на 7 месяцев. Если это действительно «Камни Парижа» печатаются теперь в «Русс<кой> Мысли», то я доволен вдвойне. Во-первых, мне будет очень приятно увидеть напечатанным мое впервые мое <так!> более или менее крупное поэтическое произведение (хотя я теперь уже не очень-то им доволен), а потом в материальном отношении это гораздо выгоднее, т<ак> к<ак> «Рус<ская> Мысль» стихи оплачивает очень хорошо, и раз это будет напечатано, то это откроет мне дорогу и для других вещей. А еще на днях m-me Гольдстейн (писательница-эмигрантка, с которой я познакомился через Поленовых и о которой не раз Вам писал) мне настоятельно советовала обратить больше внимания на стихи, главное, на стихотворные переводы, т<ак> к<ак> они гораздо лучше оплачиваются, и главным мотивом ставила, что постоянная журнальная работа страшно вредна и что если есть этот исход, то надо им пользоваться. Она мне предлагает теперь взяться вместе за переводы некоторых английских поэтов, совершенно неизвестных в России. Если это только действительно, что «Камни Парижа» печатаются в «Рус<ской> Мысли», то в таком случае это для меня прямо счастие и указание. Завтра же буду писать Михайле и спрошу.

Хотя страшно боюсь, что это все окажется недоразумением. Это будет чересчур прискорбно.

С меня теперь Аничков взял обещание, что приготовлю статью для начала практических занятий по литературе в Русской школе,[3] и вот я снова за фолиантами французских газет 40-х годов сижу в Национальной библиотеке, т<ак> к<ак> собираюсь писать об Ламеннэ[4] и хочется сделать так, чтобы можно было и напечатать.

Если я теперь получу денег, то я верно переменю квартиру, т<ак> к<ак> мне надоело ужасно жить в гостинице, и я тогда возьму студию вместе с кем-нибудь из художников, это будет и удобнее и дешевле. Т<ак> к<ак> ведь, судя по Вашим письмам, кажется, уже нельзя рассчитывать на Ваш приезд. Если же только надежда есть, то напишите, и я тогда буду ждать, потому что если эта комбинация со студией устроится, то нам нельзя будет поселиться вместе.

Заканчиваю, т<ак> к<ак> надо работать.

[1] В письме от 26 сентября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 22–24 об.) Е.О. сообщала – со слов О.М. Струковой – о публикации в журнале «Русская Мысль» статьи Волошина, которая в Москве «всем очень нравится». Известие это оказалось ошибочным.

[2] Пространное стихотворение, при жизни Волошина не публиковавшееся. См.: Т. 2 наст. изд. С. 378–384.

[3] Имеется в виду Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[4] Неосуществленный замысел.

222. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

7/20 октября 1901 г. Париж

20 октября 1901.
Paris. Rue Berthollet. 11bis.

Дорогая мама!

Письмо Ваше только что получил, и оно разрешило мои сомнения относительно таинственной статьи в «Русской Мысли».[1] Хорошо, что я еще до сих пор ничего не написал Михайле.[2] А я было уже совсем обрадовался, что получу уйму денег. Жаль. Работы я все еще не нашел. Косоротова опять не

видал давно, так что не знаю, нужен ли ему будет секретарь. «Курьер» мне не шлет ничего, а <я> не хочу раньше требовать гонорара, пока не пошлю статьи о Моро и тогда буду просить аванса.

Пока же сижу без денег, вообще нахожусь в «парижских обстоятельствах» как <...>* русские.

Вы мне денег до января все-таки не присылайте, т<ак> к<ак> иначе я ничего не сделаю, а зная, что денег до января не будет, я уже буду должен что-нибудь да устроить, а мне это самому интересно.

Лекции в русской школе[3] начнутся недели через две, так же как и в других заведениях французских. Говорят, сюда много народу понаехало и все смущены, что лекций нет, т<ак> к<ак> не знают о заграничном распределении семестров. В общем, все ждут этих лекций с нетерпением.

Последнее время я часто уезжаю опять за город рисовать, пользуясь последними хорошими осенними днями и поразительными эффектами желтеющей и краснеющей зелени.

Вы просите прислать какой-нибудь рисунок. Я тут, право, в затруднении, потому что все, что я рисую, это только упражнения, не имеющие никакого интереса для других. Я вполне понимаю теперь, почему лица, начинающие учиться петь, перестают и отказываются петь.

Я нарисую что-нибудь подходящее и пришлю, а то одни croquis будут и мало интересны и плохи.

Было бы очень хорошо, если бы я нашел хорошее занятие, т<ак> к<ак> тогда бы я весной непременно бы съездил в Италию.

Меня уже обещали познакомить с Адой Негри, когда я буду в Милане, но мне теперь больше хочется на юг — в Сицилию и в Калабрию.

Вы пишете окончательное решение Яши в последнем письме:[4] это очень прискорбно. Побывай он раньше здесь, он бы иначе думал. На России свет — не клином сошелся. Конечно, тут ему только решать, но жалко.

Пока до свиданья.

Целую бабушку. Приезжайте в Париж.

Макс.

---

* *Край листа с текстом оторван.*

[1] В письме от 1 октября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 25–26 об.) Е.О. разъясняла недоразумение с «Русской Мыслью»: имелась в виду рецензия Волошина в «Курьере» (см. примеч. 7 к п. 208); сообщала также о том, что в новом доме красят террасы и делают каменные ступени к террасам.

[2] М.В. Лавров.

[3] Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[4] Е.О. сообщала, что Я.А. Глотов окончательно решил не принимать совета Волошина (о бегстве за границу).

223. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13/26 – 15/28 октября 1901 г. Париж

26 октября 1901.
Paris. Bibliothèque Nationale.

Дорогая мама! Сегодня пришло Ваше письмо от 7 октября с описанием коктебельского празднества.[1]

Я до сих пор не получил ниоткуда денег, не нашел никакого занятия. С Косоротовым все еще неизвестно, а у свящ. Смирнова я спрашивал, но пока он не знает никакой работы, предлагал мне только такое занятие: готовить пожилого господина к дипломатическому экзамену по гражданскому и международному праву. Ну это мне довольно затруднительно, т<ак> к<ак> я до этих прав не проходил. Деньги же у меня истощились совсем уже недели две, так что мне пришлось сделать заем.

Если у Вас что-нибудь останется денег, то все-таки пришлите мне хоть сколько-нибудь, а то я, пожалуй, совсем запутаюсь до января. Главное, при этом совсем не пишется, и я все никак не могу окончить этой проклятой статьи об Моро, которая мне уже надоела ужасно.

28 октября.

Косоротов уехал в Петербург, следовательно, на этот заработок, который казался самым вероятным, рассчитывать мне нельзя. Все же другое может явиться только случайно, и

строить возможности на этом нельзя. И кроме того, здесь так мало такой работы и так много желающих и в тысячу раз более нуждающихся в ней, чем я, что даже неловко и искать ее. Да едва ли найти можно. И я сравнительно с другими еще в таком великолепном положении: у меня и возможность взять денег есть и возможность литературной работы (а гонорара все-таки не высылают).

Через несколько месяцев, может через год, у меня завяжутся постоянные связи с русскими журналами, и тогда все будет хорошо. Пока же у меня только 2 фр. в кармане и 50 фр. долгу, причем с меня еще каждый день могут потребовать 25 фр. за комнату.

Т<ак> что я думаю, что в конце концов будет самое лучшее, если вы все-таки возьмете часть моих денег и пришлете мне, как это ни неприятно. В излишних расходах я себя теперь упрекнуть совершенно не могу, т<ак> к<ак> на еду трачу полтора франка в день, в театр хожу не больше раза в неделю, в академию[2] совсем перестал ходить из-за недостатка денег — словом, умереннее быть нельзя. Может быть, если я в январе возьму ателье с одним художником (Якимченко), то будет еще дешевле. Если нам удастся взять то ателье, которое я имею в виду, то это будет очень удобно. Там две совершенно отдельных комнаты даже с двумя различными входами, так что в случае Вашего приезда вы сможе<те> поселиться со мной без всяких затруднений, и это будет стоить 500 фр. в год, т.е. 250 на человека, а теперешняя моя комната стоит 300. Только придется купить мебели, но в январе тогда деньги будут.

Теперь же, пожалуйста, вышлите мне сколько можете денег или напишите в моск<овский> банк, чтобы мне перевели. Потому что брать в долг совестно, когда знаешь, что в сущности сам всегда можешь из своих взять.

Я думаю, что Вы в теории согласитесь со мной. А позже, я думаю, мне не придется прибегать к таким экстраординарным самозаемам.

Статья моя об Моро за эти дни сильно подвинулась, и я с ее окончанием смогу потребовать с «Курьера» аванса.

Отвечайте скорее на это письмо.

На днях я имел очень интересную беседу с одним англичанином – парижским корреспондентом «Daily News»,[3] который только что вернулся из России. Две вещи его поразили больше всего: паспорт и полиция, с бесконечным ожиданием в генерал-губернаторском подвале в Москве и с общим незнаньем чиновников, что, собственно, надо делать, а потом любезность русских артельщиков и московских извозчиков, от которых он остался в полном восторге.

Поразило его тоже то, что, когда он пришел в монополию[4] («vinopole», как он ее называет), то ему сказали: снимите шапку – вы у царя. Этого он никак понять не мог, как это быть в кабаке все равно, что быть в гостях у царя, и почему это царь невидимо присутствует во всех кабаках.

Лекции в Русской Школе[5] начнутся 14 ноября, так что через две недели строй жизни, верно, совсем переменится. В «Ecole de Louvre» лекции начнутся с декабря, так же как и в Collège de France.[6]

До свиданья. Целую бабушку.

Макс.

[1] В письме от 5 (а не от 7-го) октября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 29–32 об.) Е.О. описывала «веселье великое» у болгар Коктебеля «по случаю престола» (т.е. престольного праздника местной часовни) – «молебствие с угощением».

[2] Имеется в виду Академия Коларосси (см. примеч. 5 к п. 177).

[3] «Daily News» – газета, выходившая в Лондоне с 1846 г. (основатель – Ч. Диккенс), орган либеральной партии; в конце XIX в. имела тираж в 300 000 экземпляров. Установить имя ее корреспондента нет возможности, так как материалы в газете в то время публиковались без подписи.

[4] Бытовое название мест продажи спиртного (после установления на него государственной монополии).

[5] Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[6] См. примеч. 7 и 5 к п. 176.

224. Я.А. ГЛОТОВУ

23 октября / 5 ноября 1901 г. Париж

5 ноября 1901.
Paris. Bibliothèque Nationale.

Дорогой [Яша]*!

Только что получил твое письмо[1] и прочел его по дороге в библиотеку. Нет, представь себе – я новых русских книг не читаю, а читаю так же, как и ты, французские.

Я как-то не могу теперь соответствовать тебе в твоем увлечении Золя. Не то чтобы я в нем разочаровался, но его теперь сменили для меня другие таланты, не скажу крупнее, но гораздо необычнее и новее. Напр<имер>, Октав Мирбо, Гюисманс, т.е. как раз те, которые теперь запрещены в России. Читал ли ты мой фельетон о Мирбо?[2] Я его не могу прислать, потому что и сам не читал его, а только мельком видел в библиотеке. Оттуда можно получить только самое слабое, даже менее чем слабое впечатление о Мирбо. Приведенный отрывок может тебе дать легкое представление о его манере, но я должен заметить, что Золя в самых своих смелых сценах, которые считаются в России верхом неприличия, только невинный и благонравный ребенок в сравнении с Мирбо. Ни от «Pot-Bouille», ни от «Assomoir»[3] не веет такой бесконечной пакостью человеческих отношений, как от «Journale de femme de Chambre»[4] Мирбо. От этой книги прямо воняет человеческим телом и грязным бельем, и в то же время это гениально, недаром Толстой так восхитился ей в разговоре с Полем Буайе[5] (которого русские газеты произвели в Поля Бурже), причем он, как оказалось, считал Мирбо неизвестным начинающим автором, что хотя не делает чести его знаниям современной литературы, но зато делает честь его проницательности. В «Jardin des supplice»[6] он доходит до чудовищного пафоса садизма и в то же время является самым сильным моралистом XIX века.

Почему-то в России думают, что моралистом имеет право быть только тот, кто без греха сам. Это нелепость. Говорят

* *Имя вымарано.*

про писателя: как же он пишет про это – значит, он сам это переиспытал и перечувствовал? Ну а как же еще? Истинная моральная проповедь может исходить только из глубины натуры, хорошо изучившей свой предмет, которая сама борется всю жизнь с собой. И чем глубже падение, тем сильнее проповедь. Пуританин холодный и чистый может быть только инквизитором, а никогда пророком.

Социальная проповедь Толстого потрясает именно потому, что он сам *никогда* не мог выйти из своего класса, и никогда не мог отдаться безусловно тому, что он считает истиной. В этом вся его сила, его Сампсоновы волоса.[7] «Но каждый год детей родит графиня, и в сей вине небезучастен граф», – острил Апухтин.[8] А если б графиня не родила, то «Крейцерова соната», конечно, утратила бы свое жало, свою едкость, потрясающую душу. Так писать могут только великие грешники. Октав Мирбо из таких.

Из таких и Гюисманс, который теперь от сатанизма перешел к католической мистике и у которого на столе рядом с сушеной ногой Св. Людвины[9] висят неприличные рисунки Форэна. Только эти противоречия и рождают *слово* жалящее и потрясающее.

Во Франции ясно можно видеть, как почти постоянно высшая интеллектуальная тонкость развития и понимания идет наравне с глубочайшей извращенностью. И это не аномалия, а правило.

Может, это не противоречие, а высочайший синтез, как те отодвинутые острия, между которыми сверкает электрическая искра. Сдвинь их, и свет прекратится, молния исчезнет, исчезнет именно потому, что больше не будет противоречия.

Вся жизнь общества лежит на этих противоречиях. Социальные контрасты, может быть, и есть те киты, на которых лежит жизнь человечества. Устрани<в> их, ты убьешь жизнь. Поэтому и бессмысленны теории разных Бэллами,[10] предполагающих возможным устранить противоречия, сблизить полюсы. Поэтому в городах-колоссах, как Париж, Лондон, где социальные противоречия всего сильнее, человеческая мысль и бьется с такой интенсивностью. Самые блестящие эпохи че-

ловечества всегда развертываются там, где борьба всего сильнее.

Пора кончать. Предо мной сейчас лежит кипа книг. Это песни Аристида Бруана, уличного певца парижской улицы, написанные на арго; я их читаю вперемежку с «Проклятиями» и «песнями нищих» Ришпэна,[11] и они производят глубоко потрясающее впечатление.

Песни Брюана иллюстрированы карикатуристом Стейнленом. Они так дополняют друг друга, что не знаешь, что чему служит иллюстрациями.

Как бы мне хотелось написать об этом и перевести несколько, но это, кажется, физически невозможно.

Это поэт бродяг, убийц, нищих, проституток, сутенеров и притом истинный «chansonnier».

До свиданья.

Макс.

P.S. Дня четыре назад я встретил Тальяда в Национальной библиотеке и успел зарисовать его. Вышло очень похоже, и у меня этот рисунок сейчас же отобрал один приятель. Из библиотеки Тальяд отправился прямо в тюрьму.

Посылаю тебе набросок физиономии Пресансе.[12] Он вышел очень похож.

Во сне иль наяву я видел человека –
Почтенных лет (жида... китайца... или грека...).
Он консерватор был – одно я знаю верно.
Он важно говорил:
«Бродяга этот скверный
Мятежник, анархист повешен. Так и надо.
Нельзя ж не положить бесчинствам их преграды.
Правительство ввиду такого беспорядка –
Распространения идеи – вредной, гадкой
Должно было принять решительные меры
И казнь была нужна, хотя бы для примера.
На то у нас закон непогрешимый, вечный,
Все исполнять его должны, конечно.
И вдруг какой-то шут, философ скороспелый, –
Явился, мелет вздор, народ бунтует целый,

Твердит слова: любовь и братство и свобода —
Всё вредные слова для черного народа.
Глумится вкривь и вкось над стариной священной,
Смеется надо всем, что принято, почтенно,
Религию отцов громит без сожаленья,
Идет распространять нелепые ученья
Каким-то рыбакам, оборванцам ужасным,
Невеждам, пастухам, отверженцам несчастным
И с этой сволочью на улицах столицы
Заводит гвалт и шум. Влиятельные лица,
Народ зажиточный, солидный и богаты<й>
Ему не по душе. Высокие палаты
И деньги он клеймит. Он просвещает массы
И пальцами вертит и делает гримасы,
И лечит шарлатан паршивую ораву,
Хотя ему закон на это не дал права.
Хромые бегают и видят вновь слепые
И даже из гробов выходят вон иные.
Такие фокусы простой народ смущали —
Все голопятые толпой за ним бежали,
А он как царь какой шагал перед толпою,
Крича оборванцам: «Идите все за мною!»
Он самозванец был... Он званием фальшивым
Публично хвастался. Своим ученьем лживым
Он подбивал народ на бунт, на возмущенье...
Так как же не карать за это преступленье?
Вы не поверите: в какой-то праздник в храме
Он плетью бил купцов... Да-с... выгнал их пинками.
Купцам священники торговлю разрешили...
Для церкви был барыш, купцы акциз платили,
И вдруг их плетью гнать! Как нравится вам это?
Кощунствовать? Швырять священную монету?
Он нарушал семью и веру, и законы,
Грозил разрушить храм, казной сооруженный,
И нищей сволочи раскрыв свои объятья,
Всечасно ей твердил, что люди — братья,
Что времена придут, когда рабы, владыки,
И нищий, и богач, и малый, и великий,
Все будут равными. Священников при этом
Он просто в клочья рвал. Срамил пред целым светом
И всё на улице, публично — плут прожженный.
Ну что ж? и распяли... На то у нас законы...»

«Как распяли» – меня смутило это слово.
– «И подслом сму», – старик промолвил снова.
– «Да он-то кто? Да вы то кто жс сами?»
– Я? книжник Елисаф... Служил тогда при храмс...
А он... как бишь сго? Давно случилось это...
Бродяга... Иисус из Назарста...

Я предпочел написать тебе его всё, чем следовать рекомендованной тобой системе.

Очень хороша твоя подпись: «Немедленно твой А.» Чего это тебе так вдруг вспыхнуло?

Получил ли ты мой ответ?

Только что я вернулся с лекции Ковалевского.[13] Вот идеальный лектор. Читает два часа подряд и ни малейшего утомления, и все страшно ясно остается в голове. Такого лектора я воистину никогда не слыхал (и не видал в смысле необъятности – физической).

Ну наконец и до нас дошли отголоски статьи кн. Мещерского.[14] Кто<-то> сегодня выскакивал на кафедру и приглашал присоединиться к протесту берлинских студентов. Протест прочел тут же и, надо отдать справедливость, протест пренелепый.

Они там упрекают правительство, что оно обещает заботиться об студентах, а в то же время допускает инсинуации Мещерского. Т.е., другими словами, воззвание к цензуре – чего смотрите? Это как будто и неловко для радикальной молодежи, а вслед за тем протест (в том же тексте) против предполагаемых по слухам правил о неприеме евреев. Какой же протест против только еще предполагаемого по слухам может быть. Послезавтра митинг для обсуждения всех этих вопросов. Предчувствую колоссальные глупости.

Впрочем, у меня теперь вообще эпоха страшной реакции против разных особенностей русского студенчества – т.е. первый признак, что я и сам слишком близко еще стою к ним. Непременно пойду на митинг и буду публично ругаться. Я только здесь начинаю понимать, насколько русские радикалы не имеют понятия об свободе мысли и насколько у них, и у них тоже сильны цензурные и полицейские поползновения.

Это, положим, не по поводу предыдущего.

Какой это ты барышне собираешься читать «Бунтовщика»?[15]

До свиданья.

Макс.

[1] Это письмо не сохранилось.

[2] См. примеч. 7 к п. 208.

[3] Романы Эмиля Золя «Накипь» (1882) и «Западня» («L'assomoir», 1877).

[4] Роман «Дневник горничной» (1900).

[5] Речь идет о словах Толстого, приводимых Полем Буайе в очерке «Три дня в Ясной Поляне», опубликованном в газете «Le Temps» 27–28 августа 1901 г.: «...в прошлом году в "Ревю бланш" я прочел очень хороший роман: "Дневник горничной" Октава Мирбо. Это известный писатель, говорите вы. Я его не знал. Да, его роман очень хорош, и представляет подлинно человеческий интерес. Мне запомнилось первое падение этой бедной девушки в Бретани: сцена описана прекрасно» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Худож. литература, 1978. Т. 2. С. 268).

[6] Роман Октава Мирбо «Сад пыток» (1899).

[7] Слова Самсона Далиде: «...бритва не касалась головы моей <...> Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя» (Суд. XVI, 17).

[8] В наиболее полной подборке юмористических стихотворений, эпиграмм, экспромтов А.Н. Апухтина (*Апухтин А.Н.* Полн. собр. стихотворений / Вступ. статья М.В. Отрадина. Сост., подгот. текста и примеч. Р.А. Шацевой. Л.: Сов. писатель, 1991. С. 262–302. Б-ка поэта. Большая серия) эти строки отсутствуют.

[9] Св. Людвине посвящен один из поздних романов Жориса Карла Гюисманса («Sainte Lydwine de Schiedam», 1901).

[10] Эдуард Беллами (Bellamy) осмысляется здесь как автор социально-утопического романа «Через сто лет» («Looking backward. 2000–1887», 1888; в русских переводах – «В 2000 году», 1889; «Будущий век», 1899).

[11] Сборники стихов Жана Ришпена (Richepin) «Богохульства» («Les blasphèmes», 1884) и «Песнь босяков» («La chanson des gueux», 1876) и, вероятно, «Chansons et monologues d'Aristide Bruant», ill. de Steinlen, G. Pion et autres (Paris: H. Geffrou, s.a.).

[12] Приводимое ниже стихотворение (ранее не публиковавшееся) содержит реакцию Волошина на богословскую работу Эдмона де

Заказ № 5706

Прессансе (Pressense) «Иисус Христос, Его время, жизнь и дела» («Jésus Christ, son temps, sa vie, son œuvre», 1865; русский перевод — «Иисус Христос и его время». СПб., 1869), написанную в противовес рационалистической концепции Э. Ренана, автора «Жизни Иисуса». Прессансе написал также «Историю трех первых веков христианской церкви» в 5 томах (1858–1869).

[13] Лекция в парижской Высшей Русской школе общественных наук.

[14] Речь идет о статье, в которой подвергались осмеянию требования студентов допустить женщин к получению университетского образования: «...очевидно, позаботившись о всяких политических и автономных благах для студентов, необходимо было позаботиться и об увеселительных элементах жизни, которые, кроме веселия, могли бы доставлять студентам своего рода эстетическую слабость <...> у нас вы из 10 ученых женщин или курсисток девять сейчас же узнаете по гадкому отсутствию женственности, по гадкому выражению лица, по гадким манерам, по распущенности. Встретите ли вы где-нибудь в Европе, чтобы слушательницы курсов позволили себе малейшую фамильярность к студентам? Нигде и никогда! А у нас сборища, где сходятся студенты с курсистками, очень нередко напоминают нравами притоны разврата», и т.д. (*Икс.* Речи консерватора // Гражданин. 1901. № 78, 11 окт. С. 2).

[15] О каком произведении идет речь, неясно.

225. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

23 октября / 5 ноября 1901 г. Париж

5 ноября 1901.

Дорогая мама!

Только что <по> дороге из библиотеки заходил в Сорбонну записаться на несколько курсов в école des hautes études,[1] на отделение по истории религий. Там лекции начнутся уже на этой неделе. В русской школе на следующей. Только моя école de Louvre[2] открывается в декабре. Но в ней я буду, вероятно, слушать только два курса или даже один. В école des Beaux Arts,[3] вероятно, тоже буду слушать курс по художественной анатомии.

Теперь я, значит, тоже могу, как только получу деньги, записаться в ассоциацию парижских студентов и пользовать-

ся тогда громадными удобствами студенческого дома. Т.е. залами для работы, читальней, газетами, гимнастикой и т.д.

Статью о Моро наконец сегодня отправил с просьбой аванса и с требованием прошлого гонорара, причем просил выслать немедленно. О том же написал и Фигману,[4] который уже давно состоит в редакции «Курьера».

Относительно работы в Париже мне надо попытаться еще с одной стороны: у меня есть еще одно рекомендательное письмо, которым я до сих пор еще не воспользовался: это письмо к г-же Философовой,[5] я весной был у нее, но она была в своем имении под Парижем, а теперь я совсем было позабыл о нем. Она, оказывается, и художница, и статс-дама, и влиятельная особа посольского мира – словом, все шансы на то, что у нее можно будет что-нибудь устроить относительно работы.

Яша[6] пишет, что вы вместе всё мечтаете о Париже, а я думал, что Вы и думать перестали. Если Вы думаете собрать денег на поездку в Москву, то почему вам с этими деньгами лучше не поехать в Париж? Если Вы поедете морем, на торговом судне до Марселя (такие часто бывают в Феодосии), то это Вам обойдется очень дешево. Хорошо, если бы Вы весной приехали. Летом ведь вы ни за что из Крыма не выедете, а осенью на все время каникул я думаю отправиться на юг Италии и в Сицилию. Добраться туда от Парижа стоит всего пятьдесят франков, а дешев<из>на жизни окупит и проезд. А мне теперь страшно хочется в Сицилию, может быть, потому, что в моей комнате теперь царит адский холод, а в моем носу гнездится целый циклон насморку, так что даже на полу мокро и в воздухе сыро.

В русской школе, кроме всех русских профессоров, обозначенных раньше, будет еще читать Боборыкин, Paul Boyer – профессор русск<ого> языка в Сорбонне, Лакур – фран<цузский> социалист,[7] и польский историк Валишевский, тот, который писал о Петре Великом в «Вестн<ике> Европы», помните?[8] Да еще Иоллос.

До свиданья. Целую бабушку.

Макс.

[1] Ecole pratique des hautes études — Высшая школа практических изучений.

[2] См. примеч. 7 к п. 176.

[3] См. примеч. 3 к п. 203.

[4] В другом письме (см. с. 665) тот же сотрудник редакции «Курьера» упоминается как Фридман. Статья Волошина «Гюстав Моро и его музей» не была напечатана в «Курьере»; текст ее, видимо, утрачен.

[5] От кого Волошин получил рекомендательное письмо к А.П. Философовой, неизвестно.

[6] Я.А. Глотов.

[7] Вероятно, социалист-радикал Франсуа Альфред Лакур (1876—1951).

[8] Подразумевается рецензия А.Н. Пыпина на книгу К. Валишевского «Петр Великий» (см. примеч. 15 и 16 к п. 182).

226. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27 октября / 9 ноября 1901 г. Париж

9 ноября 1901.
Paris. Rue Berthollet 11bis.

Дорогая мама!

Получил Ваше письмо от 20 октября.

История с высадкой моей на берег меня очень заинтересовала.[1] Сообщите мне, пожалуйста, подробности и где именно это происходило: в Испании? на Майорке? и по какому поводу?

Я лично ничего еще об этом не знаю, если Вы мне сообщите более точные подробности, то я, может быть, и догадаюсь, в чем дело.

Вы пишете, что радуетесь тому, что я решил не брать денег. К сожалению, следующее письмо должно разочаровать Вас.[2] Пример дяди Коли очень соблазнителен,[3] и будь теперь не начало занятий и не всевозможные благие намерения, я бы, конечно, воспользовался бы таким удобным случаем испытать свою практичность, но, с одной стороны, я опять опущу время занятий, если теперь возьмусь за *всякую* работу, а с другой — искать уроков здесь и просить работы там, где

ее ищут сотни хуже меня обеспеченных, совестно. Вот завтра отправлюсь с визитом к статс-даме г-же Философовой. Там во всяком случае я никому из других, ищущих работы, помешать не могу.

Вчера я в первый раз отправился на лекцию в Сорбонну в Ecole des Hautes Etudes Pratiques.[4]

Курс г. Мосса по индусской философии. Прихожу. Пустая зала. Жду. Приходит еще молодой человек. «Скажите, ведь здесь будет лекция г-на Мосса?»

– Да, здесь, – отвечает тот.

– Но что же слушателей совсем нет?

– Да, вот вы только один...

– А вы разве его не слушаете?

– Я? Нет. Я сам Мосс.

Знакомимся.

– Что вы как по-санскритски свободно понимаете?

– Совсем не понимаю, я даже и по-французски плохо понимаю.

– Ах, как жаль, а я хотел санскритские тексты разбирать.

Слушателей нет, и мы продолжаем беседовать. Узнавши, что я был в Средней Азии, он приходит в восторг.

– Ах, как это хорошо. Я Вас непременно познакомлю с моим коллегой (таким-то), ему как раз надо было оттуда достать разные сведения, и если вы сможете туда написать... Вот в следующий раз. А вы не собираетесь снова туда отправиться? Тогда мы Вам дадим от Сорбонны несколько поручений для исследований. Смотрите же, приходите на следующую лекцию.

Первая моя лекция окончилась. Интересно, что будет на второй.

Бедная Лёля.[5] Ее положение теперь, вероятно, совершенно ужасно. Ведь она уезжать за границу не хотела, считая себя в чем-то виноватой, а теперь, уже сознавая, что она еще более запуталась, она может окончательно дойти до ужасного состояния, и чем это может кончиться, даже думать страшно.[6] Верны ли те сведения об ней? Не явятся ли они чем-нибудь вроде моего ссаживанья на берег? Что Саша[7] пишет по этому

поводу? Давала ли она все ответы, заранее решив так, или это вышло неожиданно, ее запутали?

Где она теперь живет? С Любой[8] или одна? В Москве или в Голицыне? Куда ей писать или лучше и не писать ввиду гласного надзора?

Относительно моих денежных отношений я решил так.

Из «Курьера» я могу получить рублей пятьдесят, но могу их и не получить. Это выяснится, я думаю, через неделю. Этих денег у меня как раз хватит на то, чтобы сейчас же уплатить все сделанные долги и через неделю начать делать другие. Тогда к январю у меня снова окажется долг. Во всяком случае я думаю, что мне надо будет взять из капитала рублей сто или вообще минимальную сумму, какую можно, т<ак> к<ак> в январе мне, переселяясь в ателье, надо будет купить и мебель, которую мне и передает та же знакомая,[9] которая передает и ателье. Так что будет экстерный расход. Но т<ак> к<ак> до этого времени мне все-таки деньги будут нужны, а «Курьер» свободно может и не выслать (какое ему дело до того, нужно мне или нет?), то я попрошу у Пешковского дать мне 50 руб. до января. Тогда я обойдусь хорошо. Только вот вопрос: где живет Пешковский. Вы писали, что у Глотовых.[10] Я буду ему писать туда. Если же его там нет, я думаю, ему перешлют письмо. Во всяком случае напишите мне его адрес.

До свиданья.

Целую бабушку. Поклон Яше, Пав<лу> Пав<ловичу>, Екат<ерине> Владимир<овне>.[11]

Макс.

P.S.[12]

[1] В письме от 20 октября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 35–37 об.) Е.О. пересказывала (со слов Е.В. Глотовой) инцидент, будто бы случившийся у Волошина «с капитаном парохода» из-за «знакомой спутницы», за которую Волошин вступился, «имел столкновение с капитаном и был им высажен на берег».

[2] Первая фраза относится к содержанию п. 222, вторая – к п. 223.

[3] Е.О. поведала, как ее брат (Н.О. Глазер), оставшись в Париже без денег и будучи выгнан с квартиры (так что пришлось ночевать под мостом), быстро нашел себе работу.

[4] См. п. 225, примеч. 1.

[5] Е.С. Лямина. См. п. 220, примеч. 1.

[6] В письме от 20 октября Е.О. сообщала (со слов Е.В. Глотовой), что Е.С. Лямина была подвергнута допросу — «на котором она отвечала все по правде, чем она очень удивляет своих допросщиков даже, которым уже кажется, что они имеют дело не то с дурой, не то с полоумной». Там же она добавляла о Глотове: «...недоумевает по поводу ответов Л<ёли>, ставящих его в случае вторичного допроса в самое затруднительное положение, т<ак> к<ак> он все время отрицал то, что она теперь утверждает без всякой надобности и вообще ведет себя как невменяемая, что, по-моему, и верно на сам<ом> деле вследствие известных тебе причин; жалкое создание. Она теперь находится под гласным усиленным надзором полиции».

[7] А.М. Пешковский.

[8] Л.С. Лямина.

[9] Неизвестно, о ком идет речь.

[10] Е.О. писала, что Пешковский (принятый на филологический факультет Московского университета) «живет в нумерах у Глотовой».

[11] Я.А. Глотов, П.П. Теш, Е.В. Глотова.

[12] Текста, предполагаемого этим обозначением, нет. Здесь же — карандашная приписка (не рукой Волошина): «Мал. Димитровка. Успенский переулок, д. Алянчиковой, женск<ая> гимн<азия> Воскресенской».

227. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

27 октября / 9 ноября 1901 г. Париж

9 ноября 1901 г.
Paris. 11bis Rue Berthollet.

Вчера я пошел в первый раз на лекции в Сорбонну, и впечатление аудиторий и жужжащих коридоров ужасно возбудило во мне вкус к университету, который я было считал утраченным, и мне даже немного взгрустнулось по Московском университете. Но когда сегодня утром я получил в мамином письме отрывок твоего письма к Яше с описанием первых московско-университетских впечатлений, то всякая грусть у меня прошла.[1]

Неужели тебя не давит Москва? Или между Москвой и Берлином разница настолько меньше, чем между ней и Парижем.

Париж меня заполоняет все больше и больше своей красотой, своей глубиной и своими сокровищами мысли, которые начинают раскрываться только теперь. Я уже смотрю на него совсем иными глазами, чем в то время, когда я тебя немилосердно таскал по улицам.[2] Все то, что меня тогда восхищало, теперь мне совсем не нравится.

С августа месяца, т.е. с моего приезда из Испании, у меня шла бесконечная и очень продуктивная работа. Я глотал книги в Национальной Библиотеке, несколько раз перевернул вверх ногами свои взгляды на искусство, ниспроверг социализм, подписался на анархическую газету,[3] познакомился с ее редакторами, потом низверг и анархизм и в результате духовно примкнул к той политической партии, которая по моим соображениям возникнет лет через пятьдесят и будет составлять крайнюю левую в том парламенте, где анархисты будут консервативным большинством. Пока на этом я в политическом отношении и остановился. С большим удовольствием я тоже заметил, что с некоторого времени стал гораздо больше интересоваться мнениями противников, чем единомышленников. При помощи некоторых французских новейших писателей я с необыкновенной легкостью постиг глубокие тайны самоанализа и с большим успехом призанялся и этим. Довольно усердно занимался рисованием, бродя ночью по трущобам старого Парижа, а в хорошую погоду по окрестностям. Составил несколько маршрутов для будущих путешествий по Абиссинии, Южной Америке, Гималаям и Сицилии и подыскал спутников. Теперь же записался на курсы индусской философии, санскритского языка, черной магии в средние века и мексиканских религий в Ecole des Hautes Etudes в Сорбонну. На различные курсы по искусству и по археологии в Ecole du Louvre, на художественную анатомию в Ecole des Beaux Arts,[4] на всеобщую историю на Faculté des Lettres и в русскую высшую школу. И при всем том я, конечно, умудрился в сущности в течение всего этого времени «ничего не делать».

Я вскоре после приезда из Испании писал тебе в Берлин,[5] но ты, конечно, не получил письма, т<ак> к<ак> в то время тебя наверное уже не было там.

О моем путешествии ты верно все знаешь и даже, может, больше, чем я, т<ак> к<ак> вот, например, сегодня меня мама спрашивает в письме подробности о том, как меня где-то капитан парохода приказал ссадить на берег, за то, что я заступился за какую-то путешественницу по какому-то поводу.[6] Мне было, конечно, очень приятно узнать о таком героическом поступке с моей стороны, но где это и когда происходило, я припомнить никак не могу.

Видишь ли ты Лёлю?[7] Напиши мне, пожалуйста, об ней как можно подробнее. Напиши тоже и об том, с каким чувством ты входил в первый раз снова в здание университета. Что открыла тебе в нем теперь новая, заграничная точка зрения.

Напиши обо всех знакомых, об Лере,[8] обо всех, кого встречал.

Изменился ли характер аудитории за эти два бурных года? Заметны ли следы гражданского воспитания?

Видел ли ты Свободина, Арнольда? Есть ли что новое и интересное в русских журналах? Я их совсем не вижу.

Затем у меня к тебе большая просьба: не можешь ли ты мне одолжить до января пятьдесят или шестьдесят рублей?

Если можешь, то, пожалуйста, вышли немедленно.

Я в очень скверном положении. Проценты я получаю в январе, а у мамы теперь нет денег, чтобы одолжить мне. Работы здесь в Париже найти почти невозможно. Из «Курьера» мне за статью не высылают денег.[9]

В январе, как только я получу деньги, сейчас же тебе отдам.

Затем, если можешь, то зайди между четырьмя и пятью часами в редакцию «Курьера» (в Петровских линиях), ты верно гуляешь в это время, и спроси там *Фридмана*. А у него спроси, выслали <ли> мне гонорар за фельетон о Мирбо, принят ли мой фельетон об Гюставе Моро и дадут ли мне за него авансом. Если не будет Фридмана, то обратись с этими вопросами от моего имени к редактору Фэйгину.

Я в очень скверных обстоятельствах сейчас. Уже целых полтора месяца я не платил за квартиру и обедаю в кредит.

Так что понимаешь, насколько мне важны обе эти просьбы.

Пишу тебе в номера Глотовой, т<ак> к<ак> знаю, что ты там остановился раньше. Но я думаю, что письмо дойдет.

Еще весной я встретил здесь M-lle (Тусю) Аренд.[10] Помнишь ее. Она видела в первый раз нас вместе в Люксенбургском саду, когда ты льва снимал, и чуть не умерла от хохоту, так была поражена встретить нас снова после Феодосии в Люксенбургском саду и опять вместе.

Прочти мой фельетон о Мирбо в «Курьере» от 7 сентября, кажется.

До свиданья.

Макс.

Библиотека St. Jeneviève.
9 час. вечера.
Адрес: Paris. 11bis Rue Berthollet. Max Volochine.

[1] 20 октября 1901 г. Е.О. Кириенко-Волошина писала Волошину: «Прилагаю письмо Пешковского к Яше <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 37). Вероятно, прилагалось недатированное письмо к Я. Глотову, написанное, как сообщал в нем Пешковский, через полторы недели после принятия его в Московский университет и излагавшее некоторые события университетской жизни и впечатления от них (Там же, оп. 6, ед. хр. 253, л. 23–25 об.).

[2] Речь идет о совместном проживании Волошина и Пешковского в течение недели в середине апреля н.ст. 1901 г.

[3] Видимо, подразумевается газета «Les Temps Nouveaux» (см. примеч. 7 к п. 207).

[4] См. примеч. 1 к п. 225, примеч. 7 к п. 176, примеч. 3 к п. 203.

[5] Имеется в виду п. 212.

[6] См. примеч. 1 к п. 226.

[7] Е.С. Лямина.

[8] В.А. Воллк-Ланевская.

[9] Имеется в виду публикация статьи «Новая книга Октава Мирбо» (см. примеч. 7 к п. 208).

[10] А.Н. Арендт.

228. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

3/16 ноября 1901 г. Париж

16 ноября 1901 г.
Rue Berthollet 11bis.

Ответ на письмо от 25 октября.

Большое спасибо за будущую присылку денег.[1] Хотя теперь мои надежды на заработок оживают: я жду со дня на день аванса от «Курьера» и, кроме того, просил Пешковского дать мне 50 р. до января.[2] Конечно, «Курьер» мне сможет аванса не дать, а у Пешковского денег не оказаться, во всяком случае, мне теперь необходимо отдать за квартиру, заплатить за обеды в ресторане и отдать часть долгов.

Но надежда на заработок не в этом, а в том, что Косоротов снова вернулся в Париж, окончательно утвержденный корреспондентом «Нового Времени». Так что теперь, может, и состоится то, о чем я вам писал раньше. Я с ним еще не успел поговорить, т<ак> к<ак> видел его только мельком на открытии русской школы.[3] Кроме того, еще шанс на работу через г-жу Философову, которую я еще так и не видел, т<ак> к<ак> она еще не вернулась в Париж.

Открытие Русской Школы состоялось третьего дня. Народу была масса, но прошло как-то скучно.

В глубине залы стоял прекрасный большой бюст Толстого работы Аронсона.[4] На кафедре под ним сидели Мечников, Ковалевский и Де Роберти.

Мечникова я видел в первый раз, хотя с женой его познакомился уже раньше.[5] У него лицо замечательно интересное. Живое, нервное. Саркастическое. Чувствуется, что под ним все время трепещет и бьется неугомонная мысль. Он в качестве почетного председателя сказал всего несколько слов.

Ковалевский поражал всех своими роскошными телесами и очень хорошо сказал речь о программе открываемой школы.

Но Де Роберти произвел на всех очень неприятное впечатление своей длинной скучной речью с очень бестактными

quasi-либеральными выходками, напр<имер>, против попов, причем тут же, напр<имер>, в числе ими же приглашенных находился русский священник. Я говорю quasi-либеральных потому, что все эти вставки совсем не вытекали из общего смысла речи и являлись как-то неожиданно — ни к селу ни к городу. Положим, священ<ник> Смирнов мне потом очень добродушно говорил: «И за что же это меня так публично высекли. Вон я тут с отцом Пирлингом (иезуит—историк—ученый) сидел. Так тот даже удрал...». Но в общем надо всем веяло каким-то дыханием давно знакомой русской скуки...

Совсем иное впечатление произвело на меня одно собрание, на котором я был вчера. Это был митинг французских художников против «Ecole des Beaux-Arts» (Академии) по поводу случая Тони-Гарнье. Тони-Гарнье был один из учеников Академии, получивший высшую награду: prix de Rome, с которой сопряжена отправка на государственный счет в Рим на виллу Медичи, с обязательными присылками работ.[6] Когда он в качестве архитектора прислал свой проект грандиозного рабочего города будущего — это отступление от классических традиций так возмутило артистическое начальство, что он был немедленно исключен из Академии и лишен стипендии.

Демонстрация была грандиозна. Митинг собрался в большой гимнастической зале на Батиньоле.

«Ecole de Beaux-Arts'цы» решили вступиться за честь Академии и «descendre sur le Monmartre»*. Вещь сверхъестественная, потому что истый «бозарец» никогда не переходит через «воду» (— Сену: Ecole de Beaux-Arts на левом берегу).

После шумного сопротивления в узком коридоре толпа вваливается в залу и лезет занимать укрепленные позиции. Прежде всего скандал начинается... на потолке, куда забралось несколько бозарцев по канатам. Для выражения своего презрения другие кувыркаются там на кольцах и на трапеции, цепляясь за потолочные балки. Возмущенные монмарт<р>цы — «les peintres libres»** — ставят дыбом параллельные брусья, по ним добираются до подобранного конца

* «снизойти до Монмартра» (*фр.*).

** «свободные художники» (*фр.*).

каната и тянут бозарцев вниз за ноги. С потолка свешиваются вниз и раскачиваются целые гирлянды человеческих тел. Наконец потолок взят приступом и трапеции и канаты сняты, но тем не менее бозарцы, сплотившись посередине залы, устраивают укрепленную позицию из стульев, садятся друг другу на плечи, образуя высокую человеческую пирамиду, в которой мелькают широкополые шляпы, черные галстуки, длинные волоса, живописные плащи, а верхний бозарец надо всем этим раскрывает огромный черный дырявый зонтик, венчающий всю группу.

«Председателем нынешнего собрания назначается m-r Журдан...»[7] – надрывающимся голосом выкрикивает секретарь.

«Qui est ça? ...A bas Jourdan!! Où est Mirbeau?...»*

Октав Мирбо, заранее обещавший свое председательство на этом собрании, запоздал, заглянул с портфелем в руках в залу и, увидев картину, благоразумно удалился восвояси.

Журдан изо всех сил ко<ло>тит кулаком по столу. Шум стихает.

«Я изложу историю Тони-Гар...»

– Не надо! Знаем!!!

– Ferme ta boite!!**

– Вы, может, хотите говорить, так пожалуйте на кафедру... – вежливо предлагает Журдан бозарцу, крикнувшему последнюю фразу.

«Je ne vois pas la ferme, mes j'entends la vache qui beu gle»,*** – кричит кто-то.

«На кафедру его!! на кафедру!» – кричат монмартрцы и втаскивают силой на кафедру красного сконфуженного бозарца.

Он мнется, мычит и наконец выпаливает:

«Я хотел сказать, что я очень уважаю греческое искусство».

– Браво... Браво!!! Поздравляем!! Довольно!

«Я с вами вполне согласен», – прибавляет Журдан.

---

* Кто это? Долой Журдана! Где Мирбо? (*фр.*)

** Закрой свою вральницу! (*фр.*)

*** «Не вижу фермы, но слышу ревущую корову» (*фр.*).

Его отпускают, и он быстро ныряет в толпу.

«Тони-Гарнье пострадал за провозглашение принципов свободного искусства, за то, что он выставил на своей работе девиз, что искусство должно быть творчеством, а не подражанием и копированием...» — продолжает Журдан.

«У нас в Академии свободное искусство! Ложь! В мастерской Кормона*... А зачем Кормон[8] пошел в Академию? Tas de larbins!!** Couillons!*** Ей! На кафедру!!! Это массье **** от Кормона... На кафедру массье!!

Долговязого массье в высоких воротничках выпирают на кафедру.

— Что ваш Кормон, вам показывает Манэ*****?!!...[9] Он, может, и японской живописью вас просвещает?!!!...

— Кормон всецело признает новые течения в искусстве, — с апломбом заявляет массье.

— Tiens!****** Это новость!!..

— Молчите вы там! La ferme!*******

— Merde!!!!********

— Vous nous emmerdez!!!!*********

— Bateau!!!!!********** — орет белокурый художник, почти мальчик, с разъяренной физиономией. Видя, что это не действует, он еще усиливает: «Trirème!!!!!!»

Самая отчаянная трехэтажная ругань стоит <в> воздухе: «Maquereaux!! Salopes!! Fumistes!!! Tas des fourneaux!! Fils à papa!! Ce sont les dessinateurs de “Tonton”***********».

---

* Профе<ссор> Академии, знам<енитый> художник. (*Примеч. Волошина.*)

** Холуи (*Примеч. Волошина.*)

*** Свора лакеев!! Засранцы! (*фр.*)

**** Старший ученик в ателье — староста. (*Примеч. Волошина.*)

***** Родоначальник импрессионизма. (*Примеч. Волошина.*)

****** Смотри-ка! (*фр.*)

******* Заткнись! (*фр.*)

******** Буквально — «испражнения», в арго «к черту». (*Примеч. Волошина.*)

********* Вы нам очертели! (*фр.*)

********** Чушь! (*фр.*)
faire les bateaux — врать, мистифицировать. (*Примеч. Волошина.*)

*********** Скверный юмористический журнал. (*Примеч. Волошина.*)
«Сводники! Сутенеры! Негодяи! Подонки! Куча ничтожеств! Папашины сынки! Это рисовальщики “Тонтона”» (*фр.*).

Это все так и скрещивается в воздухе. Массье пробует говорить, изрекает еще несколько глупостей, но его окончательно припирают к стене, и он, злобно озираясь по сторонам, кричит в залу:

«Les dreyfussards!!!!»*

Толпа разражается хохотом, топает в такт ногами и поет «Le mas-sier... Le mas-sier...».

Его спускают с эстрады.

Снова пытаются говорить ораторы, но слышны только отдельные обрывки фраз:

— Все артисты, — надрываясь, визжит монмартрец, — будь то художники, архитектора, музыканты, поэты...

— Поэты не артисты!!!!

Браво! Браво! Кто это??! На кафедру его!!!! Поэты не артисты!!

Р-рр-р-р-р... у-ууу-у-у... шшш... Голоса окончательно сливаются в стихийный рев.

На кафедре еще кто-то надрывается:

...линия египетских храмов...

— А зачем Моро заставлял писать своих учеников только четырьмя красками? — кричит ему кто-то в ответ.

«...Espèces de chameau**!!!.. Cochons!!...»***

Под этот рев секретарь читает письмо Тальяда, писанное из тюрьмы, он старается выкрикать слова, но видно только движение его губ, но уже ни одного звука не долетает до нас, сидящих в пяти шагах от него.

Так же читается и адрес Тони-Гарнье. И мы наконец выходим[9] совсем оглушенные, но возбужденные и взвинченные этим движеньем, и говорим о том, как было бы хорошо, если бы к открытию русской школы было бы припасено хоть чуточку этого энтузиазма, страсти и даже таких глупостей.....

Такие митинги и для Парижа редкость: Ecole des Beaux-Artes не часто descende sur Montmartre,**** а Монмартр редко заглядывает на rue Bonaparte.

---

* «Дрейфусары!» (*фр.*).

** Chameau, cochon и vache — это самые неприличные слова в художественном арго из того порядка, что пишутся только на заборах. (*Примеч. Волошина.*)

*** Верблюды!.. Свиньи!.. (*фр.*)

**** нисходит к Монмартру (*фр.*).

И при всем том хотя во всем было много страсти, но злобы совсем не было, потому что ясно было видно, что Ecole des Beaux-Arts пришли совсем не с сериозной целью сорвать митинг, а скорее чтобы немножко «rigoler»,* от чего были не прочь и монмарт<р>цы. Но в общем весь дивертисмент был разыгран гениально.

Заканчиваю, т<ак> к<ак> пора спать.

Целую бабушку. Поклоны Екат<ерине> Влад<имировне>, Пав<лу> Пав<ловичу>, Яше.[10]

Очень жалею, что не могу свести «барышню» в Гяур-Бах.[11] Яша наверно не знает самой головоломной дороги.

Макс.

P.S. А земский начальник – это, вероятно, Петя Лампси? Я с ним даже на «ты». Только на военной службе он не был.[12]

Он замечательно, на редкость хороший человек, как человек, и при этом очень интересный.

[1] В письме от 25 октября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 38–41 об.) Е.О. сообщала, что вышлет «некоторую сумму» на днях (но не раньше 1 ноября).

[2] См. п. 227.

[3] Открытие Русской школы (т.е. очередного учебного семестра) состоялось 1/14 ноября 1901 г.

[4] Скульптор Н.Л. Аронсон, посетивший Ясную Поляну в 1901 г., создал там бюст Л.Н. Толстого (и 60 его портретов карандашом).

[5] И.И. Мечников с 1888 г. работал в Пастеровском институте в Париже. Его вторая жена (с 1875 г.) – Ольга Николаевна Мечникова (урожд. Белокопытова; 1858–1944), живописец и скульптор, ученица Э. Карьера. Волошин познакомился с ней, по-видимому, у Е.С. Кругликовой.

[6] Архитектор Тони Гарнье в Школе изящных искусств учился у П. Блонделя и Сельє; римская премия была присуждена ему в 1899 г., и до 1904 г. он жил в Риме на вилле Медичи, работая над проектом «Индустриального города».

[7] Возможно, Жак Журдан (Jourdan; 1880–1916, погиб под Верденом), живописец и график.

[8] Фернан Пьестр Кормон (1845–1924) – французский живописец (представитель академизма) и педагог. В его школе занималось

* позабавиться (*фр.*).

одновременно не более 30 человек; среди его учеников – В. Ван-Гог, А. Тулуз-Лотрек, В.Э. Борисов-Мусатов, А.К. Шервашидзе.

[9] По-видимому, с Е.С. Кругликовой и Е.Н. Давиденко.

[10] Е.В. Глотова, П.П. Теш, Я.А. Глотов.

[11] Отклик на сообщение в письме Е.О. от 25 октября: «Яша в настоящее время побежал с барышней в горы, а тут как раз приехал пристав с разрешением жить ему в Феодосии <...>». Гяур-бах – лесистое ущелье на Карадаге (близ Коктебеля), круто спускающееся к морю под хребтом Хоба-Тепе, от скалы Чертов палец.

[12] В том же письме Е.О. сообщала: «21-го сего месяца приезжал Зем<ский> Начальник (забыла его фамилию, но он говорит, что знает тебя давно, когда сам еще служил по военной в Феодосии)».

229. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

9/22 – 11/24 ноября 1901 г. Париж

22 ноября.

Дорогая мама!

Прежде всего очень благодарю Вас за деньги: мне как раз хватит их на расплату со всеми долгами* и еще останется. Из «Курьера» пока ничего. Но дела мои вообще поправляются. Я Вам писал, что вернулся в Париж Косоротов.[1] Вчера у меня был с ним разговор об секретарстве, и хотя теперь получилась комбинация не совсем та, на которую рассчитывал я при первом разговоре, но тем не менее очень для меня выгодная.

Постоянной секретарской работы с постоянным чтением и выписками из газет у меня не будет. Но я буду ему давать раза два в неделю сведения о всех новых книгах, которые буду покупать по своему усмотрению на его счет и, кроме того, буду получать 50 фр. в месяц, что, конечно, для меня очень удобно, т<ак> к<ак> мне дает возможность самому писать о новых книгах в «Курьер».

Так что в сущности эти 50 фр. будут являться совсем бесплатным приложением к удовольствию чтения и к даровым книгам.

---

* *В автографе описка*: деньгами

Заказ № 5706

Кроме того, в мою обязанность будет тоже входить иногда ходить на его счет в театры и давать ему отчет о пьесах. Все это, как видите, совсем великолепно.

Я, право, не знаю, какое мое письмо пропало, и потому восстановить содержание его для меня трудно.[2] Из более интересных писем было описание митинга художников,[3] но это было с маркой, значит, не то. Я еще в одном письме посылал вам свой рисунок, изображающий говорящего Пресансе.[4] Вот, может, он пропал? Но его восстановить уж невозможно. А больше я и не припомню, что могло быть интересного.

Вот в воскресенье мне предстоит быть на интересном собрании: на чествовании Бертло.[5] Заседание под председательством самого Лубе и откроется его речью. Постараюсь сделать побольше croquis с известных лиц и тогда пришлю Вам, если будут удачны.

Лекции русской школы[6] очень интересны и народу на них много. Жду теперь только с нетерпением начала курсов в Collège de France и в Ecole de Louvre. Мне теперь довольно часто приходится беседовать с французами об искусстве, об литературе и ничего — всё понимают и я почти всё объяснить могу, но зато как только речь касается обыденных предметов и обыкновенных разговоров — я совсем перестаю уметь объясняться. Это все потому, что приходится беседовать исключительно только с литераторами и художниками и никогда с обыкновенными французами. Лекции понимаю почти свободно.

24 ноября.

За это время я получил письмо от Пешковского и 50 руб., которые я просил у него в долг до января.[7] Это очень хорошо, т<ак> к<ак> от «Курьера» до сих пор ни слова, а Ваших денег (несмотря на то, что от Вас я не ожидал так много) хватило только на расплату со всеми долгами, ресторанами и квартирой. Теперь у меня осталось 100 франк<ов>. Относительно насморка я теперь еще не пойду к доктору, т<ак> к<ак> сперва мне надо отправиться лечить и пломбировать зубы, на что надо много денег. Затем я хочу записаться и в ассоциацию студентов, на что надо 18 фр. (она мне даст все газеты и даровые

билеты в театр). Так что на лечение носа и не останется денег. Да оно и не так важно, т<ак> к<ак> он сейчас у меня в нормальном состоянии и то была только простуда.

На днях я целый вечер беседовал с Максимом Ковалевским у Щукина, и он меня совершенно очаровал своей простотой и добродушием. До этого мы только мельком виделись на лекциях. Он, оказалось, был лет 15 назад на Майорке, у нас оказалось много знакомых, и он мне дал много указаний очень любопытных для той статьи, которую я пишу теперь.

Сегодня утром мне плохо удалось видеть чествование Бертло. А слышать я ничего не слышал. Мы с Косоротовым пришли за час до начала, но толпа стояла уже стеной. После даже с билетами никого не пускали. Я примостился в каком-то внешнем коридоре на косяке двери, и мне было оттуда видно только кусочек лысины Бертло, клок бороды Лубэ, серый, точно высеченный из камня зловещий профиль Вальдека.[8] Он совсем не похож на свои портреты. По ним совсем нельзя заключить, что он такой старик. Вид у него суровый и саркастически презрительный. Говорят, что он с такою же мрачной презрительностью смотрел и на царя, сопровождая его в Реймсе. Во всяком случае это лицо очень крупного человека, да это и есть и на самом деле. Ни одно министерство не выступало при таких шатких и неудобных условиях, и в то же время это самое долгое и самое сильное из всех министерств третьей республики. И в то же время это единственный из французских премьеров, которому министерство дает не доходы, а громадные материальные убытки, т<ак> к<ак>, разумеется, он не может в это время заниматься адвокатской практикой, которая ему приносила баснословные доходы.

Конечно, вися на дверном косяке, я не мог ничего нарисовать.

Теперь у меня почти каждый день уже сплошь занят лекциями, так что я и в Национальную библиотеку перестал ходить. Академию я заменяю теперь тем, что рисую во время лекций, это очень удобно, дешево и нисколько не мешает слушать, даже усиливает внимание, уничтожая гипнотичную однообразность голоса.

Алекс<андре> Мих<айловне>[9] я напишу на днях. Как Яша устроился в Феодосии?[10] Конечно, ему теперь после Коктебеля и Феодосия покажется шумной и интересной.

Пешковский, кажется, начинает увлекаться Евгенией Павловной и спрашивает меня, почему я ему никогда ничего об ней не говорил.[11] Открывает ли Люба гимназию в Москве или отлагает это, судя по сборам в Ташкент?[12]

Долго ли дядя Коля[13] пробыл в Коктебеле и что он делал там?

До свиданья. Целую бабушку.

Макс.

11bis Rue Berthollet.

P.S. Печка и все прочее у меня будет, когда я перееду в ателье.

Та знакомая, которая передает его мне, предлагает мне купить всю ее обстановку, т.е. диван, стулья, столы, посуду, печку, даже ванну за 120–130 фр. Это так дешево, что я это непременно сделаю, и тогда у меня будет полное хозяйство и мы с Якимченко будем сами готовить, что, конечно, будет очень удобно и выгодно.

[1] См. п. 228.

[2] В письме от 2 ноября 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 44–48 об.) Е.О. извещала Волошина о получении его письма от 23 октября / 5 ноября (п. 225) и утрате предыдущего письма.

[3] См. п. 228.

[4] Подразумевается Франсис де Прессансе.

[5] Воскресенье – 11/24 ноября. Химик Пьер-Эжен-Марселен Бертло (Бертело) был также видным государственным деятелем (министр просвещения Франции в 1886–1887 гг., министр иностранных дел в 1895–1896 гг.).

[6] Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[7] Письмо Пешковского от 3–5 ноября 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 68–75 об.).

[8] Пьер-Мари-Рене Вальдек-Руссо (1846–1904) – французский политический и государственный деятель, адвокат; премьер-министр Франции в 1899–1902 гг.

[9] А.М. Петрова.

[10] В письме от 2 ноября Е.О. сообщала, что Я.А. Глотов с матерью переселились в Феодосию.

[11] См. примеч. 10 к п. 230.

[12] О предполагаемой поездке Л.О. Вяземской в ноябре в Ташкент Е.О. писала Волошину 2 ноября.

[13] Н.О. Глазер.

230. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

12/25 — 16/29 ноября 1901 г. Париж

25 ноября 1901.
Paris. Rue Berthollet 11bis.

Дорогой Саша!

Прежде всего громадное спасибо за деньги. Несмотря на то, что я совершенно неожиданно получил деньги от мамы (на них я никак не рассчитывал), они мне оказали большую услугу, т<ак> к<ак> иначе, расплатившись с долгами, я бы снова остался без одного су. Словом, большое спасибо.

От «Курьера» же ни слова. То есть даже хуже, т<ак> к<ак> я получил на днях очень любезное письмо от Фейгина по поводу одного очень выгодного для них предложения, которое через меня им сделал один французский литератор,[1] но в этом письме он ни слова не говорит ни об деньгах, ни об статье, хотя предложение это я отправил ему несколькими днями позже, чем требование гонорара.

Так что, пожалуйста, когда у тебя пройдет нога и найдется свободное время, сходи снова в Редакцию повидать Фейгина и спросить об статье, об гонораре, об его условиях и об авансе.[2]

Да! Только редакция, оказывается, не в Петровских линиях (там теперь только контора), а в Трехпрудном пер., д. № 9. (Раньше можно было всех застать от 4 до 6<-ти> — теперь не знаю). Может, и Мишеля Свободина там увидишь. Он работает там.

Твое описание впечатлений от университета страшно интересно.[3] Жаль только, что ты так мало описываешь теку-

щие события, а они страшно интересны и для меня и для всех, кому я читал эту часть твоего письма. Ведь все это сюда совсем не доходит, и я буду тебе очень благодарен, если ты будешь держать меня в курсе текущих событий и настроений, хотя бы и самых мелких.

Теперь в Русской Школе я снова наткнулся на русскую аудиторию, которую я не видал столько же, сколько и ты, т.е. с 99 года. Она меня тоже не поражает своими достоинствами. Конечно, она имеет и резкие отличия. Больше чем на половину она состоит из женщин, что ее делает больше похожей на аудиторию публичных лекций. Я успел отвыкнуть и от многих особенностей русских взглядов. Я уже настолько все-таки вошел в курс современных литературно-научных течений французской мысли, что совсем привык к отсутствию моралистических тенденций в общественных науках, искусстве и в литературе и поэтому многие слова и мысли, которые я слышу теперь от русских студентов, поражают меня своей узостью, нелепостью и этим постоянным исканием полезных моральных выводов.

Вообще русский студент в Париже производит очень нелепое впечатление. Этого я не замечал в Берлине, потому, может, что наш ум воспитан издавна немецкими идеями и более родственен немецкому складу мышления. Здесь не то. Когда русский радикал в Берлине читает «Vorwärts»,[4] то он идет впереди общественных движений, он следит за всеми выдающимися событиями хода германской мысли, а здесь из «Petite République» да «Petit Soir», да «Aurore»[5] он не много получит.

Французская интеллигенция уже отхлынула от социализма. Социализм становится такой же официальной партией, как все прочие, с теми же приемами борьбы, с теми же недостатками, и для того, чтобы следить за передними рядами французской мысли, надо читать и националистически-полуофициозное «Фигаро», и беспринципный «Journal», и радикальный «Raison», для внешних известий «Matin»[6] и т.д.

Анархические газетки, как «Temps Nouveaux» и «Libertaire»,[7] – и те только приспособлены к пониманию рабочих. Ультра-анархист Мирбо – плещет в «Le Journal», и вообще тут принцип газеты-сборника торжествует все более и

более и дает прекрасные результаты. Между тем все революционные идеалы русского студента в конце концов ограничиваются посещением социалистических собраний и чтением «Petit République». Вообще по здешним социалистам в их настоящем можно уже судить, какой вид представит социалистическая партия после ее торжества, впитав в себя все историческое наследство буржуазной политики и приемов. Картина не из отрадных.

Меня глубоко интересует теперь вопрос: будут ли в Русской Школе[8] студенческие беспорядки или нет? И мне кажется, что будут. То есть теперь все тихо и великолепно, все друг другом очень довольны, но что будет дальше?

Русский студент привык к беспорядкам и в случае неудовольствия не удержится от выражения протеста шиканьем или выговором профессору. Здешние профессора очень отошли уже от понимания студенческой психологии, и в кругу устроителей идет страшная неурядица. Они сами в ложном положении, желая (да они не могут иначе) на легальном основании и не ссорясь с правительством (конечно, отечественным) вести такой университет, самый факт которого — протест против правительства. Конечно, они не могут иначе, но что из этого будет, трудно представить. Пока все великолепно и я ничего не хочу пророчить дурного, потому что, конечно, если что-нибудь будет, то это будет ужасно.

Но с другой стороны мне страшно интересно, как будут себя вести русские студенты в свободном русском университете.

29 ноября.

Письмо это залежалось, т<ак> к<ак> у меня явилась работа, и спешная.

Я теперь буду иметь заработок в 50 фр<анков> в месяц, за очень интересную работу: читать все вновь выходящие книги (французские) по политике и по литературе и знакомить с их содержанием одного господина, которого я знал когда-то студентом и встретил неожиданно здесь корреспондентом «Нового Времени».[9] Кроме денежной выгоды для меня это представит еще тот интерес, что у меня будут под руками все вновь выходящие книги и я сам смогу писать об них. Вот я

как раз эти дни и занимался экстерным конспектированием одной книги.

Ты удивляешься, что я тебе ничего не говорил об Евгении Павловне.[10] В этом нет ничего удивительного. Я узнал ее собственно только летом 1899 года и когда увиделся с тобою в Берлине,[11] между этими событиями стояла и Италия и Швейцария и Париж... и главное, твой немецкий язык и запрещение навещать тебя. В последний раз я видел Евгению Павловну перед своим отъездом в Италию и тут снова до нашего Бретонского и Сен-Мишельского свидания[12] прошли и Италия, и Греция, и Басманная часть, и Ташкент. Но зато с ней об тебе я говорил много. Как теперь Заинькино[13] здоровье? Пожалуйста, кланяйся ей от меня как можно ниже и как можно больше.

Кажется, что теперь в Москве Люба Вяземская (что училась в Англии), не познакомился ли ты с ней? Если нет, то я, узнав ее адрес, непременно направлю тебя к ней. Относительно Валерии Альфонсовны...[14] Мне всегда казалось, что уж в очень неудачное общество она в Москве попала. Не знаю, как теперь, но ведь то, что было раньше, оно было очень неинтересно. Как ее успехи? Тебе это должно быть очень видно теперь.

Что же касается Заиньки, то это замечательный человек, и в ней есть много той неотразимой внутренней, чисто женской обаятельности (конечно, в общечеловеческом смысле), которой так отличалась и Софья Павловна.[15]

Я все глубже и глубже привыкаю к Парижу. Тоски по родине у меня на крошку еще не появлялось, а напротив, когда я снова из Испании ступил на мостовую Парижа, то меня охватило такое чувство «родины», какого я никогда не испытывал при возвращениях в Россию.

Да в конце концов разве же «Париж», именно Париж, а не Франция, разве он не был и не есть для меня, да и для всего родившегося и выросшего под заревом освободительных социальных и литературных идей европейских 40-х годов, гораздо более близким истинным духовным отцом?

Я теперь как-то часто, думая о России, делал в уме такое сравнение: мне она представлялась в виде няньки или корми-

лицы, которая когда<-то> воспитывала и кормила меня. Это большая красивая женщина со спутанными волосами, которая лежит где-то далеко-далеко в грязной темной избе в разорванном платье, плачет, причитая и прерывисто всхлипывая, ожидая, что вот он снова взойдет, вечно пьяный муж – солдат, который тиранит ее, таскает за волосы и бьет чем ни попало. И мне вспоминается почему-то какой-то жалостливый, ласковый, бабий голос, красивое лицо с синяком под глазом, ласковое прикосновение мозолистых пальцев, торопливый жест, достающий гостинец, пока не взошел «он».....

Нет, я как-то не чувствую такой близкой родственной близости к России, а только одну бесконечную «жалость».

Вот то, что «чувствуется» мне теперь.

«Думается» мне, может, иначе, но мне теперь каждый день иначе думается. Мысли скачут, как блохи, и никогда еще, кажется, мой ум не находился в таком «струящемся» состоянии, как теперь.

Об Лёле[16] я спрашивал не только психологических, но и фактических данных, т<ак> к<ак> не знаю об ней почти ничего, даже где она живет и на свободе ли она?

Заканчиваю, т<ак> к<ак> спешу обедать. Еще раз прошу тебя повидать Фейгина самого и лично спросить: на каких условиях печатаются мои статьи, принята ли статья о Моро, вышлют ли мне деньги и желают ли они постоянных корреспонденций по текущей литературе, т<ак> к<ак> я теперь могу свободно это делать. Я прошу и уполномачиваю тебя на эти переговоры, т<ак> к<ак> на всё касающегося меня лично Фейгин не отвечает мне ни слова, а в то же время *немедленно* отвечает на одно предложение очень выгодной для них корреспонденции, шедшей через меня. Очевидно, письменно тут невозможно иметь дело. И потому, пожалуйста, исполни мою просьбу.

Спроси, сколько он думает мне платить за строчку. Меньше 5 коп. я не могу согласиться, т<ак> к<ак> даже в бедных провинциальных газетах мне платили по 4 к.

До свиданья.

Макс.

P.S. Да! помни об обещании не рвать писем, а сохранить.

[1] Это письмо Я.А. Фейгина в архиве Волошина не обнаружено.

[2] См. примеч. 4 к п. 225, примеч. 9 к п. 227.

[3] В письме к Волошину от 3–5 ноября 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 963, л. 68–75 об.) Пешковский в подробностях изложил свои впечатления от Московского университета: «Некоторые лекторы увлекают меня, раскрывают совершенно новые горизонты, дают понять, что напрасно я поставил (для себя) крест над историей на основании отношения своего к истории гимназической. Словом, я увидел совершенно новые научные области. Я говорю о лекциях Виноградова, Веселовского, Трубецкого (ист<ория> древней философии), больше же всего о первом. Правда, из 20 обязательных часов нашлось лишь 6, которые я нахожу нужным слушать, но эти 6 дают мне очень много, а главное возбуждают во мне интерес к делу, что и должно составлять главную цель всякой лекции <...> Одно, что неприятно действует – форменная одежда. К этому я и до сих пор не могу привыкнуть <...> С каким чувством я входил в университет? Смешанное чувство приятного воспоминанья далекого прошлого <...>, любопытства (я успел уже перезабыть все внешнее), неловкости за свою форменную одежду, изумления перед общей беспорядочностью, хаотичностью, теснотой помещений, грязью, вонью, стремленье отделить созерцаемые внешние черты <...> от внутренних и постоянное сравнение с заграницей. Студенты произвели на меня сначала не очень выгодное впечатление, что я объясняю во-первых тем, что из прекрасного далека все кажется прекраснее, чем есть, а во-вторых, что я попал на 1-й курс и, следовательно, нахожусь собственно среди детей. Впрочем, теперь я в конце концов все-таки вижу в них ту самую молодежь, которую вспоминал в Берлине, столь отличную от немецких буршей, вижу духовность, интерес к предмету. В одном только отношении самый талантливый из наших студентов уступит самому нелепому, самому идиотскому буршу – в способности коллегиального обсуждения какого-либо вопроса. <...> У нас на филологич<еском> было факультетское совещание под предс<едательством> проф. Виноградова, и вот на этом-то совещании я и был поражен косноязычием ораторов и неумением держать себя всей публики, включая и председателя».

[4] См. примеч. 6 к п. 85.

[5] См. примеч. 6 к п. 178, примеч. 6 к п. 177.

[6] См. примеч. 4 к п. 200, примеч. 6 к п. 209. «La Raison. Journal international hebdomadaire de philosophie, de sociologie, de littérature» – парижская еженедельная газета, выходившая в 1889–1909 гг. «Le Matin» – ежедневная парижская газета, выходившая с 1884 г.

[7] См. примеч. 7 к п. 207. «Le Libertaire» – основанный Себастьеном Фором еженедельник анархистского направления, выходил в Париже с ноября 1895 по июнь 1914 г.

[8] Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[9] Имеется в виду А.И. Косоротов. Ср. п. 229.

[10] Евг. П. Теш. 5 ноября Пешковский писал Волошину: «Познакомился с Евгенией Павловной, как ты к ней относишься? Она мне очень нравится. И меня и ее удивляет, что ты мне ни разу о ней не говорил».

[11] Речь идет о встречах с Пешковским в Берлине в декабре 1899 – январе 1900 г. (н.ст.).

[12] Подразумевается монастырь Мон-Сен-Мишель. См. примеч. 2 к п. 176.

[13] Евг. П. Теш.

[14] В.А. Воллк-Ланевская. В цитированном письме Пешковский сообщал: «Бываю у Валерии Альфонсовны. Я нахожу, что она много потеряла из прежней детской грации и наивности и что приобретенное развитие не искупает этой потери».

[15] С.П. Теш.

[16] Е.С. Лямина.

231. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

29 ноября / 12 декабря 1901 г. Париж

Paris. 12 décembre 1901.
Bibliothèque Nationale.

Ответ на письмо от 23 ноября.[1]

Дорогая мама!

Я прежде всего опять хочу говорить с Вами о Вашем приезде. По-моему, Вам все-таки следует в январе ехать совсем не в Москву, а в Париж. Ведь если Вы отложите свою поездку на будущую зиму, то еще бог знает что может случиться тогда и задержит Вас. Ведь если Вы теперь не приедете, то наше свидание сможет оттянуться на совсем неизвестно какое время. Бабушка может заболеть, хлопоты с домом... потом летом ведь Вы уже ни за что не приедете. Это все надо принять в соображение.

Потом ведь и я не все же время буду сидеть в Париже, и меня потянет еще дальше в Америку, Индию, Японию. Земля настолько маленькая планета, что стыдно не побывать везде, и тогда ведь нам значительно труднее будет встретиться. Между тем как к возвращению в Россию у меня нет ни малейшего позыва, ведь теперь если вернешься, то совсем неизвестно, уедешь ли обратно. Так что Вам приехать сюда именно этой зимой, я думаю, необходимо. Билет вы возьмете на границе туда и обратно на 2 месяца: все это будет стоить рублей 90, а прожить нам с вами, когда у меня уже будет квартира, будет очень дешево. Так что в месяц вам будет стоить со всеми театрами жизни вообще не больше 40 руб. Так что все путешествие с пашпортом и на 2 месяца будет стоить 200 рублей. Вы писали, что 80 руб. у Вас уже есть на Москву, так что из моих денег сюда надо только прибавить 120 р. А это так мало, что тут, право, странно задумываться над этим из практических соображений. Ведь, пожалев теперь эти 120 р. мои, оттянем наше свидание, может, на бесконечный срок. Кто знает, что может случиться. Нет – приезжайте прямо сюда в январе месяце. Ведь в Москве Вы не отдохнете. Разве Вы не помните, как Вы всегда томились зимою там. Все эти соображения относительно денег не имеют смысла. Правда, деньги мои будут постепенно и медленно таять, но к тому времени, когда они растают совершенно, я думаю, что ведь я буду же и сам что-нибудь зарабатывать, да и потом едва ли они будут особенно таять, если Вы или я раз в год возьмем 100 или 200 рублей.

Ведь Вы не хотите ехать только поэтому и только из-за денег откладываете поездку.[2] В таком случае я как собственник денег категорически заявляю, что я не хочу, чтобы ради того, чтобы сберечь 200 рублей, Вы бы откладывали поездку. Деньги только и имеют свой смысл в подобных случаях, иначе же все это совершенно бессмысленно. Это личные эгоистичные желания. А для Вас лично, конечно же, Париж будет местом гораздо более освежающим, чем Москва. Наша жизнь будет совсем в ином роде, чем в первый раз, и не будет ни той утомляющей гонки по музеям, ни гостиничной жизни туриста, так что это придаст совсем другой характер Вашему пребыванию, и я смогу познакомить Вас теперь и с внутренней жизнью Парижа, и с массой интересных людей. Тут же еще

сотни лекций, так что Вы вернетесь в Россию совершенно обновленная.

Так что прошу Вас *не принимать во внимание никакие денежные соображения*. Если вы считаете нужным заботиться об моем денежном благосостоянии, то я настолько же считаю нужным заботить<ся> и об Вашем духовном. Так что прошу Вас сейчас же написать в Москву, чтобы Вам было выслано из банка 200 р. или сколько Вы найдете нужным, и приезжайте немедля в Париж, как только устроите бабушку в Феодосию. Целую ее.

Макс.

P.S. Начните сейчас же хлопотать о заграничном пашпорте.[3]

[1] В письмс от 23 ноября 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, сд. хр. 649, л. 55–58 об.) Е.О. нсодобрительно отзывалась о «договорс» Волошина с Косоротовым и о Ф. Ницшс (которого нашла нспонятным и «совсем нс симпатичным»).

[2] В письмс от 6 дскабря 1901 г. (Там жс, л. 59–62 об.) Е.О. рассуждала: «Нс думаю, чтобы я сразу взяла, да собралась в январс к тебс в Париж; всдь это длинная история с паспортом заграничным, т<ак> ч<то> мало врсмсни останстся до марта, врсмсни мосго возвращсния, во-псрвых, а во-вторых, всдь нсльзя жс будст каждый год сздить в Париж; посду тспсрь, нс посду в концс будущсго года, а потому лучшс в концс будущсго».

[3] О своем рсшсннии схать в Париж Е.О. сообщила Волошину в письмс от 22 дскабря 1901 / 4 января 1902 г. (Там жс, л. 67–68 об.): «...я буду у тсбя нс поздисс 10 января ст<арого> стиля, нс раньшс 7-го».

232. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

29 ноября / 12 декабря 1901 г. Париж

12 декабря. 1901.
Rue Berthollet 11[bis].

Дорогой Саша!

Я хочу у тебя просить совета.

Мне Алек<сандра> Мих<айловна> и мама со слов Алекс<андры> Мих<айловны> писала, что Лера теперь очень

хорошо устроилась и получает 100 руб. в месяц в Художественном Театре.[1]

Мои же денежные дела теперь затруднительны, т<ак> к<ак> 40 руб. в месяц в Париже вместе с платой за лекции да летними путешествиями мне оказывается мало и приходится брать из капитала, что, конечно, мама совершенно не хочет. Работу же здесь достать крайне трудно, а за статьи — ты видел сам, как мудрено получить деньги («Курьер» мне наконец выслал гонорар за Мирбо, но ни слова ни об Моро, ни об авансе, ни об высылке газеты,[2] о чем я писал Фейгину, — это прямо наглость не отвечать на письма деловые).

Ввиду этого я бы собственно считал бы справедливым, чтобы Лера высылала мне рублей хоть 15—10 в месяц для уплаты долга. Мне об этом пишет мама и советует написать Лере.[3] Написать ей об этом у меня рука не поворачивается, и я не могу решить, что это — ложный стыд или не ложный. Но напомнить об этих деньгах, самим же мной предложенных, страшно совестно, а в то же время если она получает 100 р. в месяц, то ее положение материальное лучше моего и я могу, т.е. имею право, напомнить. Как ты полагаешь об этом?

С другой стороны, ведь может случиться, что она посылает из этих денег домой...

Не можешь ли ты расспросить ее об ее действительном материальном положении, и если оно окажется благоприятным, то намекнуть ей как-нибудь стороной, ничего не говоря обо мне, чтобы знать, как она отнесется. Впрочем, если ты сочтешь это неудобным, то, конечно, не надо. И кроме того напиши, что ты думаешь об этом.[4]

Напиши мне Лёлин[5] адрес и расспроси ее об том, собирается ли она в Париж.

Кланяйся Зайцу.[6]

Макс.

Да, вот еще просьба: один мой знакомый получил предложение вести хронику русской жизни в «Revues des Revues»[7] и просит меня сообщать ему интересные факты русской жизни, которых не найти в газетах. Я рассчитываю на тебя и на твою корреспонденцию.

[1] См. примеч. 11 к п. 215.

[2] См. примеч. 4 к п. 225, примеч. 9 к п. 227.

[3] 18 сентября 1901 г. Е.О. Кириенко-Волошина писала сыну: «...если бы тебе начала высылать помесячно Лера, получившая место в 100 р. в месяц, это было бы хорошо для тебя и вполне возможно теперь для нее» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 21 об.). Повторно Е.О. затрагивала этот вопрос в письме к Волошину, отправленном около 20 ноября 1901 г. (Там же, л. 53–54 об.): «Почему бы тебе не написать теперь Лере и не просить ее выплачивать тебе по мере возможности долг <...>».

[4] Пешковский отвечал 24 января 1902 г. из Бердянска (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964, л. 1–4 об.): «...относительно Валерии Альфонсовны <...> Она играет в Художественном театре за сценой в некоторых пьесах и получает по 3 р. в вечер. Это должно составлять по моему расчету от 40 до 50 руб. в месяц, а раньше, в начале сезона, составляло, вероятно, от 60 до 70 руб. Перед отъездом (1½ мес<яца> тому наз<ад>) я в разговоре упомянул о твоих финансовых затруднениях, и, по-видимому, это заставило ее задуматься».

[5] Е.С. Лямина.

[6] Евг. П. Теш.

[7] «La Revue des Revues» – журнал, выходивший в Париже в 1890–1901 гг., с 1901 г. – под заглавием «La Revue».

233. Е.С. ЛЯМИНОЙ

19 декабря 1901 г. / 1 января 1902 г. Париж

1 января 1902 г.

Дорогая Лёля!

Я не писал тебе все время потому, что не знал твоего адреса, а мама мне прислала его только на днях.

Прежде всего у меня к тебе просьба: пожалуйста, сходи в редакцию «Курьера» (кажется, Трехпрудный пер., 7) и от моего имени потребуй у Фейгина моей рукописи «Гюстав Моро и его музей». Я просил об этом Пешковского,[1] но от него ни слуха и ни духа, так что я думаю, что он уже уехал из Москвы на каникулы.

Мне очень важно получить эту рукопись как можно скорее обратно, т<ак> к<ак> я решил прекратить дела с «Курье-

ром» и хочу поместить ее в «Вестнике Всемирной Истории», куда я приглашен постоянным сотрудником.[2] Так что перешли мне, пожалуйста, ее заказной бандеролью.

С Фейгиным я же решил прекратить дела ввиду того, что он мне в течение двух месяцев ни слова не ответил по поводу этой статьи, то же самое было и со статьей о Мирбо, о напечатании которой я не был извещен. В России это, кажется, принято делать, но в Европе это считается неизвинительной небрежностью.

Мама пишет, что ты снова собираешься в Париж.[3]

Если это верно и ты действительно приедешь в январе, то поздравляю тебя от всей души и с нетерпением жду тебя. К сожалению, теперь нам уже не удастся устроиться вместе, т<ак> к<ак> я на днях беру мастерскую вместе с одним художником,[4] что мы решили уже месяца полтора назад, когда я уже окончательно решил, что ты не приедешь.

Я сильно надеюсь на приезд мамы, которая может приехать в середине января. Квартиру я переменю с 12 января.

Тогда мой адрес будет:

Rue Boissonade 17.

(В квартале Монпарнасс около бульвара Распайль).

Когда ты приедешь, то, конечно, направляйся прямо ко мне, а не в гостиницу, и я тебе тогда быстро поблизости найду комнату. Но главное-то приезжай. Если есть возможность, то стыдно сидеть в России.

Посылаю тебе свою карточку и фотографическую и визитную (для «Курьера»).

Целую Любу, поклон Нине Федосеевне.[5] Что поделывает Миша?[6]

Поздравляю всех с Новым годом.

Макс.
Rue Berthollet 11bis.

[1] См. п. 230, примеч. 4 к п. 225.

[2] Журнал «Вестник Всемирной Истории» (редактор-издатель С.С. Сухонин) выходил в Петербурге с 1899 по 1902 г., с января 1903 г. – под заглавием «Всемирный Вестник». Ни одной корреспонденции Волошина в нем не появилось.

[3] Е.О. Кириенко-Волошина сообщала об этом в письме от 6 декабря 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 649, л. 60).

[4] 31 декабря 1901 / 13 января 1902 г. Волошин вместе с А.Г. Якимченко переехал в ателье Е.С. Кругликовой на Rue Boissonade, 17 (Труды и дни. С. 95).

[5] Л.С. Лямина, Н.Ф. Локошенко.

[6] М.С. Лямин.

234. А.М. ПЕТРОВОЙ

Декабрь 1901 / Январь 1902 г. Париж

Дорогая Александра Михайловна!

Прежде всего поздравляю Вас и всех Ваших с новым годом.

Конечно, Вы в глубоком изумлении, почему я Вам так упорно и столько времени сов<ер>шенно не писал, и будете изумлены еще больше, если я скажу, что мне просто не хотелось писать. Погодите, дайте мне объяснить. За время нашей четырехлетней переписки я заметил одно очень яркое для меня явление. У меня бывают периоды, когда мне совсем не хочется Вам писать, да и вообще не до писем, но зато бывают периоды, когда мне необходимо писать и именно Вам. Это периоды известного затишья, периоды подведения итогов, когда я ищу концы разных ниточек, связывающих настоящее с прошлым, ниточек, которые я связываю пока только наскоро, чтобы когда-нибудь впоследствии на досуге «в пустыне», — в каком бы виде она ко мне ни явилась, разобраться в них. Тогда я ищу в вас 18-летнего себя, и мне необходимо бывает делиться с Вами. Вы всегда мои минуты раздумья. Когда я вернулся из Испании, я месяца 1½ вел очень уединенную жизнь и виделся только с одними книгами. Тогда я Вам и предлагал писать каждую неделю,[1] но сейчас же после этого наме<ре>ния целым водопадом снова хлынули новые впечатления, новые люди, и <я> опять начал только хватать, набирать в запас, чтобы только не упустить чего-нибудь из того богатства, которое развертывается ежедневно, ежеми<ну>тно в Париже. Переварю после. Пока аппетит мой беспределен, и все это время

Заказ № 5706

у меня даже не являлось ни малейшего желания писать. Мне бы даже хотелось совсем отложить года на три всякие литературные попытки, чтобы иметь возможность знакомиться со всем шире, не входя в детали. Писать можно только в уединении полном, а задумывать только в такой сутол<о>ке.

Но теперь у меня начинается, кажется, опять период писанья. Я приглашен недавно в сотрудники одного ежемесячного журнала и обещал туда ряд статей.[2] Об этом подробности я пишу в письме для Яши, которое влагаю в этот же конверт.

Недавно я был на представлении «Пер Гинта» вместе с полной григовской музыкой, исполнявшейся оркестром Ламурё в театре «L'Œuvre».[3] Это театр, в котором ставятся только из ряда вон выдающиеся пьесы, и ставятся только один раз — одно представление по очень высоким ценам. Таких спектаклей бывает всего 3—4 за всю зиму. Так в нем когда-то ставился «Враг народа» Ибсена во время процесса Золя,[4] «Les mauvais bergers» Октава Мирбо — вещь совершенно потрясающая по своей правде и стоящая выше даже гауптмановских «Ткачей»,[5] написанных на ту же тему, в эту весну там шел «Le Roi Candaule» — великолепная драма одного молодого поэта-философа Андре Жи́да.[6] И вот теперь поставлен «Пер Гинт». Нельзя сказать, чтобы исполнение драматической части пьесы вполне удалось актерам. Французский актер по своей натуре уже не может передать ни ибсеновской простоты символа, ни северного духа.

Парижский chansonnier — Тьерси в одной песенке, сложенной про Ибсена, поет:

«И тогда Нора[7] начинает жарить котлеты. По-французски это называется домашним хозяйством, а по-норвежски — это символ».

Пер Гинт на сцене слишком много декламировал, Сольвейг была чересчур сентиментальна по-французски, но все-таки местами игра прохватывала до костей.

А Люнье-По в роли «Формовщика» был великолепен.[8]

Но можете себе представить, до чего хороша была музыка, исполняемая лучшим оркестром Парижа, и местами с немыми одновременными иллюстрациями на сцене.

За все это время я написал только одну статью об художнике Гюставе Моро, которую отправил 2 месяца назад, а теперь, ввиду их молчания, требую ее обратно, чтобы поместить ее в «Вестнике Всемирной Истории».[9] Там вообще теперь часто будут мои статьи.

Ну, до свиданья. Не сердитесь на меня за долгое молчание. Поклон Нине Алекс<андровне>, Михаилу Митрофанов<ичу>[10] и всем остальным. Что Адриан?[11] Приезжал ли он?

Пишите. Мой адрес теперь новый с 12 января (нов<ого> ст<иля>): Rue Boissonade 17.

Макс.

Не знаете ли, уехал ли уже Пешковский из Москвы и где он?

[1] См. п. 215.

[2] Имеется в виду журнал «Вестник Всемирной Истории» (см. примеч. 2 к п. 233).

[3] Волошин был на представлении драматической поэмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» (1867), сопровождавшейся исполнением музыки Эдварда Грига к ней (1874–1875), в театре «L'Œuvre» 3/16 декабря 1901 г. (Труды и дни. С. 95).

[4] «Враг народа» (1882) – драма Генрика Ибсена. Сюжет ее проецировался в 1898 г. на процесс над Эмилем Золя, обвиненным за его выступление в защиту А. Дрейфуса в оскорблении военного суда.

[5] «Дурные пастыри» (1897) – остроконфликтная пьеса О. Мирбо, показывающая антагонизм фабриканта и рабочих. «Ткачи» (1892) – драма Г. Гауптмана, в которой нашло отражение восстание силезских ткачей 1844 г.

[6] «Царь Кандавл» (1901) – пьеса Андре Жида на сюжет греческой мифологии.

[7] Нора – героиня драмы Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879).

[8] Орельен Мари Люнье-По, основатель театра «L'Œuvre» (в 1893 г.), исполнял в «Пер Гюнте» роль Пуговичника.

[9] См. п. 230, 233, примеч. 4 к п. 225.

[10] Н.А. и М.М. Петровы.

[11] А.М. Петров.

235. Е.С. ЛЯМИНОЙ

29 декабря 1901 г. / 11 января 1902 г. Париж

Paris. 17. Rue Boissonade.
11 января 1902.

Дорогая Лёля!

Благодарю тебя за такое подробное и откровенное письмо.[1] «Откровенное» – потому что ты всегда так редко пишешь о себе, а теперь мне, конечно, особенно интересно знать, что с тобой и где ты. А я этого решительно ни от кого узнать не мог, хотя многих спрашивал. Я сам не писал тебе, т<ак> к<ак> не знал ни твоего адреса, ни возможно ли для тебя непосредственное получение писем.

Спасибо, что ты сама заговорила об своих ответах. Я бы, конечно, никогда бы первый об них не заговорил. Я слыхал только, что ты давала вполне правдивые показания. Даю тебе слово, что у меня ни разу не шевельнулось ни одной осуждающей мысли. Да я и не представляю себе, почему бы она могла возникнуть. Осудить можно только побуждение, а не факт. Побуждений и намерений твоих я не знаю, да и в самом факте ничего достойного осуждения не вижу. Я знаю сам то мучительное чувство и те бесконечные сплетения мыслей, которые бывают до и после допросов, и если это чувство было знакомо мне в моем таком простом деле, то представляю себе ярко, что приходилось передумать и перечувствовать тебе с твоей нервностью и в таких переплетшихся и запутанных обстоятельствах.

Представляя это и зная это, можно простить что угодно. Но я глубоко убежден, что и «прощать» тебя не за что. Я тебя ведь достаточно знаю, чтобы на основании какого-нибудь отдельного факта вдруг изменить все представление о человеке.

Что касается до отвернувшихся от тебя знакомых – то ведь это вечная всечеловеческая история. Люди в массе и «знакомые» в абстракции в моральном отношении – дикари: они судят только на основании фактов, а не побуждений (принцип возмездия), а на факты смотрят исключительно с точки зрения принятости: дать правдивые показания настоль-

ко *не принято*, как есть рыбу ножом. В этих обстоятельствах остается сказать только: je m'en fous,* и идти своей дорогой.

Этой осенью я почувствовал, что университет и студенты для меня кончились, как когда-то кончилась гимназия. До сих пор я все чувствовал себя студентом, теперь нет. Не чувствую я им себя и в Русской Школе.[2]

Это мне дало возможность взглянуть на русское студенчество со стороны, и я открыл в нем такие черты, которые я раньше в нем совсем не замечал, т<ак> к<ак> они были и моими чертами. Началось это с того, что я стал гораздо больше интересоваться мнениями тех, с кем я не согласен, чем мнениями своих единомышленников. И когда я взглянул уже со стороны на оба больших лагеря России, то в своем увидал много такого, что раньше замечал только в противном. Они показались мне родными братьями по темпераменту и привычкам. Полицейские приемы и цензура одинаково присущи тем и другим. Нетерпимость и отсутствие *понимания* так же характерны для протестантов, как и для защитников порядка.

Обвинения в шпионстве, в предательстве пускаются с таким же легким сердцем и по таким же уважительным причинам, по каким другие ссылают, сажают в тюрьму. Да и не может быть иначе — противники всегда бывают похожи друг на друга.

Конечно, это не изменило моего отношения к идее — это только усилило его, сделало более крайним и индивидуальным, привело к выводу, что идея только до тех пор велика и сильна, пока она не сделалась достоянием партии. Политическое развитие каждой партии — это история постепенного дискредитирования идеи, низведения ее с ледяных вершин абсолютного познания в помойную яму, пока она не сделается пригодной для домашнего употребления толпы — этого всемирного, вечного, всечеловеческого мещанства.

Но довольно. Я с тобой вполне согласен насчет Кони.[3] Я не слыхал лучшего оратора, хотя слыхал лучших французских ораторов, даже Жореса, который мне совсем не нравится. У Кони это великое почтение перед мыслью: он сам исчезает

---

* Мне на это наплевать (*фр.*).

и только одна мысль остается. Французский же оратор всегда сам лезет вперед и своей персоной заслоняет мысль.

О себе я буду писать после. Пока до свиданья. Целую тебя и желаю тебе как можно больше равнодушия к людям, имеющим отношение к полиции консервативной, либеральной или моральной – все равно.

Заметь мой новый адрес 17, Rue Boissonade. Я туда переселяюсь послезавтра. Я разве тебе не писал, что еще с весны занимаюсь рисованием? Впрочем, мастерскую я беру не поэто<му>, а потому, что это здесь значительно удобнее: и просторнее и дешевле.

Макс.

[1] 23 декабря 1901 г. Е. Лямина писала Волошину: «В Париж я пока ехать не могу, и когда смогу, покрыто мраком глубокой неизвестности. С 11 октября я сижу в Москве без паспорта под усиленным гласным надзором <...> может случиться, что весной вместо Парижа я попаду на север далекий <...> я нисколько не страдаю от полицейского надзора, но замечаю по отношению к себе большую перемену в бывших моих знакомых, говорю бывших, потому что теперь я ни с кем из них не вижусь. Какая этому причина, решительно не понимаю. Если они недовольны моими ответами, то это не дело отвертываться от человека, не выяснив ничего, тем более сами они лично от меня ничего не знают, со мной по этому поводу не говорили, и результат моих ответов не известен, т<ак> к<ак> дело не кончилось. Теперь, Макс, пожалуйста, если до тебя дойдут как-нибудь случайно про меня какие-нибудь неблаговидные слухи, не придавай им значения, пока ты со мной не поговоришь, и подожди отвертываться от меня» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803). Ср. примеч. 6 к п. 226.

[2] Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[3] В своем письме Е. Лямина делилась впечатлениями от лекции А.Ф. Кони «Этические начала в уголовном процессе», прочитанной в московском Психологическом обществе: «...получила громадное эстетическое удовольствие <...> автор касался всесторонне практических вопросов суда, но все, что он говорил по отношению лиц, прикасающихся к судопроизводству, имеет глубоко философское, высоконравственное значение для каждого простого смертного, который хочет жить, не делая другим гадостей. Да, другого подобного оратора трудно, я думаю, найти во всем мире. Каждая мысль ясна и чиста, как кристалл».

1902

236. Л.О. ВЯЗЕМСКОЙ

10/23 января 1902 г. Париж

23 janvier 1902.
17 Rue Boissonade. Paris.

Дорогая Люба!

Только что приехала мама и рассказала мне, что ты деятельно работаешь над учреждением своего учебного заведения.[1] Я очень жалею, что меня нет теперь в Москве и я не могу тебе ничем помочь своими русскими знакомствами.

Но я бы хотел все-таки обратить твое внимание на двух человек, которые могут быть полезны и интересны для тебя в твоем деле. Первый — это мой друг Пешковский, о котором тебе говорила мама. Но мама очень многого не знала об его будущих планах, которые он мне развивал в то время, когда мы жили с ним весной на Mont St. Michel.[2] Его мечта — педагогическая деятельность: он за этим и вернулся в Россию из-за границы, поэтому только и поступил снова в Москву на филологический факультет,[3] окончив естественный в Берлине.

Он мне говорил, что после окончания курса хочет открыть свою гимназию.

Он человек состоятельный и способный все отдать для идеи. Если ты с ним сойдешься во взглядах, то он может иметь для тебя громадное значение, как в смысле денежной, так и в смысле интеллектуальной помощи. А если вы даже не сойдетесь во взглядах, то, я думаю, для тебя он сможет быть очень интересен, как чрезвычайно оригинальная, самостоятельная и глубокая натура. Из него может выйти идеальный педагог.

Другое лицо, которое теперь при создании твоего проекта еще не может иметь для тебя интереса, но сможет пре-

доставить большой интерес после, как педагог, это Юрий Андреевич Галабутский, мой бывший учитель русского языка в Феодосийской гимназии, а теперь мой большой друг. Это еще не старый, очень интеллигентный и очень талантливый человек (он часто пишет в педагогических журналах). Это единственный человек, единственная светлая точка между всеми педагогами русского классического болота, которую я встретил за все свое долголетнее странствование по русским гимназиям. Я думаю, не один из его учеников обязан ему своим «спасением» от классической гимназии. Это единственный умный и толковый педагог, которого я знал и который умел возбудить интерес к русскому языку и к русской литературе в таких идеальных оболтусах, какими сверкала в мое время Феодосийская гимназия. В свое время он мечтал о профессуре и написал магистерскую диссертацию, но материальные и семейные условия заставили его тянуть долголетнюю лямку провинциального учителя. В год моего окончания гимназии он должен был выйти в отставку, т<ак> к<ак> отказался дать расписку в том, что он не будет брать взяток и писать доносов, что было предписано по Новороссийскому учебному округу попечителем. Никто из других педагогов никак понять не мог, что он мог найти обидного в такой расписке. А сделал он это как раз в тот момент, когда должен был состояться его перевод в Одессу, о чем он мечтал всю жизнь. Я, помнится, рассказывал тебе об этом факте.

Ему сейчас же предложили место в ведомстве императрицы Марии в Керчи, откуда он перешел в прошлом году в Варшаву в частное коммерческое училище, желая быть все-таки поближе к центрам.

Недавно он мне писал, что положение его как учителя русского языка в Польше очень его давит, хотя их гимназия и не задается идеями обрусения, но на возможность нового перехода отсюда он уже не надеется.[4]

Я его могу тебе рекомендовать как единственного педагога, к которому я чувствую благодарность, и как удивительно честного и умного человека. В политическом отношении он очень умерен, а в полицейском безукоризненен. Конечно, если бы ему представилась возможность уйти из Варшавы в

Москву, он ухватился бы за нее с радостью, т<ак> к<ак> мечта его жизни получить место в одной из столиц.

Я был бы очень рад, если б вы оба могли бы войти в письменные, хотя бы ни к чему и не обязывающие сношения. Я думаю, что вы оба были бы друг другу очень полезны.

Если ты позволишь, то я напишу ему в Варшаву и устрою это.

Относительно же Пешковского я ему напишу, чтобы он непременно зашел к тебе;[5] я не знаю твоего адреса, но думаю, что он сможет узнать его от Евгении Павловны Теш, или ты сама мне напишешь его.

Мне было бы очень приятно, если бы у нас могла установиться постоянная переписка, которая до сих пор все как-то не клеилась. Я бы мог очень много нового и интересного сообщить тебе из Парижа. В моих художественных и политических взглядах за этот год произошла большая перемена, и мне бы теперь было очень любопытно побеседовать с тобой.

Поклон тебе от мамы.

На всякий случай вот адресы:

Александр Матвеевич Пешковский. Камергерский пер. Меблированные комнаты Глотовой.

Юрий Андреевич Галабутский. Варшава. Золотая ул. 37, кв. 21.

Макс.

[1] Окончив Кембриджский университет, Л. Вяземская вернулась в Москву с намерением основать частную женскую гимназию.

[2] См. примеч. 2 к п. 176.

[3] А.М. Пешковский поступил на историко-филологический факультет Московского университета осенью 1901 г.

[4] Речь идет о письме Ю.А. Галабутского из Варшавы от 29 декабря 1901 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386, л. 29–31 об.): «Не сладко положение русского учителя, а в особенности учителя русского языка, в Польше! Как там ни говори, хотя в нашей школе и не задаются целями обрусения, и веет тут свежий дух, незнакомый гимназической казарме, а все-таки наш брат для поляка – только неизбежное зло, не больше. <...> Это казенная поденщина, которую, по необходимости, надо отбывать, и только!»

[5] См. п. 238.

237. Е.С. ЛЯМИНОЙ

16/29 января 1902 г. Париж

29 января 1902.
Paris. 17. Rue Boissonade.

Дорогая Лёля!

Благодарю тебя за присылку рукописи.[1] Я был как раз страшно занят моей лекцией, которую я на днях читал в русской Школе. Она озаглавлена: «Опыт переоценки художественного значения Некрасова и Алексея Толстого».[2]

Я выставлял Некрасова как истинного художника-предтечу всех новейших течений русской поэзии, а Алексея Толстого как вечный тормоз искусства – олицетворение академизма.

Все это с точки зрения последних выводов французской эстетики.

Успех был полный: т.е. вся русская колония только и делает, что ругательски ругает меня. Через неделю будут прения, которых я жду с величайшим нетерпением. Против меня собирается целый крестовый поход, так что бой будет жаркий.

И главное замечательно то, что все ополчаются в защиту Некрасова, которого я оскорбил, признав великим художником.

Но главная, кажется, загадка, которую я им задал, – это вопрос: консерватор я или либерал? Дело в том, что я сказал, что русские либеральные журналы являлись всегда крайними консерваторами в области искусства и установили цензуру на все течения новой мысли, шедшие с запада, чем задержали развитие русского общества на двадцать лет, назвал шестидесятые года «узкими» и гибельной эпохой для нового искусства, а с другой стороны, восхвалял Некрасова за его широкое отношение к политическим и социальным темам.

Это поставило их в тупик, так же как ставит в тупик жителей Феодосии Яшина неблагонадежность в соединении с высокими воротничками и пэйсне.[3]

Мама (которая вот уже с неделю в Париже) в первый раз в жизни нашла, что я говорил хорошо и интересно. А это что-

нибудь да значит. Словом, я всем этим очень доволен. Главным образом тем, что мне удалось всколыхнуть русских студентов и заставить их волей или неволей познакомиться и заинтересоваться насущными вопросами Европейской мысли.

Как я уже сказал, мама приехала с неделю тому назад в Париж. Но пока еще все осматривается и осваивается, учится ходить одна по улицам и, главное, находит сама дорогу домой.

Я не вполне согласен с д<окто>ром Голоушевым в его взглядах на мою статью. Я не вижу ее холодности. Сама ты нашла это или нет? В «Ниву» или в «Новый Мир» она совсем не подходит, и я ее туда не пошлю.[4] Может быть, я ее сперва прочту в «русской школе» прежде, чем куда-нибудь посылать.

Напиши мне подробнее о своем собственном впечатлении.

Пока до свиданья.

Мах.

[1] Речь идет о рукописи статьи Волошина «Гюстав Моро и его музей» (см. п. 233, примеч. 4 к п. 225). В сопроводительном письме (в его датировке: «2 II 1902 г.» – явная описка) Е. Лямина сообщала: «Спасибо, Макс, за доставленное мне удовольствие, которое я получила от краткой беседы с доктором Голоушевым (Сергей Глаголь). Твоя рукопись оказалась у него, и я только сегодня достала ее после двухкратного путешествия в редакцию "Курьера", где в прошлую субботу застала наконец Фейгина, который направил меня к доктору. Оба они находят твою статью очень интересной, но для "Курьера" неподходящей по своим размерам. Доктор Голоушев не совсем согласен с тобой в твоих взглядах на Моро» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[2] С чтением этой лекции Волошин выступил около 12/25 января 1902 г. в Высшей Русской школе общественных наук. См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 113–133, 801–809 (комментарии О.А. Бригадновой).

[3] Подразумевается Я.А. Глотов.

[4] В цитированном письме Е. Лямина сообщала, что С.С. Голоушев советует Волошину «приложить к своей статье иллюстрации к нескольким главным картинам», а также: «Доктор рекомендовал разные другие редакции, но я не знаю, имеешь ли ты с ними дело, как, напр<имер>, "Нива", "Новый мир" и т.п. Доктор пожалел между прочим, что ты несколько холоден, и в твоей статье мало чувст-

ва, несмотря на другие ее достоинства». «Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге массовым тиражом в 1870—1918 гг.; до 1904 г. издавался А.Ф. Марксом. «Новый Мир» — иллюстрированный двухнедельный журнал, издававшийся в Петербурге товариществом М.О. Вольф в 1899—1905 гг. (редактор П.М. Ольхин).

238. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

3/16 — 6/19 февраля 1902 г. Париж

Paris. 17. Rue Boissonade.
16 février.

Дорогой Саша!

Наконец-то![1] Ну, прежде всего дела: в «Курьер» не ходи, с Фейгиным не говори, т<ак> к<ак> все это уже сделала Лёля: я, не получая от тебя ответа, думал, что мое письмо пропало или не застало тебя в Москве.[2] Так что это все улажено и не беспокойся.

Затем непременно сейчас же отправься к Любовь Орестовне Вяземской (Арбат, Большой Афанасьевский пер., д<ом> Орлова, кв. 3) и скажи ей, что ты Пешковский: она уже тебя знает по моим рассказам и письмам и ждет тебя.[3] Посылаю тебе для нее свою визитную карточку. Я ведь писал уже тебе, что она основывает в Москве женск<ую> гимназию по совершенно новому образцу.[4] Она у меня спрашивала, не знаю ли я людей, могущих ей быть полезными или интересными словом или делом: я ей, конечно, указал на двух: на тебя и на Галабутского. Ты очень заинтересуешься ее программой и ею самой (это она была в Кэмбриджском университете).

Пусть это будет первое из просимых тобою «женских» знакомств.

Ах, если б ты видел, как я дрыгал от восторга ногами под столом, читая это удивительное место твоего письма.

Положим, это для тебя будет, конечно, очень хорошо — жениться, и желаю тебе успеха, но сваху ты все-таки выбрал неудачную.[5]

Советую тебе почаще встречаться с Арнольдом. Если хочешь, я тебе дам письмо к Озерову. Последнее будет тебе, верно, очень интересно.

Слушай, только вот что: твоя бессонница может ведь оказаться очень сериозной вещью. Не рациональнее было бы, вместо того чтобы сидеть в Москве без особых успехов в занятиях, не лучше ли было тебе уехать на весну в Италию, что ли? и предаться там абсолютному отдыху и растительной жизни. Ведь у тебя, напр<имер>, те же симптомы нервного переутомления, что у Озерова. Это ведь еще рано для тебя. Брось все и уезжай. Но во всяком случае я надеюсь, что летом-то ты попадешь за границу во всяком случае и мы с тобой увидимся в Париже? Хотя, если ты сам говоришь, что полугодие у тебя уже пропало,[6] то что же в сущности тебя может удержать в Москве. В городе от этого вылечиться нельзя, надо в горы или на юг. Советовался ли ты по крайней мере с докторами? Как теперь идет варение твоего желудка?

Вообще опиши мне подробнее свое физическое состояние.

Ты спрашиваешь, есть ли у меня в Париже хорошие знакомые? Странный вопрос!! Миллионы...

Есть очень хорошие знакомые.

Я начинаю знакомиться с молодыми французскими поэтами и литераторами.

Недавно я познакомился с Георгом Брандесом, который теперь в Париже, и провел с ним несколько вечеров у одних знакомых. Признаюсь, что таких людей я никогда не видал: это один огонь остроумия и мысли.

Недавно я читал в Рус<ской> Школе лекцию: «Опыт переоценки художественного значения Некрасова и Алексея Толстого с точки зрения субъективной эстетики нео-идеализма», где я доказывал близость Некрасова к символизму и академизм Алекс<ея> Толстого.[7]

Вот уже 3 недели, как идут прения по поводу моей лекции и еще не собираются оканчиваться.

19 ф<е>в<раля>.

Теперь они кончились.

Между прочим отрывок из разговора с Брандесом:

«Русская школа? В Париже? Зачем?»

— Наше министерство... и т.д.

— Министерство? Так прогоните министерство. Разве можно держать такое министерство? Мы вот недавно прогнали свое...

— «Но вы забываете наш строй, наше правительство».

— Правительство? Так надо прогнать правительство. Что у вас, мужчин, что ли, нет? Знаете: вы, русские, самая смешная нация в мире. Вы постоянно на себя жалуетесь и все вы революционеры.

Когда я был в России, то я думал, что у вас завтра же революция будет. Все высшие чиновники у Вас недовольны правительством. А это было еще в 86 году..[8]

Очевидно, он совсем не понимал и не мог по самому существу понять особенностей русской жизни. Да и как в конце концов Европейцу ту страну, где слово «человек» является синонимом лакея, где слово «гражданин» обозначает кн. Мещерского,[9] где дерзость нахального лакея своему барину (статья Амфитеатрова) считается и наказуется как «политическое» преступление.[10]

Брандес прав в своей иронии: у нас нет революционеров. Революционерство: это сознание своей личности, своего права, своего человеческого достоинства. А у нас есть только скучные профессора, скучно говорящие об революции иностранными словами, или холопы, дерзящие барину. В заграничной русской прессе только и есть теперь эти два языка.

Научная теория и революция противоречат друг другу в самой своей основе, потому что революция — это только желание осуществить свое попранное право во что бы то ни стало, вопреки всем научным теориям. Основание революции — личность. А в науке личность распускается, как сахар в горячей воде.

Авторы экономических статей никогда революции не сделают.

Тем-то политическая борьба и красива, что это протест против действительности, против возможности во имя человеческого достоинства.

«Так прогоните правительство» — это формула всякой политической борьбы. Это очень просто, но для России невозможно. Когда читаешь статьи Герцена в «Колоколе»,[11] написанные этим сознательным языком личности, который вышел теперь из употребления, статьи, в которых каждый день назавтра ожидается революция, и сообразишь, что это ожидание уже 40 лет идет не ослабевая и не удовлетворяясь, то невольно усумняешься в революционном значении двух последних лет.

Vae dubitantibus!!*

Макс.

P.S. Громадная просьба, которую исполни немедленно. Пойди на Арбат в Мало-Николо-Песковский пер<еулок>, найди дом Кругликовых и спроси там Марью Сергеевну или Наталью Сергеевну Кругликову. Им ты передашь прилагаемое письмо, но только непременно из рук в руки: в доме не оставляй. А потом скажи: «Макс просит сообщить ему адрес Елизаветы Сергеевны».[12] И этот адрес ты мне, пожалуйста, напиши. Их можно застать дома верно около 12 часов (дня, конечно).

До свиданья.

Пойди к Любе Вяземской. Можешь им сообщить, что она в Москве.

[1] Ответ на письмо Пешковского из Бердянска от 24 января 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964, л. 1–4 об.), начинавшееся словами: «Дорогой Макс! Мне очень совестно, что так давно не писал тебе, но надеюсь, что это не прервет окончательно нашей переписки».

[2] См. п. 230, 233, примеч. 1 к п. 237. В цитированном письме Пешковский уведомлял Волошина, что не успел зайти в редакцию «Курьера» до отъезда из Москвы.

[3] См. п. 236.

* Горе нерешительным!! (*лат.*)

[4] Упоминаемое письмо Волошина к Пешковскому, видимо, не сохранилось.

[5] В цитированном письме Пешковский просил Волошина рекомендовать его кому-либо из круга его «обширного запаса знакомых» в Москве, добавляя: «...женщину я в данном случае предпочитаю мужчине, барышню замужней женщине <...> мне очень бы хотелось жениться, и, кроме того, мужские знакомства у меня уже есть».

[6] Пешковский писал Волошину 24 января: «12-го декабря я поехал в Бердянск учиться спать, так как это мне стало настоятельно необходимо. Я надеялся, что общая спячка такого захолустья, как Бердянск, подействует заразительно и на мои нервы, но вышло не совсем так <...> не надеюсь, чтобы и в этом полугодии я смог серьезно заниматься (минувшее у меня, можно сказать, пропало)».

[7] См. п. 237, примеч. 2.

[8] Впоследствии Волошин в краткой форме отразил содержание этого разговора с Георгом Брандесом в наброске «Интеллигенция 80-х годов» (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 671).

[9] Кн. В.П. Мещерский издавал в 1872–1877 гг. и в 1883–1914 гг. издавал и редактировал газету-журнал «Гражданин», в которой резко выступал против либерализма и революционного радикализма, призывал к усилению роли дворянства, самодержавия и церкви.

[10] Подразумевается первая глава сатирического романа А.В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», опубликованная в петербургской газете «Россия» 13/26 января 1902 г. и представляющая собой памфлет на царствующее семейство; на следующий день автор был арестован и отправлен в Восточную Сибирь, издание газеты приостановлено. Обстоятельства, связанные с этой публикацией, изложены Амфитеатровым в очерке «"Господа Обмановы": история романа и ссылки» (1906). См.: *Амфитеатров А.В.* Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 90–139, 446–454 (комментарии А.И. Рейтблата).

[11] Бесцензурная русская газета «Колокол» издавалась А.И. Герценом и Н.П. Огаревым в Лондоне с 1857 по 1867 г., всего вышло 245 номеров. Факсимильное издание – «Колокол». Вып. 1–11. М., 1960–1964.

[12] Е.С. Кругликова.

239. Л.О. ВЯЗЕМСКОЙ

6/19 февраля 1902 г. Париж

19 février 1902.
17, Rue Boissonade.

Дорогая Люба!

Программа твоего училища страшно интересна.[1] Она нова и революционна, хотя с последним ты, верно, не согласишься. Каждый из нас раз в жизни был гением — именно тогда, когда он был ребенком. Гениальность — это широкий дар великих обобщений, а именно этим даром ребенок одарен в высшей степени.

Каждый ребенок в течение десяти лет совершает ту умственную работу, на которую взрослым людям понадобилось много тысяч лет.[2]

Весь ум ребенка приспособлен к восприятию окончательных выводов и отвлеченных идей, а как раз в это благодатное время детей заставляют останавливаться на разных подробностях, учить наизусть никому не нужные правила, заставляют насильно верить в такие положения и гипотезы, в которые никто из преподавателей сам не верит. Кто верит в необходимость буквы «ѣ» или знания катехизиса? Кто верит в необходимость правописания и орфографии? Зачем от детей так тщательно скрывают науку? Теперешние педагоги — это посредственности, завидующие гению, это Сальери, ежедневно отравляющие Моцарта.[3] Кто из нас говорит грамматическими правилами? Мы всегда говорим ошибками — язык течет, а не стоит на месте, где же те правила, те законы, по которым мы говорим? Почему их не дают детям?

Наше правописание очень красиво — в слове мы видим руины прошлого языка, пережитки былого, только зачем заставлять детей строить эти руины, когда им надо цельные полнозвучные здания для выражения их мыслей в звуках? Зачем уничтожать вечный смысл «буквы» как символ звука. Исторические эмоции орфографии станут понятны ребенку после, когда он начнет понимать прелесть истории.

Заказ № 5706

А почему историю всегда преподают сзаду наперед? Для нас история начинается с листа сегодняшней газеты и постепенно, сквозь средние века, восходит к грекам и Египту. Тогда она понятна для нас и вполне последовательна в своем течении, а ее всегда пишут и учат шиворот-навыворот. Удивительно еще то, что кто-нибудь может находить хоть какой-нибудь интерес в каких-то греках и римлянах, которые являются перед ним неизвестно откуда, неизвестно почему.

Почему ребенку взрослые всегда хотят показать, что они знают всё? Зачем они скрывают от него то, что составляет действительную силу всего человеческого знания — тайну. Ребенок больше чем кто-либо способен понять поэзию тайны, а ее от него скрывают разноцветными тряпочками священной истории и христианского богословия, которыми всегда завешивают то, что служит всегда основой религиозно-философских обобщений. Тайна — страшна. Но ведь это взрослые — трусы и посредственности, а не дети. Это дает слишком много работы для мысли? Но ведь в этом и лежит воспитание мысли. Кто станет обрезать крылья орленку для того, чтобы научить его летать? А мы это всегда делаем с детьми. То, что происходит теперь, это только называется воспитанием, а на самом деле это отчаянная борьба взрослых против постоянно надвигающегося прибоя молодой гениальной мысли. Ребенок — это заведомый преступник, которого к десяти годам необходимо посадить в тюрьму, подвергнуть всевозможным видам пыток, для того чтобы сделать его мозги способными к общежитию при современном строе общества.

Воспитание — это преступление против человечества.

Отголоски всего этого я почувствовал в твоей программе. Во время будущей великой революции (только не социальной — я теперь что хочешь, но только не социалист) одним из первых актов будет «провозглашение прав ребенка». Пока возможна только тайная защита этих прав, и мне кажется, что в твоей программе я вижу зародыши этой конспирации и с глубокой радостью приветствую их. Из-под обычных слов в ней уже бьет новое содержание.

В дополнение к учебной части твоей программы я могу только указать тебе на необходимость того, что во Франции

называется художественной грамотой, т.е. первоначальное рисование с натуры без помощи геометрических фигур по американскому способу: подробности этого ты можешь найти в докладе г-на Пащенко, сделанном министерству финансов в декабре прошлого года.[4]

Относительно твоего затруднения с директорством, мне казалось бы практичнее сперва найти подставное лицо (что ведь вовсе не трудно), а после уже хлопотать об исключении из правила.

Пешковскому я пишу одновременно с этим письмом,[5] чтобы он сейчас же пошел к тебе, а об тебе и о твоем плане он достаточно знает. Дай ему только непременно прочесть свою программу – это его очень увлечет. Юр<ию> Анд<реевичу> Галаб<утскому> я напишу на днях, пошлю ему твою программу и попрошу его написать тебе об ней.[6] Она его должна заинтересовать, и это будет великолепный предлог для начала вашего знакомства.

Теперь относительно статьи:[7] общий характер моего отношения к воспитанию вообще, и к твоей программе в частности, ты видишь из этого письма. Я бы мог на эту тему написать статью, конечно, в более последовательной и яркой форме выставляя свои мысли, чем это я сделал здесь, но такую статью едва ли бы приняли в «Русс<кой> Мысли» и едва ли бы ты сама, я думаю, на нее согласилась. Если хочешь, я возьмусь за статью, но именно в этом духе, не иначе, но за помещение ее в «Рус<ской> Мысли» не ручаюсь. Мне кажется, что для твоих целей Пешковский оказался бы пригоднее – он гораздо положительнее и менее парадоксален по внешности изложения. Я бы постарался его статью устроить в «Рус<ской> Мысли» через моих друзей Арнольда или Лаврова. Да вот: хочешь познакомиться с Арнольдом? Он очень интересен и очень близок с редакцией, т<ак> к<ак> женат на дочери Гольцева. Это один из моих очень близких друзей. Если хочешь – я напишу ему, чтобы он зашел к тебе.

Твой поцелуй я Елизав<ете> Сер<геевне>[8] передал. Только твое многозначительное многоточие не попало в цель, т<ак> к<ак> гаданье оказалось неверным.

Не приедешь ли ты в Париж к лету? Я буду до половины июля в городе, а потом месяца на 3 уеду в Сицилию и в Африку.[9]

Я теперь в сношения<х> с «Вестником Всемирной Истории»,[10] так что могу поместить там что-нибудь, если надо.

Если захочешь поскорее познакомиться с Арнольдом, то попроси от моего имени Пешковского сделать это: он с ним, кажется, видится, а то я ему напишу, когда получу твой ответ.

Я пока был занят своей лекцией, которую я читал в Русс<кой> Школе.[11] Она (т.е. Рус<ская> Школа) в своем настоящем виде не имеет больших шансов на существование, но что из нее выйдет, трудно сказать. Ясно только то, что для тех, кто в ней теперь читает, «свободное слово» вовсе не надо. Все это могло бы читаться и в России. А для некоторых quasi-радикальных выходок Парижской школы совсем не было надо. Главная ошибка та, что школа подделывается под уровень и интересы слушателей, а слушатели привезли с собой из России вечную марксистскую мертвечину и полное непонимание и отсутствие интереса к живой европейской мысли.

Страшно серо в этой школе. Выезжают только на гастролерах. Будет, напр<имер>, Брандес на днях читать.[12] Я с ним познакомился и провел с ним два вечера.

Это действительно живой человек: таких в России не встретишь. Один огонь мысли и остроумия.

До свиданья.
Макс.

[1] Речь идет о программе для задуманной частной гимназии (ср. п. 236, примеч. 1).

[2] Эти положения Волошин развивает в последующем творчестве. См. наброски статьи «Трагический зверинец» (1907), статью «Откровения детских игр» (1907) (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 565–567; Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 187–188). Первотолчком для них могла послужить автобиографическая «Книга моего друга» («Le livre de mon ami», 1885) Анатоля Франса («Книга Сюзанны», ч. 1, гл. III): «Взрослый человек, который за двенадцать лет сделал бы столько полезных открытий, сколько Сюзанна за двенадцать месяцев, был бы полубогом. Дети – непризнанные гении: они овладевают миром со сверхчеловеческой энергией. Ничто не может сравниться с этим первым толчком

жизни, с этим первым ростком души» (*Франс Анатоль*. Собр. соч.: В 8 т. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 1. С. 558. Перевод Н.А. Коган).

[3] Сюжетная коллизия «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

[4] Речь идет об экспонатах педагогических отделов Франции и Северо-Американских Соединенных Штатов, показанных на всемирной выставке в Париже в 1900 г.: «Особый интерес представляет американская система рисования с натуры и пользование рисунками для иллюстрации всякого рода домашних и классных письменных работ <...> Приемы рисования в американских школах и удивительные результаты, достигаемые в них, вызвали удивление международного жюри на выставке и породили уже в Западной Европе целую литературу» («Выставка экспонатов французского и американского педагогических отделов в Париже, в 1900 году» // Журнал Министерства Народного Просвещения. Ч. 338. 1901. Декабрь. Отд. IV. С. 152).

[5] См. п. 238.

[6] Письма Волошина к Ю.А. Галабутскому за 1902 г., вероятно, не сохранились.

[7] Видимо, в неизвестном нам письме Вяземская предлагала Волошину написать статью, содержащую отклик на выдвинутую ею педагогическую программу.

[8] Е.С. Кругликова.

[9] Замысел этого путешествия не был реализован.

[10] См. примеч. 2 к п. 233.

[11] См. п. 237, примеч. 2.

[12] Волошин был на обеих лекциях Г. Брандеса, прочитанных в парижской Русской школе в феврале 1902 г. См.: *Брандес Г.* Великие люди, как источник и цель цивилизации. (Две лекции, прочитанные в парижской Русской высшей школе общественных наук. Перевод с рукописи) // Научное Обозрение. 1902. № 8. С. 69–80; № 9. С. 7–16.

240. Я.А. ГЛОТОВУ

11/24 февраля 1902 г. Париж

Дорогой Яша!

Я до сих пор не послал тебе carte postale,* потому что ждал выхода новой серии. То, что вышло пока, было малоин-

* Почтовая карточка (*фр.*).

тересно и не художественно. На днях вышлю. Ну вот... Тебе, конечно, известно, что в Испании революция.[1] Вся Каталония охвачена восстанием. В Барцелоне ожидают провозглашения коммуны, Андалузия начинает шевелиться, люди порядка спасаются во Францию, Вейлера готовятся провозгласить диктатором....[2] Словом, Испания трещит и, может быть, уже завтра начнет расползаться по швам. Я несколько дней тому назад отправил в «Курьер» предложение отправиться корреспондентом в Барцелону, обещая пробраться хотя бы пешком, если железнодорожные сношения будут прерваны, как это уже было несколько дней.

И глуп будет Фейгин, если откажется от моих услуг и моих условий; я прошу всего 300 р. на дорогу и больше ничего. Это менее чем мало. Теперь уже специальные корреспонденты десятками летят в Барцелону и любой европейский журнал согласился бы на мои условия, но примет ли их Фейгин, это весьма проблематично. Но ты можешь представить, как я рвусь в Испанию и с каким нетерпением жду ответа. У меня там есть и знакомые и мне обещана масса рекомендательных писем, кроме того в Барцелону едет один мой знакомый англичанин — корреспондент Daily News.[3] Словом, нельзя представить себе более благоприятных условий. В Барцелоне перестрелка на улицах не прекращается ни днем, ни ночью и в предместьи Gracia была целая битва. Я полон теперь только Испанией.

В газетах были телеграммы, что в Петербурге уже начались беспорядки, что разнесся слух <о> смерти Толстого[4] и студенты собрались в Казанский собор и требовали, чтобы служили панихиду. Удивительное, вероятно, впечатление на французов производит то, что русские студенческие беспорядки всегда с панихиды начинаются. И всегда правительство запрещает служить эту панихиду. Какая клерикальная молодежь! какое атеистическое правительство!

Требовать, чтобы по Толстом служили православную панихиду: может ли быть что-нибудь более нелепое?

На этой неделе Брандес будет читать в русской школе конферанс: «Великий человек, как источник и конечная цель цивилизации».[5] Вот марксисты-то взовьются на дыбы... Впро-

чем, взвиваться не будут, а просто не поймут и будут мирно аплодировать.

Прения об моем реферате, длившиеся целый месяц, наконец окончились. Париж теперь занят празднованием столетия Гюго,[6] которое начинается завтра и будет продолжаться целую неделю. Я теперь пишу статью об нескольких молодых и очень оригинальных скульпторах, с которыми я недавно познакомился. Мне обещали ее поместить в «Мире Искусства».[7]

Обрываю письмо, т<ак> к<ак> гаснет лампа и мама давно уже спит. Впрочем, ты и не стоишь длинного письма, т<ак> к<ак> сам пишешь только открытки.

Целуй бабушку. Кланяйся Ал<ександре> Мих<айловне>.[8] Ответит ли она мне или рассержена за долгое молчание?

Видаешь ли ты Веру Нич?

Макс.

17. Rue Boissonade. Paris.
24 févrie<r> 1902.

[1] 8/21 февраля 1902 г. в Барселоне началась всеобщая забастовка рабочих, введено военное положение; на следующий день волнения в Испании распространились на Валенсию, Сеговию, Таррагон.

[2] Генерал Валериано Вейлер-и-Николау с марта 1901 г. занимал пост военного министра Испании; в феврале 1902 г. подавил восстание в Барселоне, в декабре того же года вышел в отставку вместе со всем кабинетом.

[3] См. п. 223, примеч. 3.

[4] Л.Н. Толстой тяжело заболел в начале января 1902 г. (воспаление легких, осложненное другими недугами), в течение нескольких недель находился на грани смерти, затем медленно выздоравливал на протяжении всей весны. См.: *Толстая С.А.* Дневники. В 2 т. М.: Худож. литература, 1978. Т. 2. С. 36–69.

[5] См. примеч. 12 к п. 239.

[6] Виктор Гюго родился 26 февраля 1802 г. В день юбилея были открыты памятник Гюго на площади его имени, а также выставка в Национальной библиотеке.

[7] В журнале «Мир Искусства» публикаций Волошина не было. Упоминаемая статья Волошина не выявлена (возможно, не была завершена).

[8] А.М. Петрова.

241. М.Л. АУЭР

15/28 февраля 1902 г. Париж[1]

Марья Львовна!
Я глубоко
перед Вами извиняюсь,
что, не выучив урока,
на урок к вам не являюсь.
Дело в том, что – редкий случай
при всегдашней неохоте:
чую я призыв могучий
к свежей творческой работе.
Потому ль я нынче в духе,
Что поэмы Гейне «К Мухе»,[2]
Как Апухтинские «Мухи»,[3]
мне мешали ночью спать?
иль в лице у «Бяки-Мухи»*
грациозных линий Мухи[4]
ясно вспомнилась печать?
В библиотеку иду я
кончить «письма об Андорре»,[5]
эту длинную статью я
принесу к Вам верно вскоре,
и прочту, никем не прошен.
До свиданья.
Макс Волошин.

[1] Закрытое письмо – «секретка». Штемпель: Paris 28 févr. soir 02. Адресовано: «M-lle Marie Auer. 9. Rue Goethe». В тексте послания-экспромта обыгрывается домашнее прозвище М.Л. Ауэр – Муха. О чувстве, которое он тогда испытывал к М.Л. Ауэр, Волошин написал в «Истории моей души» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 127–135).

[2] Подразумевается стихотворение Г. Гейне «Капризы влюбленных» («Die Launen der Verliebten») из цикла «Стихотворения. 1853–1854». Влюбленные – жук и муха.

[3] Стихотворение А.Н. Апухтина «Мухи» («Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою...», 1873). См.: *Апухтин А.Н.* Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1991. С. 180. Б-ка поэта. Большая серия.

---

* извините... только для рифмы. *(Примеч. Волошина)*

[4] Имеется в виду видный мастер стиля модерн чешский художник Альфонс Муха (1860–1939), в 1888–1910 гг. работавший во Франции.

[5] Подразумевается незавершенная статья «Андорра» (см. примеч. 4 к п. 185).

242. А.М. ПЕТРОВОЙ

23 февраля / 8 марта 1902 г. Париж

8 марта 1902 г.
Paris. 17. Rue Boissonade.

Вчера Париж справлял Mi-Carême.[1] Целый день с утра шла битва конфетти, по улицам шныряли маски, проходили процессии. Веяло весной. Толпа купалась в жидких, все расцвечивающих лучах парижского солнца. Нога по щиколку увязала в грудах разноцветных конфетти...

И вот среди этого гама и блеска упало <?> письмо Лёли Ляминой: «У меня был обыск. Не пиши мне. Все, захваченные на сходке 6 февраля, ссылаются в Сибирь на 6 лет. В числе них арестован Пешковский. У него нашли револьвер».[2]

Понимаете, что это значит? Если это ссылка — то это благодеяние для него: он отдохнет. Но пред этим ведь месяцы тюрьмы — с его нервами, с его бессонницами, с его желудком, при той тюремной пище, которую даже я не выдерживал. А потом — взят с оружием в руках — за это ведь ссылали в Якутскую область, за это бывало и хуже. Верно ли то, что он был с револьвером? Я думаю: да.

Если берут револьверы для защиты от разбойников, которых нет, то взять револьвер для самозащиты, когда идешь в России по улице, — гораздо нормальнее.

Что это была за сходка? Я читал сообщение Ванновского.[3] Конечно, там не было ни слова правды, как во всех правительственных сообщениях. Но что же было? Действительно ли ломали двери? Действительно ли грабили квартиру? Были ли там среди студентов рабочие, которых приглашали на сходку? Если были, то все происшедшее вполне нормаль-

но. То, что нормально и естественно для рабочего, то позорно для студента. Идти *одновременно* с рабочими – это имеет свой смысл. Но идти вместе с ними, идти в тот момент, когда еще не началась междоусобная война, – это ложь, это ненужный компромисс. Разве уже наступил в России тот момент, когда нужна уже только физическая военная сила? Разве русские революционеры кого-нибудь когда-нибудь бьют?

Недавно в Париже были приговорены к трехмесячному тюремному заключению пять русских студентов, за избиение полиции во время одних уличных беспорядков анархического характера, бывших с неделю тому назад. Они представляли свидетелей, что не они, а их били. Трибунал не поверил. Наивные французские судьи. Они думают, что русские революционеры кого-нибудь бьют! Они не подозревают, что вся сущность русской революции заключается в том, что молодые люди собираются толпами, чтобы быть побитыми вместе. В России революционер не тот,* кто бьет: это всегда внушает уважение – это начальство. А тот, кто желает, чтобы его побили в счет общего положения.

Ванновский сообщает, что была после ухода бунтовщиков найдена «одна гиря, завернутая в тряпку» (на всю толпу!!!) да какие-то железные прутья.

«Толпа сдалась без сопротивления» и ссылается вся в Сибирь....

О, до чего все это нелепо!

Требовать «Habeas Corpus»[4] и иметь на всю толпу одну гирю, обернутую в тряпку.

В виде революционного протеста отправлять<ся> без сопротивления в Сибирь!!!

«Ваше правительство... Так прогоните его... что, у вас мужчин, что ли, нет», – говорил мне Жорж Брандес.[5] Это действительно голос Европейца.

Нелепая страна! Нелепые порядки! У нас есть революция, но нет ни одного революционера. Тридцать лет назад у нас было несколько десятков настоящих революционеров и не было революции. Истинное революционерство лежит в со-

* *В автографе, вероятно, описка*: так

знании своего права, в оскорбленном чувстве права. Революционером может быть всякий. Лишите жандарма права бить и оттаптывать мозоли задом своей лошади, и он станет революционером, потому что чувство его права будет оскорблено. Когда оскорблено чувство права, то у обиженного нет никакой мысли, к чему может привести его порыв мести. Революцию можно делать только в самозабвении. У нас ни у кого нет сознания своего права быть небитым. А это первое право, и, не сознав его, нельзя идти дальше.

Наши марксисты – не революционеры. Никакие экономические теории и пропаганды не могут двинуть дела революции ни на волос.

Наша заграничная «свободная пресса» – она еще скучнее, еще беднее, чем наша легальная. В ней говорят двумя языками: суконным языком скучного профессора или холуйскими вывертами лакея, дерзящего господину. Со времен Герцена не было свободного языка «человека».

Какое позорное время!

Когда доходят вести об аресте кого-нибудь из знакомых, об ссылке... тогда является неудержимое (чисто русское) желание ехать в Россию, чтобы быть там арестованным тоже.... Потом спохватываешься, до чего это глупо. Ехать т<ак>, как ехал Карпович.[6] Для это<го> надобно великое душевное потрясение. Экстаз мести. Стыдно оставаться на свободе, когда другие сидят в тюрьме. «В стране, где существует рабство, самое подобающее место для честного человека – тюрьма».[7] Это бесконечно верно. Это единственное место, где не стыдно. И русская молодежь бессознательно, от стыда стремится в тюрьму. У нас две табели о рангах, два ряда орденов: ордена вверх, ордена вниз. Станислав – обыск. Анна – арест. Георгий – каторга и т.д.

У нас есть и генералы от революции, которые так же почетно декорируют стены заграничных митингов, как благонамеренные генералы на свадьбах.

Бедный Саша...[8] Мне страшно себе представить его в одиночке. А ведь я это ему предсказывал, я ему писал об этом осенью.

«Неосторожность», <с>кажете Вы. Нет! Довольно осторожности! Мы слишком долго были чересчур осторожны. Все наше бессилие, все наше несчастие в отсутствии неосторожности и неблагоразумия.

Проклятая страна! Мне бывает так стыдно быть русским.

До свиданья. Мама передаст Вам от меня дивную книгу Ривьера и расскажет Вам о Париже.[9] Напишите мне о Саше, если что знаете.

Поклон всем.

Max.

[1] Mi-Carême (середина Поста – *фр.*) – четверг на третьей неделе Великого поста, отмечаемый во Франции как праздник.

[2] Цитируемое письмо среди сохранившихся в архиве Волошина писем Е. Ляминой к нему отсутствует. Имеется другое ее письмо, от 16 февраля 1902 г., сходного содержания – с сообщением об обыске у сестры: «Вчера, 15-го фев<раля>, у Любы был обыск, но ничего явного политического не нашли. Забрали массу писем ее знакомых, ни к каким делам подозрительным не причастных. Сыщик-околодочный больше всего все-таки вертелся и рылся в моих вещах и письмах <...> на этот раз обыск был очень тщательный. Взяли даже все Любины документы. Сегодня днем меня вызывали в участок и спросили “сколько мне лет”. Вероятно, желали проверить, не нахожусь ли я в бегах, т<ак> к<ак> сегодня должны из Бутырок отправлять куда-то студентов. Всех студентов, бывших на сходке, без исключения, ссылают в восточные губернии *на 6 лет!*» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[3] См. примеч. 5 к п. 179. Подразумевается обнародованный в печати Приказ министра народного просвещения П.С. Ванновского (14 февраля 1902. № 1), в котором объявлялось об исключении из Московского университета и других учебных заведений студентов, арестованных полицией и военными в ночь на 10 февраля 1902 г., а также сообщалось о ходе студенческих беспорядков в университете 9 февраля, в которых участвовало свыше 400 человек; при этом о причинах волнений и требованиях студентов не сообщалось ничего, зато всячески подчеркивался хулиганский, противоправный характер действий протестующих: «...часть толпы поднялась в третий этаж, где взломала входные двери в квартиру заведующего юридическим семинарием приват-доцента Чистякова и, принудив последнего удалиться, расположилась и в этой квартире. Здесь ею были

уничтожены все съестные припасы, взломан шкаф с чайною посудою, поломаны, попорчены и уничтожены многие вещи, составлявшие собственность Чистякова»; «При осмотре очищенных от толпы университетских помещений <...> оказались поломанными: парты в аудиториях, столы для практических занятий, стулья, конторки <...> На полу найдены: обмотанная тряпкою гиря, финские ножи, длинная палка, выломанные из университетской решетки железные прутья, а при обыске у некоторых арестованных отобраны финские ножи, кастеты и револьверы; во многих местах были устроены баррикады» (Новое Время. 1902. № 9323. 16 февр. С. 2).

[4] Habeas corpus – название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 г.

[5] См. п. 238.

[6] П.В. Карпович (см. примеч. 2 к п. 171), исключенный из университета за участие в студенческих волнениях, уехал за границу (Волошин встречал его в Берлине), но вернулся в Россию, когда там началась новая волна репрессий против студенчества, и совершил покушение на министра народного просвещения Н.П. Боголепова. Был осужден на 20 лет каторги.

[7] Подразумеваются размышления Нехлюдова в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» (ч. 2, гл. XXIX): «Он вспоминал слова американского писателя Торо, который, в то время как в Америке было рабство, говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма. Точно так же думал Нехлюдов <...>. “Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма!” – думал он. Генри Дэвид Торо сформулировал свою позицию в статье «О гражданском неповиновении» («On Civil Dicobedience», 1849): «...если бы тысяча, или сто, или десять человек <...> всего десять *честных* людей – или даже *один* честный человек в нашем штате Массачусетс *отказался владеть рабами*, вышел бы из этого сообщества и был бы за это посажен в тюрьму, это означало бы уничтожение рабства в Америке. <...> При правительстве, которое несправедливо заключает в тюрьму, самое подходящее место для справедливого человека – в тюрьме» (Эстетика американского романтизма. М.: Искусство, 1977. С. 344–345. Перевод З.Е. Александровой).

[8] А.М. Пешковский.

[9] Е.О. Кириенко-Волошина выехала из Парижа в Россию 22 февраля / 7 марта 1902 г.

243. Я.А. ГЛОТОВУ

26 февраля / 10 марта 1902 г. Париж

10 mars 1902.
Paris. 17. Rue Boissonade.

Действительно Россия отделена от Европы междупланетными расстояниями. Последние дни я живу здесь только тем, что происходило в России месяц тому назад. Только 3 дня как начали приходить вести о 8 и 9 февраля.[1] Смотришь на планету и видишь то, что происходило миллионы лет назад. За этот месяц могли произойти миллионы событий, а к нам только что добежала дрожь негодования от 8 февраля.

Никакие абстрактные побоища в Петербурге не могли меня так потрясти, как конкретный арест Пешковского в Москве. При первом известии, полученном от Лёли,[2] я его счел окончательно погибшим, и только когда распространились слухи о ссылке всех без суда и следствия в Сибирь, я успокоился за него. Ссылка для него может быть полезна: она спасет его от умственного переутомления, а тюрьма, одиночка с ее допросами была бы для него смертельна. Крым говорит, что Саша будет сидеть 3 месяца.[3] Почему? Откуда эти сведения? Здесь тоже ходили эти слухи.

Выдержит ли он эти три месяца? В общей он или в одиночке?

До этого известия я как-то равнодушно относился к русским известиям, но тут я нашел, что правительство позволяет себе слишком много.

Ужасно стыдно быть на свободе, когда другие сидят в тюрьме. Первое самое естественное желание – сейчас же ехать в Россию. Но ведь это глупо. Колоссально глупо. Ехать для того, чтобы быть арестованным. Нет! и теперь еще рано.

Студенты были с револьверами, но сдались без сопротивления. И это уже колоссальный шаг. Когда казаки перестанут бить, а начнут стрелять, тогда будет пора. Нужно, чтобы была борьба или бы не было ничего. Так невыносимо, как теперь. Нельзя делать революцию на коленях, к<ак> ее делали русские крестьяне. Толстовство существовало задолго до Толстого и всегда было основным элементом русской природы.

Пока наше революционерство заключалось только в том, что мы требовали, чтобы нас били. Русский революционер никогда никого не бьет, потому что тот, кто начинает бить с сознанием своего права без вызова с другой стороны, это уже не бунтовщик, а начальство. Пора нам перестать быть бунтовщиками и сделаться начальством.

Да! В Испанию я, конечно, не еду, т<ак> к<ак> там все кончилось и Фейгин по заведенному обыкновению на письмо мне не ответил.[4] Теперь нормальнее было бы, конечно, ехать в Россию, но я, к сожалению, чувствую себя еще слишком русским, чтобы сделать это.

Памфлет, говоришь ты?[5] Бросить переоценки и приняться за памфлет? Да что же я смогу писать, пока не дам себе ясного отчета в современности и не приведу ее в связи с историей. Одним порывом чувства не напишешь памфлета. Надо найти образы, надо иметь точные и твердые мысли, на которые можно крепко упереться ногами, иначе получатся те же патетические и восклицательные разглагольствования или невыносимо экономические соображения, которые я не выношу на страницах «Искры», «Зари»[6] и других безнадежно революционных русских журналов. Если я не с ними, мне нужно быть самому, но я еще не нащупал фундамента и я должен молчать, хотя язык часто колотится во рту от негодования, как телеграфный молоточек. Даже стих меня не слушается, когда его хочу столкнуть на эту дорогу.

Почему обыск у Любы?[7] Вот-то переполоху, я думаю. Для ее гражданского воспитания это все-таки полезно.

Мне ужасно совестно, что мои стихи от 19 февраля[8] попались в Охранку. Они ведь очень слабы. Я готов писать Зубатову и просить его не судить об моем поэтическом таланте по ним. Уж лучше бы я ему написал XIX век или Версаль.[9] Версаль всегда лицам из администрации нравился, особенно ташкентскому полицеймейстеру. Но «В вагоне» и «Кастаньеты»[10] я считаю все-таки лучшими. Я решил открыток тебе не посылать. Мама тебе скажет, почему. Она выехала вечером 7 марта и должна быть уже в Феодосии.

Здесь в посольских кругах говорят, что царь сочиняет дворянскую конституцию. В сущности это мало интересно

само по себе, т<ак> к<ак> это, конечно, будет нечто среднее между Гаагским конгрессом[11] и Ванновским. А что из этих двух созданий нелепее и скучнее – не разберешь.

Для тебя и для Лёли[12] вся теперешняя кутерьма, я думаю, будет полезна. Материалу будет так много, что стремиться уловить тебя будет бесполезною роскошью.

Почти все парижские газеты упорно молчат об русских делах, а те, которые говорят, те плохо осведомлены, т<ак> к<ак> сведения доходят до них через десятые руки. Лучше всех осведомлена была «Matin»,[13] но прошлой весной она сразу захлопнулась и с тех пор ни одной строчки об русских делах. Говорят об обширных русских подкупах в прессе, что имеет свое основание.

В Рус<ской> Школе,[14] которая влачит теперь существование довольно бесцветное, иногда ходят по рукам листки, так же скверно отгектографированные, как в России, в которых буквы-привидения после долгого напряженного наблюдения раскрывают события, происходившие месяц назад. Ходят и прекрасно отпечатанные листки Еврейского рабочего союза,[15] которые сообщают все факты мелкие и неинтересные. Русская Школа умудрилась выйти какой-то ужасно казенной и серой. Слушая теперешних лекторов, невольно приходит вопрос: и неужели им так-таки нечего сказать? Неужели цензурные требования успели уже обратиться в естественный барьер для русской мысли. Главное и здесь все тот же бессознательный страх начальства, но еще с прибавкой неизвестности, откуда оно придет: со стороны ли французс<кого> правит<ельства>, со стороны ли рус<ского> посольства, или российских репрессий. Странно как-то в Русс<кой> школе. Выезжают исключительно на гастролерах: вчера Брандес, сегодня Мечников прочтут по паре лекций,[16] и на них аудитория ломится от толпы, а потом снова по 10 человек.

Нет, теперь все-таки тяжелое душное время, несмотря на револьверы в карманах московских студентов, ни на изобретение новых приемов избиения, практикуемых в Петербурге, ни на ту знаменитую и единственную чугунную гирю, завернутую в тряпку и забытую в квартире приват-доцента Чистя-

кова, которая привела в такой добродетельный ужас отставного военного министра Ванновского.[17]

«Il faut que la porte soit fermée ou non»* — приходится повторить слова.[18] А пока не надо ни ехать в Россию, ни писать памфлетов, а только присматриваться, разбираться, и копить — это главное — копить негодование... Скоро придет время для всего. А к тому времени и мы будем готовы. Dixi.**

Max.

[1] В эти дни в Москве были проведены массовые аресты членов студенческих организаций.

[2] См. примеч. 2 к п. 242.

[3] Вероятно, это сообщение о А.М. Пешковском Волошин получил в одном из неизвестных нам писем. А.А. Крым, ранее феодосийский гимназист, был тогда студентом юридического факультета Московского университета.

[4] Имеется в виду подавление восстания в Барселоне. См. п. 240, примеч. 1.

[5] Подразумевается приписка Глотова к письму Е. Ляминой Волошину от 16 февраля 1902 г.: «Если попадешь в корреспонденты, уведомь – выпишу "Курьер". А если не поедешь в Испанию, займись Россией! Она, кажется, скоро пойдет по ее стопам. Право, попробуй силы на памфлете. Ты только подумай, ты будешь товарищем по оружию Эразма, Раблэ, Свифта, Бёрне и других приличных людей <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 803).

[6] «Искра» — первая общерусская нелегальная марксистская газета, выходившая (последовательно — в Лейпциге, Мюнхене, Лондоне, Женеве) с декабря 1900 г. «Заря» — марксистский научно-политический журнал, издававшийся редакцией «Искры» в Штутгарте с апреля 1901 по август 1902 г.; всего вышло 4 номера (3 книги). См.: *Максимова В.А.* «Искра» и «Заря» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890–1904. Социал-демократические и общедемократические издания. М.: Наука, 1981. С. 90–135.

[7] Л.С. Лямина.

[8] О каких стихах Волошина идет речь, неясно.

[9] Неоконченная поэма «Девятнадцатый век» и стихотворение «Версальский сыр» (Т. 2 наст. изд. С. 524–535, 370–371).

* «Нужно, чтобы дверь была или закрыта, или нет» (*фр.*).

** Я сказал (*лат.*); т.е.: я сказал всё.

Заказ № 5706

[10] См.: Т. 1 наст. изд. С. 13–16.

[11] 1-я международная мирная конференция в Гааге (18 мая – 29 июля 1899 г.), на которой были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны.

[12] Е.С. Лямина.

[13] См. примеч. 6 к п. 230.

[14] Высшая Русская школа общественных наук в Париже.

[15] Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд), учрежден в сентябре 1897 г.

[16] См. п. 239, примеч. 12. И.И. Мечников прочитал в Высшей Русской школе лекцию «Откуда в нас страх смерти?» 28 февраля / 13 марта 1902 г.

[17] См. примеч. 3 к п. 242.

[18] «Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée» – заглавие одноактной комедии Альфреда де Мюссе «Нужно, чтобы дверь была закрыта или открыта» (1848), представляющее собой цитату из комедии «Ворчун» (действие 1-е, явл. 6) Давида Огюстена де Брюэ и Жана Палапра́.

244. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

27 февраля / 12 марта 1902 г. Париж

12 mars 1902.
17. Rue Boissonade.

Для мамы.[1]

Дорогая мама!

Письмо Ваше с границы получил только что.[2] Очень рад, что все обошлось благополучно. На другой день по Вашем отъезде я получил письмо от Яши,[3] в котором он мне рассказывает подробности об 9 февраля.[4] Хотя, впрочем, мне почти все это было уже заранее известно из раздававшихся в школе[5] бюллетеней. С Вашего отъезда я если не стал заниматься, то по крайней мере начал сидеть дома и раньше вставать. Сделал было попытку вставать ночью для занятий, но это оказалось бесполезно и невозможно.

Погода с Вашим отъездом сразу испортилась и стало холодно. Я думаю, что вы в Феодосии все-таки будете осведомлены лучше о происходящем в России, чем я. Здесь очень мало знают.

Теперь мы, кажется, с Якимченкой друг друга не стесняем.[6] Я обедаю и завтракаю дома, и это выходит совсем недурно и совсем не мешкотно.

Говорят, что дела «Вестника Всемирной Истории»[7] очень плохи, и я сомневаюсь, посылать ли Сухонину об Андорре, а не отправить ли лучше прямо в «Русс<кую> Мысль». Напишите мне, какое впечатление произвел Ривьер на Ал<ександру> Мих<айловну>[8] и какое впечатле<ние> произв<ел> Г-н?[9]

Итак, в будущем году на Архипелаге?[10]

Макс.

P.S. Да, а я ведь совсем забыл бабушкин адрес и не знаю, дойдет ли это письмо. Напишите мне его. Целую бабушку.

[1] Приписка слева синим карандашом. (Видимо, отправлено в одном конверте с письмами к другим адресатам.)

[2] Это письмо не сохранилось. В письме из Коктебеля от 6/19 марта (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 650, л. 1–2 об.) Е.О. извещала, что благополучно добралась до Феодосии 27 февраля.

[3] Это письмо Я.А. Глотова, в котором, видимо, шла речь о студенческих беспорядках, в архиве Волошина не сохранилось.

[4] В автографе – явная описка: «9 марта». См. примеч. 1 к п. 243.

[5] Подразумевается Высшая Русская школа в Париже.

[6] А.Г. Якимченко жил в это время вместе с Волошиным в ателье Е.С. Кругликовой.

[7] См. примеч. 2 к п. 233.

[8] А.М. Петрова. См. заключительные строки п. 242.

[9] Кто здесь имеется в виду, неясно.

[10] Подразумеваются греческие острова в Эгейском море.

245. А.М. ПЕТРОВОЙ

2/15 марта 1902 г. Париж

15 mars 1902.
17 Rue Boissonade. Paris.

Александре Михайловне – Макс.

Конечно, мама уже приехала и рассказала Вам все, что может служить ответом на Вашу открытку:[1] что в Испанию я не еду, т<ак> к<ак> там революция кончилась,[2] что реферат свой я бы с удовольствием Вам послал, если б он был тщатель-

нее написан:[3] это только обширный конспект, по которому я говорил, и притом начиненный разными гвоздями и крючками, чтобы раздразнить слушателей до словесного возражения, а крючков этих Вам я совсем показывать не хочу, т<ак> к<ак> они имеют смысл только в устной передаче, и я боюсь, чтобы Вы именно за них-то не ухватились. Я этой темой займусь еще сериозно и обработаю ее в статью. Тогда она пойдет к Вам на Ваш строгий и неправедный суд: «И судьи сидят там всё неправедные, и что ни решат, решенье у них всё неправое...»[4] Ну чего Вы на меня опять накинулись за то, что я написал, что «не поймут» лекции Брандеса.[5] Ведь так и вышло: никто ничего не понял и я первый: спросите у мамы.

Но это не то. А то важно, и с этим Вы должны будете согласиться: 1) Все русские люди вообще ничего не понимают в современных течениях европейского искусства и прежде всего потому, что не знают их, а не знают потому, что до этого им дела никакого нет. 2) Русские марксисты (а Рус<ская> школа ими переполнена) ничего не понимают и по самому марксическому существу своему не могут понять в теориях субъективизма и индивидуализма, совершенно чуждых всему строю русского студенческого мышления, а Брандес и является именно их-то представителем. Первую лекцию не поняли потому, что он в этот вечер невыносимо говорил по-французски, а вторую все поняли и устроили ему овацию на улице, чем доказали, что на этот раз уже ровно ничего не поняли, потому что скажи он это все по-русски и будь он сам русским, они бы за его слова тут же бы на месте его слопали.

Видите: я был совсем прав. Вы при сказуемом «не поймут» подразумевали подлежащее «людишки», а я подразумеваю гораздо худшее: «марксисты».

Относительно «всероссийского страха» я нисколько не в претензии, что Вам это передали. Ведь, помнится, я и сам писал Вам об этом в прошлом письме.[6] Я Вас в нем не упрекаю, потому что понимаю Вас, но мне страшно жаль, что это захватывает Вас и ставит на одну доску с другими российскими гражданами. То, что Вы боитесь не за себя, а за других, это еще хуже, еще безнадежнее (как обществен<ное> явление, конечно), потому что страх за других сжимает волю гораздо

более несокрушимыми обручами. Т<ак> к<ак> в этом случае вся нравственная правда человека только сильнее сжимает обруч страха. С точки зрения исторической пользы боязнь за себя все-таки утешительнее, чем боязнь за других. Из первой есть почетный нравственный исход, который может создаться под влиянием отчаяния, а в последней этот нормальный политический исход явится нравственным преступлением. «Кто пойдет за мной, пусть бросит мать и детей», «я меч, пришедший в мир...» — это говорит всякая идея, а не только Христос.[7]

И чего Вы пишете только открытки: столько желчи, столько богатейших идей для пространнейших нотаций, и вдруг все обрывается за недостатком места. Право обидно.

Но я сегодня ужасно не расположен ни сердиться, ни обижаться, хотя чувствую, что это невежливость с моей стороны.

Теперь у меня опять наступила полоса усиленных занятий и чтения. Я начал несколько новых стихотворений, но не пришлю их, пока не закончу совсем. Жду от Вас письма менее свирепого. Как Вам нравится Ривьер?

Макс.

Поклоны.

[1] Открытка — от 23 февраля 1902 г., получена в Париже 15 марта (н.ст.) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 950, л. 1).

[2] Подразумевается восстание в Барселоне, подавленное в конце февраля (н.ст.) 1902 г.

[3] Речь идет о тексте лекции «Опыт переоценки художественного значения Некрасова и Алексея Толстого» (см. п. 237, примеч. 2). 23 февраля Петрова писала Волошину: «Не знаю, как бы мне хотелось почитать Ваш штормовой реферат! Неужели нельзя бы было как-ниб<удь> прислать, хотя бы с Еленой Оттобальдовной?»

[4] Обыгрываются слова странницы Феклуши из действия 2-го (явл. 1) драмы А.Н. Островского «Гроза» (1859): «...что ни судят они, все неправильно. <...> И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные <...>» (*Островский А.Н.* Полн. собр. соч. М.: Гослитиздат, 1950. Т. 2. С. 227).

[5] См. п. 239, примеч. 12, п. 240, примеч. 5. В письме от 23 февраля Петрова замечала: «Судя по последним Вашим письмам, Вы, будто, немного затанцевались и попадаете иногда вместо коня по оглобле (по поводу лекций Брандеса: “не поймут!..”)».

[6] См. п. 242. 23 февраля Петрова писала Волошину: «Отчасти Вы правы, обвиняя меня в “всеросс<ийской> болезни” – страхе, но – я себе не принадлежу вовсе. Не сердитесь на то, что мне передали об этом. Обидного тут вовсе ничего нет, горького для меня – много, т.е. не в словах Ваших, а от сознания Вашей некоторой правоты и невозможности помочь себе».

[7] Ср.: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную» (Мф. XIX, 29); «...не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. X, 34).

246. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

2/15 марта 1902 г. Париж

15 mars 1902. Paris.
17. Rue Boissonade.

Маме – Макс.

Только что получил от Любы[1] письмо и 15 рублей. Она пишет из Голицына и от страху даже не подписывается. Спрашивает, сколько Вы истратили, т<ак> к<ак> не знает точно, сколько посылать.

Сегодня в «Matin»[2] была перепечатка из «Times»,[3] что, несмотря на требования Сипягина и Сер<гея> Алекс<андровича>, чтобы всех 500 чел<овек> сослали в Вост<очную> Сибирь, сосланы будут туда только 15, а остальные будут распределены по разным городам Европ<ейской> России.[4] Хороший и изобильный посев. Надеюсь, что Саша не окажется в числе 15<-ти>.[5] Но Вы все это наверное знаете. Была тоже телеграмма, что арестовано много офицеров за отказ передать солдатам инструкции об стрельбе в толпу.

Третьего дня была лекция Мечникова о смерти,[6] представлявшая совершенно захватывающий интерес. Он дал сперва обзор воззрений человечества на смерть, которую он называл матерью философии. И затем изложил свои воззрения: «Человек, будучи ребенком, – говорил он, – хочет вырасти – это вполне естественно. У взрослого человека тоже есть вечное стремление к дальнейшему физическому развитию. Это тоже нормально. Казалось бы, что у стариков долж-

но было рождаться подобное же стремленье умереть, а между тем этого совершенно нет. Это явление ненормальное. В действительности в развитии человеческого организма есть такой момент, когда у человека является новая потребность: смерти. Только этого предела достигают очень немногие благодаря искусственным условиям, в которые поставлена наша жизнь. Наблюдать такие случаи доводится необыкновенно редко, но в Библии, например, есть подобные факты. Об некоторых лицах, умиравших в глубокой старости, Библия говорит: «И умер насытившись жизнью».[7] При устранении разных ненормальностей, укорачивающих нашу жизнь, мы сможем достичь того предела, когда смерть перестает быть ужасом, а является естественной потребностью организма».

Касаясь половых инстинктов человека, он строил ту гипотезу, что, подобно тому как у некоторых насекомых создается новый класс бесполых особей, исполняющих разные рабочие занятия, так жизнь человека впоследствии разделится на два периода: половой лет до 40 и творчески производительный, который будет заменять то, что теперь является в виде некрасивого явления, называемого старостью. Все это он говорил с удивительным увлечением, и местами казалось, что присутствуешь при сцене из фантастического романа Фламмариона или Жюль Верна.

«Моя песня уже спета, — закончил он, — но вам или вашим детям, может быть, уже удастся воспользоваться этим».

Ему была устроена шумная овация на улице.[8]

Можете меня поздравить: я после Вашего отъезда безвыходно сижу дома, занимаюсь и читаю запоем, пишу стихи и сам готовлю себе обед: научился делать котлеты, макароны и картофель. Котлеты не покупные, а настоящие.

Пишите обо всем, что творится, что слышно о Пешковском и т.д.

Макс.

Целую бабушку.

[1] Л.С. Лямина.

[2] См. примеч. 6 к п. 230.

[3] «The Times» — английская ежедневная общественно-политическая газета, издается в Лондоне с 1785 г.

[4] Речь идет о готовившихся репрессиях против участников студенческих сходок в начале февраля 1902 г.

[5] А.М. Пешковский. См. п. 242, примеч. 2.

[6] См. примеч. 16 к п. 243.

[7] Ср.: «Давид, состарившись и насытившись *жизнью*, воцарил над Израилем сына своего Соломона» (1 Пар XXIII, 1).

[8] В ответном письме от 12/25 марта Е.О. отмечала: «Лекция Мечникова замечательно интересна, хотелось бы ее прочесть целиком; если можешь достать, пришли» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 650, л. 3).

247. Л.О. ВЯЗЕМСКОЙ

5/18 марта 1902 г. Париж

5/18 mars 1902.
17, Rue Boissonade. Paris.

Любе – Макс.

Ты так много вопросов затронула в своем письме,[1] что я не знаю, с чего начать.

Начну с твоего доклада. Он очень интересен: особенно драгоценно было для меня то сведение, что девушки выносят самое светлое воспоминание – об годах своего учения. Это почти невероятно. Самые страшные сны, которые когда-либо мне снились, кошмар, повторяющийся иногда и теперь, – это будто я снова очутился в гимназии и чаще всего, что я оставлен на второй год в восьмом классе. И что это не единичный факт – в этом я убедился многочисленными расспросами, и очень многие взрослые и положительные люди на мой вопрос о самом страшном сне, виденном ими в жизни, давали мне одинаковый ответ: мне снилось, что я снова в гимназии. Об этом мне в том числе и Валериан[2] говорил.

Но собственно то, что ты говоришь о своем докладе, интересно только с одной стороны: в Англии нет больше физической инквизиции, а духовная? т.е. специально учебная часть? Ты об ней ничего не говоришь, а она-то в сущности еще более ужасна, потому что действует на ребенка незаметно, не-

уловимо и, главное, совершенно бессознательно для него самого. Каждое воспитание – это вид гипнотизма, и навязанная воля другого лица уже становится частью своего собственного «я». Может ли существовать общая программа даже для двух детей? Основой программы должна являться природная, инстинктивная любознательность ребенка. Знание всегда должно являться удовлетворением потребности ребенка и ни в каком случае не должно быть каштаном, насильно проталкиваемым в горло страсбургскому гусю. Каждое сведение, каждый факт, который ребенок должен заучивать наизусть, – это уже соответствует вывернутому пальцу, вырванному ногтю, выжженному глазу. Психология еще слишком мало наука для того, чтобы сознательно решаться на такие хирургические операции. Ты говоришь в своем проекте: надо начинать всегда с известного. Это незыблемая аксиома всего обучения. Начало всегда – в уже известном. Поэтому и история должна начинаться от нас, а никак не от ассиро-вавилонян. Ум всегда отыскивает причины явлений: это нормальный ход познания. Для ребенка история должна, таким образом, начаться с какого-нибудь (все равно с какого) современного события и пойти отсюда к причинам, вызвавшим его. Потом будут причины, архипричины и т.д.: целая система петель, захватывающих все глубже и глубже, и каждая неизменно возвращающаяся к современности. Годам к 50 можно будет добраться и до ассиро-вавилонян, но только они тогда уже не будут лишней свинцовой бомбой в желудке, а уже насущной потребностью.

Если бы я начал бы кому-нибудь преподавать историю в этом году, то я, конечно бы, начал с студенческих беспорядков, как такого клубка, который теперь является центром цельных тысяч нитей, тянущихся к нему со всех городов, эпох и поколений России. И он наматывает на себя эти нити все круче и круче и сам уже разрастается до грандиозных размеров. Не буду тебе ничего писать об этом, т<ак> к<ак> слишком долго. То, что теперь, – не выносило «Il faut, que porte soit ouverte ou fermée».[3]

Или бросить все, или начать стрелять. Только не эти крестовые походы безоружных детей![4]

Пешковский арестован 9 февраля. Говорят, что он долго не решался идти, но потом пошел с сознанием бессмысленности этого. Вероятно, его сошлют в Сибирь, т<ак> к<ак> мне писали, что при нем был револьвер. Если тюрьма не убьет его физически, то ссылка может быть для него спасением от умственного переутомления. Стыдно быть здесь, когда там начинается. Но я все-таки не поеду до тех пор, пока не совершу свою программу осмотра земного шара. Я многое готов простить правительству, но только не Пешковского.

Я не знаю, смогу ли я направить к тебе Арнольда в этой всероссийской кутерьме. Я даже адреса его не знаю. От Галабутского я недавно получил письмо. Он очень заинтересован твоей программой и собирается тебе писать об ней сейчас же, как пройдет та спешная работа, которой он теперь занят.[5]

Теперь самый животрепещущий вопрос, который я оставил на конец. «Заразился ли ты декадентством». На это я могу ответить вопросом же: что ты называешь декадентством? В России это слово имеет широчайшее распространение и широчайший смысл. В общем, этим термином русский человек называет все, что ему кажется странным, непонятным и новым. Под это понятие попадают и гениальные произведения, и пошлые карикатуры на западное искусство, и юношески задорные выпады молодых артистов, и сериозно продуманные произведения. Для русского человека это слово насущно необходимо, т<ак> к<ак> иначе ему бы самому пришлось разбираться в сущности того грандиозного движения, которое началось во французском искусстве двадцать лет назад и было бойкотировано в России цензурой русских либеральных журналов. Вот плоды воспитания: ведь русские либеральные журналы всегда хотят «воспитывать» публику. И вот публика, учившая историю искусства сзаду наперед, считает великим Рафаэля, с которым у ней нет ничего общего и которого она совсем не понимает, а на тех, кто воплощает пред нею все животрепещущие вопросы и течения дня, она смотреть не хочет, называя все это декадентством.

Во Франции это слово никто не употребляет. Когда в начале восьмидесятых годов Малларме, Гюстав Кан, Лафорг,

Мореас и др. начали борьбу против парнасцев во имя свободного стиха и свободного творчества, они приняли имя «символистов».[6] Параллельно с ними, как всегда бывает в Париже, работали еще десятки других групп поэтов. Когда в журналистике было впервые произнесено слово «декадент», одна из маленьких групп приняла его, но то, что составляло соль и ядро движения, протестовало против этой клички, которая, положим, в первый раз была брошена в бранном значении, т<ак> к<ак> раньше она употреблялась только Теофилем Готье для обозначения некоторых писателей времен падения империи.

Потом, когда к этой первоначальной группе присоединились другие таланты, как Верхарн, Франсис Жамм, Вьеле-Гриффен, Андре Жид и др., то более общим названием всего направления стало «нео-идеализм», и нео-идеализм выставил на своем знамени субъективизм творчества. Теперь он уже сказал свое слово, как направление, и отдельные писатели, создавшие его, уже эволюционируют вполне самостоятельно, как это всегда бывает.

Из писателей более старого поколения сюда же примыкали Верлен, Рэмбо и Вилье де Лиль-Адан. Теперь уже под почвой Парижа шевелится и ползет на свет новое поколение, которое еще не имеет имени. «Нео-идеализм» уже уходит в семена: из бое<во>го периода он перешел в творческий, поглотив в себе и мистицизм, и оккультизм, так разросшийся к концу 80-х годов. И если ты меня спросишь, сочувствую ли я «нео-идеализму», то я тебе отвечу: «да», безусловно да, т<ак> к<ак> оно уже стало органической и неотъемлемой частью искусства.

Что касается живописи, то тут вопрос гораздо сложнее, т<ак> к<ак> в России декадентами называют «импрессионистов», которые являются в живописи параллелью к Золя и к другим ультра-натуралистам. По моему мнению, еще со времени Возрождения живопись не переживала такого периода расцвета, как она переживает теперь в Европе под творческим влиянием Франции.

Родена я считаю гением.

Словом, как видишь, я пропитался «декадентством» совершенно.

Письмо так длинно, что я заканчиваю его. Если тебе интересно, то в следующем буду продолжать.

Поклон Н.В. Туркину.

[1] Это письмо в архиве Волошина не сохранилось.

[2] В.О. Вяземский.

[3] См. п. 243, примеч. 18.

[4] Ассоциация с крестовым походом детей, инициированным в 1212 г.: часть кораблей с детьми, отплывших из Марселя на Восток, была разбита бурей, большинство детей было продано судовладельцами в рабство в Египте.

[5] В письме из Варшавы от 22 февраля 1902 г. Галабутский извещал Волошина о своем намерении написать Вяземской в скором времени (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386, л. 31–31 об.), в письме к нему же от 16 марта 1902 г. просил заново сообщить адрес Вяземской – затерянный вместе с письмом Волошина (Там же, л. 33–33 об.).

[6] Термин «символизм» был впервые использован Жаном Мореасом в предисловии к сборнику «Кантилены» (1886) и обоснован в его «Манифесте символизма» (сентябрь 1886 г.).

248. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

9/22 апреля 1902 г. Париж

1902. 21 avril.[1]

Дорогая мама,

простите, что я так давно Вам не писал. После Вашего отъезда у меня был период усиленных занятий, продолжавшийся почти месяц, но потом он снова сменился усиленной гоньбой по Парижу и усиленным рисованьем. Это совпало с отъездом Качереца в Лондон.[2] Он, кажется, при Вас еще начал собираться. Его отъезд раскрыл, между прочим, мне многое в его семейной жизни. Это действительно глубоко несчастный человек. Его отъезд – это просто бегство вместе с Илюшкой[3] от его жены. Что это за особа, я составил себе достаточное представление, потому что она немедленно после его отъезда яви-

лась ко мне, потом к Кругливиденко,[4] чтобы узнать его адрес, и теперь почти ежедневно присылает ко мне парламентеров с целью убедить меня, что это ужасный, развратный человек, и добиться его адреса, который известен только мне.

И на этой особе он женился будучи еще студентом, чтобы спасти ее честь, т<ак> к<ак> у нее был ребенок (не его). А она спустя несколько лет выгнала из дому свою сестру, которая оказалась в таком же положении, потому что ее честь не могла этого перенести.

Деньги я получил, а сегодня получил и второе письмо с окончанием Яши и с известиями о Пешковском.[5] Что же будет с ним? Вынесет ли он все это? Знает ли его мать обо всем этом и где она?

Сегодня в «Patrie»[6] телеграмма о том, что Малышев отравился в тюрьме[7] и что какой-то студент стрелял в варшавского генерал-губернатора и легко ранил его.[8] Вероятно, ложь.

Париж оживает и весь расцвечен афишами. Через неделю день выборов. На афишах и в газетах ведра ругательств. На St. Michele'e[9] скандалы и демонстрации.

Качерец, уехав, передал мне свои уроки. Я еще не столковался с ними, но, очевидно, у меня будет хороший заработок, т<ак> к<ак> плата от 5 до 7 фр. в час.

Вам все кланяются. На прошлой неделе мы с Косоротовым у меня устраивали нашу годовщину в Париже.[10] Была толпа народу и бесились до 4-х часов утра.

Я кончаю, потому что страшно устал. Теперь я буду писать чаще: острый период моей беготни окончился.

Целую бабушку.

Мах.

Посылаю Вам великолепную речь Анатоля Франса к избирателям.[11]

Арнольд собирается в мае в Париж.

[1] Датировка неточна (ср. ниже сообщение в примеч. 7).

[2] Григорий Саввич Качерец – литератор, автор книги «Чехов» (М., 1902; она была подарена Волошину), знакомый Волошина по

Парижу. В архиве Волошина сохранились два письма Качереца к нему, относящиеся к 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 632).

[3] Илюша – сын Г.С. Качереца.

[4] Общее прозвище Е.С. Кругликовой и Е.Н. Давиденко. В письме к Волошину, отправленном из Лондона на Корсику (июль 1902 г.), Качерец спрашивал: «Где Кругливиденки?»

[5] В письме из Феодосии от 1/14 апреля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 650, л. 10–10 об.) Е.О. сообщала: «Получила после обеда письмо от тебя и от Лёли (Е.С. Лямина. – *Ред.*); она пишет, что Пешков<ский> в больнице, но почему, покрыто тайной, и никто никаких ответов не дает. Известно только, что он взят в больницу в ночь с 23 на 24, т.е. раньше побоища, бывшего в Бутырках 24<-го> к вечеру. <...> Чулкова отправили уже на несколько лет в Иркутскую губ<ернию>. Его считают во главе целого революционного движения, которое подготовило нынешние беспорядки. Письмо Лёлино пришло ко мне в надрезанном конверте. В Феодосии идут усилен<ные> обыски, Яша ждет такого же». Я.А. Глотов сделал приписку к письму, в которой дополнительно сообщал: «Нового мало, утешительного ничего. Об Пешковском еще ничего нового, я тебе писал на открытке о его болезни. Прилагаю известие из Бутырок о новой гнусности. Из твоих знакомых: Васильева на 5 месяцев тюрьмы, Бобовича то же. <...> В Москве раскассирован целый полк за отказ идти усмирять с боевыми патронами». Дополнительные сведения Волошин получил в письме Е.О. от 26 апреля / 9 мая 1902 г. (Там же, л. 15–18 об.): «О Пешковском могу сообщить только, что ему лучше, что его по выздоровлении отправляют на 6 месяцев в Нижегородскую тюрьму; мать его, кажется, ничего не знает о случившемся, и он не желает, чтобы она знала об этом».

[6] «La Patrie» – парижская ежедневная политическая и литературная газета; основана в 1841 г.

[7] Эти сведения восходят к подборке хроникальных сообщений под рубрикой «Русские революционеры» (La Patrie. 1902. 22 avril. P. 1. За предоставление этой справки выражаем глубокую признательность Мари-Одд Альбер). Малышевым Волошин ошибочно называет убийцу министра внутренних дел Д.С. Сипягина, который в газете также назван неправильно: «Студент Балтаишев (Baltaicheff), который убил недавно министра Сипягина, выпил яд и умер». Имеется в виду студент Киевского университета Степан Валерианович Балмашев (1881–1902), член боевой организации партии эсеров, застреливший Сипягина в Мариинском дворце 2/15 апреля 1902 г. Сообщение в «Patrie» не соответствовало действительности: Балмашев был казнен в Шлиссельбургской крепости 3/16 мая 1902 г.

[8] Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа в 1901—1905 гг. был генерал-адъютант, генерал от кавалерии Михаил Иванович Чертков (1829—1905). Сведениями о покушении на него мы не располагаем.

[9] Бульвар Сен-Мишель.

[10] Упомянутое празднество состоялось 20 марта / 2 апреля 1902 г.

[11] Е.О. отвечала в недатированном письме: «Речь Анат. Франса мне очень нравится <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 650, л. 11—14). Речь о свободе выборов, произнесенная Анатолем Франсом на чрезвычайном общем собрании «Лиги защиты прав человека и гражданина», с поддержкой избирательной платформы левого блока, была перепечатана в ряде республиканских газет. См.: *Франс А.* Собр. соч.: В 8 т. М.: Гослитиздат, 1960. Т. 8. С. 555—559.

249. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

13/26 апреля 1902 г. Париж

26 avril.

Дорогая мама!

Опять во французских газетах стали усиленно появляться вести об России. Убийство Сипягина, отставка Ванновского,[1] обыски у русских в Париже, беспорядки в Финляндии — все это снова запестрело в газетах. В Финляндии производится теперь набор и половина рекрутов не явилась по призыву, а те, которые явились, протестуют. Таким точно набором началось дело в 63 году в Польше.[2] Пишут, что теперь в России ожидается крутая реакция, что девиз обоих министров «машину назад». С обысками в Париже какой-то курьез: об этом пишут и возмущаются все французские газеты, а русские друг друга расспрашивают: у кого? и никто не знает. Но русских бюллетеней пока никаких.

У меня теперь, как я Вам писал, теперь завелись уроки русского языка, оставленные мне Качерецом.[3] Пока у меня 2 урока по 2 часа в неделю: на одном я получаю 5 фр. за час, а на другом 7½. Скоро прибавится еще один. Совсем хорошо. Качерец очень доволен Лондоном. Пишет радостные письма, продал издание своего Чехова за 400 руб. Вам кланяется.

Получили ли Вы первый том переписки Флобера, который я послал Вам?[4]

Слышно ли что-нибудь новое о Пешковском?[5] До свиданья, целую бабушку.

Кончилась ли Ваша возня с переборкой? Думает ли Яша[6] опять перебираться в Коктебель?

Max.

Пишут, что было покушение на варшавского ген<ерал>-губ<ернатора> и столкновения рабочих с войсками под Москвой. Убитые с обеих сторон.

[1] См. п. 248, примеч. 7. П.С. Ванновский был отправлен в отставку с поста министра народного просвещения 11 апреля 1902 г. На своем посту Ванновский форсировал законодательное оформление студенческих организаций и корпоративного строя. Согласно Временным правилам организации студенческих учреждений, утвержденным Ванновским 22 декабря 1901 г. (и отмененным летом 1902 г.), разрешалось открытие студенческих кружков, столовых, касс вспомоществования и др. См.: *Мещанинов И.В.* Петр Семенович Ванновский, министр народного просвещения. СПб., 1908.

[2] Имеется в виду Польское восстание 1863–1864 гг.

[3] См. п. 248.

[4] В недатированном письме к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 650, л. 11–14) Е.О. отмечала в этой связи: «Переписку Флобера начала было читать, да пришлось отложить в сторону до времен более благоприятных». Речь идет об издании: *Flaubert G.* Correspondance. 4 vol. Paris, 1887–1893 (Première série, 1830–1850).

[5] См. п. 248, примеч. 5.

[6] Я.А. Глотов.

250. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

14/27 апреля 1902 г. Париж

27 avril.

Дорогая мама!

Посылаю Вам интересные вырезки из газет. То, что начинается теперь, — это почти то же, что было в 63 году перед восстанием Польши. Но крестьянский бунт — это нечто еще

более тяжелое. Из Петербурга доходят слухи и притом очень вероятные, что студента, убившего Сипягина (фамилия его до сих пор в точности неизвестна),[1] пытали, чтобы узнать о заговоре. Это настолько в русском духе, что трудно этому не верить, тем более, что это и раньше применялось. Говорят, что теперь непременно хотят открыть заграничный заговор и уже отправили из Петербурга партию шпионов в Лондон.

Они всё думают, что старые исплетнившиеся эмигранты и студенты русских колоний в Лондоне, в Париже и в Женеве способны на что-нибудь иное, кроме экономических споров о Марксе и Бернштейне. Конечно, это большая любезность по их адресу, так же как парижские обыски были совершенно незаслуженным комплиментом их неблагонадежности, если только они были. Говорят, что русское начальство amicalement* обратилось за этим к Вальдеку[2] и тот, чтобы отвязаться, велел пропечатать в газетах, что были обыски, а на самом деле ничего не было.

На днях в Лондоне вышла первая книжка «Жизни», которая теперь начинает выходить за границей.[3] Вид ее и содержание неутешительны, т<ак> к<ак> носят самый ординарный безнадежно-экономический характер. Несколько лубочных картинок в тексте, красивый старый рисунок на обложке заменен скверной «гражданской» виньеткой. В тексте, сколько я успел просмотреть, обычные два тона: скучно-экономический и революционно-лакейский.

Нет, из-за границы русской Империи не грозит никакой опасности, а вот внутри она, кажется, уже лезет по швам. Как-то Плеве с Зенгером[4] ее теперь штопать будут?

Целую бабушку.

Макс.

[1] См. примеч. 7 к п. 248.

[2] П.М.Р.Э. Вальдек-Руссо.

[3] После запрещения в июне 1901 г. ежемесячного петербургского журнала «Жизнь» издание его попытались возобновить за границей: в апреле 1902 г. в Лондоне вышел первый номер заграничной

* Дружески (*фр.*).

Заказ № 5706

«Жизни», как издания социал-демократической группы; всего до начала 1902 г. вышло шесть номеров. См.: *Келдыш В.А.* «Жизнь» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Социал-демократические и общедемократические издания. М.: Наука, 1981. С. 306—308.

[4] В.К. Плеве — в 1902—1904 гг. министр внутренних дел, шеф Отдельного корпуса жандармов; Г.Э. Зенгер — в 1902—1904 гг. министр народного просвещения.

251. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

25 апреля / 8 мая 1902 г. Париж

8 mai. 1902.

Дорогая мама!

Я уже так давно не получал от Вас писем, еще дольше, чем сам не писал. У меня теперь страшно много беготни. Во-первых, уроки, потом поручения Качереца из Лондона,[1] которых довольно много. Затем приехал Ник<олай> Вас<ильевич> Досекин.[2] Потом уже совершенно неожиданно явился ко мне с визитом кн. Барятинский[3], издат<ель>-редакт<ор> покойного «Северн<ого> Курьера», драматург и муж Яворской.[4] Меня не было дома. Его принимал Якимченко, который сперва принял его за модель, а потом до того переконфузился, что усадил его на палитру с красками и удрал к Кругливиденко.[5] Вообще его появление произвело страшную сенсацию на Rue Boissonade. Оказывается, Яворская собирается дать спектакли в Париже, и поэтому Барятинскому посоветовали в Петербурге, конечно, обратиться к моему содействию. Я, разумеется, очень рад такому стечению обстоятельств, т<ак> к<ак> иначе едва ли бы мне удалось завязать знакомство с Барятинским. А это человек в высшей степени интересный. Он очень симпатичен, прост и остроумен.

Но зато беготни теперь у меня не оберешься.

Ауэр уезжают из Парижа на днях.[6] M-me Гольстейн[7] тоже едет на днях в Савойю.

Вам масса поклонов со всех сторон. Простите: я заканчиваю письмо: страшно поздно, а мне завтра не позже 8 уже вставать.

Посылаю Вам вырезки из газет.

Макс.

Целую бабушку.

[1] См. п. 248.

[2] Н.В. Досекин снимал ателье на улице Кампань-Премьер в Латинском квартале.

[3] В архиве Волошина сохранилось письмо к нему С.С. Сухонина от 17 апреля 1902 г.: «Позвольте познакомить с Вами моего доброго друга и сотрудника, бывшего редактора-издателя “Северного Курьера”, князя Владимира Владимировича Барятинского. Не откажите ему в способствовании к знакомству русских студенческих художественных кружков, столь хорошо Вам известных, а также непременно познакомьте с Григорием Савичем Качерецом, который это сам желал» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1163). Князь В.В. Барятинский в 1899–1900 гг. издавал и редактировал в Петербурге (совместно с К.И. Арабажиным) политическую и литературную газету «Северный Курьер» (закрытую за «вредное направление»).

[4] Л.Б. Яворская – драматическая актриса, основавшая в 1901 г. в Петербурге Новый театр.

[5] См. п. 248, примеч. 4.

[6] Семья скрипача и педагога Леопольда Семеновича Ауэра (1845–1930) – его жена Надежда Евгеньевна (урожд. Пеликан; 1855–1932) и четыре дочери: Наталья (1874–1933) – певица; Зоя (1875–1918); Надежда (в замужестве Сибор; 1876–1976) – пианистка; Мария (в замужестве Унковская; 1883–1959) – певица. Волошин познакомился с семьей Ауэр в Париже 7/20 января 1902 г., сестры Ауэр уехали к отцу в Дюссельдорф 4/17 мая 1902 г. См.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 127.

[7] А.В. Гольштейн.

252. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ

2/15 мая 1902 г. Париж

15 mai 1902.

Дорогая мама!

Получил один за другим оба Ваши письма. Второе, от 26<-го>, которое я получил сегодня, еще утешительно, но прошло<е> совершенно ужасно.[1] Ведь это не может так продолжаться долго: запереться в пустыне в таком обществе и не видеть больше никого из людей. Ведь тут даже при таких условиях компания наиболее интеллигентных и понимающих людей может надоесть до сумасшествия, а тут чувствовать себя каторжником, прикованным цепью к трупу, который он должен всюду волочить за собой: это ужасно. Какое вообще ужасное влияние имеет «прикрепление к земле» на человека, привыкшего к полной свободе передвижения и переставшего уже замечать эту свободу.

Пустить корни в землю казалось ужасно заманчивым и для Пав<ла> Пав<ловича>[2] и для Вас. Но едва только корни были пущены, как это сейчас же поволокло за собою массу различных побочных обстоятельств, которых нельзя было ожидать, и Вы оказались прикованными к земле. Тем, кто побывал уже в положении свободно двигающегося городского животного, тому уже нельзя перейти обратно в разряд растения. Земля (своя) только тогда хороша, когда она существует между прочим, но раз она служит экономическим корнем — это ужасно. Тут нужно примириться или бросить землю, потому что она Вас иначе не отпустит.

Париж теперь переживает минуты редкого возбуждения. Газеты полны известиями с Мартиники,[3] выборами, делом Гумберт..... Читали ли Вы уже об деле Гумберт? Это совершенно гениально: эта женщина одной силой своего ума создала сто миллионов несуществовавшего наследства, десятки никогда не существовавших людей, заставила весь Париж верить этому в течение 20 лет. И это дочь простого лавочника.[4]

По поводу катастрофы на Мартинике тревога пробежала по всем европейским газетам: в Америке открылось несколь-

ко новых или уже давно потухших вулканов, Везувий начинает извергаться, Кавказ трясется... Говорят, что Европа может опасаться громадных катаклизмов. Вообще, кажется, на памяти человечества на земле еще не было более бурной геологической эпохи, чем конец 19 ст<олетия>. Сопоставьте-ка это все с извержением Каракатоа в 1883 году, самым большим из когда-либо известных на земле. 20 лет для геологических движений — это одна сотая доля секунды.

Об России газеты сразу замолчали. Да, положим, им и нечего и говорить об ней, если нет никаких сенсационных телеграмм. Истинный смысл русских событий им еще менее понятен, чем смысл внутренних движений Китая.

Мои сношения с Барятинским так же быстро окончились, как и начались. Он меня как-то в субботу вызвал телеграммой по очень какому-то важному делу и сам не оказался дома. Я прождал его час, не дождался и после этого отказался от дальнейшего участия в каких бы то ни было хлопотах по устройству спектаклей Яворской. Но вот что скверно: он мне пред этим поручил дать перевести одну его пьесу на французский язык: я дал, а он был неожиданно вызван в Петербург: писал, что на 8 дней, а вернется ли, Бог знает, а пьеса переведена и за нее платить надо и платить, конечно, придется мне. 175 fr. не особенно много, но откуда их достать? Не знаю, как это устроится. Он-то заплатит, конечно. Только когда? А то лицо, которому я дал переводить, рассчитывало получить деньги сейчас же.

Ну до свиданья. Целую бабушку. Желаю Вам в Коктебеле жильцом какого-нибудь свежего человека.

Макс.

[1] Имеются в виду недатированное письмо (относящееся к середине апреля ст.ст.) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 650, л. 11–14) и письмо от 26 апреля 1902 г. (Там же, л. 15–18 об.). В первом из них Е.О. жаловалась на бытовые хлопоты: «...приходится опять быть кухаркой, дворником, истопником, птичницей, т<ак> к<ак> до сих пор не могу найти кухарки, в помощь мне имеется только девочка, ничего не знающая, не понимающая <...> Свободного времени у меня совсем нет, даже газет не читаю вечером, так устаю за целый день».

[2] П.П. Теш.

[3] Катастрофа на острове Мартиника – вулканическое извержение (26 апреля / 9 мая 1902 г.), в результате которого были разрушены город Сен-Пьер и его окрестности.

[4] Речь идет о скандале с наследством в 100 миллионов франков, якобы завещанным Терезе Эмбер (у Волошина – Гумберт) американцем Робертом Генри Крауфордом (вымышленное лицо); под гарантии получения этих денег Эмбер заняла большие суммы и, когда возникли подозрения, бежала неизвестно куда: «По сведениям Temps, г-жа Эмбер заняла у различных банков и частных лиц всего около 55 милл. франков, из которых вернула только 15. Полагают, что она захватила с собой огромные суммы. <...> Оказывается, что ловкая авантюристка в течение десятков лет дурачила судей, адвокатов, нотариусов, уверовавших в существование фантастического наследства и являвшихся невольными сообщниками г-жи Эмбер» (Русские Ведомости. 1902. № 118. 1 мая. С. 4).

253. Л.В. КАНДАУРОВУ

6/19 июня 1902 г. Генуя[1]

19 gionio. Genova.

Дорогой Леонид! Я не мог ответить тебе на твое письмо,[2] потому что на меня обрушилась масса событий, и вот в результате я снова в Италии[3] и посылаю эту открытку из Генуи. Целый день шел дождь, как тогда, и как тогда я целый день бродил по городу и вспоминал тебя и князя, и тому уже ровно 2 года.[4] И в Генуе ничего не изменилось. И то же море, и те же купальни, и те же узкие переулки. Только я теперь не просто хожу, а ношу под мышкой ящичек с красками и иногда поэтому останавливаюсь. Поклон Лид<ии> Тимофеевне.[5]

Max.

Адрес: Corse.[6] Isola Rossa. Ferm'in posta.

1 Открытка. Штемпели: Genova <*нрзб*>; Слободской. 18 VI 1902. Отправлено по адресу: Вятка. Гор. Слободской.

[2] Подразумевается письмо от 10 апреля 1902 г., отправленное из Вятской губернии (г. Слободской) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 19–22 об.).

[3] Волошин выехал из Парижа в Италию вместе с А.И. Косоротовым 5/18 июня 1902 г. (Труды и дни. С. 100).

[4] Князь – В.И. Ишеев. Волошин вместе с ним и Кандауровым посетил Геную 22 июня / 5 июля – 24 июня / 7 июля 1900 г. (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 47–51).

[5] Л.Т. Кандаурова.

[6] Волошин и Косоротов отплыли из Ливорно на Корсику около 15/28 июня, с Корсики отправились на Сардинию около 7/20 июля.

254. А.В. ГОЛЬШТЕЙН

12/25 июня 1902 г. Неаполь, Вомеро

Napoli. Vomero. II° Palazzo Santo-Spirito.
25 Luglio 1902.

Александре Васильевне – Макс

На заре. Свежо и рано.
Там вдали передо мною
Два столетние каштана,
Обожженные грозою.
Уж кудрявою листвою
На одном покрылась рана...
А другой в порыве муки
Искалеченные руки
Поднял с вечною угрозой –
Побежденный, но могучий,
В край, откуда идут грозы,
Где в горах родятся тучи...
И, чернея средь лазури,
Божьим громом опаленный,
Шлет свой вызов непреклонный
Новым грозам, новой буре...

Над чернеющими пнями
Свежесрубленного леса
Шепчут тонкие побеги
Зеленеющих берез...
А в лесу темно, как в храме...
Елей темная завеса...
Пахнет хвоей под ногами...
И как гроздья среди леса
Всюду пятна птичьих гнезд.
И от карканья ворон
Гул стоит со всех сторон,
Как торжественный, спокойный
Колокольный мерный звон –
Гулкий, стройный
И унылый.....
А над срубленными пнями,
Как над братскою могилой,
Тихо двигая ветвями,
Им березы шелестят...
«Мир уставшим...
Мир усопшим...»
Вместе с ровным гулом сосен,
Наклоняясь, говорят...

И им вторит издалека,
Нарушая цепь их дум,
Рокот вольного потока –
Вечной жизни бодрый шум.
Думой новою объятый
Я стою... И мне слышны
Точно дальние раскаты
Человеческой волны...[1]

Вот.... Ваш рассказ все не давал мне покою с того самого вечера, когда я засиделся у Вас до часу ночи. Стихи вертелись у меня еще на Корсике и только здесь, в Неаполе,[2] три дня тому назад, как раз в день получения Вашего письма,[3] они сразу написались. Я чувствую, что передал верно мое впечатление от Вашего рассказа. Но насколько верно я понял Вашу собственную мысль?... Отдаюсь Вам на суд.

Так мы в Неаполе... Пароходы в Сардинию отходили из Аяччио[4] всего два раза в месяц. И когда мы представили себе, что нам предстоит еще 2 недели пребывания, если мы не уедем немедленно, нам вдруг стало страшно, и мы уехали. Сардиния только мелькнула перед нами. Это – бесконечно скорбная страна. Страна-руина. Развалины античного Сахалина и античной Калифорнии.

Нет ничего грустнее, чем эти бесконечные, выжженные солнцем, бесплодные и только кое-где поросшие жидко пшеницей поля-руины – житницы старого средиземного мира.

Мы провели ночь в Макомере.[5] Город на хребте гор. Вечернее небо – сливочно-желтое и фарфорово-красное. Каменистые низкие улицы точно в пыльной дымке. Люди теряют<ся> в их серой мгле. Пыльные деревья – как непереведенная декалькомания.

С края города бесконечно скорбная желтеющая даль пшеничных полей.

В альберге,* где мы ночевали, еще *никогда* не видали иностранцев.

На другой день мы уже садились в Кальяри на пароход, идущий в Неаполь.

Пять дней мы уже здесь.

Косоротов нашел себе дивную комнату на склонах Sant<o>-Elino с необъятным видом на весь Неаполь, на Везувий, на Капри, на Сорренто, Позилиппо, Искию... словом, весь Неаполитанский залив как на ладони. Я устроился очень близко от него в деревушке Vomero (мой адрес в заголовке).

* Небольшая гостиница, постоялый двор. *(Примеч. Волошина.)*

Неаполь ослепителен. В нем еще есть то, что давно вышло из моды в других городах Европы — это беспорядочное нагромождение зданий одно на другое, церкви, вырастающие из домов, деревья, растущие из церквей, мосты, перекинутые через улицу, улицы, замененные лестницами, отсутствие прямых линий и в плане города, и в архитектуре домов, и эти бесконечные каскады карнизов и окон, низвергающиеся с гор.

В Европе больше не строят тесных городов. А те, что остались, — их вырубают, как вырубают леса. Сперва проводят прямые просеки, потом сносят целые кварталы. То же идет и в Неаполе. Живописнейший и грязнейший квартал Неаполя — Santa Lucia — исчез почти на моих глазах. Два года <назад> я его видел еще в полном блеске нищеты и красок,[6] а теперь там уже строятся прескверные отели в шесть этажей с мраморными лестницами и лифтами. Но зато холмистая часть настолько крута и упорна, что самые отели становятся живописными и величественными.

Здесь я еще не принимался за живопись. Только сегодня я наконец водворился в своей комнате, и это первый вечер, когда я наконец имею возможность сесть за письменный стол и приняться за писание писем.

Стихотворение, которое Вы мне прислали,[7] очень хорошо, но совсем не отшлифовано.

«В бело-сумрачном рассвете
Словно гул колоколов...»

Это прекрасно. Но дальше стих спотыкается:

«Узнаю тебя в привете,
Океан, твоих валов».

Это — тяжелое расположение слов.

Во второй строфе хороши последние два стиха. Первые два — слишком похожи.

Последняя строфа...

«Дальний звон над морем реет...
На устах горит: “Иду!”»

Это великолепно. Эта однообразная конструкция стиха, оканчивающего<ся> чересчур симметрично на односложные слова и еще в кавычках «иду», «жду» и рифмы «веет» и «реет», сильно ослабляют впечатление. Но в общем стихотворение мне очень нравится: в нем чувствуется индивидуальность и свободная гармония.

Заканчиваю письмо. До свиданья.

Поклон всем обитателям Вашего дома (имена же см. в предыдущем письме).[8]

Max Волошин.

[1] Стихотворение впервые опубликовано по тексту этого письма (с пометой под текстом: «22 июля 1902. Неаполь») в кн.: *Волошин Максимилиан*. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Общ. ред. Б.А. Филиппова, Г.П. Струве и Н.А. Струве при участии А.Н. Тюрина. Paris: YMCA-Press, 1984. Т. 2. С. 269–270. Автограф в рабочей тетради Волошина сопровождается пояснением: «Это я написал третьего дня, сидя на площади Plebescito в кафе. Это отголосок разговора с А.В. Г<ольштей>н в вечер ее отъезда в Савойю». Публикация по тексту этого автографа: Т. 2 наст. изд. С. 387–388, 697.

[2] Волошин и Косоротов прибыли с Сардинии в Неаполь около 9/22 июля 1902 г.

[3] Речь идет о письме Гольштейн из Парижа от 16 июля (н.ст.) 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438, л. 3–6 об.). Гольштейн ответила Волошину 28 июля: «Большое Вам спасибо за письмо и за стихотворный пересказ моего рассказа. Да! это то. Он у меня есть в прозе, написанный там. Когда-нибудь сравним» (Там же, л. 2).

[4] В Аяччо (Корсика) Волошин и Косоротов пробыли около трех недель (конец июня и первые две декады июля н.ст.).

[5] Макомер – город в центральной части Сардинии.

[6] Впервые Волошин посетил Неаполь 13/26–15/28 июля 1900 г. См.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 91–97.

[7] В письме от 16 июля Гольштейн сообщала: «Получила в кор<р>ек<туре> сборник стихот<ворений> моего друга, кот<орого> считаю очень талантливым поэтом, переписываю для Вас одно стихотворение»; далее следовал текст:

Голос моря

В белосумрачном рассвете –
Словно гул колоколов...

Узнаю тебя в привете,
Океан, твоих валов!

Твой ли зов я слышу, Море?
Твой ли, Вечность, этот зов?
Место есть в глубоком хоре
Стонам смертных голосов.

Дальний звон над ложем реет...
На устах горит: «Иду!»
С каждым смутным вздохом веет
В белом сумраке: «Я жду...»

Автор стихотворения – Вяч. Иванов, сборник – его первая книга лирики «Кормчие звезды» (СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903). См.: *Иванов Вячеслав*. Собр. соч. Т. I. Брюссель, 1971. С. 597–598.

[8] Более раннее письмо Волошина к А.В. Гольштейн не выявлено.

255. А.В. ГОЛЬШТЕЙН

3/16 августа 1902 г. Неаполь, Вомеро

Napoli. Vomero. Palazzo Santo-Spirito.
16 août 1902.

Дорогая Александра Васильевна!

Простите, что я до сих пор Вам не ответил. Когда я получил Ваше письмо, я был совершенно болен.[1] Когда лихорадка прошла, она сменилась полным равнодушием ко всему окружающему, которое только теперь начинает проходить. Две недели в Неаполе у меня совершенно пропали. И я был бы уже готов к возвращению в Париж, если бы вчера не съездил на Капри и не решил провести там еще неделю.

Только последние дни я снова ожил для восприятия новых впечатлений, и меня с новой силой охватила страсть рисовать.

Современная живопись совсем не занимается югом. К нему еще не были ни разу применены новейшие приемы живописи, исключая, пожалуй, пейзажей Анри Мартена, которые действительно очень передают юг в некоторые его моменты.

Говорят о резкости и о сухости южных красок. Это ложь.

Действительно, днем все места пейзажа, освещенные солнцем, сливаются почти в одно белое самосветящееся пятно, в котором только слабые намеки на окраску. Но вся красочная сила юга в эти моменты сосредоточивается в тенях. Ни один северный закат не сравнится с этой ослепительной яркостью полуденных теней на юге и особенно, когда они падают на красные и оранжевые стены домов Неаполя.

Интенсивность красок в тенях поразительна, а их до сих пор все рисующие юг делают или коричневыми, или же однообразно синими.

Нет, теперь французской живописи, окрепшей на среднеевропейском пейзаже, предстоит завоевание юга, который до сих пор остается в руках «дореформенных» школ, которые неустанно дискредитируют его своими картинами.

Случилось так, что я на Капри был всего в первый раз, и он меня ослепил своей красотой. Лазурный грот – это наименее красивое место на всем острове. Трудно себе составить понятие о его красках. В Неаполе все это еще всегда покрыто легкой городской дымкой и пеленой пыли, что ослабляет краски, но на Капри каждая краска сияет собственным светом.

Во всяком случае, в последних числах августа я уже буду в Париже.[2]

Мои первоначальные планы о Сицилии, Липарских островах и Африке мне не придется выполнить, так как путешествие обошлось мне дороже обыкновенного. Косоротов в это же время поедет в Рим, затем во Флоренцию, где думает побыть подольше, занимаясь музеями, и после уедет в Россию. Теперь он себя чувствует хорошо.

Итак, до скорого свидания.

«Освобождение»[3] здесь, оказывается, уже было в нескольких магазинах, но сейчас же было распродано. Мне обещали выписать еще экземпляр.

Поклон всем обитателям Вашего дома.

Макс Волошин.

[1] Болезнь Волошина продолжалась около десяти дней (первая декада августа н.ст. 1902 г.). Речь идет о письме Гольштейн от 28 июля (н.ст.) 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438, л. 2–2 об.).

[2] Волошин возвратился в Париж около 26 августа / 8 сентября 1902 г. (Труды и дни. С. 102).

[3] «Освобождение» – нелегальный двухнедельный политический журнал либерального направления, издававшийся под редакцией П.Б. Струве в 1902–1905 гг. в Штутгарте, затем в Париже. Вышло 79 номеров.

256. П.Б. СТРУВЕ

Лето (?) 1902 г.[1]

Да! Еще несколько слов относительно «Освобождения».[2] Мне страшно хочется его видеть, а в Неаполе, конечно, его не достать. Я не знаю штутгартского адреса и потому не могу написать сам и подписаться. (Я оставил первый лист в Париже). Если Вы сможете это сделать для меня – я буду очень благодарен. Деньги я немедленно вышлю или Вам, или куда Вы укажете.

Я позабыл тогда оставить Вам то маленькое стихотворение, навеянное Герценом. Вот оно:

Слава великим гробам!
Тучи сбираются снова...
Но недоступна рабам
Тайна свободного слова...

Раб обнажил уже меч,
Стонет и рушится зданье...
Куйте ж свободную речь
В огненном горне познанья![3]

Если Вы его найдете удобным в таком виде, то распорядитесь как хотите. Предоставляю его в полное Ваше распоряжение. Продолжать его не буду – это ослабит силу. Последние два стиха в этом виде достаточно ясно объясняют мысль.

Подписаться можно просто буквой «W.» или «M».[4]

Max.

[1] Лист (или листы) с началом текста письма утрачен. Датируется предположительно по упоминанию Неаполя (где Волошин находился с третьей декады июля н.ст. 1902 г. в течение месяца). С П.Б. Струве Волошин познакомился в Париже в марте или апреле 1902 г. (Труды и дни. С. 99).

[2] См. примеч. 3 к п. 255.

[3] Стихотворение «К Герцену» (12 мая 1902 г., Париж). В тексте, вписанном в альбом Натальи Ауэр, – вариант ст. 2: «Тучи сгущаются снова...» (Т. 2 наст. изд. С. 386).

[4] В журнале «Освобождение» стихотворение не было напечатано.

257. А.М. ПЕТРОВОЙ

27 августа / 9 сентября 1902 г. Париж

9 сентября.
Paris. 7, Rue Boissonade.

Не могло случиться ничего досаднее. Я специально остановился в Генуе для того, чтобы повидаться с Марио,[1] а там мне на квартире сказали, что он уже два месяца назад переехал в Рим! А я ведь специально из Рима уехал, где две недели жил...[2] Страшно досадно. Может, он сам попадет в Париж. Ведь он много путешествует. Напишите ему о моих поисках и скажите, что я теперь жду его в Париже. От Пешков<ского> наконец получил письмо: он собирается в Париж.[3] Уж я-то буду доволен. Скоро напишу. А пока до свиданья. Адрес мой почти прежний: только номер дома не 17, а 7. Поклон Мих<аилу> Мит<рофановичу>, Нине Алекс<андровне>[4] и ост<альным>.

Макс.

[1] Марио Лаго. Речь идет об остановке в Генуе на обратном пути из Рима в Париж. См. примеч. 2 к п. 255.

[2] Волошин приехал в Рим с острова Капри около 13/26 августа.

[3] Имеется в виду письмо Пешковского из Томска от 12 августа 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964, л. 10–10 об.).

[4] М.М. и Н.А. Петровы.

258. А.М. ПЕШКОВСКОМУ

27 августа / 9 сентября 1902 г. Париж

9 сентября. Paris.
7. Rue Boissonade.

Наконец-то! Письмо твое пришло в Париж как раз вместе со мной и как раз в тот момент, когда я был на своей старой квартире.[1] Я только что вернулся из Рима, который был конечным пунктом моего летнего путешествия по Корсике, Сардинии и берегам Неаполитанского залива. Известие о твоем освобождении я получил еще в Риме, но не знал, куда писать тебе. Когда ты еще был в Бутырках, я тебе написал 2 открытки: Якс[2] писал, что это можно. Потом я ни от кого не мог добиться ответа, где ты и можно ли тебе писать. Что ты был в Новгороде – это я узнал только недавно.

Дадут ли тебе заграничный пашпорт – вот вопрос? Ну, а если дадут, то, конечно, в Париж и больше никуда. Не в Германию же опять? Относитель<но> faculté des lettres* ты найдешь все сведения на тех листках, которые я тебе посылаю. Изо всех остальных факультетов Сорбонны он представляет ту трудность, что там больше всего письменных обязательных работ. Но ты ведь с этим быстро справишься. Относительно экзаменов, т.е. государственного экзамена в России, ничего не знаю. Знаю только, что, напр<имер>, Фирлеевич был на faculté des sciences** и потом собирал<ся> ехать держать государств<енный> экзамен, что ему было разрешено.

Так что кажется, что это вполне возможно. Да кроме того события и изме<не>ния в России теперь, кажется, идут с такою быстротою, что вопрос еще, понадобятся ли они тебе?

Если б ты только приехал в Париж – это было бы замечательно хорошо.

Хочешь поселиться вместе? Мы бы взяли маленькую квартиру или ателье, что в Париже гораздо дешевле, чем комнаты, и я бы тебе мешал как раз в меру, чтобы побуждать тебя к занятиям.

---

* Литературный факультет (*фр.*).

** Факультет наук (*фр.*).

Что написать о себе? У меня было много событий за эти 6 месяцев, как прекратилась наша переписка. Но события настолько психологического свойства, что я не берусь их передать в письме. Я был влюблен два раза.[3] Я впервые физически познал женщину.[4] Все это произвело большую перетасовку в установившихся у меня было взглядах на разные предметы. Это еще настолько свежо и взбаламучено, что я еще не могу об этом говорить.

Я еще во многом не разобрался. Погоди, это все исторически осядет к твоему приезду, тогда я расскажу тебе все. Я мало писал за это время. Зато много рисовал. Живопись меня могуче захватывает. Все лето я писал красками и чувствую свои успехи.

Когда я жил в Аяччио,[5] весь мой день проходил между красками и книгой. Радуйся, Саша! Теперь мы можем путешествовать вместе: я перестал бегать, краски то и дело заставляют меня присаживаться.

И не раз, бродя по пустынному берегу Аяччианского залива, я искал «Рака Отшельника», и это было для меня символом тебя в тюрьме. Но рака отшельника я так и не видел со времени нашего хождения по морскому дну в Локмарьяке. Только Mont St. Michel мне вспоминается все-таки ярче.[6]

Это я писал в Национальной Библиотеке, дожидаясь книг, а теперь я вернулся домой и перечел письмо.

Политические новости? Мы их ждем из России и кидаемся на каждого приехавшего, чтобы он нам рассказал об русской революции. Революционные журналы... Они ниже всякой критики. Назвать царя дураком, а министра — подлецом, — это доставляет им самое сильное наслаждение. Это все переплетается экономическими фиоритурами и патетическими восклицаниями. На этом далеко не уедешь. Заграничные революционеры и студенты теперь представляют крайнюю степень революционного вырождения — зрелище отвратительное.

Весь этот год я переживал острый период моего разрыва со студенчеством. Многое для меня в это время утрировалось,

но теперь разрыв уже совершился, и я постепенно становлюсь умереннее.

Истина, раскрывшаяся для меня, была та, что русские революционеры и русское правительство сделаны из одного куска. У них все общее, только под другими кличками.

Другая истина — это та, что основа всякого насилия и деспотизма есть уверенность в своем праве воспитывать другого человека. Это одинаково относится как к детям, так и к народам.

К социализму я теперь стал тоже во враждебное положение. Не к идейному социализму начала века — он прекрасен, как всякая идея, но к теперешнему практическому социализму, который принимает в себя все элементы современного строя и готовится повторить демократический деспотизм Афин над Сократом и Фокионом.[7] Я не говорю об идейных вожаках, которым нет дела до действительности: их теперь уже почти нет.

Я летом много читал по истории первобытного христианства и, проникаясь к нему все большим и большим презрением, я находил в нем удивительное сходство с социализмом.

Не думай только, что я стал консервативнее — это следствие исключительно либеральной непрекращающейся революции.

Но ты меня просишь писать о событиях. Французская пресса за эти два года стала значительно осведомленнее об России, чем тогда, когда мы ее застали в 99 году. Были даже и совсем интересные вещи, когда Витте и Плеве приглашали к себе французских интервьюеров и убеждали их, что Революции в России нет и все обстоит благополучно. Плеве даже убедил корреспондента «Echo de Paris»,[8] что лучше сечь, чем расстреливать.

Потом в Лондоне начала выходить «Жизнь».[9] Передовица была с каламбуром <по> поводу того, что жизнь не может умереть. Затем раз двадцать она назвала царя Иванушкой-дурачком, Никой Милушкой, убежденно выругала только что убитого Сипягина нецензурными словами и назвала идиотом, поговорила об рабочем движении, сообщила несколько

Заказ № 5706

пикантных полуполитически<х> полупохабных анекдотов и угостила читателей двумя лубочными картинками из мартовских дней.[10]

Главное, во всем чувствовалась зависимость от русской цензуры; они самую простую фразу старались сказать с таким вывертом, чтобы было нецензурно.

Невольно является вопрос: неужели же именно «этого» «Жизнь» не договаривала, в то время, когда она была еще подцензурным журналом? Если так, то ведь, пожалуй, цензура действительно оказывает некоторые услуги обществу...

Весной в Париже я видел Струве. Он подготовлял открытие нового журнала «Освобождение»,[11] издающегося теперь в Штутгарте. Это человек другого порядка, чем те... Я был в странствиях, когда вышли первые номера «Освобождения». «Искра», «Заря»,[12] «Жизнь» и др<угие> рев<олюцион>ные органы подняли на него целый поход. Ругань полилась ушатами, целые номера были посвящены ей, и русская революция на время забыта.

Теперь передо мной лежат четыре номера, вышедших за лето. Это совсем другое. Нигде ни малейшей претензии на полную нецензурность, нигде царь дураком не назван. Прекрасные внутренние обозрения – не хуже, чем в «Вестнике Европы»,[13] только без недомолвок.

Дальше идет заявление от земцев с требованиями, обращенными к правительству.

Во всем этом чувствуется сила и связь с «землей».

Относительно крестьянских волнений тут ходят сведения очень туманные. Причины для меня по крайней мере неясны. Я лично не верю в политическую агитацию в данном случае. Русские революционеры долголетней практикой доказали свою неспособность общаться с народом (опять сходство с правительством), и это много им чести, что их подозревают в том, что им удалось сделать такое движение.

Мне кажется, что тут дело гораздо сложнее. Что тут пробивается наружу никогда не умиравшее у крестьян сознание права на землю. Это голоса, идущие из-за глубины двух столетий. Поэтому это так сильно и откликнулось везде, даже в Галиции, где немедленно за харьковским бунтом[14] разрази-

лось почти всеобщее восстание крестьян-малороссов против польских помещиков.

Мне в Риме случилось познакомиться с русинской (малорусской) католической коллегией. И ученики, т.е. студенты малороссы, рассказали мне много интересного про Галицию, где поляки теперь сами играют ту же роль по отношению к русинам, что Пруссия по отношению к Польше.

Вообще мне теперь в Риме пришлось попасть в самый центр католического мира. У меня теперь такие обширные связи в разных монастырях, церквах и коллегиях Рима, что стань это известно французскому правительству, меня бы выселили вместе с конгрегациями.[15] Что ты думаешь об выселении конгрегаций? Что пишут об этом в России? Ведь я русских газет совсем не вижу.

Относительно письма Кругликовым не беспокойся.[16] Это было шуточное письмо, которое ты должен был непременно отдать сам, чтобы познакомиться с ними. Ты ведь у меня просил знакомых...

Алек<сандра> Мих<айловна>[17] пишет мне очень редко, и письма ее еще темнее, чем когда-либо.

Кажется, мы в чем-то друг друга не понимаем. Вообще я уже чувствую, что сам начинаю не вполне понимать своих русских приятелей, и меня это радует, т<ак> к<ак> доказывает плодотворность моего пребывания за границей. Вернувшись, зато пойму глубже, лучше и беспристрастнее.

Пока меня в Россию ни чуточки не тянет. Ни малейшего намека на тоску по родине за все полтора года. Здесь не в пример интереснее.

Мучительное состояние утопленника, возвращающегося к жизни, которое переживает теперь Россия, меня ни чуточки не привлекает. А нравственно меня туда ничто не зовет, потому что я совершенно не знаю, что я там буду делать и чем смогу быть полезным.

Если бы ты только приехал в Париж, сколько бы нового в области мысли и искусства я бы раскрыл для тебя.

В листках, посылаемых мной, ты найдешь различные условия faculté des lettres. Программы лекций у меня нет под руками, и я еще не знаю, вышла ли она уже на этот год. Если

нет, то постараюсь достать тебе старую. Faculté des lettres почти совпадает с филологическим.

Ну до свидань<я>. Жду тебя.

Поклоны Феодосии Сем<еновне> и Арт<уру> Матв<еевичу>.[18]

(Адрес см. в заголовке).

[1] 12 августа 1902 г. Пешковский писал Волошину из Томска: «22-го июля нас выпустили из тюрьмы по Высочайшему повелению на месяц раньше срока. <...> В Москве пробыл лишь один день <...> Напиши, что это за faculté des lettres в Сорбонне, что там проходят и какой минимальный срок обучения, если же выпускной экзамен можно держать когда угодно, то каков обычный срок. Я подумываю теперь, если обнаружится <...>, что по окончании его можно держать в России государственный экзамен на филол<огическом> факультете, махнуть туда» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964, л. 10–10 об.).

[2] Я.А. Глотов. Открытки Волошина не сохранились (возможно, не дошли до адресата).

[3] Подразумеваются М.Л. Ауэр и О.С. Муромцева. Волошин был увлечен ими, соответственно, весной и летом 1902 г.

[4] Встреча с проституткой Сюзанн, описанная Волошиным в дневниковой записи от 8/21 апреля 1901 г. (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 111–113).

[5] См. примеч. 4 к п. 254.

[6] См. примеч. 2 к п. 176.

[7] Сократ был обвинен в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи» и в 399 г. до н.э. приговорен к смерти (принял яд цикуты). Полководец Фокион был в 317 г. до н. э. обвинен в измене и казнен.

[8] «Echo de Paris» — национальная, политическая и литературная газета, издававшаяся в Париже с 1871 г.

[9] См. примеч. 3 к п. 250.

[10] Имеются в виду материалы, помещенные в № 1 (апрель 1902) литературного, научного и политического журнала «Жизнь» (Лондон: Типография «Жизни», 1902): анонимная передовая статья «Освобожденная “Жизнь”» (С. 1–10); раздел «Шутки русской жизни» (за подписью: W. P. – т.е. В.А. Поссе; С. 249–255); анонимная статья «Убийство Сипягина» (С. 453–454; покойный назван «глупым министром-полицейским»: «...вряд ли можно найти министра столь же тупого, как был убитый»); раздел «Хроника рабочих волнений и стачек» (Отд. II. С. 1–31); рисунки на темы из немецкого революци-

онного движения 1848–1849 гг.: «Демократ Якоби и король прусский Фридрих-Вильгельм IV», «Матильда Хицфельд на Кирхеймболянденской баррикаде».

[11] См. примеч. 3 к п. 255.

[12] См. примеч. 6 к п. 243.

[13] Ежемесячный литературно-общественный журнал либерального направления, выходивший в Петербурге в 1866–1918 гг.; редактор-издатель М.М. Стасюлевич (по 1908 г.).

[14] В марте – апреле 1902 г. произошло восстание крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях: движение охватило 165 селений, было разрушено 105 помещичьих экономий, на подавление восстания было направлено 10 тысяч войск; 1092 крестьянина преданы суду.

[15] Конгрегации – объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену, под общим управлением. В 1902 г. французским правительством во главе с премьер-министром радикалом Эмилем Комбом были предприняты меры, направленные к ограничению (и частичному запрещению) деятельности конгрегаций.

[16] См. п. 238 (P.S.).

[17] А.М. Петрова.

[18] Брат А.М. Пешковского и его жена Феодосия Семеновна (урожд. Понсар).

259. Я.А. ГЛОТОВУ

26 сентября / 9 октября 1902 г. Париж

9 октября 1902.
7. Rue Boissonade.

Дорогой Якс! твое письмо и известие <о> быстром прибытии Саши[1] меня очень обрадовало. Я ему написал два письма в Томск, но он очевидно не получил, если спрашивал у тебя мой адрес. Я в настоящую минуту еще ничего не могу сообщить тебе об электротехнической школе, но узнаю завтра или послезавтра – тогда напишу. Если это случится, то это будет самое лучшее. Барышню свою присылай – я ее устрою и сделаю все, что надо. Кто это такая и откуда?

У меня к тебе тоже просьба: я хочу в этом году поступить на faculté des lettres и потому мне нужен аттестат зрелости,

а я его, кажется, просто выкинул, уезжая из Москвы. Поэтому, пожалуйста, отдай прилагаемую бумажку в Феодосийскую гимназию и получи копию с моего аттестата.

На днях я получил письмо от Алекс<андры> Мих<айловны>[2] и отвечу ей в очень скором времени.

Теперь я занят одной очень интересной личностью, которую гидирую по Парижу. Можешь себе представить, кем? — Тибетским послом — Хабу-Ламой Тибета,[3] т.е. одним из семи лам, управляющих Тибетом, и воспитателем теперешнего Далай-Ламы.

Представь себе человека, не имеющего никакого понятия ни о чем, касающемся Европы, настолько, насколько сами Европейцы не имеют понятия о Тибете. Ведь ты знаешь, что въезд в Тибет воспрещен Европейцам и никто из Европейцев в Тибете еще никогда не был.

Мой Хабу-Лама один из глав буддизма и сверх того святой.

Во всей истории было только два случая приезда послов из Тибета. В первый раз приезжал один лама в XIV веке, а второй раз — он. Он здесь уже был 2 года назад на всемирной выставке и теперь приехал снова. Представь себе мое чувство, когда я обедаю в каком-нибудь ресторане на счет тибетского святого или делаю с ним в Bon Marché[4] покупки для Далай-Ламы.

На днях он должен быть у меня вечером. Тогда для полноты впечатления позову еще Бальмонта, с которым недавно познакомился,[5] и посмотрю, что из этого выйдет.

Бальмонт очень интересен. Узнавши его, я стал понимать его стихи, и теперь мне кажется, что он искренен во многих своих самых ненатуральных стихах.

Политических новостей не много и больше частного свойства: в Париже сменяется обер-шпион Рачковский за то, что дал плохую рекомендацию Monsieur Philippe'у.[6] А M-r Philippe теперь очень важная штука при дворе — это придворный гипнотизер, вызванный из Парижа, чтобы внушить государыне наследника, чем он там теперь и занимается, пользуясь неограниченным доверием царя. Фон Валю даны особые полномочия, так что он фактически является вторым мини-

стром внутренних дел.[7] Это назначение состоялось без ведома Плеве, чем тот, разумеется, недоволен, недовольна и вся петербургская аристократия, т<ак> к<ак> Валь считается гласным вором, и говорят, что никогда еще подобной личности на такой пост не назначали.

Теперь интересно только знать, кто из них раньше будет убит, Плеве или Валь, т<ак> к<ак> вопрос только о времени.[8] Так же интересно знать, и кем: реакционерами или революционерами. Т<ак> к<ак>, судя по сведениям о последнем покушении на царя, случившемся на железной дороге, совершаются большие аресты среди Преображенского полка среди гвардейских офицеров.

Царь все говорит речи. На Балтийском заводе, говорят, говорил рабочим речь с сильным Зубато-Марксическим оттенком.[9] И после этого его еще не выслали из России! странно.... Я ведь еще два года назад предсказывал, что в России скоро все жандармы будут марксистами.

Ходят слухи, что все возвращенные Плеве из Сибири отправлены туда обратно, т<ак> к<ак> с них было потребовано отречение, которое они не согласились дать.

В общем я очень мало в курсе этих дел и сведения до меня доходят случайно или из газет.

Если ты думаешь поступить так, как писал, то это самое лучшее – это единственный разумный исход, и жаль только, что ты раньше ничего подобного не сделал. Отчего ты не пишешь, в каком положении твое дело. Как кончилась твоя история с отлучкой в Коктебель?

Кланяйся Алек<сандре> Мих<айловне>, я ей на днях напишу, а также сообщу и тебе нужные сведения.

Когда приедет Саша?

Судя по твоему письму, я жду его со дня на день.

Мах.

[1] Саша – А.М. Пешковский. Письмо Я.А. Глотова не сохранилось.

[2] Имеется в виду письмо А.М. Петровой от 11/24 сентября 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 950, л. 15–17 об.).

[3] Имеется в виду Агван Доржиев (1853–1938), хамбо-лама Бурятии, реформатор ламаизма. Волошин познакомился с ним в нача-

ле октября (н.ст.) 1902 г. у А.В. Гольштейн, буддистки по религиозным взглядам.

[4] Универсальный магазин на левом берегу Сены (5, rue de Babylone).

[5] Это знакомство состоялось около 1/14 сентября в Высшей Русской школе общественных наук, где К.Д. Бальмонт выступал с лекцией о П.Б. Шелли (Труды и дни. С. 102). В мемуарном очерке о Волошине Е.А. Бальмонт сообщает: «Он (Бальмонт. – *Ред.*) писал мне из Парижа осенью 1902 года, что познакомился в Латинском квартале (кажется, на одной из своих лекций) с талантливым художником М. Волошиным, который "и стихи пишет". В каждом письме похвалы ему возрастали» (Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 92).

[6] П.И. Рачковский в 1884–1902 гг. заведовал Заграничной агентурой Департамента полиции. Филипп Низье-Вашо (1849–1905) – французский спирит и гипнотизер, с 1902 г. проживавший в Петербурге и оказывавший влияние на Николая II и императрицу Александру Федоровну.

[7] В.В. фон Валь, бывший ранее (в 1892–1895 гг.) градоначальником Петербурга и виленским губернатором (с 1901 г.), был назначен в 1902 г. товарищем министра внутренних дел (министр внутренних дел – В.К. Плеве) и командиром отдельного корпуса жандармов.

[8] В.К. Плеве убит эсером Е.С. Созоновым 15 июля 1904 г.

[9] 12 сентября 1902 г. Николай II присутствовал на петербургском Балтийском заводе, где был торжественно спущен на воду эскадренный броненосец «Князь Суворов», однако, судя по официальным печатным отчетам (см., например: «Морские торжества» // Новое Время. 1902. № 9528. 13 сент. С. 3), его выступление имело сугубо церемониальный характер.

260. А.М. ПЕТРОВОЙ

1/14 декабря 1902 г. Париж

14 décembre 1902.
9 Rue Campagne-Première. Paris.

Дорогая Александра Михайловна!

Я сейчас буду ругаться. Смотрите же, не обижайтесь на меня, как я не обиделся и на Ваше письмо. Повторяю Вашу же просьбу.

Прежде всего о живописи.

Посылая Вам мои картинки, я просил Вас: напишите мне, пожалуйста, **Ваше** мнение.[1] Я хотел знать именно *Ваше*, только **Ваше** мнение, как мнение мне очень близкого и дорогого человека, который видел самые первые мои попытки в рисовании. И вот вместо этого вы мне посылаете мнение Богаевского, которого я только раз в своей жизни видел. Может, он очень чуткий художник с большим вкусом, но ведь Вы забываете, что я же живу теперь исключительно в художественной среде и вокруг меня десятки очень выдающихся художественных сил, которые и критикуют меня, и дают советы. Я хотел знать *Ваше*, *Ваше*, Ваше *личное* впечатление, а Вы спрятались за мнением Богаевского и ни одного своего слова от себя не прибавили.

С другой же стороны мне еще обиднее стало от того, что из слов Богаевского на меня пахнуло такими нестерпимо знакомыми фразами русских художников. «Наших молодых художников, которые нахватываются *французской манерой* и теряют всякое чутье и самостоятельность в работе». – Вот целиком эта фраза. Я ее уже слыхал десятки раз.

Для русских художников «французская манера» – это такое же всеобъясняющее слово, как для русской публики слово «декадентство». За последние четверть столетия Франция произвела революцию в живописи. Революцию – освобождение личности.

Пиши так, как ты видишь, и так, как ты чувствуешь. Пользуйся для этого всеми средствами изобразительности и забудь навсегда все академические правила. Вот французская манера! После двух веков владычества коричневых теней и рафаэлизма люди вышли на свет. И вот теперь, когда каждый стал писать по-своему, бросают упреки в манере и отсутствии оригинальности. О, это русское невежество, которое заставило Репина смешать в одну кучу Клода Моне, Пювиса, Дегаза и обозвать их всех в купности декадентами,[2] русское невежество, которое до сих пор не привыкло отличать символизм от натурализма.

Другая фраза, от которой на меня пахнуло всей затхлостью русских рисовальных школ и академий, это: «сказал в

противуположность Вам, что вам очень **немного** нужно поработать для того, чтобы приобрести рисунок». Для старых мастеров и для современных французов рисунок — это дело всей жизни. Только в России возможны такие фразы, как фраза Серова своим ученикам: «Если у Вас какая-нибудь деталь в рисунке не выходит, то постарайтесь сделать ее незаметною».[3]

У русских художников много достоинств, но я не знаю ни одного, который бы знал рисунок. Незнание всегда скрывается под внешним широким и смелым мазком.

Вот против меня на стене сейчас висит большой этюд Рериха — голова старика углем. Сработано очень сильно и смело. Непосвященного она поразит свободой штриха, а в то же время в ней полное отсутствие конструкции.

То же самое и с малявинскими и репинскими вещами, которые так поражают сперва своей силой.

Рисунок — это вещь бесконечно трудная. Ведь Рафаэль не умел рисовать... Не думайте, что это говорят легкомысленные и самонадеянные французы — это сам Репин печатно заявлял.[4]

Теперь не подумайте, пожалуйста, что <я> обиделся на отзыв Богаевского о моих рисунках. Я его нахожу даже очень благоприятным: я себя сужу строже. Но мне невыносимо слышать эти фразы, так часто они повторяются всеми, кто не знает французского искусства в его источнике.

И еще обиднее было мне услышать эти приевшиеся фразы вместо Вашего собственного впечатления, которое мне так хотелось услышать. Может быть, Богаевский и очень тонкий художник (то, что я видел из его работ, мне, помню, очень нравилось), но в качестве ценителя едва ли я когда-нибудь с ним сойдусь, судя по этим двум фразам. Вот что я хотел сказать. Не обижайтесь же на меня.

Теперь — Лама.[5] Кто Вам сказал, что он без языка? Я с ним очень много беседовал, через переводчика, конечно.

Он мне много сказал такого об нирванне,[6] что сильно перевернуло многие мои мысли. От него я, например, узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением

как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством: религией пропаганды и насилия!

А смысла моей надписи «Чилимбар Сзабба!» Вы совсем не поняли – это не вызов, а предупреждение.[7] И сделано это было под впечатлением наших разговоров об запрещении въезда европейцам в Тибет: «Опасайтесь Европы». Разве это «науськиванье», «псовая охота», когда предупреждают против бешеной собаки. А Европа хуже бешеной собаки. Никто не умеет так дотла уничтожать чуждые культуры, как Европа. Ни у одной другой страны нет такой кровавой истории.

Еще целый ряд вопросов по внутренней политике... Но я не решаюсь их разворашивать в письмах. Погодите – увидимся. Главное, мне не ясно, что Вы теперь думаете и на какой точке зрения стоите. Ваша фраза о старых наивных бреднях довольно ошеломительна и непонятна.[8] Кажется, что в то время, когда я радовался, что подхожу опять к Вам с другой стороны, вы пошли на те места, откуда я только что ушел. Точно мы какую-то идейную кадриль танцуем.

Вот погодите: в мае сделаем шен шенуаз[9] и полетим снова в разные стороны. Да! Ведь я приезжаю в мае в Россию. Вы это знаете? Я решил оставить теперь Париж и осенью поеду сперва на Байкал, где у меня будут письма в некоторые буддийские монастыри;[10] а потом в Японию – учиться рисовать. Последний проект для меня очень важен, и его здешние художники очень одобряют.

Словом, мы скоро увидимся, и свидание наше будет бурное. Как бы то ни было, мне страшно хочется Вас видеть.

Утро пасмурно. Париж,
Очертанья сизых крыш
Скрылись в дымчатой вуали.
Расплылись в жемчужной дали...
В поредевшей мгле садов
Стелет огненная осень
Перламутровую просинь
Между бронзовых листов.

Вечер. Тучи. Алый свет
Разлился в лиловой дали...
Красный в сером – это цвет
Надрывающей печали.
Ночью грустно. От огней
Иглы тянутся лучами...
От садов и от аллей
Пахнет мокрыми листами...[11]

А вот Вам на прощанье новое стихотворение:

До свиданья. Поклон Мих<аилу> Митр<офановичу> и Нине Алекс<андровне>.[12]

Вы мне до сих пор ничего не написали об моей «Пустыне».[13]

Макс.

[1] В 1902 г. Волошин начал осваивать живопись маслом. Петрова благодарила его за присланные рисунки в письме от 23 октября 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 950, л. 18), но оценку их отложила до «консилиума» с К.Ф. Богаевским: «...не считаю себя вправе выражать свой суд и мнение в области живописи и могу ограничиваться лишь: "нравится" (в дан<ном> случае – да с оговорками) – "нет", а его мнением я крайне и крайне дорожу». В следующем письме к Волошину от 19 ноября 1902 г. (Там же, л. 19–22 об.) Петрова передавала отзывы Богаевского: «Он так же, как и Вы сами, нашел именно чувство колорита и красок, но сказал, в противоположность Вам, что Вам очень немного нужно работать для того, чтобы приобрести рисунок. Много бранил по поводу Вас (Вас не нашел очень нужным. Рано еще считаться с ребяческими начинаниями) наших молодых художников, которые нахватываются французской манеры и теряют всякое чутье и самостоятельность в работе. После его слов мне совершенно нечего прибавлять. Право, Макс<имилиан> Ал<ександрович>, я теперь гораздо строже отношусь к искусству во всех его родах. Мне дорого только истинное творчество, а не упражнения "на тему"».

[2] С резкой критикой современного западноевропейского «декадентского» искусства И.Е. Репин выступил в письме «По адресу "Мира Искусства"», опубликованном в ежемесячном литературном приложении к «Ниве» (1899. № 15. 10 апр.).

[3] Источник этого высказывания установить не удалось.

[4] Негативные суждения И.Е. Репина о Рафаэле и других старых мастерах приводит В.В. Стасов в статье о художнике, опубликованной в 1875 г. в январском номере журнала «Пчела» (см.: *Стасов В.В.* Избр. соч.: В 3 т. М.: Искусство. 1952. Т. 1. С. 266; *Зильберштейн И.С.* Путешествие И.Е. Репина и В.В. Стасова по Западной Европе в 1883 году // Художественное наследство. Репин. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 438–440, 459).

[5] Агван Доржиев (см. п. 259, примеч. 3). Подразумевается следующий отклик в письме Петровой от 19 ноября на сообщение об Агване Доржиеве: «Ваш Далай-Лама без языка интересен так же, как и всякая этажерочная бирюлька, хотя бы и в строго-восточном стиле. Скоро ли вы перестанете водиться с людьми и вещами, увлекаясь звуками их названия, или имени, что ли? На чтó Вам этот черепок? Тоже своего рода коллекционерство».

[6] Нирвана (*санскр.* – угасание) – центральное понятие буддизма; психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, самодостаточности, абсолютной отрешенности от внешнего мира.

[7] В ответ на эту фразу из не дошедшего до нас волошинского письма Петрова 19 ноября 1902 г. писала: «А уж для Ваших слов: “Берегитесь Европы”... нет даже слов для моего негодования. Чтó это? Псовая охота? Что за науськивание?! Что наш и их мир непременно снова столкнутся, в этом я осмеливаюсь быть почти уверенной, но... желаю (немного сентиментально) встречи с дружескими проявлениями, а не по-собачьи глядеть друг на друга, обязательно предполагая врага».

[8] «Жестоко Вы ошибаетесь, если ожидаете у меня наткнуться на старые бредни, – писала Петрова в том же письме. – Не буду спорить, много хорошего, чистого, наивного было; прелестного именно только по своей наивности, но... его уж нет, а жизнь не ждет».

[9] Chaîne chinois (*фр.*) – фигура в танце, когда танцующие, проходя мимо, подают друг другу то правую, то левую руку.

[10] В архиве Волошина сохранились рекомендательные письма, написанные для него А.В. Гольштейн в адрес хамбо-ламы буддийского духовенства Восточной Сибири Бандидо Ирелтуева (в г. Селенгинск) и Будде Рабдановичу Рабданову (в Ачинскую Степную Думу). См.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 4.

[11] Впервые опубликовано («Утро. Пасмурный Париж...») в журнале «Новый Путь» (1903. № 8); 4-е стихотворение в цикле «Париж» (с исправленной 1-й строкой: «Осень... Осень... Весь Париж»). См.: Т. 1 наст. изд. С. 24–25.

[12] М.М. и Н.А. Петровы.

[13] Стихотворение «Пустыня» («Монмартр... Внизу ревет Париж...», 1901); его автограф Волошин, видимо, сообщил Петровой в несохранившемся письме к ней или приложил к нему. См.: Т. 1 наст. изд. С. 11–12.

261. А. М. ПЕШКОВСКОМУ

2/15 декабря 1902 г. Париж

15 décembre.
9 Campagne-Première. Paris.

Наконец-то! А я уж не знал, что и думать. По получении отрывка твоего письма, пересланного мне Яшей, я собрался

тебе писать грозное послание, но потом, не надеясь на свое красноречие, махнул рукой и ждал. Итак, ты остаешься в России? Что же мне сказать?[1]

Ты так решил. Может, это и к лучшему. Но не будем об этом.

Когда мы увидимся? Осенью ты меня уже не застанешь в Париже. Я уеду в начале мая в Крым, а осенью через Сибирь проеду в Японию, где и проведу эту зиму.[2]

Где ты будешь летом? Не заглянешь ли в Крым в июне месяце. Мне бы хотелось повидаться с тобой на феодосийской почве. Это было бы теплее и задушевнее, чем тогда – на морском дне в Бретани.[3] Или, может, осенью я тебя застану в Томске – ведь ты, верно, туда поедешь на лето. Во всяком случае нам надо увидаться теперь, потому что дальше Бог знает сколько лет еще я проведу на востоке. А пред отъездом мне хотелось бы подобрать, связать и распутать все старые ниточки, тянущиеся из феодосийского прошлого. Лучше всего это было бы сделать в Феодосии. После экзаменов проехать в Крым на две недели – что тебе стоит? Я поеду в Россию пароходом по Дунаю вплоть до Черного моря,[4] и мне хочется в последний раз взглянуть на среднюю Европу.

В Японии я проведу следующую зиму. Это будет началом моего кругосветного путешествия, на которое я решил истратить половину своих денег. Когда ты селишься в новом доме, то, прежде чем приступить к регулярному образу жизни, ты осмотришь все комнаты, познакомишься с их расположением и убранством. Это хочу сделать и я, попавши на землю. Откладывать я не хочу, т<ак> к<ак> музей закрывается в 4 часа, а осмотреть надо так много и хочется увидеть и переиспытать всё.

Россия была для меня тезой, Париж антитезой, а восток будет окончательным синтезом для моих взглядов.

Я еду искать вне-Европейской точки опоры, чтобы иметь право и возможность судить Европу. Япония мне даст вне-Европейскую точку для искусства, Китай – для государства, Индия – для философии.

Оттуда я вернусь через Полинезию и Южную Америку. Южную Америку, потому что там должна сохраниться свежее,

чем где-нибудь, старая средневековая оригинальная и здоровая Европа.

Когда я это сделаю, я себя сочту вправе вернуться в Россию, писать, критиковать и оценивать. Теперь же я не чувствую себя вправе и поэтому молчу. За целый год я не написал ни одной статьи.

Я много раз начинал, но каждый раз чувствовал, что у меня нет своих мыслей, что это одна эклектика, критико-синтетические смеси, и что я же сам от них через год отрекусь.

Теперь у меня будут в путешествии два мощных орудия — слово и краски.

Когда я принимался за рисование, у меня не было другой мысли, кроме желания узнать психологию художника, и это продолжалось до тех пор, пока я имел в руках только уголь и карандаш, но когда я взялся за краски, меня сразу захватило, и я уже почувствовал себя художником. Это было странное чувство. В сущности, говоря откровенно, слова «колорит», «тон» раньше были для меня так же страшны и непонятны, как музыкальные термины. И открытие того, что у меня есть большое «чувство красок», было для меня совершенно открытием «гадкого утенка». В общем, я работал мало. Я учился у природы и у самого себя, как советуют парижские художники. Но еще больше я учился у Парижа. Нет города более колоритного и светлого в красках и более артистичного по внешности.

Теперь я усиленно работаю в Академии.

«Академии» — это такие свободные учреждения, в которые приходят и начинающий рапэн,[5] который еще не умеет провести линии, и сложившийся художник, и они работают рядом с одной и той же модели. Раз в неделю приходит профессор. Указывает на прогрешности <так!> рисунка, и этим ограничивается все преподавание. Тут, конечно, главную роль играет не профессор, а собственное сознательное и свободное отношение, рисунки соседей и живые, нервные и разнообразные модели, какие существуют только в Париже.

Так что видишь — профессора у меня нет. А мои друзья — художники разных величин и разных достоинств, между которыми есть и крупные, находят у меня очень большое чувство красок, оригинальные тона и много колориту. Рисунок же,

конечно, находят слабым и советуют много работать, бросать всё, заняться всецело живописью. Литературы я для живописи, конечно, не брошу, но рисунком я занимаюсь теперь очень усердно. Но рисунок – это дело всей жизни. Даже из великих мастеров немногие владели вполне рисунком.

Я сам не считаю себя художником и не думаю, что стану им всецело. Но как новым средством для выражения своих впечатлений и, главное, как средством для записывания их я дорожу им очень.

Летом, как ты знаешь, я был на Корсике и в Италии. Осень у меня прошла серо и бесплодно. Слишком много новых людей, и я слишком уходил в них. Только вот последнее время с тех пор, как я решил отъезд из Парижа, начал регуляризировать свою работу и опять принялся за Национальную Библиотеку. Конечно, теперь мои предметы – Индия и Япония. Кроме того я мимоходом глотаю тех авторов, которых я не успел прочесть в прошлом году для общего знакомства с литературой.

Наши политические споры оставим пока. От социализма я ушел к анархизму. Но это слово настолько широко, что в письме трудно его оформить.

В социализме нет морального элемента, необходимого для политической теории, и слишком много мелко-моралистического. «Фатализм» – с этим я вполне согласен. Согласен и со взглядами на Мальтуса. Он не морализирует и потому не противен.[6]

Другой пункт: всякая власть вредна. А власть толпы может быть еще вреднее власти одного (июньские дни, коммуна),[7] и это потому, что человеческая глупость и злость возрастают пропорционально количеству индивидуумов. Один ум хорошо, а два вдвое хуже. Социализм преследует теперь слишком узкие классовые интересы, чтобы человек с более широким историческим пониманием мог примкнуть к нему.

Затем сообщу тебе, что буддизм считает каждую пропаганду идеи преступлением, т<ак> к<ак> это насилие над личность<ю>.

Я вполне преклоняюсь пред высотой буддийской морали. А социализм в этом отношении еще гаже христианства, на которое он, кстати, очень похож.

Я, между прочим, теперь смотрю на то и на другое как на ультра-крайние выражения еврейской культуры в Европе с ее достоинствами и недостатками.

Наконец, самое основание социализма об справедливом разделе капитала я считаю ложным, т<ак> к<ак> весь Европейский капитал, о разделе которого идет речь, есть ложь и ненужность. И фабричная промышленность, и жел<езные> дор<оги>, и все прочее могут существовать только при условии насилия над вне-Европейскими национальностями. Социалисты, разделив и распределив капитал, от этого насилия не откажутся. Да и являются ли все эти триумфы техники полезными приобретениями? Не думаю.

От социализма один шаг к Ал<ександре> Мих<айловне>. Я получил письмо от нее вчера. По обыкновению она меня ругает, но уже с гражданскими нотами в голосе. Пишет о полном разрыве с прошлым.

Вот одна ее фраза: «Вы говорите, что желаете приехать и повидаться со всем старым, и говорите, что Вас влечет это старое как основа. Жестоко Вы ошибаетесь, если ожидаете у меня наткнуться на старые бредни. Не буду спорить – много хорошего, чистого, наивного было; прелестного именно по своей наивности, но... его уж нет, а жизнь идет».[8]

Конечно, я бы ничего не понял из этой и других негодующих и презрительных фраз, если бы вместе с этим не получил письма от Я<ши>,[9] где он сообщает к сведению, что А.М. – А.М.!!! – стала соц<иал-> дем<краткой> и притом ярою, как все неофиты. А.М. – марксистка! Какая ирония судьбы. И до чего это у нее должно выходить нелепо и бестолково!

Мне ужасно жаль. Экономические разговоры мне приелись и надоели до тоски, как вечные однообразные пассажи, которые разыгрывались кем-то в продолжение четырех лет в соседней комнате.

Ужасно печально. Я надеялся, что мы встретимся летом очень мирно, т<ак> к<ак> я во много<м> снова очень близко подошел к старому нашему метафизическому идеализму. Но теперь надо готовиться к бою и притом к бою с самыми надоевшими словами. Я все-таки не представляю, как это у нее проявляется... Верно, она и марксизм сумеет завуалировать символами «единственного понимания».

Заказ № 5706

Теперь вопрос жгучий и важный: пробуждение пола. Твое признание так и толкнуло меня к тебе.[10] Мне тебя так было нужно в разные моменты. Я так тебя ждал этой осенью.

Мое падение было самым банальным, и оставило чувство глубокого отвращения.[11] Я тоже был «одним из многих». Мне нечего на тебя смотреть сверху вниз. Это было еще в первые месяцы моего пребывания в Париже. Еще раз это повторилось весной и в форме гораздо более похожей на роман, но и в ней не было ничего красивого. Это было как раз тогда, когда я думал, что я влюблен в первый раз в жизни. И это случилось при самом расцвете, но с совершенно другой женщиной и убило то чувство и само не расцвело.[12] Я понимаю тебя, если твоя борьба с темпераментом происходит во имя моральных правил. Но я... Это так глупо и дико. Я пришел к новым взглядам и, тем не менее, старый ригоризм лежит непереходимой, точно физической, преградой. Иногда это минуты какого-то кошмара. Даже не минуты, а целые дни. И выход из него так прост и логически я его допускаю, но все старое становится стеной.

Я боюсь, что этим ригоризмом первых лет пробуждения пола — ригоризмом в сущности насильственным, мы сами испортили свое чувство, может даже больше, чем те, которые отдавались ему раньше времени. «Крейцерова Соната»[13] — вредная старческая книга. Самое важное в отношениях пола — это бессознательность.

Скабрезные анекдоты и раннее удовлетворение чувственности ее убить не могут; а наш морализм ее убил. Самое ужасное в эти минуты было то, что <я> не забывался, а наблюдал себя и еще пытался лицемерно возмущаться. Когда страсть убита, остается одна чувственность.

Факт повторяется «с заранее обдуманным намерением», а не является счастливою случайностью.

Что меня еще отчасти спасало во время моих кошмаров — это вид раздетых моделей. Нет ничего менее чувственного и будничного, как голое человеческое тело. «Человек один из всех зверей изобрел одежду, чтобы наслаждаться наготой». Это сказал Сюлли-Прюдом.[14]

Страшная правда. Нагота — это самое отрезвляющее средство для всякой чувственности. Тело так прозаично,

иногда так красиво, что само по себе в веками притупленном вкусе человека не может вызвать страсти без помощи одежды. Единственное средство против чувственности — это не толь<ко> общие учебные заведения, но и устранение одежды.

Какое лицемерие в том, что одежда вызывается чувством стыда. Я каждый день вижу голых женщин в Академии, и ни одна из них не подымала во мне чувственности, со второго уже раза. В первый раз потрясение было так сильно, что я вышел через пять минут (я тогда еще не рисовал и только зашел в Академию).

Мое падение было вызвано этим первым впечатлением — это были дни кошмара. Но после ни разу это не повторялось. Это только подтверждает мои слова.

Если ты не утратил возможности бессознательности — то не борись со страстью. Как можно меньше морализирования. Или мы убили всю поэтическую сторону, оставив один нагой, обессмысленный факт. Вот что мучительно.

Рассказ «Бездна»[15] я прочел. Фабулу я не считаю невозможной и болезненной. В человеке все уживается рядом... как две волны, которые идут <в> разные стороны и проходят одна сквозь другую, не разбиваясь. «Бездна» — это одна из таких интересных возможностей. Только сам автор отнесся к ней слишком болезненно и совсем не художественно выскочил в конце сам фразой «И он погрузился в черную бездну».[16] Тут главным образом слово «черную» все портит. «Бездну» — да! Одна волна прошла сквозь другую — это бездна. Но оценивать тут нельзя. На этой точке так жутко, что от этой фразы зло берет. А физически это так просто и последовательно... Во всяком случае это хороший рассказ и для России, где прюдство[17] так велико, очень значительный. Хотя он «сделан» не вполне безукоризненно. Это куда выше первой книжки его рассказов, которая, кстати, мне совсем не нравится.[18] «Стена» я не прочел.[19]

Здесь Андреев только подходит к тем задачам, которые могуче, с титанической силой искренности разрабатываются Октавом Мирбо. С такой искренностью, перед которой меркнет красивый рассказчик Мопасан.

Довольно. Покойной ночи. Спать пора. Завтра, в 8 час. уже надо быть в Академии.

Когда ответишь на это письмо, пришлю тебе стихов.

Кланяюсь Е. П. и Л. В.[20] Письмо к К. снеси. Не поздно.[21]

[1] Имеются в виду письмо Пешковского к Я.А. Глотову из Москвы от 28 сентября 1902 г. с припиской Глотова Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964, л. 11–12 об.) и недатированное письмо Пешковского, ответное на письмо Волошина от 9 сентября 1902 г. (Там же, л. 13–20 об.); в последнем он сообщал: «...только недели 2 тому назад оказался принят университетом и потому основался опять в Москве».

[2] Волошин прожил в Крыму с апреля до начала ноября 1903 г. Замысел поездки в Японию реализовать не удалось.

[3] См. примеч. 2 к п. 176.

[4] План путешествия по России пароходом по Дунаю Волошин осуществил лишь летом 1906 г.

[5] Рапэн (*фр.* rapin) – здесь: начинающий живописец, ученик.

[6] Отклик на следующий фрагмент недатированного письма Пешковского: «Я лично расхожусь во многом с социалистами (гл<авным> обр<азом> с марксистами), но преимущественно в области теории. Я не выношу марксовского *фатализма* (иначе я не могу назвать стремление “ускорить естественный ход вещей”, как основную цель обществ<енной> деятельности) и, кроме того, я считаю совершенно поверхностным отношение социалистов к Мальтусу. Я считаю, что социальные реформы нужны для *более справедливого* распределения благ <...>, но я не могу надеяться, что будущий строй избавит *всех* людей и навсегда от материальной нужды. <...> Мысль Мальтуса при всех числовых неверностях, при всей неудачной ее форме изложения, при всей нелепости его выводов все-таки в основе заключает нечто верное. Недаром Дарвин сознается, что вся его теория есть лишь приложение теории Мальтуса ко всему животному и растит<ельному> миру. Курьезно, что социалисты благоговеют перед Дарвином и считают дураком Мальтуса. Что ты об этом думаешь?»

[7] Подразумеваются восстание парижского пролетариата 23–26 июня 1848 г. и Парижская Коммуна (18 марта – 28 мая 1871 г.).

[8] Цитируется письмо А.М. Петровой от 19 ноября 1902 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 950, л. 19–22 об.). В автографе конец заключительной фразы: «а жизнь не ждет».

[9] Это письмо Я.А. Глотова не сохранилось.

[10] Отклик на признание в недатированном письме Пешковского: «...так же, как и ты, лишился невинности. Не берусь тебя судить,

так как не знаю, как это у тебя было. Одно вижу – что у тебя это было красиво, а у меня отвратительно. Взглядов это моих нисколько не изменило, и вот уже 2 года, как я безуспешно борюсь со своим темпераментом».

[11] См. п. 258, примеч. 4.

[12] Речь идет о кратковременной связи (видимо, в мае 1902 г.) с Александрой Михайловной Моисеевой (1874–1913), впоследствии, по возвращении в Россию, писательницей-новеллисткой и переводчицей (литературный псевдоним – Мирэ). См.: Труды и дни. С. 100.

[13] Повесть Л.Н. Толстого (1890).

[14] Имеется в виду стихотворение Сюлли-Прюдома «Оргия», входящее в 4-й раздел его книги «Стансы и стихотворения» («Stances et poèmes», 1865); ср. в переводе И.И. Тхоржевского: «Он странный зверь <...> он выдумал одежды, / Чтоб насладиться наготой!» (Сюлли-Прюдом в переводах Андреевского, Анненского <...> Якубовича. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1911. С. 68).

[15] Рассказ Л.Н. Андреева «Бездна» был впервые опубликован в газете «Курьер» (1902. № 10. 10 янв.), вошел в книги Андреева «Новые рассказы» (СПб.: Изд. т-ва «Знание», 1902) и «Рассказы. Т. 1» (2-е изд., доп. СПб.: Изд. т-ва «Знание», 1902).

[16] Подразумевается заключительная фраза рассказа «Бездна»: «И черная бездна поглотила его» (*Андреев Л.Н.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. литература, 1990. Т. 1. С. 367).

[17] От *фр.* prude – преувеличенно стыдливый.

[18] Имеется в виду книга Л. Андреева «Рассказы» (СПб.: Изд. т-ва «Знание», 1901).

[19] Рассказ «Стена» был впервые опубликован в «Курьере» 4 сентября 1901 г. (№ 244), вошел в книги Л. Андреева «Новые рассказы» и «Рассказы. Т. 1» (2-е изд., доп.).

[20] Е.П. Теш и Людмила Владимировна (вероятно, сестра Е.В. Глотовой).

[21] Подразумеваются Кругликовы. См. п. 238 (P.S.).

262. А.М. ПЕТРОВОЙ

19 декабря 1902 г. / 1 января 1903 г. Париж

1 janvier 1903. Paris.

Милая и дорогая Александра Михайловна!

Вчера я нюхал букетик фиалок, и, хотя у меня был насморк, мне с такою силой вспомнились и феодосийские горы

весною, и феодосийские фиалки, и красно-бурые веточки терна с белыми кругленькими завязями, такими белыми, точно они светятся, и проколотый палец у Пешковского, и те рамки из нарисованного терна, что Вы делали....

Словом, мне показалось, что у нас и такие минуты будут, когда мы не будем ругаться.

Я на днях уезжаю в Петербург[1] и в Феодосии буду в марте.

Мне хочется сделать хороший глоток русского воздуха и тогда на восток опять на несколько лет до нового перевоплощения и до новой трансформации.

С Новым годом, Алекс<андра> Мих<айловна>!

Я помню одно письмо, которое Вы писали мне в ночь под Новый год. Его нет со мной, а мне бы очень хотелось его иметь теперь. Вы помните его?[2]

Мы с Вами много будем еще ругаться и ссориться, но цепи из весенних феодосийских фиалок всегда будут крепче, чем всякие политические и артистические взгляды, теории, принципы...

До свиданья. Теперь уже очень скоро.

Поздравляю и кланяюсь Мих<аилу> Митр<офановичу> и Нине Алекс<андровне>.[3]

Макс.

P.S. Последние дни мне почему-то все <в>споминался покойный Василек.[4]

[1] Волошин выехал из Парижа 26 декабря 1902 / 9 января 1903 г., по дороге в Россию останавливался в Штутгарте и Варшаве. Прибыл в Петербург 1/14 января (Труды и дни. С. 105–106).

[2] Вероятно, подразумевается письмо Петровой от 31 декабря 1897 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 951, л. 15–18 об.), начинавшееся словами: «Caro bambino mio! Хочу в беседе с Вами проводить наш старый год. Столько накопилось горечи и желчи в его течении, что нужно же куда-нибудь излить их. Вы для этого такой спасительный “объект”, что я надеюсь ни капельки не оставить на свою долю. Много и много набралось такого, чем хотелось бы очень поделиться с Вами, но голова идет кругóм и мне остается “палить” в Вас бессвязными афоризмами весьма сомнительного достоинства».

[3] М.М. и Н.А. Петровы.

[4] См. примеч. 4 к п. 9.

263. Я.А. ГЛОТОВУ

19 декабря 1902 г. / 1 января 1903 г. Париж

1 января 1903. Париж.

Милый Якс!

Только что получил твое письмо.[1] Спасибо.

Мое «неблагоразумие» продолжается, и я до весны не жду, а через несколько дней выезжаю в Петербург.[2]

Ехать, так ехать. Пробыть в Крыму 2 месяца не значит быть в России: ты прав. Мне нужно побывать в Петербурге и в Москве и завести литературные знакомства и узнать, что там делается. Теперь мне очень легко это, через моих парижских друзей. Потом будет очень трудно, т.е. когда вернусь с востока. Потом я достаточно отвык от русской жизни, чтобы отнестись к ней аналитически. Потом я хочу застать маму в Петербурге.[3] Потом мне нужно органов для того, чтобы писать иллюстрированные записки с Востока. Потом я буду в Крыму ранней весной вместе с мамой и надеюсь увиде<ть> тебя там в марте месяце. Словом, я это решил вчера ночью, а сегодня утром я уже передал мастерскую и продал мебель.

Остается занять денег на дорогу и изумить маму своим появлением в Петербурге. А в июне тогда на Алтай, на Байкал и т.д.[4]

Во всяком случае мы *должны увидеться в Крыму*.

Ох, как мы будем ругаться с Алекс<андрой> Мих<айловной>?

Как она отнеслась к моему письму?[5] Пиши мне в Петербург по адресу мамы.

Российской плесени и гнили я теперь нисколько не боюсь. Я так полон всяких начинаний и жажды нового, что не могу больше оставаться в Париже ни минуты.

Вот еще одно стихотворение. Оно не последнее, т<ак> к<ак> последнее еще не написано, а одно из последних.

Я вечный жид! Мне люди братья,
Мне близки небо и земля...
Благословенное проклятье!
Благословенные поля!

Туда и — за грань к пределам сказки...
Лучи и песни, и цветы...
В полях люблю я только краски,
А в людях только бред мечты.
И мир, как море пред зарею...
И я иду в равнинах вод
И надо мной и подо мною
Трепещет звездный небосвод...[6]

Мне так теперь хочется феодосийской весны и Коктебеля. Так хочется подойти ко всем старым местам с красками и кистью (вернее, «ногтем», т<ак> к<ак> кистью я не пишу) и потом в коктебельской глуши записать столько старого парижского.

Ну до свиданья. Хорошего нового года. А у меня, я знаю, будет хороший.

Я много лет шел на юг, потом на запад — теперь на восток.

Здравствуй, солнце!

Пора! Пора!
Max.

[1] Это письмо в архиве Волошина не сохранилось.

[2] См. примеч. 1 к п. 262.

[3] Е.О. Кириенко-Волошина приехала в Петербург в декабре 1902 г., остановилась у А.И. Орловой (Невский пр., д. 153); по тому же адресу поселился и Волошин, когда прибыл в Петербург.

[4] Эти планы остались нереализованными.

[5] Подразумевается письмо к А.М. Петровой от 1/14 декабря 1902 г. (п. 260).

[6] Стихотворение предположительно датируется ноябрем 1902 г., опубликовано в журнале «Новый Путь» (1903. № 8) с вариантами ст. 10–11: «И я иду по лону вод, / И подо мной и надо мною» (Т. 2 наст. изд. С. 389).

АДРЕСАТЫ И ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Ауэр Мария Львовна (в замужестве Унковская; 1883–1953), певица. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 5.

Вяземская Любовь Орестовна (1869–1960), подруга детских лет Волошина, затем педагог, заведующая частной гимназией в Москве. – Архив семьи Вяземских (Санкт-Петербург).

Галабутский Юрий Андреевич (1863–1928), педагог, преподаватель русского языка и литературы в феодосийской мужской гимназии. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 30.

Гауфлер Вениамин Людвигович (1875 – ок. 1943), феодосийский гимназист, затем пианист, основатель музыкальной школы в Феодосии. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 23.

Глазер Надежда Григорьевна (урожд. Зоммер; 1823–1908), бабушка Волошина по материнской линии, вдова полковника. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 28.

Глотов Яков Александрович (1878–1938, 10 июля – расстрелян), двоюродный брат Волошина (племянник Е.О. Кириенко-Волошиной), саратовский дворянин, студент юридического факультета Московского университета; впоследствии участник революционного движения, переводчик. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 29.

Гольцев Виктор Александрович (1850–1906), публицист, критик; редактор журнала «Русская Мысль». – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 33.

Гольштейн Александра Васильевна (урожд. Баулер, в первом браке Вебер; 1850–1937), переводчица, прозаик, критик; участница народнических кружков, эмигрировавшая около 1874 г. – Бахметьевский архив (Колумбийский университет, Нью-Йорк). Звезда. 1998. № 4. С. 144–147. Публ. М. Ланды, А. Тюрина и Ж. Шерона. Письма к А.В. Гольштейн печатаются по тексту этой публикации (письмо 254 – по ксерокопии с автографа).

Кандауров Леонид Васильевич (1877–1962), студент-естественник Московского университета, педагог, впоследствии астроном. – Архив семьи Кандауровых-Чернышевых. Грани. 1998. № 186. С. 226–233. Публ. Татьяны Кандауровой-Чернышевой. Письма к Л.В. Кандаурову печатаются по тексту этой публикации (кроме письма 253 от

6/19 июня 1902 г., печатающегося по ксерокопии с автографа, хранящейся в собрании В.П. Купченко).

Кириенко-Волошина Елена Оттобальдовна (урожд. Глазер; 1850–1923), мать Волошина, вдова статского советника (см. о ней: *Купченко Вл.* Мать поэта // Из лит. наследия-3. С. 109–115). – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 55 (письма за 1896 г.), 56 (письма за 1897–1898 гг.), 57 (письма за 1899 – июль 1900 гг.), 58 (письма за сентябрь 1900 – февраль 1901 гг.), 59 (письма за апрель – декабрь 1901 г.), 60 (письма за 1902 г.). Автограф письма от 22 июня / 5 июня 1901 г. (п. 193) отсутствует, текст печатается по машинописной копии (ИРЛИ. Ф. 562, оп. 3. ед. хр. 66. л. 7). Из лит. наследия-3. С. 117–339. Публ. В.П. Купченко и А.В. Лаврова.

Лямина Елена Сергеевна (1870–1952), двоюродная сестра Волошина (племянница Е.О. Кириенко-Волошиной). – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 73.

Нич Вера Матвеевна (в замужестве Гергилевич; 1878–1918), феодосийская гимназистка, затем педагог, основательница частной гимназии. – Собрание П.М. Богомолова, Одесса.

Озеров Иван Христофорович (1869–1942), ученый-экономист, публицист, прозаик; приват-доцент (с 1902 г. профессор) Московского университета. – РНБ, ф. 541, ед. хр. 229. Опубликованы в составе статьи: *Лавров А.В.* Максимилиан Волошин и его университетский наставник (Переписка с И.Х. Озеровым) // Memento vivere. Сборник памяти Л.Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 188–190, 193–197.

Петрова Александра Михайловна (1871–1921), друг Волошина с гимназических лет, феодосийский педагог (см. очерк Волошина «Киммерийская сивилла (Памяти А.М. Петровой)» – т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 340–344; предисл. В.П. Купченко к публикации писем Волошина к А.М. Петровой. – Из лит. наследия-1. С. 5–11). – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 90 (письма за 1895–1897 гг.), 91 (письма за 1898–1899 гг.), 92 (письма за 1900–1901 гг.), 93 (письма за 1902 г.). Письмо от 13 мая 1898 г. (п. 43) – ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 15, л. 1. Из лит. наследия-1. С. 11–160. Публ. В.П. Купченко.

Пешковский Александр Матвеевич (1878–1933), уроженец Томска, друг Волошина с ранних юношеских лет, феодосийский гимназист, затем студент Берлинского и Московского университетов; впоследствии лингвист. – ИМЛИ, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 26 (п. 97 – предположительно от 11/23 января 1900 г.); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 99 (остальные письма). Письмо от 11–12 января 1901 г. (п. 157) опубликовано Захаром Давыдовым (Россияне в Азии. Литературно-исторический ежегодник. № 5. <Торонто>. Осень 1998 года. С. 254–260).

Струве Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, публицист, историк, философ, политический и общественный деятель; в 1890-е гг.

теоретик «легального марксизма», автор Манифеста РСДРП (1898), с начала 1900-х гг. лидер российского либерализма. – РЦХИДНИ, ф. 279 (редакция журнала «Освобождение»), кор. 6, папка 12.

Терсиан (Tersyan) Эдуард (Еснар) (1882, Константинополь – 1955, Кипр), армянский архитектор, фотограф, писатель. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 25.

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), публицист, издатель; друг Л.Н. Толстого и пропагандист его учения и творчества. – РГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 689.

Ювачев Иван Павлович (псевдоним И. Миролюбов; 1860–1936), морской офицер, член военной организации «Народной воли», политический заключенный; с конца 1890-х гг. – литератор, религиозный публицист; отец Даниила Хармса. – ИРЛИ, ф. 411 (собрание В.А. Десницкого), ед. хр. 32.

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* Аннотируются только имена, упоминаемые в основном корпусе публикуемых писем. Адресаты писем отмечены астериском (*). Страницы, на которых содержатся дополнительные сведения о данном лице, выделены курсивом.

Заказ № 5706

Заказ № 5706

Заказ № 5706

СОДЕРЖАНИЕ

1898

1899

1900

1902

В оформлении суперобложки
использована акварель
М. Волошина «Пейзаж». 1918 г.

Волошин, Максимилиан Александрович

В68 **Собрание сочинений.** Т. 8. Письма 1893–1902. Максимилиан Волошин; сост. А.В. Лаврова, подгот. текста, коммент. В.П. Купченко и А.В. Лаврова. – М.: Эллис Лак, 2009. – 832 с.

ISBN 978-5-90252-50-7 (т. 8)
ISBN 978-5-902152-05-4

Предлагаемый читателям том включает письма 1893–1902 гг. к матери поэта Е.О. Кириенко-Волошиной и его друзьям.

Письма печатаются по подлинникам (автографам и авторизованным машинописным копиям). Ранее публиковавшиеся письма сверены и исправлены по подлинникам. Письма, автографы которых оказались недоступными, печатаются по тексту ранее осуществленных публикаций.

ББК 84(2Рос=Рус)-4
УДК 821.161.1-95

Максимилиан Александрович Волошин

Собрание сочинений
под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Том восьмой

Письма 1893–1902

Художественный редактор
В.Н. Сергутин

Корректор
Е.И. Коротаева

Верстка
А.Б. Метелкин

Подписано в печать 16.10.2009
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная.
Печ. л. 26. Тираж 2500 экз.
Заказ № 5706

ЛР № 01716 от 05.05.2000

Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16
Тел. (495) 605-37-97. Факс (495) 605-89-47
http://www.ellisluck.ru
e-mail: ellisluck2000@mail.ru


ISBN 978 5 902152 50 7

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь»
430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а

E-mail book@moris ru